

**П. В. БЕЗОБРАЗОВ
Я. Н. ЛЮБАРСКИЙ**



**ВИЗАНТИЙСКИЙ ПИСАТЕЛЬ
И ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ДЕЯТЕЛЬ
МИХАИЛ ПСЕЛЛ**

**МИХАИЛ ПСЕЛЛ:
ЛИЧНОСТЬ И ТВОРЧЕСТВО**

Научное издание

Издательство
«АЛЕТЕЙЯ»
Санкт-Петербург
2001

СЕРИЯ

ВИЗАНТИЙСКАЯ
БИБЛИОТЕКА



ИССЛЕДОВАНИЯ

Редколлегия серии «Византийская библиотека»:

*Г. Г. Литаврин (председатель), О. Л. Абышко
(сопредседатель), И. А. Савкин (сопредседатель),
С. С. Аверинцев, М. В. Бибииков, С. П. Карпов,
Г. Л. Курбатов, Г. Е. Лебедева, Я. Н. Любарский,
И. П. Медведев, Д. Д. Оболенский, Г. М. Прохоров,
А. А. Чекалова, И. И. Шевченко*

ББК Ш5(0)421-4 Пселл

УДК 877.3(092) Пселл

Д 23

Б 39

Л93

Две книги о Михаиле Пселле:

П. В. Безобразов. Византийский писатель и государственный деятель Михаил Пселл и Я. Н. Любарский. Михаил Пселл: личность и творчество. Научное издание. — СПб.: Алетей, 2001 — 544 с. — (Византийская библиотека. Исследования)

ISBN 5-89329-401-7

Книга известного русского византиста П. В. Безобразова (1859 – 1918) «Византийский писатель и государственный деятель Михаил Пселл» была издана в 1890 г. Основанная на довольно ограниченной источниковедческой базе (многие сочинения Пселла были в конце XIX века еще не изданы), она тем не менее рисует чрезвычайно живой образ Пселла — писателя, ратора, ученого, воспитателя и советника царей. По сути дела это биография Пселла, однако многочисленные цитаты из документов и сочинений, включенные в книгу, помогают читателю представить духовную и интеллектуальную среду Византии XI века.

Для П. В. Безобразова талантливый Пселл — «печальное порождение печального времени». Более взвешенную оценку Пселла дает в изданной почти через столетие книге «Михаил Пселл: личность и творчество» (Москва, 1978) ее автор Я. Н. Любарский, в распоряжении которого оказалось уже много новых материалов. В отличие от труда П. В. Безобразова, помимо характеристики личности Пселла в книге Я. Н. Любарского (дополненной и исправленной для настоящего издания) содержится также анализ произведений Пселла, главным образом его речей и шедевра византийской литературы — «Хронографии».

ISBN 5-89329-401-7



9 785893 294019

*На форзацах: Евангелисты Марк и Лука.
1065-1067. Церковь Успения Богоматери,
Никея. Мозаика в нарфике.*

© Издательство «Алетей» (СПб.), 2001 г.
© Я. Н. Любарский, 2001 г.

О ПАВЛЕ ВЛАДИМИРОВИЧЕ БЕЗОБРАЗОВЕ И ЕГО КНИГЕ О МИХАИЛЕ ПСЕЛЛЕ

В короткой аннотации, открывающей вышедшую посмертно книгу П. В. Безобразова «Очерки византийской культуры» (Пг., 1919), академик С. А. Жебелев писал: «Более тридцати лет своей трудовой, мятежной, полной превратностей жизни покойный (скончался в октябре 1918 г.) посвятил изучению Византии. Много памятников изучил, еще больше прочитал...». Восемьдесят лет назад, когда писались эти строки, эти слова академика были понятны многим. Ныне уже не осталось в живых даже учеников самого Жебелева, и нужно предпринять специальные разыскания, чтобы уяснить, почему жизнь приват-доцента, так и не ставшего ординарным профессором П. В. Безобразова была названа «мятежной и полной превратностей».

Впрочем, даже не зная обстоятельства его жизни и только прочитав публикуемую здесь книгу, можно догадаться, что автором ее был человек незаурядный и вряд ли легкой судьбы. Попытаемся все же коротко рассказать о жизни русского византииста и публициста П. В. Безобразова, как она представляется на основе немногих свидетельств современников и, главным образом, архивных материалов.¹

П. В. Безобразов родился в феврале 1859 г. Оба его родителя оставили значительный след в истории русской культуры. Его отец Владимир Павлович, происходивший из древнего дворянского рода, был фигурой, хорошо известной в свое время. Ученый экономист и публицист, академик и сенатор, в то же время человек практического склада, он много путешествовал по России и отличался либеральными взглядами. Как написано в словаре Врокгауза и Ефрона, «В. П. Безобразов всю жизнь оставался верен прогрессивным убеждениям, несмотря на частые колебания в нашей политической атмосфере». Мать Павла Владимировича, Елизавета Дмитриевна, великодушно владела несколькими иностранными языками и была «тайной публицисткой»: сотрудничала в ряде известных зарубежных журналов, причем писала под псевдонимом, так что о ее литературной деятельности не догадывались даже очень близкие люди. На русском языке она опубликовала книгу для детей. Незаурядной личностью оказалась и сестра нашего героя — Марья Владимировна, принимавшая активное участие в создании Русского Философского общества. Если ко всему сказанному прибавить, что Павел Владимирович женился на дочери знаменитого историка

¹ Я благодарен Игорю Павловичу Медведеву за полезные советы и многочисленные архивные выписки, которые он предоставил в мое распоряжение. Я благодарю Эллу Дмитриевну Добровольскую, разыскавшую ценные материалы о Безобразове в московских архивах, а также Наталью Георгиевну Рудину, продававшую эту работу в Петербурге.

Сергея Михайловича Соловьева, то станет ясно, что интеллектуальная атмосфера была почти буквально тем воздухом, которым с юных лет дышал Безобразов.

В 1879 г. он окончил с золотой медалью царскосельскую гимназию и в том же году поступил на историко-филологический факультет Санкт-Петербургского университета. Ученик В. Г. Васильевского, молодой Безобразов принадлежал, видимо, к числу студентов выдающихся, во всяком случае в 1883 г. за представленные им сочинения получил три медали, а одна из его студенческих работ, посвященная Бозмунду Тарентскому, была опубликована в Журнале Министерства народного просвещения (ЖМНП, 226, 1883). В 1885 г. недавний выпускник университета выдержал экзамен на степень магистра по всеобщей истории и был командирован для научных занятий за границу, посетил Италию, Грецию, Турцию. Во время командировки изучил много греческих рукописей. Результатом чтения этих средневековых манускриптов и других научных занятий и явилась публикуемая книга, защищенная в 1890 г. в качестве магистерской диссертации на историко-филологическом факультете Санкт-Петербургского университета.

Уже с 1888 г., видимо, сразу после возвращения с Востока, Безобразов начинает чтение лекций по истории Византии в качестве приват-доцента Московского университета. Первое тридцатилетие его жизни представляется вполне безоблачным и, кажется, предвещает спокойную и достойную карьеру университетского профессора. Действительность, однако, этих ожиданий не оправдала.

Первым предвестником грядущих бед оказалась статья, опубликованная в библиографическом отделе майского номера журнала «Русская мысль» за 1890 г. Анонимный автор крайне пренебрежительно отзывается здесь о труде П. Безобразова. Появление этой рецензии вряд ли было случайным. Сохранилось письмо П. В. Безобразова к редактору «Исторического вестника» от 13 ноября 1890 г., в котором обиженный автор пишет о «постоянной интриге», которая ведется против него в Московском университете, о том, что «некоторые профессора постоянно за глаза бранят его», и просит опубликовать его ответ недобросовестному рецензенту, «не знающему предмета, о котором берется писать» (ОР РНБ, ф. 874, л. 39).

Сейчас трудно судить о сути «постоянной интриги», ведшейся против молодого приват-доцента, ясно, во всяком случае, что его служебные отношения складывались не лучшим образом. Настоящий скандал разразился, однако, позже, в январе 1895 г., он вышел тогда далеко за рамки служебной интриги и взаимоотношений с коллегами. Для того чтобы понять суть произошедшего, надо иметь в виду, что помимо научных штудий и преподавания Безобразов активно занимался публицистикой и не чурался общественных выступлений. Среди его публикаций — немало статей

и брошюр о женском вопросе, интерес к которому он, возможно, унаследовал от матери — сторонницы женской эмансипации. Весьма любопытно, что положение женщины для Безобразова, как он неоднократно сам об этом писал, было индикатором состояния общества в любую эпоху, и свою статью, написанную незадолго до этого времени и озаглавленную «Черты византийских нравов и культуры» (см. ниже прим. 5) он начинает именно с рассуждений об униженном положении женщин в Византии. Видимо, исторические изыскания и общественная позиция никогда не были четко разграничены в сознании П. В. Безобразова.

«О женщине в истории» — так была обозначена тема благотворительной лекции, которую прочел Безобразов 10 января 1895 года в Историческом музее Москвы. Архив Павла Владимировича практически не сохранился, конспекта этой лекции у нас нет, но оставшиеся архивные документы позволяют судить, что на самом деле происходило в тот день в зале музея. Уже через неделю после лекции министром внутренних дел И. Н. Дурново было сделано секретное представление в Министерство народного просвещения, в котором сообщалось, что лектор «помимо крайне тенденциозного изложения предмета, при ссылках на современное положение разбираемого вопроса, в двусмысленном тоне касался существующих правительственных распоряжений и между прочим утверждал, что женщина, стремящаяся в России к образованию, может рассчитывать только на препятствия...». Далее цитируются призывы, с которыми Безобразов обратился к студентам: «Мы старые, век свой уже прошли (лектору в это время тридцать пять лет!) и будем надеяться на вас, молодых. Сплотитесь и идите стойко и смело по намеченному вами пути и добивайтесь ваших прав...». Очевидно, представление, сделанное Дурново, основывалось на доносе весьма обстоятельном. Сообщается, в частности, что Безобразов в конце лекции «выразил негодование лицам, делающим карьеру путем подлости и неправды, и закончил лекцию словами: “холопы, холопки и холопчики — подлецы”, вызвавшими горячие аплодисменты со стороны молодежи и общее неудовольствие в остальной присутствующей публике» (РГИА, ф. 733, оп. 150, д. 1057, л. 188).

Реакция со стороны министра народного просвещения графа Делянова последовала незамедлительно. От «виновника» требуют объяснений, которые, однако, не удовлетворяют министра. Уже через две недели, 31 января 1895 г. попечителям всех учебных округов России под грифом «секретно» направляется распоряжение Делянова, запрещающее П. В. Безобразову «в предупреждение вредного влияния его на слушателей всякую педагогическую деятельность и чтение каких бы то ни было публичных лекций» (РГИА, ф. 733, оп. 150, д. 1057, л. 200).

Особый трагизм этой ситуации для Безобразова состоял кроме всего прочего в том, что буквально за несколько дней до злополучной лекции

в ответ на ходатайство попечителя Одесского учебного округа было получено специальное разрешение Государя Императора на занятие Безобразовым должности экстраординарного профессора Новороссийского (Одесского) университета. Поскольку у Безобразова не было необходимой для профессорского звания докторской степени, назначение должно было состояться в порядке исключения, с учетом его ученых заслуг и способности «популярного, занимательного и даже блестящего изложения» (РГИА, ф. 733, оп. 150, д. 1057, л. 159). Увы, педагогическая карьера оказалась прерванной на долгие десять лет... Лишь в 1905 г. он смог снова вернуться в Московский университет и удержаться там еще три года. С 1908 г. Безобразов — архивариус Государственной Думы, а с 1913 г. — приват-доцент Санкт-Петербургского университета.

Кем же был по своим убеждениям потомственный дворянин, сын сенатора и академика, несомненно разносторонне одаренный Павел Владимирович Безобразов?

У нас немало материалов, чтобы ответить на этот вопрос, однако воспользуемся для этой цели главным образом лишь одной его брошюрой, посвященной жизнеописанию известного историка, скончавшегося в 1879 г., тестя самого Безобразова, Сергея Михайловича Соловьева (С. М. Соловьев. Его жизнь и научно-литературная деятельность. СПб., 1894). Как можно увидеть даже из публикуемой здесь книги о Пселле, П. В. Безобразов был органически неспособен к бесстрастному изложению, и потому его собственные воззрения представлены в брошюре о Соловьеве не менее ярко, чем взгляды его героя. Вот некоторые цитаты из упомянутой брошюры: «В ранней молодости Соловьев увлекался славянофильством и русофильством, узким национализмом и ложно понятым патриотизмом. Серьезные занятия скоро убедили его, что он стоит на ложном пути, и по защите магистерской диссертации он примкнул к западникам» (с. 72). П. В. Безобразов имеет в виду, конечно, школу Грановского и совершенно справедливо рассуждает, что «западники» совсем неподходящее название для людей этого типа, что на самом деле они никакие не «западники», а мыслители широкой европейской культуры и настоящие русские гуманисты. В этих рассуждениях нельзя, конечно, не видеть отражения обострившихся в начале прошлого века и продолжающихся до сих пор дебатов между «патриотами» и «либералами» (оба наименования абсолютно условны, не отражают сути дела, но хорошо понятны современному читателю). Естественно, Безобразов на стороне истинных «русских гуманистов». Впрочем, как и герой его книги, П. В. Безобразов не примыкает ни к какой определенной партии и видит идеал поведения в исполнении долга и честном служении отечеству. Вот как, например, он мимоходом характеризует чрезвычайно симпатичного ему графа Строганова, покровительствовавшего С. М. Соловьеву: «Строганову были присущи

«...алант, трудолюбие, честность, благородство, строгое исполнение своих обязанностей» (с. 11).

Строгое следование таким идеалам (а у нас нет никаких оснований сомневаться в искренности П. В. Безобразова) редко соединяется с покладистостью характера. Этой «покладистости» у П. В. Безобразова, кажется, не было вовсе. Его письма, отправленные в самые разные периоды его жизни, исполнены жалобами на недоброжелательство коллег и враждебность начальства. П. В. Безобразов и на самом деле, как он об этом пишет, не пришелся ко двору ни властям, ни «радикалам» (см. его письмо С. Ф. Платонову от 3.10.1907 — ОР РНБ, ф. 585, 2219). В начале XX века Безобразов усиленно следит за политической ситуацией и партийными дрязгами, явно же одобряет социалистов и пишет целую брошюру под характерным названием «Преступление против демократизма», направленную против кадетской партии.² Достаточно трезвое политическое и общественное мышление сочеталось, видимо, у Безобразова с чертами дон-кихотской наивности: например, борясь с проституцией, он не только постоянно призывает верить в силу добра и правды, выражает уверенность в торжестве любви, но и обращается к мужской части общества с призывом к сексуальному воздержанию...³ В 1918 г. Безобразова не стало.

² В меру сил и объема имеющегося материала я пытался дать читателю представление о личности и убеждениях автора публикуемой книги о Пселле. Среди византинистов дореволюционного времени существовал, конечно, огромный разброс взглядов, политических позиций, типов личности, наконец, — от «охранителей устоев» и ксенофобов Г. Ф. Церетели и Д. В. Айначина до Б. А. Панченко, умершего, по некоторым сведениям, на посту председателя Киевского ВЧК.⁴ Разаумеется, в силу «специфики предмета» православно-охранительные тенденции должны были быть достаточно сильны в среде византиноведов. На этом фоне П. В. Безобразов представляет собой некое исключение, хотя историю Византии он воспринимал отнюдь не отвлеченно и как предмет сугубо научных занятий. Как раз наоборот: Византию он рассматривал сквозь призму современной ему ситуации и был весьма далек от умильного взгляда на Восточно-Римскую империю. Более того, все «варварское и бесчеловечное» в Древней Руси он пытался вывести именно из византийской истории.⁵ Как писал в уже цитированной мною эпитоации академик С. Жебелев, Безобразов «подмечал скорее минусы,

² Безобразов П. В. Преступление против демократизма. СПб., 1906.

³ См., например: Безобразов П. В. О современном разврате. М., 1900.

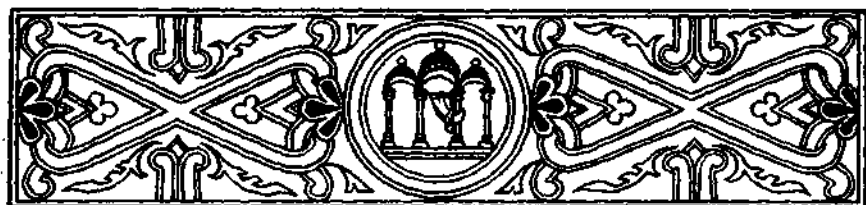
⁴ См.: Медведев И. П. Урок Бенешевича. Византийские очерки. М., 1996. С. 196.

⁵ См.: Безобразов П. В. Черты византийских нравов и культуры // Исторические статьи П. В. Безобразова. М., 1893.

чем плюсы византийской культуры и склонен был эти минусы даже подчеркивать. Он знал плюсы, но обошел их молчанием». С этих позиций написаны не только «Очерки византийской культуры», но и публикуемый здесь «Михаил Пселл». Для П. Безобразова Пселл — тип преуспевающего и, как мы бы сейчас сказали, совершенно коррумпированного византийца, человека без всяких следов чести и совести. Так ли это? Не влияют ли на позицию Безобразова постоянные сопоставления византийской жизни с окружающей его российской действительностью? И, пожалуй, самое главное: насколько в принципе продуктивна для исследователя позиция отрицания, почти ненависти к герою — предмету его исследования? Последняя проблема особенно значима для оценки труда Безобразова. Конечно, ненависть — не лучшая помощница ученому в подобных случаях, впрочем, однако, как и умиление предметом исторического исследования, подчас становящееся ныне модным среди византинистов и специалистов по русской старине. В обоих случаях односторонность ущербна. В то же время «личное», заинтересованное отношение Безобразова к прошлому помогает ученому высветить такие его стороны, которые вовсе недоступны абсолютно объективному равнодушному исследователю.

Этим, пожалуй, и интересен публикуемый здесь труд. В нем все представлено ярко и выпукло, не говоря уже о том, что в русском переводе даются интереснейшие и весьма обширные отрывки из документов и писем XI века, с которыми больше нигде русский читатель познакомиться пока не может. П. В. Безобразов так никогда и не написал задуманного им второго тома своего исследования о творчестве Пселла. Не станем гадать, почему он этого не сделал. Не исключено, что многообразное творчество великого византийца не согласовалось с созданным Безобразовым образом «средневекового негодяя». Та книга, которую он успел опубликовать, — яркое историко-публицистическое сочинение, вполне заслуживающее интереса читателя начала третьего тысячелетия...

Текст книги Безобразова подвергся некоторому сокращению и небольшой редакцией. Многие греческие цитаты переведены нами на русский язык. Отрывки, приведенные автором по рукописям, идентифицированы по новым изданиям. Мои краткие примечания к тексту П. В. Безобразова заключены в квадратные скобки. Ссылки на литературу даются по правилам, принятым в публикуемой в этом же томе моей книге «Михаил Пселл. Личность и творчество».



П. В. Безобразов

**ВИЗАНТИЙСКИЙ ПИСАТЕЛЬ
И
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ДЕЯТЕЛЬ
МИХАИЛ ПСЕЛЛ**

Биография

Издание второе

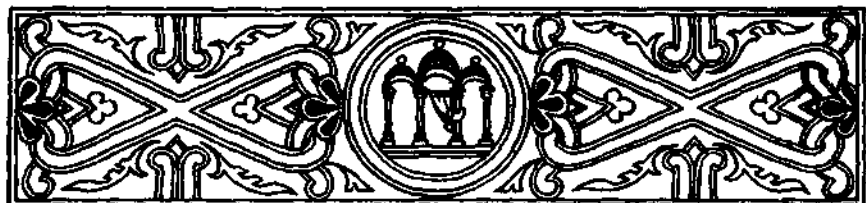




СОДЕРЖАНИЕ

<i>Предисловие</i>	14
<i>Глава I. Воспитание и деятельность Пселла до 1042 г.</i>	17
<i>Глава II. Государственная деятельность Пселла в царствование Константина Мономаха</i>	25
<i>Глава III. Государственная деятельность Пселла в царствование Феодоры, Михаила VI и Исаака Комнина (1055–1059)</i>	59
<i>Глава IV. Государственная деятельность Пселла в царствование императоров из дома Дук (1059–1077)</i>	104
<i>Глава V. Преподавательская деятельность Пселла</i>	129
<i>Глава VI. Характеристика Михаила Пселла</i>	173





ПРЕДИСЛОВИЕ

Михаил Пселл был несомненно одним из знаменитейших византийцев. В Константинополе его называли троблаженным, великим философом, ставили на одну доску с Демосфеном и Фукидидом. Вместе с греческими рукописями, перевезенными с востока в Италию в эпоху Возрождения, перешла на Запад и слава Пселла. Сочинения его печатали в Венеции, Риме, Париже начиная с 1503 г. Его хорошо знали такие ученые византилисты, как Алляций, Дюканж, Газе и другие; знал его и наш ученый митрополит Евгений. Сведения о нем помещались и помещаются во всех историях греческой литературы, во всех энциклопедических словарях. До сих пор, однако, никто не представил удовлетворительной биографии Пселла, никто не разобрал его сочинений и не ответил на вопрос, за что же пользуется он такой славой, заслужена ли она или нет? Не было времени, когда Пселл не пользовался бы известностью, и этого одного уже достаточно, чтобы заняться его личностью, признаваемою всеми выдающеюся.

Михаил Пселл был ученым писателем и государственным деятелем: отсюда двойкий интерес, связанный с его личностью. В первой части моего труда я представляю биографию этого византийца, пользуясь почти исключительно его собственными произведениями, мемуарами, речами и перепискою.* Тут имеется достаточно

* Так как мне постоянно приходится ссылаться на сочинения Пселла, изданные Сафою и Буссонадом, я обозначаю эти издания сокращенно.

Ps. — Sathas. Bibliotheca graeca medii aevi. Paris, 1874 и 1876. В четвертом и пятом томе этого издания напечатаны сочинения Пселла.

Boiss. — Boissonade. Michael Psellus. De operatione daemonum. Accedunt inedita opuscula Pselli. Norimbergae, 1838.

материала, чтобы проследить государственную и преподавательскую деятельность Пселла и представить его характеристику. Биография этого знаменитого мужа может до некоторой степени способствовать разрешению все еще открытого вопроса, почему пала Восточная империя? Нельзя же думать, что сильное царство Комнинов, сумевшее отразить многочисленные толпы хищных печенегов и половцев, блистательно справившееся с громадным войском первых крестоносцев, распалось исключительно потому, что Константинополь был взят западными рыцарями в 1204 г. Если внешние обстоятельства, политика венецианцев, походы турок-османов играли некоторую роль в судьбах Восточной империи, не в этом надо искать коренных причин ее падения. Не турки погубили Византию, она сама себя погубила; погубили ее чиновники, не имевшие ничего общего с народом, видевшие в нем исключительно плательщиков, из которых следует извлекать как можно больше денег всякими способами, дозволенными и недозволенными. Народ ненавидел администрацию больше, чем ненавидел он печенегов и турок. Вот в чем заключалось главное несчастье Византийской империи. Приступая к изучению Пселла, я считал его высокообразованным, талантливым и полезным деятелем, но чем больше я работал, чем пристальнее присматривался к его мемуарам и переписке, тем больше убеждался, что это не так. Эти плачевные результаты я изложил в первой части своего труда, в биографии Михаила Пселла.

Во второй части я представляю подробный разбор всех сочинений этого ученого. Так как Пселл был энциклопедистом, написал трактаты по всем наукам — философии, грамматике, праву, агрономии, медицине, математике, риторике, музыке, анализ его сочинений представит общую картину византийского образования. Византия гордилась своей наукой, с презрением относилась к Западу, а потому небезынтересно разъяснить, чем же была эта наука, стояла ли она действительно выше западной или нет? Вопрос этот не может быть чужд русским историкам. В последнее время много говорят о византийском влиянии в русской истории, влияние византийской литературы не подлежит никакому сомнению; но как же рассуждать о влиянии, не давая себе отчета в том, что влияло?

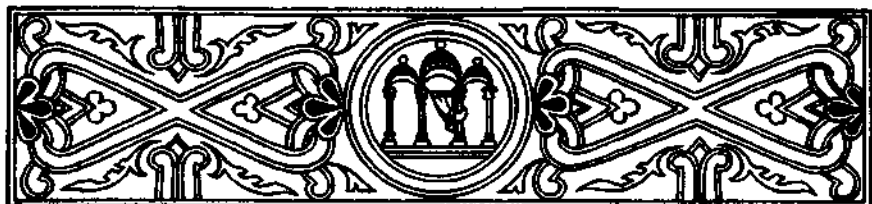
Кроме того, Михаил Пселл имеет еще специальный интерес для русской истории, потому что он говорит о варяго-русской дружине и подробно описал последний поход Руси на Византию (1048 г.),

потому что в переписке его сохранились два письма императора Михаила Дуки к одному русскому князю.

При составлении биографии Пселла мне удалось воспользоваться не только изданными сочинениями, но и рукописным материалом, извлеченным мною из западных библиотек, преимущественно Ватиканской, Флорентийской, Венецианской, Парижской и Оксфордской. Я обязан этим милостивому ко мне вниманию Его Императорского Высочества Государя Великого Князя Сергея Александровича и благосклонному участию его сиятельства господина министра народного просвещения графа Ивана Давидовича Делянова. Императорское православное палестинское общество, по указанию и желанию своего Августейшего Председателя, командировало меня в 1886 г. на Восток и в Италию для изучения хранящихся там греческих рукописей. Годом раньше я имел полугодовую ученую командировку от Министерства народного просвещения.

Я рад случаю публично засвидетельствовать, что везде, и на Востоке, и на Западе мне не только охотно разрешали заниматься рукописями, но всячески старались облегчить мой труд и помочь моим занятиям. В этом отношении я особенно признателен нашему чрезвычайному послу в Константинополе А. И. Нелидову и драгоманам посольства гг. Иванову и Вамваки и нашему посланнику в Тегеране Е. К. Бюцову (бывшему посланнику в Афинах). Из ученых в Константинополе мне помогали гг. Мордмани и Паладопуло Керамевс, в Афинах проф. Ламброс, Хадаидаки и г. Милицаракис. Я обязан особенною благодарностью г. Делилю, директору Национальной библиотеки в Париже, и хранителю рукописей той же библиотеки г. Омону, а также Е. Ренану, Е. Леграну, Г. Шлюмберже, г. Кастеланни, директору библиотеки Св. Марка в Венеции и его помощнику гр. Сонцаро, графу Анджело де-Губернатис во Флоренции, покойному кардиналу Питра и также покойному г. Сальвяти в Риме, г. Никольсону, директору Водлеевой библиотеки в Оксфорде, и профессору Оксфордского университета Голланду.

В заключение вменяю себе в приятную обязанность выразить искреннюю и глубокую благодарность всем лицам, помогавшим мне так или иначе советом, указаниями, теплым участием, и прежде всего, конечно, моему дорогому учителю и руководителю профессору В. Г. Васильевскому, а также Е. В. Барсову, Г. С. Дестунису, Ф. Е. Коршу, А. С. Павлову, М. П. Степанову, В. Н. Хитрову.



Глава первая

Воспитание и деятельность Пселла до 1042 г.

В начале XI века проживали в Константинополе тамошние уроженцы — некто Пселл и жена его Феодота.¹ Этот Пселл насчитывал в числе своих предков лиц титулованных, но сам не занимал никакой государственной должности и был очень беден.² В 1018 г. родился у него третий ребенок, сын Констант.³ Когда ему исполнилось пять

¹ Единственный источник о семействе Пселла и первых годах его жизни до поступления на службу — это его панегирик матери. Пользоваться им надо осторожно, потому что по требованиям византийской риторики Пселл должен был выставлять своих родителей в гиперболически хорошем виде, и кроме того многое отзывается шаблоном. Поэтому не решаюсь выдавать за истину, например, описание наружности его родителей, как это делает Сафа; разумеется, они выставлены красивыми. Свою мать Пселл не называет прямо по имени, но что ее звали Феодотой, видно из рассказанного им видения (Ps. V, 46). Что Пселл был уроженцем Константинополя, сказано прямо (Ps. V, 5).

² Ps. V, 9: «Отец мой возводил свой род к ипатам и патрикиям, но у самого него дела шли неважно».

³ Год рождения Пселла определяется из его мемуаров. Когда умер Константин VIII (15 ноября 1028 г.), он окончил первоначальный курс наук (Ps. IV, 30), а из панегирика матери видно, что ему было тогда 10 лет.

лет, мать отдала его в учение какому-то учителю, научившему его грамоте.⁴ Через несколько лет в семействе возник вопрос, стоит ли давать мальчику образование? Родственники советовали лучше обучить его какому-нибудь ремеслу, чтобы он мог скорее зарабатывать деньги.⁵ Но с этим не согласилась честолюбивая Феодота, игравшая главную роль в доме и распоряжавшаяся как ей было угодно своим бесхарактерным мужем; поняв, что ее Константин мальчик недюжинный и что при его способностях можно далеко пойти, она решила во что бы то ни стало дать ему надлежащее образование. Два видения окончательно утвердили ее в ее намерении. Во сне явился ей муж, похожий на Иоанна Златоуста, и сказал: «Не смущайся, жена, подаваемыми тебе советами, дай своему сыну образование, я буду его воспитателем и учителем». В другой раз явилось ей подобное же видение в храме Св. Апостолов и также советовало обучить сына наукам.⁶

Участь мальчика была решена, лет десяти он поступил приходящим в одну из византийских школ, где изучил грамматику, особенно правописание, и лиитику. Он рассказывает сам о себе, что способности у него были хорошие и при этом большая охота учиться, так что в течение года он изучил всю «Илиаду» и не только умел читать ее по размеру, но знал и правила стихосложения, и разбирал Гомера с риторической точки зрения, мог указать у него удачные метафоры и гармонию в сочетании слов.⁷ Преподавателем в этой школе был, может быть, Иоанн Мавропод, впоследствии митрополит Евхаетский; по крайней мере в панегирике этому лицу Пселл называет его своим учителем и говорит, что учился у него, когда был малолетним.⁸

Перед самой смертью Романа (11 апреля 1034 г.) ему было почти 16 лет (Ps. IV, 45). Когда вступил на престол Константин Мономах (июнь 1042 г.), ему было 24 года (Ps. IV, 119). Константином (Κόνστας) называется он в синодальном постановлении против латинян 1054 г. (Migne. Patrol. gr. T. 120); сам себя он тоже называл Константином, как видно из акростиха его памфлета на монаха Иакова. Константином называет его историк Скилица, и так называется он в заглавиях некоторых сочинений.

⁴ Ps. V, 12.

⁵ Ps. V, 12.

⁶ Ps. V, 12-13.

⁷ Ps. V, 14, 21.

⁸ Ps. V, 143, 148.

Пселл учился — кажется — до 16 лет. Когда он достиг этого возраста, он был освобожден от изучения поэтических произведений и мог заняться риторикой, другими словами, он окончил со средним образованием и был достаточно подготовлен, чтобы приступить к высшему образованию, к изучению риторики, философии и юриспруденции.⁹ До 16 лет жил он безвыездно в Константинополе и присутствовал в апреле 1034 г. при похоронах императора Романа Аргира.¹⁰ Вскоре после этого он в первый раз вышел из города и находился некоторое время у одного образованного судьи одной из ближайших к столице фем, должно быть Фракийской. Не знаем, что он делал у этого судьи, поступил ли он к нему на службу или только гостил, желая ознакомиться с администрацией. Прожил он там недолго, потому что получил от родителей письмо, вызывавшее его домой. Дома узнал он, что его потребовали вследствие тяжелой болезни сестры. Своей любимой сестры он, однако, не застал уже в живых. То была старшая дочь Пселла, замужняя и имевшая детей; эти дети, по всей вероятности, те племянники, к которым адресовано несколько писем Михаила Пселла.¹¹

Пселл начал государственную службу с очень незначительной должности; он был под началом какого-то должностного лица, может быть, пратора в Месопотамской феме. Это было тогда, когда он был юношей, только что переставшим быть малолетним, т. е. достигшим 19 лет, следовательно, в 1037 г.¹² К этому времени Пселл сумел уже составить себе некоторые связи, во время Михаила IV (1034–1041) занимал довольно видное место Константин Лихуд, который впоследствии был одним из его приятелей. Он был знаком и с евнухом Иоанном, братом императора Михаила IV, бывшим менялой, вошедшим в большую силу, с тех пор как благодаря его интриге императрица вышла замуж за его бесхарактерного брата. Благодаря этим связям Пселл получил более важное место судьи в Месопотамской феме.¹³

⁹ Ps. V, 28.

¹⁰ Ps. IV, 49.

¹¹ Ps. V, 28–32.

¹² В одном письме Пселл пишет: «Люблю Филадельфию... Я должник перед ее жителями за их прием и встречу. Я пользовался их гостеприимством, когда служил у Флора, только выйдя из юношеского возраста».

¹³ В том же письме Пселл пишет: εἶτα δὲ καὶ τὰς κρίσεις τοῦ βέματος μεταβείεῃς (Ps. V, 459). Трудно сказать, когда именно Пселл был судьей Месопотамской

В царствование Михаила V (декабрь 1041 г.—апрель 1042 г.) Пселл занимал должность асикрита, т. е. чиновника в приказе протасикрита, или по-нашему в императорской канцелярии. Когда поднялся народный бунт против императора, Пселл, как рассказывает в своих мемуарах, находился во внешней колоннаде дворца, перед входом во дворец, где исполнял свои секретарские обязанности и писал какую-то секретную бумагу. В это время ему сообщил кто-то, что все столичное население устраивает демонстрацию против царя; он сел на коня и отправился в центр города посмотреть, что такое творится. Бунт против Михаила поднялся, потому что он отправил в ссылку императрицу Зою, усыновившую его и этим способом возведшую его на престол. Зоя была возвращена из ссылки, и вместе с тем подняла голову партия ее сестры Феодоры, требовавшая, чтобы и Феодора была признана императрицей, так как она имела на это одинаковое право с Зоей. К партии Феодоры присоединился Пселл, когда увидел, что Михаилу не усидеть на престоле. По его словам, он сочувственно относился к Феодоре и сердился на Михаила за дурное с ней обращение. Начальником отряда, защищавшего Феодору, был один аристократ, друг Пселла: они отправились вместе в церковь Студийского монастыря, куда убежали император и его дядя новелиссим Константин. Пселл вошел в церковь и вступил в разговор с беглецами. Он пожурил новелиссима за то, что тот действовал заодно с царем, и согласился отправить в ссылку Зою, а императора спросил, что дурного сделала ему его мать и государыня, что он решился поступить с ней так безжалостно. На это новелиссим ответил, что он не принимал участия в ссылке, а император только плакал и рыдал. Вслед за этим Михаила и Константина постригли, и наступило трехмесячное правление Зои и Феодоры. Пселл понял, на чьей стороне сила, вовремя отказался от императора, в канцелярии которого служил еще в день народного бунта, и поэтому, конечно, не был лишен места в следующее царствование, хотя мы ничего положительного об этом не знаем.¹⁴

фемы (а не Филадельфии, как пишет Сафа, такой фемы не было (Ps. IV, р. XXXVII)), но вероятнее всего в царствование Михаила IV, потому что начиная с царствования Михаила V он постоянно находился в Константинополе.

¹⁴ Ps. IV, 926 98—100.

Служебные обязанности не мешали Пселлу заниматься наукою, которую он любил. «Какая-то особенная сила приковывает меня к книгам, — говорит он в панегирике матери, — и я не могу оторваться от них. Меня прельщает риторика, я очень люблю цветистую красоту речи. Подобно пчелам, летаю я по речистым лугам (т. е. читаю ораторов), то срезаю цветы, то стягиваю живительную росу слога и изо всего этого готовлю мед в своем улье. Круговое движение земного шара не позволяет мне успокоиться, но заставляет изыскивать, что такое движение, откуда началось вращение, какова природа земного шара, каковы круги, как они наложены, как разделены, что такое углы, равенство, эклиптики, каким образом происходит движение и какого оно бывает рода, произошла ли Вселенная из огня или чего-нибудь другого. Привлекает меня также логика, и я исследую, как из ума исходят мнения, из мнения непосредственно предложения, что такое аналогия и вероятность, соизмеримое и несоизмеримое. А первая и невещественная часть (т. е. сущность) Вселенной не дает мне заснуть; я удивляюсь ее отношению ко всем вещам и всех вещей к ней, предельному и беспредельному, каким образом из этих двух элементов вышло остальное, каким образом идея, душа и естество сводятся к числам. Музыка несказанно влечет меня к себе, и я занимаюсь ею не поверхностно, не только внешними ее проявлениями, но исследую ее силы, причины, сущность ритмов, которые из них правильны и которые нет, откуда происходит их красота. Я не только занимаюсь высшей мудростью, стоящей во главе всех наук и подающей всем начало, невещественной, но почитаю и поклоняюсь этой мудрости, которую можно назвать диалектикой или лучше просто мудростью (σοφία, философией); ибо диалектикой новые философы стали звать часть логики. Я люблю и доказательства чрез силлогизмы, не только из которых сейчас же следует заключение, но и те, для которых нужно наведение. Софизмами же я занимаюсь только, чтобы они не вводили меня в заблуждение, чтобы мне не заключать, что «знание и мудрость тоже самое», и не говорить, что «знающие науку — мудрецы (σοφοί, философы), а мудрецы (φилосоφοί) — это знающие мудрость (φилософию)», и чтобы мне не делать такого заключения: «только человек — животное», из посылок: «только человек смеется» и «всякое смеющееся существо — животное». Вот это привлекает меня, а еще больше познание вещей сокрытых: что такое Провидение и судьба, что такое неподвижное, что само себя двигающее, имеет

ли душа с самого рождения некоторые свойства или нет, представляет ли бессмертная сущность души или оно является по каким-нибудь другим причинам; я исследую также, есть ли у души какая-нибудь связь с телом, каким образом к ней примешана неразумная часть». ¹⁵

В мемуарах Пселл рассказывает о своем образовании следующее: «Мне был тогда двадцать пятый год (при вступлении на престол Константина Мономаха), и я занимался самыми важными науками. Я заботился всего больше о двух вещах: о том, чтобы посредством риторики научиться красиво говорить и, во-вторых, философией очистить ум. Так как я недавно научился риторике, я обращал главное внимание на философию; изучив уже достаточно логику, я занимался естественными науками, чтобы при их посредстве перейти к высшей философии. Но так как я не нашел сколько-нибудь замечательных учителей, я обратился прямо к древним философам и их комментаторам и прежде всего к Аристотелю и Платону. Затем я занялся Плотинами, Порфириями и Ямвлихами и после них дошел и до удивительнейшего Прокла, на котором я остановился, как бы причалив к величайшей пристани. Намереваясь после этого дойти до высшей философии и посвятить себя чистому знанию, я прежде всего стал заниматься учением о бестелесных величинах, которые составляют предмет математики и занимают среднее место между естественными науками, трактующими о вещественных телах, и невещественном о них мышлении и самосущностями, составляющими предмет чистого мышления, чтобы таким образом обнять кое-что из стоящего выше ума и сущности. Поэтому я занялся арифметическим методом и геометрическими доказательствами, музыкой и астрономией, не оставив в стороне ни одной из этих наук. Но так как я узнал от лучших философов, что есть мудрость, стоящая выше опыта, которую постигает только ум, приходящий в целомудренное иступление, я и ей не пренебрег, но, напав на секретные книги, научился ей сколько мог. Усмотрев, что есть два отдела знаний, один объемлется риторикой, другой — философией, что первая, не заключая более важных сведений, хвалится только обилием речений, вращается на построении частей речи, имеет приложение к речам политического содержания и, украшая слово, сообщает пышность речам политическим, философия

¹⁵ Ps. V, 54-56.

же, менее заботясь о словесных красотах, исследует природу сущего, представляет невыразимые словом созерцания, не только возводя до небес, но обнажая во всем разнообразии и ту красоту, которая на небе; усмотрев это, я не считал нужным, как многие делают, заимствовать только искусство (риторику) и пренебречь знанием (философией), или же, занявшись знанием и приобретя богатство мыслей, пренебречь изяществом речи, разделением и построением ее по законам искусства (риторики). Я держусь правила, за что многие меня осуждают, занимаясь риторическим предметом, вводить в него какое-нибудь доказательство из сферы знания (философии), а доказывая какое-нибудь философское мнение, украшать его прелестями искусства (риторики), дабы душа читателя, с трудом усваивающего глубину мысли, не была лишена философического слова. Так как выше этой философии есть еще другая, содержание которой составляет тайна слова, тайна же эта двойственно определяется и по природе, и по времени, да и самая эта другая философия двойственна: одною стороною доступна доказательствам, а в другой представляет знание, бывающее по наитию свыше, то я той первою философией занимался более, чем этой второю; что же касается последней, то частью руководствовался в ней словами великих отцов, частью внес и от себя нечто в божественное исполнение».¹⁶

В письме к Махитарю Пселл пишет, что изучил риторику, геометрию, музыку, ритмику, арифметику, право, богословие.¹⁷

В надгробном слове Никите, бывшему учителем орфографии (т. е. грамматики), другими словами, средней школы, Пселл сообщает, что сначала научился риторике, потом уже философии. Вместе с Никитою посещал он школу риторики и здесь научился этому искусству. Философии же он научился сам, читая Аристотеля, Платона и их комментаторов, так как в это время не было философской школы. Юридической школы тоже не было (она была основана при Мономахе), и юриспруденции Пселл научился случайно, когда сблизился с одним бедным юношей Ксифилином, переселившимся из Трапезунда в Константинополь для довершения своего образования. Это было тогда, когда, по словам Пселла, у него не росла

¹⁶ Рс. IV, 119–122. Конец этого отрывка приведен мною в переводе г. Скабалановича (Христианское чтение. 1884. Ч. I. С. 742).

¹⁷ Рс. V, 352.

еще борода; юноши обучали друг друга: Пселл Ксифилина — риторике, а Ксифилин Пселла — праву.¹⁸

Из сказанного видно, что по образованию Пселл был выдающимся человеком, так как в его время большинство занималось или риторикой, или философией, или юриспруденцией, он же изучил все эти науки.



¹⁸ Па. IV, 427.



Глава вторая

Государственная деятельность Пселла в царствование Константина Мономаха (1042—1055)

При вступлении на престол Константина Мономаха Пселл служил, по всей вероятности, в приказе протасикрита, занимая там должность асикрита. Он был недоволен своим начальником и вообще своим положением, желая, вероятно, получить повышение. В числе писем, напечатанных Сафою, есть и одно, никому не адресованное, в котором автор говорит о своей службе. Приводим этот документ в переводе, так как он проливает свет на византийскую государственную службу вообще, в частности же, на положение Пселла.

«Часто слышал я, — говорит Пселл, — божественные изречения, что за теперешние дела, полезные или худые, будет в будущем воздаяние, но я поражен, не видя, чтобы это была правда. Так как в будущей жизни будет различное воздаяние, не следовало бы и здесь карать лукавых и отличать почестями добрых? Теперь же здешние почести гораздо выше и ценнее будущих Елисейских полей, чтобы не сказать амброзии и нектара, и здешние бедствия гораздо тяжелее и хуже Пирифлегефонта, Кокита или какой другой реки,

наполненной грязью. Я пришел к такому размышлению не под влиянием чужих слов, и к такой речи привели меня ни чья-нибудь печальная судьба или плач, что порождает современная жизнь, но потому что я сам испытал бедствия и могу привести собственный пример. Так как я по воле злой и злосчастной судьбы, родившей и вскормившей меня, причислен к разряду асикритов и вследствие своей службы испытал множество неприятностей, я понял, насколько наказания будущей жизни слабее здешних тягостей. Да не подумают, что всякое земное бедствие я считаю страшнее небесной кары. Несомненно, смертная казнь, сажание на кол, засекание до смерти, если сравнить их с муками ада, покажутся легче последних. Но никто не скажет, что огонь геенны ужаснее службы асикрита, ибо что может быть невыносимее и тяжелее здешнего огня?

Прежде всего это очень тяжелый труд, и писать приходится так много, что нельзя ни почесать уха, ни поднять головы, ни вовремя напиться и поесть, ни очистить тела омовением, если не считать естественного омовения, т. е. пота, ручьями текущего с лица и головы. И такое великое за это воздаяние: оскорбления, угрозы, пренебрежение; все это течет в избытке, как будто из какого-то источника зол, и нет у нас никакого облегчения и освобождения от зол, но ежедневно зло увеличивается и прибавляется, и наполняется море бедствий, как будто в него впадают реки и заставляют его разливаться. Некоторое время положение наше казалось нам сносным, так как мы все приписывали негодности начальников, у нас являлась кое-какая надежда, воскрешавшая нас и облегчавшая тяжесть нашего бедственного положения, теперь же нас покинула и целебная надежда, и бедствие стало безвыходным, так как царствующий царь, разлив наподобие реки свои милости и обильно притекши ко всем, нас не оросил ни единою каплею.

Что значат сравнительно с этим муки Прометея или Тантала, что значит бояться висящего над головою камня или быть лишенным питья, стоя среди источника? Ибо хотя у Прометея и была вырезана печень, но надежда на изменение положения облегчала его несчастье, и действительно, он не ошибся в своей надежде; предсказав Зевсу стремление к Фемиде, он был освобожден от наказания. Хотя Тантал и не пользовался водою и фруктами, висевшими над его головою, он по крайней мере наслаждался ароматом, от них исходившим, и вместо горла угощалось его зрение. Мы же пригвождены не на Кавказе, — это бедствие было бы меньше, так

как никто не видел бы его, — но среди столицы, и все смеются над нами и поносят нас. И это терпим мы, не сделав ничего дурного, не похитив огня, мы, вскормленные музами, ученики ученого Гермеса, часто плясавшие на Геликоне, и, решаюсь сказать, мы, которым Каллиопа, подставив свои груди, доставила чистоту знания. Но как бы претерпевая кару за какие-то злодеяния, нас поражают со всех сторон, ранят, мы находимся под ударами людей. Мы как будто заперты в тюрьме, со всех сторон нас стерегут стражи, и мы выносим много кар и наказаний. Царские же милости тешат только наш слух или, лучше сказать, представляют для нас еще более тяжкое оскорбление. Ибо если бы все наравне с нами были лишены блага, мы не страдали бы так, но всего невыносимее и ужаснее то, что в то время как те имеют крайний избыток хорошего, мы сгораем в печи несчастий. Нет утешения в том, что река разливается, источник течет и море наполняется волнами, и мы одни ничего не получаем из этого потока. Черпает из него эфиоп, пользуется милостью житель Индии, скиф насыщается богатством этого источника по самое горло, для нас же, сидящих у самого устья потока, он не существует, и мы даже не осуждены, как Данаиды, наполнять бездонную бочку, чтобы как-нибудь не насладились водою.

Уйдя отсюда, я не встречаю худших наказаний, хотя один терпит мучительного червя, другой — потоки огня, исходящие с царского престола, третий — глубокую тьму или что другое более страшное. Служба асикрита — более тяжкое и невыносимое зло, чем огонь, мрак и червь. Какое гневное у них сборище! Как будто запертые и стесненные в каком-то узком месте, где нельзя пройти, они теснят друг друга и дают бока, так что невольно текут из глаз слезы и изо рта течет слюна. Оттого у них сжимается печень и вместе с нею страдает селезенка, сердце сжимается, делается головокружение и становится трудно дышать. Но, может быть, кто скажет, они наслаждаются своими страданиями; увь, не говори, не вспоминай о язвах Иова и о мертвецах в аду! Я могу задохнуться от одних этих воспоминаний. Итак, если сделанное нам для наслаждения тяжелее всякого наказания, желающий может вывести отсюда, каковы грустные обстоятельства!

Известно, что эгоизм и личное самолюбие порождают величайшие бедствия; это достаточно доказывается многими примерами, а также самомнением и нелепыми о себе мечтаниями асикритов. Ибо не по справедливости считают они себя достойными награды,

но воображая о себе очень много; желая выдаться над сослуживцем, каждый считает себя достойным высшей награды. Один выставляет правом на повышение умение скоро писать, другой считает себя выдающимся по своим знаниям, третий выставляет свою физическую силу, четвертый — умение красиво говорить, пятый — умение отпускать пошлые шутки и льстить, как, например, Павел Самосатский,¹⁹ шестой — старшинство возраста, не понимая, несчастный, что лесные звери гораздо старше тут проживающих (т. е. людей), но поэтому они не более ценны. Один выставляет душевные преимущества, другой — физические, и всякий старается таким образом оказаться победителем над всеми. Многие же, не имея никаких преимуществ, стараются укрепить за собою победу своими недостатками, вмешательством в чужие дела и болтовнею.

Отсюда возгорелось пламя раздора и неразрешимое состязание, и не было миротворца, ни старца Фасулы, ни старого Ахиры, которым испокон веков суждено быть посредниками и примирителями. Доносили друг на друга, обнаруживали скрытые дела. Никто не был избавлен от оскорблений — ни молодые, ни старые, ни выдающиеся своим талантом или знаниями; все одинаково подвергались брани и поношениям. Некто назвал своего товарища безумным старцем; получивший такое оскорбление назвал оскорбителя сплетником и безразличным человеком. Последний не удовольствовался словами и присоединил к нему гадкие дела, поднял на друга руку, вооруженную мечом, ударил его кулаком и ногою толкнул в живот.

Все одинаково сумасшествовали, никого не было в здравом уме, и все находилось в беспорядке и гибло. В таких обстоятельствах не было человека действительно полезного, но все были сварливы без всякой пользы и интриговали, действуя пустой болтовней и доносом. Несчастные, они не понимали, что большинство из них будет лишено золота и службы, даже если Павел не будет принят. Ибо налаяв однажды в уши протаскриту, он думал, что это хороший способ не быть изгнанным со службы, но он зажег огонь против себя. Беседуя поздно вечером с протаскритом и желая узнать, каково его расположение к асикритам, я узнал, что он

¹⁹ Павел Самосатский — известный еретик III в., отличавшийся своим беспокойным характером и интригами. Не желая называть по имени одного из своих сослуживцев, Пселл называл его Павлом Самосатским.

настроен, как волк против овец, собирающийся тотчас же пожрать их. Когда же я спросил о Павле, доставил ли ему какую-нибудь пользу его злой язык, я увидел, что язык протасикрита мечет на него огонь. Этот проклятый человек, сказал он, глупый, с необузданным языком, смущающий весь приказ, безнравственный, смущающий души всех товарищей, будет лишен золота и наказан величайшим бесчестьем». ²⁰

Очевидно, Пселл написал приведенную записку не для собственного удовольствия, а думал чего-нибудь добиться ею. В приказе протасикрита, как видно из церемониала, составленного при Константине Багрянородном, состояли асикриты, царские нотариусы и один декан, вероятно, старшее лицо после протасикрита. ²¹ Пселл сообщает, что в этом приказе произошел какой-то скандал из-за того, что все асикриты желали занять какое-то высшее место и интриговали друг против друга. Вероятно, речь шла об освободившемся месте декана; больше других добивался его один чиновник (названный в записке Павлом Самосатским), старавшийся очернить пред протасикритом своих сослуживцев и выставить свои заслуги. Страсти разгорелись до того, что чиновники не только наушничали перед начальством, но даже вступали в драку между собой. Своим непристойным поведением асикриты крайне рассердили протасикрита, так что последний собирался выгнать их со службы. Пселл ходил к своему начальнику, желая выведать от него, как он смотрит на поведение своих подчиненных; при этом случае он, конечно, не преминул сказать ему, что ничего общего с интригами не имеет. Чтобы еще более доказать это, была написана приведенная записка.

Но цель была еще иная. Записка была послана, вероятно, какому-нибудь влиятельному лицу того времени в надежде, что она дойдет до императора. Пселл желал, очевидно, обратить на себя внимание царя; ему казалось несправедливым, что такой образованный человек, как он, занимает ничтожную должность асикрита. С той же целью написал он в начале 1043 г. панегирик Константину Мономаху, в котором расхвалил его до небес и который закончил просьбой обратить внимание на его бедственное положение. «Каково же наше положение? — говорит Пселл в заключение речи. —

²⁰ Ps. V, 248—252.

²¹ *Const. Porphyg. De Ceremoniis*. P. 719 (Боннское изд.): «Протасикриту подчинены три вида чиновников: асикриты, царские нотариусы, декан».

Мы отвержены, мы в небрежении — не сердись на мои слова, — мы, питомцы знания, приверженцы мудрости, почитатели муз. Кто поразила врага копьем или только натянул лук, тот удостоивается высших почестей. А мы провозглашаем в речах твои добродетели, служим чем можем и едва кое-где воспринимаем каплю сострадания. Но опять я скажу то же самое, не сердись, царь, за откровенность, это плод наболевшей души. Где же превозносится слава Ромулов, Брутов и Элиев, Селевков и Александров? Разве не в речах, разве не в сочинениях? А что же побуждало сочинителей написать свои сочинения? Разве не то, что их благодетельствовали за сочинения? Разве Дионис не подарил Гелику Кизическому талант серебра за то, что он предсказал солнечное затмение? Он же относился к Платону почти с тем же почтением, как к Богу за то, что он учил его этическим правилам философии. Если бы ты пожелал, скольких бы ты мог породить Платонов, сколько Гомеров, или если не таких писателей — ибо они чересчур выдаются, — по крайней мере скольких Митродоров, скольких Фивамонов! Я не говорю, царь, чтобы ты всякому писателю открывал источники своего милосердия, чтобы удостоивался той же чести худший и лучший, но пускай многие рассматривают наши сочинения, и кому дано будет предпочтение, тому пускай откроются сокровища твоей царственности. У тебя, царь, много судей, настоящих муз, пусть они судят о наших сочинениях; и если ты не назовешь меня избранным писателем, я готов буду вновь быть в числе несчастных.²² Эта искусная речь, составленная в чисто византийском стиле, пришлась по сердцу царю, и с лета 1043 г. мы видим Пселла в числе лиц, приближенных к Мономаху.²³ Конечно, одними литературными произведениями, как бы талантливо и хороши они ни были, Пселл едва ли сделал бы карьеру. Гораздо важнее была протекция влиятельных особ. Несмотря на свое темное происхождение и бедность, Пселл умел завязывать знакомства в высших сферах, и при вступлении на престол Мономаха его знали уже многие придворные. Они-то расхваливали Пселла царю и выставляли на вид между прочим и то, что он очень приятный собеседник и умеет красиво говорить. Пселл был представлен Мономаху

²² Ps. V, 141.

²³ Намек на значение панегирика заключается, кажется, в следующих словах Пселла: «Прелесть моего языка стала для него первым освящением и окроплением моего святилища» (Ps. IV, 124).

и до такой степени очаровал его своим разговором, что император чуть было не обнял его.²⁴ При этом случае молодой чиновник пустил, конечно, в ход риторику, в которой он был так силен, и наговорил царю немало лстивых фраз.

Ни сам Пселл, ни кто другой не сообщает, как называется должность, какую он занимал в царствование Мономаха, но с достаточною вероятностью можно утверждать, что в начале этого царствования он был асикритом и вскоре после этого был произведен в начальники этого приказа, т. е. в протасикриты. Сам о себе Пселл говорит только, что он был императорским секретарем.²⁵ Мы знаем, что он составлял письма от императора к египетскому султану, и им же было написано письмо от Константина Мономаха к печенежскому хану Кегену.²⁶ В 1049 г. Пселл написал судебное постановление по делу о спорном поместье и, конечно, был членом суда, разбиравшего эту тяжбу.²⁷ В 1043 году при нашествии Руси Пселл сидел рядом с императором на одном холме и наблюдал за ходом морского сражения; он был тут в числе других сановников, вероятнее всего, в качестве протасикрита, так как мы знаем, что византийские императоры брали с собою в походы свою канцелярию.²⁸

Мы видим, что Пселл делал то, что составляло обязанности протасикрита, почему и думаем, что он занимал эту должность. В приказе протасикрита писались так называемые хрисовулы, т. е. документы, скреплявшиеся золотою императорскою печатью и императорскою подписью; к таким документам принадлежали и письма от императора к иностранным монархам. Из Пиры, юридического сборника XI века, мы узнаем, что протасикрит имел и некоторые судебные функции; он являлся членом суда по гражданским делам, по-видимому, тогда, когда приходилось разбирать документы (завещания, дарственные), скреплявшиеся, может быть, в императорской канцелярии.²⁹

²⁴ Ps. IV, 123–124.

²⁵ Ps. IV, 130. Ἀμέλει τοι συνέλεγμένων κατὰ τῶν ὑλοραφισταθεομένων ἡμῶν. Глагол ὑλοραφισταθεῖо употребляется в общем смысле «исправлять секретарские обязанности».

²⁶ Ps. IV, 193; Ps. V, 405.

²⁷ Ps. V, 197–203.

²⁸ Ps. IV, 145. «...я находился рядом с императором».

²⁹ Pira XIV, 1; XXV, 69; XLIII, 8; LIII, 1 (Zachariä. Jus Graeco-Romanum. V. I). Ср.: Zachariä. Griechisch-Römisches Recht. P. 351.

Протасикрит по византийской табели о рангах не принадлежал к числу самых важных сановников: выше его считались все стратиги, т. е. губернаторы провинций, эпарх, логофет *уэкикоб* (т. е. приказа большой казны), квестор, начальник военного приказа, друнгарий вилы (начальник императорской стражи), логофет дрома (приказ иностранных дел и путей сообщения), главный адмирал флота, начальники некоторых финансовых приказов.³⁰ Но по своей фактической власти он, по всей вероятности, был сильнее многих других сановников. По обязанностям своей службы он должен был видеть императора довольно часто, а, с другой стороны, им писались документы, имевшие большую важность для всех чиновников, например, хрисовулы на право владения поместьем, на освобождение от тех или иных повинностей. Протасикрит считался придворным должностным лицом, он был один из самых нужных людей в императорской свите, и мы видим, например, что на собрании сановников на первой неделе Поста, когда император держал перед ними речь, протасикрит стоит на верхней ступеньке, ведущей к трону, почти ближе всех к царю.³¹ Недаром же и в одном официальном документе о Пселле говорится, что он стоял близко к царю Константину Мономаху и был выдающимся сановником (*Рс. V, 204*).

Как протасикрит, Пселл получал, конечно, жалованье, так как мы знаем, что вообще должностные лица получали содержание, но сумма неизвестна. Известно только, что стратиги младших фем получали по 5 литр в год, или на наши деньги приблизительно 1400 руб. золотом; протасикрит получал, конечно, меньше, потому что занимал менее важное место. Кроме жалованья протасикрит получал пошлину (*συνίβεια*) с некоторых чиновников; так, награжденный чином стратилата (*στρατιλάτης ἐπί θεμάτων*) обязан был уплатить протасикриту 24 милиарисия, ипат — 6 мил., дисипат — столько же.³²

Как человек служащий, Пселл производился, конечно, в чины: при Мономахе он был вестом, а в конце этого царствования имел следующий чин вестарха.³³ По табели византийских чинов вест это восьмой чин, а вестарх — седьмой; старше его магистр проэдры,

³⁰ *Const. Porph. De Ceremoniis. P. 713-714.*

³¹ *De Ceremon. P. 546.*

³² *De Ceremon. P. 708-709.* Милиарисий = 1/12 номисмы, около 35 коп.

³³ Из одного документа, написанного в июне 1054 г., мы узнаем, что Пселл был в это время вестархом, ибо несомненно он назван здесь *Κόνσταξ*

куропалат, новелиссим, кесарь.³⁴ Чин давал право на получение певнии, так называемой руги, выдававшейся императором раз в год. Вест и вестарх получали, несомненно, более двух литр руги, но сколько, нам в точности не известно.³⁵

Пселл был очень близок к Константину Мономаху, имел право входить к императору без зова, не испрашивая аудиенции. «С тех пор, как ты уехал отсюда, — пишет он судье Харсианской фемы, — я видел императора всего три раза (вследствие болезни), теперь же зима прошла, здоровье мое поправилось, и я решил почаще ходить во дворец».³⁶ Отношения императора к Пселлу были исключительными и не ограничивались докладами по служебным делам. В своих мемуарах он рассказывает нам следующую сцену. У Константина Мономаха была официальная любовница, некая аланка, вообще некрасивая, отличавшаяся только выразительными глазами и белой кожей. В эту аланку влюбился любимый шут императора. Однажды Пселл пошел вместе с Мономахом к царской любовнице, пошел с ним и шут. Влюбленный шут, воспользовавшись удобным случаем, стал бросать на аланку вкрадчивые взгляды, украдкой улыбаться ей и т. п. Это заметил император, и, толкнув Пселла, скачал ему: [«Смотри, этот негодяй все еще влюблен»].³⁷

Такого положения Пселл достиг, конечно, благодаря своей даровитости, а также низкопоклонством и лестью. В душе он был очень дуриного мнения о нравственности Мономаха, он воамущался его распутством и особенно тем, что громадные суммы переходили из

βεστάρχησ καὶ ὑπατοσ τῶν φιλοσόφων (*Migne. Patrol. gr. T. 120. P. 745*). В документе, написанном в царствование Феодоры (в августе 1056 г.), говорится, что Пселл был награжден чином вестарха императором Константином Мономахом. Ὁ εὐλαβεστάτοσ μοναχοσ Μιχαήλ, ὁσ τὸ μὲν βεστάρχησ γεγονέναι παρὰ βασιλέωσ εὐρίτο (*Ps. V, 204*). Вестом подписывается Пселл в двух письмах. Ἐγὼ δὲ ὁ τοῦτων γραφεὺσ ὁ βέστησ (*Ps. V, 332*). Ὁ δὲ ταῦτα σοὶ γράφων βέστησ (*Ps. V, 334*).

³⁴ См. мой «Материалы для истории Византийской империи» (Журнал Министерства народного просвещения (далее — ЖМНП). 1889. Сентябрь).

³⁵ Из напечатанного мною хрисовула Михаила Дуки видно, что спафарокандидат получал руги 36 номисм, протоспафарий — литру, ипат — две; вест должен был получать гораздо больше. См.: ЖМНП. 1889. Сентябрь. С. 25.

³⁶ *Ps. V, 308*.

³⁷ *Ps. IV, 178–179*.

государственного казначейства в руки фавориток. «Я плакал, — говорит он в своих мемуарах, — видя, что так растрачиваются деньги, и так как я большой патриот, я стыжусь за своего царя». Но плакал он в душе, открыто же произносил панегирики этому распутному монарху, не стыдясь хвалить его публично за то, за что потом порицал в мемуарах. «Мономах, — рассказывает г. Скабаланович (на основании мемуаров Пселла), — неудержимо предавался разного рода удовольствиям и предпринимал для развлечения всевозможные затеи. В выстроенном им монастыре Св. Георгия в Манганах он соорудил для себя палаты, раскинул роскошный сад, а в саду — пруд для купанья, который так был замаскирован зеленью, что гуляющий, засмотревшись на сочное яблоко или грушу и отправившись ее сорвать, неожиданно попадал в пруд и против воли принимал холодную ванну».³⁸ За эти-то безумные затеи, на которые тратились трудовые деньги народа, Пселл восхваляет в одном панегирике императора как необыкновенно искусного архитектора, сумевшего устроить орошение в пустыне.³⁹

Открытая связь императора со Склиреной, почет, которым он окружал свою «августейшую» любовницу (как называл ее), полнейшее забвение элементарных приличий возмущало нравственное чувство народа. Недовольство дошло до того, что во время одного из царских выходов (9 марта 1044 г.) в толпе раздавался голос: «Мы не хотим иметь царицей Склирену и не допустим, чтобы чрез нее умерли наши матушки, порфирородные Зоя и Феодора». Поднялся настоящий бунт, народ хотел схватить царя, с трудом удалось успокоить толпу. Атталиат в ярких чертах описывает, какие несправедливости делались в царствование Мономаха, как плакали те, с кого сборщики податей взимали незаконные поборы.⁴⁰ Поэтому Мономаху приятно было иметь на своей стороне таких тонких льстецов и искусных риториков, как Пселл. Ему важно было, чтобы среди всеобщих стонов, среди всеобщего недовольства его распутством и тяжестью податей публично раздавались такие фразы: «Ты, царь, заступник бедных, ты поощряешь хороших, караешь злых, указами своими ты ввел в государстве правосудие и справедливость, ты не позволяешь сборщикам податей брать незаконных поборов или судьям судить не

³⁸ Византийское государство и Церковь. С. 67.

³⁹ Ps. V, 113.

⁴⁰ Attalios. P. 50-51.

по закону. Будь жив Гесиод, он вынужден был бы изменить свой порядок, он должен был бы сказать, что сначала был медный век, потом серебряный, а теперь наступил золотой». ⁴¹

Таких панегириков Пселл написал целых пять, из которых два, напечатанные Сафою, едва ли были произнесены (они слишком длинны для этого), а три неизданные, несомненно, были сказаны по каким-нибудь торжественным случаям. ⁴²

Пселл всегда чувствовал, на чьей стороне сила и старался сблизиться с людьми влиятельными. Так, в начале царствования Мономаха, когда большое значение имела императорская фаворитка Склирена, Пселл сдружился с ней и рассказывал ей древнегреческие мифы.

Он поддерживал близкие сношения с влиятельными лицами того времени, в особенности с Константином Лихудом, Иоанном Ксифилином, Иоанном Мавроподом. Лихуд занимал должность протовестария (или оберцеремонимейстера) и имел высокий чин проэдра. Это был человек, имевший наибольшую власть в это царствование. Константин Мономах предпочитал забавляться любовными утехами, фантастическими постройками, серьезными же делами он предоставлял заниматься своим министрам и преимущественно Лихуду. Последний, по словам Пселла, соначальствовал стратигам, подавая им советы, толковал сомнительные законы, писал приказы о назначении на должности, делал распоряжения насчет государственных податей; кроме того, на нем лежала обязанность утишать поднимавшиеся волны государственного моря, т. е. поддерживать внутреннее спокойствие в империи и предотвращать возможные вспышки со стороны недовольных. ⁴³ Одним словом, Лихуд был всемогущим временщиком, который все мог у императора. С Лихудом был дружен Пселл, и, по всей вероятности, он первоначально выдвинул Пселла, указав на него императору. Ввиду выдающегося положения Лихуда Пселл относился к нему с должным почтением. «Будь здоров, — пишет он ему в одном письме, — великая польза Ромеев, утешение мое, жизнь моя». ⁴⁴

⁴¹ Из неизданного панегирика Мономаху Пселла, списанного мною в Оксфорде в Бодлеевой библиотеке из codex Baross. 131. [*Psellus Michael*. 1994. P. 83, 75-78. — Я. Л.]

⁴² Кроме указанного, два панегирика списаны мною в Венеции из codex Marcian. 445.

⁴³ P. IV, 402.

⁴⁴ P. V, 456.

Ксифилин был номофилаком, т. е. учителем в юридической школе, основанной при Мономахе, а также начальником приказа гражданских дел.⁴⁵ Пселл был его товарищем по учению и сохранил с ним дружеские связи и впоследствии. До нас дошло одно письмо, в котором Пселл поздравляет Ксифилина с рождением сына. «Я радуюсь, — пишет он, — появлению на свет новорожденных детей, в особенности же, когда их родители мои друзья. В древности персидские цари не смотрели тотчас на новорожденных и не обнимали детей, только вышедших из материнской утробы, но у них был положен определенный срок, по прошествии которого полагалось увидеть ребенка. Почему же они делали это? Они боялись, чтобы новорожденных, как существ слабых, не похитила смерть прежде, чем успеют укрепить их члены; они откладывали смотреть на детей, чтобы после большой радости, доставляемой этим зрелищем, не подвергнуться слишком большому горю, глядя, как они умирают. Но зато они лишали себя большой прелести. Но я не лишал себя зрелища, как мыли и целовали твоих детей, и было для меня самым приятным зрелищем смотреть, как младенец лежит на левой руке у кормилицы, а правой она моет его. Я волновался, если вода слишком тепла, и бранил за это банщицу. А песни кормилицы пленяли меня больше песен Орфея и сирен. Когда же она собиралась спеленать и связать младенца, спеленывала руки, слегка вправляла голову, прикрывала и свивала все тело, я приходил в ужас, как будто связывали меня самого, и чуть не страдал вместе с младенцем. С удовольствием буду я обнимать и крепко целовать детей своих друзей, и буду учить кормилицу, что ей следует делать то-то и так-то ухаживать за младенцами, а мать, что таким-то образом надо исследовать молоко, то-то есть, от того-то воздерживаться; и я буду плакать с плачущими друзьями и радоваться с радующимися. Милейший мой начальник гражданского приказа, я часто буду сажать к себе на колени твоего ребенка, высоко поднимать его на воздух и играть с ним. Будь здоров прежде всего телом, а затем и духом, люби детей, радуйся с новорожденным, когда он будет издавать радостные восклицания, и крепко держи его на руках, когда будешь поднимать его, ибо мне всегда представляется это страшным».⁴⁶

⁴⁵ Биография Ксифилина написана Фишером: *Fischer. Studien zur byzantinischen Geschichte des elften Jahrhunderts*. Plauen, 1883.

⁴⁶ Рс. V. 409-412. Письмо не имеет адреса, но Пселл называет лицо,

Иоанн Мавропод не играл такой выдающейся роли, как Лихуд и Ксифилик. Он был учителем, но тем не менее был лично известен императору, и последний называл его даже отцом, если верить панегирику Пселла. Как видно из нескольких писем, Пселл был приятелем Иоанна, впоследствии митрополита Евхаитского, и даже написал ему панегирик еще при его жизни.

Одним из самых влиятельных лиц в царствование Константина Мономаха был несомненно константинопольский патриарх Михаил Кируларий. Он отличался неуживчивым характером, надменным обращением с людьми, ниже себя поставленными, и едва ли жаловал философов, особенно учивших языческой философии, как Пселл, и ставивших Платона выше Отцов церкви. Но, во всяком случае, он был большой силой, потому что не ограничивался церковными делами, но вмешивался и в государственное управление; и мы видим, что Пселл всячески старался приобрести расположение знаменитого иерарха. До нас дошло восемь писем Пселла к Кируларию, из которых особенно интересны три.⁴⁷

«Стремясь к тебе, — пишет он в первом письме, — не вижу тебя таким, каким желал бы видеть. Счастье изменило мне, внезапно и неожиданно покинуло меня. В чем погрешил я, что сделал я недозволенного? Если следовало мне быть несчастным, я претерпел уже несчастье, так как все мои действия объясняются совершенно превратным образом и как раз противоположными побуждениями. Я простодушен, а меня считают хитрецом, речь моя представляется интригой, мои мудрые писания дают повод к подозрению (*τὸ σοφὸς ὑπέχειν εἰς ὑποψίαν κινεῖ*), то, что я люблю твои беседы, объясняется любопытством. Если я сношу обстоятельства великодушно, меня презирают; если смалодушествую от скорби, надо мной смеются. Если я желаю убедить, я совершил нечестие, потому что поспорил с теми, кто лучше меня. Разве все это не большое несчастье?

Но есть один способ разрешить все это и самый легкий: если бы я пожелал оставаться спокоен, бедствия прекратились бы. Много

к которому пишет, *ὁ ἐπὶ τῶν κρίσεων* и вестархом. Так как Ксифилик занимал эту должность в царствование Мономаха, представляется вероятным, что оно адресовано Ксифилину; какой он имел чин, мы не знаем.

⁴⁷ Третье из этих писем будет приведено в своем месте, так как оно позднее царствования Мономаха; здесь же указываем только на два.

раз пытался я сделать это; но меня губят чувства, влекущие меня к тебе сильнейшим образом и не позволяющие оставаться при своем намерении (т. е. покинуть тебя). Ты наполовину скрыт для меня: той стороной, которая видна, влечешь к себе, а той, которая скрыта, удерживаешь меня. Если бы ты, закрыв мне раз двери, прогнал от себя, я, потеряв надежду найти к тебе дорогу, пошел бы по другой. Ты, может быть, так сказать, чванишься и заставляешь себя просить, показывая одно из желанного для меня, другое же скрывая.

Я чуть было не задохнулся, получая для дыхания незначительную часть воздуха. Во всех остальных отношениях я чувствую себя сильным и в искусствах, и в науках, и в добродетели, так что недостает мне только твоего лицезрения; я кричу, как лишенный всех благ. Я выносил вид солнца, покрытого большими тучами, я не унывал, часто видя луну не дающей света; если же я не вижу тебя в полном сиянии, не вижу, что у тебя освещен весь круг, я печалюсь и скорблю, как будто мне нанесли крайнее оскорбление. Знаю, что ты предпочитаешь меня многим другим, но что я не могу, так сказать, привлечь тебя всего к себе и обнять тебя своими руками, я считаю наказанием за свою жадность. Я стараюсь утешиться разными соображениями, примерами древними и новыми, из жизни эллинов и варваров, из естественных наук и богословия, ибо Божество не вполне достижимо и естество не может быть вполне понято. Моисей, увидев спину Бога, был благодарен за это, считая, что он достиг всего... мое же сердце понуждает меня испить тебя всего, всецело окватить тебя.

Что мне рыба? Дай мне самого себя как прежде с обычной простотой*.⁴⁸

Смысл письма ясен. Патриарх был недоволен Пселлом, он считал его коварным другом и интриганом, обвинял в том, что приходил к нему не столько, чтобы с ним поговорить, сколько разузнать, как он смотрит на то или другое событие, на того или другого деятеля. Кируларий принимал Пселла, но отношения были довольно холодные, и вот Пселл, воспользовавшись знаком его благоволения (присылкой рыбы), старается доказать патриарху, как он дорожит его расположением, каким несчастным себя чувствует, когда вынужден с ним редко видеться, и сравнивает его недоступность с недоступностью Бога для человека.

⁴⁸ Рс. V, 413-414.

Еще знаменательнее другое письмо Пселла к патриарху, начинающееся словами: «Всяк дар совершен свыше исходяй; если хочешь, объясним это изречение таким образом: пусть будешь ты Богом для меня (οὐ μὲν ἔσο θεός ἐμοί), никто не станет обвинять за такие слова, ибо право на это дает тебе совершенство помазания (τοῦτο γάρ δίδωσι σοι ἡ τελειότης τοῦ χρισματος)».

В этом письме, в котором Пселл благодарит Кирулария за присланную ему рыбу, говорится между прочим следующее: «Я достигаю блаженства от тебя и чрез тебя. Очень далеко до того, чтобы тебе делить со мною откормленного тельца, но почему, как собака, не наслаждаюсь я падающими с твоего стола крохами?»

Письмо кончается такими словами: «Пусть раскроется мне великое море человеколюбия, прости не погрешившего, что говорю, — не погрешившего, скорее жестоко упрекавшего себя в грехах. Если ты, нелицеприятный судья, отпустив мне остальные прегрешения, будешь судить по своим талантам (χῆν ἐκί τοῖς τάλαντοῖς διχάσης, т. е. по моему расположению к тебе), то поставишь меня не только одесную, но и вблизи престола. Кому же мы выказали неблагодарность или дали повод к неприязни? Было бы нелепо, если бы мы, укрепившись в расположении остальных людей, которые по большей части ничтожны, изменили свое расположение к тебе, почтившему нас и, так сказать, усыновившему».⁴⁹

Письмо это, с нашей точки зрения, неприлично и кощунственно; но по византийским понятиям можно было сравнивать с Богом царей и патриархов и применять к ним евангельские выражения, сказанные о Спасителе.

По-видимому, Пселлу удалось вполне приобрести расположение патриарха, о чем он так хлопотал; по крайней мере, в остальных пяти письмах нет ни малейшего намека на холодность Кирулария, а одно из них несомненно писано уже после царствования Мономаха, когда Пселл был монахом.⁵⁰ Все эти письма не что иное, как словоизлиятия в благодарность за присылку сыра и рыбы, которою патриарх, как видно, нередко наделял Пселла; все они написаны на общую тему: как хороша присланная тобою рыба. Поэтому считаю излишним приводить даже отрывки из этих писем; желающие

⁴⁹ Ps. V, 414—416.

⁵⁰ Ps. V, 289. ἀλλ' ὄρεξ' ὄλου με τὸν ἀσκητὴν κατεβίβασεν ὁ ἰχθύς. [Пселл именует себя «аскетом». — Я. Л.]

убедиться, как цветисто умели византийцы расхвалить любое животное, могут обратиться к оригиналу.⁵¹

Пселл прав, говоря что он достиг высокого положения в царствование Константина Мономаха.⁵² Как к лицу, близко стоявшему к царю и имевшему обширные связи, к нему обращались за протекцией провинциальные чиновники, занимавшие сами довольно важные места. Такой важный человек, как Михаил Иасит, бывший стратигом одной из азиатских фем и имевший довольно значительный чин магистра, обращался к Пселлу с каким-то делом. На это последний ответил, что он говорил с императором об Иасите и сумел возбудить жалость царя, что он не бросит его дела, пока не добьется полного успеха. Может быть, в благодарность за эти хлопоты Иасит послал Пселлу коня; расхвалив на все лады подарок, Пселл все-таки сознается, что он ему бесполезен, и просит прислать кроткого мула, так как он управлять лошадьми не умеет.⁵³

Мы видели уже, что к Пселлу обращался судья Харсианской фемы (прилежавшей к Каппадокии), и он обещал поговорить о нем с самим императором и всесильным Лихудом.⁵⁴

Таким образом, пред нашим сановником заискивали начальники областей, стоявшие по табели о рангах не ниже его.

Если Пселл хлопотал за других, он не забывал и о себе. Он был беден, а между тем положение его при дворе требовало, чтобы он жил более или менее роскошным образом. Поэтому Константин Мономах подарил ему дом, купленный у Константина Дуки (будущего императора).⁵⁵

⁵¹ Ps. V, 287–291, 422.

⁵² Ps. IV, 110.

⁵³ Письмо № 171 (Ps. V, 434–438), благодарственное за присылку коня, имеет надпись *ἡ* *Ἰασίτη* и послано было, вероятно, Иаситу, упоминаемому Кедрином в царствование Мономаха (*Cedr.* II, 557, 565). Так как Иасита звали Михаилом и в 1047 г. он был магистром, представляется вероятным, что ему же адресовано письмо № 97 (Ps. V, 341) без адреса, из которого видно, что адресата звали Михаилом и он был магистром, и в котором, собственно, говорится о покровительстве пред императором.

⁵⁴ Ps. V, 308–309. Фема называется в переписке Пселла Харсинской. Ср.: Ps. V, 370.

⁵⁵ Ps. IV, 262: «Поскольку потребовались мне и обличье подостойнее, и дом побогаче, царь и тут не обошел меня».

Благодаря своему положению Пселл получил в харистикку несколько монастырей. Харистикарная система, как известно, заключалась в том, что владелец монастыря, кто бы он ни был (император, епископ или частное лицо), отдавал монастырь в пожизненное владение какому-нибудь лицу, получавшему название харистикария. Харистикарий получал доходы монастыря и обязан был содержать братию, поддерживать здания, одним словом, вести все хозяйство. Очевидно, излишек доходов шел в пользу харистикария. Подобная система могла возникнуть только в Средние века и там, где царил административный произвол. Монастырь нуждался в покровителе, потому что губернатор и сборщики податей могли вконец разорить его. Поэтому представлялось выгодным поступиться частью доходов и иметь в лице харистикария сильного защитника. Всякий харистикарий старался оградить свой монастырь от незаконных поборов, потому что это было в его собственных интересах, так что в конце концов и харистикарий мог иметь доход, и монастырь мог быть в лучшем материальном положении, нежели предоставленный самому себе. Это, конечно, при том предположении, что получивший в дар монастырь будет добросовестно вести его дела. Нередко случалось, что харистикарии злоупотребляли доверием монахов, вели хищническое хозяйство, скудно кормили братию, не ремонтировали зданий, одним словом, разоряли монастырь, а сами наживались. Во всяком случае харистикария была доходной статьей, иначе сановники отказывались бы от этого, а они, напротив, охотно брались за это дело, несмотря на множество хлопот.

В конце царствования Мономаха Пселл имел в харистикку Мидикийский монастырь в Опсикийской феме, лежавшей на берегу Пропонтиды, с главным городом Никеей. Мы знаем это из письма Пселла к судье Опсикийской фемы, которое приводим здесь в переводе, опустив первые неинтересные строки.

«Нам недоставало монастыря, и, слава Богу, этот недостаток теперь пополнен, и мы владеем уже Мидикием. Мидикий — это монастырь, имя которого неизвестно и дела которого не блестящи. Владеет ли он значительным количеством земли, не знаю, а что он нуждается, это я знаю твердо. Многие уверяют меня, что если я сделаю для монастыря все, что нужно, куплю быков, приобрету скот, насажу виноградники, изменю течение рек, устрою орошение, приведу в движение и землю, и море, я буду получать сто медимнов пшеницы, вдвое больше ячменя, а маслин сколько угодно.

Я же раньше, чем получить что-нибудь, клянусь тебе, истратил немало золота. Но так как те не знают самой сущности благосостояния, я один, познав это, посылаю тебе одушевленный язык — монаха и это неодушевленное письмо, если хочешь, и оно живое; прошу тебя теперь, более чем когда-нибудь, показать нам свою преданность и выказать при этом случае расположение к нам. Я осужден, как говорят, раз в год угощать тебя; мне следовало бы радоваться этому, а я, напротив, оплакиваю это. Ибо если ты, благороднейший и друг наш, будешь насыщаться на счет этого бедного монастыря, едва ли мы сумеем убедить твоего преемника воздерживаться от этого ежегодного содержания (της ἐτησίου διαίτης). Меня, собственно, беспокоит не угощение тебя, потому что я знаю, что ты готовишь себе философскую (т. е. простую) трапезу, а то, что репутация моя будет умалена у тебя, и это у друга и судьи. Но чтобы ты не считал мою просьбу скряжничеством, я соглашусь уплачивать тебе сумму денег, какую захочешь.⁵⁶ Пощади только монастырские запасы, и пусть не бывает там никто из твоих чиновников, довольны с нас и тех, которые будут делать это после тебя (т. е. после того, как ты оставишь должность и будет назначен новый судья), когда мы, может быть, будем уже не во дворце, а на Олимпе.

Но разве ты думаешь, что мы послали к тебе и написали письмо только с той целью, чтобы ты не брал ничего из монастыря? Совсем нет. Разве я стану прогонять с полей и поместья того, кого с удовольствием принял бы на свое лоно? Но мы сделали то и другое (послали тебе посланного и письмо), чтобы ты знал, что мы сделались владельцами монастыря, и поэтому стал благодетельствовать монастырю, относиться благосклонно к монахам и делать остальное, являющееся выражением истинной дружбы. Итак, не будь недоволен моей просьбой, но радуйся, что обстоятельства дают тебе повод оказать мне услугу; ибо услугу эту ты окажешь не неблагодарной душе, но душе, умеющей быть благодарной, и языку, умеющему прославить.⁵⁷

⁵⁶ Καὶ ἵνα μὴ σμικρολογίαν τὴν ἐμὴν ἀξίωσιν οἴηθῃς, ὅσοσον βούλει χρέος ὁμολογήσω σοί, т. е. буквально: я признаюсь, что должен тебе, сколько захочешь. Это место может быть, кажется, понято двояко. Пселл предлагал выдать судье одновременно определенную сумму или предлагал уплачивать ему кое-что ежегодно вместо указанной в письме натуральной повинности. Χρέος в соединении с δυνάμιον значит «подать», «повинность».

⁵⁷ P^a. V, 263–265.

Из этого письма видно, что Пселл получил в харистикию Мидикийский монастырь в самом конце царствования Мономаха, когда он собирался постричься и удалиться в какой-нибудь монастырь на Олимпе. Пселл хлопочет о том, чтобы избавить свой монастырь от злоупотребления местного судьи и его чиновников. Речь идет несомненно о постоянной повинности, так называемом *ἀλλοττων*, которую обязан был нести монастырь. «Постоянная повинность, — говоря словами В. Г. Васильевского, — состояла в обязанности не только давать помещение, но и содержание или кормы проезжающим. Известно, что в римское время путешественник получал подорожную, в которой и обозначалось, имеет ли он право на *evectio* (провоз), или же вместе с тем и на *tractoria* (содержание); пользоваться последним можно было от двух дней до пяти, но притом в самых широких размерах. В Патмосской грамоте 1088 г., вообще содержащей в себе наиболее подробные сведения по данному предмету, эта повинность называется *ἀλλοττων*, словом, обыкновенно употреблявшимся для военного постоя. Правом постоя и кормов, по этой грамоте, могут пользоваться судьи, воеводы, сборщики податей, практоры, дуки, катепаны, чужеземные послы и проводники их, и вообще царские люди, посылаемые по какой-нибудь казенной надобности. Здесь же исчисляются предметы, которые могли требовать путешественники; поставка их жителями заменяла постоянную повинность; поименованы следующие животные: мулы, полумулы, ослы, лошади, кобылы, лошаки, овцы, козы, олени, собаки охотничьи и пастушьи, гуси, фазаны, журавли, павлины, голуби, а вместе с тем и птичьи яйца. Сановники и чиновники имеют право на помещение и прием; они могут требовать вина, мяса, хлеба, ячменя, овса, всяких огородных растений, масла и т. д.»

Ясно, что чиновники могли злоупотреблять этой и без того обременительной повинностью. Они имели право требовать квартиры и содержания, только когда по служебным обязанностям должны были находиться в том или ином пункте; но они могли являться без действительной нужды под каким-нибудь вымышленным предлогом, могли требовать не только содержания, без которого нельзя было обойтись за неимением гостиниц, но и увозить с собой запасы. Такое обыкновение имел, по-видимому, судья Опсикийской фемы Зома; ежегодно являлся он в Мидикийский монастырь и опустошал монастырские кладовые. Делали это и его чиновники. Чтобы избавиться от этого злоупотребления, Пселл предложил судье взятку

с тем, чтобы ни он сам, ни его чиновники впредь не являлись гостить в монастырь.

Кроме Мидикийского монастыря в харистикии у Пселла находились монастырь, называвшийся Кафара, и лавра Большие Келлии на Олимпе. Об этих монастырях мы знаем только то, что сообщает сам Пселл в письме к какому-то судье, вероятно Опсикийской фемы. Вот это письмо.

«Через тебя, сильно любящего нас, мы сделали еще другое приобретение. Какое же это? Лавру Большие Келлии на Олимпе. Мы приобрели ее узнав, что доходы ее свободны от повинности (?).⁵⁸ Так как поля ее ограждены от незаконных поборов, виноградники приносят монастырю гроздь, поле доставляет монахам колосья, мы охотно приобрели это небольшое и огражденное от незаконных поборов имение. Ибо есть у лавры подписанный царем документ, отклоняющий всякие злостные попытки против монастыря. Но домохозяин, поручая кому-нибудь наблюдение за домашними, препоручает ему не только жителей дома, но и поля, или скорее он доверяет ему охрану не только последних, но также первых. Нечто подобное хочу и я сделать теперь, и я препоручаю тебе все свое: Кафара, Мидикий, Келлии — все, клянусь, названия монастырей великих и известных, но на самом деле скорее убыточных, чем выгодных, несмотря даже на то, что мы их обезопасили со всех сторон и сделали неприкосновенными для всякой руки. Если бы ты не был судьей в этой местности, я отказался бы от всех этих монастырей; ибо если при твоём о них попечении мы ни от одного из них не имеем никакого дохода, какая же надежда получить оттуда что-нибудь, когда другой будет их расшатывать?»⁵⁹

В письме к Ксифилину, писанному, по всей вероятности, в 1054 г., Пселл сообщает, что ему подарена лавра Келлиев.⁶⁰ Цель предыдущего письма заключалась, конечно, в том, чтобы заручиться протекцией местного судьи и напомнить ему, что лавра Келлиев освобождена по императорской грамоте от некоторых податей и повинностей и что, следовательно, нельзя с нее взимать известных сборов, как это нередко делалось вопреки царским указам.

⁵⁸ Не ручаемся за верный перевод этой фразы, так как текст испорчен: *ἐλεγχόμενα δὲ ἀκροβότα, ὡς ἐλευθέρα ἐστὶν ἢ ἀπὸ τῶν κτηματικίων (sic!) αὐτῆς κρῆσοδος*. Может быть, следует читать *κτηματίων*.

⁵⁹ Ps. V, 311.

⁶⁰ Ps. V, 270.

Таким образом, мы видим, что в самом конце царствования Мономахом Пселл был харистикарием трех монастырей, полученных им в дар, может быть, от самого императора. В то же самое время или, может быть, позднее Пселл имел в харистикии и еще монастырь Нарсийский, лежавший в Эгейской феме, обвинявшей некоторые острова на Эгейском море. Об этом Нарсийском монастыре Пселл говорит в одном письме, что монахи заставляют и принуждают его быть их ктитором. «Я не строитель монастыря, но, насколько могу, украшаю его, я украшаю не красками, но внося то, что им нужно». Поэтому он просит разрешить беспрепятственное плавание кораблю, отправившемуся из Нарсийского монастыря, и дозволить войти в Пиррей, вероятно не взимая за это пошлины, по крайней мере, не больше законной.⁶¹

В двух неизвестных письмах (в одном кодексе библиотеки Laurentiana во Флоренции), адресованных судье Эгейской фемы, Пселл просит его оказать протекцию игумену Нарсийского монастыря и охранять имущество братии. «Прошу тебя, — пишет он в одном письме, — оказать всяческое попечение братии и принадлежащим монастырю имениям. Если можешь, помоги монастырю во всем, о чем они будут просить, если же это невозможно, то исполни большую часть их просьб, если же и это невозможно, то хоть одну». Письмо это должен был вручить судье игумен, отправившийся к нему с несколькими монахами жаловаться на приносящих вред их имениям.⁶²

Содержание второго письма следующее: «Ты не нуждаешься в том, чтобы тебя просить вторично о том же самом, но игумен Нарсийского монастыря думает, что ты не обратил на нас достаточного внимания и что надо тебя попросить еще несколько раз. Поэтому прошу тебя согласно твоим обещаниям быть благосклонным к игумену и оказать ему помощь, заботясь и теперь, и впредь о монастырских имениях. Ты приобретешь себе благодать Богородицы и чтимых в монастыре мучеников и будешь иметь в них горячих заступников».⁶³

Хотя Пселл уверяет, что отданные ему в харистикии монастыри бедны и не доставляют ему никакого дохода, это, скорее, манера разжалобить областных начальников и сборщиков податей, чем

⁶¹ Ps. V, 378-379.

⁶² См.: Сборник, содержащий переписку Пселла (*Plut. LVII cod. 40*) письмо № 131.

⁶³ См.: Того же сборника письмо № 133.

истина. По крайней мере, между 1055 и 1073 гг. он выпрашивал себе в харистикий у митрополита Кизического Романа монастырь Мунтаниев.⁶⁴ Стал ли бы он делать это, если бы не преследовал своей выгоды? Мы знаем также, что один монастырь предлагал себя в харистикий Пселлу, но он отказался под тем предлогом, будто он не довольно влиятельное лицо и не может принести им существенной пользы.⁶⁵ Истинная причина была, вероятно, бедность монастыря. Мы видим, что Пселл принимал не всякий монастырь, но выбирал более доходные.

Родители Пселла были совсем бедные люди, несмотря на это оказывается, что уже в середине царствования Мономаха Пселл обладает значительным имуществом и может дать своей дочери большое приданое. Пселл женился на какой-то аристократке и имел от нее дочь Стилиану, умершую в детстве, которой он посвятил панегирик.⁶⁶ По смерти дочери, и вероятно, и жены, Пселл удочерил одну девочку, что в Византии делалось очень легко. До времен Льва Мудрого на усыновление детей требовалось разрешение самого императора, но Лев Мудрый отменил этот закон и постановил, что разрешение может даваться начальствующими лицами, даже областными начальниками. Свою приемную дочь Пселл решил выдать замуж за Ельпидия, сына протоспафария Иоанна Кеухри; несмотря на то, что девочке было всего 7 лет, а жениху только что исполнилось 14. Между Пселлом и Ельпидием был заключен договор, по которому последний обязывался жениться на его приемше по достижении ею брачного возраста, а отец дать ему в приданое 50 литр золота. Пселл действительно дал ему 20 литр золотую монетою (приблизительно 5760 рублей золотом), 10 литр серебром и, может быть, медью или вещами, а вместо остальных 20 литр предложил выхлопотать ему чин протоспафария, на что Ельпидий согласился. Согласился он потому, что до тех пор имел ничтожный чин спафария

⁶⁴ *Рв. V*, 456—457.

⁶⁵ *Рв. V*, 398.

⁶⁶ О матери Стилианы, т. е. своей жене, он говорит в панегирике: «Она была весьма благородного происхождения с материнской стороны, брызги царской крови породили ее». Так как в панегириках все страшно преувеличивалось, это значит только, что жена Пселла считалась родственницей (может быть, очень дальней) какой-нибудь императорской фамилии. Если бы, например, оказалось, что она была в родстве с Михаилом IV, ее даже нельзя было бы назвать аристократкой.

и руги получал всего 12 номисм в год. Когда же по просьбе Пселла он был произведен в протоспафарии, содержание его увеличилось до 72 номисм (или литры). Сделка эта клонилась к обоюдной выгоде, Ельпидий по молодости лет не мог рассчитывать на чин протоспафария, разве только если бы он купил его; а Пселл мог выхлопотать этот чин даром, и у него оставалось в кармане 20 литр.

Пселл обручил свою малолетнюю дочь, как сказано в официальном документе, не только потому, что смерть может помешать сделать это, когда дети вырастут, но и потому, что он был близок к царю Константину Мономаху, был важным сановником и хотел воспользоваться своим положением, зная, что обстоятельства могут измениться.⁶⁷ И действительно, он воспользовался своим положением: он сделал жениха своей дочери малым царским нотарием в приказе *Ἀντιφωνήσιον* и вслед за этим судьей на ипподроме. Эта должность была немаловажная, так как судей на ипподроме, заменивших так называемых божественных судей времен Юстиниана, полагалось всего 12 на столицу, в провинции их не было, и они стояли гораздо выше обыкновенных судей (*χαραδικασταί*).⁶⁸ Но Ельпидий оказался недостойным занимаемых им должностей и чинов, и Пселл хлопотал о нем только потому, что хотел приготовить сановного мужа своей дочери. Пселл старался заинтересовать наукой своего будущего зятя, хотел дать ему высшее образование и научить философии. Но молодой Ельпидий чувствовал отвращение к книгам, предпочитая возиться с лошадьми и проводить время с актерами и наездниками цирка. Такое распутство очень огорчало Пселла, он уговаривал зятя выбрать себе общество более серьезное и бросить знакомство с разными шутами и актерами, принадлежащими к подонкам общества. Ельпидий не обращал ни малейшего внимания на увещания будущего тестя и продолжал вести образ жизни, какой ему нравится. Пселл, однако, надеялся, что он исправится с годами, и не переставал хлопотать о его повышении по службе. По его настоянию Константин Мономах назначил Ельпидия судьей вила.⁶⁹

⁶⁷ Рв. V, 204—205.

⁶⁸ О судьях на ипподроме (*κριτής ἐπὶ τοῦ ἵπποδρόμου*) см.: *Zachariä von Lingenthal. Griechisch-Römisches Recht. P. 335—336.*

⁶⁹ Отсюда ясно, что судья вила (*κριτής τοῦ βίλου*) не то же самое, что судья на ипподроме, и старше последнего. Но функции судьи вила нам неизвестны и чаще всего упоминаются в источниках лица, совмещавшие

Вскоре после этого он был сделан фесмографом, т. е. чиновником, составлявшим постановления по приказным делам, потом мистографом, старшим чиновником, ведавшим секретными делами приказа, наконец, эксактором, важным лицом в финансовом управлении, обязанности которого, к сожалению, нам неизвестны в точности.⁷⁰

Надо думать, что Пселл обручил свою приемную дочь не позже 1048–1050 гг.; трудно предполагать, чтобы Ельпидий сделал такую блестящую карьеру меньше чем в 5–6 лет (Мономах умер в начале 1055 г.). С другой стороны, мы знаем, что родная дочь Пселла Стилиана умерла 9 лет;⁷¹ если предполагать, что Пселл женился рано, например двадцати лет, год смерти Стилианы был бы 1047 г. Следовательно, когда Пселл прослужил лет 15, и когда он занимал видное место не более 8 лет, он уже настолько обогатился, что мог дать в приданое дочери 30 литр наличными. По тогдашнему времени это была значительная сумма, и, конечно, Пселл не собирался отдать дочери всего своего капитала. Откуда же взялись у него такие большие деньги?

Едва ли можно думать, что он отложил их из жалованья; жизнь при дворе несомненно поглощала содержание. Но, может быть, он взял за женой большое приданое? Это маловероятно, при воцарении Мономаха он был, несомненно, женат, а между тем император подарил ему дом, потому что его обстановка не соответствовала его положению. Доходов с монастырей он в то время еще не получал, потому что харистикарием еще не был. Остается предполагать, что у Пселла были какие-нибудь побочные доходы. Он сам до некоторой степени указывает на источник своего обогащения. Вот одно из тех писем, которое Пселл несомненно скрыл бы от потомства, если бы мог.

обе должности и называвшиеся судьями вила и на ипподроме. См. указанное место Цахариз.

⁷⁰ Никаких подробностей о фесмографах, мистографах и эксакторах мы не знаем. Кое-что об этих должностях можно найти в словаре Дюканжа.

⁷¹ Рв. V, 68.

Судья Фракисийской фемы Ксиру.

Исполняя обязанность справедливого судьи, ты приказал этому нотарию (т. е. подателю этого письма) прийти из столицы в твою фему с тем, чтобы он отдал то, что собрал, не имея на то права. Однако нам это приказание показалось жестоким и суровым, ибо не все апостолы и не все пророки или, говоря твоим языком, не все Миносы и Радаманты, не все неуклонно следуют закону. Я знаю, что ты тотчас подумал в сердце своем. Разве ты не часто кричал об этом (т. е. о лихоимстве)? Итак, как же тебе быть пойманным в том, в чем ты обвиняешь, когда это делают другие. Следовательно, и тот на этом основании должен быть привлечен к ответственности. Но теперь ты видишь только то, что этот человек ушел отсюда (т. е. из столицы), ты не думаешь о плаче, раздающемся в его доме, о жене его, бьющей себя в грудь, о стоне детей. Но ты хорошо знаешь, что ты придал дому этого человека вид города, взятого неприятелем. Если ты сколько-нибудь желаешь освободить от позора немалое число душ, пришедших в отчаяние от горя, и мудрым лекарством затушить плач младенцев, прекратить стоны женщин, спасти его самого, погибшего, умиловить Бога и оказать нам услугу, будь для этого человека таков, каким ты часто прочишь, чтобы был тебе Бог в день судный. Узнай же от нас правду: большую часть денег, с которыми он ушел из столицы, он взял у нас. Возврати его к нам в прежнем положении так, чтобы он мог сейчас же отдать мне деньги, данные ему взаймы.⁷²

Нотарий, о котором хлопочет Пселл, был, без сомнения, сборщиком податей во Фракисийской феме. Он сумел собрать с народа не только законные подати, но и обложить их незаконными поборами в свою пользу. Так как сборщик податей был человек бедный, Пселл снабдил его деньгами с тем расчетом, что когда он оберет плательщиков податей, он отдаст ему долг и, конечно, известную часть прибыли. Любопытно, что важный сановник решился сознаться в таком неблагоприятном поступке, надеясь, что судья не накажет лихоимца, когда узнает, что важный сановник пострадает от правосудия и может обогатиться за счет лихоимства. Любопытно также, что самую элементарную справедливость и соблюдение закона

⁷² Ps. V, 279-280.

Пселл считает недостижимым свойством апостолов и идеально честных людей.

До нас дошло еще письмо Пселла, набрасывающее сильную тень на его нравственность. Это письмо к митрополиту Солунскому, бывшему раньше учителем риторики. Текст его испорчен и первым издателем Тафелем не исправлен, а латинский перевод, приложенный в Патрологии или прямо неверен, или неточен; тем не менее общий смысл ясен.

Письмо начинается словами: «Тебе необходимо знать, любезнейший друг, что такое клятва, что такое правда, что такое закон дружбы и что такое священный закон».

Далее он пишет: «Чем больше ты углубляешься в софистику, тем больше ты отступаешь от священной философии (т. е. от того, что прилично твоему сану). Не скажу, что ты говоришь как критянин с критянином (как гласит пословица).⁷³ Ибо я не критянин и быть им не желаю. Но ты говоришь как ритор с философом, знающим и твое искусство, но желающим рассуждать философски, а не софистически. Я коротко обсужу твое письмо, которым, как ты думаешь, ты вполне уплатил нам долги. Не есть уплата долга, разумнейший, на словах выражать свою благодарность, на деле же не делать ничего из обещанного. Это обман и не укрепление дружбы, а ее уничтожение. Если бы ты в то время, как занимал кафедру риторики, обещал ученикам раскрыть им тайны своего искусства, а вместо того открыл бы им мастерскую для какого-нибудь ремесла, разве тебя не обвинили бы в обмане? Думаешь ли ты, что избежишь обвинения, если дашь нам вместо вещи ее идею (εἶδωλον). Я не успокоюсь в тени твоего письма, но только в свете правды (т. е. ты не можешь успокоить меня обещаниями, я буду требовать своего). Если бы ты дал мне вместо малоизвестного Добросанта (?) Елисейские поля, разве я мог бы ими пользоваться?»

Пселл прибавляет иронически, что он со своей стороны готов подарить митрополиту остров Фулу, Западный океан, Каспийское море. В заключение он пишет: «Если хочешь исполнить данное нам обещание на деле, а не только на словах, утверди за нами дар».⁷⁴

⁷³ Πρὸς Κριτὰ κριτίζεις, пословица, означавшая: ты лжешь человеку, который тоже лжет.

⁷⁴ Migne. Patrol. gr. T. 122. P. 1165-1170.

В другом письме к тому же митрополиту Пселл говорит ему: «Помни наши условия и что ты, кроме того, поклялся Богом; если и можно разрешать от клятвы, я не стану тебя разрешать от нее».⁷⁵

Мы видим, что Пселл считал митрополита своим должником, что последний не исполнял своего обещания, а Пселл называл его обманщиком и требовал, чтобы обещание было исполнено. Что обещал митрополит, трудно сказать утвердительно, но по всей вероятности или дать какой-нибудь монастырь в харистикий, или подарить имение. Пселл не просит, а требует, потому что у него с митрополитом было заключено условие, скрепленное клятвой. Конечно, он требовал вознаграждения за какую-нибудь услугу. Услуга эта заключалась, по всей вероятности, в том, что при содействии Пселла бывший преподаватель риторики получил Солунскую митрополию. На это есть намек в первом письме: «С удовольствием спрашиваю тебя, — говорит Пселл, — какое бы ты приобрел владение, если бы я не содействовал этому делу?» Хотя не ясно, о каком владении идет речь, тем не менее вероятным кажется, что это намек на назначение митрополитом.

Итак, Пселл умел извлекать выгоды из своего положения, он доставал места не бескорыстно, а требовал за это вознаграждения, он входил в компанию с лихоимцами и не считал лихоимство пороком, а только естественной и простибельной слабостью несовершенной человеческой природы.

Раз коснувшись семейных дел Пселла, замечу, кстати, что в это время были живы его родители. После смерти дочери они оба удалились в монастырь и жили монахами, не постригаясь. Раньше умер отец Пселла, и Феодота стала предаваться подвижничеству, изнуряя свою плоть постом и молитвой. Пред самой смертью приняла она схиму; умерла она позже царствования Константина Мономаха, как видно из Пселлова панегирика матери.⁷⁶

Партия Лихуда, бывшая много лет в большой силе, потеряла свое значение к концу царствования Мономаха. Лихуд, Ксифилин,

⁷⁵ *Migne. Patrol. gr.* Т. 122. P. 1165.

⁷⁶ Г. Скабаланович подробно описывает подвижничество Феодоты (Виз. гос. и Церк., стр. 441), но рассказ его представляется мне значительно преувеличенным, потому что он основан исключительно на панегирике Пселла. Для автора панегирика достаточно было того факта, что Феодота жила в монастыре, чтобы сделать из нее чуть ли не святой.

Мавропод пали жертвой какой-то интриги и были отставлены от должностей. Дело началось с Лихуда, бывшего, как я уже говорил, всемогущим временщиком. Нашлись люди, относившиеся к нему с завистью и враждой, которые стали наговаривать на него императору и нашептывали ему, что какой же он самодержец, когда государством управляет Лихуд. Последний действительно служил помехой царю, несмотря на всю неограниченность его власти, не позволяя ему силой своего влияния предаваться разным безумным и разорительным для государства потехам. Сумели задеть за живое самолюбие Мономаха, указывая, что он хотел бы сделать то или иное, а Лихуд не позволяет ему. Тогда император, по словам Пселла, стал завидовать министру, пользовавшемуся царской властью, и пожелал стать фактически императором не для того, чтобы привести государство в лучшее положение, а чтобы приводить в исполнение все свои желания. Заметив, что отношение императора к Лихуду изменилось, Пселл счел нужным предупредить об этом последнего. Но Лихуд ответил ему на это очень гордо, что добровольно он от своего места не откажется, а если его отставит император, он сожалеть об этом не будет. Вскоре после этого Мономах рассердился за что-то на Лихуда и отставил его. Этот монарх, как человек ограниченного ума и несдержанный, когда любил кого, все позволял ему, а когда на кого сердился, то не знал удержу и действовал как тиран. Поэтому и падение Лихуда было полное; сначала он стоял во главе государства, потом потерял и место, и значение и, по всей вероятности, удалился из столицы.⁷⁷

С падением Лихуда потеряла свое значение и партия его приверженцев: Мавропода, Ксифилина и Пселла. Против Ксифилина начал интриговать некто Офрида, безумный старикашка, по выражению Пселла, занимавший должность судьи в начале XI века.⁷⁸ Этот Офрида желал занять место номофилака, т. е. профессора юридической школы.⁷⁹ Поэтому он написал памфлет, которым старался повредить Ксифилину. Он доказывал, что Ксифилин неспособен занимать место

⁷⁷ *Рс.* IV, 189–190, 405.

⁷⁸ Судья Офрида упоминается несколько раз в Пире, сборнике начала XI века.

⁷⁹ *Рс.* V, 191. Ясно, что ты позавидовал его креслу... и сам пожелал восседать на нем и продемонстрировать юридическую науку, какова она есть.

номофилака, потому что он глуп и необразован, что он слишком молод, чтобы быть руководителем молодежи, что он автодидакт, научился праву сам или, что то же самое, нигде ни у кого не учился; кроме того делались намеки на незаконные действия Ксифилина. Pamфлет этот имел успех, на стороне интригана Офриды оказались и другие лица, также враждебно относившиеся к Ксифилину, поэтому Пселл счел нужным написать длинную апологию в защиту своего друга.⁸⁰ Он старался доказать всю лживость памфлета Офриды. «Если бы действительно Ксифилин совершил разные преступления, его надо было привлечь к суду; но Офрида выбрал иной путь, он действовал интригой, из-за угла, он клеветал, обвинял, не давая возможности защищаться. Не обращаются к суду только сумасшедшие или те, которые боятся, что на суде обнаружится их преднамеренная ложь. Нельзя называть глупым и необразованным человека, изучившего грамматику, правописание, риторику, философию. Разве он не доказал своим преподаванием и сочинениями основательное знание юриспруденции, прекрасно истолковывая самые затруднительные и темные места свода законов? В то время как Офрида, роясь в своде, с трудом находил два-три параграфа, Ксифилин мог процитировать целые титулы. Молодость может служить только к похвале Ксифилина, доказывая его талантливость; разве можно питать особенное уважение к Офриде за то, что он, дожив до седых волос, знает законы о приданом? Кто бранит Ксифилина, тем самым бранит императора; он не самовольно занял кафедру, его назначил император, можно даже сказать, принудил его против желания принять это место. Таким образом, брань Ксифилина скорее всего относится к императору».⁸¹ Пселл не ограничился защитой Ксифилина, он позволил себе и злые насмешки над Офридой. «Эты-то, — говорит он ему, например, — прекрасно знаешь законы и умеешь их истолковать, ты, над которым все смеялись, когда ты забавлялся со скоморохами и мимами, ты, который на суде почесывал себе при всяком случае бороду, быстро все забывал, затем в изумлении молчал, стараясь как-нибудь припомнить законы!»

Интрига против Ксифилина возымела свое действие и не ограничивалась памфлетом и сплетнями, распускавшимися по городу. Нашелся человек — может быть, тот же Офрида или кто другой, —

⁸⁰ Ps. V, 181-196.

⁸¹ Ps. V, 192.

сумевший наговорить на Ксифилина, и так успешно, что сам был удостоен царских милостей. Это страшно рассердило Ксифилина, он не сдерживался, бранил императора за то, что он поверил клеветнику. Интрига эта коснулась до некоторой степени Пселла, потому что, по всей вероятности, интриганы желали уничтожить всю партию Лихуда, но Пселл вел себя при этом иначе, чем его друг Ксифилин: он относился с презрением к клевете, не бранился и старался сохранить хорошие отношения с императором. Наконец интриганы нанесли решительный удар Ксифилину, он впал в немилость, был, вероятно, лишен должностей и решил постричься.⁸²

Когда Ксифилин и Пселл убедились, что их партия с каждым днем слабеет, что император выгоняет со службы то одного, то другого из их приверженцев и им грозит то же самое, они рассудили, что и им лучше всего оставить службу. Друзья дали друг другу слово выйти в отставку и постричься. Ксифилин тотчас же приводит в исполнение свое намерение: под предлогом болезни он просит у императора позволения постричься и, получив позволение, удаляется в один из монастырей на малоазиатском Олимпе. Пселл же медлил исполнить свое обещание. С одной стороны, он чувствовал, что ему необходимо исполнить клятвенное обещание, данное другу, в особенности же потому, что император к нему изменился, с другой же стороны, хотя вся его партия потеряла влияние и он чувствовал себя одиноким, он лично все еще был в сносных отношениях с императором, и при таких условиях ему не хотелось еще расставаться с придворной жизнью и стать затворником, что представлялось ему очень непривлекательным.⁸³

По отношению к своему другу Ксифилину он сыграл несколько двусмысленную роль. Он пишет Ксифилину, уже удалившемуся на Олимп: «Я постоянно с тобой, мой желанный друг. Если Бог раньше принял тебя, из этого не следует, чтоб Он отверг нас, ибо Он призвал всех не в одно и то же время на работу в виноградник, но некоторые были призваны и в одиннадцатый час. Я же, может быть, был призван в третий час, и хотя не отправился тотчас, все же не

⁸² Ps. V, 436. Подобные слова в панегирике заключают, кажется, намек, что Ксифилин был лишен места.

⁸³ Ps. IV, 435-437: «Затем вторая беда обрушилась на него, а потом третья и еще одна; удары и стрелы поражали его не только сзади, но и спереди и, так сказать, прямо в грудь».

отверг призыва и не отдал предпочтения ни жене, ни только что приобретенному полю, но я только надену туфли и тотчас же пушусь в путь».⁸⁴

В другом письме Ксифилину он пишет: «Придворная жизнь и блеск дворца не особенно прельщают меня. Ибо во дворце я представляю из себя скверный и дешевый камень, приделанный к ценным камням, меня не украшающим, но оскорбляющим. Когда белое лежит рядом с черным, белое кажется белее, черное — чернее. Самодержец ставит меня подле своего трона и оказывает высшие почести, но подходить к монарху вселенной, это, по-моему, отходить от первого Царя; сближаться с первым, это значит отступать от второго. Если бы меня не утешало чтение философских книг и разговоры с любителями наук, я считал бы свое положение полным отсутствием всего хорошего. Я еще не порвал всех связывающих меня нитей, — говорит он дальше, — одни, может быть, и порваны, другие, самые крепкие, не рвутся. Если мне удастся избежать сирен и уплыть далеко, я сочту это блаженством, если же нет, я проживу еще здесь некоторое время, заткнув уши воском, чтобы не слышать их пения. Ибо рассказ Гомера очень верен, действительно, они удерживают и губят нас музыкальными приманками».⁸⁵

Из этого письма видно, что Пселл был недоволен своим положением; его смущало больше всего то, что круг приближенных к царю изменился, это уже не были его друзья, а, скорее, враги. Но в то же время император сохранил еще к нему некоторое расположение; вот почему он медлил и все еще не решался променять придворную жизнь на душевную келью. Он чувствовал, однако, что в конце концов его одолеют враги и волей-неволей ему придется покинуть дворец. Поэтому он действительно собирался на Олимп. «Я не успокоюсь, — пишет он одному анонимному лицу, отсоветовавшему ему постригаться, — пока не освобожу ног от земных оков и не удалюсь на святую гору Олимп».⁸⁶

«С удовольствием принял я, честной отец, плоды, — пишет он одному монаху, жившему на Олимпе, — и посланного тобой монаха, с удовольствием, потому что люблю тебя, с удовольствием, потому что живу твоими молитвами. Больше важных и утонченных людей

⁸⁴ Ps. V, 270.

⁸⁵ Ps. V, 271.

⁸⁶ Ps. V, 344.

я люблю таких простых старцев, как ты, у которых язык говорит то же, что сердце, писание которых хотя простое, но духовное. Верь мне, честной отец, что хотя я слышал много мудрых речей и читал много книг, ничто не доставляло мне столько удовольствия, сколько твоя хоть и простая, неизысканная речь, но зато духовная и чистая. Прельщает меня безыскусственная монашеская жизнь, я прельщаюсь вами, святыми отцами, и я не умру, чтобы не пожить с вами». ⁸⁷

В самом конце царствования Мономаха Пселл очень опасно заболел и думал, что не встанет. Тут-то, кажется, он окончательно решил постричься, если встанет с постели. Император не забывал Пселла во время болезни, он написал ему письмо, в котором утешал его и предсказывал скорое выздоровление. На это письмо Пселл, оправившись от болезни, ответил следующим письмом.

«Кто уподобится тебе, царь? Какой земной бог сравнится с тобою, моим царем и Богом? Поистине добродетель твоя покрыла небеса, и хваления твоего несть числа. Разве ты не понимаешь, божественный царь, на какую высоту поднял тебя Бог, разве ты не сознаешь, что вся вселенная обращает взоры на тебя одного, могущего спасти, пределы земли подчиняются твоей державе, боятся и страшатся тебя? Но, находясь на столь возвышенной и беспредельной высоте, ты обращаешь взоры и на нас, стоящих внизу и жалких, которых ты сам создал, оживотворил и одушевил своим духом. Но поистине ты подражаешь своему Богу и Царю, ради нас сошедшему с неба, взявшему на себя наши грехи, исцелившему болезни, собственными ранами излечившему наши раны. Ибо разве и ты не нисходишь к нам, как бы с неба, с высоты твоего царства, и исцеляешь наши недуги наложением рук, молитвами и умиловительными прошениями к Богу, а также единым словом, как твой Иисус?»

Нет в этом ничего удивительного, ибо, глядя на пример царствующего над тобой, ты делаешь свою душу Ему подобной. Но Ему служили ангелы восходя и нисходя, как говорит священное Евангелие, и принося от Отца решения на Его просьбы; тебе же, твоим молитвам и прошениям вернейший ходатай и предстатель украсившая женский род и избавившая род человеческий от греха Евы чистой верой в Бога, неподдельной надеждой, божественной

⁸⁷ Рс. V, 262.

любовью превосшедшая добродетель не только женского рода, но и мужчин. Кто же такая? Недаром получившая свое имя Зоя и жившая по Богу и нам всем подававшая жизнь. Через нее, о царь, ты оживотворяешь и воскрешаешь нас, почти погребенных, и укрепляешь надежду на лучшее.

Меня, отказавшегося от жизни вследствие болезни, ты неожиданно излечил, сказав мне слова Бога: „Сия болезнь несть к смерти“ (Иоанн. 11:4). Услышав это, я призвал к себе силу и, получив уверенность (что буду жить), встал с ложа, как лежавший четыре дня в гробу Лазарь, и я ожил и стал крепким, и много смеялся над отказавшимися от меня врачами.

Что же я сделал, царь? Я тотчас же опять обратился к книгам, забыв обо всех своих клятвах. Ибо что же мне делать другого? Для них избран я и для них явился на свет.

Я постоянно беседую с книгами, чтобы приобрести достаточную силу для похвал и панегириков тебе; ибо хотя я во многих речах и сочинениях говорил о твоих добродетелях, я не сказал ничего, что стояло бы на высоте твоих качеств.

Но что я это говорю, представляя себе твое лицо только в воображении? Когда же я пойду и увижу лицо господина моего? Когда услышу златой язык? Когда увижу светлое сияние твоих очей? Завтра? Но этого долго ждать, велико расстояние, день кажется мне целой вечностью. Но я облегчу свое страдание, поставив пред собой твое изображение. Я услышу тебя говорящего, постоянно читая сочинение о сходах, мне будет казаться, что они доходят до моего слуха из твоих уст. Что в нем не красиво, что не гладко, что не радует души? Какая же в нем земная, непонятная мысль? Разве не все преисполнено весенней красоты? Не все блестит прелестью? Разве не все принадлежит твоему языку, которому мысленные пчелы приносят мед речи?

Это пишу тебе я, отчаявшийся тогда в жизни, сокрушенный и вместе с тем воскрешенный тобою. Ты сказал мне: „Мужайся, ты ныне не умрешь“, а господин вселенной сказал и скажет тебе без „ныне“: „Мужайся, ты не умрешь“, — и ты не умрешь, о царь! ибо праведные живут во веки. Некогда чрез много лет, после бесчисленной смены поколений, ты восстанешь пред создавшим тебя Богом, ты будешь с приснопамятной Зоей во бесконечной жизни, узришь благая высшего Иерусалима, незримое для глаз, услышишь неслышное для уха, сопричисленный к ангелам, сопричтенный

к апостолам, будешь петь божественную песнь и возносить Богу трисвятую песню».⁸⁸

Из этого письма видно, что Пселл не порвал сношений с двором, как сделали его единомышленники Лихуд и Ксифилин, и продолжал подслуживаться к императору. Пселл объявил наконец Мономаху о своем намерении постричься. Царь, любивший Пселла как приятного и льстивого собеседника, не желал лишаться его общества, а потому старался отговорить его, даже рассердился на него. Пселлу удалось как-то убедить императора, последний преложил гнев на милость, дал ему разрешение постричься. Пселл действительно исполнил свое намерение, постригся и получил имя Михаила, но вместе с тем не покидал столицы, где оставался до смерти Мономаха (11 января 1055 г.). Поправившись от болезни, он выпросил у царя последнюю милость, именно, чтобы жениху его дочери Ельпидию Кенхри был дан чин патрикия; император, хоть и неохотно, согласился, однако, на это. Из этого видно, что, несмотря на падение партии Лихуда, Пселл сумел сохранить хорошие отношения с императором.⁸⁹

Вслед за смертью Константина Мономаха Пселл удалился на малоазиатский Олимп.

⁸⁸ Ps. V, 359—362.

⁸⁹ О пострижении Пселла мы знаем только то, что сообщает он сам в своих мемуарах (Ps. IV, 194—198) и панегирике Ксифилину (Ps. IV, 437—441). Далекое не всему можно верить. В мемуарах он говорит, что его побудило постричься влечение к монашеской жизни, испытываемое им с ранней молодости, а также внезапная перемена обстоятельств (ἡ ἀβροία τῶν γινόμενων μεταβολή). В первом позволительно сомневаться: как увидим, Пселл оставался придворным и в монашеской рясе. Он говорит, что, заболев, объявил императору свое решение постричься; последний старался отговорить его и писал ему такие письма, что он не мог читать их без слез, но несмотря на это остался глух к просьбе императора. Тогда последний стал грозить ему, угрожая причинить много зла не только ему лично, но и всему его семейству (κίονα ἐκνεύσειν σμφοράν οὐκ ἐμοί μόνη, ἀλλὰ ἕβρατι τῷ γένει). Несмотря на это, Пселл постригся; узнав об этом, император не сердится на него, а, напротив, хвалит его за твердость характера. Вероятно, Пселл преувеличивает здесь недовольство императора, едва ли он решился бы идти прямо против желания царя; этому противоречит вышеприведенное письмо. В конце рассказа о своем пострижении Пселл говорит, что постригся потому, что император скоро менялся к людям, и он боялся подобной изменчивости. Из последних слов ясно, что император изменился к нему.



Глава третья

Государственная деятельность Пселла в царствование Феодоры, Михаила VI и Исаака Комнина (1055—1059)

После смерти Константина Мономаха Пселл действительно ушел на малоазиатский Олимп. Он поселился в монастыре, посвященном Богородице, носившем название, очень распространенное и в современной Греции — «Красивый Источник». Монастырь этот

В мемуарах он скрывает, что не ушел на Олимп до смерти Мономаха, но сообщает это в панегирике Ксифилину (Рс. IV, 441). В панегирике есть подробности, которым нельзя верить. Мономах приказал Пселлу отговорить Ксифилина постричься, на что тот ответил будто бы: «Поручи это другому, царь, так как мы поклялись друг другу постричься». На такие слова император так рассердился, что Пселл ожидал, что его сейчас же выгонят из дворца. Тут же говорится, что Пселл искал предлога постричься, и болезнь его была будто только предлогом, так как она не была серьезна.

В судебном приговоре об уничтожении обручения Ельпидия с дочерью Пселла, на основании показания Пселла, говорится, что когда он был при смерти, он решил постричься, и, выздоровев, выпросил чин патрикия Ельпидию (Рс. V, 206—207).

был построен в складчину неким монахом Николаем в конце царствования Василия II или вскоре после смерти этого императора. В то время как Пселл жил в этой обители, игуменом был ее строитель Николай.⁹⁰

При пострижении Пселл получил имя Михаила, как он сам себя называет в нескольких письмах и как называется в большинстве сочинений.

Пселл прожил очень недолго на Олимпе, по всей вероятности, несколько месяцев. Монашеская жизнь была ему не по душе, его звала к себе императрица, к тому же его беспокоило поведение жениха его дочери, поэтому он покидает Олимп и направляется в Константинополь. С монахами на Олимпе он, кажется, перессорился; один из них, монах Иаков, написал на него следующее четверостишие:

*О владыка Зевс, отец,
хвастающийся своей силой и сильно гремящий,
ты не вынес Олимпа даже в течение короткого времени,
ибо там не было твоих богинь, отец Зевс.⁹¹*

Автор намекает, что Пселл ушел с Олимпа, потому что там не было его богинь, т. е. императрицы; может быть, в этих двусмысленных словах заключается еще более грязный намек.

На эту эпиграмму Пселл ответил неприличным каноном Иакову, составленным по правилам церковных песнопений; канон разделен на восемь песен, песни на стихиры, а начальные буквы стихир

⁹⁰ Эти новые факты извлечены мною из неизданного панегирика Пселла игумену Николаю, сохранившегося в одном Ватиканском кодексе (Cod. Vaticanus 672 fol. 77-96) [ныне опубликован № 10. — Я. Л.] под заглавием: «Его же похвала монаху Николаю, игумену Красивого Источника». Этот Ватиканский кодекс описан в моих «Материалах для истории Византийской империи» (ЖМНП. 1889. Март). Нельзя сказать определенно, когда был построен монастырь Красивого Источника; Пселл сообщает, что начало подвижничества Николая относится к царствованию Василия Македонянина, сына Романа, т. е. Василия II, о построении монастыря говорится вслед за тем фактом, что Николай был вызван в Константинополь Василием II, а далее речь идет уже о Константине Мономахе.

⁹¹ Ps. V, 177.

составляют акростих Μένουον Ἰάκωβον εὐρύθραος ᾄδω, Κωνσταντ. т. е. «пьяницу Иакова по правилам искусства воспеваю я, Константин».⁹² Содержание этого канона чрезвычайно скудно, оно сводится к словам: «ты пьяница»; удивительно, как Пселл сумел повторить 32 раза ту же мысль, все в разной форме. Приведу несколько стихир, чтобы читатель имел понятие, как грубо умел выражаться византийский придворный, когда считал это возможным.

«Упав навзничь на свое ложе, обнажив грудь, шею и бедро до половых частей, ты крепко пьешь; может быть, ты и τέρβεις, Иаков, и тотчас же выпускаешь, что входит, и скверным образом выводишь, что вобрал в себя».

«Не входи в мои виноградники, отец Иаков, не срезай у меня лозы, не выжимай у меня винограда, ибо ты, как сухая губка, вбираешь в себя вино всеми частями своего тела».

«Лежа на ложе всю ночь, ты служишь свой канон, Иаков, радуясь умерщвлению плоти (τῆ ἀσκήσει τῆς σαρκός); ибо предпочитая меха, чаши и кубки, ты пьешь целую ночь и, хвастаясь, говоришь: я не примешал к вину воды, как делают трактирщики, ни горячей, ни холодной, я пью его несмешанным».

В связи с этим находится, по всей вероятности, письмо Пселла к монаху Феревию. Это ответ на письмо Феревия к Пселлу с надписью «от человека, преданного Богу, человеку, Богу не преданному» (τῷ μὴ Θεοῦ ὁ Θεοῦ), в котором монах укорял Пселла за то, что он будучи монахом ведет придворную жизнь и втирается во дворец против желания царей. На это Пселл отвечает, что он получил его глупое и совершенно безумное письмо и не стоило бы на него отвечать, но он все-таки хочет изобличить его нахальство и бесстыдство.

«Не всякий, — говорит он, — имеет право обличать царя и архиереев и судить поступки всех людей, но только Бог или человек, очень близкий Богу и ему преданный. Человек же, который не допускается даже в преддверие храма и который не очистил ума духом, выступая всеобщим судьей, оказывается просто болтуном; таким людям эллины подносили чашу с ядом, а цари ромейские отдают их палачам. Как не знающий геометрии не понимает геометрических фигур, не знающий арифметики — чисел, не знающий логики — силлогизма, так точно недуховный человек не понимает

⁹² P_g. V, 177-181.

духовного совершенства (οὐδὲ τῷ μὴ κνεματικῷ ἀνδρὶ τὰ τῆς κνεματικῆς τελειότητος). Духовный тот, кто духовная духовными срассуждает, кто востязует вся, а сам ни от единого востязуется, говоря словами божественного Апостола (I Коринф. 2:13, 15). Духовный тот, у кого внутри таинственно освящается дух, кому Бог дарует сердце чисто. Духовный тот, кто, вознесшись духом, на столько же восшел в беспредельные страны знания, на сколько сошел в бездну священного смирения, так что он во всех отношениях стоит выше всех. Если же кто предсказывает будущее по звездам или по проявлениям вещественных духов (ἐνύλων κνεματῶν) или же занимается прорицаниями, такой человек далек от божественного предвидения (πρόψωσις), хотя бы он тысячу раз предсказывал верно. У тебя же, милейший Феревий, нет ни малейшего признака, указывающего на проявление в тебе божества (θεορῶναι), ни взгляда, преисполненного стыда, ни речи, приправленной божественной солью, ни смиренного нрава. Все говорят о тебе, что ты предаешься игре в кости, вращаешься в обществе флейтисток, угождаешь чреву, устраиваешь пирушки и с удовольствием стал бы сам плясать на сцене. Ты прожигаешь жизнь в трактирах, и с языка твоего не сходят волшебные и любовные слова. Но больше всего меня удивляет, что ты стараешься создавать мудрые письма; действительно, твое письмо доставило мне истинное наслаждение. Едва ли кто другой в состоянии был бы в немногих строках употребить столько солицизмов. Не могу не похвалить тебя за такие новые сочетания и словообразования, как κατὰ ἀνθρώποις и ἀνάρετον σοφίαν. Если же ты хвастаешься надписью на своем письме, выслушай и мою надпись, она следующая: „Ипертим (хочешь или не хочешь, а все ипертим) человеку необразованному, бесстыдному, не краснеющему, нахалу, изрекающему прорицания, верующему в Пифию, болтуну, неучу, бесчувственному, распутному, уклонившемуся от Бога, болтающему вздор о царях, нагло поступающему с архиереями, не знающему ничего ни божественного, ни человеческого“⁹³.

Хотя Пселл и написал особую пьесу, где расхваливает Олимп на все лады, это было только риторическим упражнением; на самом же деле он остался очень недоволен своим пребыванием в монастыре.⁹⁴ «Ты, желанный друг, — пишет он протонотарию дрома

⁹³ Ps. V, 424-428.

⁹⁴ Migne. Patrol. gr. T. 136. P. 1331-1332.

Иоанну, — написал нам аттическим языком, мы же приветствуем тебя простым и неизысканным языком; ибо хоть у нас и была способность говорить гладко и умно, пребывание с людьми необразованными и зверообразными (т. е. монахами) лишило нас этой способности, оправдалась на нас поговорка и еще до нее сказанные поэтом слова: если будешь вращаться в дурном обществе, знай, что потеряешь даже имеющийся у тебя ум.⁹⁵

Поэтому Пселл воспользовался первым удобным случаем, чтобы покинуть Олимп. Он рассказывает в своих мемуарах, что его звала к себе Феодора, но что он не тотчас исполнил ее приказание, потому что против него были придворные, говорившие, что монаху неприлично заниматься светскими делами. Когда императрица наконец рассердилась, он ушел из монастыря и поселился опять в Константинополе. Феодора еще до вступления на престол относилась благосклонно к Пселлу; при Мономахе она давала ему секретные поручения и выхлопотала чин патрикия жениху его дочери.⁹⁶ Что Пселл был близок к императрице и во время ее кратковременного самостоятельного правления (11 января 1055 — 31 августа 1056 г.), видно из того, что он составил речь, которую она произнесла на торжественном собрании византийских сановников, так называемом великопостном селенцие.⁹⁷ Он произнес ей также приветственную речь, где особенно восхвалял ее девственность.⁹⁸

⁹⁵ Ps. V, 373.

⁹⁶ Ps. IV, 205—206.

⁹⁷ Речь эта неизвестна, она сохранилась в Ватиканском кодексе 672, посвященном сочинениям Пселла (fol. 275 v.—276), под заглавием: «Его же селенций, произнесенный в дни императрицы Феодоры» [ныне издана 16 (1), p. 343—347. — Я. Л.]. Из содержания этой речи, списанной мной в Ватикане, видно, что она была произнесена императрицей Постою, вероятно, в понедельник на первой неделе, когда, согласно византийскому церемониалу, императору полагалось сказать речь на торжественном собрании чиновников и сановников. De Ceremon. II, cap. 10 (p. 545).

⁹⁸ Панегирик императрице Феодоре не издан; он сохранился в Ватиканском кодексе 672 и одном Оксфордском Бодлеевой библиотеки (Вагосс. 131). Хотя в обоих кодексах в заглавии сказано только «Панегирик императрице», не может быть сомнения, что надо разуметь Феодору; автор хвалит императрицу за ее девственность, а таковою во время Пселла была только одна Феодора. [Ныне издан 16 (1), p. 1—5. — Я. Л.]

Однако придворное общество и сановники были настроены против Пселла. Хотя Феодора возвысила несколько новых лиц, преимущественно своих евнухов, среди которых главную роль играл синкелл Лев Стравоспондил (или Параспондил), несомненно, что оставалось еще много тех людей, которые интриговали при Мономахе против партии Пселла и не могли быть довольны его новым возвышением. Императрица наградила его титулом ипертима,⁹⁹ и это многим было до такой степени неприятно, что Пселл счел нужным написать особую статью «К завидующим данному ему титулу ипертима». «Цари ко мне благосклонны, — говорит он, — и я им полезен, вы же постоянно относитесь ко мне недоброжелательно, и я вам не приношу никакой пользы. Вы завидуете мне в том, что я пишу красивые речи, в том, что у меня прекрасный характер и я ко всем милостив и кроток; когда же цари выказывают мне свою благосклонность, это вам служит предлогом выказать свой злой нрав. Я спрашиваю вас, что бы вы предпочли, чтобы я, потеряв разум, стал бесполезным бременем на земле или оставался бы тем, что я есть, но только удостаивался бы меньших отличий (буквально — венцов)? В том и другом случае вы все-таки относились бы ко мне недоброжелательно. Но я не веду с вами борьбы и не желаю идти против вас, а стою неподвижно или иду по прямому пути, вы же, следуя за мной, каркаете как болтливые вороны, — говоря словами Пиндара; мой слух остается к этому совершенно равнодушен, подобно тому, как когда полевые мыши нападают на орла. Я поднимаюсь выше и взываю крыльями, вы же опять удаляетесь в мышиные норы, ваше обычное убежище. Как дурные собаки, вы не бежите за зайцем, привыкшим к этому,

⁹⁹ Ипертимом называет себя сам Пселл в вышеприведенном письме к Феревию, в заглавии Речи к завистникам и в заглавии юридического синопсиса. Ипертимом называет его в одном письме Феофилакт Болгарский (*Migne. Patrol. gr. I, 122, p. 925*). О титуле ипертима известно очень мало, знаем только, что он давался духовным лицам. Не стану настаивать на том, что титул ипертима был дан Пселлу непременно Феодорой, хотя мне это представляется вероятным; Комний наградил Пселла чином проэдра, впоследствии он был протопроэдром. Так как вероятно, что письмо к Феревию относится к царствованию Феодоры, то вероятно, что в это время он получил титул ипертима. В заглавии неназванного панегирика Феодоре Пселл называется ипертимом; но этому, конечно, нельзя придавать большого значения.

но бросаетесь на тех, кто стоит гораздо выше вас. Если бы не было выбора и соответственного воздаяния, но все падало бы сверху случайно, как град падает на кого случится, и на меня хорошее свалилось бы случайно, ваша зависть имела бы основание. Но как первый человек давал имена зверям сообразно с врожденными им свойствами, так и нам чины даются сообразно с нашими заслугами. Рассудите сами: до воздаяния были труды и работа, с одной стороны — ученые, с другой — государственные (τὰ μὲν ἐν λόγῳις, τὰ δὲ ἐν πράξεσι). Скажу вам символически: нужно было бежать, я бегал больше вас; предстоял кулачный бой, я оказывался лучшим бойцом, чем все другие; бросали диск, я бросил выше вас; я стрелял так метко, как никто из вас.¹⁰⁰

Несмотря на полное убеждение, что он головою выше других, Пселл был, однако, недоволен своим положением, по-видимому, он не занимал никакой должности и должен был довольствоваться личным расположением к нему императрицы. Горько жалуется он на судьбу в письме к протосинкеллу Льву Параспондилу. «Мы живем только для любящих нас, — пишет он, — и, по апостольскому выражению, насколько внешний наш человек тлеет, настолько внутренний обновляется для них (II Коринф. 4:16), для остальных же он уже обратился в пепел или, скорее, покрылся толстой корой и, что всего ужаснее, окаменел; ибо бушевавшие ветры, и обстоятельства, подобные фракийской зиме, и пагубный град чуть было совсем не уничтожил и заморозил меня и сделал из меня каменного или ледяного человека, совершенно бесполезного и неподвижного. Поэтому я, будучи жив, кажусь мертвым, и, оказавшись мертвым, лежу неоплаканный и непогребенный и представляюсь земле излишним бременем; всего хуже то, что неприятности не прекращаются даже для меня лежащего, но нападают на меня, несмотря на мое падение, коршуны или какие-то вóроны и со всех сторон разрывают мое несчастное тело. Поэтому я страдаю и, не будучи в состоянии сносить этого, отчаиваюсь в жизни; все это изнуряет мой мозг, ослепляет руководящий нами разум, заставляет костенеть руку, не позволяет ни писать, ни говорить, ни делать что-нибудь, все это заставляет меня желать смерти».

Лицо, к которому было адресовано это письмо, Лев Параспондил, был всемогущим временщиком в царствование императрицы

¹⁰⁰ Pв. V, 168—170. Πρὸς τοὺς βασίλειαντας αὐτῆς τοῦ ὑπερτίμου τιμῆς.

Феодоры. Чтобы держаться при дворе, необходимо было быть с ним в хороших отношениях, поэтому, хотя Пселл и не любил его и считал неспособным министром, он все-таки старается в письме уверить его, что пылает к нему пламенем любви и дружбы, желает поговорить с ним и принести ему дружеские приветствия и кончает письмо словами: «Прощай, обиталище муз, убежище мудрости, приют добродетели, сокровищница законов, страж любви, светило дружбы, оставайся мне другом до конца, храни нерушимо союз истинной дружбы». Цель письма заключалась в выраженной тут же надежде, что кто-нибудь (разумей: Параспондил) доставит ему душевное удовольствие и перемену к лучшему.¹⁰¹

В панегирике, сказанном императрице, Пселл также старался польстить временщику; возвышение Параспондила ставится в большую заслугу Феодоре, он восхваляется за то, что восстановил погрязшие законы, и называется путеводителем, светочем и светом законов.

Пселл поспешил в Константинополь не только потому, что его звала императрица — хотя и этой причины для него было достаточно, — но также потому, что ему хотелось уладить одно домашнее дело. Пока он был на Олимпе, началась для него, по византийскому выражению, «Илиада зол», т. е. большие бедствия.¹⁰² Жених его приемной дочери Ельпидий Кенхри, воспользовавшись отсутствием присматривавшего за ним тестя, стал вести жизнь еще более распутную, чем прежде и интересовался своей невестой столько же, сколько философией и другими науками, т. е. вовсе к ней не

¹⁰¹ Ps. V, 365–367. Ср. с этими льстивыми эпитетами (хор муз, прибежище мудрости, вместилище добродетелей, сокровищница законов) то, что говорится в мемуарах о Льве Параспондиде (Ps. IV, 201–202), например: «Если он устно принимался изъяснять какую-нибудь науку, то говорил противоположное тому, что хотел выразить, — такой неясной и некрасивой была его речь».

¹⁰² Процесс Пселла известен из протокола суда, напечатанного Сафой под заглавием *δικαστικὴ ἀπόφασις κατὰ Ψελλοῦ* (Ps. V, 203–212). В этом протоколе, по византийскому обычаю, изложено не только дело, как оно велось на суде, но и предшествовавшие обстоятельству, вынудившие Пселла прибегнуть к суду. Тут-то и употреблено выражение «Илиада зол» (Ps. V, 207). Выражение это, заимствованное у классических писателей, вошло в поговорку у византийцев.

ходил. Поэтому Пселл решил уничтожить подписанный им брачный договор и прежде всего подал прошение на высочайшее имя. В прошении он говорил, что благодетельствовал Ельпидия, а тот вместо благодарности выказывает к нему вражду и непослушание, невесту же свою ненавидит; Ельпидий отказывается жить согласно с его предписаниями, бросает из рук книги, предпочитает проводить время с самыми позорными людьми. На этом основании он желал бы отказаться от Ельпидия и уничтожить обручение. К этому он прибавлял свое желание, чтобы жених лишен был чина патрикия, так как этот чин был выхлопотан им же, чин же протоспафария, составляющий часть приданого, был за ним сохранен. На это последовало императорское решение, начинавшееся словами: «Согласно прошению твоему будет сделано». В приказ, ведавший чиновничеством, был послан питакий (указ), собственноручно подписанный императрицей Феодорой, по которому Ельпидий лишался права носить пояс, т. е. лишался чина патрикия, но вместе с тем за ним сохранялся чин протоспафария. В то же время императрица приказала суду разобрать дело об уничтожении брачного договора.

Пселл поступил, по-видимому, обычным и законным путем; по крайней мере, из докладной записки (1092 г.) куропалата и дунгария вилы Иоанна Фракисийского (или Скилицы) мы знаем, что во время Алексея Комнина желавшие уничтожить брачные договоры подавали прошения на высочайшее имя, и затем царь приказывал разобрать дело суду ипподрома.

Мы видели, что Пселл обручил свою семилетнюю дочь с 14-летним Ельпидием и заключил формальный договор. Византийские законы признавали подобного рода брачные договоры, называвшиеся *δεσμός*; до Алексея Комнина их могли заключать дети не моложе семи лет.¹⁰³

¹⁰³ В протоколе брачный договор Пселла называется *τὴν ὑπαπαντήσιν τῆς μηροτείας*, а также *ὁνδεσμός τῆς μηροτείας* (Ps. V, 210). Брачный договор называется *δεσμός* в вышеупомянутой докладной записке Скилицы. Ср.: *Zachariä. Griech.-Röm. Recht. P. 54.*

О годах дочери Пселла и жениха в протоколе говорится: *ἐν ἀτελεῖ ἔτι τῆ ἡλικίᾳ καὶ μῆτι γάμου ἐπὶ ἄρην ἀγοσθῆ καταγγυῖται αὐτῆ τὸν τοῦ πρωτοσπαφάρου Ἰωάννου τοῦ Κερχρη υἱὸν Ἐλπίδιον, ἄρτι καὶ τὸν ἔφηβον παραλλάτοντα χρόνον καὶ δικλῆ τῆ μηροτῆ ἔτη βιώσαντα* (Ps. V, 204).

Суду предстояло рассмотреть, есть ли достаточное основание нарушить брачный договор или нет. Прежде всего суд ввел обе стороны: истца монаха Михаила Пселла и ответчика Ельпидия с его адвокатом спафарием Иоанном Кордакой. Сначала судьи спросили Пселла, на каком основании он желает уничтожить брачный договор. Пселл, сказав предварительно, как ему неприятно говорить публично на суде, показал, что он сделал много благодеяний Ельпидию, и затем, что у Ельпидия дурной нрав, что он с отвращением относится к учению, ведет непристойный образ жизни, не хочет повиноваться ему и жить в кругу чиновников, а проводит время с актерами и позорными людьми, что его нельзя ни увещаниями, ни наказаниями направить на путь истины, что он упрям и не раскаивается в своих поступках, что он ненавидит свою невесту, чрез которую он удостоился и большого богатства, и таких высоких чинов. Пселл не только говорил все это, но и доказал достоверными свидетельскими показаниями. Свидетелями его были ипат Феодор Миралид, мистограф Ефросиний Ксирит, фесмограф Гавриил Ксирит, фесмограф и начальник вестииопратов Михаил. Ипат Феодор Миралид показал, что у Ельпидия дурной характер, что он ненавидит Пселла и к своей невесте питает отвращение. Ксириты показали это самое и кроме того то, что Ельпидий не хочет жить по предписаниям Пселла, хочет жить по-своему и не так, как нравится Пселлу. Фесмограф Михаил, повторив показания других свидетелей, кроме того указал на неблагодарность, бесстыдство и нахальство Ельпидия, на нежелание его подчиняться своему благодетелю.

Таким образом, на суде подтвердилось все то, что писал Пселл в прошении на высочайшее имя. Но по точному смыслу закона этого было мало, чтобы уничтожить брачный договор. Поэтому судьи предложили Пселлу одно из двух — или привести, если может, еще другие обстоятельства, на основании которых ему можно будет нарушить договор, не уплачивая штрафа, или, если он желает уничтожить обручение, заплатить штраф. После некоторого колебания Пселл сказал, указывая на свои седые волосы: «О, законы, судьи и все присутствующие, я стыжусь своей седины и из-за 15 литр золота не стану говорить о запрещенных (т. е. грязных) делах; прежде всего, мне стыдно пред самим собой рассказывать гнусные и позорные вещи, а затем я буду всеобщим посмешищем, если стану раскрывать скрытые дела; а потому я этого не сделаю и охотно заплачу штраф».

После этой речи суд умолк, и адвокаты не сочли нужным говорить; ибо нечего было возражать, когда Пселл согласился уплатить штраф. На этом основании брачный договор был уничтожен.

Действительно, по новелле императора Льва Мудрого, каждая из сторон имела право разорвать брачный договор, но обязана была тогда заплатить штраф. Без уплаты штрафа брачный договор мог быть уничтожен только по каким-нибудь уважительным причинам: когда один из брачующихся желал поступить в монастырь, сходил с ума, становился еретиком или совершал неверность.¹⁰⁴ О последнем, очевидно, судьи спрашивали Пселла, и он или не имел данных, или действительно не хотел публично говорить о грязных подробностях.

Обручение было уничтожено, оставался еще вопрос о приданом. Пселл заявил на суде, что из 50 литр, составлявших все приданое, Ельпидий остался ему должен 20 литр (остальное, следовательно, возвратил), так как чин протоспафария был дан ему вместо 20 литр и чин этот у него не снят. Это подтвердилось питтакием императрицы.

Ельпидий старался возражать против этого и отвергал, чтобы он должен был заплатить за чин протоспафария. Но возражать было нечего, потому что, во-первых, сам Ельпидий согласился принять чин вместо 20 литр, во-вторых, это дело было решено императрицей. Пселл объяснил, что в прошении на высочайшее имя он просил оставить за Ельпидием чин протоспафария, потому что этот чин составлял часть приданого и за него Ельпидий в долгу пред ним; императрица в питтакии объяснила, что именно по этой причине за Ельпидием сохраняется чин протоспафария.

На этом основании суд сделал следующее постановление: Пселл должен Ельпидию штрафа 15 литр, а Ельпидий Пселлу за чин протоспафария — 20 литр, пусть будут взаимно покрыты их долги, штраф пусть будет зачтен Ельпидию за чин протоспафария, а чин протоспафария пусть будет зачтен Пселлу за штраф. Но так как сумма штрафа не соответствует цене чина протоспафария, штраф составляет 15 литр, а чин протоспафария по первоначальному

¹⁰⁴ Лев Мудрый постановил узаконить существовавший уже раньше обычай и брать штраф с желающего уничтожить брачный договор (*Zachariä. Jus Graeco-Romanum. Vol. III. P. 91-92*).

условию был оценен в 20 литр, следовало бы Пселлу получить с Ельпидия 5 литр. Но суд делает снисхождение Ельпидию и прощает ему 5 литр с тем, чтобы он не требовал в двойном количестве задатка, который, как говорит, внес невесте при заключении брачного договора, какова бы ни была сумма задатка.

По закону Ельпидий имел право взыскивать с Пселла задаток в двойном количестве, так как не он, а Пселл требовал уничтожения брачного договора.¹⁰⁵

Постановление суда по делу Пселла состоялось в самом конце царствования Феодоры, в августе 1056 г.

Вскоре после этого Пселл, кажется, выдал свою дочь замуж за сына протонотария дрома Иоанна.¹⁰⁶

Из процесса ясно видно, что императрица очень благоволила к Пселлу, так как решила исключительно по его просьбе опозорить молодого человека.

По совету Льва Параспондила и его партии императрица Феодора назначила своим преемником неспособного старика Михаила Стратиотика, вступившего на престол 31 августа 1056 г. Лев Параспондил надеялся, что в царствование этого ничтожного старика власть останется в его руках, как это действительно и случилось. В то же время в столице существовала партия, недовольная новым правительством и искавшая случая свергнуть императора с престола; во главе этой партии стоял патриарх Михаил Кируларий. Михаил VI царствовал более или менее спокойно только до весны 1057 г. *27 марта приходилось в Великий четверг — день, когда раздавалась царская руга. Несколько заслуженных, но не оцененных по заслугам воинов, в том числе магистр Исаак Комнин, Катакалон Кекавмен, Константин и Иоанн Дуки и др. прибыли к этому времени в Византию просить царя не оставить их своим вниманием и щедротами, произвести в следующий чин и т. д. Император дал аудиенцию, но отнесся немилостиво, стал упрекать за сделанные ими в качестве военачальников ошибки и не удовлетворил их просьбу.

¹⁰⁵ При нарушении договора задаток возвращался в двойном количестве, когда нарушал договор получивший задаток.

¹⁰⁶ По крайней мере на это есть намек в письме к Иоанну: τοιαῦτα γὰρ ἐπελήφθη ἡμῖν δίδωσιν ἢ ἐκ καίδων ἀλλήλων σύμπλοια καὶ ὁμόνοια, ὡς οὐκ ἀπεικότως θαρρεῖν ἔχομεν (Ps. V, 373).

Они сделали попытку подействовать на царя через его первого министра, Льва Параспондила, но тот принял их еще с большей суровостью, чем сам император. Оскорбленные стратиги, не выезжая из Византии, уговорились свергнуть Стратиотика и возвести на его место Исаака Комнина.¹⁰⁷ 8 июня 1057 г. заговорщики торжественно провозгласили его императором в Костамоне (в Пафлагонии). Византийская империя разделилась на два больших лагеря: так как упомянутые генералы командовали в азиатских провинциях, вся Малая Азия стала на сторону Комнина, а европейские провинции признавали еще своим царем Михаила.

В столь тяжких обстоятельствах престарелый император созывает на совет несколько доверенных лиц, в том числе Пселла, с которыми раньше никогда не советовался, и спрашивает их, как быть. Пселл посоветовал ему сделать три вещи. 1) Примириться с патриархом, имевшим большое значение в столице и в то же время относившимся крайне недоброжелательно к царю, так что можно было быть уверенным, что он станет на сторону заговорщиков, если царю не удастся склонить его как-нибудь на свою сторону. 2) Вступить в переговоры с Комнином, обещать ему какие-нибудь милости, постараться внести раздор в его войско и отвлечь от него как-нибудь его солдат. 3) Созвать войско из западных провинций, а также наемные дружины и, назначив способного генерала, двинуть это войско на Комнина.

Император принял сперва все эти советы, но затем не решился исполнить первого. С патриархом он не примирился, а этого одного, по словам Пселла, было достаточно для его гибели.¹⁰⁸ Войско действительно было собрано, но оно потерпело жестокое поражение близ Никеи и частью перешло на сторону Комнина.¹⁰⁹

В столь тяжких обстоятельствах император решается на последнее средство — вступить в переговоры с заговорщиками. Он просит Пселла отправиться к Комнину и своим известным красноречием и софистикой умягчить как-нибудь его душу и склонить его отказаться от престола. Положение Пселла было чрезвычайно затруднительное: с одной стороны, он чувствовал, что Михаил

¹⁰⁷ Скабаланович. Византийское государство и Церковь. С. 73–74.

¹⁰⁸ Рз. IV, 214.

¹⁰⁹ Скабаланович. Византийское государство и Церковь. С. 75.

погиб и престол принадлежит Комнину, которому повиновалось почти все войско, следовательно, было очень рискованно явиться приверженцем слабого императора, но, с другой стороны, окончательный исход заговора не был еще вполне известен. Михаил мог вследствие какой-нибудь случайности усидеть на престоле, опасно было послушаться самодержца, все еще обутого в пурпуровые туфли, тем более что он сам советовал вступить в переговоры с Комником. «Предложение царя, — говорит он в своих мемуарах, — поразило меня как громом, и я отказался исполнить его просьбу». «Мне не хотелось бы исполнять этого поручения, ответил я ему, так как оно сопряжено с большим риском и цели я все равно не достигну. Ясно, что тот, кто только что одержал победу и достиг своей победой такой высоты, не согласится отказаться от власти и променять ее на что-нибудь менее значительное (какую-нибудь должность, которую предложил бы ему Михаил)». Император счел нужным напомнить Пселлу о поданном им же совете и упрасивать его исполнить самому этот совет. «Неужели ты только постарался убедить нас на словах, — говорил он ему, — и не подумал о том, как бы защитить друзей, находящихся в несчастии, и владык? Я говорю с тобой не как царь, но обнимаю тебя и ласкаю, как привык это делать, ежедневно наслаждаюсь медом, истекающим из твоих уст, и желал бы, чтобы ты ответил мне тем же. Ты же не делаешь для меня того, что сделал бы добрый человек для врага, находящегося в опасности. Я пойду по стезе, определенной мне судьбой, но тебя будут укорять и осуждать за то, что ты изменил дружбе к царю и другу».

«Услышав такие слова, — рассказывает Пселл, — я чуть было не окаменел от изумления и ужаса и не мог уже оставаться при прежнем решении». «Царь, — сказал я, — я уклонился от исполнения твоего приказания не потому, чтобы я не хотел служить тебе, а потому, что я боюсь, что не сумею исполнить поручения и потому что возбужу этим зависть других». «Почему же ты не думаешь, — спросил царь, — что посольство увенчается успехом?» «Муж, к которому ты посылаешь меня, — ответил я, — завладел властью и уверен в победе. Не думаю, что он примет меня благосклонно и убедится моими речами; он, вероятно, будет говорить со мною очень спесиво и отошлет меня с бесчестьем, так что посольство мое останется без результата. А толпа будет клеветать на меня, что я изменил тебе и ему внушил самые лучшие надежды и дал право ожидать, что он достигнет царства.

Если хочешь, чтобы я исполнил твое приказание, пошли вместе со мною еще какого-нибудь сановника, чтобы мы могли защищать друг друга от возможных нареканий публики». «Царь одобрил мое предложение и сказал: «Выбирай кого хочешь из высших сановников». Пселл выбрал проэдра Федора Алопа и своего приятеля Константина Лихуда.¹¹⁰ Эти три мужа отличались, по словам историка Скилицы, умом и красноречием, особенно Пселл, стоявший, без всякого сравнения, выше других. Поэтому царь надеялся чрез их красноречие и умение обходиться с людьми достигнуть значительных результатов.¹¹¹

Послы получили от императора письмо к Комнину, которое ими же было составлено. Михаил предлагал последнему высший чин кесаря, дававшийся исключительно ближайшим родственникам императора, с тем, чтобы он отказался от притязания на престол. Выйдя из столицы, послы посылают к Комнину вестника, который объявил бы ему об их приходе и сказал бы ему, что они не могут вступить с ним в переговоры, если он не даст клятвы, что не задержит их и не причинит никакого зла, но, почетно приняв, отпустит домой. Когда Комнин клятвенно поручился за их безопасность, послы сели на триеры и пристали в Малой Азии к тому месту, где находился Комнин. В лагере заговорщиков, по словам Пселла, послов приняли очень любезно, так как надеялись, что теперь прекратится междоусобие. Послов привели к палатке Комнина и здесь приказали сойти с коней и подождать. Узурпатор пригласил войти одних послов, так как дело было к вечеру и он не желал, чтобы у него собиралось много народа. Он принял послов очень любезно, привстал с высокого кресла, на котором сидел, и попросил их сесть. Он не спросил их, зачем они пришли, но, сказав несколько слов о том, что ему необходимо было идти походом против императора, угостил их вином и отослал в палатки, приготовленные для них рядом с его палаткой. «Уходя от него, — говорит Пселл, — мы удивлялись, что он не вступил с нами сейчас же в подробный разговор и спрашивал нас только о том, как мы совершили путешествие и спокойно ли было море. Затем каждый из нас пошел в свою палатку. Поспав немного, мы рано утром сошлись опять и совещались, как будем

¹¹⁰ Ps. IV, 217–218.

¹¹¹ Cedr. P. 632.

переговаривать с ним. Мы решили, что не следует кому-нибудь одному вести разговор, но мы все вместе будем спрашивать его и таким образом получать от него ответы».

Когда только что взошло солнце, пришли за послами приближенные Комнина и отвели их к узурпатору. Дука Иоанн, начальник Комниновой стражи, привел их к палатке Комнина и попросил подождать у двери. Внезапно двери открылись, и послы были поражены представившимся пред их глазами зрелищем. Войско по частям, одна часть за другой, провозгласила Комнину славословие, воздававшееся императорам, крик был так силен, что оглушил послов. Войдя в палатку, они увидели самозванного царя, сидящего на высоком золотом троне в блистательной одежде. Вокруг него стояла многочисленная свита и наемные итальянская и русская дружины. Комнин кивнул им головой, чтобы они подошли, и громко сказал: «Пусть один из вас станет среди них, — указывая на стоящих по обе стороны от него, — вручит мне письмо пославшего вас и объяснит данное вам поручение». «Каждый из нас, — говорит Пселл, — уступал другому право говорить, и мы начали спорить об этом. Но так как они оба заставили говорить меня, обещая помочь мне в случае, если мне изменит язык, я был так смущен, что едва держался на ногах; оправившись, я вручил царскую грамоту и, получив позволение, начал говорить». Пселл старался говорить как можно красноречивее и по всем правилам риторики. Он сказал прежде всего о том, что царь даст Комнину чин кесаря, о почете, связанном с этим чином, о всяких милостях, которые царь будет ему расточать. Генералы отнеслись благосклонно к началу речи, но солдаты стали кричать, что Комнин должен непременно быть царем. Речь Пселла была прервана, он молчал некоторое время и, когда крикуны успокоились, продолжал. Он старался убедить Комнина, что гораздо лучше вступить на престол законным образом, что кесарское достоинство только ступень к престолу, что многие прекрасные императоры были возведены на престол из кесарей. Когда же некоторые возразили ему, что все это прекрасно для частного человека, Комнин же уже избран в цари, он ответил: «Но он еще не царствовал, и не красивым именем называется такое правление, как ваше». «Я боялся, — говорит он, — прямо назвать его узурпатором».¹¹²

¹¹² Ps. IV, 244.

Затем Пселл сказал, что император обещал усыновить Комни-ца. На это последовал вопрос: как же это сын царя не будет участвовать в управлении государством? «Так, — ответил Пселл, — бывало при лучших императорах с их настоящими сыновьями». Он упомянул о божественном Константине и других, которые сперва делали своих сыновей кесарями, а потом уже делали царями, и затем, воскликнув: «Так они поступали с сыновьями, рожденными от плоти своей, а этот только усыновленный», — оборвал речь.

Друзья Комнина начали излагать послам, что у них было много причин восстать против царя. Пселл согласился с ними, что они имели полное основание рассердиться на императора и негодовать на их обращение с ними, но что это еще не достаточная причина для заговора. «Если бы ты сидел на престоле, — сказал он, обратившись к Комнину, — и мы пожелали, чтобы такой-то был первым сановником или первым генералом, а ты не пожелал бы оказать ему такой чести, и мы по этому случаю решили бы свергнуть тебя с престола, разве ты видел бы в своем поступке достаточную причину для заговора? Откажись от царского имени, отнесись с должным уважением к старику-отцу, чтобы тебе законным образом унаследовать скипетр».

Пока Пселл говорил, раздавались голоса, прерывавшие его речь, и на него сыпались насмешки. Но Комнин движением руки приказал замолчать, говоря: «Этот муж не нападает на нас и не говорит о нас ничего дурного, он излагает дело самым приличным образом, поэтому не следует прерывать его речи и мешать нашему собеседованию». Тем не менее кто-то, желая напугать Пселла, сказал: «Царь, спаси осужденного на гибель оратора, войско извлекло уже меч, и когда он выйдет отсюда, его растерзают». На это Пселл ответил с улыбкой: «Я принес вам царство, и если вы за такую благую весть убьете меня, разве вы этим не докажете, что вы тираны, и не явитесь своими собственными обвинителями? Ты желаешь, чтобы я перестал говорить как говорил или изменил свое мнение, но я все-таки останусь при своих убеждениях и буду говорить все то же самое».

Комнин встал с трона, похвалив Пселла за его речь, распустил войско и остался наедине с послами. «Что вы думаете, — сказал он им, — что это я по собственному желанию принял царский титул и если бы я мог избежать этого, я бы этого не сделал? Они

принудили меня к этому, и теперь уже я не могу отказаться. Если вы поклянетесь, что вы передадите мои слова по секрету одному царю, я открою вам свои сокровенные мысли». Когда послы поклялись, что они не выдадут его тайны, он продолжал: «Я не стремлюсь теперь к престолу, с меня достаточно быть кесарем. Пусть царь пришлет мне новое письмо, в котором обещает не назначать перед смертью своим преемником никого другого, кроме меня, и не сменять никого из моих генералов. Я прошу также, чтобы он дозволил мне пользоваться до некоторой степени царской властью, предоставив мне, если я захочу, раздавать низшие гражданские чины и назначать военачальников. Если все это будет обещано мне, я тотчас же приду в столицу и воздам должную почесть отцу и царю. Но так как войску не понравятся мои условия, я дам вам два письма — одно, которое их обрадует и которое я дам им прочесть, другое же вы держите у себя в секрете. Сегодня вы будете моими гостями, завтра же отправляйтесь к царю с секретным письмом от меня».

Комнин угостил послов за своим столом и все время очень любезно беседовал с ними. На следующий день на заре им было отдано секретное письмо; почетный конвой сопровождал их до моря, где они сели на судно и отправились в Константинополь. Послы явились тотчас же во дворец, рассказали императору о своем свидании с Комнином и вручили ему письма. Прочтя несколько раз эти письма и заставив послов повторить условия Комнина, царь Михаил сказал, по словам Пселла: «Надо сделать все, что он желает; пусть глава его будет увенчана царским венцом, а не кесарским, хотя этого и не полагается кесарю, пусть принимает он участие в управлении, ему будет устроен царский дворец и дана почетная стража, пусть всякий из соучастников в его заговоре удержит то, что получил от него, как будто получил от царя, деньги ли, имения или чины. Все мною обещанное я подкреплю подписью, словом, делом и грамотой и поклянусь, что ни в чем не обману. Но так как он доверил вам секретное поручение, я со своей стороны поручаю вам также тайну. Клятвенно обещайте ему, что через несколько дней я сделаю его своим соправителем, когда найду удобный к этому предлог. Если же я не делаю этого сейчас, пусть он извинит меня; ибо я боюсь народа и сановников и далеко не уверен, что они разделят мое желание. Все остальное занесите в письмо к нему от моего имени, последнее же передайте ему на словах по секрету;

отправляйтесь к нему как можно скорее, не откладывая этого дела ни на минуту».

Пробыв день в столице, послы отправились вновь к Комнину и прочли громко перед собравшимся войском письмо от царя, которым все остались довольны. Когда же послы, оставшись наедине с Комнином, передали секретное поручение царя, он приказал солдатам разойтись по домам. Желая, чтобы все совершилось как можно скорее, Комнин приказал послам отправиться на другой же день в столицу и возвестить императору, что сам он прибудет через день с небольшой свитой. Послы готовились уехать на следующий день, когда из столицы пришло известие, что император Михаил свергнут с престола. Сперва не поверили этому слуху, но скоро оказалось, что, действительно, столичное население взбунтовалось против царя, что городская партия группировалась вокруг патриарха и что по настоянию последнего Михаил постригся.

Тогда Комнин приказал послам пойти спать в отведенные им палатки, а сам стал готовиться к занятию престола. «Не знаю, — говорит Пселл, — как провели эту ночь другие послы, но я считал себя приговоренным к смерти и думал, что вот сейчас буду принесен в жертву. Я знал, что на меня все сердятся и не избежать мне гибели. Больше же всего я боялся самого царя, как бы он, вспомнив о моих словах, как я убеждал его чуть ли не оставаться частным человеком, не наказал меня самым ужасным образом. Все спали, и я один все ожидал убийцы, и когда слышал около палатки какой-нибудь голос или шум, я выскакивал в ужасе, думая, что сейчас войдет убийца. Проведши в таком состоянии большую часть ночи, я вздохнул свободнее перед рассветом, считая, что приятнее погибнуть днем, чем ночью».

Сам Пселл самым наглядным образом изобразил нам свою трусость; ему нечего было бояться, Комнин все время принимал его очень любезно, а последнее известие, принесенное им в лагерь заговорщиков, было принято всеми очень сочувственно. Единственное, чего он мог опасаться, это, что он не будет играть выдающейся роли при Комнине, но от этого до казни очень далеко. Опасение, что его казнят или ослепят без суда за то, что он помог Комнину вступить на престол законным образом, такое опасение могло явиться только в душе труса, каким был Пселл.

И действительно, как только прошла та роковая ночь, новый император вступил в дружеский разговор с Пселлом, беседа

о наилучшем управлении государством. Пселл воспользовался этим случаем, чтобы пустить в ход риторику и превознести до небес Комнина (*λαϊκρῶς εὐδοκίμησα*). Он поплыл с ним на одном судне в столицу, и по дороге у них был следующий разговор: «Мне кажется, о философ, — сказал царь, — что это высочайшее счастье шатко, и я не знаю, выпадет ли мне на долю такой же счастливый конец». «Мысль твоя мудрая, — ответил Пселл, — но не всегда у счастливого начала будет неудачный конец, и если так определено судьбой, это еще не значит, чтобы определение судьбы не могло быть уничтожено. Если кто умиловительными молитвами изменяет несчастную жизнь, он этим самым разбивает предопределение судьбы; так читал я в философских сочинениях, и я говорю это на основании эллинских (языческих) верований. По нашим же верованиям, не существует предопределения судьбы и необходимости испытать то или иное, конец вытекает из предшествующих наших дел. Если ты изменишь свой разумный образ мыслей, возгордившись своим высоким положением, тебя постигнет справедливое воздаяние. Если же нет, будь спокоен, Божество не завистливо, часто и многим оно дает полное и не изменяющее им счастье. Выкажи свою добродетель прежде всего на мне и не сердись на меня за то, что я, будучи послом, говорил с тобой слишком свободно, ибо я служил царю и не изменил ему; я говорил так не потому, чтобы хотел повредить тебе, а потому, что хотел помочь ему». На это император ответил, по собственному признанию Пселла: «Мне больше нравилась твоя тогдашняя гордая речь, чем теперешняя льстивая и меня прославляющая. Несмотря на это, я начну с тебя, ибо ставлю тебя выше других друзей, а потому дарую тебе чин проэдра синклита».¹¹³

Переговоры Пселла с Комнином изложены нами на основании мемуаров самого Пселла, единственного источника, где подробно рассказан этот эпизод.¹¹⁴ Иоанн Скилица, историк, живший в царствование Алексея Комнина (в конце XI века), следовательно,

¹¹³ Ps. IV, 233. В письме к Махитарию Пселл сообщает, что Исаак Комнин сделал его проэдром (Ps. V, 352). О том же упоминает он в письме к императрице Екатерине (Ps. V, 357). В письме к вестарху Хасану Пселл называет себя проэдром (Ps. V, 439).

¹¹⁴ Ps. IV, 217–233.

младший современник Пселла, занес на страницы своей истории следующее: «Посольство обещало Комнину, что если он сложит оружие, он будет усыновлен императором и провозглашен кесарем, всем же заговорщикам будет прощено их преступление. Говорят, никто не согласился на такие условия. Послы возвращаются к царю и, получив новое поручение, застают Комнина на пути в местечко Реи. Посольство возвестило, что по усыновлении Комнин будет провозглашен царем (соправителем) и что царскими грамотами будут утверждены за сообщниками Комнина данные им чины и должности. Когда объявлено было это царское обещание, сам Комнин и его полководцы остались довольны и просили подтвердить обещания хрисовулом. Один Кекавмен не соглашался с ними и требовал, чтобы Михаил отказался от престола, говоря, что недостойно свергнутого с престола вновь признавать императором ромейским. По его словам, легко могло случиться, что Комнина отравят и тогда ослепят его сподвижников. Говорят, что послы, изменнически исправляя посольство (*παράπρεσβεβαντες*), тайно общались с Кекавменом и советовали ему твердо стоять на своем и ни в чем не уступать».¹¹⁵

На этом основании историки (Гиббон, Финлей), не знавшие мемуаров Пселла, писали, что послы изменили Михаилу. Г. Скабаланович, изложивший лучше всех внутреннюю историю Византии XI века, говорит: «Хотя послы в глубине души сознавали превосходство пред Стратиготиком и нисколько не были опечалены, когда совершился переворот в пользу Комнина, однако же долг свой исполнили честно».¹¹⁶ Мне кажется, что Пселл сыграл в этом деле несколько двусмысленную роль, и к такому выводу я прихожу на основании его собственных мемуаров. В вышеизложенном рассказе есть некоторые странности, которые наводят на мысль, что вообще Пселл изложил все дело не совсем правдиво. Так, например, по рассказу Пселла выходит, что император остался очень доволен ответом Комнина и не только согласился на условия, им предложенные, но даже предложил ему больше, чем тот требовал: соправительство вместо некоторого участия в управлении. Послы имели сильное, можно сказать, решающее значение

¹¹⁵ *Cedr. P. 633–634 (Migne. Patrol. gr. T. 122. P. 361–364).*

¹¹⁶ *Скабаланович. Византийское государство и Церковь. С. 77.*

в рассказанном деле, они сами составляли письма от имени императора, и позволительно думать, что ими были подсказаны такие льготные для Комнина условия. Михаил приказывает будто бы передать секретным образом Комнину, что через несколько дней по прибытии его в Константинополь он провозгласит его соправителем; не может он сделать этого явно, потому что столичное население и сановники не желают иметь царем Комнина.¹¹⁸ Здесь опять явная несообразность; если император полагал, что на его стороне стоит столичный народ и сановники, он не стал бы работать в пользу узурпатора и делать соправителем человека, ему ненавистного, за которым не признавал никаких заслуг и которого публично оскорбил. Столичное население имело в данном случае решающее значение; поэтому Комнин, уже провозглашенный императором, соглашался променять царский титул на кесарский, хорошо зная, что если столица будет защищать Михаила, едва ли удастся взять сильно укрепленный Константинополь.

Такие несообразности не позволяют думать, чтобы Пселл изложил свое дело беспристрастно, да кроме того из его же рассказа можно вывести кое-что не совсем для него благоприятное. Когда Пселл подавал вышеизложенные советы Михаилу, он советовал, предложив узурпатору что-нибудь для него лестное, внести раздор в его войско и постараться отвлечь от него хоть часть солдат. На самом же деле он этого не сделал, он предлагал только Комнину удовольствоваться кесарским чином, внушая ему не то, что он таким образом займет высокое положение при дворе, а то, что это вернейший путь достичь престола законным образом. Он проговорился, сказав войску, что принес им царство (*Ρα. IV, 226: εἰ βασιλείαν ἔφην διακορίσας ὑμῖν*). Едва ли таким образом Пселл исполнил желание Михаила, не имевшего никогда намерения делать Комнина соправителем. Затем вместо того, чтобы сделать как можно меньше уступок узурпатору, Пселл является к нему с обещанием, что через несколько дней он будет провозглашен таким же царем, как Михаил. Очевидно, ознакомившись с настроением столицы, Пселл работал в пользу Комнина, а не Михаила. Надо

¹¹⁸ *Ρα. IV, 228*: «Я опасаясь народной толпы и синклитиков и не очень-то надеюсь, что они посочувствуют моему намерению».

думать, что он сделал что-нибудь для узурпатора, если тот, еще не вступив на престол, поспешил наградить его чином проэдра. Трудно предполагать, что эта награда досталась ему за бескорыстную защиту интересов императора Михаила. Поэтому большую важность приобретает прямое указание Скилицы, историка, которому мы по большей части доверяем, так как он пользовался хорошими источниками.

Косвенно сам Пселл говорит, что его обвиняли в недобросовестном исполнении обязанностей посла; он два раза (в мемуарах и панегирике Лихуду) рассказывает, что неохотно брался за посольство к Комнину, потому что боялся, что его обвинят в измене. Такое опасение довольно странно, и невольно думаешь, что до Пселла действительно дошли подобные толки и под их влиянием он написал указанные фразы; мемуары и панегирик Лихуду писались уже после воцарения Комнина и при описании событий предшествовавших могли невольно отразиться более поздние обвинения.¹¹⁹

Мне кажется, ясно одно: Пселл всячески старался согласовать якобы интересы царя с интересами узурпатора, возвести на престол Комнина без кровопролития и таким образом войти в милость будущего императора, не теряя благосклонности монарха, которого официально представлял.

Пселл не только был награжден высоким чином проэдра,¹²⁰ он во все царствование Комнина оставался самым близким человеком к императору. Об этом свидетельствуют его письма к Комнину.

Вот что писал Пселл императору, когда тот выступил в поход против венгров и печенегов в 1059 г. «Царю, во веки живи (Дан. 2:4), Даниил сказал это, беседуя с нехорошим царем; я же, беседуя в письме с земным Богом, — говорю это смело, — присоединяю еще следующее: царь милостивейший, кротчайший, человеколюбивый, живи долго в настоящий век и вечно — в будущий.

¹¹⁹ Рз. IV, 218: «Он посмеется над моим посольством и отправит назад ни с чем; все же вокруг станут клеветать на меня, будто я не хранил тебе верность и в него вселил уверенность».

Рз. IV, 408: «Опасался я и клеветников, как бы не приписали мне неудачу посольства».

¹²⁰ Выше проэдра были следующие чины: протопроэдр, новелиссим, куроцалат, кесарь.

Об этом молюсь я о тебе и надеюсь, что свершится первое на спасение и упокоение народа, второе — в воздаяние твоих земных деяний. Не имея твоих добродетелей, я, быть может, буду далеко от уделенной тебе в будущем веке жизни. Но теперь зачем нахожусь я в разлуке с тобой? Я говорю это не к тому, чтоб мне подняться на твои небесные высоты, но чтобы ты сам возвратился и снизошел к нам и полюбил жизнь с нами. Так, даже Бог, сойдя с неба, поселился в Палестине; не хуже древнего Иерусалима эта мать городов (т. е. Константинополь), которую ты почтил, в которой был почтен, которую сделал по объему царицей, в которой воцарился. Как ты, божественный царь, презрев любимейшие существа, взял на себя опасность ради спасения мира, так и она готова подвергаться опасности за тебя; любя тебя больше возлюбленного, она превозносит тебя за твою решимость и уже провозглашает тебя победителем.

То, что тебе следовало сделать, ты сделал, царь; а идти дальше вперед небезопасно. Что тобой сделано до сих пор, отважно и предусмотрительно, идти же дальше, боюсь, чтоб не было названо излишней смелостью. Если я на деле не способен участвовать в войне, это не значит, чтобы я в ней ничего не понимал (ἐγὼ δὲ οὐχ ὄσπερ τοῖς λοιπῶ ἀσπράτετος, οὐτὼ δὲ καὶ τῇ κεφαλῇ); если бы я хотел распространиться на эту тему, я мог бы привести много законов стратегии, учащих когда, до каких пор и каким образом следует самодержцу принимать участие в походе.

Следовало напугать варваров, они напуганы; следовало ободрить подвластное тебе войско, оно ободрено; перерезать же враждебный народ еще на наступило время. Итак, не выступай прежде времени, чтобы не случилось с тобою чего-нибудь неожиданного. Пишу откровенно справедливейшему царю, которого не боюсь; говорю смело без всякой лести. Бог да приведет все к лучшему, да кончатся дела более мирным и спокойным образом, чем прежде. Но приди вновь к нам; ибо мы радуемся больше, когда ты управляешь колесницей над нашими головами, чем когда видим, что ты удалился с колесницы». ¹²¹

Пселл советовал Комнину вернуться в столицу и не подвергаться опасности; император, однако, не послушался этого совета

¹²¹ Ps. V, 315—316.

и, заключив мир с венграми, направился против печенегов. Вскоре после этого Пселл отправил царю письмо следующего содержания: «Дерзнул вновь недостойный раб твой, я, ничтожнейший и незначительнейший из всех людей, уповая на твою неизреченную ко мне милость; пишу это письмо державе твоей, болея и страдая, что лишен разговора с тобой, но тем не менее пользуясь вместо живого слова писанием и тем утешаясь.

Сначала, божественный царь, я подавал твоей державе совет, какой мог, не потому, чтобы я стоял выше твоей возвышенной и непобедимой души, а потому, что ты скромного о себе мнения и по своей привычке побуждал меня к этому (дать тебе совет). Теперь же не время подавать советы, а хвалить и восхвалять тебя за твои подвиги. Ибо хотя я не слышал еще о конце твоей великой борьбы и не узнал о великом окончании твоего подхода, я смотрю на дело так, что ты победил. Хотя твоим подвигам не положено еще счастливого предела, но решиться на такую опасность, когда все отсоветовали тебе выходить из столицы, собрать столь великое войско и управлять им, придумать такие искусные стратегические приемы, идти вперед в строю, одним маковением руки руководить столь значительным войском, устанавливать фаланги и приводить их в движение, ободрять струсивших, поставлять им отовсюду необходимое прокормление и — что самое важное и трудное — разъединить варварское войско, удержать и обратить к себе хотевших отпасть союзников, самого врага столкнуть в непроходимую пропасть — этого одного достаточно для большого панегирика твоему походу, для доказательства твоего великодушия, так как ты сам подвергаешься опасности, в то время как этого не делали другие самодержцы. Об этом, если бы даже никто не стал говорить, будут кричать камни, небо сверху испустит глас, и даже неодушевленные предметы будут трубить о твоей добродетели. Я же, которого ты сам считаешь ученым, которого часто хвалишь, философским рассуждениям и ораторскому искусству которого удивляешься, присоединяю к этому следующее: если ты все уже окончил и покорил, нечего и говорить, если же конец войны еще не известен, то установи три категории побед, больших, средних и последних, и пусть будет большая победа — окончательное исчезновение варваров, средняя — их переход в другое место, третья и последняя — их подчинение тебе, истинное и по наружному виду, и на деле. Если ты одержишь

большую победу — питай величайшую благодарность к Богу, все изменившему к лучшему, если же ты достигнешь второй или третьей, будь доволен и этим и считай сделанное тобой достаточным подвигом.

Когда же ты победишь, божественный царь, тогда будь истинным философом, не возгордись своим подвигом, не вознось своей победой. Люди обыкновенно бывают благоразумны и кротки, когда неизвестен исход дела, когда же им посчастливится, они становятся самоуверенны и заносчивы. Я не сошел с ума, чтобы говорить это о тебе, представляющем пример великодушия и скромности, но говорю это о командующих войсками, и даже не о генералах, а об их подчиненных. Великий и знаменитейший царь Агесилай боялся больше мира после войны, чем войны до мира. Поэтому, сражаясь, он являлся отважным и самоуверенным, одержав же победу, имел недовольный вид, зорко следил за войском, утишая его пыл.

Но что я попусту болтаю? Какому же это я говорю самодержцу? Тому, чье военное искусство несколько не ниже Александра Македонского, чьи мнения и планы несравненны и бесподобны, у кого кроткий взгляд, любезный язык, глубокая мысль и все остальное, что свойственно геройской и благородной душе. Терпи мою болтовню, ибо ты сам приказываешь мне говорить и повелеваешь писать, не знаю, за что полюбив мой язык и желая слушать мою речь.

Вернись к нам скорее, божественный самодержец, желанный, к страстно желающим тебя видеть. Однако не думай, божественный царь, что тебе одному принадлежит военный подвиг. Вместе с тобою стяжала его и царица, великий образец и гордость женского пола. Ибо она послала к тебе Божию Матерь (αἴτη γάρ σοι τῆν θεομήτορα συνεξέλεμψε), молясь Ей, умоляя Ее, проливая слезы, бодрствуя значительную часть ночи вместе с дочерью. Обе они принимали участие в борьбе, следовательно, принимают участие и в победе». ¹²²

Не знакомый с византийской риторикой и манерой Пселла может подумать, что речь идет действительно о какой-нибудь блестящей победе. На самом же деле, по рассказу Атталиата, случилось только то, что когда Исаак Комнин выступил против печенегов, они не

¹²² Pz. V, 416-419.

противопоставили ему почти никакого отпора; между князьями отдельных печенежских колен не было единодушия и согласия, один за другим они признали над собой власть византийского императора и обещались сохранить верность.¹²³

После блестящей победы Комнина над печенежским ханом Селте (в 1059 г.) Пселл отправил ему письмо следующего содержания.

Царю Исааку Комнину, находящемуся в походе.

Ты, владыко, не позволяешь мне веселиться и радоваться столь великим и столь важным военным подвигам и успехам; ты сдерживаешь мой язык и не позволяешь голосу раздаваться так громко, как я желал бы. Ибо когда я рассматриваю твое гражданское и военное управление, то, что ты совершил до войны и что сделал на войне, именно как ты соблюл все стратегические законы, как на практике применил правила тактики, вступая в сражение при надлежащих обстоятельствах, не теряя присутствия духа в опасности, как, наконец, ты поднял лежавшее в небрежении на земле царство ромеев, восстановил древнюю его красу и величие и освободил его от крайнего позора, от которого оно чуть было не ушло под землю и не погибло; когда я думаю обо всем этом и размышляю об этой высокой помощи, я прихожу в восторг от удовольствия и часто желаю плясать и прыгать по поводу этих событий и делать и другое, что обыкновенно делает душа, внезапно преисполненная радостью, превосходящей все удовольствия и прелести, когда-либо существовавшие. Как только я поразмыслию о твоей героической и божественной душе, совершившей поистине великие дела, глубокой, мощной и непоколебимой, после столь великих и отменных подвигов оставшейся неизменной и все той же, как будто не случилось ничего нового, не возгордившейся победами, не похвалившейся военным искусством, в письмах к нам не похвалявшейся удачной расстановкой войска, бегством неприятеля, избитием варваров, я тотчас же, пораженный стойкостью твоего ума, крепостью твоей души, забыв о веселье и торжестве, весь преисполняюсь изумлением и удивлением

¹²³ Васильевский В. Г. Византия и печенеги // ЖМНП. 1872. Ноябрь. С. 136.

к тебе и восхищаюсь тобой, самодержцем всех людей, доблестным стратигом, советником беспримерным, башнею несокрушимой, твердынею неприступной, стеною непоколебимой. Я удивляюсь твоим военным подвигам, воздаю тебе должную хвалу и считаю достойным нетленного венца и провозглашения тебя богом. Я в высшей степени поражен непоколебимостью твоего рассудка, стойкостью твоего ума и тем, что ты оказываешься выше трофея, победы и квалы, и без колебания я провозглашаю, что ты поистине выше человека.

Ты, о великая польза ромеев, думаешь, что впервые одержал победу теперь, когда отбил и отразил варваров, напавших на твое войско со всех сторон, обратил в бегство врагов, казавшихся до сих пор непобедимыми, однако не выдержавших твоей стратегии и твоей команды, но как лев, зарывавши от боли, убежавших со всех ног и рассеявшихся по чаще и болотам;¹²⁴ я же приписываю тебе много побед, которые может перечесть всякий хороший и независтливый человек.

Именно ты был увенчан первую победою, когда превзошел всех нас, малодушных или згонистов, и, приняв на себя риск за всех, ушел из столицы.¹²⁵ Вторую победу, значительно большую предыдущей, ты одержал над корыстолюбием войска, убедив его уважить всех, довольствоваться своим собственным жалованьем и не притеснять убогих земледельцев.¹²⁶ Третью победу ты одержал в том, что водворил единодушие в войске, совершенно искоренил всякие раздоры и трусость, не обратив внимания на ругательные сочиненьца,

¹²⁴ «Только Селте не хотел покориться, надеясь на неприступное положение своего убежища, которое он нашел себе на берегу Дуная на какой-то скале. Варвар дошел до такой дерзости, что не побоялся выйти в открытое поле против всех сил императора. Он был скоро наказан за свою смелость. Разбитый наголову высланным против него отрядом, Селте избегал плена только в густых лесах около Дуная; его укрепление было занято византийским гарнизоном» (*Васильевский В. Г.* Византия и печенеги // ЖМНП. 1872. Ноябрь. С. 137).

¹²⁵ Намек на восстание Комнина.

¹²⁶ «Требовалась большая, можно сказать, самоотверженная энергия, чтобы ограничить солдатские насилия и грабительства. Хищнические инстинкты войска, жертвою которых делались мирные земледельцы, крестьянство, не легко было укротить. Появление византийской армии для жителей было своего рода вражеским нашествием, иногда не уступавшим вторжению настоящего врага» (*Скабаланович.* Византийское государство и Церковь. С. 277–278).

отнесшись с презрением к клеветавшим друг на друга, с насмешкою к старавшимся напугать тебя, и все это в то время, как ты стоял среди мечей, на самом их острие, среди стрелков и гоплитов. Четвертая же победа заключается в том, что ты до войны одолел варваров, победил их дипломатией и оружием, разъединил врагов, одних привлек на свою сторону, других отразил.¹²⁷

Если бы кто захотел увенчать тебя и восхвалил за такие дела, есть ли знаки отличия, которых он не счел бы тебя достойным, есть ли самодержцы, знаменитые своими военными подвигами, которых он не поставил бы ниже тебя? А ты сам, душа, никак не могущая насытиться прекрасным, как будто не одержал никакой победы и теперь впервые приступил к командованию войском, достиг большей победы и более совершенного триумфа. Но кто же не удивлялся твоему походу, твоему кругообразному шествию, стратегическому взгляду, проходу в теснинах, как ты прошел, расширяя и стягивая войско? Кто не поражен твоими трудами, твоими бессонными ночами, твоей заботливостью, щедростью души, непоколебимостью рассудка?

Когда внезапно показались неприятели и подняли тот грубый лай, который они всегда поднимают, ты не испугался крика, но противопоставив им молчание и спокойствие войска, молча оказался сильнее лающих варваров; укрепившись кругом вокруг тебя, они нападали на войско и теснили его, но больше отражались, чем разрывали строй. А бегству ночью и крику варваров, когда ты сокрушил неприятеля, а мужеству твоему кто не удивится?

Читая, божественнейший царь, о походах и победах древних царей, вижу, что одного восхваляют только за то, что он подал отличный совет, другого — только за то, что подвергался опасности, третьего — за то, что он прорвался сквозь неприятельский строй, наконец, четвертого — за то, что он не двинулся с места при нападении неприятеля; и только одного царя Македонского отличают особенными похвалами за то, что он в одно и то же время одних неприятелей избивал, других обращал в бегство, у третьих захватывал их укрепленный лагерь; все это подвиги, которые после того знаменитого мужа в совокупности были совершены только твоею державою.

¹²⁷ «Исаак направился к востоку, за Балканы, для усмирения печенегов. На этот раз они почти не противопоставили никакого отпора...» (Васильевский В. Г. Византия и печенеги... С. 136–137).

Но ты, не поддающийся никаким увлечениям, единственный из всех не поддающийся радости и удовольствию, ты даже не помог нам рассказать о тебе, даже не похвастался своими подвигами, ты, стоящий выше всего — и телес и душ, характеров и умов, царей и полководцев и — осмелюсь сказать — существ бестелесных! Если ты спросишь меня, каков, на мой взгляд, твой военный подвиг, я коротко отвечу: это создание второго мира или превращение старого в новый; он таков, на мой взгляд, что я этого даже не умею выразить. Если бы ты видел меня, когда первая весть о победе потрясла мне слух, тогда ты узнал бы, какое значение я придал твоему походу. Ибо, подняв тотчас руки, я закричал от радости, и как громко! Чуть было не заплясал. Затем, как будто в припадке сумасшествия, я бегал вокруг дома с громким криком и шумом; сев без всяких приготовлений на коня в том платье, в каком находился, явился к царице и сообщил ей об этой радости. Затем, отправившись на площадь, объявил народу о победе, а вместе с тем разъяснил им твой характер и этим объяснил, почему ты не написал народу. Они раньше были этим недовольны, но когда узнали, что ты не любишь хвастаться, недовольство превратилось в восторг. Да будет известно твоей царственности, что весь народ повергает к твоим стопам свои чувства и любят тебя все: не только люди с душою, но и те, у кого каменные или железные сердца.

Неужели моими словами очарован единственный человек, остающийся равнодушным к очарованиям, или ты и к ним отнесся равнодушно? Следовало бы, чтобы тебе, на поддающемуся никакой чувственной красоте, понравился мой гладкий и красивый слог. Кто был бы счастливее меня, если бы царь, презирающий всякое наслаждение, оказывающийся равнодушным и закаленным против всяких чар, был очарован моими словами? Если бы твоя держава была очарована моими словами, это было бы поистине новостью и неожиданностью; мне же твои письма приносят не только удовольствие и радость, но и известность в потомстве, славу и знаменитость, род мой будет гордиться этими царскими письмами, а я приобрету бессмертную славу. А за твои письма ко мне да напишет Бог твое имя в книге живых и да сопричтет тебя к апостолам*.¹²⁸

¹²⁸ Ps. V, 300—304.

Из этого письма видно, что Пселл занимал выдающееся положение в царствование Исаака Комнина; с театра войны ему первому сообщили о ходе военных действий, и он считал возможным являться к императрице не только без зова, но даже в домашнем платье. По возвращении Комнина из похода против печенегов Пселл от лица столичных жителей произнес ему приветственную речь, в которой прославлял его за победы и превозносил до небес его военные доблести.¹²⁹

Пселл был близок не только с императором, но и со всем его семейством. Когда однажды Комнин отправился в какую-то провинцию для разрешения дел, требовавших его личного присутствия, и ему сопутствовала его супруга, императрица Екатерина, он пишет последней письмо следующего содержания:

«Священная владычица моя и боговенчанная царица! Я страстно желал бы видеть нашего царя и желал бы, чтобы он постоянно жил в столице. Я жажду вас и тогда, когда вы здесь, но я совсем не могу вынести, что вы отсутствуете из столицы, хоть ушли из нее на короткое время; как бы скрытый огонь сжигает и терзает мою душу, и я не в состоянии переносить разлуки с вами.

Так как я не могу иметь другого общения с вашей державою, я утешаюсь письмами к вам; ибо мне кажется, что я разговариваю с вами при посредстве писем. Поэтому я посылаю к твоей царственности монаха, которого обыкновенно посылаю, и осмеливаюсь спросить, как здоровье великого светила, царя мира и моего царя? Как здоровье света моего сердца, наслаждения души моей, мысленного солнца?

¹²⁹ Речь эта в Парижском кодексе 1182, по которому она напечатана Сафою, имеет заглавие: *προσφώνησις πρὸς τὸν βασιλέα κύρ 'Αλέξιον τὸν Κομνηνὸν κατὰ τῶν πολιτῶν ἐν κλητορίῳ* (Ps. V, 228–230). Сафа поправил «к Роману Диогену» вместо «Алексее Комнину». Та же речь сохранилась в одном Венецианском кодексе и одном Ватиканском; по Венецианскому кодексу, она была сказана Комнину, по Ватиканскому — Роману Диогену. Об Алексее Комнине нельзя думать, потому что, насколько мы знаем, Пселла не было в живых в это время. Всего вероятнее, что эта речь была сказана Исааку Комнину, в чем нас убеждает следующее обстоятельство: вслед за этой речью в Парижском кодексе следует письмо с надписью «тому же самому» (т. е. как предыдущая речь), а письмо это, как тождественное по содержанию с нижеприведенным письмом к царице Екатерине, было несомненно послано Исааку Комнину.

Затем я спрашиваю и о твоей державе: как здоровье поистине царицы, украшенной золотыми украшениями добродетелей, в которой и по происхождению течет царская кровь и которая новым царственным союзом превзошла прежнюю славу? Как здоровье твое, светоносная жизнь? Не удивляйся, что часто я спрашиваю тебя об этом: за полученные мною от твоей державы тысячи благ, благосклонный взгляд, милосердие, царское благорасположение я приношу малое воздаяние, вопрос этот и поклонение. Да дашь ты мне хороший ответ, что ты здорова, что ты довольна, что ты радуешься здоровью самодержца.

Не стану отрицать, что много милостей даровал мне человеколюбивейший царь, я во всеуслышание и громким голосом возглашаю о дарованных мне почестях, о чине проадра, о его благосклонности ко мне, о многом другом. Но не поэтому я так страстно желаю его возвращения, а вследствие прирожденных ему добродетелей и заботливости о государственных делах. Убеди его вернуться, хотя он и теперь достиг чистого наслаждения; ибо, как мы слышали, он ушел из столицы не на охоту, но для дела, не ловить зверей, но разрешить приказные дела (секретикὴ διαλῦσαι ζητήματα). Да будет на многая лета царство ваше, возвеличивающее дела ромеев и прекрасно управляющее державою».¹³⁰

До нас дошли два письма Пселла к одному из племянников Комнина, вероятно, сыну его брата Иоанна, занимавшего должность дуки какой-то провинции и имевшего чин магистра. Из этих писем видно, что Пселл был в приятельских отношениях с адресатом и с другим племянником Комнина Феодором Докианом. В первом письме он называет царского племянника не только господином (κύριε) и светлейшим, но также любезнейшим братом и сообщает, что осмелился послать царю короткую записку, написанную именно так, как он ему советовал.¹³¹

Во втором письме он всячески восхваляет царского племянника, называет его цветом ромейской земли, говорит, что любит его

¹³⁰ Ps. V, 356–358. В то же время Пселл послал императору вышеупомянутое письмо, которого не привожу здесь, потому что оно по содержанию совпадает с письмом к Екатерине, а из трех приведенных писем достаточно видно, в каких отношениях к императору был Пселл и как он ему писал.

¹³¹ Ps. V, 358.

за его необыкновенный ум и характер. «Однако вы согласитесь, — продолжает он, — что вы все по разуму стоите ниже царя. Но все же есть подобие между вами и вашим первообразом, это ясно из того, что вы делаете и говорите, ты, светлейший магистр и превысокий дукс, и равный тебе и по разуму, и по судьбе; ты понимаешь, что я говорю об удивительнейшем Докиане.¹³² Я радуюсь, что вы представляете из себя для нашего божественного самодержца такие передовые укрепления, один, стоя рядом с ним и как бы стоя перед ним со щитом, ты же, издали отражая нападения врагов». Письмо кончается тем, что Пселл просит оказать протекцию некоему Иосифу, мужу, умеющему говорить, благонаравному и разумному. «Если ты любишь меня, — говорит Пселл, — как ты это всем рассказываешь, ты должен быть хорошо расположенным и к тому, кто меня любит, пожалеть о нем и оказать ему услуги».¹³³

Что Пселл занимал выдающееся положение в царствование Комнина, видно из письма к логофету дрома. Логофет дрома, по-нашему министр путей сообщения и иностранных дел, занимал важное место среди византийских сановников; он считался по церемониалу пятым должностным лицом по гражданскому ведомству.¹³⁴ Логофет дрома сопровождал Комнина в поход на Дунай. Он написал Пселлу всего раз, чем тот остался недоволен; поэтому он просит его, хотя в приличном тоне, но без всякого низкопоклонства, к которому он был так склонен, когда имел дело с людьми выше себя поставленными, сообщить ему подробные сведения о ходе военных действий. «Написать только раз, мудрейший, — пишет Пселл логофету, — угостить медом и затем отнять его, это признак злой души, а не мудрой. Мы не хвалим рек, текущих только зимой, а летом высыхающих; когда светило удаляется зимою к югу, мы не хвалим его, потому что желали бы, чтобы оно было постоянно над нами. Почему же ты не течешь постоянно, не светишь постоянно, тогда как есть много оснований для света и течения? Ибо Дунай и дела на Дунае дают обильный повод для потока слов. Почему же ты не двигаешь к нам эти великие волны, перечисляя, что делается на войне, прорытие рвов, канализацию, перестрелки,

¹³² Скилица упоминает о Федоре Докиане, племяннике Комнина (*Cedr.* II, 648).

¹³³ *Ps.* V, 432-434.

¹³⁴ *De Ceremon.* P. 713.

убийства людей, растягивание строя и окружение неприятельских флангов? Я далеко не хорошо знаю, какие вы одержали победы. Уши наши преисполнены шумом от ваших дел, о которых доходит до меня много слухов, один говорит о нападении, другой — о том, что его не было, третий — о сражении. Я радуюсь, что до меня доходят слухи о вас, но не вполне доверяю этим рассказам. Поддай же теперь голос и напиши, что делается на войне, хоть коротко и не соблюдая правил риторики». ¹³⁵

Во время похода императора Исаака Пселл написал и два письма с разными пожеланиями царским нотариам, бывшим с царем на войне, из чего видно, что он был в приятельских отношениях со всей императорской канцелярией. ¹³⁶

Константинопольский патриарх Михаил Кируларий способствовал, как мы видели, возведению на престол Комнина, за что император поступился некоторыми своими правами в пользу патриарха. «Недолго, однако же, продолжалось согласие между императором и патриархом», — говорит г. Скабаланович. В характере Исаака Комнина были некоторые черты, общие с Кируларием, как-то: двойственность поведения в домашней и официальной жизни, суровое и высокомерное обращение с людьми. Разница главным образом состояла в том, что у Комнина было менее, чем у Кирулария, рассудительности в поступках, менее стремления приравниваться к обстоятельствам и более нетерпимости, бесперемонности, резкости и решимости в действиях. В лице Кирулария и Комнина сошлись две натуры одинаково устойчивые и неподатливые, два самолюбия одинаково исключительные; натура теоретика, неуклонного в преследовании излюбленной теории, столкнулась с натурой солдата, не признававшего узлов, которых нельзя было бы рассечь мечом, честолюбие патриарха, для которого не было достоинства и власти выше патриаршей, с честолюбием императора, не допускавшего в мире власти выше императорской. Трудно было ужиться рядом представителям двух противоположных направлений при характере, исключавшем возможность уступки с той или другой стороны. Одна сторона необходимо должна была сойти со сцены, и необходимость выпала на долю той, которая была физически слабее. Истинная причина кризиса, постигшего патриарха,

¹³⁵ Ps. V, 330-331.

¹³⁶ Ps. V, 305-306, 485-486.

скрывалась в личных качествах императора. Кируларий был совершенно последователен и верен себе, поступал при Комнине так, как он поступал прежде, но последовательность и погубила его; роковая его ошибка заключалась в том, что он не хотел принять в расчет, что императорский престол занимает суровый Комнин, а не легкомысленный и переменчивый Мономах, не слабая женщина и не дряхлый старик. Поводом к столкновению была политика Комнина относительно Церкви, секуляризация церковных и монастырских имуществ. Патриарх как защитник церковных интересов не мог безучастно отнестись к этому поступку. Он смело заговорил с императором, хотел подействовать сначала пастырскими вразумлениями и кротостью, когда же это не помогло, грозил эпитимией.¹³⁷

В душе своей Пселл относился неодобрительно к внутренней политике Комнина; в своих мемуарах он порицает императора за секуляризацию церковных имуществ, в особенности за то, что он торопился уничтожить прежние порядки, делал это без должной осмотрительности, не принимая ничьих советов и не соображая, какие могут произойти результаты, чем возбудил недовольство народа и духовенства. «Бог создал мир в шесть дней, — говорит он, — а император хотел все сделать в один день».¹³⁸

Несмотря на это, боясь лишиться царских милостей и чуя, на чьей стороне сила, Пселл держался императора в его борьбе с патриархом. Кируларий укорял за это своего прежнего сторонника и благожелателя, укорял он его и за занятия Платоном и неоплатониками, что с церковной точки зрения считалось предосудительным. На эти укоры Пселл ответил длинным письмом в ироническом тоне, в котором проводит мысль: мы с тобой не можем действовать заодно. «Ты — ангел небесный, говоря словами Павла, — пишет он, — я же то самое, что я есмь, мысленное естество в соединении с телом. Не сердись на меня за то, что я не разделяю твоего вдохновения и не поднимаюсь на твою высоту, но относись кротно к живущему данною ему жизнью или укажи, какой же человек имеет силу — чтобы не сказать желание — уподобиться тебе. Сознаюсь, что я человек, живое существо, изменчивое и могущее быть поколебленным, мысленная душа в соединении с телом, ты же единственный

¹³⁷ Скабаланович. Византийское государство и Церковь. С. 385—386.

¹³⁸ Рв. IV, 242—244.

изо всего человечества непоколебим и неизменчив, представляя как бы совсем другое существо, чем наше, остающееся непреклонным, даже когда кто старается умиловить тебя и разжалобить слезами. Но кто же будет стараться уподобиться тебе в этом отношении? Я изучил философию и очистил свой язык софистическим искусством (σοφιστικαῖς τέχναις), занимался геометрией и музыкою, я внес немало поправок в изучение движения небесных тел, я способствовал более правильному изучению красноречия, я издал поучения богословские, я раскрыл сокровенный смысл аллегорий, я изучил все науки. Твоя же мудрость и богословие происходят из совсем других источников, которых мы не знаем, к которым не обращались. Не изучив ни философии, ни геометрии, не читав никогда никаких книг, не учившись ни у каких мудрецов, ни у эллинов, ни у варваров, ты являешься нам, можешь сказать, самознанием и самомудростью (αὐτεπιστήμη καὶ αὐτοσοφία). Ты видишь, сколько морей, сколько материков отделяют нас друг от друга! Поэтому ты не можешь подражать мне, и я не пожелаю подражать тебе. Ты принадлежишь к знаменитому роду, все знают твоего деда и прадеда; у меня же предки неизвестны, а может быть, и известны, да я об этом молчу. Как же действовать заодно, когда наш образ жизни, наше происхождение, наши характеры так резко отличаются друг от друга? Поэтому ты избегаешь моего общества, пренебрегаешь моею речью, презираешь мое образование, ничего от меня исходящее не может прельстить тебя, ни красивая речь, ни философский нрав, ни простой образ мыслей. В то время как другие восхищаются мною, ты один не слушаешь моей лиры или слушаешь, но не так, как дуб слушал песнь Орфея, чтоб не сказать больше. Такой у тебя неподвижный нрав, такая непоколебимая душа, чтоб не сказать — такое презрение к образованию (τὸ καταφρονεῖν τῆς παιδείας).

Таким образом, я во всех отношениях представляю противоположность тебе; ты, произойдя в одном со мною месте и выросши в той же самой бороде, стал мне чуждым. А божественнейший и мудрейший царь, на которого надет венец не людьми и не чрез людей, а свыше, приобщился ко мне, и смотри, какой образ мыслей у этого мужа: он соединяет порфиру с рясою и старается ввести философию во дворец, точно так же, как в древности Кесарь и Август и другие, почитавшие цвет науки, один — Ариана, другой — Рустика и других делали своими советниками и управителями народов

и руководствовались при управлении государственной философией (πολιτικὴ φιλοσοφία). В этом нет ничего удивительного; ты сам себе достаточен, и ты не нуждаешься ни в науке, ни в самой мудрости, но ты рассекаешь божественного агнца, фимиамом делаешь свои руки совершенными, и прекрасно управляешь вселенной. Таинственную и священную мудрость ты, может быть, знаешь, не знаешь же мудрости, являющейся через науку и научное исследование. Я занимаю высокую кафедру (т. е. философскую) несколько не хуже твоей, чтобы не сказать более независимую; и не пользуясь моей наукой, ты не в состоянии будешь ни изучать богословие, ни издавать каноны. Если же ты поплывешь на своей ладье по обширному и глубокому морю богословия, — скажу тебе загадочно, — ты попадешь на подводные камни и пристанешь к берегу, не имеющему пристани.

Я всегда был любителем философии, я не только исследовал, что такое омонимы и синонимы, я допытывался, что такое идея, естество, какое число причин, я разыскивал, что такое философское выражение и что такое риторическое, что между ними общего и в чем разница, ты же называл все это пустяками и глупостью. Тебя все боятся; когда ты говоришь — дрожат, когда помотришь — целенают, когда поднимешь брови — умирают. Моя рука не привыкла к железу, а если случится, что увижу, как бьют кого-нибудь, я закрываю глаза и убегаю; ты же пришел с Богом не мир принести, а меч, ты вносишь раздор в семейства и родственников восстанавливаешь друг против друга.

Я боюсь огня священного алтаря, стою вдали среди оглашенных, ты же один дерзаешь входить в алтарь с веселою душою и улыбающимися устами, небрежно поднимаешь завесу, берешь в руки неупоимое и неосязаемое слово, ибо ты приблизился к самому первому свету; поэтому все остальное кажется тебе тенью, сном и игрушкой, поэтому ты пренебрежительно обращаешься с царями и встаешь против всякой власти. Таков у нас архиерей, сражающийся за нас и защищающий нас не только мечом и копьем, но и словом и велением, показавший, насколько риза сильнее порфиры и митра, царского венца.

Я никого не презираю и не ненавижу; ты же, как бы отличное от нас естество, считаешь чуждым себе род человеческий, раскрываешь позорные деяния одних, другим порождаешь причины для порицания, на всех насупливаешь брови, так что я сомневаюсь,

назвать ли мне тебя богом или человеком, или ни тем, ни другим, но чем-то средним между богом и человеком. Будучи демократом, ты не одобряешь монархии, я же постоянно повторяю гомеровские слова, ставшие потом аристотелевскими: „Да будет один повелитель, один царь (εἷς κόρανος ἕστω, εἷς βασιλεύς)“¹³⁹. Ибо в древности та же особа была молитвенником за народ и его защитником, теперь же эта власть разделена на части, одному приказано царствовать, другому священнодействовать.

Подними к Богу умоляющие руки, пролей мир людям и Богу, государственными же делами будут заниматься, кому это определено. Не повелевай, не царствуй над нами, ибо большинство этого не желает.

Ты видишь, как мы расходимся. Я люблю, ты питаешь отвращение, я миролюбив, ты ненавидишь, я хвалю, ты braniшь».¹³⁹

Из тона этого письма видно, что оно не могло быть написано до царствования Комнина, до того времени, когда сила патриарха должна была быть сломлена императором. Борьба Комнина с Кируларием закончилась, как известно, насильем, совершенным главою государства над главою Церкви. «Несомненно, — рассказывает г. Скабаланович, — что еще до 8 ноября 1058 г. были не только размолвки между императором и патриархом, но и попытки со стороны Комнина установить *modus vivendi*. Понятно, что попытки не могли увенчаться успехом, если условием полагалось, как говорит Пселл, подчинение патриарха императору, покорность всем его притязаниям. Император решился на более сильную меру, но открытием враждебных действий медлил из опасения народного волнения, выждал, пока патриарх выедет в какой-нибудь пригородный храм, подальше от столичного населения. 8 ноября случай представился, патриарх отправился в основанный им монастырь, находившийся в пригородном месте, за западной городской стеной. Император и тут понимал, на какой опасный шаг он решается, и сделал последнюю попытку примирения: он отправил одного из приближенных к себе духовных лиц для переговоров с патриархом о некоторых секретных предметах и, если понадобится, для назначения времени свидания. Попытка и на этот раз ни к чему не привела, и вот явился отряд императорской лейб-гвардии, так называемых варягов, патриарх был насильно совлечен с кафедры,

¹³⁹ P. V, 505—513.

посажен на мула и окольными путями привезен к влахернскому берегу; здесь ожидала хеландия, которая отвезла его в заточение на остров Приконнис. Весть о событии скоро распространилась в столице, народ пришел в волнение».

Надо было оправдать насилие и придать незаконному поступку законную форму. Сделать это можно было только одним способом: низложить патриарха на соборе. «Решено было, — говорит Атталиат, — взвести на него разные обвинения и доказать, что недостойно занимать патриарший престол тот, кто много лет с достоинством исправлял эту обязанность. Этот совет подали императору некоторые сановники, хорошо знавшие большие достоинства Кирулария; но по изменившимся обстоятельствам они изменили свое мнение, как это всегда делают льстецы».

Но раньше чем созвать собор, император сделал попытку уладить дело без суда. Он отправил к патриарху нескольких митрополитов, которые должны были убедить его добровольно сложить с себя звание. Однако митрополиты встретили энергический отпор со стороны Кирулария, считавшего себя правым и наотрез отказавшегося входить в какие бы то ни было компромиссы.¹⁴⁰

Тогда созвали собор, который должен был собраться в каком-то местечке во Фракии; послали за Кируларием и повезли его на суд, но по дороге он умер. Хотя собор не состоялся, но все-таки известно, что роль прокурора должен был играть Пселл. Он написал длинную обвинительную речь, красноречивую и тонкую, отличающуюся своим нахальством и недобросовестностью. Он обвинял в страшных преступлениях того самого патриарха, которого прежде называл богом и пред которым низкопоклонничал, он обвинял его в ереси, в заговорах против императоров, в убийстве, в разрушении святыни и гробокопательстве, он обвинял его и в том, в чем действительно погрешил патриарх и в чем он был совсем не повинен. Забыв правду и справедливость, он обвинял патриарха в том, что делал сам. Он сам занимался древнегреческой философией, алхимией, хвастался тем, что знаком с халдейскими изречениями, верил в возможность предсказывать будущее, сам, будучи монахом, жил исключительно светскою жизнью и занимался придворными интригами; несмотря на это, он обвинял патриарха в увлечении языческой философией, алхимией и халдейской мудростью,

¹⁴⁰ Attalioi. P. 64-65.

в сношениях с пророчицей Досифеей, в вмешательстве в светские дела.¹⁴¹

Сам Пселл объяснил нам свой некрасивый поступок. «Собрав всех мудрейших людей и считавшихся первыми учеными, — говорит он, — император пользуется их содействием в своем порыве против патриарха. Если судить по справедливости, никто не станет порицать никого из этих людей: во-первых, нет поступка, который не мог бы быть истолкован в обе стороны, хорошую и худую, и вот это-то двойное понимание факта дает возможность оратору говорить убедительно и так и сяк. Во-вторых, если большинство лиц, привлеченных императором, и были самого лучшего мнения о мероприятиях патриарха, все же желание царя, чтобы они судили так, а не иначе, заставило всех их согласиться с его мнением».

Приведенные слова находятся в панегирике Кируларию, написанном Пселлом уже после смерти Комнина и, конечно, представляющим патриарха великим светилом Церкви. Однако при всем нашем желании мы не можем согласиться с объяснением Пселла, написанным очевидно *pro domo sua*; пользоваться риторикой с тем, чтобы обелять злодеяния, клеветать на достойного представителя Церкви — все это поступки, позволительные с точки зрения византийского придворного, поставившего целью жизни угождать царям, и оратора, умевшего превознести до небес не только монарха, но даже блоху и клопа; но современные историки судят иначе. Надо думать, что и в Византии не все соглашались с развратным пером Пселла; доказательством может служить вышеприведенный отзыв Атталаната (историка конца XI века). Эпизод с Кируларием набрасывает густую тень на нравственную физиономию Пселла; он принадлежит, как видно, к льстецам, меняющим убеждения по велению монарха, к людям, делающим явную несправедливость в угоду царю.

В конце 1059 г. император простудился на охоте и слег где-то в окрестностях столицы. Пселл, не зная ничего о его болезни, отправился к нему и нашел его в постели; при нем находилась небольшая стража и лучший столичный доктор. Император принял Пселла очень ласково и сказал: «Ты пришел как раз кстати», протянул

¹⁴¹ Эта неизданная обвинительная речь подробно изложена в моих материалах для истории визант. имп. (ЖМНП. 1889. Сентябрь). [Речь издана уже дважды: 16 (1), p. 232–328 и Pselus Michael, 1994, p. 2–103. — Я. Л.]

ему руку, чтобы он исследовал его пульс, так как императору было известно, что Пселл знал медицину.¹⁴² Поняв, какая болезнь у Комнина, он не назвал ее, но предварительно спросил доктора: «Какая это лихорадка, по-твоemu?» Доктор ответил громко, чтобы его услышал царь: «Однодневная, но не следует удивляться, если она не прекратится в тот же день, ибо существует и подобный более продолжительный род однодневной лихорадки, вообще это название верно». «Я не согласен с тобою, — возразил на это Пселл, — по-моему, пульс указывает на то, что лихорадка должна возобновиться на третий день; но дай Бог, чтобы ты был прав, а я нет, что ведь весьма возможно, так как у меня нет достаточной практики».¹⁴³

Наступил третий день, и вначале можно было думать, что доктор был прав. Царю приготовили еду, но он не успел приняться за нее, как у него начался новый пароксизм лихорадки. Когда ему стало легче, он пожелал вернуться во дворец, сел на царскую тризну и направился во Влахерны. Он не отпустил Пселла и других придворных и до самого вечера беседовал с ними, вспоминая старинные истории и рассказы царя Василия Болгаробойцы. Когда взошло солнце, он отпустил от себя придворных и лег спать; видя его бодрость, Пселл ушел из дворца, вполне уверенный, что император выздоравливает. На другой день Пселл отправился опять во дворец, и тут ему сообщили, что у царя открылась болезнь легких, что он тяжело дышит. Пселл был поражен этим известием, вошел потихоньку в комнату, где лежал царь, и остановился у его ложа. Комнин посмотрел вопросительно на Пселла, желая прочесть на его лице, не умирает ли он, и сейчас же протянул ему руку, чтобы он исследовал пульс. Но Пселл не успел еще взять руки императора, как доктор остановил его словами: «Не исследуй пульса, я уже сделал это». Однако Пселл не обратил внимания на доктора, так как в то время по пульсу определяли, какая болезнь у пациента и может ли он выздороветь. Он нашел, что пульс у царя бьется очень слабо, едва заметно. У императора сделался острый припадок его болезни, и быстро распространился слух, что он умирает. Вокруг его ложа собралось все царское семейство, царица с дочерью, брат царя Иоанн с сыном; они начали прощаться с царем

¹⁴² Пселл написал учебник медицины *κωνσταντίνικόν*; напечатан Буассонадом (*Anecdota graeca... Vol. I*).

¹⁴³ Ps. IV, 251.

и просили его распорядиться царством. В это время приходил к нему и недавно избранный патриарх Константин Лихуд и уговаривал его постричься.

Император отправился вместе со всем семейством из Влахернского в Большой дворец; Пселл пошел туда же, но другой дорогой, тем не менее он встретился по дороге с царем.

Комнии изъявил свое желание постричься; императрица думала, что он действует по внушению приближенных, и потому напала на Пселла со словами: «Много обязаны тебе, философ, за совет, хорошо ты нам оплатил, убедив императора перейти к монашеской жизни». Пселл старался уверить императрицу, что он тут ни при чем, и спросил, действительно ли желание монашества явилось у царя вследствие чьего-нибудь совета. На это Комнии ответил: «Она по своей женской манере удерживает нас от лучшей жизни и готова обвинять всех прежде чем меня».

Комнии, посоветовавшись с Пселлом, назначил своим преемником человека, которого он считал самым способным, именно Константина Дуку. Только что он это сделал, как он несколько поправился, и на него нашло сомнение, следует ли ему постригаться и отказываться от престола. В недоумении был также Дука; он обратился к Пселлу за советом, и последний напряг все свои усилия, чтобы склонить Комнина не изменять своего первоначального намерения. Он прибег к помощи своего друга патриарха Константина Лихуда, также желавшего отречения Комнина и прельщавшего его, вероятно, наградою на небесах, если он примет схиму.¹⁴⁴ Наконец Пселл пользуется тем, что Комнина считали при смерти больным и что он назначил своим преемником Константина Дуку, сажает последнего на царский престол, надевает на него пурпуровые туфли (т. е. инсигнии императорской власти), собирает сановников, которые, провозгласив Дуке обычное славословие, его ирво признают его императором. После этого Комнии постригся и удалился в Студийский монастырь.¹⁴⁵

Я изложил историю воцарения Дуки, ни в чем не отступая от мемуаров Пселла. Понятно, что он не мог беспристрастно изложить этот эпизод, во-первых, потому что он сам принимал в нем

¹⁴⁴ Ps. IV, 263.

¹⁴⁵ Болезнь Комнина и воцарение Дуки в мемуарах Пселла: Ps. IV, 251–259, 262–264.

деятельное участие, во-вторых, потому что он писал в царствование Михаила VI, сына Константина Дуки. У других историков нет подробного рассказа об этом событии.

Атталиат сообщает, что во время царской охоты показался какой-то молниеносный свет, которого испугался Комнин; он отправился тотчас же в Константинополь, здесь заболел и был несколько дней при смерти. Полагая, что все с ним случившееся есть знамение гнева Божия, он пожелал умиловить Бога и решил постричься. Он назначил своим преемником не брата Иоанна, не племянника, не будущего мужа дочери, а проэдра Константина Дуку, помогшего ему вступить на престол.¹⁴⁶

Скилица, который начиная с царствования Комнина почти исключительно сокращал Атталиата, рассказывает в сущности то же самое (присоединяя только кое-какие подробности о молниеносном свете) и с тем же удивлением и даже в тех же выражениях сообщает, что Комнин назначил преемником не кого-либо из родственников, а Дуку, оставляя, однако, этот факт без объяснения.¹⁴⁷

Легко понять, что раз Комнин считал свою болезнь смертельной и притом проявлением гнева Божия, он мог отказаться от престола и постричься, чтобы спасти свою душу. Но так же как византийские историки, мы не можем не удивляться, что он передал престол постороннему человеку, когда у него был брат, к которому благоволил, когда мог выдать за кого-нибудь замуж дочь и сделать втя императором. Известно, что византийские императоры всегда старались укрепить престол за своим родом; поэтому несомненно, что в данном случае имела место какая-нибудь интрига. Нельзя же думать, в самом деле, что Комнин выбрал Дуку потому, что он считал его способнее своих родственников, как говорит Пселл; из византийской истории хорошо известно, что Комнины принадлежали к лучшим императорам, Дуки, напротив, к неспособным.

Г. Скабаланович, подробно разобравший этот эпизод, справедливо говорит: «По немногим имеющимся в нашем распоряжении данным можно догадаться, что в деле отречения и пострижения Комнина нашла себе приложение злостная интрига, хорошо подготовленная и удачно разыгранная, главным руководителем которой был Михаил Пселл, жертвою — Комнин и его семья, человеком, пожалвшим

¹⁴⁶ Attaliot. P. 69.

¹⁴⁷ Scyl. P. 648.

плоды, — Константин Дука. В восстании Комнина против Стратиготика Константин Дука вместе с братом Иоанном принимал деятельное участие, и при начале заговора ему, как и другим, предлагали стать во главе восстания, назвавшись императором, но он благоразумно отклонил от себя эту опасную честь».

«Когда заговорщики провозгласили императором Исаака Комнина, Константин Дука был возведен этим последним в звание кесаря, но по ветуплении Комнина на престол Дука сложил с себя звание — добровольно или против воли, неизвестно — и удалился от двора» (Рс. IV, 257). «Судя по тому, что приверженный Дуке писатель (Рс. IV, 262) говорит о каких-то обещаниях, данных Комнином Дуке, которые не были исполнены, можно полагать, что сложение достоинства кесаря было результатом натянутых отношений между Комнином и Дукой».¹⁴⁸

Эти слова, мне кажется, нуждаются в небольшой поправке; Пселл говорит только, что Комнин обещал Дуке чин кесаря, но на самом деле его не дал;¹⁴⁹ о том, будто бы Дука отказался от высшего чина, в мемуарах этого ученого ничего нет, Атталиат и Скилица называют Дуку проздром. Думается, что неисполненное обещание Комнина есть именно обещание дать чин кесаря; естественно, что Дука, обманутый в своих надеждах, был недоволен императором.

«Принимая во внимание эту натянутость отношения, — продолжает г. Скабаланович, — можно не без основания заключить, что Дука отправлен был из столицы на службу в провинцию; получает, таким образом, значение свидетельство Матвея Эдесского, что для занятия престола он был вызван из Эдессы, города, которым он управлял. В сентябре 1059 г. до Комнина доходит слух, оказавшийся неосновательным, что против него поднялось восстание. Историк (Атталиат), посвящая этому слуху краткую заметку в трех строчках, не называет по имени того, на кого молва указывала как на главного деятеля восстания, говорит только, что это был сановник, посланный на Восток для улаживания вопроса о государственных

¹⁴⁸ Скабаланович. Византийское государство и Церковь. С. 87.

¹⁴⁹ Рс. IV, 257: «...Если царем избирался Исаак, Константину обещался следующий после царского титул кесаря... Чтобы вызвать еще большее восхищение этим мужем, скажу, что, когда Исаак из мятежника стал царем и воссел на троне, Константин отказался и от второго по значению титула, хотя вполне мог претендовать на первый».

имуществах. Если с этим сопоставить, что Дука действует на Востоке, в Эдессе, и что Комнину он известен был со стороны своих финансовых способностей, то не будет вполне безосновательным предположение, что такое важное дело, касавшееся экономических интересов государства, поручено было Комнином именно ему и что молва указывала на него как на зачинщика восстания. Поводом к слуху послужило тяготение к Дуке его приверженцев, именно людей, недовольных царствованием Комнина; слух оказался ложным в том смысле, что Дука не только не старался привлекать к себе этих людей, а, напротив, всячески от них устранился.

Далее г. Скабаланович указывает на приятельские отношения Дуки и Пселла и, следуя мемуарам последнего, выясняет его участие в этом эпизоде. «Очевидно, Комнин, — говорит он, — человек честный, высоко ставивший государственное благо и ценивший авторитет Пселла не только как врача, но как политического мудреца, поверивший прежде, что ему не миновать смерти, теперь поверил, что для высших государственных целей нужно забыть кровные узы и отдать предпочтение Дуке, который способен возвести государство на высоту благоденствия». ¹⁶⁰ Вероятно, на это были еще какие-нибудь нам не известные причины, во всяком случае, факт тот, что Пселл интриговал в пользу Дуки; он объявил, что болезнь Комнина смертельна, он убеждал его постричься, он указывал на Дуку как на достойнейшего преемника.



¹⁶⁰ Скабаланович. Византийское государство и Церковь. С. 88—89, 91.



Глава четвертая

Государственная деятельность Пселла в царствование императоров из дома Дук (1059—1077)

Сафа справедливо порицает Пселла за интригу в пользу слабоумного Дуки и называет его за это эгоистом. Дело в том, что Пселл был в дружеских отношениях с Константином Дукою еще в царствование Мономаха и рассчитывал много выиграть от замены Комнина Дукою.¹⁵¹ Действительно, Пселл занимал в это царствование выдающееся положение. Он сообщает в своих мемуарах, что император расточал ему несказанные милости, угощал его за своим столом, а когда он сидел на царском троне, Пселл занимал место в его свите выше других.¹⁵² Это значит, что во время церемоний ему отводилось высокое место, а так как по византийскому церемониалу места занимались по чину, надо думать, что у Пселла был значительный чин. В одном письме Пселл подписался протопродром, и представляется вероятным, что этот чин был дан ему Константином Дукою за его удачную интригу. Это был почти высший чин, которого в то время мог достигнуть простой смертный. Старший

¹⁵¹ Ps. IV, 261.

¹⁵² Ps. IV, 259.

чин кесаря давался исключительно родственникам императора: следующий за ним чин новелиссима до времен Никифора Вотианиата (когда вводится несколько новых чинов) едва ли часто носили чиновники, мы знаем за это время только одного новелиссима Константина, дядю императора Михаила, знаем также, что при заключении брачного договора Михаила VII с Робертом Гвискараром, норманнскому герцогу был предложен чин новелиссима;¹⁵³ за новелиссимом следовал куропалат, чин, дававшийся сановникам, но не часто, следующий за куропалатом чин — протопроэдр.

В другом месте своих мемуаров Пселл рассказывает, что Константин Дука интересовался богословскими вопросами и особенно любил беседовать об этом с ним, что император ставил его гораздо выше других ученых и вообще был так привязан к нему, что сердился, если не видел его по несколько раз в день.¹⁵⁴

Эти ученые беседы находятся, по всей вероятности, в связи с уроками, которые давал Пселл сыну императора Михаилу. Скилица сообщает, что Пселл был воспитателем Михаила Дуки, и мы знаем, что несколько учебников были написаны Пселлом нарочно для его царственного ученика.¹⁵⁵

В каких близких отношениях с императором был Пселл, видно из следующего. Брат Константина Дуки Иоанн одно время предполагал, что император его недолюбливает и что ему лучше отказаться от государственной деятельности. Он написал об этом Пселлу и собирался даже, может быть, только на словах, постричься. Это письмо Пселл прочел царю и на основании своего разговора с императором пишет Иоанну, что опасения его напрасны, так как царь очень любит его и, чтобы доказать это, сделал его кесарем.¹⁵⁶

Вот почти все, что мы знаем о положении Пселла при дворе Константина Дуки, до нас не дошло никаких сведений, какую государственную должность он занимал в это время.¹⁵⁷

¹⁵³ См. мон «Материалы для истории Византийской империи» (ЖМНП. 1889. Сентябрь).

¹⁵⁴ Ps. IV, 269.

¹⁵⁵ Scyl. P. 796.

¹⁵⁶ Boiss. P. 185-187.

¹⁵⁷ В одном письме Пселл просит, вероятно, областного начальника, чтобы для проезда царя были поставлены лошади на почтовых станциях (Ps. V, 370). Заботиться о таких вещах было делом логофета дрема; не был ли Пселл логофетом? Если он действительно занимал эту должность, это могло

Сохранились три короткие записки, посланные императору и императрице вместе с приношениями, хлебом, вином и плодами.¹⁵⁸ Вот для примера одна из этих записок.

Царю Константину Дуке

Как хлебу жизни и по положению своему Богу приношу тебе хлеб, вино как истинному царю, веселящему сердца, предающиеся печали, как смертному плоды скоротечные по своей природе. Но да будешь ты вечно живущим, мир мира, держава державы, светлый венец царства.

Пселл по своему обыкновению сказал приветственную речь Константину Дуке по возвращении его из похода против узов. Чтобы уяснить себе, за что именно прославлял Пселл императора, приведу соответствующее место из исследования В. Г. Васильевского («Византия и печенеги»). «В сентябре 1064 г. узы явились на Дунае. Это было настоящее переселение; целое племя в числе 600 тысяч со всем своим имуществом и скарбом толпилось на левом берегу реки. Все усилия воспрепятствовать их переправе были напрасны. На челноках, выдолбленных из древесных стволов, на кожаных мешках, наполненных соломой, узы переплыли на византийский берег. Болгары и греки, которые хотели удержать их, были разбиты; двое сановников императорских попались в плен. Дунайская равнина была во власти страшной орды. Скоро наводнила она более отдаленные области империи; одна часть узов отделилась от прочей массы и бросилась на юго-запад: Солунская область и самая Эллада испытали все ужасы варварского нашествия. Император Константин Дука, услышав о страшном событии, совсем потерял голову; казалось совершенным безумием пытаться противопоставить военную силу империи этим мириадам свирепых хищников, из коих каждый почти родился на лошади и вырос с луком и копьем в руках. Самые сокровища казны императорской, столько раз

быть только в царствование Константина, потому что при Мономахе был протосикритом, при Комнине писал логофету дрома.

¹⁵⁸ Это письма 52, 53 и 74 в издании Сафы.

спасавшие Византию, казались недостаточными ввиду необозримой массы врагов. Только понуждаемый народным ропотом, обвиняющим его в скупости, император отправил посольство к предводителям узов; щедрыми подарками и еще более щедрыми обещаниями он старался склонить их к миролюбивым чувствам и убеждал воротиться опять за Дунай. Несколько знатных узов, привлеченных щедростью императора и богатством его казны, явились по его приглашению в Константинополь и были здесь приняты с самым благосклонным вниманием. Но все это мало помогло. В опустошенной еще печенегами Болгарии многочисленные толпы узов не находили себе удовлетворительной добычи, ни даже достаточного пропитания. Вместо того, чтобы возвращаться назад, они стремились все вперед. Македония и Фракия пострадали подобно Солунской области. Набеги кочевников доходили снова почти до стен Константинополя. Горесть и отчаяние жителей столицы достигли последней степени. В Византии объявлен был всенародный Пост и покаяние, чтобы умилостивить разгневанное правосудие небесное; крестные ходы в столице повторялись ежедневно, сам император принимал в них участие и плакал в виду сокрушенной толпы. Несмотря на это сочувствие к народному бедствию, положение Константина Дуки во дворце Влахернском сделалось невыносимым. Византийцы привыкли смотреть на бедствия общественные, как на казнь Божию за грехи правителей. Константин Дука, непопулярный за суровость во взыскании всех податных недоимок, сделался предметом саркастических насмешек у толпы, перешедшей от религиозного умиления к дерзким демонстрациям. Скрываясь от народного негодования, император оставил столицу и с небольшою свитой — с ним было 150 человек — остановился в своем загородном имении около местечка Хировакки. Злоязычные византийцы говорили, что их государь отправился против узов с армией столь же многочисленною и доблестною, как армия Диониса, с которою он совершил поход в Индию. Но, может быть, император лучше знал, что нужно ожидать. Когда он раскинул палатки в открытой равнине, чрез несколько времени явились в его лагерь гонцы, которые были посланы на север; они принесли радостные известия. Пленные воеводы были освобождены из плена и давали знать о совершенной гибели страшной орды. Лучшие люди в среде узов поддались действию византийского золота и, склоняясь на убеждения придунайских правителей, ушли обратно за Дунай, покинув

своих на произвол судьбы. Между тем — обычное следствие варварской неумеренности и невоздержанности — в многолюдных улу-сах уже свирепствовали повальные болезни. За изобилием, вызвавшим излишества, последовал недостаток в самых необходимых припасах, затем голод и эпидемия, как уже это было с печенегам. Необозримое число пришельцев быстро сократилось под ударами этих бичей. Остальные были до такой степени истомлены физически и убиты нравственно, что или сделались легкой добычей болгар и печенегов, которые брали их в плен и без милосердия топтали копытами их же лошадей, давили колесами их же телег, или просили с покорностью милости и пощады у властей византийских. Император с торжеством воротился в столицу. Избавление от страшного врага справедливо приписывалось одному Богу, потому что храбрость войска или умение его вождей нисколько в том не участвовали. В народе говорили о чуде; рассказывали, что в тот самый день, как в Константинополе совершался крестный ход, отряд узов, расположившийся в Чуруле, был прогнан невидимою силою, воздушным войском, которое метало свои стрелы и не оставило ни одного врага иеуязвленным». ¹⁵⁹

Вот этот-то поход и эту победу прославляет Пселл в речи, произнесенной, вероятно, по возвращении императора в столицу. Упомянув, что свершилось чудо, в котором ясно сказалось Провидение Божие о византийской державе, оратор восклицает: «Куда девались неисчислимые мириады варваров, покрывшие облака и почти весь Запад? Это несомненно дело Божьего могущества, и Бог явил его чрез тебя, как некогда чрез Моисея. Он покорил тебе этот новый Амаликитский народ, но не только наложением рук, а также умными стратигами и храбрым войском. Ты победил, о царь, и водрузил на земле такой трофей, который не может сравниться даже со знаменитыми подвигами Александра Македонского и Моисея. Тот народный вождь (Моисей) оставил своему преемнику многие народы непокоренными, ты же не оставил сыновьям ни одного непобежденного народа». ¹⁶⁰

В течение восьмилетнего правления Константина Дуки (1059—1067) было, однако, такое время, когда Пселл был не в милости

¹⁵⁹ ЖМНП. 1872. Ноябрь. С. 138—140.

¹⁶⁰ Речь эта не напечатана. Она списана мною с Ватиканского кодекса 672, fol. 277—268. [Напечатана в 16 (1), р. 38—41. — Я. Л.]

и когда он не смел показаться во дворец. Это видно из двух его писем к кесарю Иоанну Дуке, брату императора. В одном он отвечает следующее на вопрос, почему давно не был.

«На твой вопрос я отвечу тебе коротко: никто нас не нанял (Матф. 20:7); боюсь, как бы мне не услышать и таких слов: друг! как ты вошел сюда не в брачной одежде? (Матф. 22:12). Ибо я не знаю, приятно ли мое присутствие (во дворце) нашему божественнейшему царю; его расположение к нам уже не то, что было недавно. Однако я никоим образом не отступлюсь от него, хотя бы он выгнал меня, даже с ударами, даже сбранью, я еще не сошел с ума. Если он ко мне неблагосклонен, тем не менее он благ и чело-веколюбив. Итак, завтра я приду и буду наслаждаться тобою, дыханием и жизнью моею».¹⁶¹

Такое положение очень беспокоило Пселла, и он старался чрез кесаря вернуть себе прежнюю милость царя. По этому поводу написал он кесарю письмо, начинавшееся так: «Владыка благой, нет никого равного тебе — говорю это смело — ни по красоте, ни по разуму. Я говорю это, вглядываясь в цель твоих писем ко мне. В одно и то же время ты и нам являешься утешением, и великому царю и брату своему хранишь подобающую преданность».¹⁶²

В этом письме Пселл говорит, что императору уже неприятно его присутствие во дворце и его разговор, что он неохотно беседует с ним и не нравится ему его речь; прежде царь относился к нему очень милостиво, а теперь уже не то. Не идет он во дворец не потому, чтобы ненавидел императора, а потому, что боится его. Между тем он, как истинно верноподданный, готов душу свою положить за царя, и если изменился к нему царь, он считает это наказанием за свои прегрешения. В заключение он просит кесаря, сохраняя то же расположение к брату и царю, не оставить и его своими милостями.¹⁶³

В двух других письмах к кесарю проглядывает также недовольство и есть намеки на перемену к нему царя.

К этому же времени относятся, по всей вероятности, два письма Пселла к Псифе. Он жалуется в этих письмах на судьбу, говорит, что царица и царь сулили ему блестящее будущее, но на самом

¹⁶¹ Boiss. P. 170.

¹⁶² Boiss. P. 171-172.

¹⁶³ Boiss. P. 173-177.

деле надежды его не оправдались. Он говорит, что стремится в деревню, думает похоронить себя в своем имении и просит Псифу узнать, согласится ли император на его отставку.¹⁶⁴

О причине, по какой Пселл впал в немилость, мы не знаем ничего положительного, но очень может быть, что тут некоторую роль играла императрица Евдокия. Она была племянницей Михаила Кирулария, и поведение Пселла по отношению к патриарху не могло быть ей приятным. Из моего дальнейшего рассказа будет видно, что она вообще не слишком благоволила к Пселлу. Чтобы угодить царице, он, по всей вероятности, написал панегирик Кируларию, в котором прославляет и Евдокию.

Пселл сумел, однако, вернуть себе милость императора, вероятно, благодаря влиянию кесаря Иоанна. Тогда он написал царю панегирик, начинавшийся словами: «Язык мой разрешился от безмолвия, вчера я был мрачен от покрывшего меня облака клеветы, сегодня я радуюсь, освещаемый светом твоего человеколюбия».¹⁶⁵

Из двадцати двух писем Пселла к кесарю Иоанну видно, что он был в дружеских отношениях с братом императора, питавшим к нему большое уважение как к ученому писателю. Когда Иоанн был сделан кесарем, Пселл отправил ему поздравление, написанное в самых льстивых выражениях и начинавшееся так:

«Счастливейший кесарь (εὐτυχέστατε Καίσαρ),¹⁶⁶ пусть эти слова будут введением письма. Счастливейшим я называю тебя не только потому, что ты получил чин кесаря, но потому, что ты возведен на эту величайшую высоту прекраснейшим царем и братом, который, делая все под влиянием небесного Провидения и разумного решения, сделал тебя сообщником власти не только из братского к тебе расположения, но и потому, что ты этого заслуживал. И вновь я приветствую тебя тем же приветствием: счастливейший кесарь, прибавлю — разумнейший и мудрейший».

¹⁶⁴ Ps. V, 490—493.

¹⁶⁵ Эта ненаданная речь сохранилась в cod. Marcianus 445, fol. 93—94 и cod. Vaticanus 672, fol. 274—275. [Речь ныне опубликована в 16 (1), p. 42—44 и *Psellus Michael*, p. 127—130. Как явствует из других рукописей, оставшихся неизвестными П. Безобразову, речь была обращена не к Константину, а его сыну Михаилу VII Дуке. — Я. Л.]

¹⁶⁶ Счастливейший εὐτυχέστατος это титул кесаря. При церемонии рукоположения в кесари его приветствовали криками φιλκρίστου (felicissime) и πολλὰ τὸ ἐπὶ τοῦ εὐτυχέστατου καίσαρος (*Const. Porph. De Ceremoniis*. P. 220, 225).

«Что касается тех древних кесарей, — говорит он дальше, — эпитет „счастливый“ прилагался к ним одним, и никто из мудрецов не становился счастливым через них. У твоего же величия это название представляет как бы свет солнца; всякий приближающийся к тебе тотчас становится счастливым. Прежде я был известен своими речами, теперь же стал знаменит твоею дружбою; ибо я так счастливо нашел в тебе нового хвалителя моих речей и прежде всего потому, что, оставляя без внимания остальных мудрецов (есть, конечно, много выше и лучше меня), ты желаешь исключительно наслаждаться прелестью моей речи и, покидая текущие из океана источники древних мудрецов, ты черпаешь мою слаботекущую воду и жадно глотаешь мой поток».

Пселл был дружен с кесарем Иоанном и потому писал ему не только подобострастные послания, благодаря за подарок или за лестный отзыв о его сочинениях, но сообщал ему также о своих семейных радостях и горестях. Когда у него родился внук, он счел нужным довести это до сведения кесаря.

«Радуйся вместе со мною, величайший кесарь, — писал он, — ибо родился тебе другой Пселл, похожий на меня, его прототип. По крайней мере меня уверяют в этом женщины, окружающие кровать роженицы, которые, может быть, и сочиняют, но говорят согласно с моим желанием. Утерпел ли я, чтобы сейчас не взглянуть на младенца? Конечно нет; я обнял его и расцеловал. По отношению к наукам я мужчина, но характер у меня женственный: когда моя дочь начала рожать и меня напугал кто-то, сказав, что роды будут тяжелые, я чуть было не умер. Я ходил вокруг спальни, где лежала рожавшая, и прислушивался к ее крикам. Но как только младенец вышел из материнской утробы, я забыл о страданиях; ведь душа у меня не скифская, сердце не дубовое и каменное, природа у меня нежная и меня растрогивают физические страдания. Ведь и ты, человек крепкий по сердцу и уму, рыдал, как мне говорил кто-то, во время трудных родов твоей невестки. Но я хоть сильно скорбел, однако не плакал; ибо я более философ, чем ты, и не пророню слезы, даже когда стеснена моя грудь.

Но довольно об этом, ты же позаботься, чтобы тебя хватало с этого времени на двух Пселлов. Я послал об этом письмо к самодержцу, если оно лишнее, пусть не будет отдано ему, если же нет, пусть будет сделано по твоему приказанию».¹⁶⁷

¹⁶⁷ Ps. V, 307–308.

Однажды у Пселла украли деньги, и он написал по этому поводу следующее письмо кесарю.

«В басне верблюд просил Бога дать ему рога, потому что думал, что этого одного недостает ему для полной красоты и величия, и желал почваниться рогами на висках. Но Бог, получив отвращение к его чванству, отнял у него и уши, чтобы он стал еще некрасивее.¹⁶⁸

Нечто подобное случилось и со мной, превосходительный кесарь; стремясь приумножить свое имущество, я лишился и того, что имел. Пропал у меня вчера капитал в 300 статир, и пропал удивительным образом. Ибо сошедший в ад Христос не раньше освободил пленные там души, чем подкопался под крепость, их содержавшую, и сломал ключи темницы; а похитивший мое имущество сделал, как говорят, делают драконы, вдыханием умеющие притянуть к себе далеко отстоящие предметы; так и он, незаметно вдохнув в себя воздух, похитил мои деньги, не подкопавшись под стену, не сломав двери, не ставив ключа. Я удивлялся, каким образом вошел Христос чрез запертые двери, и это дело казалось мне поразительным, теперь же, перестав думать о том, я поражен этим новым обстоятельством.

Рапсинит был царь Египетский, он пожелал оберечь свое имущество и построил нарочно для этого крепкий замок. Но построивший это здание пристроил у основания камень, который легко было сдвинуть и который был похож на цилиндр; этот камень можно было вставить и выдвинуть. Таким образом, из того, что казалось царю безопасным, он сделал себе легкий способ обогащения.¹⁶⁹

Однако в моем хранилище денег не было никакой такой ловушки; но как Борей в мифе незаметно похитил Орифию, так и мое сокровище унес какой-то северный ветер. И теперь я поистине свободен и философ, после того как я освобожден от золотой цепи. Даже женщин, связывающих себе руки золотыми кругами и стесняющих шею ожерельями, я считаю находящимися в оковах и сожалею об их стесненном положении. До некоторой степени и я принадлежал к узникам и был засыпан там, где лежали деньги.

¹⁶⁸ Это письмо напечатано Буассонадом по cod. Paris. 1182; оно списано мною по более исправному Венецианскому кодексу 524 fol. 155 v. — 156. В издании Буассонада читается ἀφείλετο καὶ τοῦ ὀφθαλμοῦ, в cod. Marc. τὰ ὄτια так, как в Эзоповой басне.

¹⁶⁹ Этот рассказ о Рапсините находится у Геродота. *Herodot. Lib. II. Cap. 121.*

От этого я освобожден; но у меня опять обычная моя болезнь, и желудок сильно страдает. Но, кесарь, не слишком радуйся освобождению моему от денег. Ибо я лучше желал бы быть связанным указанным образом, чем так быть освобожденным. Разве мы не скорбим, освобождаясь в смерти от нашего тела, состоящего из костей и мяса? Если же мы печалимся, освобождаясь от землевидного тела, как же мне не негодовать, что я лишен такого значительного количества золота, ради которого добывающие его в рудниках испытывают крайние страдания? У эфиопов есть следующий обычай: когда отцы желают наказать детей, они укрощают их золотом цепью — такую привлекательность имеет золото. Если кто тратит золото, он не станет огорчаться тем, что оно уменьшается; если же кто собирает и копит его, как ласточка делает гнездо, собирая много прутиков, и затем лишится золота, он считает это наказание невыносимым. Но я даже к таким обстоятельствам отношусь философски и считаю неприятным только то, что я заподозрил некоторых из своих слуг, уже не говорю с ними обычным образом и не шучу и не смеюсь с ними, как имел обыкновение делать, но, как актер на сцене, изменяю свое лицо.

Не думай, что я пишу тебе это с тою целью, чтобы ты выказал мне свое участие по случаю воровства; я не так корыстно люблю тебя! Поэтому я заклинаю тебя самой страшной клятвой, если ты задумал что-нибудь подобное, не приводи этого в исполнение. Воспользуйся таким образом врожденной добротою царя и твоего брата. Ибо скажу тебе правду, у меня украли самый легкий кошелек; тяжелый же, который предназначен мною для покупки имения, хранится внутри стены.

К чему же я написал тебе это письмо? Чтобы ты находил удовольствие во всем, что со мною случается, и в хорошем и в дурном, не с тем, чтобы ты наслаждался моими несчастиями, но находил приятность в письмах о них.¹⁷⁰

Письмо это производит довольно странное впечатление, оно наполнено противоречиями. Пселл, как видно, был очень огорчен случившейся у него покражей, но вместе с тем чувствовал, что ему как философу и монаху неприлично придавать слишком большое значение материальной невзгоде. Поэтому он старается уверить, будто очень доволен, что освободился от золотой цепи, но тут же сейчас

¹⁷⁰ *Bolss.* P. 117-120.

одумывается, что кесарь, пожалуй, не придаст никакого значения этому происшествию, и рассказывает противоположное, что для человека, сколачивающего себе капитал, очень неприятно лишиться его. Вслед за тем уверяет, что огорчает, собственно говоря, не материальная потеря, а то, что он заподозрил слуг и теперь уже не может обращаться с ними так снисходительно, как это делал прежде. В заключение Пселл просит кесаря никоим образом не возмещать ему потери и тут же намекает, что кесарь может выпросить денег у императора. Ясно, что цель письма заключалась не только в том, чтобы сообщить кесарю все, что с ним делалось, но Пселл питал надежду, что ему будет оказано пособие из императорской казны.

Сколько именно украли у Пселла, трудно сказать с точностью. Он говорит о статирах, но это, по всей вероятности, архаизм (как таланты и олимпиады в его мемуарах); надо думать, что он подразумевал номисмы, и, следовательно, у него украли 300 номисм, или 1200 рублей золотом. Для Пселла это была небольшая сумма, он в то же время отложил на покупку имущества гораздо более серьезный капитал.

Понятно, что Пселл пользовался своею дружбою с кесарем и обращался к нему за протекцией для разных лиц. Так, в царствование Дуки один провинциальный судья лишился места по неизвестной нам причине и, по словам Пселла, голодал; и вот Пселл просит кесаря подействовать на императора, чтобы этот несчастный чиновник был вновь назначен провинциальным судьей, обещая, что он будет соблюдать правосудие и увеличит, если только будет возможно, доходы государственной казны.¹⁷¹

В другой раз Пселл просил кесаря за своего друга, епископа Парнасского, которому в одном письме обещает свою протекцию, благодаря вместе с тем за присылку масла.¹⁷² Но в чем заключалась просьба, не видно из писем.

Кроме кесаря Пселл пользовался в царствование Константина Дуки протекцией патриарха Константина Лихуда, с которым, как мы знаем, он был близок еще со времен Мономаха. До нас дошли два письма Пселла к этому патриарху. В одном он при посылке хлеба, вина и плодов выражает патриарху свою преданность в самых почтительных выражениях,¹⁷³ в другом благодарит за рыбу

¹⁷¹ Ps. V, 399-400.

¹⁷² Ps. V, 294-296.

¹⁷³ Ps. V, 299-300.

и выражает сожаление, что Лихуд относится к нему уже не так, как прежде.¹⁷⁴ Письмо, написанное все-таки в дружеском тоне, и подарок Лихуда свидетельствуют, что отношения их не изменились серьезно.

Что велико было значение Пселла в царствование Константина Дуки, видно из того, что к нему обращаются за помощью митрополиты. 23 сентября 1063 г. случилось, по словам Атталиата, большое землетрясение, в котором пострадал между прочими город Кизик.¹⁷⁵ И вот Пселл просит какое-то высокопоставленное лицо помочь митрополиту Кизическому и восстановить за казенный счет разрушенные в митрополии церкви.¹⁷⁶

В мае 1067 г. умер Константин Дука, оставив после себя регентшей императрицу Евдокию и номинальными царями своих несовершеннолетних сыновей Михаила, Константина и Андроника. Целая партия была недовольна этим положением; с севера грозили узы и печенеги, Малую Азию разоряли сельджуки, и в Византии требовался прежде всего царь-полководец. Но были лица, довольные режимом, установившимся при Евдокии; к ним принадлежали кесарь Иоани и Пселл, уверяющие, что дела шли отлично и так продолжалось бы, если бы порядка вещей не изменил злой дух. (Ps. IV, 271. Εἰ μὴ δαίμων τις τοῖς κρατομένοις ἀντέλεσεν). Злой дух явился в лице Романа Диогена. Хотя императрица Евдокия дала клятву не выходить замуж в присутствии патриарха Иоанна Ксифилина и Константинопольского синода, патриарх решил, что можно освободить ее от клятвы во внимание к нуждам государства. Сельджуки нанесли византийской армии жестокое поражение, и патриарх основательно опасался, что неприятель сокрушит империю, если наконец на престоле не появится талантливый генерал. Его мнения держались и некоторые другие сановники, которых г. Скабаланович справедливо называет патриотами. Эти патриоты советовали императрице Евдокии выйти замуж, за что Пселл и называет их злыми советниками. Они обращались к Пселлу и просили его содействия, но последний наотрез отказался помочь. Евдокия колебалась, ей не хотелось вторично выходить замуж, но наконец она все-таки решилась. Хотя Пселл и уверяет, что она

¹⁷⁴ *Migne. Patrol. gr. T. 136. P. 1327.*

¹⁷⁵ *Attalot. P. 88-90.*

¹⁷⁶ *Ps. V, 312.*

была к нему очень расположена (боготворила его, как он выражается на своем напыщенном языке), тем не менее она только раз намекнула ему, что не думает умереть регентшей, а дальнейшие свои планы она тщательно скрывала от него, и за несколько дней до воцарения Романа Диогена он еще не знал, что выбор ее остановился на этом полководце. Когда дело было уже решено, царица однажды вечером призвала Пселла и сказала ему: «Разве ты не знаешь, что дела нашего царства отцветают и идут вспять, потому что постоянно возникают войны и варвары разорили все восточные страны? Как остановить этот дурной оборот дела?» «Не зная, что у дверей дворца уже стоит тот, кто должен был воцариться, — рассказывает Пселл, — я ответил: “Это дело не легкое, оно требует обсуждения и размышления”. Императрица рассмеялась и сказала: “Об этом теперь уже нечего размышлять, это обсуждено и решено; Роман, сын Диогена, удостоен царской власти, ему отдано предпочтение пред другими”. Я был поражен, услышав это, и, не зная как быть, сказал: завтра я присоединюсь к твоему решению. Она же ответила: не завтра, а сейчас. Тогда я спросил ее: “Знает ли об этом твой сын и царь, ожидавший, что он будет единственным правителем?” “Кое-что он знает, — ответила она, — но вполне не знает всего. Пойдем к нему вместе и расскажем это происшествие; он спит наверху в одной из царских спален”».

Пселл пошел с царицей к Михаилу; мальчика разбудили, и он согласился признать императором Романа Диогена. Когда то же самое сделал кесарь Иоанн, возможные препятствия были устранены, и 1 января 1068 г. вступил на престол второй супруг императрицы Евдокии Роман Диоген. При этом с Диогеном заключено было условие, изложенное в формальном договоре и обязывавшее его не столько повелевать, сколько покоряться, т. е. управлять не самостоятельно, а при участии и в соправлении трех сыновей Константина Дуки.¹⁷⁷ Выбор был удачен: Роман Диоген был не только красив и не только этим привлек он Евдокию; это был опытный полководец, отличившийся во многих делах, как раз такой царь, который тогда нужен был Византии.

Несмотря на это, Пселл был недоволен, он относился не сочувственно к Роману и выразил это очень ясно в своих мемуарах, говоря, например, что когда этот царь выступил в первый поход

¹⁷⁷ Рз. IV, 272-274; Скабаланович. Византийское государство и Церковь. С. 101.

против сельджуков, он шел, сам не зная ни куда, ни зачем, и вообще значительно умаляя его военные успехи.¹⁷⁸

Недовольство Пселла было совершенно понятно, можно было ожидать, что, несмотря на титул царя, его воспитанник Михаил Дука будет совсем устранен и фактически никогда не вступит на престол, если у Романа Диогена родится сын от Евдокии и он назначит его своим преемником. Приятель Пселла кесарь Иоани потерял свое прежнее значение при Романи и был даже удален из столицы. Несмотря на это, Пселл был слишком политичен, чтобы явно стать в оппозицию к царю. Напротив, в день вступления на престол он произнес новому царю приветственную речь, начинающуюся словами: «Ныне день спасения, ныне освобождение от зол, ныне позаботился Господь о наследии своем, нагнулся с неба и увидел, послал с высоты ангела своего и освободил нас от настоящих зол и грядущих бед. Куда девалось теперь хвастовство персов, надменность мидян, ожидаемый набег скифов? Что случилось с невыносимым натиском турок? Теперь мы видим царя истинного не только по названию, но и по виду, великого, как гигант, сильного, державного, страшного, даже когда он не вооружен, непобедимого, когда вооружен, а сердцем похожего на пророка Давида».¹⁷⁹

Пселл рассказывает в своих мемуарах, что он был знаком с Романом Диогеном, когда тот был еще частным человеком, и что Роман Диоген питал к нему необыкновенное уважение. Пселл оказал ему в то время какую-то услугу, император не забыл этого и, вступив на престол, оказывал ему знаки почтения, например, вставал, когда входил Пселл.¹⁸⁰ Все это вероятно, но чтобы император любил Пселла, как он говорит в мемуарах, это сомнительно.

В марте 1068 г. Роман Диоген выступил в первый поход против сельджуков, и Пселл от лица столичных граждан сказал ему по этому поводу речь, начинавшуюся словами: «Зачем уходишь ты, блистательнейшее солнце, великое светило правды?» В заключение оратор говорил: «...да увидим тебя, возвращающимся к нам победоносцем, украшенного победным венцом, тебя, о гордость царства нашего, достойнейшее светило нашей луны (т. е. императрицы)».¹⁸¹

¹⁷⁸ Ps. IV, 276.

¹⁷⁹ Ps. V, 222.

¹⁸⁰ Ps. IV, 275.

¹⁸¹ Ps. V, 227-228.

В январе 1069 г. император возвратился из похода и в апреле того же года отправился вновь на Восток. И на этот раз Пселл счел свою обязанностью сказать речь царю, по содержанию очень похожую на предыдущую, в которой также высказывается соболезнование по поводу ухода императора и пожелание вернуться победоносцем.¹⁸²

В этот второй поход император взял с собою Пселла, потому будто бы, рассказывает он в мемуарах, что он прекрасно знал военное искусство и Роман Диоген чрезвычайно дорожил его советами.¹⁸³ Но в таком объяснении позволительно сомневаться; допустим, что Пселл знал стратегию и тактику, но знал он военные науки только теоретически; правда, он написал небольшой трактат «О военном строе», но трактат этот не что иное, как сокращение нескольких глав тактики Элиана и даже в то время мог представлять интерес только исторический.¹⁸⁴ Едва ли император нуждался в военных советах ученого монаха, и, конечно, г. Скабаланович прав, говоря, что «Диоген не переставал зорко наблюдать за Пселлом и для этого брал его с собою». Дело в том, что «партия, враждебная Диогену (к ней принадлежали кесарь Иоанн с сыновьями, Пселл и некоторые другие сановники), ненавидела его, но прямо своей ненависти не высказывала: благовидным предлогом, лозунгом своим она поставила интересы династии Дук. Партия приписывала Диогену тайные планы нарушить договор и достигнуть самодержавия, устранив сыновей Константина Дуки и матери их, Евдокии, она видела уже начало осуществления планов в той природной самонадеянности и резкости, с какими Диоген относился к жене и советникам вельможам; походы на Восток объясняемы были желанием императора совершить что-нибудь доблестное, с тем чтобы достигнуть популярности и, опираясь на заслуги, идти прямо к цели, самодержавному правлению, оттого будто бы каждый поход прибавлял Диогену слеси и делал его смелее. В таком тоне изложено царствование Диогена в записках одного из самых видных представителей партии, Пселла. Девиз выставлен был весьма удачно, и освещение деятельности Диогена в устах его противников получало правдоподобный вид. Партия поэтому сильно импонировала

¹⁸² Ps. V, 334-335.

¹⁸³ Ps. IV, 277.

¹⁸⁴ Περὶ πολεμικῆς τάξεως. Boiss. P. 120-124.

при дворе. Даже Евдокия усомнилась в правдивости Диогена и в искренности данных им обещаний; в своих колебаниях она искала утешения у Пселла, который, как легко догадаться, едва ли излил вполне целительный бальзам на ее душу. Нечего и говорить о ее сыновьях, на которых влияние вождей партии должно было сказаться сильнее, чем на Евдокии, они, а особенно воспитанник Пселла, Михаил, были недоброжелателями Диогена, такими же, как Иоани кесарь, «наветниками» (выражение Атталиата).¹⁸⁵

Пселл сопровождал императора не во все время похода, он дошел только до Кесарии (οὕτω γὰρ ἐφ' ἑκάστῃ τῆν Καίσαρειαν, ἔνθεν αὐτὸς τὸν δρόμον ἀνέλθοι), откуда, кажется, и написал письмо трем сановникам, находившимся в свите Диогена, протаскриту, ливеллисию и принимавшему прошения на высочайшее имя (ὁ ἐπὶ τῶν δεήσεων). В этом длинном письме (занимающем в издании Сафы почти 4 страницы) много ученых и витиеватых фраз, но мало содержания. По-видимому, Пселл хотел сообщить, что он находится в Кесарии, и выразить при этом свое расположение императорской свите.¹⁸⁶ Подобное же письмо написал он Евстратию Хирсофакту, магистру и протонотарию дрома, убитому впоследствии в сражении при Манцикерте.¹⁸⁷ Из этого видно, что Пселл держался своей обычной политики не ссориться с господствующей партией и людьми влиятельными, даже когда он расходился с ними во взглядах. Так и в данном случае мы видим, что Пселл интригует вместе с Дуками против Романа Диогена и в то же время поддерживает хорошие отношения с людьми, всего ближе стоявшими к императору и, конечно, принадлежавшими к противоположной партии.

В Кесарии, должно быть, уведомили Пселла о победе, одержанной Диогеном, и ему приказано было отправиться в Константинополь и возвестить об этом в столице. По крайней мере, к такому заключению можно прийти из письма, посланного Пселлом императору.

«Хотя я не видел всего этого физическими глазами, — пишет он, — но видел мысленными, как ты предводительствовал фалангой, сражался с неприятелем, как ты храбро наступал на них и поражал командой стратига, они же сейчас же падали и не в состоянии были выдержать твоего натиска. В этом нет ничего удивительного,

¹⁸⁵ Скабаланович. Византийское государство и Церковь. С. 102–103.

¹⁸⁶ Рз. V, 451–455.

¹⁸⁷ Рз. V, 372.

ибо, хорошо зная, какие у тебя мощные длани, какая у тебя храбрая душа, я считаю тебя не только способным состязаться с турками и арабами, но и с войском знаменитого Ахилла и Александра Македонского. Но этим мужам выпало счастье иметь хвалителями Гомера и Аристотеля, писателей талантливых и способных сделать малое великим; тебе же, великому царю, воину и стратегу, заменяет их мой лепечущий (ψελλίζουσα) язык.

Знай же, владыка мой и царь, что вся столица была потрясена твоим подвигом, все удивлялись, что ты не похвастался победой, не устроил себе триумфа на словах, что я один громче трубного звука огласил уши всех этим известием. Владычица же моя и царица, великая слава ромеев, гордость и красота души твоей, услышав о твоём великом подвиге, пришла в восторг от удовольствия и, утерев слезы радости, простерла руки к Богу и вознесла за тебя обычные молитвы.

Я возвестил о твоей победе священнейшему патриарху, всему синоду и синклиту, а также народу. Я шепнул об этом на ухо и новому царю и владыке моему, прекрасному Диогену.

Я, боговенчаный владыка мой и царь, восприняв в душе своей от твоей державы две вещи, правду, исходящую из уст твоих, и неизреченное сострадание, изливаемое на меня твоею святою душою, не перестану за это состязаться за тебя. Что касается дел, я потерплю поражение от твоей божественной державы, но одержу победу над тобою словами, произносимыми и писанными. Так же как ты сделал меня ревностным твоим поклонником, восхваляя меня целый день и ставя несравненно выше других, так и я поставлю тебя выше всех остальных царей, превознеся тебя в книге, которая, как луг, будет преисполнена цветов и прелести (т. е. цветистых и красивых выражений).¹⁸⁸

Для характеристики Пселла интересно сопоставить это письмо со следующей фразой из его же мемуаров: «Второй его (т. е. Романа Диогена) поход был несколько не удачнее первого; если наши пали десятками тысяч и взяли в плен двух или трех неприятелей, это еще не значит, чтобы мы победили».¹⁸⁹

Роман Диоген возвратился из второго похода осенью 1069 г. и прожил в Константинополе до весны 1071 г. По всей вероятности,

¹⁸⁸ Ps. V, 224—226.

¹⁸⁹ Ps. IV, 277.

в это время, а может быть и раньше, Пселл составил для императора речь, которую тот произнес на обычном великопостном заседании сановников.¹⁹⁰

В это время командование войсками было поручено Мануилу Комнину, но когда император узнал, что дела идут дурно и сельджуки одерживают серьезные победы, он решил опять отправиться на Восток. Партия, не любившая Диогена, по словам Атталиата, советовала ему не выступать в поход самому, к этой партии принадлежал и Пселл, по рассказу Скилицы.¹⁹¹ Они всячески старались дискредитировать императора в глазах императрицы и столичного населения, а потому боялись, что, в случае если он одержит блестящие победы, обаяние его сильно возрастет.

Император не обратил внимания на этих советников и весной 1071 г. отправился в третий поход. Этот поход окончился для него очень несчастно; благодаря измене Андроника Дуки он был взят в плен сельджукским султаном Алп-Арсланом после сражения при Манцикерте, или Маназкерте (по написанию арабских историков), в 1071 г.¹⁹²

Этим обстоятельством воспользовалась, конечно, оппозиционная партия, и тотчас же решили, что теперь государством должны править Дуки. На время плена Диогена, конечно, иначе и быть не могло. Но тут придворные разделились на два лагеря, одни желали, чтобы вновь было установлено совместное правление Евдокии и Михаила, другие же желали устранить Евдокию и сделать Михаила единственным самодержцем. К первым принадлежал Пселл, партия его получила перевес, когда к ней присоединился вызванный императрицей из Вифинии кесарь Иоанн.¹⁹³

Вслед за этим пришло собственноручное письмо от Диогена, которым он извещал, что он освобожден от плена и, следовательно, продолжает быть византийским императором. Явилось большое неожиданное затруднение; Михаил и другие обратились к мудрецу

¹⁹⁰ Речь эта не напечатана; она списана мною по одному Венецианскому кодексу. [Ныне речь опубликована в 16 (1), p. 348-350. — Я. Л.]

¹⁹¹ *Attaliat.* P. 141; *Scyl.* P. 688.

¹⁹² *Розек.* Арабские сказания о поражении Романа Диогена Алп-Арсланом // Записки восточного отделения имп. археологического общества. Т. I. Вып. 1, 3, 4.

¹⁹³ *Рс.* IV, 280.

Пселлу, требуя, чтобы он научил, как быть. Пселл посоветовал никоим образом не признавать императором Романа Диогена, но разослать по всей империи указы с объявлением, что он лишен престола.¹⁹⁴ Совет Пселла был принят, и действительно, в войско и провинции были посланы указы не признавать императором Романа Диогена.¹⁹⁵

Михаил и родственники его из дома Дук (кесарь Иоанн с сыновьями) желали, чтобы единовластителем был Михаил; последний желал устранить свою мать, вероятно потому, чтобы ни Роман Диоген, ни сын его не имели уже никакой возможности претендовать на престол. Поэтому молодой царь склонил на свою сторону варяжскую дружину, охранявшую дворец, и научил ее устроить демонстрацию против Евдокии. Царица спаслась в какое-то подземелье (скрытую пещеру, как выражается Пселл), туда же за ней последовал Пселл и стал у входа. Он слышал только шум, поднятый варягами, и не знал в чем дело. Михаил сейчас вспомнил о нем и послал искать его по всему дворцу; его нашли и привели к царю. Он потребовал у Пселла совета, как политичнее поступить. Пселл заботился в данном случае, как бы не произвести волнения в народе, а потому посоветовал постричь Евдокию и поселить ее в ею же построенном монастыре Пиперуди.¹⁹⁶

Пселл, как видно, был близким лицом к Евдокии, он стоял за нее, когда это было нужно, чтобы отделаться от Диогена, и когда этого желали кесарь Иоанн и сам Михаил. Он спрятался вместе с императрицей в подземелье, когда, услышав шум, думал, что ему угрожает опасность. Но как только он узнал, что кесарь с сыновьями желают, чтобы Михаил правил самостоятельно, он стал на его сторону и подал хороший совет, как отделаться от Евдокии.

Хотя столица признала своим самодержцем Михаила Дуку, Роман Диоген продолжал считать себя законным императором, и пришлось действовать против него оружием. После не совсем удачного похода Константина Дуки, младшего сына кесаря Иоанна, против Романа Диогена был послан старший сын того же кесаря, Андроник,

¹⁹⁴ Ps. IV, 281.

¹⁹⁵ *Attaliat.* P. 168.

¹⁹⁶ Ps. IV, 282. *Attaliat.* P. 168-169. Атталиат рассказывает, что как только кесарь с сыновьями возвратился в столицу, они начали интригу против Евдокии и сослали ее в монастырь.

одержавший решительную битву над войском Диогена, находившимся под командою армянина Качатура, катепана Антиохийского.

Пселл написал по этому поводу поздравительное письмо Андронику, где, восхваляя его на все лады, пишет, что он сокрушил главу змия (т. е. Диогена) и воскресил умирающее царство ромеев.¹⁹⁷

Вслед за этим Андроник осадил Диогена в крепости Адане. «Долго ли продолжалась осада, сведений не имеем, знаем только, что осажденные доведены были до крайности и терпели недостаток в жизненных припасах, что мужество их Диоген поддерживал обещанием скорой помощи от турок, что Андроник вошел в тайные переговоры с приверженцами Диогена, охранявшими Адан. Переговоры Андроника увенчались успехом, и Диоген, не надеясь на своих сподвижников, сдался под условием, что отказывается от престола, постригается в монашество и за то получает гарантию личной безопасности; гарантию дали от имени императора заключавшие договор три митрополита, которые клялись, что никакое зло не постигнет Диогена. Диоген был тут же пострижен, посажен в скромный экипаж и отправлен в Византию, куда наперед послано извещение о всем случившемся. Печальный поезд с Диогеном, одетым в монашеское платье и страдавшим сильным расстройством желудка, которое, как говорили потом, произошло от какого-то снадобья, данного врагами, прибыл в Опсикийскую фему и остановился в крепости Котизе в ожидании инструкций из Византии. Через несколько дней из Византии получен приказ ослепить Диогена. Напрасно Диоген просил заступничества у архиереев, клятвенно ручавшихся за его безопасность: те, если бы и желали, ничего не могли сделать. Его отвели в какой-то чулан, и обязанность палача взял на себя неопытный в этом деле еврей. Диогена привязали за руки и ноги, на грудь и живот его надавили щит, и еврей раза четыре запускал ему железо в глаза, пока несчастный не поклялся, что глаза его совсем уже вытекли. Страдалец посажен был опять в экипаж и с изрытыми глазами, с головой и лицом вспухшими, похожий более на разлагающийся труп, чем на живого человека, привезен к Пропонтиде. Спустя несколько дней он умер».¹⁹⁸

Несомненно, что император Михаил приказал ослепить Диогена, если даже не приказал, то во всяком случае допустил это и никак

¹⁹⁷ Ps. V, 292-394.

¹⁹⁸ Скабаланиович. Византийское государство и Церковь. С. 107.

не мог ничего об этом не знать, как уверяет Пселл. Знал также об этом злодеянии сам Пселл, может быть, он дал совет пустить в ход этот византийский способ отделяться от людей; если и не так, едва ли противодействовал этой мере. Он знал, что Диоген будет считать императора и его самого виновниками своего несчастья, а потому, чтобы обелить и его и себя, написал ослепленному царю письмо, которое с нашей точки зрения представляется довольно нахальным издевательством над умирающим несчастливцем.

Приводим это письмо в переводе.

«Я в полном недоумении, благороднейший и восхитительнейший человек, оплакивать ли мне тебя как самого несчастного человека или восхищаться как самым славным мучеником. Ибо когда язираю на причиненное тебе зло, превосходящее всякую меру и степень, я причисляю тебя к самым несчастным людям; когда же я обращаю внимание на твой невинный образ мыслей и на твое рвение о добре, я сопричисляю тебя к мученикам. Если же ты после тысячи сделанных тебе злодеяний все же остаешься великодушным и благодарным Богу, я ставлю тебя выше мучеников.

Не знаю, есть ли другой человек, испытывавший столько бедствий, как ты, и притом без всякой вины со своей стороны. Но узнай от меня, божественнейший человек, что все случающееся в нашей жизни зависит от Провидения и Промысла Божия, ничего не бывает без причины и случайно, но за всем наблюдает недремлющее око, и вместо здешних трудов и несчастий вынесшим их готовятся великие воздаяния. Я знаю, что тяжело лишиться света (зрения), и это особенно тяжко, когда предшествовало много оскорблений, но я также знаю, что великое дело наслаждаться божественным светом, который уже приуготован тебе, но еще не попал в сердце твое; ибо Бог возжет в душе твоей чистый свет, осияет тебя спасительный день, осветит неприступное солнце, ты возненавидишь этот солнечный свет и полюбишь тот мысленный неизреченный свет. Воздай хвалу Богу, что тебя, человека, он сделал ангелом, лишенного зрения удостоил лучшего света, поместил среди благородных своих борцов и, отняв у тебя преходящую диадему, украсил тебя небесным венцом. Поразмысли о будущем суде Божиим: бывшие здесь очень счастливы или вполне будут устранены от небесной славы или удостоены небольшой почести; ты же будешь поставлен одесную Судии, блестящим образом увенчанный венцом мученика, созерцая раскрытыми глазами божественные тайны и видения.

Мученики будут целовать твои пострадавшие глаза, будут обнимать ангелы и, смело скажу, сам Бог. Помышляя о столь великой радости, бодрись и радуйся в страданиях твоих, как говорит святой апостол (Посл. к Колосс. 1:24). Человек смотрит на лицо, Бог же, глядя на сердце, распознал в душе твоей некую божественную частицу, стесненную телесным тернием. Тело Он несколько испортил, доброе же семя сохранил невидимо невидимыми силами. Всячески клянусь тебе Богом, исповедуемым истинною религиею, что царь невинен в твоём несчастье и несколько не причинен в случившемся. Когда он решил достигнуть того, чтобы с тобой не случилось никакого зла, тогда тебя постигло это искушение. Услышав об этом, он скорбел душой, громко застонал, заплакал, тяжело вздохнул, пролил потоки слез. Он желал умереть, желал, чтобы разверзлась под ним земля. Верь тому, что я пишу; слово мое не ложно и писано не для красоты слога, оно истинно и светлее света. Он все еще не находит утешения и отказывается жить. Вот тебе достаточное утешение. Есть у тебя владыка, которого ты любил, или, лучше сказать, родственнейший и любезнейший сын; есть у тебя человек, который будет утешать тебя, плакать за тебя, успокаивать тебя, обнимать, почитать. Я желал бы обогреть это письмо собственной кровью или слезами. Но так как это невозможно, я пишу, громко стелая и плача, что я, несмотря на свое желание и старание со всех сторон оградить тебя, не был в состоянии устроить от тебя случившегося с тобою несчастья».¹⁹⁹

О деятельности Пселла в царствование Михаила Дуки мы знаем немного. В Парижском кодексе 1182 г., по которому сделано издание Сафы, имеются два письма, написанные Пселлом от имени императора Михаила к какому-то русскому князю.²⁰⁰

В августе 1074 г. Пселл составил хрисовул, посланный императором Роберту Гвискару. Это брачный договор, заключенный Михаилом VII

¹⁹⁹ Ps. V, 316-318.

²⁰⁰ Ps. V, 375-392. Эти письма были напечатаны Сафою еще раньше во французском переводе в *Annuaire de l'association pour l'encouragement des études grecques en France*, 1874. Так как письма не имеют адреса, Сафа старался доказать, что они были отправлены Роберту Гвискару. В. Г. Васильевский опроверг эту догадку и показал, что письма были посланы русскому князю, по всей вероятности, Всеволоду Ярославичу (ЖМНП. 1876. Декабрь).

с Робертом, по которому сын византийского царя Константин был признан женихом дочери Гвискара.²⁰¹

В июле 1075 г. Пселл по приказанию императора разобрал тяжбу о мельнице стратига Мандала с Каллийским монастырем и написал протокол этого дела.²⁰²

Из этого видно, что Пселл в царствование Михаила Дуки делал то же самое, что при Константине Мономахе. Он писал письма от имени императора, составлял хрисовулы, разбираал тяжбы и написал протокол суда; следовательно, представляется вероятным, что в царствование Михаила Дуки он занимал опять должность протасикрита.

К этому времени относится, по моему мнению, апология Пселла под заглавием: *ὅτι κλητήσιον τὴν τοῦ πρωτοασκρητῆρος ἀξίαν*. Эта речь напечатана Сафою без конца, так как конец не сохранился в Парижском кодексе (Ps. V, 171–176). Но сохранился он в cod. Barocc. 131 (fol. 291–293) Бодлеевой библиотеки в Оксфорде, а также в несколько раз упомянутом Флорентийском кодексе.²⁰³ Эта апология представляет параллель вышеупомянутой речи «К завидовавшим титулу ипертима». Написана она была, по всей вероятности, когда Пселл был назначен протасикритом, в ответ лицам, говорившим, что философам не следует занимать государственных должностей.

Пселл доказывает, напротив, что философу не должны быть чужды государственные дела и что ему следует ими заниматься (Ps. V,

²⁰¹ Этот неизданный хрисовул напечатан мною в ЖМНП. 1889. Сентябрь.

²⁰² Эта тяжба подробно изложена мною в ЖМНП. 1889. Март.

²⁰³ Сафа, основываясь на заглавии «Когда он отказался от должности протасикрита», относит эту апологию к концу царствования Константина Мономаха, когда Пселл впал в немилость и постригся. В заглавии Бодлеева кодекса вместо κλητήσιον стоит ἀνεβύλλετο. Не знаю, возможно ли понять κλητήσιον в противоположном смысле, как это сделал г. Скабаланович, говоря: «апология по поводу назначения на должность протасикрита». (Византийское государство и Церковь. С. LVIII). Заглавиям вообще нельзя придавать слишком большого значения, так как они нередко составлялись переписчиками на основании неверно понятого содержания. Апология производит впечатление, что она была написана, когда Пселл был назначен протасикритом, а не тогда, когда отказался от этой должности. [Полностью речь опубликована в 16 (1), p. 361–371. — Я. Л.]

171. οὐ γὰρ ἀπογνωστέον τῆ φιλοσόφῳ τῶν ἐν ταῖς πολιτείαις πραγμάτων, ἀλλὰ μετὰ λόγου πρὸς ταῦτα ἰτέον). Он указывает на примеры Платона, написавшего сочинение о наилучшем государстве и ездившего в Сицилию, чтобы изменить тамошнюю тиранию на более законный образ правления, на Аристотеля, писавшего законы Александру Македонскому, учившего царя не только как управлять государством, но даже стратегии и военным приемам, как располагать войско, как сражаться и т. п. Вот таким уважением пользовалась философия в прежние времена, теперь же, говорит Пселл, к ней относятся с презрением, считая гораздо важнее и полезнее юриспруденцию.

Во второй половине речи Пселл говорит, что он с юношеского возраста преследовал две цели: с одной стороны, занимался философией, с другой — государственными делами. Поэтому он не запирался у себя в комнате и не занимался исключительно философией (διὰ ταῦτα οὔτε ἐν οἰκίῳ καθείρξας ἑμαυτὸν φιλοσοφεῖν μόνον ἐκέλευον), но точно так же не делал только то, что делается в судах, не исключительно обвинял и защищал, отвергнув ученые книги (οὔτε παρῳάμενος τὰ βιβλία, ταῦτα δὲ τὰ ἐν δικαστηρίοις μόνον ποιεῖν, γράφεσθαι τε καὶ δικάζεσθαι καὶ ξυνηγορεῖν); держа в руках ученые сочинения, он в то же время занимался государственными делами, и таким образом он в одно и то же время был государственным человеком и ученым философом.

В неизданном конце этой речи Пселл выставляет свои ученые заслуги, указывая, как много им сделано для науки и как много написано сочинений. По его словам, он разъяснил аристотелевскую философию, написал трактаты о естестве и первых сущностях, объяснил движения небесных светил и многие естественные явления, написал сочинения по риторике, объяснил халдейские изречения.

Вот это-то последнее обстоятельство заставляет думать, что Пселл написал свою апологию не в царствование Константина Мономаха, а позднее, потому что едва ли он успел написать в то время значительное количество ученых трактатов, о которых сам упоминает.

Выше я привел несколько строк из неизданного документа, где Пселл назван ипертимом. Эти строки тем более важны, что это единственное официальное сведение о титуле ипертима, данном Пселлу; к тому же это единственный источник, из которого можно вывести, что Пселл носил этот титул в определенном году. Итак, несомненно, что в царствование Михаила VII Дуки Пселл был ипертимом. Значит ли это, что он не мог быть в то же время протопроэдром?

Думаю, что нет. Ипертим, по-видимому, не чин, а титул, вроде нашего превосходительства; по крайней мере, Пселл пишет кесарю Иоанну ὑπέρτιμῃ κίβοαρ.

Далее мы знаем, что Пселлом составлена для императора Михаила речь, которую тот произнес на первой неделе Поста на собрании савонников. Речь эта не имеет таких внутренних признаков, по которым она могла бы быть приурочена к тому или другому году. Она не издана, но списана мною с Ватиканского кодекса 672 (fol. 272-274), где имеет следующее заглавие: τοῦ αὐτοῦ (Ψελλοῦ) σελέντιον ἐπιτηροῦν κατὰ βασιλέως Μιχαὴλ τοῦ Δούκα.²⁰⁴

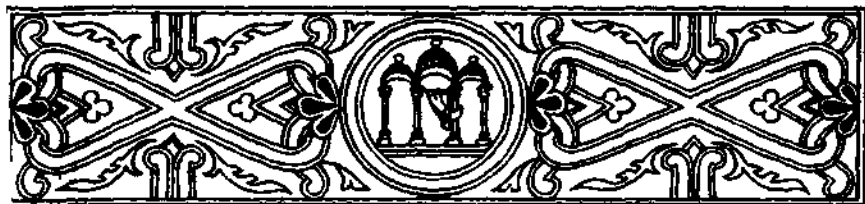
Анна Комнина сообщает, что в царствование Михаила Дуки Пселл постригся и удалился из Византии;²⁰⁵ но это основано на недоразумении, Пселл, как мы видели, постригся в царствование Константина Мономаха.

Надо думать, что Пселл умер еще в царствование Михаила VII; если принять во внимание, что он несколько раз в письмах жалуется на хронический недуг, какую-то желудочную болезнь, совершенно понятно, что он не прожил более 60 лет. Мы можем положительно утверждать только то, что Пселл был жив в конце 1075 г.; в августе этого года умер патриарх Иоанн Ксифилин, Пселл написал ему после его смерти длинный панегирик. Мне представляется почти несомненным, что Пселл не дожил до воцарения Никифора Вотаниата, т. е. до 1078 г.; нет царствования, от которого не осталось бы следа в сочинениях этого писателя — или письма, или приветственной речи, или упоминания о себе в мемуарах. Но мемуары свои он закончил еще при Михаиле VII, в это же время он собирался написать отдельное сочинение о Романе Диогене, но не успел сделать этого; по крайней мере до нас не дошло подобного сочинения.²⁰⁶ Вместо того, чтобы думать, что Пселл впал в немилость и удалился в монастырь или богадельню, гораздо естественнее предполагать, что он умер в конце царствования Михаила VII Дуки в 1076 или 1077 г.

²⁰⁴ [Опубликован ныне в 16 (1), p. 351-355. — Я. Л.]

²⁰⁵ *Annae Comnenae Alexias I*, 179 (ed. Reifferscheid).

²⁰⁶ Ps. IV, 277.



Глава пятая

Преподавательская деятельность Пселла

Деятельность Пселла была двойка: он был не только придворным сановником, но и ученым преподавателем.

В Панегирике матери он сообщает, что хотя отказался от мира и постригся, он не может предаться исключительно Богу, потому что обязан заниматься светскою наукою и преподавать ее своим ученикам (Ps. V, 57; Ps. V, 59). В Панегирике Никите он говорит, что они оба были учителями с тою только разницею, что Никита был учителем орфографии, а он, Пселл, занимал кафедру философии (Ps. V, 93).

В переписке Пселла несколько писем адресованы ученикам; Буассонад напечатал его речи к ученикам. Все это ясно доказывает, что Пселл был преподавателем. Скилица четыре раза называет его ипатом философов. Анна Комнина сообщает, что Иоанн Итал был учеником Пселла, что по удалении последнего из Византии Иоанн Итал стал учителем всей философии, получив название «ипат философов» (Alex. I, 179). Из сочинения псевдонима Тимариона (Τιμαρίων ἢ κερὶ τῶν κατ' αὐτὸν λαβημάτων) видно, что Федор Смирнский сменил Иоанна Итала.²⁰⁷ В заглавии нескольких сочинений Пселл также называется ипатом философов.

²⁰⁷ [П. Безобразов ссылается на сатиру Тимарион, опубликованную ныне в русском переводе. См. Византийский сатирический диалог. Издание подготовили С. Полякова, И. Филенковская. Л., 1986. С. 24–71. — Я. Л.]

Сафа, а вслед за ним Рамбо и Грегоровиус, считают, что ипат философов — это почетный титул. Но из слов Анны Комнины можно вывести, что ипат философов — название преподавателя философской школы, так же как учитель юридической школы назывался законохранителем (номофилаксом). Анна говорит прямо, что Итал получил название ипата, потому что занял место учителя философии. Из Тимариона видно, что один учитель сменял другого: Итал — Пселла, Федор Смирнский — Итала; если совершенно естественно, что византийские императоры могли дать почетный титул Пселлу, нельзя того же сказать об Итале, не пользовавшемся милостью царей и преданом анафеме Константинопольской церковью.

Пселл был преподавателем в царствование Константина Мономаха, как видно из панегириков Никите и Ксифилину, по возвращении с Олимпа он опять занял кафедру, что явствует из панегирика матери. Надо думать, что его преподавательская деятельность продолжалась непрерывно до царствования Михаила Дуки, т. е. до самой его смерти, когда его заменил Иоанн Итал. В данном случае можно опереться не только на «Алексиаду», но и на один намек в письме к патриарху Антиохийскому Эмилиану (бывшему патриархом в царствование Михаила VII), где он говорит: «Нас все считают стоящими во главе философии и риторики» (Рз. V, 275).

В панегирике матери Пселл сообщает, чему он учит своих учеников. Вот это место. «Так как жизни моей положен такой удел, что я не могу довольствоваться самим собою, но должен руководить другими и давать им черпать воду знания, представляя из себя как бы чашу, переполненную водою, я касаюсь и светской мудрости, и не только умозрительной, но и той, которая проявляется в истории и поэзии. Поэтому я некоторым ученикам читаю лекции о поэтических произведениях, о Гомере и Менандре, об Архилохе, Орфее, Мусее, а также о писательницах, о Сивиллах, о поэтессе Сафо, о Феано и мудрой Египтянке (ἡ Αἰγύπτια σοφή). Многие просят меня объяснить отдельные слова, встречающиеся у этих писателей, чтобы им знать, что такое завтрак (τὸ ἀκράτιον), обед (τὸ βριστον), полдник (τὸ ἐσπέριον), ужин (ἡ δόρσις), кто писал стихами и кто выбирал отборные выражения, что такое пляска (δρῦσις) у Гомера, что такое у поэта героическая жизнь, что такое лакомство, роскошь и употребление плодов с твердою шелухой (τῶν ἀκροδύρων), что такое древности троянские, что такое нектар, амброзия и питье из меда и вина (πρόποσις), кто такие Алексис

Менандр, Кровил, Клисаф и другие, о ком говорят, что они писали стихи.

Многие ученики заставляют меня рассказывать им о лечении тела и просят, чтобы я научил их распознаванию и предсказанию болезней; поэтому я изучил все это искусство (медицину), чтобы знать все подробности. Многие из учеников привели меня к изучению италийской мудрости (πρὸς τὴν ἰταλικὴν σοφίαν), я разумею не знаменитую Пифагорову философию, а юриспруденцию, так чтобы мог говорить об исках частных (actio privata) и общественных (actio popularis), о вещественных доказательствах, о рабстве и свободе, о законных и незаконных браках, о степенях родства, о завещаниях воинов и граждан, что такое обязательство, что такое законное правило (ὁ νόμος κανὼν), раздел наследства без завещания (ἡ κληροδοσία), кто законный сын и незаконный, что означает каждый термин, что такое бесчестие и на сколько степеней оно делится, какой срок определен для каждого иска.

Меня постоянно спрашивают ученики о длине вселенной, какова величина ненаселенных частей и какова величина святой и населенной части; поэтому я вынужден заниматься с ними географией, представлять им полную картину описания земли и ознакомить их с тем, что сделано по этой части Апеллесом, Вионом и Эратосфеном.

Я постоянно аллегорически объясняю ученикам греческие мифы. Ученики пристают ко мне с вопросами, потому что любят мою манеру говорить и понимают, что я знаю больше других* (Ps. V, 59—61).

В том же панегирике Пселл говорит, что занятия с учениками заставляют его читать эллинские и варварские книги, Орфея, Зороастра, Парменида, Эмпедокла, Платона и Аристотеля, другими словами, заниматься философией (Ps. V, 57).

В письме к одному ученому, сочинение которого он разбирал, Пселл сообщает, что он учит в школе философии и риторике (Ps. V, 256).

Из сказанного видно, что Пселл преподавал по средневековой терминологии философию и риторiku. Философия в древности и в Средние века была наукою из наук и обнимала все современные науки.

Никифор Влеммид в своей логике посвятил особую главу подразделениям философии, из чего видно, что разумели в Византии под философией. «Философия, — говорит он, — делится на умозрительную (θεωρητικὴν) и практическую (πρακτικὴν). Умозрительная

познает сущее, практическая улучшает нравы; цель умозрительной — правда, цель практической — благо. Умозрительная философия делится на философию о естестве (φυσιολογικόν), математику и богословие (τὸ μαθηματικόν καὶ τὸ θεολογικόν). Наука естественная занимается исключительно вещественным, богословие исключительно невестественным, математика — предметами, имеющими вещественную и невестественную сторону. Естественная наука называется так, потому что она касается естественных и преходящих явлений; богословие называется так, потому что оно рассматривает явления божественные и непреходящие. Математика делится на арифметику, музыку, геометрию и астрономию. Практическая философия делится на этику (ἠθικόν), экономию (οἰκονομικόν) и политику (πολιτικόν). Этический философ тот, кто умеет приводить в порядок свои и чужие нравы; экономический — тот, кто может воспитывать целый дом; кто же хорошо управляет городом или городами, тот — философ политический. Практическая философия приводится в исполнение посредством законодательства и правосудия, ибо практический философ издает полезные законы для города, для дома, для ученика, для себя и судит других, хваля поступающих хорошо, порицая дурно поступающих.²⁰⁸

Таким образом, философия обнимает все науки: математику, музыку, астрономию, естественные науки, логику, метафизику, богословие, этику, юриспруденцию. Поэтому Пселл постоянно называет философию просто наукой, или званием (ἐπιστήμη), и отделяет ее от искусства (τέχνη), под которым разумеет риторику. Пселл был представителем этой универсальной науки, и, как преподаватель философии, он мог читать лекции по всем предметам. Несколько его лекций хранятся в библиотеках, но изданы далеко не все. Я приведу здесь целиком две философские лекции Пселла, из которых одна напечатана Сафой, другая же не издана.

К спрашивающим, сколько родов философских учений

Вопрос не слишком далек от намеченной мною цели; я принялся за объяснение псалмов, вы же, кстати, спросили меня о родах

²⁰⁸ Nicéphori Blemmidæ epitome logica, cap. 7 (Migne. Patrol. gr. T. 142. P. 729–733).

философских учений. Ибо как пошедшим по другому пути, разумею по пути образов и пророчеств, которого мы еще не познали, естественно недоумевать, каков этот путь и чем он отличается от обычного и гладкого пути; как научившийся халдейскому учению, принявшись за египетскую философию и занимавшийся египетской философией, перешедши к эллинской, вероятно, стал бы спрашивать, что это за род учения, к которому они перешли, точно так же переходящий от более совершенного (псалмов) к менее совершенным учениям, как будто из света в тень, будет спрашивать, какова сущность этих учений, к какому роду они принадлежат, какой ближайший к ним вид. Поэтому я решил поговорить сегодня с вами о философских учениях с исторической и философской точек зрения (ιστορικώτερον ἢ καὶ φιλοσοφώτερον).

Следует знать, что пять философских учений распределены между пятью различными народностями. Ибо халдеи, египтяне, эллины, иудеи и наш народ, которому преимущественно прилагается название христиан, представляют главные роды философских учений. Я не подразделяю единого эллинского учения на отдельные учения, как это делает большинство; но хотя есть у них философия италийская, родоначальником которой был Пифагор (ἰταλική τις ἐστὶν ἡμεῖς αὐτοῖς σοφία), есть и ионическая, и платоновская, есть и такая, которая по виду учения называется кинической, или называемая по своей главе и цели философией удовольствия и эпикурейской, есть и философия, получившая название от места, где учили философы, как, например, ликейская, стоическая, академическая, есть и философия, названная по обоим этим причинам, как, например, перипатетическая и скептическая (σκεπτικὴ), догматическая и испытующая, все же я эти отдельные учения соединяю воедино и даю им одно общее название эллинского.

Таким образом, эллинское учение представляет один вид, или, если угодно, род философской науки; она была разделена на различные учения, и представителями этих отдельных учений были разные лица, из которых замечательнее всех был Пифагор, современник Фалеса Милетского, в значительной степени усовершенствовавший его философию. Он первый познакомил эллинов с музыкой, стал учить бессмертию души и, научившись у египтян, привнес в эллинские обычаи кое-что из египетской философии, чрез него в первый раз эллины являются сторонниками египетского учения. Этот Пифагор не имел обыкновения доказывать все, но

по большей части изрекал свои положения, как оракулы, и к большинству своих положений не приводил основания. Платон же, приняв его учение, удивлялся смелости его учения, но некоторые его положения отверг. Он доказывает все, где является последователем эллинов; там же, где он является последователем египтян, им сочиняются кони, движущиеся сами по себе, и крылатые колесницы богов, произрастание пернатых и их уклонение вниз, остающаяся на месте Веста, в то время как одиннадцать находятся в движении.²⁰⁹ Аристотель же, происходивший из города Стагиры, не обращал на это никакого внимания, но, откосясь к науке с человеческой точки зрения, доказывал все свои положения. Почему же я не говорю о философах, бывших до них и после них? Потому что и этих достаточно для характеристики эллинской философии.

Эллины, полагая двоякий род сущего, сверхчувственное и чувственное, ставили посередине между ними математическую сущность, так как она имеет соприкосновение с телесным и бестелесным, стоит ниже мысленного и выше чувственного, представляет нечто среднее между тем же самым и другим, соединяет в себе сущие роды (идеи) и явления, не вполне ограничена, но ограничивает безграничное, сложна, но вне времени и вечна, представляет лестницу, по которой восходят от изучения природы к высшей философии; никто да не приступает к изучению философии, не зная геометрии, говорит Платон, выяснив всю математическую сущность на примере одной этой науки (геометрии).

Так разрабатывали свою философию эллины, халдеи же и египтяне, о которых я сейчас скажу, иначе. Но прежде всего я разрешу их спор, так как те и другие (халдеи и египтяне) спорят, чья философия древнее. Халдеи утверждают, что начало их философии было положено 40 тысяч лет тому назад. Египтяне же, рассказывая басни, указывают еще большую цифру. Халдеи утверждают,

²⁰⁹ «Федр» Платона в переводе Карпова: «Мы уподобим ее (идею) нераздельной силе крылатой пары запряженных коней и возничего (с. 52). Душа совершенная и пернатая носится в воздушных пространствах и устрояет весь мир; а растерявшая перья влечется вниз (с. 53). Итак, великий вождь на небе, Зевс, едет первым на крылатой своей колеснице, устроая везде порядок и объемля все своею заботливостью. За ним следует воинство богов и гениев, разделенное на одиннадцать отрядов; потому что одна только Веста остается в жилище богов (с. 55–56)».

что они учителя египтян, египтяне же хвастаются, что у них учились халдеи и что они лучше последних знают движения небесных светил. Я же, читая мудреца Херемона, мужа благородного и написавшего прекрасную историю, нашел у него, что халдейская философия была раньше египетской, но что ни те, ни другие не были учителями друг другу, но те и другие имели своих представителей философии; это отвергают халдеи по следующей причине. Однажды Нил залил страну египетскую, погибло все остальное, а также астрономические книги. Затем, так как им нужно было иметь сведения о затмениях и движениях светил, они собрали эти сведения у халдеев. Но так как последние неохотно сообщали свои знания, они дали им неверные показания времени, движения планет и неподвижных звезд, не соответствующие действительности. Затем, находясь в затруднении, египтяне сделали их учениками и, принеся к себе истинное знание сущего, записали это на кирпичках, чтобы ни огонь, ни наводнение не могли уничтожить их знания. Таким образом, египтяне, потерпев несчастье для своей философии, и обманутые халдеями, тем не менее достигли цели. Родоначальником их мудрости был древнейший Ник, четырнадцатым (царем), после которого был Иоанн, пришедший с южного пояса, надев на себя кожу рыбы и производя себя от Гермеса и Аполлона; он царствовал над ними, придя к ним обманным образом и предсказав лунное затмение, хотя и не хотел царствовать. После него был, неизвестно которым, царем Протеус; после него Рапсинит, который, по египетским мифам, живой сошел в ад и опять вышел оттуда, там играл в кости с Деметрой, выиграл и получил от нее золотое полотенце.

Мудрость египетская заключается в том, чтобы все говорить символически, прятать изображения богов в ящики и только сфинкса вешать на стены. Философия египтян была очень выдающейся, как показывает их учение; ибо они первые признали душу бессмертной, верили, что она проходит бесчисленные блуждания и скитания, спускается до травы и камня и затем вновь возвращается в свою сферу. Они учили, что всему — одно начало. Иакх и Приам, Серапис и Селин, странного вида род сатиров, соколы и ибисы представляют их божества, считается у них богом бык Апис, который весь черный за исключением белого лба. Не хорошо зная, как думаю, природу вещей, они поклоняются морскому луку (σκίλλα) и луку (κρόσσον), потому что он растет сам по себе (несеяный), и агносу (ἄγνος, род дерева), потому что верят, что, полежав на нем,

можно сделаться святым, точно так же они поклоняются Гераклу камню (магниту), потому что он притягивает железо, кроме того мыши, жуку и другим животным, рождающимся без совокупления; более же всего они преклоняются пред трутнем, коршуном и другими животными, превращающимися из одного рода в другой. Они отлично измеряют движения небесных тел, считают солнце величайшим богом, они приписывают души всем светилам. По их мнению, в сущем замечается несказанная симпатия, так что если разделенное соединяется на той или другой планете, оно чувствует влечение друг к другу. Они верят в предсказания и прорицалище Амфиарая считают самым достоверным. Такова египетская философия.

Перехожу к философии халдеев, народа, убежденного, что он благочестив, но странного и признающего многобожие, тем не менее лучше всех знающего астрологию. У них есть и таинственное богословие, изложенное в стихах, смысл которого большинству непонятен. Они говорят, что есть семь миров, из которых последний вещественный, земной и светоненавистный, первый же огненный и высший. У них много других странных и нелепых богословских учений. Они учат единому, бывшему раньше всего, вводят материю, как производящую зло, составили священное искусство, ввели жертвоприношение животных, поклонялись подземным богам и постановили, что надо приносить жертвы так или иначе. Они привлекают своих богов чародейскими песнями, связывают их и освобождают, как, например, Апулей заставил Епактиса дать клятву не сообщаться с теургом. То был Юлиан, ходивший с царем Марком в поход на даков; он одержал царю много других побед, а также отразил даков от римской земли. Сделав из глины человеческое лицо, он поставил его так, что оно смотрело на варваров, когда же они приблизились к нему, они тотчас были прогнаны молниями, выпускавшимися из головы.

Они ведут душу по лестнице, имеющей семь ступеней (τὴν ψυχὴν ἐπιτάκρουσιν οὐροῦσι κατὰ βαθμίδος), я говорю это на основании их собственных изречений, и они учат возводимых на небо не оставлять в пропасти земли даже помета (μηδὲ τῆς γῆς κρημνῶ σκύβαλον καταλείπειν). Смешивая различные части и из разного материала, они создают человеческие изображения, которые, по их мнению, могут предупреждать болезни. Я не стану вам рассказывать, как они делают это, ибо хотя вы, может быть, и не возненавидите меня, но

узнав это, воспользуетесь этим искусством, и затем окажется, что я причина постигнувшего вас зла. Поэтому я прохожу молчанием большую часть их секретной науки, думая, что и сказанного достаточно.

Мудрость еврейская возникла позже них (халдейской и египетской). После Нина вторым был Ававк (так написано переписчиком вместо Авраам), живший во время Огига, как говорится в исторических сочинениях. Род его идет от Фалика (в Библии Фалек), единственного человека, отказавшегося строить башню в земле Сема-рам (по Библии Сенаар); это город вавилонян, ибо имя этого города означает смешение, и тут в первый раз произошло разделение языков. Чрез него (Авраама) был избран род его, и печатью этого избрания приняли они обрезание. Неизвестно, который после него по счету Моисей, выведши Израиль из Египта, стал у них учителем благочестия и обращения к Богу. Он построил им священные храмы, и так как они не в состоянии были понять богословия, выражающегося в Троице, он представил ее в символах. Он учил, что всему было одно начало, от которого все произошло, небо и земля, что родоначальник людей Адам был создан из земли, что Ева была создана из ребра, отнятого у Адама, что от них произошло много детей мужского и женского пола, из которых самые замечательные Каин и Сиф, Каин, созданный для порока, Сиф — для добродетели, что семя Каиново дошло до седьмого колена, семени же Сифова было достаточно для создания рода Израилева. Вот этот-то род еврейский был особенно любим Богом; ибо Он являлся избранным лицам, одним — в скрытом виде, другим — в Лице Своем. Он учил божественному учению, хотя и не сообщал оснований своего учения, и вместо силлогизмов были у них предписания народного вождя.

Они не вполне признавали бессмертие души, но верили, что есть другая земля, куда они надеялись переселиться; они думали, что это Эдем, откуда этот род был изгнан. Они придавали большое значение обрезанию, новомесячию и субботам, как говорит Иеремия (Иер. 17:22). Они очищались ежедневно, окропляясь пеплом телицы или моясь иссопом; они приносили жертвоприношения — овцу, козу, голубя, барана. Они праздновали праздник Богу, который называли прохождением (διαβάσιον, разумеется Пасха) в четырнадцатый день первого месяца Нисана; второй праздник у них был первенцов, третий — кущей.

Были у них и еще другие три праздника в третьем месяце, пятом и седьмом, установленные в воспоминание бедствий, испытанных

ими в это время. Вместо оракулов и прорицалищ были у них пророческие языки, таинственно пророчествовавшие о многом другом, главным же образом о божественной тайне Христовой; особенно же предвещает это язык Давидов, который я собирался истолковать преимущественно пред другими. Немного после него пророчествовал Исая; некоторые пророчествовали не прямо и загадочно, но есть и такие, которые прямо предвещали появление Спасителя.

Довольно об учении евреев, после которых явилось нам Слово Отца, ставшее новым Адамом и другим Моисеем, родоначальник рода более божественного, святым крещением перенесший нас как бы через море в землю обетованную, которая есть царство на небеси. Поэтому мы вполне отвергли и презрели многобожие египтян, болтовню халдеев, аллинское же учение мы не вполне отвергли, но приняли касающееся природы, учения же, что материя не сотворена, не признали, их монархию (т. е. признание единого начала) мы полюбили, но так как они не определяют ее в трех лицах, мы ее отвергли; нам нравится их учение, что душа бессмертна, но мы не учим, как они, что души не были сотворены и существовали раньше тел; в оракулы, предсказания и то, что они говорят о нисхождении Бога, мы не верим, как в запрещенное. Обрезания евреев, субботы и то, что они таинственно делают при зажигании факелов, мы не почитаем; но принимаем их закон и пророческие книги и поклоняемся Иисусу, о котором они пророчествовали; приняв вполне наше естество от непорочных кровей Богоматери, Он соединил его с собою, обоготворил, возвел на небо, примирил с нами Отца и прислал другого Себя (Духа), утешителя. Коротко резюмируя сказанное, наша религия — богословие (*θεολογία*) и домостроительство (*οἰκονομία*); но там почитается триада и монада, у нас же одна ипостась, единое в Троице Слово Отца, естества же два, части единого Христа, цельные и совершеннейшие.

Многое я опустил, так как я сам, как видите, почти лишился голоса, и большинство из вас устало до того, что не может уже ни думать, ни писать.²¹⁰

В приведенной лекции Пселл имел намерение представить в главных и крупных чертах различные роды известных ему философских

²¹⁰ Лекция эта напечатана Сафю в *Bulletin de correspondance hellénique*. 1877 г. P. 127–133. [Ныне опубликована в *Pselus Michael*, 1992, p. 4–11. — Я. Л.]

учений. При этом он очерчивает собственно не метафизику, а религиозные учения; только в таком смысле и можно было соединять разнообразные греческие доктрины в одну эллинскую философию. Так поступали Отцы церкви, для которых Фалес наравне с Платоном, киниками и Эпикуром представляли одно эллинское, т. е. языческое учение.

Пселл не сумел, однако, представить самые существенные черты разных религиозных учений; это особенно поражает в отделе о религии евреев, извлеченном главным образом из Библии. Наравне с воззрениями на Бога и бессмертие души он сообщает подробности, излишние в краткой лекции о еврейском ритуале, об омовениях и праздниках. Особенно неудачно составлены отделы о древнегреческой философии и христианстве. Сказав кое-что о Пифагоре, Платоне и Аристотеле, касающееся больше метода их исследования, чем содержания, Пселл приводит кое-что из платоновской диалектики, и таким образом, из его лекции ученики никак не могли понять, в чем заключается главное содержание эллинской философии, а тем более религиозные учения древних греков. В нескольких строках, посвященных христианству, Пселл не сумел изложить сущности нашей веры.

Отдел об учении египтян извлечен Пселлом, как он сам говорит, из сочинения Херемона, бывшего хранителем Александрийской библиотеки и учителем императора Нерона. Херемон, написавший несколько сочинений о Египте и астрологии, пользовался большою известностью в Византии; выдержки из него приводятся Ямвлихом, Оригеном, Порфирием, Аполлоном Александрийским, Климентом Александрийским, Евсевием Кесарийским.

Лекция Пселла на первый взгляд поражает своею эрудициею, но в XI веке подобную лекцию и даже гораздо лучшую можно было составить по одному сочинению Евсевия Кесарийского (*Præparatio evangelica*), где очень подробно и обстоятельно, гораздо лучше, чем у Пселла, изложены религиозные учения египтян, евреев и древних греков. Халдейская же мудрость была хорошо известна из сочинений Прокла и Порфирия. Вторая философская лекция, оставшаяся до сих пор неизданной, печатается мною по cod. Barocc. 87 fol. 3-5 (оксфордской Бодлеевой библиотеки) [текст «лекции» опущен, поскольку он уже дважды опубликован: 16 (I), p. 451-458 и *Psellus Michael*, 1992, p. 22-28. — Я. Л.].

В этой лекции Пселл старается доказать, что общепринятое в его время определение одной из аристотелевских категорий, именно

сущности, совершенно верно. Определение это гласило: «Сущность есть вещь самобытная» (*οὐσία ἐστὶ πράγμα αὐθάλακτον*). Но Пселл ошибался, думая, что определение это принадлежит Платону или Аристотелю, может быть, оно составлено Проклом; по крайней мере, насколько я знаю, оно попадает в первый раз в комментарии Аммония на аристотелевское сочинение «Об истолковании», Аммоний же перерабатывал недошедшее до нас сочинение Прокла. Определение это впоследствии стало в Византии стереотипным и повторяется во множестве философских трактатов.

Приведенное определение возбуждало, однако, недоумение некоторых философов, находивших, что сущность нельзя называть самобытной, так как все явления находятся в зависимости друг от друга и самобытен один Бог, так как Он один не произошел от бывшей до него причины. Они не понимали, каким образом сущность может быть названа самобытной, когда ничто из сущего не может само себя создать, но есть следствие какой-нибудь другой причины и когда вся цепь причин сводится к Богу, который один только и есть первопричина всего сущего.

На это мнение возражает Пселл в своей лекции. Прежде всего, говорит он, помянутые философы неверно понимают термин «самобытный». Под «самобытным» они разумеют, когда несущее становится явлением само по себе, а не приводится к бытию высшей причиной. Но не так надо понимать этот термин. «Самобытное» получает бытие от высшего рода, но придя в непосредственное соприкосновение с первопричиной совмещает в себе всю исходящую от нее силу (творчества) и таким образом становится уже само по себе достаточным для существования.

Это туманное толкование заимствовано Пселлом у Прокла, говорящего в комментарии на Тимея, что от единого произошло вечное, от вечного рожденное и временное, от лучшего из само себя творящего самобытное (*Ἐκείνου ἐν Τίμῳ 91 D*). В другом месте Прокл говорит, что единое самобытно, вечное сущее получает самобытность от единого, следующее за вечно сущим в одно и то же время самобытно, и получает существование от другого творческого начала (*Ἐκείνου ἐν Τίμῳ 71 C*).

Вслед за определением самобытного Пселл говорит, что для доказательности речи надо качать сначала и показать, как делится природа сущего. Бога, говорит он, мы называем Творцом всего, а ученые эллины называли единым и добром, единым потому, что

Он один из сущего абсолютен и не составной, добром же потому, что это совершеннейшее начало, ибо все нуждается в добре и ничего лучше добра не постигает нас.

Пселлу следовало сказать, что единым и добром называли Бога неоплатоники. (Procli institutio theologica, cap. 12: πάντων τῶν ὄντων ἀρχὴ καὶ αἰτία πρωτότης τὸ ἀγαθόν ἐστιν... καὶ τί ἂν γένοιτο τῆς ἀγαθότητος κρείττων; cap. 114: πᾶς θεὸς ἐνὶ ἑαυτῷ ἐστὶν ἀποτελής). Он мог прибавить, что Дионисий Ареопагит принял это определение неоплатоников, и он позаимствовал у него объяснение, почему Бога называли единым и добром (De divinis nominibus cap. I, § 4).

Тот, кого мы называем Богом, эллины же Единым, продолжает Пселл, приступая к созданию мира, не создал сейчас же видимые предметы, но сотворил прежде всего родственное Себе, именно сущее (τὸ ὄν), имеющее с Ним сродство и Ему подобное, под сущим надо разуметь собственно сущее, а не изменяющееся и находящееся в постоянном течении, не временное, но сопричастное вечности, познаваемое как всегда сущее и потому называемое вечным. Бог же не вечен, хотя так неправильно определяют его естество богословы, но предвечен. Каким же образом Бог вечен, когда вечность не стоит выше Него? Когда мы называем Бога вечным, это только злоупотребление словами, как и вообще мы имеем обыкновение прилагать к Богу самые лучшие названия и поэтому называем Его полионимом и анонимом. Сам же Он, сообразуясь со слабостью слушающих, называет себя самыми простыми именами, говоря: Я есмь жизнь и свет (Иоан. 11:25, 9:5). И Моисею он сказал: тако речеши сыном Израилевым, сый посла мя к вам (Исх. 3:14). Бог есть единое, всеобъемлющее единое, всеобъемлющая простота, от которого происходит прежде всего сущее, непосредственно соприкасающееся с единым, и самобытное, потому что не нуждается в творящей руке, но, насытившись однажды творческим началом и поглотив его всего, само по себе достаточно для существования, поэтому оно (сущее) неподвижно, потому что сопричастно первому неподвижному.

Бог, или единое, не самобытно, ибо мы не говорим, что Бога достаточно только для собственного бытия, это значило бы, что Он самодовлеющее, а самодовлеющее недостаточно для передачи своей силы другим; Бог не самодовлеющее, и не избыточествующее, но приизбыточествующее, и истекают из Него, как из полной чаши, потоки добра. Он превышает самодовлеющее и самобытное. Итак.

прежде всего единое, затем сущее, которое, как мы показали, самобытно, в-третьих, самодвижущееся.

В этом отрывке Пселл опять заимствует свои мысли у Прокла и Дионисия Ареопагита, последователя неоплатоновского учения (Procli inst. theol. cap. 10).

Далее Пселл объясняет, почему Платон называл душу самодвижущуюся и, кстати, говорит о душе вообще, заимствуя это место из Тимея.

Наконец, по словам Пселла, некоторые философы признавали пять родов сущего, другие меньше, Аристотель же, следуя пифагорейцу Архиту, установил десять категорий, причем они не делятся на роды и виды, но находятся между собою в таком же соотношении, как главнокомандующий к начальникам отдельных частей войска. Сущность — главная категория, и она одна не нуждается ни в чем другом для своего существования. Сущность есть отображение первого сущего, которое, как мы показали, самобытно, а потому и сущность как подобие того также самобытна.

В этом отделе Пселл также не самостоятелен, заимствуя свое объяснение аристотелевских категорий у комментаторов Аристотеля, преимущественно Аммония.

Итак, заключает Пселл, если принимать термин «самобытный» в том смысле, как я показал, определение сущности как самобытной вещи можно считать основательным. Действительно, ничто из сущего не может считаться причиной другого, и цепь причин должна быть сведена к высшему первому началу (т. е. к Богу). Ничто из сущего не может считаться самобытным в том смысле, что оно само себя сотворило; но мы называем сущность самобытной в том смысле, что, вызванная к бытию высшим началом, она сама себе достаточна для существования.

Пселл кончает лекцию словами, что он хотел еще объяснить, почему полное определение сущности дается так: «Сущность есть вещь самобытная, не нуждающаяся ни в чем другом для своего существования», и почему последняя часть этого определения, представляющаяся многим излишнею, на самом деле не лишняя, но так как он уже много говорил и слушатели устали его слушать, он откладывает это до другого раза.

Мы видим, что Пселл является в этой лекции последователем неоплатонической школы, преимущественно Прокла и тех Отцов церкви, которые опирались в своих доказательствах на учение тех

же неоплатоников. Наш философ стоит на той же почве, на какой стояли средневековые реалисты, девизом которых было «*universalia sunt realia*» в противоположность «*universalia sunt nomina*» номиналистов. Только на этой почве был возможен спор, самобытна ли сущность или сотворена Богом, так как номиналисты считали сущность категорией и, следовательно, произведением нашего ума. Приведенная лекция Пселла изложена довольно неясно и непоследовательно; так, приведя известную триаду александрийской школы — абсолютное единство, разум, тождественный с бытием, и всемирную душу, он напрасно распространяется о последней, так как она никакого отношения к теме не имеет.

Из первой лекции видно, что Пселл занимался в школе не только метафизическими вопросами, но и чисто богословскими, объясняя, например, псалмы. Кроме того, он занимался и явлениями природы, так как естествоведение входило по тогдашним воззрениям в философию. В *cod. Vatoss. 131 (fol. 316–318)* Водлеевой библиотеки сохранилась неизданная лекция Пселла, начинающаяся словами: *Ὁ μὲν κερὶ τῆς ἰρίδος λόγος*. Ученики просили Пселла объяснить, что такое радуга, но он откладывал это до другого раза и прежде считает нужным заняться разными атмосферными явлениями — молнией, дождем и т. п., что и делает в указанной лекции, которой я, к сожалению, не успел списать в бытность мою в Оксфорде. Впрочем, желающие ознакомиться со взглядами Пселла в области естествоведения могут обратиться к его энциклопедии (*De omnifaria doctrina* у *Migne. Patrol. gr. T. 122*), которая будет подробно разобрана во второй части моего труда.

Из одной речи к ученикам видно, что Пселл объяснял на своих лекциях, почему морская вода соленая и отчего происходят землетрясения (*Boiss. P. 150*).

Как видно из панегирика матери, Пселл учил не только философии, но и праву, так как по византийским понятиям юридические науки не могли быть чужды философу. В царствование Константина Мономаха была основана в Константинополе отдельная юридическая школа, но, как видно, ученики Пселла не посещали этой школы, а потому он решился дать им объяснения юридических терминов древнеаттического права и римского. Сохранилась лекция Пселла по истории права, где он объясняет, что у афинян называлось иском, обвинением, судебным следствием, пританием, ареопгом и т. п., и тут же говорит о праздниках, времечислении

и других особенностях древнегреческой жизни (*Boiss.* P. 95–110). Лекция эта составлена не на основании классических писателей, а извлечена (как я докажу во второй части моего труда) из византийских словарей: *Λέξεις ρητορικαί* (*Bekker. Anecdota.* P. 197–318) и *συναγωγή λέξεων χρησίμων ἐκ διαφόρων σοφῶν τε καὶ ρητόρων πολλῶν* (*Bachmann. Anecdota I.* P. 1–422).

Из речей Пселла к ученикам видно, что он преподавал не только философию, но и риторику (*Boiss.* P. 140, 145). Пселл придавал большое значение риторике: «У меня в руках постоянно находятся две книги, одна — риторическая, другая — философская», — говорит он в письме к одному приятелю. В том же письме он советует сыну своего приятеля сначала научиться риторике, а потом уже приступить к философии (*Ps.* V, 476). В другом письме к тому же лицу он говорит: «Посади ребенка между двумя источниками, знанием и искусством; словесное же искусство лишь одно, так называемая риторика. Дай ему испить в меру от обеих чаш и позаботься о том, чтобы он не вдался в односторонность, чтобы, изучив одну лишь философию, не получил ума без языка (т. е. умения говорить) или же, усвоив одну лишь риторику, не приобрел языка без ума» (*Ps.* V, 480).²¹¹

Из учебника риторики, написанного Пселлом (*Walz. Rhetores graeci.* V. III. P. 678–703), видно, чему он мог учить; учебник этот представляет ни что иное, как сокращение риторики Гермогена. Речи свои он составлял по правилам, начертанным ритором Менаандром. Следовательно, он учил той риторике, представителями которой были Гермоген и Менаандр. Для большей наглядности Пселл написал для своих учеников риторические образцы, которым они должны были подражать. Буассонад напечатал четыре таких образца, это две похвалы блохе, похвала виши и похвала клопу. Привожу здесь в переводе два таких риторических упражнения, чтобы показать, на чем воспитывалось византийское юношество.

Похвала блохе

Поистине удивительно, что в то время, как все подчиняются блохам и подвержены их укусам, прекраснейший наш Сергей избегал их укусов. Он будет думать на этом основании, что стал выше всех, будет удивляться сам себе, благодарить природу за то, что

она сделала его выше обыкновенного человеческого естества, и будет считаться, что природа его совсем иная, потому что он недоступен для такого зверя. Но если кто откроет ему причину этого обстоятельства, он сейчас же оставит свою надменность по отношению к нам и будет сожалеть, что он не подвержен разрушению, причиняемому этим зверем.

Нужно знать, что наше тело представляет смесь четырех элементов, и соединение их в разной пропорции дает и разные смеси, из этих же смесей вырабатываются жидкости, жидкость крови, мокроты и обоего рода желчи. Желтого цвета желчь протекает в печень, а черная приливает во внутренность селезенки; кровь же не помещается в каком-нибудь отдельном органе, но разлита по венам по всему телу и оживотворяет наше тело; она также бывает разная по качеству. Когда кровь представляет очень хорошую смесь, она сладка и благовонна, на нее тогда устремляется и вошь, и блоха, вообще все насекомые, питающиеся нашим телом. Если же кровь представляет дурную смесь, она или водяниста и преисполнена соленого состава, или имеет в себе горечь желтоватой желчи или отдает черной желчью. Как не все земные соки поглощаются колосом, но есть и такие, которые кажутся ему отвратительными; точно так же из соков, образующихся в телах, одни представляют хорошую смесь и возбуждают аппетит блохи, другие же, может быть, сгнили или горьки на вкус, или отдают соленым.

Это прелестнейшее животное, распознавая вкусом качество пищи, привлекается только к соответствующему природе и ест только это; к тому же, что пахнет иначе, чувствует отвращение и от того уходит.

Более жадные люди лишены такого тонкого вкуса, едят всякое мясо и решаются пробовать всякие соки. Это прекраснейшее животное превосходит своею прелестью некоторые разумные существа, как говорят, тремя пальцами и ладонью. Как сильнейшее животное, лев, не прикасается к вчерашней пище и ест только свежую, точно так же прелестнейшая блоха исследует источники нашего тела, или, лучше, потоки, из этих источников исходящие. Чашами, содержащими в нас красную жидкость, служат вены, или, лучше, не чашами, а водопроводами и каналами, вводящими в наше тело пищу. Найдя прозрачный источник и годный для питья, она тотчас же прикладывает свой рот, разбирает его качество и пьет, сколько требует ее аппетит. Если же она замечает, что сок

испорчен водою, она покидает этот источник, обращается к другому и исследует другую пищу. Так великолепно это животное.

Нам и маронское вино кажется приятным и хиосское и лесбосское; но за это нельзя нас порицать. Большинство же пьют вино, только что налитое в бочку и еще не перебродившее, любят испорченное, и я видел, как некоторые пьют первую попавшуюся чашу. Но блоха пьет годное для питья, пренебрегает дурно пахнущим, наслаждается благоарастворенным, отворачивается от испорченного и сгнившего. Она рассматривает венозную чашу; когда видит, что она превосходно очищена, наслаждается ее блеском и радуется ее прелести; когда же она имеет в себе твердую часть желчи, и особенно черной желчи, блоха относится к ней с презрением и даже не станет пить чистой крови, если она течет по испорченной вене.

Я люблю тех людей, которые выказывают свое великолепие даже в сосудах для вина и чашах; а самые милые готовят себе кубки и психтиры (сосуды для вина), как, например, фириклийские из чистого стекла, глубокие, с длинным узким горлышком, откуда напиток течет чистейшим, приятным, наиболее радующим гордую душу. Из нас одни таковы, другие же нет, род же блошинный весь благороден, горд и преисполнен великолепной прелести. Он не любит ни горького сока, ни соленого и ест только сладкий; ему доставляет удовольствие чаша сладкой и благовонной крови.

Видишь ли ты, милейший мой Сергей, как драма, начавшись с комической болтовни, принимает для тебя трагический конец? Ты думаешь, что стоишь выше толпы, потому что избег блохи, считая, что не подвергаешься ее нападениям вследствие превосходства своей силы. Она не испугалась тебя, но, понюхав, отшатнулась от тебя. Она подходила к маленьким колодцам твоего тела, увидела, что чаши не чисты, увидела, что влага испорчена, отказалась пить, не допустил ее исходящий оттуда запах. Поэтому она воздержалась и не удовлетворила своего аппетита.

Случайно она перешла на меня и припала ко всем моим чашам, у затылка, у горла, у ключицы; она радуется корму, очень довольна моими потоками, ибо она находит все преисполненным прелести. Когда она открывала мне жилу, тотчас текла прелестная влага. Поэтому она даже не знала, как ей воспользоваться множеством радостных предметов: она прыгает по бокам, сейчас же оттуда перескакивает на спину, высасывает подколенок, наслаждается потоками вокруг голени. Ибо не дает ей один источник одно питье,

другой другое, но из всех источников истекает одинаково прелестная влага. Что же? Разве природа меня хорошо составила для того, чтобы я сделался пищею блохе? Я не желаю этой прелести, я отказываюсь от хорошей крови; пусть она будет испорчена, я буду отлично жить. Если бы кто, украсив меня, сейчас же сокрушил, я не стал бы радоваться такому украшению, но тотчас устранил бы такой наряд.

Благодари Бога, прекраснейший Сергей, что он укрепил тебе тело настолько, что сделал его недоступным для животных, желающих ограбить тебя, что он обезопасил тебя твердым оплотом и не нападет на тебя ни блоха, ни вошь, ни клопы, но все будут бояться и страшиться тебя и устраниваться, как от тирана. Но не поднимай бровей в знак недовольства: я предпочел бы быть уничтожаемым блохами, чем чтобы тело мое пахло и чтобы я внушал страх коварством.

Скажу тебе правду: природа составила наше естество, как желала, и твое естество сделала противным блохе, мое же — ей приятным и годным для еды (Boiss. P. 73-78).

Похвала вши

Может быть, вошь завидует похвале, которую мы написали блохе. Оба эти животные принадлежат к разным видам, но мы будем говорить о них вместе, рассматривая одно как бы мужа, другое как бы жену, потому что в них есть общие черты.

Мы показали, что блоха — произведение равноденствия (т. е. родится во время весеннего равноденствия),²¹² слуга и копыеносец роста солнца; несколько не меньше можем мы похвалить ее с другой стороны. Чтобы речь шла по порядку, начнем лучше всего с ее происхождения.

Мы объяснили и доказали, что блохи рождаются друг от друга, и хвалили их за это, вошь же рождается другим образом и еще более удивительным, чем блоха. У нее нет рождения, не выделяется материального семени, а зарождение ее самопроизвольно (αὐτόματον).

Мы больше удивляемся редкому, чем обычному; и если из редкого одно больше, другое меньше, нас поражает то, что меньше.

²¹² Об этом говорится во второй Похвале блохе (Boiss. P. 78-84).

Нет ничего удивительнее солнца, тем не менее увидев комету, мы больше удивляемся. Поэтому мы и стрижа любим больше ласточки, и летучего муравья больше слона. Следовательно, необычный способ происхождения удивительнее обычного. Человек рождается от человека, это дело самое обыкновенное в природе, и этот факт нисколько не поражает ума; вошь рождается из ничего, что в высшей степени поразительно. Естествоиспытатели думают и говорят, что невозможно происхождение из ничего; вошь же опровергает это мнение, так как она никем не зачинается, но зарождается сама по себе.

Так как сущее и не сущее имеет у философов разные признаки, мы не скажем, что она (вошь) не произошла ни из какой материи, но допустим, что из одного вещества она могла произойти, из другого — нет. Мы отрицаем, чтобы она могла произойти вследствие совокупления, но допускаем, что она получила бытие из вещества разнородного. Ослы, сгнивая, порождают жуков, лошади — ос, быки — пчел, испорченная вода — комаров; вошь же порождает прекраснейшее живое существо, не сгнивая, не портясь, но будучи одушевленным и живым; ибо она зарождается из головы человека.

Часть пищи, изменяемой нашими физическими свойствами, переходит в селезенку, часть в мочевой пузырь, часть же поднимается к печени; та же часть пищи, которая согревается и изменяется в желудке, превращается в испарения. Так как испарения эти очень легки и тонки, они, как бы к небу, поднимаются к голове. Но чтобы присутствие этих испарений не производило головокружения и онемения, природа разделила череп на разные швы; все кости природа отделила друг от друга ямочками, испарения как бы протекают через них и, оставаясь в черепной коже, порождают удивительным образом вошь.

Так рождается она, вскармливается же массой волос на голове. Волосы играют для нее роль повивальной бабушки и копьеносцев.

То, что гниет сначала и изменяется, имеет разнообразную причину зарождения. Но вши дает зарождение не гниение семени, но тончайшая и легчайшая часть пищи. Ибо что легче и тоньше испарения?

Испарения земли порождают метеоры и кометы, а испарения нашего желудка — вошь. Так же как наше испарение имеет некоторое соотношение с испарением земли, так и вошь имеет некоторое соотношение со светом кометы. В небесной сфере рождаются удивительные явления, в сфере же нашей головы удивительно это животное.

Всего поразительнее, что в то время как в нашем теле много разных частей — даже никто не может сказать, сколько их, — все остальные части тела это животное считает как бы недостойным для себя и одну голову избирает органом своего зарождения. Оттуда оно переходит и на другие части тела, но вновь возвращается, как бы двигаясь с востока на запад и возвращаясь к точке отправления.

Как я слышал от одного мужа, отличного философа, природа не без причины сделала голову круглой, но потому что в ней живет ум, любящий шарообразный вид круглого тела; это животное также бежит к шарообразному, как к чему-то своему, а потому и помещено в голове. Итак, то и другое представляется голове желанным; ум, вселяющийся в нее сверху, и вошь, зарождающаяся снизу. Но ум находится внутри головы и как бы с акрополя управляет живым существом, вошь же живет снаружи.

Хотите, я приведу вам другое, более таинственное положение о вши? Но не считайте меня болтуном и исследующим без метода за то, что я взялся исследовать недостойное исследования и задался целью соединить то, что нельзя сравнивать между собою.

Что касается движения души, я вижу, что философы признают двойкий ум: один находится внутри сферы, где Платон помещает даже идеи, другой же вне всякого тела. Чтобы меня не обвинил кто в отсутствии хорошего вкуса, не дерзаю сказать ничего больше, кроме заключения, что животное, находящееся вне головы, лучше ума, внутри ее находящегося.

Это животное предполагает не одну идею (сущность), но одна совершенно белая и блистает этим цветом, другая же — черная, подобная черному морю. Часть ее составляют височные части, и поскольку она вскармливается на местах без волос, она кажется черной и сильной.

Итак, как сказано, все человеческое тело представляет для вши улицу, по которой она может ходить; но жилищем служит ей голова, как бы дворец, предназначенный для некоей царицы. Затылок же и грудь, спина и руки и все остальное до ног представляют для нее возвышенности и равнины. В тихую погоду выходит она, раскрыв двери; если же двигается против нее что-нибудь, что может погубить ее, она благоразумно возвращается в свое старое жилище и, как бы тиран, заняв возвышенность головы, предоставляет рукам осаждать стены; она же охраняется головою, словно башнею. Поймать тут это животное очень трудно. Как колос удерживает

пшеницу от надения при ударах, так же волосы отражают от вши всякую опасность. Даже если начинается охота по поверхности тела, она, как рассказывают про губки, совершенно уходит под кожу головы и таким образом избегает лова. Она крепко цепляется ногами, и на поверхности тела не видно никакого прибавления; но вполне сравнявшись с кожей, этот тиран делает бесполезными попытки рук, осаждающих стены.

Некоторые животные питаются тем, что произрастает из земли; она же ест все самое лучшее. Ибо то, что вкушается человеком, вторично служит ей трапезой. Вам готовят жаркие руки поваров (φωκοιοί), а пирожники (οἱ τὰ λέπτα κοιούντες) — остальную пищу; мы же заменяем вши поваров и стряпунов. Мы приготавливаем ей яства, вырабатывая соки, кровь, испарения, чтобы пища ее была разнообразна. Когда мы хорошо служим ей, она пользуется предлагаемыми кушаньями, если же мы предлагаем ей грубую пищу, она отвергает ее, а с нами поступает как с рабами и бичует нас, царапая голову ногами и кусая ртом.

Итак, мы начальствуем над остальными животными, над нами же начальствует вошь. В то время как глаза все видят, она одна невидима. Тело ее по виду слабо, и причисляется она к бестелесным существам. Существование ее прекращается, когда мы умираем, и она лишается пищи, хоронится она в могиле нашей головы и, следовательно, где зарождается, там и умирает.

Не видите ли вы, что все это — состязание речи, и что риторика выказывает свою силу даже в самых ничтожных сюжетах? Ибо я вовсе не имел в виду написать похвалу вши (я еще не сошел с ума), но доказать вам, какую силу имеют слова, дабы вы, имея пред собою такой образец, упражнялись бы над самыми ничтожными темами и подражали мне» (*Boiss.* P. 85—91).

Мы видим, что Пселл в виде упражнения заставлял своих учеников доказывать при помощи риторики положения в роде следующих: «Человек, имеющий блох, стоит выше человека, их не имеющего», «Блоха лучше человека». Выбор сюжета и близкое знакомство Пселла с насекомыми указывает на некоторую нечистоплотность почтенного преподавателя.

Мы видели, что Пселл занимался в школе языческой философией; это могло повести к некоторым недоразумениям, так как признавая за Платоном и неоплатониками большой авторитет, легко

было уклониться от догматов Православной церкви и впасть в ересь. Попадались такие ученики, которые из лени или по действительному убеждению, находили, что бесполезно заниматься исследованиями в области естествоведения. К чему разбирать, говорили они, причины землетрясения, когда известно, что всему одна причина, все делается Богом. Поэтому Пселл счел нужным выразить свой взгляд на языческую философию в речи к ученикам, в которой он бранит их за равнодушие к науке.

«Я желаю, — говорит он, — чтобы вы не признавали ходячих и неверных представлений, чтобы вы имели научное образование и, с одной стороны, заботились о развитии мыслительной способности, с другой стороны, работали бы над очищением языка и красотой речи, чтобы вы знали, что хотя эллинская философия ошибалась в своих мнениях о божестве и богословская часть ее далеко не безошибочна, тем не менее она исследовала природу в том виде, как ее сотворил Создатель. Вам следует извлекать оттуда (из эллинской философии) учение о природе, из нашего же богословия познавать первообраз и истину, букву сокрушать, как оболочку, скрытый же дух хоронить в себе, как жемчуг; и не следует считать сочинения Моисеевы окончательной истиной и думать, что представления о высшем не нуждаются ни в каких объяснениях. Точно так же не следует отвергать всех эллинских учений о Боге; отцовский же источник, три триады, десять мироправителей, опоясанного отца, бока и кудри Гекаты, а также другие подобные вещи следует считать мифами, при помощи которых они выясняют начало всего сущего.²¹⁸ Что же произошло от этого начала, что это не рожденное начало есть сущее и остальное, что похоже на нашу веру, надо стараться соединять с божественными изречениями и делать из нашей души чашу, совмещающую и то и другое. Допускайте и монаду Гермеса Трисмегиста, и остальные сочинения этого мужа, написанные им в назидание своему сыну Тату, которые прямо не противоречат истинным догматам; ибо эти сочинения лучше платоновской философии, они очень похожи на пророчества и душу выводят из

²¹⁸ Пселл говорит здесь о халдейском учении, которое он сам изложил. Как видно из этого трактата, Пселл считал, что Платон и Аристотель многое заимствовали из халдейского учения, а Плотин, Ямвлих, Порфирий и Прокл следовали ему вполне. *Pselii dogmatum chaldaicorum expositio* (*Migne. Patrol. gr.* T. 122. P. 1149–1153).

материи. Отвергайте его “Пимандра” (такое заглавие дал он своему сочинению), как представляющего грезы, точно так же “Похищение разума” Емпедотима, которое хвалит Ямвлих, но отвергает философ Посидоний. То, что говорят эти философы, представляя доказательства о едином, сущем, самодвижущемся и раздельном, принимайте, если оно согласуется с выводами нашей религии, если же расходится, отвергайте. Не верьте в аристотелевскую энтелехию душ, в мучение душ в мутных реках ада, в Проклово делание чудес и его рассказы о чудесах, также в плотинское призывание Бога. Уклоняйтесь и от божества Сократа, о котором он часто говорил и которым пользовался, чтобы придать своей речи больше силы.

Если будете поступать так, то, как моряки, будете извлекать из соленой воды годную для питья. Как же это делают моряки? Когда они находятся на море и у них нет пресной воды, они вешают губки над морем и, выжимая из испарений воду, пьют приятнейшую влагу. Поэтому и вы, прикрепив свою душу над эллинскими учениями, как солеными, превращайте исходящее оттуда эхо тяжелое и землевидное в тонкое и легкое, и вы тотчас же услышите пленительную песню, исходящую из самой верхней струны» (*Voizs*, P. 151–153).

Пселл вообще держался того воззрения, что не следует совершенно отрицать древнегреческую философию и не заниматься ею только потому, что она языческая, что, напротив, у философов можно найти воззрения, согласные с христианскою религией и подкрепляющие православные догматы; такой взгляд высказал он в панегирике игумену Николаю, которого хвалит за занятия философией. «Большинство, — говорит он, — не так судит об этом деле, т. е. полагают, что эллинская философия находится в полном противоречии с христианством и потому не должна быть изучаема. Правда же заключается в том, что эллинская мудрость состоит из двух частей, одна довольствуется мифами и выдумками, другая же занимается объяснением и исследованием сущего. Первая часть этой мудрости, представителями которой служат Орфей и Гомер, может быть принята только отчасти, и то объясняемая аллегорически, верить же в древних богов невозможно. Относительно второй части эллинской мудрости, философии, надо рассуждать так: те учения, которые противоречат нашему богословию, должны быть отвергнуты, те же, которые совпадают с нашей верой, должны быть принимаемы.

Церковь не совсем так относилась к языческой философии, она считала предосудительным занятия Платоном и неоплатониками. На такую чисто церковную точку зрения становится Пселл в обвинительной речи против патриарха Михаила Кирулария. «Благочестие, — говорит он в этом документе, — есть исповедание Святой и Божественной Троицы и вера в евангельское и божественное учение; верный не тот, кто одни из догматов, переданных нам Отцами церкви, принял, другие, на счет которых есть сомнение, отверг, а тот, кто следует в точности и неуклонно догматам, переданным свыше евангельским учением, священными соборами и канонами. Кроме того, согласимся, что признаваемому поистине благочестивым следует не только исповедовать основные и неопровержимые догматы богословия, но придерживаться всех установлений и обычаев Отцов церкви. Не следует благочестивому не принимать учение ариан, а тех, кто учит халдейской мудрости; ибо Церковь устраняет от себя не только ею осужденных на соборах, разумею Аполлинария, Нестория, Евтихия и остальных еретиков, но и лживое иудейское учение, эллинскую науку и выдумки, распространенные халдейской философией о прорицаниях, о различии духов и их происхождении о разделении богов». Стараясь обличить патриарха в ереси, Пселл выставляет одним из доказательств тот факт, что Кируларий будто бы был последователем Прокла.²¹⁴

Подобного воззрения держался, по-видимому, друг Пселла и впоследствии патриарх Иоанн Ксифилин. На одно письмо Пселла, где он, по всей вероятности, сообщал о своих ученых занятиях, Ксифилин ответил упреками за то, что он занимается Платоном, стоиком Хрисиппом и философами Новой Академии (под которыми разумеются, вероятно, и неоплатоники) и иронически написал «твой Платон». Сам же Ксифилин, по словам Пселла в панегирике, не любил Платона (*Рз. V, 429: Πλάτωνος μὲν καταλεφρονήκει καὶ τῶν ἐκείνου δογμάτων*); он отдавал предпочтение Аристотелю и занимался его комментированием. Поэтому он указывал Пселлу, как опасно заниматься Платоном и как легко стать еретиком. Пселл ответил Ксифилину в прекрасном письме, где он с сознанием собственного достоинства и умно защищает занятия древней философией и доказывает, что он остается все таким же истинным православным.

²¹⁴ См. мои материалы для истории Виз. империи (ЖМНП. 1889. Сентябрь. С. 33).

«Мой Платон, священный и мудрейший, — пишет он, — мой! Если ты бранишь меня за то, что я часто читаю диалоги этого мужа, удивляюсь манере его изложения, поклоняюсь силе его доказательств, почему же ты не ставишь в обвинение великим Отцам церкви того, что они уничтожили ереси Аполлинария и Евномия, поражая их точностью силлогизмов? Если же ты укоряешь меня за то, что я следую учению Платона и опираюсь на его законы, ты, брат, неверно судишь о нас. Я раскрывал много философских книг, я читал много риторических произведений, не скрылись от меня сочинения Платона — не стану отрицать этого, — но и аристотелевскую философию я не просмотрел; я знаю и то, чему учат халдеи и египтяне, клянусь твоей честной головой; о секретных книгах следует ли говорить? Но сравнивая все эти сочинения с нашим боговдохновенным Писанием, чистым, блестящим и поистине неподдельным, я нашел их поддельными и преисполненными обмана.

Мой Платон! Не знаю, как мне снести это тяжкое обвинение. Разве я прежде не предпочел ему божественного Креста, а теперь духовного ярма? Боюсь, что он скорее твой, — говоря твоим же словом, — так как ты не опроверг ни одного его мнения, я же почти все, хотя и не все худы. Его рассуждения о справедливости и о бессмертии души стали основанием и наших схожих с этим догматов. Не как слепой черпал я из Платона, но, полюбив светлую часть потока, пренебрегал мутной.

Когда же ты видел, чтобы я был последователем Хрисиппа или Новой Академии? Ведь не было этого и раньше, когда не укреплена была наша палатка, но изукрашена серебром или золотом. Разве мы не имели в мыслях облечься в одежду Христову, разве мы не имели в мыслях монашескую рясу, о которой много размышляли, а затем привели свои мысли в исполнение и теперь стали членами паствы Господней? Но мы не прилепились к Хрисиппу.

Ты удивляешься, что кипит во мне желчь и потрясает меня гнев. Но ведь и у меня тело не без печени, где образуется гневный дух, и я не могу выносить такого оскорбления. Клянусь священной твоею душой, если бы ты ударил меня по голове, если бы ты вырвал остающиеся у меня волосы, я бы легче снес подобные оскорбления. Но обвинение в сочувствии Хрисиппу, то, что ты, мой друг и судья, считаешь меня отпадшим от Бога и присоединившимся к Платону и Академии, не знаю, как мне снести это!

Почему ты, о все презирающий, упомянув о линиях, приложил к ним невежественность? Первый говоривший о них сказал весьма возвышенно и по-философски, что они нигде не находятся; одно — не быть, другое — нигде не находиться; линии не суть, но, по философу, мысленная длина нигде не находится. Но я относительно этих не сущих линий и презираемых тобою силлогизмов собрал из учений о высшем значительный товар; эти не сущие линии, о ненавистник науки, суть начало всей естественной науки (τῆς φυσικῆς θεωρίας). Эту естественную науку общий учитель Максим, или лучше мой — ибо он философ, — считает второю добродетелью после дел.

Если ты мне еще сколько-нибудь доверяешь, скажу тебе, не гордись своим пребыванием на горе и не хвастайся тем, что ты не наслаждаешься наукой; но если есть где равнина или глубокая долина или скрытый и сокровенный уголок земли, спрячься там, сойди с горы, и сначала приобрети должное упражнение в силлогизмах, поднимись к знанию непостижимому, из силлогизмов не выводимо. Ибо всякая добродетель, дорогой брат, соединенная с хвастовством и тщеславием, составляет крайний порок и есть порождение беззакония, которое уничтожает мой, как ты считаешь, философ.

Но так как, вновь придя на память, оскорбляет меня это выражение, выслушай, что говорят тебе философ-платоник. Я, любезнейший брат, издавна от предков удостоился божественного названия христианина, я ученик Распятого, воспитанник св. апостолов, я, осмелюсь сказать, аккуратнейшее хранилище великого и таинственного учения о Божестве. Платона и Хрисиппа, о которых ты говоришь, я полюбил, и почему же нет? Но только за их цель и гладкое изложение. Но из их положений я один тотчас же отверг, другие же, могущие подкрепить наши догматы, позаимствовал от них и соединил их со Священными книгами, как это делали Григорий и Василий, великие светила Церкви. Силлогизмов я не презирал, чтобы мне видеть Господа ясно, а не только при посредстве загадочных выражений. Делать выводы при помощи силлогизмов, это, брат, не есть учение, противное Церкви, и не какое-нибудь невероятное философское положение, силлогизмы только орган истины и способ отыскать искомое.

Холмом и равниной ты разграничиваешь добродетель и порок, я же делаю не так, но и к другому морю отправляюсь из общего пункта доброго расположения. Горы и города не лишены противоположных свойств, но и не производят их. Смотри, я, городской

житель, уступая тебе первенство в добродетели, приписал тебе и ум, оставляя за собой один ум и обвиняя себя в отсутствии добродетели. Я засвидетельствовал, что в тебе все добродетели, прибавив к этому и некоторую умственную прелесть, не пренебрегающую законом дружбы. Ты же, горный житель, не так поступил с нами: ты тотчас возгордился над нами и укорял нас за скромность, которую должен был бы хвалить; за то же, что мы приписали себе частицу ума, ты оскорбил нас и, намекая будто наша фраза „что ты стоишь выше всех“ относится к нам, ты разразился против нас за хвастовство в письме к тебе. Ты, поражающий силлогизмы, прибегаешь к доказательству через свидетелей, приводя то Стефана, то Григория, как будто доказательство заключается в одних свидетельствах. Затем ты вступил в борьбу с географическими понятиями, ты не знаешь, что северу противоположен юг, а не Азия, и противоположными северным жителям мы считаем европейцев или ливийцев. Хоть ты и оклеветал меня, если принимать такие географические сведения, дели, как хочешь, страны света. Ведь я написал тебе предыдущее письмо вовсе не желая заниматься географией или делить земной шар на части, но засвидетельствовав твою твердость по отношению ко всякому искушению, я счел это наследством, доставшимся тебе от предков и отечества, себе же я приписал слабохарактерность и, может быть, ошибался, любезнейший брат, но старался тщательно изобразить монаха и исполнял закон дружбы.

Сказав, что Синайская гора, на которую взошел Моисей и с которой сошел Бог, вовсе не есть материальная гора, а только символ нашего восхождения от материи к душе и Богу, и что Бог везде, Пселл пишет: «Так я, любезнейший, живу на горах и в городах, следуя за моим Богом и владыкою, ради которого я принял на себя его ярмо и надел эту власяную одежду, который часто приходил на площади, редко же поднимался на горы». И далее: «Мой Платон, брат, и Хрисипп! а Христос, с которым я сораспят, чей же? Тот, ради кого я остриг вещественное излишество (т. е. постригся), ради которого обратился к другой жизни. Если я всецело принадлежу Христу, я не стану из-за этого отречься от самых мудрых сочинений, не стану уклоняться от знания сущего, от знания того, что такое мысленное и чувственное. Молитвою, насколько могу, я буду стараться достичь Бога, но, сойдя оттуда на землю, буду шагать по лугам науки».

В заключение Пселл еще раз повторяет, что хотя он занимается философией эллинской, халдейской и египетской, он ставит выше всего христианские догматы и Священное Писание (*Ps. V, 444–451*).

Пселл был совершенно прав, когда он, защищаясь против Ксифилина, опирался на Отцов церкви. Отцы церкви, как известно, старались опровергнуть язычество и по одному этому занимались греческой философией; в христианской догматике отразился очень сильно платонизм, что особенно заметно в сочинениях Оригена, Дионисия Ареопагита, Синесия и Максима Исповедника. Укажу здесь только на мнения двух Отцов церкви, признаваемых столпами православной догматики, Климента Александрийского и Иоанна Дамаскина. Климент Александрийский посвятил особую главу в собственную защиту против говоривших, что он слишком много черпает из языческой философии. Если философия бесполезная вещь, говорит он, полезно доказать ее бесполезность, и в этом смысле она уже полезна. Затем, нельзя осуждать эллинскую философию и говорить, что в ней нет ничего кроме пустых слов, прежде чем подробно исследуешь ее. Некоторые клеветали на философию (находя ее вредной и лживой), между тем как она ясное изображение истины, данное эллинам как дар Божий (*ἀληθείας οὐραν εἰκόνα ἐναργῆ, θεῖον δῶρεόν Ἑλλήσι δεδομένον*). Она не отвлекает нас от веры, не околдовывает нас как будто каким-то лживым искусством, но она еще больше подкрепляет нас, доставляя нам доказательство нашей веры. От столкновения противоположных догматов яснее выступает истина, и следствием является знание (*Stromata, lib. I, cap. 2*). До пришествия Господа философия была необходима эллинам для достижения справедливости, теперь же она полезна для благочестия, служа подготовительным учением для воспринимающих веру посредством доказательств. Ибо она была эллинам таким же пестуном во Христа, каким евреям был закон (*Гал. 3:24*). Некоторые прельщенные прелестями служанок пренебрегают их госпожою. философией, одни состарились на музыке, другие на геометрии, третьи на грамматике, большинство на риторике. Но как подготовительные (энциклопедические) науки приводят к философии, своей госпоже, так и философия содействует приобретению мудрости. Ибо философия есть упражнение в мудрости, мудрость же знание вещей божественных и людских, а также их причин (*Stromata, lib. I, cap. 5*). Кажется, подготовительные эллинские науки вместе

с самой философией пришли к людям от Бога. Философией я называю не стоическую, не платоновскую или эпикурейскую, не аристотелевскую, а что хорошо сказано каждою из этих школ, что учит справедливости и благочестивому знанию, все это избранное учение я называю философией (*Stromata*, lib. I, cap. 7).

Климент Александрийский ставил очень высоко Платона, он посвятил особую главу доказательству, что этот философ считал высшим благом уподобление Богу и что он в этом сходился со Священным Писанием. Климент называет Платона аттическим Моисеем (*Stromata*, lib. II, cap. 22) и, приводя одно место из «Критона», говорит, что сказал это любитель истины Платон, как будто вдохновленный Богом (ὁ φιλαλήθης Πλάτων οἷον θεοφοροῦμενος; *Stromata* lib. I, cap. 7).²¹⁵

Иоанн Дамаский в сочинении о ересьях под ересью эллинизма разумеет преимущественно идолопоклонство и те философские учения, которые противоречат христианским догмам. У него нет осуждения всякой языческой философии, напротив, он говорит, что у древних философов существовало благочестие (λογικὸν εὐσεβείας χαρακτήρ ὑπῆρχεν ἄρα), и, кроме того, сам занимался философией и написал известную диалектику (*De Haeresibus liber*. *Migne. Patrol. gr.* T. 94. P. 680 сл.).

Максим Исповедник в своих *Κεφάλαια θεολογικῆ* считал возможным наравне с выдержками из Священного Писания приводить в доказательство своей мысли соответствующие места из Платона, Аристотеля и других языческих писателей.

Из сказанного видно, что взгляд Пселла на языческую философию совпадает со взглядом Климента Александрийского и Максима Исповедника; когда Ксифилин видел опасность в занятиях Платоном, он смотрел на науку с более узкой точки зрения, чем Отцы церкви.

Чтобы понять, какое значение могли иметь для Пселла укоры Ксифилина, необходимо определить, когда было написано приведенное письмо: до избрания Ксифилина в патриархи или после. Обыкновенно полагают, что письмо писано в патриаршество Ксифилина и что патриарх угрожал отлучить Пселла от Церкви. Но из

²¹⁵ *Migne. Patrol. gr.* T. 8. P. 709, 717, 721, 1079, 737; Ср.: *Nirschl. Lehrbuch der Patrologie und Patristik.* Bd. I. S. 216.

содержания письма видно, что оно писано тогда, когда Ксифилин не был еще патриархом. Прежде всего, обращения не те, которые употреблялись в письмах к патриархам. Когда Пселл пишет патриархам, он называет их «владыко», «богочтимый, богоподобнейший» или «великий владыко». В письмах к антиохийскому патриарху он пишет: θεοτίμητε δέσποτά μου (Ps. V, 275 и 461) и θεοσιδέστατε δέσποτά μου (Ps. V, 292). В письмах к Михаилу Кируларию: θεοτίμητε δέσποτα (Ps. V, 412) или σοὶ τῷ μεγάλῳ δεσπότη (Ps. V, 290). В письме к Лихуду: τῷ ἁγίῳ καὶ σεβασμίῳ δεσπότη μου (Ps. V, 299). Даже архиереев и митрополитов он величает «честнейший владыко»; например, δέσποτά μου τιμώτατε в письмах к митрополиту Евхаитскому (Ps. V, 314) и к одному архиерею (Ps. V, 383). Между тем, назвав Ксифилина в начале письма «священнейшим и мудрейшим», как он называл простых смертных, он дальше пишет несколько раз или просто «брат» (ἀδελφέ), или «любезнейший брат» (φίλιπτε ἀδελφέ) и ни разу не называет его владыкой. Уже этого одного обстоятельства было бы достаточно для доказательства, что разбираемое письмо писано, когда Ксифилин не был еще патриархом. Это подтверждается намеками, имеющимися в письме. Пселл называет себя городским, а Ксифилина горным жителем (Ps. V, 447—448: ἐγὼ μὲν ὁ ἀστικός... δὲ ὁ ὄρειφίτης), советует ему сойти с горы в долину (Ps. V, 446). Это намеки на то, что Ксифилин до избрания в патриархи проживал на малоазиатском Олимпе. Самое заглавие не только не противоречит такому выводу, но даже подкрепляет его; очевидно, оно написано не Пселлом, потому что он не написал бы Ксифилину монаху, бывшему патриархом (и переставшему им быть); γευόμενος имеет значение «бывший и переставший им быть», что в данном случае могло быть сказано только после смерти Ксифилина. По всей вероятности, на подлинном письме стояло только τῷ μουσῳφῳ Ἰωάννῃ τῷ Ἐπιλίῳ, а переписчик вставил от себя τῷ γευόμενῳ πατριάρχῃ. Следовательно, пререкание между Пселлом и Ксифилином случилось тогда, когда последний еще не был патриархом, а первый был уже монахом, т. е. после смерти Константина Мономаха.

Далее из разбираемого письма не видно, чтобы Ксифилин считал поступки Пселла такими, что они могут повлечь к извержению из христианской плерымы. В устах константинопольского патриарха подобная фраза была бы равносильна угрозе отлучить Пселла от Церкви. Из разобранных писем можно сделать только то заключение, что Ксифилин не одобрял занятия Платоном и позднейшими

философами и говорил, что, следуя Платону, Пселл уклоняется от истинного учения Христа (Ρα. IV, 451: εἰ καὶ μετὰ τοῦ Πλάτωνος ἡμῶς ἠριθμηκᾶς ἀλοοτήσας Χριστοῦ). Если принять во внимание, что говорит это не патриарх, а монах, то дело сводится к дружескому увещанию, к совету, а не к угрозе отлучить от Церкви. Понятно, что Пселл написал письмо в свою защиту, он не мог не обращать внимания на слова своего просвещенного друга и, как мы видели, ответил, что не настолько увлекается Платоном, как думает Ксифилин, и все-таки ставит Священное Писание выше языческой философии.

Хотя Пселл занимался в школе изучением языческой философии, он не давал никакого повода к обвинению в ереси, тщательно обходил сомнительные пункты и настаивал на том, что положения древней философии могут быть принимаемы только тогда, когда они не противоречат православным догматам. В Лекции о сущности он два раза останавливается на вопросе об эллинской философии и говорит, что не во всем она противоречит христианству и потому может подкреплять наши догматы. Как мы видели, он указывал своим слушателям, что нельзя признавать несотворенность материи и метempsихоз душ. Это были как раз те опасные положения платоновской философии, на неверность которых указывал Иоанн Дамаскин и за которые впоследствии был отлучен от Церкви ученик Пселла Иоанн Итал.

Пселла обыкновенно называют восстановителем платонизма, говорят, что он проповедовал с кафедры преимущества Платона пред Аристотелем, Платона ставил на одном уровне с Григорием Богословом, на Аристотеля смотрел как на философа туманного, чуждого фантазии, не дающего пищи высшим порывам души. Это справедливо только отчасти. Из сочинений Пселла видно, что он был знаком с Платоном, несомненно читал его «Федона», «Федра», «Критона» и «Тимей»; в мемуарах, речах и письмах он нередко применяет по тому или другому случаю платоновские теории. Правда, что он назвал раз платоновскую философию всей философией (τὸ μὴ εἶναι ὁμολεῖν βιβλίῳ Πλατωνικῷ, λέγω δὲ οὕτω φιλοσοφίαν ζῶντων), но в речи к ученикам он ставит Гермеса Трисмегиста выше Платона. Неодобрение Аристотеля он выразил только в одной фразе, извлеченной Сафою из неизданного сочинения. В то же время Пселл был совершенно прав, когда писал Ксифилину, что занимается не только Платоном, но и Аристотелем. Действительно, он написал комментарий к категориям Аристотеля и другой к его книге «Об

истолковании». ²¹⁶ Когда друнгарий вилы Константин Ксифилин обратился к Пселлу с просьбой, чтобы он истолковал аристотелевский «Органон», он отказался от этой работы не потому, что не стоило трудиться над Аристотелем, а потому, что он находил эту задачу очень трудной. Он сравнивал ее с подвигами, которые Еврисфей заставил совершить Геркулеса, и говорил, что легче было очистить Авгиевы конюшни от навоза, чем переделать священный запах философского мира (τὴν τοῦ φιλοσοφίας μύρον ἱερὰν ὀσμήν). Он соглашался помочь Ксифилину, если тот возьмется за эту трудную задачу (Ps. V, 499–502).

Из двух лекций Пселла не видно, чтобы он в школе преимущественно занимался Платоном. Напротив, в первой лекции (О родах философских учений) одинаковое место отведено Платону и Аристотелю. Вторая же лекция посвящена одной из аристотелевских категорий, и хотя Пселл черпает доказательства преимущественно из неоплатоников, видно, что он считал нужным заниматься с учениками и Аристотелем.

Мы слишком мало знаем византийскую науку, чтобы утверждать, будто в XI веке Платон был совершенно забыт и был, так сказать, воскрешен Пселлом. Правда, что в Византии были такие видные ученые, как патриарх Фотий, которые недолюбливали Платона и отдавали предпочтение Аристотелю. Из этого, однако, не следует, чтобы не существовало противоположного течения. Платоном занимались непрерывно во все существование Византийской империи, его сочинения постоянно переписывались, в чем легко убедиться из каталогов греческих рукописей. Если бы это было иначе, откуда же достал бы Пселл диалоги знаменитого философа? Кто-нибудь обратил же его внимание на Платона, иначе ему никогда не пришлось бы в голову читать всеми забытого «Тимея» или «Федона». Г. Скабланович справедливо указывает на то, что учитель Пселла Иоанн Мавропод был приверженцем Платона, которого называл и по учению, и по делам близким к законам Христа (Христианское чтение. 1884. Ч. I. С. 349). Следовательно, Пселл даже в XI веке не был первым поклонником Платона.

Вот все, что можно сказать о содержании лекций Пселла на основании имеющегося у нас материала. Из речей к ученикам,

²¹⁶ Эти комментарии не изданы, а комментарий Пселла на аристотелевскую книгу «Об истолковании», напечатанный Альдом вместе с Аммонием, я считаю не принадлежащим Пселлу.

напечатанных Буассонадом, узнаем кое-что о его отношениях к учащейся молодежи. Привожу эти речи в переводе.

*Речь к ученикам, не пришедшим в школу
по случаю дождя*

Разве вы едите только летом, а зимой воздерживаетесь от пищи? А для души наука служит пищею, от которой не следует воздерживаться или пользоваться ею, смотря по атмосферическим изменениям. Если вы желаете ставить учение в зависимость от внешних причин, вы никогда не достигнете мудрости, ибо всякое состояние погоды имеет в себе что-нибудь дурное. Холод сгущает тела, тепло их расслабляет и отнимает силу, сухость порождает изнурение, сырость вызывает мокроту в излишнем количестве; проистекающие отсюда состояния видоизменяют нас. Пугают громы, страшат молнии, а еще больше землетрясения; видя побочные солнца или радуги, мы считаем, что видим поразительные творения. Если вы из-за дождя отказываетесь заниматься наукою, вы, может быть, будете уклоняться от учения и из-за молний или падающих звезд или из-за каких-нибудь других значительных или ничтожных физических явлений? Не бывает времени, когда бы во вселенной не происходило подобных явлений. Из всего этого окажется, что вы не будете знать никакой философии.

Но не так поступают земледельцы или сражающиеся за отечество и ремесленники. Пробующий золото (*χρυσούφιμον*) вынужден во всякую погоду тереть золото о пробирный камень, и точно так же во всякое время золотых дел мастер очищает огнем вещество и отделяет его от посторонних примесей; вообще всякий ремесленник работает над своим материалом, не сообразуясь с погодой, исключая те случаи, когда сообразоваться с погодой есть дело его ремесла, как, например, делает земледелец. Ибо в такое-то время он сеет, в такое-то сажает отростки, теперь рубит лес, в другой раз подрезает деревья.

Но не из соревнования с земледельцем вы манкируете, а потому что легкомысленно относитесь к высшему знанию, поэтому вы пользуетесь всяким предлогом, чтобы лишиться себя этого знания. Вы настолько же интересуетесь наукою, как каким-нибудь происшествием на площади.

Прежние философы не довольствовались школами в своем отечестве. Они отправлялись из Азии в Европу, европейцы же переезжали на другой материк, поступая как мореплаватели, один товар привозящие с собой к тем, к кому приезжают, другой нагружающие на свой корабль и с собою увозящие; их не удерживали ни волны морские, ни буйные ветры, ни высокие горы, ни труднодоступные вершины холмов; но всюду неслись они, как ветер, не встречая препятствий. Так как различные виды музыки (разумей: наук) распределены по разным частям вселенной, они в одном месте посвящались в таинства риторики, в другом учились геометрии; желая научиться философии, отправлялись в Египет, собираясь заняться астрономией, доискивались земли Халдейской; чужая земля представлялась ценнее своего отечества, своим и чужим они считали силу науки или ее бессилие. Они уходили из отечества не только ради науки, но также чтобы увидеть таинственные явления природы в Сицилии или Египте: в Сицилии, где огонь поднимается вверх из-под земли, в Египте, где Нил выступает из берегов и заливет всю страну. Они меньше интересовались обыкновенными зрелищами и науками, больше стремились к необыкновенному и таинственному; поэтому лучшие из них, не заботясь о доказательствах, всячески старались сделаться самовидцами подлинных явлений.

Те, исходя из самых отдаленных мест, старались достичь пупа земли, вам же самый центр Византии представляется таким воздушным пространством, куда невозможно подняться. Поэтому вам мешает холод, набежавшая туча и слишком горячий луч солнца. Почему же вы не выставляете предлогом вашего манкирования камни, которые у вас под ногами, приезжающие верхом — пешеходов, а пешеходы — верховых? Ведь вы мешаете друг другу, неудобно идти вместе с конными и ехать верхом среди пешеходов. Удивляюсь, как это летающие над вашими головами воробьи не мешают вам и не отвлекают вас от учения, особенно же кузнечики, в полдень оглашающие воздух и пленяющие всякое ухо.

И какого дождя вы испугались? Когда начало лета, блеск светила уничтожает унылую атмосферу, нигде нет скопления облаков, в тот же час облачное небо становится безоблачным, и нам особенно приятен дождь после долгого бездождия. Если бы вы стояли вооруженные, разве перемена погоды сняла бы с вас оружие? «Но это менее опасно, — скажет кто-нибудь, — ибо тут нет войны». Войны, конечно, нет, о друг, но зато — совершенствование и возвышение

души и приведение ее к высшему благу. Я полагал бы, что вам следовало бы приходиться к нам, даже проходя чрез огонь, но от меня не ускользает, что вы мало заботитесь о моих лекциях. А причиною этому то, что я готов отвечать на всякие ваши вопросы, открыл вам ворота всякого искусства, всякой науки, — доступность учения для вас достаточна, чтобы его презирать. Если же я запру двери приходящим или не стану отвечать на вопросы, тогда наука сделается для вас желанной. Но я никак не стану подражать вашему образу мыслей и не буду сообразовываться с вашим рвением и нерадением, поток моей речи будет течь все одинаково и в изобилии; те же из вас, которые не черпают теперь, будут вечно жаждать, потому что, может быть, будет недостаток в воде (Boiss. P. 135—139).

К ученикам, редко приходящим в школу

Вы, занимающиеся философией, и вы, направляющие свой язык на путь риторики, не делаете ничего нового, но следуете обычаям, издавна у вас установившимся; когда же, следуя этим обычаям, вы окажетесь такими, какими они обыкновенно делали людей? А я, глупый, думал внести к вам кое-что новое и изменил кое-что из установившегося обычая отчасти речениями, пленяющими слушателей, отчасти рассуждениями, возвышающими ваш ум и приводящими его к божественной красоте. Но оказывается, что вы не желаете и не любите ни того, ни другого; риторику и философию вы считаете как бы ворованною вещью, подобающей другим и которую вы хотите себе присвоить, почему вас можно было бы обвинить в святотатстве за то, что вы, как воры, унесли безо всякого стыда достоинство божественных мужей. В некоторых отношениях вы поступаете хуже святотатцев, потому что те тайно пользуются похищенными вещами, вы же бесстыдным образом делаете это явно. Хотя вы и таковы, я пекся о вас и ласкал вас, то называя вас детьми, то братьями, то каким-нибудь другим именем, выражающим родство, думая, что ласкою таких слов вызову в вас взаимность. Но я и раньше замечал, что ваши образы изображены другими красками, чем мой; однако я делал вид, что не знаю этого, чтобы не быть вынужденным сказать, что не умею сделать вас лучше. Но что же из этого следует? Я все-таки буду оставаться все тем же, от кого вам не будет никакой пользы, и, сохраняя свой характер, буду исправ-

дать разнообразные обязанности учителя, который разными способами старается вернуть учеников на правый путь.

Вас не прельщает нежная гармония, и вы оказываетесь безрасуднее дельфина в известном рассказе, ибо он Ариона Мифимского, певшего какую-то сладкую песнь, посадил к себе на спину и привез к гавани чрез большое море. Вы же меня (нужно ли говорить каков я? я краснею от такого сравнения) не принимаете, когда я хочу сесть на вас, и далеко до того, чтобы вы провели меня по волнующемуся морю и привели к пристани. Так как вы такие, не прямые и кривые, не делаете свои души прямыми, как отвес, не направляете своего слова к высшему слову, почему и мне тоже не уклониться в сторону? Ибо я не лучше первого и несмешанного естества, уклоняющегося от уклоняющихся в сторону и вновь выпрямляющегося для выпрямляющихся.

О, скверные дети и ложно называющиеся философами, даже не умеющие замаскироваться философами, до каких же пор я буду выносить вас, до каких пор буду с вами? До каких пор я не буду приносить вместо речи плетку, вместо ласки удары, вместо кротости грубость? Ибо если вас нельзя обуздать словами, не следовало ли бы и мне стянуть несколько узду? Так как вы, точно тугоуздые мони при каждом прикосновении узды оттягиваете руку и не хотите слушаться ни тогда, когда вас кротко и ласково глядят, ни когда укрощают, причиняя вам боль, почему мне не сказать о вас слов отчаяния, что никогда вы не будете иметь триумфа победителя, во время войны не направите своих ушей к призывной трубе, и если бы кто захотел воспользоваться вами в качестве бегуна, вы не в состоянии будете исполнить этой службы. До такой степени вы ленивы, нерадивы и готовы ничего не делать, только бы вам не обременять колен толстыми книгами.

Или вы, может быть, думаете, что обманываете меня своим недолго продолжающимся притворством и неуместными вопросами, которыми не вовремя забрасываете меня, как будто вы в самом деле обдумываете вопросы и готовитесь к ним? Я отлично знаю ваш характер, вашу лень учиться, ваше большое нерадение; только при входе в гимназию появляется у вас исступление относительно вопросов, а как только вы уйдете из школы, вам уже нет никакого дела до науки. Некоторые из вас плачутся, что жизнь их неудачна, и больше говорят об этом, чем о науках. Одни из вас занимаются театром или находятся в обществе занимающихся театром, другие из вас

отдаются сцене; одни восхищаются людьми, выдающимися своим богатством, другие страстно желают и стремятся иметь на руках кольца. А долг по отношению к наукам вы отдаете так, как будто бы это был необходимый долг, который требуют с должника даже против его желания уплатить. Когда вам нужно идти в какое-нибудь другое место, с какою быстротою двигаются ваши ноги, как вы тогда толкаете друг друга, чтобы поскорее поспеть, и часто повторяете: «Медленно появляется солнце из-под земли, и да не застанет нас рассвет в постели». Вы стыдитесь тогда восхода солнца, как скифы, что не успели еще принести жертвы, когда же вы собираетесь идти в храм муз (εἰς τὰ μουσεῖα), вы точно только что съели голову полипа (считавшегося неудобоваримым), так вы отягчены, и мыслительная способность у вас омрачена; веки лежат на глазах, точно они сделаны из свинца, так что их можно открыть только с большим усилием. Солнце поднялось над горизонтом всего на 16 стадий, вы же, как будто вас клонит ко сну, прикикли головою к ложу; я же быстро иду к вам, как к людям, пробудившимся для борьбы и ее ожидающим.

Думаете ли вы, что я при таких обстоятельствах буду сообщать вам что-нибудь полезное или кротко относиться к вам? Ведь это (т. е. преподавание науки) нечто другое, чем плавать по морю, когда я должен радеть о вас, несмотря на ваше нерадение, и выносить ваше малодушие. Поэтому я настрою свой язык на иной лад и, бросив нежную гармонию, выберу сильный тон в надежде, что вы от этого направите свои души на прямую дорогу. Ибо это единственный остающийся способ воспитания, так как я отказался от остальных. Если же вы и при таком способе не изменитесь, окажется, что я напрасно с вами говорил, напрасно вспахивал вас и засеивал семенами, так как не дадите вы колоса, а произведете только большое горе (Boiss. P. 140–144).

*К манкирующим ученикам*²¹⁷

Моя речь обращена к вам, манкирующим, которых не знаю, как бы тронуть своим словом; ибо как же мне не почтить словом тех,

²¹⁷ Ватиканский список 672 (fol. 166–167) исправнее Парижского, по которому эта речь напечатана Буассонадом. В Ватиканском кодексе речь озаглавлена: πρὸς τοὺς μαθητὰς ἀλογισθέντας τῆς ἐπιτηρείας τοῦ περὶ ἐπιτηρείας. В скобках привожу некоторые разночтения из этого кодекса.

кого я родил с умственными родовыми муками? Но так как и родители по естеству не переносят оскорблений от детей, и Создатель даш не допускает, чтобы сошедшие с прямого пути неслись в бездну, но, стягивая узду воспитания, неповинующегося направляет на прямую дорогу (V. πρὸς τὴν ὀρθὴν οἴμον ἀλευθύνει τὸν ἀφηνιάζοντα, Βοῖς. πρὸς τὴν ὀρθὴν οἴμα ἀλευθύνει), я, имея перед собою такие примеры, буду поступать точно так же. Какая же причина вашего редкого посещения школы, говорю редкого, чтобы не сказать, к своему огорчению, вашего полного отсутствия? Если бы гимназия не улучшала вашей мыслительной способности или если бы я не прельщал душу своими разнообразными уроками, ваше неаккуратное посещение имело бы основание. Но так как преподаваемые мною науки таковы, что одна из них поднимает душу к небу, другая же изощряет язык в риторическом искусстве, и так как я удачно излагаю обе науки, как вы сами часто говорили обо мне, вас будут обвинять за ваш глубокий сон. Имея возможность напиваться ежедневно нектаром и оставаться при этом трезвыми и бодрыми, вы напиваетесь из мутного источника так сильно, что даже не знаете, когда нужно идти в школу. Или думаете вы, я настолько безумен, что за ваше нерадение буду отплачивать старательным обучением, с идущими вкось также не пойду вкось, в то время, как вы не подвигаетесь к прекрасному, я перестану двигаться вкось? Ради чего я отправляюсь в гимназию очень рано утром, задолго приготовившись к этому умственному состязанию? Разве я прихожу к вам за каким-нибудь товаром? За каким же это? Ведь это не золото, но то, что обыкновенно дает душа. Я не нуждаюсь в том, чтобы мысленно родить вас, мне достаточно для научного рождения роды Платона и Аристотеля, которыми я рождаюсь и образуюсь.

Вы видите, как моя речь со всех сторон доказала ваше неразумие, и ваша мешкотность не имеет основания.

Но вас может ввести в заблуждение евангельская притча, что пришедшие пред последним часом получили ту же плату, как работавшие с первого часа. Однако там, о други (объясню вам скрытый смысл притчи), различные времена уверовавших уподоблены одному дню, как это принято в Писании, и тот же самый труд понес пришедший в одиннадцатый час, как и пришедший раньше всех. Тут пришедшие в пятый и двенадцатый час приняли самую малую часть трудового дня, и работа, которую следовало совершить в течение целого дня, была уменьшена им сообразно с тем, что мог

сделать пришедший в двенадцатый час. Но я не такой мздовозда-
тель, который имел бы такое большое богатство речи, что его хватило
бы поровну на всех (Vat. codex. ὡς τὸν αὐτὸν ἐπίσης ἐξαρκεῖν ἅπασιν).
Я этим оказал бы несправедливость по отношению к тем, которые при-
ходят в гимназию с большим рвением, а не с нерадением, как вы.

Следовало бы мне теперь внести разделение и отделить козлищ
от овец, одних ввести туда, где им приятно, других отослать; но
так как божественна преподаваемая вам наука, следует всем упо-
добляться божественному. Какой же пример дается там? Бог не
тотчас натягивает лук и пускает стрелу, не тотчас обнажает меч
и ударяет (Vat. codex. κτείνει; Boiss. τέμνει), не тотчас возжигает угли
и сожигает, но Он удерживает приготовленную стрелу, готовит, но
не наносит удара, возжигает угли, но ставит их вдали от тех, кого
хочет сжечь (Vat. codex. οὐκ ἐπιφέρει δὲ τὴν πληγὴν καὶ τοὺς ἀνθρώκας
ἀνάγει μὲν, λορρώτατα δὲ τῶν καλομένων τίθησιν). Когда же взываемые
не обуздываются даже угрозами, тогда пускается стрела, секира
срубает дерево с корнем, и угли, до тех пор только собиравшиеся
загореться, становятся печью вавилонскою.

Пусть будет вам моя речь приготовленным луком, обнаженным
мечом, возженным огнем; мы пустим стрелу, поразим вас мечом,
когда вы надменно отнесетесь и к натянутому луку, и к обнажен-
ному мечу, и к приготовленному огню (Vat. codex. καὶ πρὸς τὴν βολὴν
καὶ πρὸς τὴν ἀνάστασιν καὶ πρὸς τὴν ἔξαψιν).

К нерадивым ученикам

Платон, Пифагор, Аристотель и Феофраст, стоявшие во главе
философии, гневались на относившихся нерадиво к наукам и не
открывали им в изобилии источник науки, но, предлагая ученикам
некоторые начала и семена, затем требовали, чтобы им возвращено
было в несколько раз больше того, что они отдали, и большинство
слушателей, получив незначительное учение, превосходили учителей.
Вы же не отдаете мне даже самой малой части того, что я вам даю.

Я пренебрегаю всем остальным, забочусь только о вас и занима-
юсь только вами. Поэтому, просидев до поздней ночи, я вновь по
своему обыкновению занимаюсь книгами, как только взойдет солн-
це, не для того, чтобы самому научиться чему-нибудь, но чтобы
собрать нужные вам сведения. К чему мне мифы или звуки? Но ради

вас снисхожу я к этому и, гармонически соединяя эти низменные предметы с более высокими, приношу вам философский напиток. Вы же как будто тоже провели бессонную ночь в занятиях и, подпирая щеку рукою, подталкиваете друг друга задавать мне вопросы, и один из вас говорит, что ему случайно взбредет на ум, другой же похож на размышляющего об изображениях Анаксагора.

Платон, представляя речь Сократа о душе, сказанную в темнице, перечисляет пришедших, Критона и Аполлодора, Евклида из Мегары и Кевиса. Они вели речь о бессмертии души. Симмий и афинянин Кевис задавали вопросы не случайно и внезапно, как вы, но с давних пор к ним подготовившись. «Боюсь, о Сократ, — сказал первый, — не есть ли душа — гармония тела, и затем, когда разрушено тело, не исчезает ли гармония, как это происходит с лирой и струнами». После того как Сократ сказал кое-что другое, а также то, что гармония является позже лиры, душа же, по их признанию, была раньше тела, второй (Кевис) возразил: «Боюсь, Сократ, что душа, переменяв много тел, как ткач, сделавший много хитонов, погибает вместе с последним телом».²¹⁸ Тут философ представил большое исследование о природе и затем, направляясь к исследуемому предмету, отлично разрешил недоумение учеников. Вы же поступаете совсем не так и нисколько не интересуетесь наукой. «К чему мне знать причины землетрясения?» — говорит один. «Какой толк от того, что я узнаю, почему морская вода соленая, — говорит другой, — и какую я могу извлечь из этого практическую пользу?»²¹⁹ (*Voiss.* P. 148–150).

Из приведенных речей Пселла видно, что у него были ленивые ученики, не интересовавшиеся наукой и пользовавшиеся всяким предлогом не ходить в школу. Пселл убеждал их исправиться и даже грозил, что примет более суровые меры, но какие именно, он не говорит, так что остается неизвестным, мог ли он подвергать учеников каким-нибудь дисциплинарным взысканиям.

Из одной речи, напечатанной Буассонадом, узнаем, что ученики бранились между собою, писали друг на друга памфлеты и позволяли себе не только разные насмешки, но даже обвинения в ереси.

²¹⁸ Пселл неточно передает слова Симмия и Кевиса из диалога «Федон» (*Phaedon* 85 E–86 B).

²¹⁹ Конец этой речи приведен мною выше.

Пселл просит их не ссориться, но дружно заниматься наукою, советует не обижаться на шутки и уговаривает никоим образом не позволять себе намеков на отступление от православия, так как они все исповедуют ту же веру (Εἰς δύο τινάς τῶν μαθητῶν αὐτοῦ λογογραφῆσαντας πρὸς ἀλλήλους. *Voiss.* P. 131–135).²²⁰

Если у Пселла были ленивые ученики, то были и прилежные. Мы знаем, что один из его учеников представил ему однажды учебное сочинение. Хотя Пселл раскритиковал это сочинение, тем не менее написал автору, что считает его своим лучшим учеником (*Ps.* V, 255).

Самым даровитым учеником Пселла был известный Иоани Итал, занявший впоследствии место учителя. Он находил, что Пселл двигается вперед слишком медленно, и просил его приступить поскорее к математическим наукам. На это Пселл возразил Италу, что рвение его, конечно, похвально, но его нужно выказывать не только на словах — говорить легко, — но на деле. Далее Пселл указывает на то, что математика (арифметика, геометрия, музыка) — трудная наука, и раньше чем приступить к ней, надо иметь известные предварительные сведения. Математическая наука представляет лестницу, по ступеням которой восходят к познанию неведущих сущностей. Когда поднимаешься по лестнице на какую-нибудь вершину, нужно последовательно переходить со ступени на ступень, иначе ноги перепутаются, можно упасть и никогда не достигнешь цели. Точно так же в учении нужна известная постепенность, не надо торопиться, но последовательно переходить от одного предмета к другому (*Voiss.* P. 164–169).

Мы видели, что Пселл преподавал в школе всевозможные науки: математику, риторику, естественные науки, право, литературу, философию. Это одно исключает предположение, будто в Константинополе существовала академия вроде наших университетов и будто Пселл был преподавателем на одном из факультетов. Что же тогда преподавалось на остальных факультетах?

Заметим прежде всего, что термин «академия» (в смысле учебного заведения) не встречается ни у Пселла, ни в других источниках. До нас дошла новелла об учреждении в царствование Константина

²²⁰ Во Флорентийском сборнике сочинений Пселла заглавие этой речи: τοῦ αὐτοῦ Ψελλοῦ λόγος εἰς τοὺς μαθητὰς αὐτοῦ γράφοντας κατ' ἀλλήλων ἄτακτα καὶ ἀσύντακτα καὶ λαϊκῶδη.

Мономаха юридической школы. В этом официальном документе школа называется *διδασκαλείον νόμων*, а учителю, которому назначен был Иоанн Ксифилин, дано было название номофилакса (*νομοφύλαξ δὲ κληθήσεται ὁ διδάσκαλος*). Если бы эта школа была только факультетом, то была бы указана связь его с другими факультетами, но ничего подобного нет в подробной новелле. Напротив, юридическая школа представляла совершенно самостоятельное учебное заведение с учителем, никому не подчиненным. В упомянутой новелле есть даже указание, что отдельные школы не имели между собою ничего общего. В то время как для других наук, говорится там, и даже для некоторых ремесел есть школы, помещающиеся в отдельных зданиях и имеющие своих учителей, нет школы, где бы можно было изучать право. Из этого ясно, что каждая школа имела свое помещение, и если Ксифилин преподавал в монастыре Св. Георгия, то Пселл учил в каком-нибудь другом месте, но где, не знаем.

В речах к ученикам Пселл называет свою школу, как в новелле Мономаха, *διδασκαλείον* и *παιδευτήριον* или же архаически гимназией. Те же выражения употребляет он в панегирике Ксифилину, где говорит, что были в Константинополе школы притики, риторики, философии, но не было юридической (Ps. IV, 433). Из этого места не видно, чтобы в Византии существовала академия; если здесь говорится о кафедрах, этот термин не может быть понят в современном смысле, кафедра и здесь синоним школы.

Была ли школа, где преподавал Пселл, казенной или частной? Ответить на этот вопрос определенно нет возможности. Но первое представляется вероятнее, потому что Пселл сказывался ипштом философов, что соответствует номофилаксу казенной юридической школы. Номофилакс, как нам положительно известно из официального документа, получал казенное содержание, так называемую ругу в четыре литры. Получал ли жалованье Пселл в качестве учителя философии? Мы не имеем достаточно данных, чтобы прямо ответить на это вопрос. Некоторые смутные указания приводят, на первый взгляд, к убеждению, что Пселл не получал вознаграждения за уроки. В своих мемуарах он говорит, что охотно передавал другим свои знания и не требовал за это мзды (Ps. IV, 123). Одного учителя философии, содержавшего, вероятно, частную школу, Пселл называл торгашом за то, что он брал деньги с учеников (Ps. V, 502). Но это, по всей вероятности, только приписка к конкурировавшему с ним ученому.

Из одного места византийского свода законов видно, что учителя получали вознаграждение, и преподаватели риторики, грамматики, геометрии, медицины могли требовать неотданной платы судом, предъявляя иск к магистрату, решавшему дело *extra ordinem*;²²¹ не позволено было делать это только истолкователям законов (т. е. преподавателям права) и философам, потому что философия — дело священное и философы должны презирать деньги, а также потому, что есть вещи, которые даются честным образом, но требовать которые бесчестно (*Basilic. I. LIV, tit. 14*).

О способе преподавания мы почти ничего не знаем, из речей Пселла к ученикам видно, что он готовился к лекциям и что лекции записывались учениками. Если судить по объему известных нам лекций, можно догадываться, что Пселл не говорил, а диктовал. Трудно думать, чтобы существовала определенная программа, исполнявшаяся преподавателем. Пселл очень часто читал лекции о предметах, почему-либо особенно интересовавших его слушателей, отвечал на предлагавшиеся ему вопросы.

Вот все, что мне известно о философской школе и преподавательской деятельности Пселла.

Всего мудренее ответить на вопрос, насколько была полезна преподавательская деятельность Пселла? Он был, несомненно, очень образованный и знающий человек и мог передать слушателям множество разнообразных сведений. Но умел ли он учить, умел ли вселить в учеников принципы нравственности, сказать невозможно. Во всяком случае, безусловно, вредным нужно признать его занятия риторикой. Он старался научить юношество доказывать что угодно, черное представлять белым, истину — ложью. Его собственный пример также не мог действовать благотворно на учеников, потому что Пселл был человеком без всяких убеждений, без всяких принципов.

²²¹ Процесс *extra ordinem* — это процесс без назначения *judicium*, следовательно, без *litis contestatio* и без приговора в техническом смысле слова. Процесс *extra ordinem* служит свободной власти магистрата и по форме обозначает процесс, производимый административным путем, в противоположность обыкновенному процессу, производимому путем юридическим.



Глава шестая

Характеристика Михаила Пселла

Мы проследили, насколько это позволяют источники, государственную деятельность Михаила Пселла, мы видели, что она сказалась, главным образом, в двух крупных фактах: Пселл содействовал возведению на престол Константина Дуки, благодаря его влиянию был низложен Роман Диоген и провозглашен царем Михаил Дука. В обоих случаях цель была одна — поддержать династию Дук, не дать царствовать Комнинам и Диогенам. Для Пселла старые знакомые Дуки были, конечно, приятнее суровых полководцев Исаака Комнина и Романа Диогена. Но не пострадала ли Византийская империя от интриг Пселла? Мы не станем повторять вслед за византийскими историками (Атталиатом, Скилицей, Зонарой), будто Пселл преподаванием философии и диалектики сделал Михаила VII не способным к управлению, но стоит только прочесть исследование В. Г. Васильевского «Византия и печенеги», чтобы убедиться, до какого грустного состояния довело Восточную империю правление неспособных, малодушных Дук. «Беспощадное и разорительное хозяйничанье логофета Никифора, любимца и всемогущего министра Михаила Дуки, довело наконец до последней крайности ненависть к существующему правительству подданных Михаила VII» (слова В. Г. Васильевского). Наступило несколько лет смуты, борьбы между собой претендентов на престол, окончившейся воцарением Алексея Комнина. Этот император нашел государственную казну

до того разоренной, что ему пришлось продавать священные церковные сосуды. Печенег и половцы, от которых Дуки кое-как откупались, поставили империю в почти безвыходное положение, так что императору приходилось, по его собственным словам, «бегать пред лицом печенегов», звать на помощь западных рыцарей, унижаться пред иностранцами. Дело дошло до того, что «государственная Византия, гордая своими римскими преданиями, своим незапятнанным православием, своим бесконечным превосходством над всем варварским миром, потеряла веру в себя и в высокие заслуги своего православия» (Слова В. Г. Васильевского).

Пселл был знаком с Константином Дукою еще до его воцарения, он хорошо знал его сына и своего воспитанника Михаила, он не мог не видеть их полную неспособность; если он поддерживал Дук из-за личных интересов, если он решился посадить на престол никуда негодных царей, за одно это мы не можем называть его патриотом, как он сам себя величает.

Еще менее можно сказать с Сафой, что Пселл был филэллином в современном смысле слова, что он любил классическую землю, как ее любят современные археологи. Эти необдуманные слова греческого ученого перешли в новейшее сочинение знаменитого Грегоровиуса. Такой взгляд основан на нескольких письмах Пселла. «Не удивляйся, — пишет он в письме неизвестному нам лицу, — что я друг афинян и пелопоннессцев; в отдельности я их люблю по той или иной причине, всех же вообще — ради Перикла, Кимона и древних философов и ораторов, ибо ради отцов надо любить сыновей, даже тогда, когда они не сохраняют отцовского типа. Поэтому я просил тебя и за остальных афинян и теперь прошу за подателя этого письма; кроме того, что у меня есть общая причина любить его, он старинный мой друг» (*Ps. V, 258*). Что же можно вывести из этого письма? Пселл рекомендует афинского уроженца, просит любезно принять своего друга. «Я люблю его за одно то, что он афинянин», — это, очевидно, фраза вроде другой: «Люблю я город Филадельфию, потому что его жители любезно принимали меня в дни моей юности» (*Ps. V, 459*). Подобных фраз в переписке Пселла немало. «Все дома, все деревни, все города, все народы, — пишет он, например, — признают меня своим, и, как Гомера, считают меня своим уроженцем, то Хиос, то Самос, то какая-нибудь другая местность в Европе или Азии» (*Ps. V, 339*). Неужели и эти слова нужно понимать буквально? Мне кажется, что в указанном письме, в котором

по мнению Грегоровиуса, сказалась любовь Пселла к Афинам, выказано скорее пренебрежение к современным ему афиянам: они совсем непохожи на предков, — говорит он, — т. е. на Периклов и Кимонов, знаменитых философов и ораторов.

Пселл пишет одному судье Эллады, просившему о переводе в другую фему: «Надежда твоя не сбылась. Если желанные и воспетые места славной Эллады, откуда произошли борцы при Марафоне, знаменитые Филиппы и Александры, недостаточны для твоего удовольствия, какая другая часть вселенной окажется достаточной, чтобы принять тебя? Разве то, что говорили об Аттике и что древние мудрецы писали о Пирее, разве все это неверно и ложно?» (Ps. V, 261–262). Но тут же он говорит своему корреспонденту: «Ты не получишь лучшей фемы, лучше иметь немного хлеба, чем совсем его не иметь, помни пословицу: “Спарта досталась тебе в удел, ее и украшай (т. е. в ней и живи)”». А пословица эта применялась в печальных случаях жизни, получить Спарту — это значило получить нечто худое. Начало письма звучит скорее с иронией, и вообще из него можно вывести только то, что Элладская фема была бедна и место судьи в этой провинции не было хлебным.

В других письмах Пселл неодобрительно отзывается об Элладе; он говорит об одном протонотарии, что тот назначен в Элладскую фему, и что это равносильно ссылке. «Правитель Афин, — пишет он, — как только увидел прославленную Элладу, подумал, что он находится в Скифии, и оплакивал судьбу, потому что плательщики не хотели вносить податей» (Ps. V, 268). «Будь удобною пристанью этому мужу, плывущему по бурному морю, — пишет он элладскому судье о подчиненном ему сборщике податей, — ибо Аттика уподобляется ненастью или еще чему-то худшему, чем ненастье» (Ps. V, 269).

Где же тут пламенная любовь к классической земле? Когда же он выказывал живую симпатию к Афинам, когда указывал византийцам на великое значение названия «эллин», как утверждает Грегоровиус? Если бы Пселла назвал кто-нибудь эллином, он, несомненно, обиделся бы, потому что эллин противопоставался христианину и означал древнего грека-язычника. Пселл, так же как все византийцы, называл себя римлянином и, желая выразить, что он патриот, говорил «я филоромей», а не филэллин.

Маленький Константин, сын бедных и нетитулованных родителей, сумел пробить себе дорогу; он разбогател, из юноши, искавшего

места и протекции, стал влиятельнейшим сановником, милости которого добивались провинциальные и столичные чиновники. Переписка Пселла указывает на его высокое положение; в числе его корреспондентов находим четырех императоров, двух императриц, трех константинопольских патриархов, одного антиохийского, немало митрополитов и епископов, начальников многих провинций, важных столичных сановников. Нередко обращаются к нему провинциальные чиновники, и он устраивает им места и повышения. Пселл обещает судье Кивиреотской фемы, что он скоро будет переведен в столицу; другому судье он предлагает на выбор лучшую фему или место в Константинополе (*Migne. Patrol. gr. T. 136. P. 1331*). Он выхлопывал высочайшие аудиенции для протезируемых лиц (*Ps. V, 341*), прямо говорил с царем о просьбах и нуждах своих друзей; без него не обходились даже важные иерархи, как епископ Мадитский (*Ps. V, 148*), и лица, почтенные важным чином магистра (*Ps. V, 394, 341, 308*).

Очевидно, Пселл имел большое влияние на назначения, и действительно, он нередко рекомендовал начинающих чиновников. Выбирал ли он достойных молодых людей, это, конечно, вопрос темный. Но курьезно то, что, рекомендуя чиновника, он редко говорил: «Это умный, честный, образованный, молодой человек», а по большей части писал: «Это мой друг», или «Я люблю этого юношу, а потому и ты должен любить его», или «Если ты исполнишь просьбу рекомендуемого лица, он по всему городу будет хвалить тебя», или «Податель этого письма рекомендован мне важным сановником, а потому я рекомендую его тебе». Он просил однажды начальника отпустить подчиненного нотарию в столицу повидаться с матерью. «Впрочем, — пишет он, — если тебе представляется это неудобным, делай как знаешь, но знай, что этот нотариус в письмах ко мне постоянно хвалит тебя и хвастается твоей благосклонностью и симпатией к нему» (*Ps. V, 342*).

Пселл служил при девяти императорах (Михаиле IV, Михаиле V, Константине Мономахе, Феодоре, Михаиле VI, Исааке Комнине, Константине Дуке, Романе Диогене, Михаиле Дуке) и все возвышался в чинах, приобретал все более влиятельное положение. Нужно было обладать особенным искусством, чтобы держаться при самых разнообразных правительственных режимах, чтобы нравиться в одинаковой степени легкомысленному, предачному чувственным наслаждениям Мономаху, противнику духовенства, суровому солдату

сомнину и защитнику монахов набожному Дуке. Нужно было угождать всем, и Пселл обладал в высшей степени талантом угождать. Талант этот заключался в умении льстить и одинаково убедительно говорить противоположное, сегодня утверждать, завтра отрицать собственное утверждение. Он преклонялся пред всяким венценосцем, кто бы он ни был, какова бы ни была его нравственность; хвалил поступки, за которые надо было краснеть, он восхвалял малодушие и трусость, он превозносил до небес царей, разорявших народ, несправедливых и развратных. Монарха Пселл считал богом только за то, что он монарх и облечен в порфиру; не было имени, не было сравнения достаточно высокого, достаточно избранного, чтобы восхвалить его добродетели. Он сам сознавал, что говорит неправду, но он понимал, что венценосец — это все, что стоит ему сказать слово, и завтра он, Пселл, будет стерт с лица земли. А монах Михаил, отказавшийся от всего земного, дорожил более всего благами земными. Поэтому сегодня он хвалил военный режим, а завтра доказывал, что преобладающим сословием в государстве должно быть гражданское; сегодня он уверял, что не вести войны и откупаться от диких печенегов — это верх благоразумия, а завтра утверждал, что это малодушие и хороший царь должен лично вести войска на неприятеля. Что бы монарх ни приказал сделать, хотя бы самое безнравственное дело, его не надо слушаться, — вот единственный принцип нравственности, которому Пселл следовал всю свою жизнь. По велению царя соглашается он быть прокурором явно невинного лица, смешивает с грязью достойного представителя Церкви, обвиняет патриарха в ереси, в убийстве, в гробокопательстве.

Но недостаточно было льстить царю, можно было лишиться места из-за нерасположения великих мира сего. И вот мы видим, что Пселл вступает в дружбу с царской фавориткой, заискивает у всемогущих временщиков. Временщики падают, но Пселл остается на своем месте; ему нужно только знать, кто займет место павшего, чтобы подольститься к его преемнику. Ласково обращается он с влиятельными лицами, ему дела нет до того, что этот сановник грязной репутации, что тот держится противоположного с ним политического направления, он в силе, следовательно, ему надо поклониться. Читая многие письма Пселла, в которых он с такой изысканной любезностью, с таким изяществом обращается к влиятельным сановникам, можно подумать, что это деликатная, нежная натура.

Ничуть не бывало. Стоило только колесу Фортуны измениться, менялся и Пселл, из утонченно-вежливого придворного становился он грубым, позволяя себе площадные выражения. Как только патриарх Михаил Кируларий впал в немилость, Пселл, раньше называвший его богом и старавшийся добиться его благосклонности, пишет ему самое дерзкое письмо. Мы видели уже, как до цинизма грубо насмехался Пселл над монахом Иаковом, как резко писал монаху Феревию. Понятно, что это были люди незначительные, которые не могли повредить ему. В неожиданном памфлете он осмеивает одного священника, бывшего учителем первоначальной школы (грамматиком) и нотарием, вероятно в патриаршем приказе. «Мой поп, — говорит он, — не умеет даже спеть ирмоса и вовсе не похож на духовное лицо. Грамматиком его можно называть только иронически, как ораторы называют блудницу почетным именем подруги (гетеры), или как эфиопы, имеющие черную кожу, называются серебряными. В молодости он ходил в разные школы, но не с тем, чтобы учиться, а только чтобы мешать другим; поэтому он не умеет писать и не имеет понятия о том, что такое ударение и окончание. Он играет по целым дням в кости и при этом мошенническим образом обманывает игроков, потому что держит у себя фальшивые кости; он изучил все столичные трактиры и, поднеся кубок ко рту, пьет, не переводя дыхания, как животное». Пселл не посовестился обругать родителей священника, уверяя, что его мать была колдуньей, а в конце высказывает ему негуманное пожелание умереть поскорее.

Человек, преследующий свои личные интересы, не может не быть трусом. И действительно, Пселл был трусом физическим и нравственным. Он сам сознается в своей трусости и говорит, что пугался, страшился, боялся лошадей так же, как другие боятся слонов и львов, и может ездить только на самом кротком коне. Когда он находился в лагере Комнина, он без всякого основания провел от страха бессонную ночь, дрожа, что вот-вот придут в его палатку заговорщики и убьют. Он вспоминал, не сказал ли чего лишнего узурпатору Комнину, теперь уже провозглашенному царем, тогда как играл ему на руку и плохо защищал интересы пославшего его царя Михаила. Он боялся говорить правду, он боялся не понравиться, обидеть влиятельного саковника, хотя бы презренного взяточника; не боялся он одного, не боялся своей совести, не боялся нарушать правила нравственности.

Да ему нечего было нарушать, он не признавал нравственных принципов. Честность и соблюдение закона он считал привилегией апостолов и идеальных людей, а так как идеал недостижим, он считал честность для себя недостижимой. Действительно, честность несовместима с крайним корыстолюбием, со стремлением нажиться во что бы то ни стало. Пселл был корыстолюбив: он выпрашивал подарки,²²² он не мог примириться с мыслью, что у него украли незначительную сумму денег. Монах Михаил, давший обет нестяжания, доходил в своем корыстолюбии до того, что желал смерти лицу, мешавшему ему нажиться. Это факт поразительный, но засвидетельствованный самим Пселлом. «Когда же ты доставишь мне желанную весть об Еврипе, — пишет он митрополиту Кизическому. — Когда же ты сообщишь мне, что он умер? До каких же пор будет он жить? Я видел его несколько лет тому назад, он был до такой степени сморщен, что я предсказал ему близкую смерть. К чему же он все еще жив? О, малодушный и забывчивый Харон!» Почему же Пселл ждал с таким нетерпением смерти Еврипа? Потому что этот старец был характеристиком одного монастыря, который после его смерти, согласно обещанию митрополита Кизического, должен был поступить в харистикий к Пселлу.²²³ Неудивительно, что при таком корыстолюбии знаменитый философ брал взятки, не гнушался вступать в компанию с лихоимцами и делить с ними неправильно взысканные, добытые вымогательством, трудовые деньги народа. Он защищал лихоимцев и советовал областным начальникам смотреть сквозь пальцы на взяточничество сборщиков податей. В его переписке сохранилось одно чрезвычайно красноречивое письмо. Привожу его целиком.

«Об этом человеке мы просили тебя, когда ты уходил из столицы, и теперь опять просим помогать ему в сборе податей и относиться к нему благосклонно. Услышав не так давно, что ты поступил с ним сурово, мы не обиделись, но подумали, что ты покарал его за какой-нибудь небольшой проступок. Но теперь стань снисходительнее и не будь с ним жесток. Ибо принимая во внимание бывшие у него расходы, он не может вполне довольствоваться законным

²²² См. напр.: *Рс.* V, 299, 384.

²²³ Из этого письма видно, что в харистикии у Еврипа находился монастырь Артигена, а из письма № 178 к тому же митрополиту Кизическому явствует, что этот монастырь был обещан Пселлу.

сбором, так как сбор, положенный законом, не составил бы даже суммы пошрины (шедшей в пользу сборщика податей). Но ты не позволяй поступать незаконно, глядя на это, а не замечай всего этого, так чтобы тебе глядя не видеть и слыша не слышать. Ибо только так ты можешь в одно и то же время избежать упреков в незаконных действиях и быть снисходительным и милостивым к сборщикам податей».²²⁴

Вот несколько строк, ярко характеризующих развращенное чиновничество. Если сборщик податей заплатил за место, это, по мнению Пселла, достаточное основание, чтобы обирать народ. Он кривит душой, когда говорит, что протезируемый им чиновник законным образом не мог собрать полагавшейся ему пошрины: так называемая пошрина это добавочный сбор в количестве 1/12 с основной подати. Пошрина не представляла абсолютной величины, это был процентный сбор, различный в разных местностях.

Монашеское платье было для Пселла личиною, которой он прикрывался, когда это было удобно. Но вообще он отличался от остальных придворных только наружным видом, не смотрел серьезно на данные им обеты, служил больше Маммоне, чем Богу. Он любил светские удовольствия, и даже в тех случаях, когда присутствие монаха считалось неприличным, он старался найти какой-нибудь обход. Так, например, начальник императорской стражи (другарий вилы) Константин звал его к себе на свадьбу. Он сначала отказывался, говоря, что может прийти только в церковь, но что присутствовать при домашнем торжестве не может, потому что на свадьбах имеют обыкновение играть на гитаре, поют песни, и не всегда пристойные, а потому монахам считается неприличным принимать участие в таких праздниках. Но когда Константин продолжал звать Пселла к себе на свадьбу, он придумал способ, как соблюсти приличие и в то же время повеселиться. «Знаешь ли ты, как соблюсти обычай и в то же время исполнить свое желание? — пишет он Константину. — Когда я приеду к тебе на дом, чтобы поздравить тебя, и захочу уходить, раньше чем начнутся песни и пляска, ты не пускай меня. Я буду делать то, что мне подобает, буду жеманиться

²²⁴ Это одно из тех писем, которые Тафель напечатал как принадлежащие Евстафию Солунскому, но которые на самом деле, по справедливому указанию Сафы, принадлежат Пселлу (*Migne. Patrol. gr. T. 136. P. 1329-1330*).

и краснеть, а ты силою не пускай меня; тогда я услышу песни сирен, и меня нельзя будет винить за это; ведь я не почтеннее Давида, певшего священные псалмы, играя на гитаре и на гусях». Пселл действительно был на этой свадьбе и написал виновнику торжества восторженное письмо о том, что видел и слышал.

Наряду со всеми этими мрачными чертами следует указать и на одно большое качество Пселла. Это был человек высокообразованный и много знавший, много читавший, много работавший, не лишенный известного рода таланта. Но Сафа совершенно напрасно сравнивает его с Бэконом, составившим эпоху в истории науки, и применяет к нему слова Вольтера, сказанные о Бэконе: *C'était de l'or encroûté de toutes les ordures de son siècle*. Последнего много, но золота что-то не видно. Талант всегда оригинален, если не вполне, то хоть сколько-нибудь, а ни в одном из сочинений Пселла, не исключая философских, нет и проблеска оригинальной мысли, все они представляют самые ничтожные компиляции, по большей части буквально списанные с какого-нибудь древнего автора. Если в чем проявился талант Пселла, это в его ораторских произведениях, в его панегириках и надгробных речах. Но и тут канва дана была ему ритором Менаандром, он следовал правилам византийской риторики и только вышивал искусные узоры по этой канве. У него был талант стилиста, он владел языком, он умел писать витиевато, испещрять свою речь местами из Священного Писания, примерами из классической жизни, метафорами и гиперболами. Слава же его как мыслителя, звание знаменитого философа могло быть дано ему только в Византии, откуда как будто изгнана была всякая глубокая и оригинальная мысль.

Но сам Пселл был о себе совсем другого мнения, он считал себя великим ученым и любил хвастаться своими знаниями и своей мудростью. «Мы украсили столицу своей наукой, — пишет он Псифе, — молва о нашем образовании дошла до крайних пределов вселенной, мы — единственные, изучившие все роды философских учений, эллинских, египетских, халдейских, еврейских, мы, истолковавшие Священное Писание по-философски и с необыкновенной тщательностью, мы, установившие правила риторики, мы, изучившие римское право и все науки, мы, кого называют единственным учителем всех наук» (*Ps. V, 491-492*). «Мы сделали своими пленниками кельтов и арабов, — пишет он патриарху Кируларию об успехе своих лекций, — узнав о нашей славе, приходят к нам и из другой части света; Нил орошает и делает плодоносной землю Египетскую,

мы же делаем плодотворными самих египтян. Спроси персов или эфиопов, они скажут, что знают меня, восхищаются и пленяются мною. Недавно пришел к нам один человек из земли Вавилонской, чувствуя непреодолимое желание послушать мои лекции. Один народ называет нас „светочем мудрости“, другой „светилом“» (Ps. V, 508). «Сочинение мое, — говорит он в том же письме, — прочтут в Египте, в Аравии, на Западном океане» (Ps. V, 513).

Хотя Пселл был очень образованным человеком и верным сыном Православной церкви, стоявшим на стороне Михаила Кирулария в его споре с Римом, считавшим, что прибавка *filioque* в Символе веры потрясает христианскую догматику, он был заражен суеверием и предрассудками своего времени. Положим, он не допускал возможности предсказывать будущее по движению небесных светил, но тем не менее он верил в волшебство, снотолкование, в амулеты и симпатические средства, «Знай, — пишет он друнгарию вилы Константиону, — что в животных, камнях, травах есть таинственные и большинству неизвестные силы». «Так называемое Эпименидово средство против голода (ἡ ἐπιμενίδειος ἄλσιος), — говорит он в том же письме, — есть состав из разных веществ, дающий возможность его употребляющим долго ничего не есть. Унимающий печаль (τὸ ὑπλευθῆς) есть напиток, который дает пьющему его забвение. Подобно тому как унимающий печаль заставляет забывать неприятное, так есть средство, благодаря которому является в душе воспоминание о хорошем. Заячья кровь и гусиное сало имеют таинственную силу, способствующую деторождению, что хорошо знают женщины, долго не имевшие детей. Разве мозг лягушки не есть средство не иметь детей?» (Ps. V, 327).²²⁶

Михаил Пселл — тип преуспевающего византийца, добившегося высоких чинов лестью, низкопоклонством, потворством животным инстинктам монархов, достигшего благосостояния выпрашиванием и взяточничеством, тип образованного сановника, меняющего убеждения, жертвующего правдою в угоду царю; это человек без принципов, без идеала, способный хвалить и бранить одно и то же, готовый обелить преступления, чернить добродетель, настоящий прелюбодей слова, печальное порождение печального времени, развратное детище развратного общества.

²²⁶ О всех этих средствах Пселл подробнее толкует в особом сочинении «Περὶ παραδόξων ἀναγυρισμάτων».



Я. Н. Любарский

**МИХАИЛ ПСЕЛЛ
ЛИЧНОСТЬ И ТВОРЧЕСТВО**

**К истории
византийского предгуманизма**

*Издание второе,
исправленное и дополненное*



Ко второму изданию

Я почти не менял текста книги, исправив только замеченные неточности и опечатки.

Естественно, нельзя было не учесть многочисленных публикаций, книг и статей, появившихся за годы, истекшие после первого издания. Все сделанные мною дополнения заключены в фигурные скобки и отделены от основного текста. Цитируемая в них литература собрана в отдельном списке, помещенном вслед за основной библиографией.

Я очень благодарен бывшей моей коллеге Аргиро Целези (переводчице этой книги на греческий язык), проверившей ссылки на источники и научную литературу и исправившей немало типографских и моих собственных ошибок.

Я. Любарский

Санкт-Петербург

20 марта 2001 г.



СОДЕРЖАНИЕ

Часть I. ЛИЧНОСТЬ	187
<i>Глава первая.</i> Загадка личности и проблема мировоззрения. Некоторые итоги изучения	187
<i>Глава вторая.</i> Биография	213
<i>Глава третья.</i> Михаил Пселл и его современники	232
Михаил Пселл и Иоанн Мавропод	237
Михаил Пселл и Иоанн Ксифилин	248
Михаил Пселл и Константин Лихуд	257
Михаил Пселл и другие «интеллектуалы»	260
Михаил Пселл и племянники Михаила Кирулария	265
Михаил Пселл и кесарь Иоанн Дука	273
Михаил Пселл и монах Илья	280
Михаил Пселл и Михаил Кируларий	286
Михаил Пселл и Лев Параспондил	299
Михаил Пселл и монашество	309
Михаил Пселл и фемные судьи	312
Михаил Пселл и императоры дома Дук	324
<i>Вместо заключения.</i> Византийская «дружба» и личность писателя	332

Часть II. ТВОРЧЕСТВО	341
Глава четвертая. Эстетические взгляды	
и литературная позиция	348
Глава пятая. «Томительная» риторика	375
Глава шестая. Вершина творчества.	
«Хронография»	403
I. Предварительные замечания (новые находки, время написания, состав произведения)	403
II. Жанровые особенности. Композиция	415
III. Образы	438
Глава седьмая. Как выглядели герои Пселла	471
Заключительные замечания. Пселл и проблема византийского предгуманизма	489
Приложение	497
Риторические сочинения Михаила Пселла	497
Трактаты Пселла по теории красноречия	509
Периодика (сокращения)	512
Библиография	513
Библиография (дополнительная)	525
Титулы и должности	530
Указатель имен	532





Часть I Личность

Глава первая

ЗАГАДКА ЛИЧНОСТИ И ПРОБЛЕМА МИРОВОЗЗРЕНИЯ. НЕКОТОРЫЕ ИТОГИ ИЗУЧЕНИЯ

В этой книге, как видно уже из названия, поставлены две темы: личность Пселла и его творчество. Каждая из них могла бы стать предметом нескольких исследований. Наследие Пселла огромно и мало изучено, а его роль в византийской цивилизации невозможно переоценить.

Широта темы принуждает автора к строгому самоограничению. И потому в первых разделах книги, посвященных личности Пселла, выбирается лишь один из возможных путей постижения личности писателя, а в главах о творчестве Пселла анализу подвергаются только наиболее значительные из его сочинений, ближе всего подходящие к современному понятию художественной литературы.

Перед автором монографии стоит также цель: датировать, жанрово определить и выделить источники сочинений Пселла, как можно точнее представить биографические факты. Без решения таких «вспомогательных» вопросов разговор об этом писателе немислим.

* * *

Михаила Пселла сравнивают с Шекспиром, Вольтером, Лейбницем, Спинозой, Достоевским. Сами по себе произвольные, такие сопоставления тем не менее подчеркивают значение писателя, чье творчество составило эпоху в истории византийской литературы и общественной мысли. По масштабам византиноведческой науки Пселлу посвящена значительная литература,¹ однако все книги и статьи о византийском писателе, взятые вместе, вряд ли по своему объему превзойдут печатную продукцию о Шекспире, публикуемую за один год. Тем не менее уже сейчас интересно подвести некоторые итоги и рассмотреть тенденции в изучении личности великого византийца.

Более или менее активно сочинения Пселла стали публиковаться с 20-х годов прошлого столетия. Разбросанные в специальных изданиях, случайно выбранные, они не могли быть основой для сколько-нибудь надежных суждений об их авторе.² Единственным относительно цельным сборником этого времени, не потерявшим поныне своего значения, является издание Ф. Буассонада [22], где помимо демонологического сочинения, давшего название книге, содержатся речи и трактаты писателя. Буассонад и другие издатели опубликовали только малую и не самую интересную часть наследия Пселла. Поэтому большим событием для византиноведения был

¹ Современной полной библиографии работ о Пселле не существует. Литература до 1897 г. тщательно подобрана К. Крумбахом [227, с. 441 и сл.].

Библиография Д. Моравчика, доведенная до 1956 г. [253, с. 439 и сл.], не учитывает многих статей и публикаций. В библиографии, завершающей нашу книгу, помимо цитированных исследований, указаны названия некоторых работ, не вошедших в библиографии К. Крумбаха и Д. Моравчика, а также основная литература о Пселле, появившаяся в последнее двадцатилетие. <Исследования о Пселле, опубликованные после 1977 г., приведены в дополнительном библиографическом списке в конце книги.>

² Большинство этих произведений было перепечатано Ж.-П. Минем [PG, t. 122].

выход в 1874 г. двух (IV и V) томов «Греческой библиотеки Средних веков» К. Сафы, в которую вошло большое количество писем, речей и «Хронография» Пселла. Неудовлетворительное, изобилующее ошибками,³ не устраненными и во второй публикации Сафы [12], это издание тем не менее позволило начать серьезное изучение творчества писателя. В 20-х годах нашего века Э. Рено вновь опубликовал текст «Хронографии». Три издания одного и того же текста в течение полувека — явление редкое, отразившее интерес ученого мира к этой жемчужине византийской литературы. Однако Рено не удалось устранить ошибки единственной дошедшей до нас рукописи исторического сочинения Пселла. Напротив, немало конъектур сделано издателем неудачно, а во французском переводе встречаются натяжки и неточности,⁴ почти нет комментария.

В те же годы появился сборник частично переизданных, частично опубликованных вновь сочинений Пселла по вопросам алхимии, метеорологии и демонологии [23]. Вторым по значению (после «Греческой библиотеки...» Сафы) изданием было опубликованное в 1936–1941 гг. большое собрание писем и речей Пселла, до того времени большей частью оставшихся в рукописи [16]. Весьма квалифицированное с точки зрения филологической обработки текста, это издание вместе с тем не имеет исторического и реального комментария.

Публикация сочинений Пселла продолжается.⁵ Немало их еще остается в рукописи, немало разбросано по малодоступным изданиям, немало публикаций не удовлетворяет современным эдиционным требованиям. Детальное и всестороннее изучение наследия писателя

³ См. рец. Е. Миллера [251].

⁴ См. рец. А. Грегуара, И. Сикутриса [186; 299].

⁵ Наиболее значительные публикации послевоенного времени следующие: 1) [21] — первая полная публикация энциклопедического трактата писателя; 2) [14] — первое издание жития Авксентия; 3) [312; 313]. В приложение к этим работам впервые включены произведения Пселла главным образом риторического характера. Благодаря первой из упомянутых работ западногерманского византиниста исследователи имеют ныне также возможность познакомиться с содержанием многих остающихся еще в рукописях сочинений писателя.

В последнее время отдельные письма и речи Пселла по всем правилам современной эдиционной техники начали публиковаться итальянскими и греческими учеными [17; 18; 19] и др.

станет возможным лишь после полного издания его сочинений, однако если византинисты будут ждать удовлетворительных публикаций всех текстов, то к исследованию творчества большинства средневековых греческих авторов приступить они сумеют еще не скоро.⁶ <За двадцать с лишним лет, истекшие после первого издания этой книги, интерес к фигуре Михаила Пселла возрос еще более и приобрел «устойчивый» характер. Почти в любом выпуске *Byzantinische Zeitschrift*, выходящем каждые полгода и печатающем аннотации на новую литературу по византиноведению, учитывается, как правило, по нескольку новых работ, в названии которых фигурирует имя Пселла. Пора, видимо, говорить о зарождении специальной отрасли византийских штудий, которую можно было бы назвать «пселловедением» (по аналогии с «шекспироведением», «душкиноведением» и т. д.). Не случайно исследователи заговорили о настоятельной необходимости издать полное собрание сочинений Пселла с учетом всех его рукописей, всех публикаций и всех работ, ему посвященных (Р. Moore 1985; ср. BZ, 70. 1977. S. 293). Не только на словах, но и на деле эти проекты начали осуществляться быстрее, чем можно было ожидать. За истекшие годы издано много новых произведений, оставшихся до той поры в рукописях, вновь опубликовано по правилам современной эдичионной техники немалое число сочинений, которые прежде были изданы небрежно или без полного учета рукописной традиции и т. д. Особая заслуга в переиздании «малых» и не очень «малых» произведений принадлежит Bibliotheca Teubneriana, в выпусках которой пселловские тексты подбираются по жакровому принципу [см. Я. Любарский, 1997; подавляющее большинство новых изданий перечислено в начале публикуемой здесь дополнительной библиографии]. Немалое число произведений Пселла появилось в последние десятилетия в переводах на европейские языки. Таким образом, творческое наследие необыкновенно плодovitого Пселла стало значительно доступней исследователям и любителям его творчества. О современном состоянии издания сочинений Пселла см.: J. Schamp, 1997.>

Жизнь и карьера Михаила Пселла — приближенного и советника шести императоров, первого философа и писателя эпохи, давно привлекали внимание ученых. Сохранившийся уникальный материал не только позволяет подробно проследить карьеру писателя,

⁶ Многие сочинения Пселла прочитаны нами по рукописям, микрофильмы которых удалось получить из европейских хранилищ.

но и дает много деталей для воссоздания картины духовной, нравственной и политической жизни Византии XI в.

До издания в 70-х гг. прошлого века основных произведений Пселла сведения о нем основывались главным образом на трактате ученого XVII в. Льва Алляция [PG 122, col. 477 sq] и имели приблизительный, а подчас и просто фантастический характер. Первая попытка воссоздать жизненный путь и облик Пселла принадлежит Сафе [1 (IV), с. XXX и сл.; 1 (V), с. VII и сл.]. Греческий ученый систематизировал большой материал, постарался представить личность писателя на фоне исторических событий и культурной жизни того времени. Работа Сафы явилась, конечно, первым подходом к проблеме. Ученый допустил фактические ошибки, но главный его просчет — слепое доверие к писателю. Некоторые страницы исследования Сафы являются близким к тексту пересказом Пселла, из-за чего подчас теряется грань между исторической правдой и риторическими хитросплетениями византийца. Оценка личности Пселла имеет фактически морально-нравственный характер. После восторженных гимнов одаренности Пселла Сафа с сожалением замечает, что писатель, живший в один из самых печальных периодов византийской истории, вращавшийся в испорченной атмосфере своей эпохи, не мог остаться безупречным. «Это слиток золота, замазанный всеми нечистотами века», — заключает Сафа словами Вольтера характеристику писателя [1 (IV), с. CVIII].

Появившийся уже через год после выхода V тома «Греческой библиотеки...» очерк А. Рамбо [275] основывается на материалах, опубликованных Сафой, и почти не вносит ничего нового в оценку личности Пселла. Еще четче, чем Сафа, подчеркивает Рамбо характерность фигуры Пселла: «Это человек, в котором воплотились достоинства и недостатки греческого духа. Он обладал всеми пороками своего времени, но отличался от современников более высокими запросами».

Предисловия Сафы и особенно блестящий очерк Рамбо возбудили в ученом мире интерес к Пселлу. Следующая работа о писателе, принадлежащая перу русского ученого П. Безобразова [65], явилась итогом многолетних серьезных исследований. Безобразов не только исправил допущенные Сафой ошибки, но, что особенно важно, привлек много неопубликованных произведений писателя.*

* <Имеется в виду книга П. В. Безобразова, опубликованная в настоящем издании.>

Книга Безобразова — суровый приговор Пселлу. «Приступая к изучению Пселла, — пишет он в предисловии, — я считал его высокообразованным, талантливым и полезным деятелем, но чем больше я работал, чем пристальнее всматривался в его мемуары, тем больше убеждался, что это не так». А вот и вывод, выраженный резко и определенно: «Пселл — тип преуспевающего византийца, добившегося высоких чинов лестью, низкопоклонством, потворством животным инстинктам монархов, достигшего благосостояния выпрашиванием и взяточничеством, тип образованного сановника, меняющего убеждения, жертвующего правдой в угоду царю; это человек без принципов, без идеала, способный хвалить и бранить одно и то же, готовый обелять преступления, чернить добродетель, настоящий прелюбодей слова, печальное порождение печального времени» [65, с. 194].¹ Исследование Безобразова, и ныне не потерявшее значения, далеко не всегда, к сожалению, используется в западной научной литературе (видимо, из-за языкового барьера).

Политический сервизизм, неразборчивость в средствах — наиболее уязвимые стороны личности Пселла — надолго становятся объектом атак исследователей писателя. «Ни одна эпоха византийской истории, — пишет К. Крумбахер, — не была столь опасной для характера государственного деятеля, как этот период смены слабых и подверженных всем влияниям правителей. Пселл не поднялся на уровень тех требований, которые предъявляло к человеку подобное окружение... низменный сервизизм, неразборчивость в выборе средств, ненасытное честолюбие и безмерное тщеславие являются главными чертами его характера. В этом отношении Пселл — типичный выразитель всего самого отвратительного в византизме» [227, с. 435]. «Это слиток золота, замаранный всеми нечистотами века», — еще раз относит к Пселлу слова Вольтера К. Мюллер — автор большого исследования об эпистографии

¹ Трудно сказать ныне, о чем думал ученый, когда в жандармской России конца прошлого века писал эти и подобные им строки. Видимо, не только Пселла и Византию он имел в виду, говоря, что не турки и не печенег погубили империю, а «она сама себя погубила; погубили ее чиновники, не имевшие ничего общего с народом, видевшие в нем исключительно плательщиков, из которых следует извлекать как можно больше денег всякими способами, дозволенными и недозволенными» [65, с. IV].

византийского писателя [254, с. 208]. «Легкомыслен, талантлив, но чрезвычайно циничен», — отзывается о Пселле Н. Йорга [215, с. 270].

Вместе с тем могучий талант и незаурядность личности заставили многих исследователей искать оправданий любимцу шести императоров, льстецу и предателю Пселлу. Как политик, признает К. Нейман, он играл весьма неблагоприятную роль, однако принадлежал к числу тех «поразительных личностей, которые объединяли в себе черты различных эпох и культур» [257, с. 82]. Занимая высокое положение при дворе, Пселл как гуманист дорожил своей свободой. Пселл, конечно, «продавал свое перо», но для К. Нейманна он — не «прелюбодей слова» (П. Безобразов), а скорее фигура ренессансного типа, не вмещающаяся в рамки общепринятых моральных категорий и вольная использовать свой талант по собственному желанию. Более «личные» оправдания ищут для Пселла В. Родуис [278, с. 4 и сл.] и Ш. Зервос [319, с. 71]. Автор интересного и оригинального исследования, В. Родуис упоминает о теневых сторонах политической деятельности и о некоторых изъянах характера Пселла, но тем не менее явно находится под обаянием его личности. Ученый говорит о податливости нрава, общительности и доброжелательности Пселла к людям и не забывает отметить те случаи, когда Пселл находится на высоте положения (посольство к мятежному Исааку Комнину) или раскаивается в своем недостойном поведении (например, история с обвинением Михаила Кирулария — см. ниже, с. 286 сл.). Преподавательская деятельность Пселла, проповедавшего в условиях господства христианского мировоззрения эллиническую мудрость, вызывает у Родуиса преклонение перед интеллектуальным совершенством и мужественным духом писателя. Лицемерие Пселла — печальная уступка нравам эпохи. Однако всегда и во всем византиец остается «человеком страсти и первого порыва», ему свойственны душевная мягкость, чувство дружбы и т. д. Иначе «оправдывает» Пселла Э. Рено [277, с. 404], книга которого появилась в один год с исследованием Ш. Зервоса. Проникновение в личность Пселла необходимо Рено для решения вопроса об истоках стиля писателя, ибо «стиль — это человек», согласно знаменитому изречению Бюффона. «Душа Пселла чувствительна, как у женщины, и мягка, как воск», — приводит Рено неоднократно повторяющуюся самохарактеристику Пселла. Что касается «моральной низости», «постоянной готовности к измене»

и прочих аналогичных качеств, то это обычные свойства художников, воспитанных в уединенных занятиях, людей, которые без подготовки и душевных сил в один прекрасный день очутились в мире, созданном не для них. Чудовищная спесь Пселла — это тот выкуп, который платит артистическая натура за свой талант. Нетрудно заметить, что Рено конструирует образ средневекового писателя по шаблонной схеме «артистической натуры», особенно распространенной в начале нашего столетия.

Совершенно новую концепцию личности Пселла, его мировоззрения и места в истории византийской и мировой литературы предлагает П. Иоанну, опубликовавший ряд работ о писателе. В сравнении со своими предшественниками (Нейманн, Зервос, Рено) он располагает значительно большим материалом: собранием писем и речей, изданных в 1936–1940 гг., и многочисленными неопубликованными сочинениями.

Политическая изворотливость и моральная нечистоплотность, т. е. все то, что ставилось в вину Пселлу большинством биографов, Иоанну решительно называет легендой [211]. Опровержению этой «легенды» служит его статья «Пселл и Нарсийский монастырь» [214].

Непосредственная цель работы: показать, какую роль играл в жизни Пселла Нарсийский монастырь, и определить местоположение обители. Фактически же статья эта — краткая хроника жизненного пути писателя. П. Иоанну подчеркивает в биографии Пселла не те моменты, которые характеризуют его как циничного придворного интригана, а, напротив, те, в коих тот выступает в роли опального и гонимого. Особое одобрение Иоанну вызывает последний этап жизненного пути писателя. Пселл, по словам ученого, вел тогда истинно монашескую и достойную жизнь проповедника и наставника яравов. Но Иоанну не удалось развеять старую «легенду» о Пселле.

Представления о моральной ущербности, политической беспринципности Пселла настолько вошли в «плоть и кровь» многих новейших ученых, что Р. Анастаси, например, основывает на них даже... свои датировки [124, ср. ниже, с. 181, прим. 5].

«Негативное» отношение к личности Пселла полностью разделяет и автор недавно изданной книги, посвященной византийскому чиновничеству в изображении Пселла, — Г. Вейс [313].

Краткий обзор оценок личности Пселла логично завершить упоминанием работы греческого ученого Е. Криараса, написанной в

качестве статьи для энциклопедии Паули—Виссова, но опубликованной автором и отдельно [R. E. Suppl. XI, col. 1124—1182; 226]. Являющаяся синтезом современного знания о византийском писателе, статья эта отражает и сильные, и слабые стороны «пселловедения». Привлекая богатый материал из произведений различных жанров и учитывая мнения большинства ученых XIX—XX столетий, Криарас стремится представить фигуру писателя во всех аспектах его частной, общественной, государственной, литературной, философской, религиозной деятельности. Осторожный исследователь, Криарас не принимает ни одной из крайних точек зрения: Пселл, по его мнению, прекрасный семьянин, хороший друг, большой ученый и талантливый писатель, но никуда не годный государственный деятель. Автор сожалеет, что такой человек напрасно растрчивал свои силы и к тому же дурно проявил себя в области, от которой ему следовало бы держаться подальше.⁸ Сомнительно, конечно, само право современного исследователя «рекомендовать» или «не рекомендовать» средневековому писателю те или иные формы деятельности. Но даже если допустить такую возможность, вряд ли можно представить себе Пселла вне политической деятельности — вероятно, это был бы уже не Пселл.

Личность Пселла, при всей относительной полноте собранных свидетельств и справедливости ряда замечаний, разбивается Криарасом на различные «аспекты», которые он оценивает с позиции вневременной морали.

Как мы видим, фигура Пселла вызвала немало взаимоисключающих оценок: в представлении разных авторов он то развращенный циник без признаков нравственности, то набожный учитель добродетели, то женственная артистическая натура, то сильная личность ренессансного типа. Причину разногласия следует искать прежде всего в различии исторических концепций, политических взглядов и нравственных убеждений ученых. Однако сочетание в одном человеке столь несовместимых качеств объясняется, безусловно, и своеобразием его личности.

Проблеме, весьма волновавшей исследователей прошлых лет и касающейся нравственного лица и гражданского поведения Пселла, в последнее двадцатилетие уделялось внимания значительно меньше. Впрочем, редкий исследователь удерживался от искушения

⁸ Ту же оценку повторяет и Д. Дакурас [163, с. 13 и сл.].

мимоходом упрекнуть Пселла в моральной ущербности или пресмыкательстве перед самодержцами и могущественными современниками (см., например, G. Dennis, 1994). Не избежал этого соблазна и я, стараясь объяснить своеобразие «малокорректного» поведения Пселла той моральной атмосферой, которая почти обязательно возникает в любом обществе авторитарного типа (J. Ljubarskij, 1992). Пожалуй, наиболее непримирим к Пселлу остался польский исследователь О. Юревич, имеющий также, кстати, опыт жизни при тоталитарном режиме. Пселл, по его словам, — доверенное лицо императоров, наушник (а порою и больше) их супруг, всего достигший своей старательностью и бесстыдством. Ситуация при дворе сформировала в нем такие качества, как сервилизм, льстивость, подхалимство, бессовестность, хитрость и беспринципность. Все это напоминает, если не превосходит, характеристики П. В. Безобразова более чем столетней давности (O. Jurawicz 1984. S. 315, 318). В целом, однако, стремление «понять» явно превалирует у современных ученых над желанием «осудить» Пселла.

Как и прежде, исследователи не перестают выражать изумление, сколь быстро способен был Пселл менять свои убеждения и пристрастия, как скоро льстивые похвалы тем или иным людям могли сменяться в его сочинениях «гневыми», а подчас и фантастическими осуждениями. Подыскивая объяснения и оправдания, ученые нередко ссылаются на житейские обстоятельства или прагматические соображения, которые могли заставить выдающегося писателя давать свободу столь «изменным» сторонам своей натуры. Характерный пример в этом отношении — одна из работ Р. Анастаси, пытающегося как-то согласовать знаменитую обвинительную речь против Михаила Кирулария, где Пселл выступает в роли эдакого византийского Вышинского, с благостной эпитафией тому же патриарху (R. Anastasi, 1976). Подобные «бытовые» объяснения могут, безусловно, оказаться справедливыми в каких-то отдельных случаях, хотя то свойство Пселла, которое нередко именуется «протезизмом», — явление более общего и принципиального характера, еще ожидающее своего истолкования.>

* * *

Автор многочисленных научных и философских сочинений, «ипат философ» Михаил Пселл привлекал внимание исследователей в первую очередь как мыслитель и ученый. К. Сафа, первый получивший доступ к большому числу сочинений писателя, с восторгом характеризует Пселла как «островок образованности» в море невежества того времени, отмечает чрезвычайную любовь Пселла к наукам, видит его основную заслугу в возрождении в Византии эллинской мудрости и по философским воззрениям считает его платоником [I (IV), с. XXXVI и сл.]. Выводы Сафы — не результат анализа философии Пселла, а лишь повторение того, что словоохотливый византийский автор нередко писал о себе сам. Однако такая или примерно такая характеристика с тех пор долго сопутствует имени Пселла в большинстве научных и популярных изданий. Особенно настойчиво исследователи подчеркивали пристрастие Пселла к философии неоплатоников и то, что он отдавал предпочтение полузабытому в Византии Платону перед признанным и почти канонизированным Аристотелем.

Первым монографическим исследованием философии Пселла являлась упомянутая книга Ш. Зервосо «Михаил Пселл — неоплатоник XI в.» [319]. Пселл для французского ученого — отнюдь не «островок образованности в море невежества», а, напротив, сын эпохи культурного и интеллектуального подъема. «Македонский ренессанс» X—XI вв., по словам Зервосо, освободил искусство от сковывавших его догм, развил в человеке культуру чувства, принес с собой более «личную» и свободную интерпретацию античности, где люди стали искать идеал красоты и истины. Этими светскими тенденциями, по мнению Зервосо, оказались затронуты, кроме Пселла, не только насмешливый поэт Христофор Митиленский или историки Атталиат и Скилица, но и такие ярко выраженные христианские писатели, как Симеон Богослов, Никита Стифат и другие. Пселл — не оригинальный философ, он не высказывал новых идей, его заслуга в умении проникнуться духом прошлого. Неоплатоник в полном смысле слова, он стремился, однако, к созданию синтеза всех философских систем и всех культов, не исключая христианства.

Впрочем, христианское учение и теология в системе взглядов философа не занимают доминирующей позиции. Если Отцы церкви

брали у неоплатоников лишь то, что согласовывалось с христианской догмой, то Пселл принимал неоплатонические взгляды в целом. Главное, что отличает Пселла от современных ему философов, — новый способ мышления. Предпосылки его философии имеют чисто научный, рационалистический характер; отсюда его преклонение перед разумом и отвращение ко всякой мистике и оккультизму.⁹ Если же Пселл иногда и обвинял языческую (древнегреческую) философию с ее рационалистическими основами в том, что для познания истины она недостаточно глубока, то делал это, лишь поддавшись обычному человеческому страху перед обвинениями в безбожии. Светское мировоззрение, ненависть ко всему, что сковывает человеческую мысль, «интеллектуальное язычество» приводят Пселла в вопросе оценки Платона и отношения к эллинской философии к конфликту с другими выдающимися умами эпохи.

Вышедшая в 1920 г. книга Зервоса оказала большое влияние на последующих исследователей. В оценке творчества Пселла по сути те же мысли, только в еще более энергичных выражениях, развивает Дж. Хассей. Пселл — не оригинальный философ и последователь неоплатоников, но его рационалистические взгляды — полная противоположность клерикальным идеям того времени. Взгляды Симеона Богослова и Никиты Стифата и воззрения Пселла — это два полюса, символизирующие противоположность светского и клерикального мировоззрений [203, с. 72].¹⁰

Очевидно, результатом распространения оценок Зервоса на демотологические теории Пселла явилась и книга К. Свободы [296]. Рассматривая представления Пселла о демонах и их взаимоотношения с человеческим родом, чешский ученый ищет истоки этих взглядов у Прокла, Ямвлиха, Олимпиодора и других неоплатоников. Подобно Зервосу, Свобода подчеркивает рационализм мышления Пселла и его скептическое отношение к оккультным наукам

⁹ В связи с этим Пселл противопоставляется Зервосом Иоанну Ксифилину и Никите Стифату, согласно которым истину можно постигнуть не путем рационального мышления, а благодаря озарению свыше.

¹⁰ Более сдержанно оценивает Хассей мировоззрение Пселла в статье: «Византийская империя в XI веке» [201], где автор полемически заостряет уже высказанную Зервосом мысль, что XI в. — период интеллектуального подъема в Византии, и утверждает, что деятельность Пселла необходимо рассматривать на фоне оживившейся культурной и литературной жизни.

и «халдейской премудрости». Свобода даже ставит под сомнение искренность заявления Пселла в «Хронографии», что он отказался от веры в оккультные науки «не с помощью науки, а благодаря вмешательству божественной силы». По мнению ученого, именно научный дух отвращает философа от халдейского оккультизма.

В самое недавнее время тема «Пселл и античность», но уже в ином повороте стала основной темой книги А. Гадолин о «Хронографии» [181]. Шведскую исследовательницу интересуют два аспекта взглядов писателя: его представления об историографии и обществе. Подбирая высказывания Пселла из «Хронографии» и сопоставляя их с мнениями античных авторов (от Гомера до Гермогена без всякой дифференциации!), А. Гадолин приходит к выводу о почти полной зависимости византийца от его античных предшественников. Посвященная историческим концепциям и использующая новейшую терминологию, эта работа сама представляет собой пример антиисторизма: каждый факт внешнего сходства безоговорочно принимается исследовательницей за совпадение позиций Пселла и античных писателей. Книга неудовлетворительна по своей методике и источниковедческой базе (многие источники цитируются из вторых рук) и, по существу, возвращает исследование Пселла на давно пройденные позиции.¹¹

Таким образом, согласно оценкам ряда исследователей, взгляды Пселла были высшим выражением светских тенденций в византийской общественной мысли XI в. Открытие этих тенденций, да еще в таком крайнем воплощении, разбивало издавна установившееся мнение, что византийская философия представляла собой лишь комментированное изложение Священного Писания и сочинений Отцов церкви. Вместе с тем восхищение «проникнутым эллинским духом» Пселлом не давало возможности заметить действительную сложность и противоречивость его взглядов.

В то же время уже П. Безобразов настаивал на иной оценке мировоззрения писателя. Прежде всего он отказывался признать заслугу Пселла в восстановлении в правах философской системы Платона, полагая, что традиция Платона вообще никогда не прерывалась в христианской Византии. Более того, Безобразов не видел никакого своеобразия Пселла (сравнительно с другими средневековыми

¹¹ Подробней см. нашу рецензию на книгу Гадолин [97]. Ср. также рецензии Ф. Тиннефельда [306] и Г. Вейса [311].

авторами) и в его отношении к античности: как и прочие византийцы, Пселл разделяет все античное наследие на «приемлемое» и «неприемлемое» для христианского мыслителя [65, с. 162 и сл.]. Позиция Безобразова, являясь крайней реакцией на первые восторженные оценки «языческого философа», не нашла поддержки у исследователей. Лишь в последние десятилетия, когда изучение философии Пселла вышло за рамки общих суждений, все большее внимание стало заостряться на противоречивости и непоследовательности его взглядов, и созданный Зервосом и другими учеными образ «абсолютно светского» и даже «языческого» философа начал блекнуть.

Уже Биде нашел множество противоречий в воззрениях Пселла. «Представитель ренессансного духа», рекомендуя наблюдать за природой и порицающий своих оппонентов за малейшее отклонение от истины, вместе с тем резко выступал против тех, «кого заставила отклониться от строгой ортодоксальности их живая любознательность» [23, с. IX и сл.]. «Пройдет еще немало времени, — пишет К. Прехтер,¹² — пока удастся постигнуть такую во всех своих проявлениях сложную и отливающую разными цветами натуру, как Пселл» [272, с. 12]. Немецкий ученый отмечает одновременное тяготение Пселла как к мистическому, иррациональному, так и к абсолютно научному решению проблемы иррационального.

По-иному объясняет необычное соседство христианского интуитивизма с явным стремлением к рационализму В. Вальденберг [70].¹³ Пселл требует строго научного «геометрического» метода в постижении истины, в чем византийский философ сходен со Спинозой. Однако в одной области рационалистическое познание оказывается для Пселла неприменимым. Это — теология («первая философия»),

¹² Статья Прехтера опровергает высказанную Крумбахом мысль, что Михаил Эфесский был учеником Пселла. Метод последовательного сопоставления взглядов философов-современников, которым пользуется ученый, весьма плодотворен для выяснения своеобразия их мировоззрения: едва различимые ныне нюансы подчас оказываются выражением весьма существенных в свое время расхождений.

¹³ Статья Вальденберга полемически заострена против распространенных представлений о византийской философии как единой и лишенной направлений, насквозь проникнутой спиритуализмом и мистицизмом. В. Вальденберг, однако, оставил без внимания многие важные сочинения Пселла.

где возможно лишь внутреннее озарение, источником которого является божественная сила, Вальденберг указывает на то, что принцип познания истины (логическое доказательство или озарение свыше) для Пселла является основным критерием в классификации философских систем.

Таким образом, если, согласно Прехтеру, Пселл для объяснения иррационального применяет рационалистическое мышление, то, по мнению Вальденберга, философ строго подразделяет области рационального и иррационального.

Стремлением объяснить противоречия во взглядах Пселла проникнут и очерк, посвященный ему в «Истории византийской философии» Б. Татакиса [302, с. 161–210]. Поклонник античности и неоплатоник, Пселл жил в период подъема «эллинского духа» в Византии. Пселл — «великий и смелый, воплотивший в себе дух Ренессанса, создатель новой эпохи». Однако его величие — это величие эклектика и компилятора, который «отовсюду берет свое добро». Систематический анализ метафизики философа невозможен из-за ее ярко выраженного компилятивного характера. Пселл подвергает экзамену прошлое человечества и везде, даже в оккультных науках, ищет элементы, которые дали бы ему возможность создать синтез всех систем мысли. В этом отношении Пселл — дальний предшественник Лейбница. Высшая цель духовной деятельности человека, согласно Пселлу, — это постижение «первой философии» (теологии и метафизики). При этом всякое знание (в том числе и «эллинские науки») должно занять свое место на пути восхождения человеческой мысли к «первой философии». Вся греческая цивилизация для Пселла — подготовительная ступень к христианству, а кумир философа Платон и неоплатоники — «неосознанные» христиане. Таким образом, главное, что придает единство эклектической системе Пселла, — это стремление примирить эллинскую науку с догмами христианской религии. Однако и это единство весьма относительно: хотя Пселл и считает теологию главной наукой, способ, каким он использует эллинскую философию, показывает, что именно последней он отдает истинное предпочтение.

Главное, что берет Пселл из «эллинской мысли», — это ее рационализм и детерминизм. Как и эллинские мыслители, византийский философ видит в демиурге «внешнюю причину» и в то же время для каждого явления ищет «причину непосредственную».

Однако причинность всего сущего вовсе не означает, что любая причина может быть познана. В этом утверждении Татакис видит проявление ограниченности рационализма Пселла.

Мы сочли нужным относительно подробно изложить оценки Татакиса потому, что они, включенные в общий очерк византийской философии, представляют собой синтез результатов, достигнутых в 20–40-е гг. Согласно этой утвердившейся концепции, неоплатоник Пселл, философия которого буквально соткана из противоречий, — ни в коей мере не самостоятельный мыслитель, но он сыграл неоценимую роль в истории византийской общественной мысли, ибо возродил «эллинский дух» и провозгласил светское направление в науке и философии.

Та же мысль в весьма определенной форме была выражена итальянским ученым Анастаси в статье «Гуманизм Михаила Пселла» [126], уже название которой говорит само за себя.

Суждения о мыслителях прошлого зависят, разумеется, не только от того, что думали эти философы, но и от того, каких воззрений придерживаются их исследователи. Не случайно поэтому изложенная выше концепция подверглась критике со стороны ученых — византинистов католического направления. Еще в 1936 г. в посвященной Пселлу статье в «Словаре католической теологии» М. Жюжи выступал против попыток представлять Пселла безбожником и утверждал, что в отношении к религии философ был типичным средневековым схоластом [216, с. 1149]. Пселл клялся в своей ортодоксальности и не мог быть гуманистом в позднем смысле этого слова, заявлял М. Михель в статье, опубликованной в сборнике, посвященном 900-летию разделения Церковью [250]. Однако свое полное выражение и историко-философское обоснование тенденция представить Пселла ортодоксальным мыслителем получила в работах П. Иоанну. Если в статье о Пселле и Нарсийском монастыре Иоанну оправдывал Пселла-человека, то в книге «Христианская метафизика в Византии» [212] он как бы «реабилитировал» Пселла-философа. «Чем выше культура, — декларирует Иоанну, — тем выше ее метафизическая мысль. Византия как страна самостоятельной культуры не могла не обладать и самостоятельным мировоззрением» [212, с. 4]. Некоторые ученые видят в Пселле прежде всего философа, «проникнутого эллинских духом», возродившего в христианской Византии эллинскую мудрость, Иоанну же ищет в Пселле самостоятельного мыслителя в вопросах метафизики. Он

признает великолепное знание Пселлом античного наследия, более того, допускает, что византийский мыслитель пользовался отдельными методами древней философии, но в целом античность чужда византийцу. Такой, казалось бы, незыблемый для всех исследователей тезис, как неоплатонизм Пселла, греческий ученый подверг ревизии. Главное не то, на каких мыслителей древности опирался философ, а то, как он использовал их теории. При всем внешнем сходстве Пселла с древними (особенно неоплатониками), решения, которые он предлагал для основных философских проблем, были не языческими, а христианскими (сравним мнение Прехтера, что Пселл даже к решению проблем иррационального подходил с рационалистических позиций!). Итак, добрый христианин в жизни, Пселл и в философии был вполне ортодоксальным мыслителем, создателем оригинальной метафизической системы.

Стремясь лишить взгляды Пселла античных корней, Иоанну подверг новому рассмотрению (после специальных исследований Свободы и Биде) и демонологические теории философа и не нашел причин возводить их к воззрениям неоплатоников: все необходимые «сведения» о демонах Пселл мог почерпнуть в византийской литературе (главным образом в «Житиях святых») [213].

Новая позиция, которую занял в оценке философского наследия Пселла П. Иоанну, вызвала решительные возражения Иванки [205]. Автор рецензии категорически отрицает самостоятельность философских воззрений Пселла, считая, что все «новаторство» византийской философии вообще сводится лишь к оживлению тех или иных отвергнутых философских понятий древности.

В статьях Л. Бенакиса [141; 142] точка зрения Иоанну на философию Пселла нашла не только одобрение, но и дальнейшую разработку. Исследуя незаданный комментарий Пселла к «Физике» Аристотеля, Бенакис приходит к выводу, что византийский философ глубоко и объективно излагал воззрения древнего мудреца. Последняя из работ Бенакиса касается уже собственных суждений Пселла. Основной вывод ученого: самостоятельность позиции византийского мыслителя в решении основных философских проблем, поставленных в «Физике» Аристотеля. В отличие от античного философа, природа для Пселла не является «самостоятельным принципом», а есть сила, привносимая в предметы извне божественной волей. Специально изучая содержание использованных Пселлом понятий $\nu\omicron\varsigma$, $\psi\upsilon\chi\acute{\eta}$, $\phi\upsilon\sigma\iota\varsigma$, Бенакис считает, что Пселл

трактует их иначе, нежели Аристотель и неоплатоники. Ученый полностью солидаризируется с П. Иоанну в том, что сходство Пселла с неоплатониками имеет чисто внешний характер.

В несколько ином направлении развивает идеи П. Иоанну греческий исследователь Д. Дакурас [163]. Пселл — «самостоятельный мыслитель», который с большой свободой обращается с теориями и античных философов, и христианских теологов. По своему мировоззрению Пселл — философ и теолог византийского средневековья, полемизирующий с античными представлениями и принимающий их (только частично) лишь в тех случаях, когда обнаруживает в них зерна истины или намеки на христианские идеи.

Как можно было убедиться, Пселл-мыслитель вызвал не менее противоречивые оценки, чем Пселл-человек.¹⁴ Он оказывался страстным поклонником античности и заурядным средневековым схоластом, вольнолюбивым светским мыслителем и ортодоксальным христианином, старательным компилятором и создателем оригинальной метафизической системы. Многообразие мнений — далеко не только результат исходных позиций исследователей.

<По-прежнему разкообразны оценки места Пселла в истории византийской общественной мысли. Как всегда, они в значительной мере зависят от собственных взглядов и позиций исследователей. Представление о Пселле — в первую очередь благочестивом христианине, свойственно, как и прежде, главным образом ученым из церковных кругов. Однако фигура выдающегося писателя настолько выходила из рамок строгих православных предписаний, что подобные однозначные определения встречаются редко, хотя никто из исследователей еще не выражал сомнений в глубокой религиозности Пселла (D. Gemitti, 1983; D. Gemitti, 1984; Михаил Пселл, 1998).

Давая двадцать лет назад своей книге подзаголовок «К истории византийского предгуманизма», я испытывал немалые сомнения: ясно, сколь опасно применять такие понятия, как гуманизм или Ренессанс (даже с осторожной приставкой «пред»), к цивилизации, никогда их не пережившей. Однако за прошедшие двадцать лет оба эти понятия в представлении исследователей настолько срослись с фигурой Пселла, что даже авторы общих монографий

¹⁴ Философским воззрениям Пселла посвящены две большие статьи в шестом томе «Travaux et Mémoires» [186a; 193a]. Ученье позиции их авторов в настоящем обзоре мы уже не имеем возможности.

используют их в применении к писателю уже без всяких оговорок. М. Анголд, например, полагает, что основным объектом интереса Пселла был человек, и именно это оказалось «основой пселловского гуманизма» (M. Angold, 1984).

Схожие оценки можно найти в нашей отечественной «Культуре Византии», где лестные для меня почти текстуальные совпадения с моими характеристиками весьма часты (*Культура Византии*, 1989, с. 104 сл.). Ныне Пселл уже не только возводится в ранг предшественника Ренессанса (в том числе и западного!) (см. С. Nearchos, 1981, p. 135; С. Nearchos, 1982, p. 226), но без обиняков причисляется к «выдающимся гуманистам и свободомыслящим людям своего времени» (D. Gemitti, 1983; U. Criscuolo, 1981) и даже именуется «одним из наиболее значительных интеллектуальных лидеров средневековья» (M. Kyriakis, 1976–1977, p. 185).

Как и раньше, исследователей весьма занимает проблема «Пселл и античность». И здесь ученые отмечают парадоксальность позиции Пселла, который неоднократно декларировал «утилитарное» отношение к древности (христианин может брать из античности лишь то, что согласуется с православным учением) и в то же время отличался едва ли не ренессансной любовью к наследию древних. Знаменательно в этом отношении появление в журнале *Theologia* двух статей одного и того же автора: Д. Дакураса, первая из которых носит название «Критика Пселлом древних греков и греческой религии» (D. Dakouras, 1977), вторая — «Реабилитация древнегреческих штудий в XI в. и Михаил Пселл» (D. Dakouras, 1978). Интересные рассуждения по этому поводу принадлежат У. Крискуоло в связи с анализируемой им «Эпитафией Лихуду» (U. Criscuolo, 1982, p. 214 sq.).>

<Уже на стадии корректуры настоящего издания в мое распоряжение попала любезно присланная автором книга А. Калделлиса (A. Kaldellis, 1999), целиком посвященная «Хронографии» Михаила Пселла, воспользоваться которой я уже не успел. Следует отметить, что ряд наблюдений моего американского коллеги удивительным образом совпадают с моими. (Я никак не могу обвинить в плагиате автора: А. Калделлис совершенно не использует научную литературу, если она написана по-русски!) Однако в выводах своих исследователь идет намного дальше не только меня, но и любого ученого, когда-либо писавшего о Пселле. А. Калделлис пытается восстановить политическую философию Пселла и уже в предисловии заявляет, что герой его книги отнюдь не полигистор и интеллектуальный

дилетант, а серьезный философ, вовсе не неоплатоник, как обычно считается, а последователь Платона, что его политическая и философская мысль была революционной для того времени и совершенно антихристианской. Эти идеи последовательно проводятся через всю книгу, причем фигура Пселла постоянно сопоставляется с Макиавели. А. Калделлис идет настолько далеко, что дальнейший путь в избранном им направлении кажется уже закрытым. Анализ хорошо написанной и интересной книги А. Калделлиса и системы его доказательств требует специального разговора, думается, однако, что ученый противоположного направления, пользуясь похожими приемами был бы в состоянии написать книгу, представляющую Пселла в виде богобоязненного христианина, вынужденного играть роль светского балагура при дворе жизнелюбивых императоров типа Константина Мономаха. Автор совершенно правильно выступает против практики подбора «нужных» цитат, но на самом деле подчиняет всю свою аргументацию наперед заданной схеме, стараясь так или иначе обойти или истолковать в нужном ему смысле неудобные для него пассажи. И в данном случае Пселл оказался много сложнее и многообразнее своего комментатора! Можно ли вообще описать личность и мировоззрение Михаила Пселла в непротиворечивых терминах?>

* * *

Пселл принадлежал к числу писателей, которые часто и охотно декларировали свои взгляды и суждения, откровенно говорили о своем характере и привычках. Однако обилие материала не облегчает работы исследователя. Ученый, придерживающийся в оценке Пселла любой точки зрения, без труда может увеличить число аргументов в защиту своей позиции. Остановимся, к примеру, на самой спорной и важнейшей для оценки Пселла проблеме: кем был писатель — ортодоксальным мыслителем и скромным христианином, как утверждает П. Иоанну, или вольномыслящим философом и светским человеком, как полагают Зервос и его сторонники.

В свое время Безобразов отмечал, что Пселл старательно разделяет «эллинскую мудрость» на приемлемое и неприемлемое для христианина. Особую похвалу писателя заслуживает Иоанн Ксифилин за то, что он разграничил «не нашу» (т. е. эллинскую) философию на

две части и одну из них «выплывал как яд», а другую «принимал как пищу» [1 (IV), с. 456. 26 и сл.]. Вообще все эллинские учения следует, по Пселлу, перетолковать на христианский лад. «Если вы сделаете это, — обращается он к своим нерадивым ученикам, — то подобно морякам из горького моря добудете питьевую воду... вы вознесете свои души на высоту горьких эллинских учений и издаваемую ими грубую мелодию превратите в приятную и легкую, и из крайней струны полетит сладкозвучная песня» [22, с. 152–153]. Напрасно Зервос, защищая идею «светского Пселла», утверждает, что философ нигде не отдает предпочтения теологии перед другими науками. Как и для всего Средневековья, философия для Пселла ancilla theologiae [см. 16 (II), с. 124]: «Мы и философию определяем с позиций богословия». Сам Пселл, по собственным словам, наибольшее внимание уделял изучению Священного Писания [20 (I), с. 138]. Философ спешит заверить, что хотя он и изучал все науки, но никогда не пользовался теми из них, которые отвергаются богословами [20 (II), с. 77. 12].

В сочинениях Пселла нетрудно найти высказывания, свидетельствующие об общей теологической концепции мира у философа. «Все в жизни зависит от божественного промысла и решения, и ничего нет неразумного и неопределенного. За всем следит неусыпное око, которое щедро воздаст за земные лишения и страдания», — утешает он ослепленного Романа Диогена [1 (V), с. 317. 5 и сл.]. Ср.: «Не по нашей воле происходят события, но есть некая иная высшая власть, которая по своей воле направляет жизнь» [20 (I), с. 152. 2 и сл.].

«Философ-рационалист и сторонник чисто научных методов», по определению большинства исследователей, Пселл заявляет в «Хронографии»: «Я называю философами не тех, кто исследует сущность вещей и ищет основы мира, пренебрегая основами своего спасения, но тех, кто презрел мир и живет со ставшими выше его» [20(I) с. 73. 15 и сл.]. Совершенно недвусмысленно Пселл провозглашает идеалы аскетической жизни вдали от мира. Неоднократно в его письмах высказывается желание вести монашескую жизнь и сожаление о тихом монастырском бытии. С особым благоговением описывает он в энкомии матери аскетическое подвижничество Феодоты, превратившейся к концу жизни почти в бесплотный дух.

Портрет «богобоязненного христианина» дополняют многочисленные пассажи из сочинений, где автор старается представить себя в виде смиренного, сознающего свое ничтожество человека. «Не

возноси меня в письмах своих, — обращается он к адресату, — не тщись доказать, что я, лишенный мудрости, ничтожный червь среди людей... выше тебя, истинного мудреца и ученого» [16 (II), с. 25; ср. 22, с. 171 и сл.; 1 (IV), с. 338; 1 (V), с. 372; 16 (II), с. 58].

Приведенные нами примеры можно легко умножить. Следует, однако, остерегаться принимать законченный и искусно нарисованный облик ортодоксального христианина за истинное лицо Пселла. Достаточно беглого чтения нескольких его произведений, чтобы увидеть иного Пселла. Сейчас, после работ Зервуса и его сторонников, излишне приводить многочисленные высказывания писателя о его страсти к науке и образованности, о том глубоком почтении, которое он испытывал перед античной культурой. Кроме того, сами по себе эрудиция в античном наследии и его использование в эпоху после Фотия не были чем-то необычным. Интересней другое: эмоциональное отношение философа к античной древности. Как для эллинофила любой эпохи, географические античные названия звучат для Пселла словно музыка. «Ты любишь не только сами Афины, но и афинские названия, звучание которых подобно музыке», — пишет Пселл человеку, влюбленному в древний город и обратившемуся к философу с вопросами о его географии [22, с. 44]. Подобно западным гуманистам, Пселл нередко сопоставляет окружающую его действительность с античными образцами и в них ищет эталоны для своих оценок. Причем современность кажется философу явной деградацией по сравнению с древностью. «Как и во многом другом, — пишет Пселл протасикриту Епифанию Филарету, — не повезло нам с пан-афинейями и панэллениями, нет у нас ни Перикла, ни Фемистокла; варварский язык, прежде находившийся в загоне, ныне расцвел...» [1 (V), с. 431. 4 и сл.].

Определенное свободомыслие проявляет Пселл и в самом кардинальном для любого христианского философа вопросе о роли божественного промысла в человеческой жизни.

Уже Татакис отмечал, что Пселл отводил демиургу роль лишь «внешней причины» и придавал большое значение «причинам непосредственным». На самом деле Пселл точно разграничивает сферу действия промысла и свободной человеческой воли: «Не все находится в нашей власти, не все делается по нашей воле, мы зависим не только от свободного выбора. Есть иная, высшая сила, влекущая нас... нами движут два начала: Промысел и свободный выбор. Где сопутствуют то и другое, иногда достаточно и одного Промысла.

Я говорю здесь о свободном выборе, который движет нас к благу и осиливает противоположное [благу]» [I (IV), с. 444. 29 и сл.].

Свободный выбор человека играет, следовательно, весьма существенную роль, и действие божественного промысла может полностью осуществиться лишь в тех случаях, когда ему соответствует направленный ко благу свободный выбор. При таком толковании становится ясным и другое высказывание Пселла, касающееся интересующей нас проблемы: «Я склонен приписать божественному Провидению управление значительными событиями, более того, я отношу за его счет и все остальное, если только наша природа не извращена» [20 (I), с. 71. 18 и сл.]. Иначе говоря, ход событий целиком определяется промыслом лишь тогда, когда этому не противодействует извращенная человеческая природа, свободный выбор которой, прибавим мы на основе предыдущих слов писателя, направлен ко злу. В житейской морали и практическом поведении Пселл также склонен преувеличивать роль божественной воли. Он приписывает себе, например, следующие увещания, обращенные к Константину IX, который целиком полагался на божественную защиту и отказывался принимать какие бы то ни было меры предосторожности: «Никто из них (имеются в виду архитектор, кормчий и военачальник. — Я. Л.) не отказывается от упований на Бога, но один строит согласно правилам, другой направляет корабль кормилом, а люди военные носят щиты и вооружены мечами...» [20 (II), с. 34. 27 и сл.].

Допустив несколько тенденциозный подбор высказываний и самооценок, мы привели примеры разительных противоречий во взглядах и характере писателя. Список подобных противоречий, касающихся уже более частных вопросов, можно было бы легко продолжить.

В свое время обилие сочинений на самые неожиданные темы заставляло ученых высказывать догадки, что существовал не один, а несколько писателей, носящих имя Пселл. Чрезвычайная пестрота взглядов, мнений и обликов, в которых Пселл является своему читателю, способна вызвать подозрение, что подобное многообразие не может заключаться в одном человеке. Порой создается впечатление, что Пселл — личность без внутреннего ядра, что в нем заложена возможность почти к бесконечному перевоплощению, что в принципиальном отсутствии твердой позиции и состоит позиция писателя. Такие фигуры, как известно, закономерное явление в условиях деспотии, когда подлаживание под чужие взгляды и вкусы оказывается единственным надежным средством удержаться на поверхности.

Склонный подчас к откровенным излияниям (а искренность для писателя — тоже своего рода позиция), Пселл сам не раз говорит о необходимости постоянного приспособления к власти имущим.¹⁵

Непрерывное притворство и видоизменение, своеобразный «про-теизм» — не только практическая житейская позиция неразборчи-вого в средствах царедворца, но и своего рода теоретический фун-дамент многих этических, философских и литературных взглядов Пселла (см. ниже, с. 440 и сл.).

Представления о принципиальной изменчивости и непостоян-стве человека имеют поддержку и частично происхождение в тео-рии и практике позднеантичной и византийской риторики, восхо-дящей в конечном счете ко второй софистике с ее абсолютным релятивизмом. Принцип относительности, распространенный на моральные и нравственные категории, полностью оправдывал воз-можность выражения взаимоисключающих суждений.

Ван Дитен, рассуждая в этой связи о Никите Хониате, утверж-дал, что в применении к ритору вопрос о морали вовсе не может ставиться, поскольку переменчивость предписана ему самой ритори-кой [167, с. 53].

Сказанное выше способно породить известный скептицизм при оценке возможности из массы противоречивых высказываний вывести какое-то представление о собственном мировоззрении Пселла. Пестрота мнений, однако, лишь затрудняет работу исследователя, заставляет его решительно отказаться от наиболее распространенного и наиме-нее надежного метода — подбора цитат на ту или иную тему.

Видимо, суждения и самооценки византийского ритора сами по себе в данном случае имеют минимальное значение. Они начинают играть роль только в сопоставлении друг с другом и — что еще важнее — с образами и мнениями его современников и предшествен-ников. Иными словами, их значение для исследователя должно быть не абсолютным, а функциональным, «система» в материале, кажущем-ся бессистемным, может возникнуть лишь при сопоставлении с иными системами. В этой связи априори можно предложить несколько

¹⁵ См., например, рассказ о шутовской сцене, устроенной одним из фаворитов на потеху Константину IX: «И самое страшное, — заканчивает повествование Пселл, — это то, что мы понимали этот фарс. Порицать же его — куда там! Мы стали жертвой неразумия императора и вынуждены были смеяться тогда, когда надо было плакать» [20 (II), с. 40. 20 и сл.].

методов изучения личности Пселла, частично уже нашедших отражение в прошлых исследованиях. Целесообразно, например, установить место Пселла в истории философии, соотнеся его взгляды с воззрениями других мыслителей (иачало этому положено в трудах Татакиса, Вальденберга, Бенакиса и др.). Весьма продуктивным оказывается сопоставление общественно-политических, религиозных и иных воззрений Пселла с суждениями его современников (весьма интересный в этом плане опыт содержится во вступительной статье Г. Литаврина к изданию «Стратегикона» Кекавмена [33, с. 92 и сл.]). Очень важно гораздо детальнее, чем это было сделано, проследить политическую карьеру и жизненный путь Пселла и т. п. Эти аспекты, безусловно, найдут своих исследователей.

В настоящей работе, однако, предложен иной метод проникновения в личность и мировоззрение писателя: Пселл рассматривается в многообразных отношениях с современниками. Исследование такого рода, довольно обычное для литератур Нового времени, в применении к литературам древним и средневековым почти не проводилось, — видимо, из-за скудости материала. Пселл в этом отношении — счастливое исключение. Эпистолярное наследие, оставленное им, огромно.

Только во взаимоотношении с окружающим миром, и в первую очередь в отношениях с людьми (личных и общественных, первые постоянно переходят во вторые, и наоборот), человек реализует и проявляет вовне свою сущность. Сопоставление Пселла с его современниками, выявление сходств и различий, должно помочь определить функциональное значение качеств Пселла и его взглядов, столь по-разному оцениваемых исследователями писателя. Для достижения поставленной цели личность Пселла придется рассматривать в ее отдельных проявлениях, разбив все исследование на ряд самостоятельных очерков. Автор, однако, надеется, что «рассечение» образа Пселла будет иметь только вспомогательное значение и в конце концов приведет к созданию более или менее цельного представления о выдающемся византийском философе, писателе и государственном деятеле.

Предложенный метод имеет свои трудности. Прежде всего, картина отношений Пселла с современниками базируется в подавляющем большинстве случаев на данных самого Пселла и потому не может не быть односторонней. Во-вторых, с источниковедческой точки зрения письма и вообще произведения Пселла изучены чрезвычайно

слабо, и потому каждый очерк приходится предварять определенным разделом, в котором мы пытаемся датировать различные сочинения, главным образом письма, или определить их адресатов.

Прежде чем начать «рассечение» личности Пселла, изложим в самой краткой форме его биографию. Сделать это необходимо потому, что на биографические факты нам придется ссылаться постоянно, а изучены они недостаточно и трактуются подчас по-разному, иногда вовсе фантастично.





Глава вторая

БИОГРАФИЯ

Излагая жизненный путь Михаила Пселла, мы ни в коей мере не претендуем на создание образа писателя, наша цель — уточнить отдельные, часто мелкие, факты его биографии, чтобы в дальнейшем датировать и правильное охарактеризовать произведения Пселла, понять мотивы его действий в разных ситуациях.

Биография Михаила Пселла известна и хорошо, и плохо. В отдельные периоды мы можем проследить жизнь писателя буквально по месяцам. Но, например, смерть Пселла датируется разными исследователями с диапазоном в 20 лет!

Михаил Пселл (светское имя Константин или Констант¹) родился в 1018 г.² О месте рождения Пселла и поныне высказываются противоречивые суждения (вопрос этот отнюдь не праздный, как мы увидим далее). Сам Пселл называет своей родиной Константинополь [I (V), с. 5. 26; с. 339. 2; 16 (II), с. 225. 9].³ Однако

¹ Имя Константин в качестве пренома Пселла зафиксировано в лемме «Ямбов на смерть Склирины» [по Парижской рукописи 16 (I), с. 190] и у Продолжателя Скилицы [55, с. 141. 16]. Констант — в постановлении синода от июля 1054 г. [58, с. 166] и пародийном каноне против монаха Иакова [1 (V), с. 177. 9].

² Год рождения легко устанавливается со слов самого Пселла в «Хронографии» [20 (I), с. 50. 11–13, с. 134. 27–28].

³ Константинополь и считают местом рождения Пселла такие исследователи, как П. Безобразов [65, с. 2], Зервос [319, с. 61], Рено [20 (I), с. IX] и др. [ср. 226, с. 55].

отождествление Пселла с ипертимом монахом Михаилом из Никомидии, о смерти которого упоминает Атталиат (см. ниже, с. 227 и сл.), побудило ряд исследователей⁴ считать писателя выходцем из Никомидии. Естественно, однако, что никакие отождествления не могут заставить игнорировать неоднократно повторенное утверждение Пселла о его константинопольском происхождении.

В одном из писем [1 (V), с. 378. 25–27] Пселл точно указывает, что он родился около Нарсийского монастыря. Но П. Иоанну, посвятивший специальную статью роли Нарсийского монастыря [214, с. 289] в жизни писателя, считает почему-то, что Пселл родился непосредственно в этой обители и ассоциирует ее с дважды упомянутым писателем монастырем Красивого источника [см. 16 (II), с. 199.17; с. 272. 7].⁵ Иоанну, однако, не учитывает данных недавно опубликованного энокмия Николаю [10]. Этот Николай был игуменом монастыря Красивого источника на Вифинском Олимпе; там же, видимо, находился некоторое время и Пселл. Об этой обители скорее всего и идет речь писателя. Она ничего общего, кроме названия, и то частично, не имеет с константинопольским Нарсийским монастырем, возле которого родился Пселл.^{5а}

Мать Пселла — Феодота [1 (V), с. 46. 3] происходила, видимо, из семьи не слишком высокого ранга [1 (V), с. 5. 13], ее родители — дед и бабушка Пселла, дожив до преклонных лет, умерли примерно в одно и то же время [1 (V), с. 6. 1–2] — не ранее 40-х годов XI в. (дед Пселла упоминается в числе живых в период, когда потерявшая мужа и дочь Феодота предается аскетической жизни [1 (V), с. 44. 2–3]). Что касается отца писателя, то он принадлежал чиновному, но пришедшему в упадок роду, среди его предков упоминаются ипат и патрикии [1 (V), с. 9. 28]. Пселл — третий ребенок в семье. Из двух его старших сестер первая умерла, когда будущему писателю было 16 лет [1 (V), с. 28. 21].⁶ Отец Пселла

⁴ См. работы Зегера [289, с. 150], Алкэна [195, с. 406], Мааса [244, с. 131] и др.

⁵ Иоанну полагает, что речь идет о монастыре Пиги, расположенном за воротами того же названия [214, с. 413].

^{5а} О Нарсийском монастыре см. опубликованную в 1976 г. статью П. Готье [184 б]. <О проблеме Нарсийского монастыря в жизни Пселла см.: P. Lemerle, 1977, p. 212.>

⁶ Сохранилось письмо Феофилакта Болгарского, адресованное «брату умершего Пселла» [см. РЕВ, 24, 1966, с. 169]. Ни о каком брате сам

умер вскоре после смерти дочери,⁷ мать дожила до 1054 г. (см. ниже, с. 500).

Школьное обучение Пселла разделялось на три этапа. Пяти лет [1 (V), с. 12. 3] он был отдан в школу, где его наставлял учитель грамматики, в задачу которого входило обучение элементарной грамоте. Когда мальчику исполнилось восемь лет, родственники сочли его обучение законченным, но по настоянию матери он продолжил образование, выказав при этом блестящие способности [1 (V), с. 12. 12 и сл.]. О себе, 16-летнем, Пселл говорит: «Я только что прекратил слушать поэмы [Гомера] и с наслаждением погрузился в искусство слова» [1 (V), с. 28].⁸ Об этом же периоде своей жизни сообщает Пселл и в эпитафии своему соученику, а позднее коллеге по «университету» Никите:⁹ «Со временем моя страсть к учению все увеличивалась, и я прежде всего заинтересовался риторикой (философия сделалась предметом моих занятий позже). Поэтому я пошел искать того, кто стал бы наставником в моих занятиях. И я нашел, но не кого хотел, а того, кого почитало в то время юношество» [1 (V), с. 88. 25 и сл.].

Из сопоставления этих высказываний ясно, что в возрасте примерно 16 лет Пселл начинает третий и последний этап своего обучения — занятия риторикой. При этом он обращается к новому учителю — ритору. Этим новым (уже третьим!) учителем должен быть известный ученый и педагог того времени Иоанн Мавропод.¹⁰

Пселл ничего нигде не говорит. Возможно, Феофилакт имеет в виду другого Пселла.

⁷ Служанка, оповещающая Пселла о смертельной болезни отца, обращается к нему «ματρίκιον» [1 (V), с. 38. 1], т. е. Пселлу было не более 20 лет.

⁸ В этом возрасте Пселл ненадолго прерывает образование и отправляется на Запад в качестве помощника какого-то чиновника.

⁹ В научной литературе к имени Никита без всяких оснований прибавляют прозвище «византийский». На эту ошибку указал еще Е. А. Черноусов [116, с. 4, пр. 3]. Никиту ошибочно обычно называют учителем Пселла, хотя он был одним из старших учеников в классе, куда пришел новичок Пселл [см. 1 (V), с. 88–89]. Именно соучеником (συνμαθητής) назван Никита и в лемме посвященной ему эпитафии в *Vatic. gr.*, 672, fol. 209 [66, с. 75].

¹⁰ Пселл называет Мавропода своим единственным учителем (см. ниже, с. 239). Возможно, Мавропод заслуживает этого потому, что Пселл и раньше обучался в школе, во главе которой стоял будущий евхитский митрополит.

Последняя («риторическая») ступень образования Пселла могла длиться примерно три года [144, с. 11].

Около 1037–1038 гг. Пселл, видимо, покидает школу Мавропода. Начинается долгий и полный событиями путь писателя и государственного деятеля. Осенью 1041 г. Пселл находился в толпе константинопольцев, встречавших Михаила IV, который возвращался из болгарского похода [20 (I), с. 82]. В короткое царствование Михаила V (1041–1042) Пселл уже императорский секретарь и даже участвует в выходах василевса [20 (I), с. 103].

Что делал Пселл в период между 1037–1038 гг. (время окончания школы) и 1041 г.? Относящиеся к этой поре свидетельства несколько противоречивы и не поддаются точному распределению во времени. Из слов Пселла можно заключить, что во второй половине царствования Михаила IV будущий писатель был в Константинополе, состоял там на государственной службе и даже занимал определенное положение: он сам принимал участие в событиях царствования Михаила IV [20 (I), с. 75] и уже в то время, когда у него «только начинала расти борода»,¹¹ часто видел и слышал всеильного временщика Иоанна Орфанотрофа, был его сотрапезником на пирах [20 (I), с. 59. 2 и сл.].

От этого времени сохранилось короткое стихотворное послание Пселла к императору, содержащее просьбу о назначении его на должность нотариуса [16 (I), с. 49], а также чрезвычайно интересное письмо неизвестному лицу с описанием тяжкой доли асикрита [1 (V), № 13].¹²

Вместе с тем, по другим свидетельствам, примерно на эти же годы падает пребывание Пселла в провинции. Уже немолодой Пселл в письме к какому-то судье Филадельфии с умилением вспоминает, как он, только «выйдя из юношеского возраста»,¹³ еще безусый, по пути в Месопотамию проезжал через Филадельфию [1. (V),

¹¹ Вместо $\kappa\alpha\iota \gamma\acute{\alpha}\rho \tau\acute{\iota} \gamma\upsilon\upsilon\epsilon\iota\acute{\omicron}\nu$ в издании Рено [20 (I), с. 59. 2–3] предлагаем читать $\kappa\alpha\iota \gamma' \acute{\alpha}\rho\tau\acute{\iota} \gamma\upsilon\upsilon\epsilon\iota\acute{\omicron}\nu$.

¹² Возможно, эту должность Пселл получил в результате только что упомянутого послания к императору.

¹³ Вызывает некоторые сомнения в этой фразе слово $\acute{\alpha}\phi\epsilon\beta\eta\varsigma$ (в значении $\acute{\epsilon}\xi\acute{\epsilon}\phi\eta\beta\omicron\varsigma$). Насколько нам известно, оно не встречается в других текстах. Может быть, следует читать $\acute{\epsilon}\phi\eta\beta\omicron\varsigma$? В этом случае речь должна идти о 14-летнем Пселле (эфобы — мальчики 14–16 лет).

№ 180],¹⁴ город, где он позже исполнял судейские функции. Из этих слов можно заключить, что Пселл какое-то время был судьей Фракийской фемы.¹⁵

Должность судьи Фракисия — не единственный пост, который Пселл занимал в провинции. Согласно свидетельству одного письма, в течение разбираемого нами четырехлетнего периода будущий любимец императоров был также судьей и в феме Вукелариев.¹⁶ В какой последовательности Пселл исполнял свои судейские обязанности, остается неясным. Ко времени пребывания Пселла в провинции (в Вукелариях или Фракиии, неизвестно) относится его жалобное письмо к бывшему соученику с описанием испорченности местных жителей, чьи споры должен был разрешать молодой судья [16 (II), № 11].

Итак, четыре года, прошедшие между окончанием курса наук и 1041 г. (когда, согласно свидетельству, Пселл находился на

¹⁴ Пселл сообщает, что в это время он τὴ κατά φλόρον ἐκείνη εἰλώτερον (по изданию Сафы). П. Иоанну, видимо, читает τὴ καταφλόρον вместо τῆ κατά φλόρον (т. е. «когда я служил тому самому Катафлорону»). Иоанну [214, с. 284] сопоставляет этого Катафлорона с Иоанном Верресом Катафлоронном, упомянутым в одном из документов 1079 г. [169, № 1044]. Чтение Иоанну остроумно и правильно, но отождествление Катафлорона остается догадкой. Неясно, почему Иоанну считает, что вслед за путешествием в Месопотамию Пселл вместе с Катафлоронном отправился во Фракию и Македонию. Его ссылка (V, с. 10) неверна. Путешествие в западные провинции было первым выходом будущего писателя из Константинополя и, следовательно, не могло состояться после поездки в Месопотамию.

¹⁵ Филадельфия входила в состав Фракийской фемы и была местом пребывания должностных лиц [108, с. 206]. Безобразов ошибочно пишет, что Пселл был судьей Месопотамской фемы [65, с. 4].

¹⁶ Пселл пишет судье Вукелариев о том, что к нему обратился некий человек, которого он некогда судил. Однако в дальнейшем этот человек вновь был осужден по тому же делу «Морохарзаном, который был судьей в феме после меня» [16 (II), № 65, с. 99–100]. П. Иоанну не дифференцирует приведенные выше свидетельства о судейских должностях Пселла и считает его лишь судьей фемы Вукелариев [214, с. 284]. Не совсем ясно также, на какие свидетельства опирается ученый, утверждая, что должность судьи досталась Пселлу по протекции Епифания Филарета. Утверждение Г. Вейса [313, с. 23], что Пселл исполнял в это же время также и функции судьи Армениака, было подвергнуто сомнению П. Готье [183].

должности императорского секретаря), были весьма богаты событиями для начинающего свою карьеру ученого.

Следующий этап его жизни, совпадающий с периодом правления Константина Мономаха (1042–1055), хорошо освещен в научной литературе. Остановимся на главных событиях.

Сразу же после воцарения Константина Пселл был по рекомендации друзей (возможно, Константина Лихуда) введен в синклит, удостоен должности протасикрита,¹⁷ посвящен во все — явные и тайные — государственные дела [20 (I), с. 124]. Восхищенный красноречием молодого философа [20 (II), с. 31], император постоянно советуется с Пселлом, который сопровождает его в военных кампаниях [20 (II), с. 22] и даже оказывается в роли поверенного в интимных делах.

В это же время Пселл достигает ранга первого ученого и ратора в государстве и назначается ипатом философов. Назначение это связано с крупнейшим событием в культурной жизни Византии XI в. — открытием так называемого Константинопольского университета, а по сути дела двух отдельных школ: юридической и философской. Попытки точно определить дату основания университета, к сожалению, пока не приводят к надежным результатам. По традиции повторяемая в трудах общего характера дата 1045 г. подвергнута сомнению А. Салачем, с которым солидаризировалась Е. Э. Гранстрем [77 (II), с. 460].

Об открытии университета рассказывается главным образом в двух источниках. В одном из них — энкомии Пселла Иоанну Ксифилину [1, (IV), с. 433] говорится о борьбе, развернувшейся между «юристами» и «философами». Первые ратовали за открытие юридической школы во главе с Иоанном Ксифилином, вторые хотели школу философскую и Пселла — в качестве ее шефа. Император решил удовлетворить обе партии и приказал организовать две разные школы. Хронологических указаний в этом сообщении Пселла нет.

Другое свидетельство принадлежит Мавроподу: это указ, написанный им от лица Константина Мономаха и касающийся учреждения

¹⁷ Время, когда Пселл получил должность протасикрита, неизвестно. Его сочинение — ответ обвиняющим его в связи с занятием этого поста [16 (I), с. 361–371] — написано было уже в период преподавания в «университете» (адресовано ученикам, см. обращение φιλοσοφίας τρέφουσιν [16 (I), с. 366.24]).

юридической школы и назначения на пост ее главы номофилака Иоанна Ксифилина.¹⁸ Более или менее точных хронологических указаний здесь не содержится, если не считать сообщения о том, что Мономах «покончил с внешними войнами и внутренними волнениями» [52, № 6]. Поскольку внешние и внутренние неурядицы в правление Мономаха почти не прекращались, этот исторический намек не может быть хронологически расшифрован. Более твердую почву для датировки дает краткое сообщение Михаила Атталиата, согласно которому Мономах, «завершив это сражение (имеется в виду сражение с русскими летом 1043 г. — Я. Л.), пользовался покоем, с радостью принялся за государственные дела и учредил “музей юриспруденции”» [50, с. 27]. Вслед за этим сообщением Атталиат переходит к рассказу о подавлении восстания Льва Торника осенью 1047 г. Таким образом, учреждение университета — и тем самым назначение Пселла ипатом философов — по Атталиату (рассказ этого историка в большинстве случаев выдержан хронологически) следует датировать временем между 1044–1047 гг.¹⁹

¹⁸ Д. Цветлер [162] полагает, что указ этот не принадлежит перу Мавропода. Чешский ученый считает, что его авторами были все члены кружка Лихуда—Пселла, а инициатором и духовным вдохновителем — сам Иоанн Ксифилин.

¹⁹ Свидетельство Атталиата, также как и указ, написанный Мавроподом, касается юридической школы, однако, согласно Пселлу, юридическая и философская школы были организованы почти одновременно. Вопрос о том, какая из них учреждена раньше, по-разному решался исследователями [см. 203, с. 52 и сл.]. Философскую школу, видимо, открыли несколько раньше, поскольку, по словам указа, другие науки, в том числе гуманитарные (λογικῆ), уже имели в Константинополе «я свое место, и наставников», тогда как науки юридические еще пребывали в забвении [52, № 7]. Указ позволяет немного уточнить terminus post quem для открытия «университета». Нами уже отмечалось, что это событие произошло после того, как император покончил с внутренними волнениями. Под последними, видимо, следует понимать восстание против Склирины в марте 1044 г. [45, с. 434]. Э. Фолиери [178, с. 14], полагая, что в конце 1043 — начале 1044 г. Мавропод уже покинул Константинополь, вынуждена искусственно относить открытие «университета» к очень раннему времени — концу 1043 г. <С Э. Фолиери солидаризировалась М. Спадаро (M. D. Spadaro, 1977/8, p. 87 n. 3). Все свидетельства, касающиеся «профессорской» деятельности Пселла, собраны П. Лемерлем (Lemerle, 1977, p. 215 suiv.). Помимо упомянутых работ, посвященных открытию

Важным представляется вопрос о титулах, обладателем которых стал Пселл в царствование Константина Мономаха. В ряде источников писатель именуется ипертимом [55, с. 145.15; 59, с. 708]. Тот же титул приписан Пселлу и в леммах некоторых его произведений («Речь к императрице Феодоре» [16, (I), с. 1]; «Против Савваита» [16 (I), с. 220]; «Ямбы на смерть Склирины» [16 (I), с. 190], в последнем случае только по одной Парижской рукописи) и других. Первые два из упомянутых сочинений написаны до 1057 г., последнее в 1044 г. — год смерти Склирины. Возможность добавления титула позднейшим переписчиком в этом произведении исключена по следующей причине: в лемме Парижской рукописи Пселл назван не своим монашеским именем Михаил, а светским — Константин, которое в то время он носил.²⁰ 1044 г., таким образом, должен служить *terminus ante quem* для получения титула Пселлом.²¹ В документе, датируемом летом 1054 г., Пселл назван вестархом²² [58, с. 166]. Однако время получения этого титула определить невозможно. До того как стать вестархом, Пселл был, видимо, вестом, последний титул зафиксирован в двух письмах писателя [1 (V), с. 332.29, с. 334.9].

Мономах не только возвышает, но и обогащает своего любимца. Уже в начале правления император дарит Пселлу дом [20 (II), с. 142]. Специальным хрисовулом отдает ему во владение базилика Мадит в области Авидоса²³ [1 (V), № 142, 165; 16 (II), № 1, 64]. Тогда же писатель получает на правах харистикария [см. 16 (II),

константинопольского «университета», см.: J. Lefort, 1976, p. 279–80. Лефорт полагает, что «университет» был открыт между апрелем 1046 и сентябрем 1947 г.>

²⁰ Добавлением переписчика скорее является лемма этого сочинения в Vatic. gr., 1276, где Пселл назван «мудрейшим монахом и проэдром» (Пселл — монах после 1055 г., проэдр — только при Исааке Комнине).

²¹ В научной литературе называются различные даты получения Пселлом этого титула. Н. Скабаланович [108, с. 96] и В. Грюмель [189, с. 153 и сл.] относят это событие к позднему времени. Д. Моравчик [253, с. 437] без аргументации говорит о времени Константина Мономаха.

²² Вестархом именуется Пселл и в более позднем документе, относящемся к августу 1056 г. [193 (I), с. 24. Ср. также 16 (II), № 361; 184а, с. 95 и сл.].

²³ Дзальгер [169, № 908] датирует это событие — около 1053 г. О термине базилика см.: 185, с. 73 и сл.; 65, с. 26 и сл.

с. 137] три монастыря на Вифинском Олимпе в феме Опсикия: Келлийский, Кафарский и Мидикийский. Об этих обителях Пселл неоднократно пишет судье фемы, требуя от него не нарушать права монастырей, прося оказывать всевозможные льготы монахам и т. п. [1 (V), № 29; 16 (II), № 108, 140, 200].²⁴

В некоторых случаях Пселл проявляет незаурядную практическую сметку, собираясь, например, вложить деньги в небогатую Мидикийскую обитель, освободить ее от долгов, произвести хозяйственные усовершенствования и в результате получить прибыль. Вообще значительная часть всех владений Пселла, была, видимо, расположена в Опсикии. Новому судье этой фемы Пофосу, занимавшему этот пост в начале 70-х годов (см. ниже, с. 314), Пселл сообщает, что он и еще двое людей собираются платить взнос за некий Трапезийский монастырь [16 (II), № 38]. Какие-то отношения связывают писателя с жителями села Апикоми той же фемы. Последние производят для него «сельские работы». Пселл же в качестве компенсации заступает за них перед судьей [16 (II), № 99; ср. 16 (II), № 39]. Пселл был также харистикарием монастырей, расположенных в феме (области?) Волеро на Балканах [см. 114, с. 119–121] и вблизи Константинополя.²⁵ В целом собранные факты дают внушительный материал и представляют Пселла весьма крупным харистикарием. При этом писатель явно не отличался

²⁴ То, что эти монастыри были получены во владение Пселлом при Мономахе, ясно из письма судье Зоме о Мидикийском монастыре, датированного второй половиной 1054 г. [1 (V), № 29]. Все три монастыря вместе упоминаются в письмах [1 (V), № 77; 16 (II), № 200], скорее всего направленных тому же судье. <Пселлу — харистикарию трех упомянутых монастырей, посвятил специальную работу Р. Анастаси (R. Anastasi, 1978).>

²⁵ Пселл был харистикарием уже упомянутого Нарсийского монастыря вблизи Константинополя. Часть земель, принадлежащих монастырю, находилась в феме Эгейского моря [см. 1 (V), № 65, с. 297.12 и сл.]. Именно поэтому Пселл несколько раз обращался к судье этой фемы с просьбой о покровительстве монастырю [16 (II), № 127, 150; 1 (V), № 15]. Это обстоятельство привело Дрексля к ошибочному мнению, что монастырь был расположен в феме Эгейского моря. Письма эгейскому судье датируются относительно поздним временем (см. ниже, с. 318 и сл.); когда Пселл получил во владение Нарсийский монастырь — неясно. [Ср. 1846, с. 105 и сл.] Пселл же был покровителем обители 'H 'Αδριανοῦ τοῦ ῥοῦφῆ близи Константинополя [16 (I), № 124, 250, 251].

умеренностью и бескорыстием и, видимо, постоянно добивался передачи себе новых владений. В весьма бесцеремонном, хотя и игривом тоне требует он себе у кизичского митрополита Романа Мунтанийский монастырь.²⁶ Весьма недоволен Пселл и тем, что солунский митрополит не выполнил своих обещаний и не отдал ему во владение бедный монастырь Довросанта [16 (II), № 29, PG, t. 122, col. 1165 sq].²⁷ Процесс обогащения, активно начавшийся при Константине Мономахе, продолжался в течение всей жизни Пселла.

В начале 40-х годов XI в. Пселл уже женат, как он утверждает, на женщине царского рода [1 (V), с. 63. 26–27].²⁸ Родившаяся от этого брака Стилиана умирает не позднее начала 50-х годов в девятилетнем возрасте. <М. Кириакис датирует смерть Стилианы 1053/54 годами (М. Kyriakis, 1977, p. 158). Ученый публикует в английском переводе эпитафию Стилиане.> После ее смерти Пселл берет приемную дочь, которую в 1053 г. обручает с неким Элпидием.²⁹ В конце 30-х годов умирает отец Пселла,³⁰ а во второй половине 1054 г. — мать.

²⁶ Роман упоминается в списке митрополитов 1072 г. В 1054 и в 1079 гг. в Кизике были другие митрополиты [259, с. 60], последние даты и представляют собой хронологические рамки для письма.

²⁷ Ср. статью Тыпковой-Займовой [114, с. 388]. Мнение автора статьи, что монастырь получен Пселлом при Константине Мономахе, не кажется нам строго доказанным (нет твердых оснований отождествлять адресата письма, солунского митрополита, со школьным товарищем Пселла Никитой).

²⁸ Супруга Пселла, как полагают, принадлежала к роду Аргиров [250, с. 360]. Основанием к такому предположению послужило лишь единственное обстоятельство: Пселл одного из своих корреспондентов из этого рода — Пофоса Аргири именует «племянником». Однако обращение ἀνεψιός в византийской эпистолографии никоим образом не является свидетельством реального родства между корреспондентами. Весьма сомнительно также высказанное недавно мнение, что род жены Пселла берет начало от Стилиана Заутцы — тестя императора Льва VI [241].

²⁹ Время установлено Гийаном [193 (I), с. 123 и сл.]. Остальные даты получены путем приблизительного отсчета от этой. <Обвинение Элпидия Кенхри было недавно переиздано Дж. Деннисом (Psellus Michael, 1994–2, p. 143–155), а также в значительной своей части переведено на английский язык и откомментировано М. Кириакисом (М. Kyriakis, 1977).>

³⁰ Время установлено благодаря датировке «Панегирика матери».

Примерно в конце 40-х годов для Пселла и его друзей складывается неблагоприятная ситуация при дворе. Был отстранен от власти и заменен евнухом Иоанном «первый министр» Константин Лихуд³¹ [20 (II), с. 66]. Пселл, Ксифилин и Мавропод уже не чувствуют себя в безопасности вблизи переменчивого царя Константина Мономаха. Еще раньше друзья договорились в случае грозящей опасности принять монашество и покинуть столицу. Ксифилин и Мавропод выполняют обещанное и выезжают из Константинополя, и лишь один Пселл задерживается при дворе, при этом он умудряется сохранить за собой определенное влияние на царя. Именно в этот период получает он во владение монастыри и к тому же чувствует в себе достаточно сил, чтобы заступаться за отправившегося в почетное изгнание Мавропода (см. ниже, с. 242 и сл.).

В середине июля 1054 г. Пселл находится среди послов, передающих императорское послание патриарху Кируларию. Вскоре после этого, несмотря на активное сопротивление Константина Мономаха [20 (II), с. 67 и сл.], писатель становится монахом,³² однако остается в Константинополе и покидает его только после кончины императора в январе 1055 г. [1 (IV), с. 441]. Пребывание на Вифинском

³¹ В научной литературе широко распространена дата этого события — 1050 г., которая приводится обычно без всякой аргументации [287, с. 68; 20(II), с. 60, пр. 1 и др.].

Между тем источники не дают нам никаких оснований для точной датировки. Скилица и Зонара упоминают о падении Лихуда ретроспективно, в контексте рассказа о последних днях жизни Мономаха [45, с. 610; 59, с. 180]. Судя по «Эпикомью Лихуду» [1 (IV), с. 405], отставка произошла незадолго до смерти Мономаха. В «Хронографии» рассказ об этом событии соседствует с сообщением о смерти императрицы Зои (1050 г.), однако хронологическая последовательность в «Хронографии» не выдержана. Иоанн Мавропод, чье удаление из Константинополя было уже результатом падения Лихуда, был назначен в Евхаиту до 1050 г. [см. нашу статью — 92]. Таким образом, время падения Лихуда нельзя датировать точнее, чем концом 40-х годов.

³² Сам Пселл утверждает, что он стал монахом незадолго до воцарения Феодоры (20 (II), с. 76]. В уже упомянутом документе, датированном июлем 1054 г. [58, с. 166], Пселл назван ипатором философов и вестархом Константином (а не монашеским именем Михаил). Вероятно, в это время писатель еще не принял монашество, хотя нельзя полностью исключить и возможность того, что он продолжает в документе именоваться своим мирским именем.

Олимпе, где Пселл монашествовал в монастыре Красивого источника, длилось весьма недолго. В «Хронографии» писатель сообщает, что новая императрица Феодора призвала его к себе «тотчас» после своего утверждения на престоле [20 (II), с. 78.13]. Пселл-монах вновь начинает играть заметную роль при дворе, хотя и подвергается из-за этого нападкам окружающих [20 (II), с. 78]. В августе 1056 г., перед самой кончиной императрицы, он участвует в процессе против Элпидия Кенхри, обрученного с его приемной дочерью, но не оправдавшего надежд будущего тестя [193 (I), с. 84 и сл.; ср. 239, 238].

В короткое царствование Михаила VI Стратиотика (август 1056 – сентябрь 1057) Пселл — вновь весьма влиятельная персона, именно ему, наряду с Лихудом и Алопом, поручается миссия умиротворения мятежного Исаака Комнина [20 (II), с. 91 и сл.]. Последний, придя к власти, удостоил писателя «высших почестей» и возвел его в сан проэдра [20 (II), с. 110. 5; 1 (V), с. 357.30, ср. 1 (V), с. 423.3, с. 352.6].³³ В конце царствования Исаака Комнина, в период его смертельной болезни, Пселл играет одну из первых ролей в интриге, благодаря которой власть переходит в руки представителя рода Дук — Константина X [подробно см. 108, с. 89].

О своем положении при дворе Константина, которому Пселл помог утвердиться на троне, писатель говорит в захлеб; император горячо любит Пселла [20 (II), с. 135. 143–144, 155], возвышает его над всеми придворными и более всех ему доверяет [20 (II), с. 139]. Пселл ободряет, утешает императора, разделяет с ним опасности и ставит себе в особую заслугу то, что «привел ему патриарха» — Иоанна Ксифилина [20 (II), с. 144; ср. 1 (IV), с. 447. 8 и сл.].³⁴

³³ Время получения титула, видимо, следует отнести к осени 1057 г. [312, с. 32]. Пселл обладал также чином протопроэдра [16 (II), № 36, с. 58.11]. Время получения этого титула неизвестно.

³⁴ Отказывается доверять этим сообщениям Пселла П. Иоанну [214, с. 286]. Писатель, по его мнению, обманулся в своих ожиданиях, ибо Константин Лихуд якобы возбудил против него процесс в связи с тем, что Пселл-монах ведет светский образ жизни. В результате он должен был отправиться в Нарсийский монастырь, из которого освободился только после смерти Лихуда. Однако Иоанну никак не интерпретирует часто весьма туманный текст сочинений Пселла. Из сообщений Пселла, на которые опирается ученый, следует только, что в какой-то период Лихуду поступали наветы на писателя [16 (II), с. 295].

После смерти Константина Дуки Пселл, как и следовало ожидать, остается советником принявшей бразды правления Евдокии. Именно ему — одному из первых — объявила императрица о своем намерении выйти замуж за Романа Диогена, и именно Пселл был тем человеком, который сообщил об этом решении сыну Евдокии — будущему императору Михаилу VII [20 (II), с. 155 и сл.].

По своему обыкновению писатель безудержно хвастает прекрасным отношением к нему взшедшего на престол Романа Диогена [20 (II), с. 158], хотя ряд фактов позволяет сомневаться в основательности подобных утверждений. Во время второго похода против сельджуков (весна 1069 г.) Пселл сопровождает Романа, правда, доходит с войском только до Кесарии.

После поражения и пленения Диогена при Манцикерте (август 1071 г.) писатель открыто принимает сторону партии Дук и всячески способствует свержению и, возможно, ослеплению императора. После этого он пишет искалеченному Диогену «утешительное» послание, которое П. Безобразов не без основания назвал «нахальным издевательством над умирающим императором» [65, с. 116]. <Отношения между Пселлом и Романом Диогеном, а также судьба Пселла в период правления этого императора были недавно подвергнуты детальному анализу и в значительной мере пересмотру в статье Евы де Вриес-ван дер Велден (Eva de Vries-van der Velden 1997). Гвоздем этой работы голландской исследовательницы является никем до нее не высказывавшееся предположение, что Пселл сам принимал участие в третьем, трагически закончившемся поражении при Манцикерте, походе Романа Диогена. В основе доказательств лежит предложенная еще в 1929 г. Рено поправка к тексту «Хронографии». Последний вставил в пселловскую фразу якобы выпавшее в рукописи отрицание <οὐ>.* По мысли Рено, фразу надо понимать: «То что не избежало моего внимания, укрылось от него (Романа Диогена)». Поскольку речь идет о событиях, непосредственно предшествовавших битве при Манцикерте, надо в этом случае предположить, что Пселл находился в войске императора. Исходя из этой предпосылки, исследовательница

* <Ὁ δὲ με <οὐ> διέλαθεν, ἔλαθεν τοῦτον. Поправка была отвергнута Сикутрисом (BZ, 29 [1929] p. 47) и в моем переводе «Хронографии» (Пселл Михаил, 1978, с. 182), но принята С. Импелицери в итальянском издании сочинения Пселла (Psello Michele, 1984, vol. 2, p. 338).>

толкует и ряд других свидетельств и, в частности, утверждает, что письмо без адресата (Sathas. Bibl. gr., V [1876], № 186) было написано Пселлом из действующей армии во время последней кампании Романа. Как бы не относиться к рассуждениям Евы де Вриес-ван дер Велден, трудно отделаться от впечатления, что пассажи «Хронографии», где говорится о поражении войска Романа Диогена (особенно сообщаемые о прибытии вестников катастрофы в Константинополь и о волнениях с этим связанных), написаны отнюдь не с позиций человека, только что пережившего сокрушительное поражение от турок, а, скорее, с точки зрения писателя, находившегося в этот момент в городе.>

Нет сомнения в том, что после возвращения из монастыря Пселл вместе с государственной возобновляет и преподавательскую деятельность. Пселл не только воспитатель будущего императора Михаила VII — сына Константина X, но и по-прежнему ипат философов — «заведующий философской кафедрой» в Константинопольском университете.³⁵

В 1071 г. к власти пришел царственный воспитанник Пселла — Михаил VII. Патетически повествует писатель о горячей любви к нему нового императора [20 (II), с. 176–177]. Эти утверждения поддерживаются Анной Комниной. По ее словам, Михаил Дука и его братья, хотя и любили Иоанна Итала, тем не менее отдавали предпочтение Пселлу. Ипат философов со своим учеником Италом устраивали ученые диспуты перед просвещенными монархами [30, с. 173]. Видимо, при дворе Михаила Пселл играл роль ученого, просвещенного секретаря и приближенного философа.³⁶

³⁵ То, что Пселл преподавал в «академии» в царствование Константина Дуки, ясно из письма к кесарю Иоанну Дуке [1 (V), № 156, с. 408.3]. Несколько произведений, обращенных к ученикам, были написаны им именно в это время.

³⁶ Большинство современных биографов Пселла полагают, что вскоре после воцарения Михаила философ попал в опалу, и говорят даже о «неблагодарности» императора, о «несбывшихся надеждах» Пселла и т. д. [278, с. 10; 319, с. 74; 20 (I), с. XVI]. Основанием для таких утверждений являются сообщения источников о возвышении Никифорицы, отстранившего прочих фаворитов Михаила [50, с. 182; 59, с. 708]. Однако источники говорят лишь о том, что Никифорица сменил у кормила государства возвышенного ранее митрополита Иоанна Сидского и оттеснил кесаря Иоанна Дуку. Видимо, Пселл с самого начала нового царствования не

Наиболее темный период биографии писателя — последние годы его жизни. До недавнего времени в научной литературе была распространена точка зрения, согласно которой деятельность Пселла в Константинополе и при дворе Михаила VII закончилась в 1075 г., поскольку именно к этому году относились последние датированные сочинения писателя — «О чуде во Влахернах» и «Монодия на смерть Иоанна Ксифилина». На самом деле, однако, после 1075 г. — и именно в Константинополе! — Пселлом были написаны такие внушительные по объему сочинения, как похвальные речи Константину Лихуду и Иоанну Мавроподу (см. ниже, с. 507 и сл.), а монодия эфесскому митрополиту Никифору была даже создана не ранее 1078 г.

В то же время можно предполагать, что в последний период царствования Михаила VII Пселл покинул Константинополь. Об этом свидетельствует как сообщение Анны Комниной [см. 30, с. 173 и прим. 572], так и свидетельство письма Пселла к братьям Константину и Никифору Кирулариям (см. ниже, с. 269).

Дата смерти Михаила Пселла вот уже около ста лет вызывает дискуссии среди исследователей. Рассмотрим вкратце эту проблему. Датируя кончину писателя, большинство ученых исходит из пассажа «Истории» Михаила Атталиата, который мы приведем здесь в нашем переводе.

«Вскоре закончил жизнь ипертим монах Михаил, возглавлявший гражданское управление, который вел свой род из Никомидии, человек неприятный, надменный и не очень-то согласный с благодеяниями царя (убийство секретаря было предисловием к его смерти). Он находился на его службе (кого? — Я. Л.), и потому восторжествовало мнение, что Бог устранил его, как человека, препятствующего царским дарам и милостям» [50, с. 296 и сл.].

Предполагается, что под «ипертимом монахом Михаилом», возглавлявшим гражданское управление при императоре Никифоре Ватаниате, имеется в виду не кто иной, как Михаил Пселл. Поскольку события, о которых идет речь у Атталиата (в том числе и «убийство секретаря»), в данном случае хорошо датируются, время смерти «Пселла» определяется с большой точностью: апрель — май 1078 г.³⁷

играл активной политической роли (первым министром был митрополит Сидский!), а удовольствовался функциями ученого наставника и советника [ср. 308, с. 123, прим. 387].

³⁷ 1078 г. датируют смерть Пселла ученые Бек [138, с. 539], Готье [11] и Вейс [313, с. 105, прим. 349].

Вместе с тем уже давно было обращено внимание на определенные следы деятельности писателя в два последующие десятилетия: в 80-е и 90-е годы XI в. Укажем на наиболее важные факты.

1) В ряде рукописей «Диоптры» Филиппа Монотропа, датированной 1097 г., содержится предисловие, в лемме которого указано, что его автором является Михаил Пселл [290]. Все попытки поставить под сомнение авторство Пселла до сих пор предприняты были без достаточной аргументации [11, с. 162].

2) Сочинение Пселла о хронологии [25] не могло быть написано ранее 1091–1092 гг. [см. 276, с. 168 и сл.].

3) В ряде рукописей сочинения Николая Андидского указано имя Пселла в качестве автора стихотворного толкования произведения этого церковного писателя, которое возникло, видимо, в самом конце XI в. Ж. Дарузес ставит авторство Пселла под сомнение, единственным поводом для которого является убеждение, что Пселл не мог жить в столь позднее время... [165].

4) Одна из речей Пселла [1 (V), с. 228] имеет лемму: «Обращение граждан в клитории к царю господину Алексею Комнину». Сафа, полагавший, что после 1081 г. (время прихода Алексея I к власти) Пселла не было в живых, считал нужным исправить в лемме «Алексею Комнину» на «Роману Диогену». Исправление это произвольно и плохо согласуется с содержанием речи. Утверждения Пселла, что «царица городов», «склоненная на колени, ныне вопреки ожиданиям вновь распрямилась» и, «состарившаяся, расцвела вновь и вернулась к прежней красоте и величю юности», даже принимая во внимание энциклопедические преувеличения, никак не подходят ко времени Романа Диогена, но вполне понятны в ситуации первых лет царствования Алексея Комнина, отогнавшего сельджуков чуть ли не от самых стен Константинополя. Кроме того, считать лемму этой речи изобретением переписчика или редактора трудно, так как в лемме указана ситуация произнесения речи, извлечь которую из содержания произведения невозможно.*

5) Д. Полемис [271] обратил внимание на то, что в эпитафии Пселла на смерть Андроника Дуки [11], брата императора Михаила VII, говорится: утешением матери героя эпитафии остается один

* <Следует признать, что этот аргумент в определенной мере ослаблен тем обстоятельством, что в рукописи Vat. gr. 672, f. 285^v речь прямо адресована, согласно лемме, Роману Диогену (P. Gautier, 1980, № 15).>

сын. У Андроника Дуки было два брата — Михаил VII и Константин. Последний погиб в битве под Диррахием в октябре 1081 г., отрешившись от престола Михаил VII умер в монастыре в 1090 г. Таким образом, монодия могла быть написана между 1081 и 1090 гг. Доводы Д. Полемиса были оспорены П. Готье. Текст монодии в рукописи «разорван» и расположен в разных частях (начало: Paris, gr., 1182, fol. 179^v sq. Конец: fol. 41'). По мнению Готье, эти фрагменты не принадлежат одному произведению, имеют в виду разных героев, и, таким образом, выводы Полемиса теряют свою силу (они основываются на данных второго фрагмента, «не имеющего отношения» к Андронику).^{*} Все аргументы П. Готье — *ex silentio*, за исключением одного наблюдения: «начало» монодии как будто произносилось непосредственно после смерти героя, в то время как ее «конец» вроде бы составлен по прошествии некоторого времени после его кончины. Но и этот довод — не решающий: риторическая экзальтация здесь, как и в других случаях, не дает возможности определить время и условия произнесения речи.

К выдвинутым ранее доводам можно добавить еще один. В эпитафии Константину Лихуду, написанной после 1075 г. (см. ниже, с. 507 и сл.), Пселл расточает похвалы императору Исааку Комнину. «Исаак происходит из селения Комны подобно тому, как Филипп Македонский из Пеллы», он — «славный», «удивительный», «украсил свою родину» и т. п. [I (IV), с. 407–409]. На самом деле отношение писателя к Исааку было сложным и противоречивым (сравни характеристику этого императора в «Хронографии»). Показательно сопоставление изображений Исаака в эпитафиях Константину Лихуду и Михаилу Кирулярию: оба произведения относятся к одному литературному типу, и образы, следовательно, свободны от отличий, определяемых жанром. В сочинении, посвященном Кирулярию, Пселл тоже хвалит Исаака, но делает это с рядом оговорок и отнюдь не в столь торжественных выражениях (I (IV), с. 367). Подобного рода похвалы естественно было бы ожидать в произведении, написанном после 1081 г., т. е. по восшествии на престол Алексея I Комнина — племянника Исаака.^{**}

^{*} <А. Сидерас полагает, что второй фрагмент относится к монодии Михаилу Радину, а не Андронику Дуке (A. Sideras, 1981).>

^{**} <Этот мой аргумент в пользу датировки «Похвального слова Лихуду» временем после 1081 г. вызвал энергичные возражения У. Крискуоло.

Приведенные аргументы можно было бы считать достаточным основанием для «продления» жизни Пселла до периода царствования Алексея I и, может быть, до 1097 г., если бы этому не мешало уже цитированное место из «Истории» Михаила Атталиата.

Однако так ли уж непреложна ассоциация Михаила Пселла с ипертимом монахом Михаилом, упомянутым византийским историком?

Даже самых категорических сторонников этой ассоциации смущало то, что ипертим монах Михаил «ведет свой род из Никомидии». Ведь согласно недвусмысленному свидетельству самого писателя, Пселл родился в Константинополе (см. выше, с. 213). Стараясь обойти это противоречие, исследователи предполагали, что Атталиат имел в виду не место рождения Пселла, а место, откуда происходит его семья. Дело, однако, в том, что этот Михаил упомянут Атталиатом еще и в другом месте его сочинения, в контексте рассказа о событиях царствования Константина X Дуки [50, с. 181.4]. Там он фигурирует как Μιχαήλ ὁ Νικαιτῆρέος (цитируем рукописное чтение — в издании ошибка). В данном случае уже невозможно связывать наименование Михаила Никомидийского с происхождением его семьи из Никомидии. Более того, двукратное упоминание монаха Михаила как Никомидийского предполагает, что таким было устойчивое обозначение этого человека. К Михаилу Пселлу это уже не может иметь какого-либо отношения!³⁸

Приведенные соображения заставляют предполагать, что Пселл еще продолжительное время оставался в числе живых после 1078 г. и, возможно, даже дожил до 1097 г. В это время ему должно было бы быть 79 лет.³⁹ Сохранилась книжная миниатюра XII в. с изо-

высказанные им в предисловии к его итальянскому переводу этого произведения (Paello Michele, 1983, p. 34–39; U. Criscuolo, 1982, p. 208). Вместе с тем итальянский ученый признает, что эта речь — одно из последних сочинений Пселла. Не продолжая полемику, укажу только, что У. Крискуоло не обратил внимания на то, что мой довод — лишь один из нескольких аргументов в пользу «поздней датировки» смерти Пселла.>

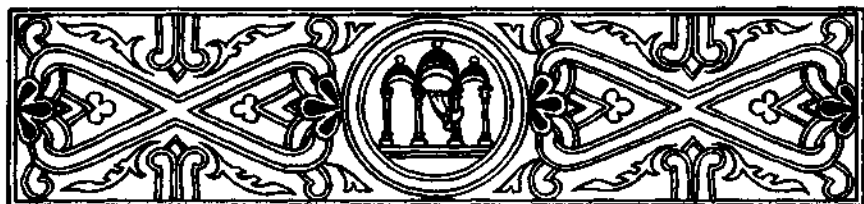
³⁸ Характерно также, что Продолжатель Скилицы, пересказывающий «Историю» Михаила Атталиата и в отличие от последнего неоднократно и недоброжелательно упоминающий Пселла, опускает цитированный пассаж своего предшественника.

³⁹ В защиту «поздней» датировки смерти Пселла убедительно и аргументированно высказался в статье, опубликованной в 1976 г., А. П. Каждан [82а, с. 27 и сл.].

бражением Михаила Пселла.⁴⁰ Писатель представлен там старцем благородной внешности, в монашеских одеяниях. Впрочем, судя по его собственным словам, к старости он располнел [1 (V), с. 455.2]. <Биография человека такого масштаба, как Михаил Пселл, безусловно заслуживает изучения и выяснения во всех своих деталях. Монографического исследования подобного рода еще не появилось. Наиболее подробно на деталях жизни и карьеры Пселла останавливается П. Лемерль [P. Lemerle, 1977; P. Lemerle, 1977-2], а в самые последние годы — голландская исследовательница Ева де Вриес-ван дер Велден. Можно предположить, что публикуемые ею ныне материалы — предварительные очерки будущего полного жизнеописания Пселла. Скрупулезность и почти исчерпывающе широкий охват материала сочетаются у автора с непреклонной верой в достигнутые ею результаты, оказывающиеся подчас парадоксальными. Как хорошо известно, события многовековой давности, о которых сохранились отрывочные и противоречивые свидетельства, только в редких случаях поддаются однозначной реконструкции. Как бы то ни было, вне зависимости от убедительности конечных результатов, пересмотр биографических свидетельств и вовлечение в научный оборот новых данных, предпринятые голландской исследовательницей, уже расширили наши знания о биографии Пселла (Eva de Vries-van der Velden, 1996; Eva de Vries-van der Velden, 1996-2; Eva de Vries-van der Velden, 1997).>

⁴⁰ Опубликовано в кн.: Spatharakis J. *The Portrait in Byzantine Illuminated Manuscripts*. Leiden, 1976, pl. 174. Указанием на публикацию я обязан В. Д. Лихачевой.

* <Проблема датировки смерти Пселла и поныне далека от разрешения. Только отсутствием интереса к современной научной литературе можно объяснить время от времени предлагаемую для этого события без всяких объяснений дату 1078 (см., например, Михаил Пселл, 1998, с. 15; A. Sideras, 1994, p. 111). Современные исследователи все чаще склоняются к поздней датировке смерти Пселла и отвергают идентификацию «Михаила из Никомидии», упомянутого у Атталиата, с Михаилом Пселлом (см.: P. Lemerle, 1977-2, p. 262, n. 28; Eva de Vries-van der Velden, 1997, p. 307, n. 95). «Оксфордский словарь по византистике» осторожно датирует смерть Пселла «после 1081 г.» (The Oxford Dictionary of Byzantium. Vol. 3 (1991), p. 1754). Уже на стадии корректуры настоящего издания в моем распоряжении оказалась рукопись статьи А. Шминка (Byzantinische Zeitschrift, A. Schmink, 2001). По его мнению, Михаил Пселл скончался осенью 1092—зимой 1092/93 г. в монастыре Красивого источника на вифинском Олимпе.>



Глава третья

МИХАИЛ ПСЕЛЛ И ЕГО СОВРЕМЕННОКИ

Главным источником для восстановления связей Пселла с его современниками является собрание писем писателя.

Корреспонденция Пселла давно и активно используется учеными для восстановления биографии писателя, реконструкции различных деталей общественной, частной, религиозной и государственной жизни византийцев XI в. И вместе с тем эти письма и поныне — нераспечатанное богатство: к ним обращаются за частными сведениями, но никогда еще не рассматривали как единое целое.

К сожалению, нет еще основательного кодикологического исследования собраний писем Пселла. Такое исследование могло бы дать ответ на весьма интересный вопрос о том, каким образом шло формирование и издание эпистографических коллекций. В качестве предварительного наблюдения можем сообщить, что ни в одной из рукописей письма не расположены в хронологическом порядке (в отличие, например, от рукописей с посланиями Иоанна Мавропода, Михаила Хониата и др.). Многие письма группируются по принципу общности адресата и даже адресатов (т. е. рядом находятся послания близким между собой людям). Письмо племяннику Исаака Комнина (1(V), № 113) следует, например, за посланием жене императора [1(V), № 112], а письма некоторым крупным чиновникам, которые были явно дружны между собой, в разных рукописях обычно соседствуют (см. ниже, с. 261). Это заставляет предполагать, что собирателями, если не издателями некоторых эпистолярных собраний, были

получатели писем. Нам твердо известно, в частности, что письма писателя собирал кесарь Иоанн Дука [22, с. 176; 16(II), № 303]. Эти данные имеют значение для атрибуции и датировки писем.

Между тем внушительное эпистолографическое собрание (более пятисот опубликованных писем),¹ дополненное многочисленными речами, — настоящая «Человеческая комедия» Византии XI в. Уже простое перечисление адресатов и героев писем и речей Пселла, сгруппированных по их рангам, должностям, социальному положению интеллектуальному уровню, могло бы показать грандиозность картины, отразившейся в «малых сочинениях» писателя. Из двенадцати царствовавших особ, на время правления которых приходилась сознательная жизнь Пселла, адресатами его писем были восемь. Из пяти константинопольских патриархов трое (Михаил Кируларий, Константин Лихуд, Иоанн Ксифилин) находились в переписке с писателем. Из высших чиновников государственных приказов и императорского двора получателями писем Пселла были: протасикрит, логофет дрома, протонотарий дрома, «министр» юстиции (ὁ ἐπί κρίσεων), «министр» по делам прошений (ὁ ἐπί τῶν δεήσεων), логофет геникона, протовестиарий, сакеларий, хранитель императорской чернильницы (ὁ ἐπί τοῦ καυκλείου), управляющий императорским имуществом (ὁ ἐπί τῶν οἰκισκῶν), великий эконоμ, ливелисий, остиарий, великий друнгарий и др. Среди адресатов Пселла — носители высших титулов византийской табели о рангах: кесарь, куропалат, протопродр, продр, магистр, вестарх, вест, патрикий.

Немало писем Пселл отправил на периферию империи провинциальным властителям, духовным и светским. Судьям шестнадцати фем и областей адресовал он свои послания. Патриарх Антиохии (скорее всего Эмилиан), митрополиты и епископы Амасии, Кизика, Эфеса, Мелитины, Никомидии, Евхаиты, Парнаса получали письма столичного писателя. Спускаясь вниз по иерархической лестнице,

¹ Письма Пселла, помимо уже цитированных нами изданий Сафы, Курца—Дрекля и Буассонада, публиковались в изданиях, помещенных под №28, 282 нашей библиографии. Ряд писем Пселла поныне остается в рукописи, см. о них работы, помещенные под № 166, 156, 312 нашей библиографии. <Число публикаций писем Пселла в настоящее время заметно увеличилось. Назовем только некоторые из них: А. Зайцев, Я.Любарский, 1978; А. Karpozilos, 1980; M. Agati, 1980; K. Snipes, 1081; P. Gautier, 1986; E. Maltese, 1987; E. Maltese, 1988 (в значительной мере дублирует другие издания). Полный список публикаций писем Пселла см. E. Papaioannou, 1998.>

следует упомянуть среди корреспондентов игуменов, архимандритов и т. д. Наконец на самой нижней ступени этой иерархии находятся бесчисленные монахи, нотариусы, безымянные родственники и люди разных положений и состояния (среди них даже музыкант), которых Пселл за редким исключением не удостаивает писем, но которые присутствуют в его корреспонденции в качестве объекта ходатайств и просьб.

И только один слой византийского общества представлен относительно бедно в эпистолярном наследии писателя — это воинское сословие.²

Это эпистолографическое богатство нуждается в освоении и классификации. Последняя может быть произведена по разным принципам, из которых следует выбрать наиболее подходящий для целей этого исследования. При всем разнообразии положений и функций адресатов, классифицировать письма по этому принципу нецелесообразно, уже хотя бы потому, что в период переписки, длившейся иногда десятилетия, корреспонденты успевали проделать почти весь *cursus honorum*, перейти из светского звания в духовное, стать чуть ли не «первыми министрами» и попасть в опалу. Таким образом, письма, направленные одним и тем же лицам, оказались бы в разных рубриках. Такая классификация, весьма полезная, например, в исследовании состава господствующего класса Византии XI в., была бы непригодной в работе, предмет которой — личность автора писем.

Можно было бы предложить и иной — литературно-типологический принцип классификации. К XI в. письмо уже давно превратилось в один из жанров риторической прозы. Реальные чувства и мысли эпистолографа укладывались в определенные, восходящие к античности типы или жанры писем.³ Такая классификация не

² На фоне огромного множества гражданских чиновников можно назвать только единичных лиц воинского сословия, которым Пселл посвящает свои произведения или адресует письма. См., например, монодию некоему Николаю [16 (I), с. 216 и сл.], письма Катакалону Кекавмену [16 (II), № 30, 41, 59; см. о них 86], Далассину [16 (II), № 264] и некоторые другие.

³ Литература, трактующая о стандартах византийской и особенно античной эпистографии, очень велика. Из относительно недавних работ см. № 62, 223, 305, 309 нашей библиографии. Литературу вопроса см. в кн. В. А. Сметанина [110].

представляет трудностей, поскольку подавляющее большинство писем Пселла идеально подходит под какой-либо из двадцати одного типа, предусмотренных еще в трактате *Περὶ ἐπισημασίας*, который приписывают Деметрию Фалерскому, и который дает начало большинству позднейших письмовников. Но и это подразделение — универсальное, всеобъемлющее и потому в принципе пригодное для любой эпистолографической системы — могло бы помочь исследованию эволюции жанра, но никак не раскрытию образа эпистолографа. Между тем, любая классификация, а она всегда по необходимости относительна и одностороння, обязана быть целесообразной, т. е. соответствующей задачам конкретного исследования.

Закономерен вопрос: возможно ли вообще разглядеть авторское «я» византийского писателя за набором риторических клише и выражениями стандартизованных чувств, столь обычных для писем этого периода? Немало исследователей Нового времени вынуждены были давать на этот вопрос категорически отрицательный ответ. «К сожалению, по сохранившимся письменным источникам, — пишет Г. Литаврин, — мы можем судить скорее не об объеме чувств и мыслей, а о степени образованности отдельных представителей византийского, как правило, привилегированного общества» [33, с. 61].* Между тем уже античная теория эпистолографии не только положительно отвечает на поставленный вопрос, но и настойчиво требует от писателя самовыражения. «Письмо, — пишет автор упомянутого выше трактата, — должно быть самым полным выражением нравственного облика человека, как и диалог. Ведь каждый, кто пишет письмо, дает почти что изображение своей души» [цит. по: 62, с. 7 и сл.1]. Михаил Пселл полностью примыкает к этой традиции. «Как икона в красках представляет одухотворенный образ прототипа, так твоё письмо рисует тебя», — хвалит Пселл куратора Кипра [16 (II), с. 185. 12–13]. Не столько важны красоты стиля, сколько «свидетельства характера пишущего», — обращается писатель к патриарху Антиохии, видимо, мало искушенному в искусстве риторической эпистолографии [16 (II), с. 117. 19–22]. Письменная речь, по мнению Пселла, отражает врожденные свойства автора даже лучше, чем речь устная [1 (V), с. 242–243].

* «Гораздо более «снисходительно», чем упомянутые выше авторы, оценивают византийских эпистолографов А. Литлвуд и Дж. Деннис (A. Littlewood, 1976; G. Dennis, 1988).>

Не следует понимать эти откровения буквально. Искушенный во всех риторических тонкостях византийский эпистолограф никогда не позволит себе раскрыться полностью в письме или даже серии писем одному адресату. Следуя универсальному в риторике принципу уместности, он, напротив, приспособит не только слог, но и строй мыслей и чувств к адресату, проявляя тот самый «протезизм», который издавна считался одной из основных добродетелей истинного оратора. По иным письмам можно легче судить о характере их адресата, нежели автора. Тем не менее пределы видоизменения и приспособления византийского эпистолографа не беспределельны. Являясь каждый раз в новом обличье, он не просто меняет маску, но и на деле реализует какую-то частицу своего «я», всякий раз генерализируя и выдавая за облик в целом какую-то из сторон своей личности. Процесс этот, как правило, двусторонний: автор не только «делает себя» под адресата, но и «приспосабливает» к себе его облик.

Адресаты — вернее, их образы в письмах Пселла — в какой-то степени оказываются объективацией отдельных черт его характера. Явление это осознается и самим писателем. Так, в одном письме [1 (V), № 176], обращенном сразу к трем лицам и потому представляющем для эпистолографа понятные трудности, Пселл обеспокоен тем, что ему придется применяться сразу к трем разным характерам. Его задача, впрочем, облегчается тем, что сам он, как ему кажется, объединяет свойства всех трех адресатов [1 (V), с. 453. 3–4].

Вникнуть в образы возможно большего числа корреспондентов писателя, проследить отношения, выяснить, где это можно, причины симпатий и антипатий, значит в определенной мере понять внутренний мир Пселла: скрытый в каждом отдельном послании образ эпистолографа должен предстать из всей переписки в целом.

Из приведенных предпосылок вытекает и предложенный нами принцип классификации писем: они разбиваются по адресатам, а сами адресаты, как правило (есть и неизбежные исключения!), группируются не по официальному положению в обществе, а по своему «интеллектуально-правственному» типу. Этот принцип уступает другим в формальной четкости, но весьма удобен для целей настоящей работы: в письмах к каждой из групп адресатов, предполагаем мы, раскрывается какая-то частица души самого Пселла.

МИХАИЛ ПСЕЛЛ И ИОАНН МАВРОПОД

Первые связи Пселла, иногда длившиеся всю жизнь и оказавшие немалое влияние на его судьбу, завязывались в школе Иоанна Мавропода. Об этой школе сохранились кое-какие сведения.

Племянник Мавропода, императорский нотариус Феодор Китонит, в стихах на смерть своего дяди пишет: «О блаженнейший, слава твоя распространилась по всему свету, как во всеобщую школу, съезжала она в твой дом жаждущих познать науки».⁴ Наиболее интересные данные содержатся у самого Мавропода.⁵ Школа помещалась в частном доме Иоанна Мавропода, причем сам он исполнял там, видимо, обязанности директора. «Я разрешал споры учеников и учителей и был готов ответить всем» [46, № 47.26–27]. Из этих слов можно также сделать вывод, что обучение велось по традиционной для Византии вопросно-ответной системе. Обучение в школе было бесплатным. Наряду со знаниями ученики получали также нравственное воспитание («Я кое-что сделал и для нравов многих» [46, № 92. 44]), многие из их числа стали высокопоставленными чиновниками и учителями [46, № 92.49–50].

Сам Пселл через несколько десятилетий после окончания школы в связи со смертью своего соученика, уже упомянутого Никиты, вспоминает об этих годах: ученики ходили насуспенные и лохматые, озабочены были прежде всего тем, чтобы не быть, а казаться мудрыми, хвастались своими мнимыми успехами в науках и презирали новичков [1 (V), с. 89. 26 и сл.].

В школе Мавропода завязывалась дружба между учениками, а также между учениками и учителями; она не прерывалась долгие годы. «О, благородная троица братьев, прекрасный и сладостный плод моего учения...», — обращается к своим бывшим воспитанникам через десять-пятнадцать лет после закрытия школы Иоанн Мавропод из далекой Евханы [46, № 157]. О «круге моих бывших учеников» сообщает неизвестному адресату Иоанн еще в бытность свою при дворе императора Константина Мономаха [46, № 123].

⁴ Произведение Феодора опубликовано в приложении к статье Евстриадиса [175, с. 431. 39–44].

⁵ См. стихотворение Мавропода, озаглавленное в рукописи «К собственному дому, в связи с тем, что продал и покинул его» [46, № 47, ср. также 46, № 98].

Среди эпистолярного наследия Пселла сохранились письма, обращенные к его соученикам. Какому-то школьному товарищу еще совсем юный Пселл жалуется на тяготы своего положения судьи одной из малоазийских фем. «Передай горячий привет доброму Стилиану, — кончает Пселл послание, — он ведь нац и из нашей прежней компании» [16 (II), № II]. Интересны два письма соученику по имени Роман. В первом Пселл выражает надежду, что его адресат еще не забыл дружбу, которую они во время совместного обучения договорились беречь, и отправляет к Роману двух юношей, с великим усердием изучающих «орфографию» [16 (II), № 16]. Во втором Пселл просит прислать ему сочинения Плутарха, интерес к которому, вполне вероятно, был привит в школе Мавропода [16 (II), № 17]. Письма другому соученику — Георгию, написаны по деловому поводу. Между бывшими однокашниками возникает какое-то недоразумение, но и здесь Пселл выражает свои дружеские чувства и утверждает, что друзья в письмах могут обойтись без риторических прикрас и пользоваться незатейливым стилем, подобающим для искренних отношений [16 (II), № 25, 26]. Тесные отношения связывают Пселла в течение долгих лет и с другим соучеником — Николаем Скпиром (см. ниже, с. 318). О дружбе, связывавшей Пселла и Никиту, уже говорилось.

Однако наибольшую взаимную привязанность испытывали Пселл и его учитель Иоанн Мавропод.⁶ Отношения этих двух людей

⁶ Основные источники для восстановления взаимоотношений Пселла и Мавропода:

1. Энокмий Пселла Иоанну Мавроподу [1 (V), с. 142–167], написанный после 1075 г. (см. ниже, с. 508). <Опубликован также в Pselhus Michael, 1994, p. 143–174.>

2. Письма Мавропода Пселлу. Лишь одно письмо [1 (V), № 202] имеет имя адресата, получателем других Пселл считается предположительно. Без сомнения, Пселл был адресатом письма № 22 [46; см. 176, с. 13; 180, с. 30]. Кроме того, Пселлу скорее всего направлялись послания № 150, 158, 159, 169 [46]. Все письма были отправлены во время пребывания Мавропода в Евхаите. <Письма Мавропода заново опубликованы вместе с английским переводом и комментарием А. Карпозилосом: *Ioannis Mauropodis*, 1990.>

3. Письма Пселла Мавроподу. В издании К. Сафы опубликовано шесть писем Пселла Мавроподу [1 (V), № 40, 80, 173, 182, 183, 203]. В издании Курца—Дресля кроме писем, уже в рукописи адресованных евхаитскому

заслуживают особого внимания потому, что они продолжались почти на протяжении всей жизни обоих; и прежде всего потому, что это единственный случай, когда сохранились не только письма Пселла Мавроподу, но и Мавропода Пселлу.⁷

«Как живешь, мой брат и господин? Ты — отец моей учености, возделавший почву моей души и посадивший первые корни наук, или, лучше сказать, прививший мне свои черенки и сообщивший моим природным побегам свои добродетели». В этих словах благодарный ученик Пселл (ему в это время уже за 30, он первый ученый и занимает важные государственные посты) признает большую заслугу Иоанна Мавропода в формировании его личности [16 (II), с. 76].

В другом письме Пселл пишет: «Знай, что ты один — отец моей учености и воспитатель, если есть во мне сколько-нибудь добродетели, и наставник в божественном. Никогда не забуду я этого» [1 (V), с. 466–467]. Та же мысль содержится в энкомии Пселла

митрополиту [16 (II), № 33, 34, 45, 46, 105, 229], содержится также несколько посланий, отнесенных издателями Мавроподу предположительно [16 (II), № 190, 217, 228, 265, 269]; послание № 255 [16 (II)] отнесено Иоанну Ксифилину, однако в дальнейшем «переадресовано» Дрекслем Иоанну Мавроподу. Судя по содержанию, только № 190 из них может быть без сомнений отнесен к евхаетскому митрополиту. Можно выдвинуть также предположение, что именно Мавроподу были адресованы три следующие в рукописи одно за другим письма [1 (V), № 41, 42, 43]. Они написаны духовному лицу и интимному другу Пселла. Мотивы и даже лексика письма № 91 [1 (V)] весьма напоминают мотивы и лексику письма № 105 [16 (II)] Мавроподу. Ситуация, вырисовывающаяся из послания № 93 [1 (V)] (Пселл ходатайствует перед императором за адресата, добывающегося возвращения в столицу), вполне соответствует ситуации, возникшей в отношениях Пселла и Мавропода в 50-х годах XI в. Как утверждает Г. Вейс [318, с. 27 и сл.], Мавроподу были направлены четыре оставшиеся неопубликованными письма (Cod. Barber., 240, fol. 137, fol. 146–147, Sanart. S. 54, № 4–7). <Ныне опубликованы: P. Gautier, 1986, p. 187–189.>

Все письма должны относиться к периоду пребывания Мавропода на посту евхаетского митрополита и не могут быть датированы временем до конца 40-х годов.

⁷ Подробно вопрос об эпистолографическом наследии Иоанна Мавропода разбирается в нашей работе [92]. <Перепечатано в: Я. Любарский, 1999, 161–173. См. также А. Кагрозилос, 1982, а также предисловие и комментарии к изданию писем Мавропода: Ioannis Mauropodis, 1990.>

Мавроподу: «Еще в ранней юности я учился у этого великого мужа и, если можно так выразиться, горел жаждой к учению. Почерпнув, сколько мог, из источника знаний, я получил достаточную подготовку для всех наук» [1 (V), с. 148].

Данных о взаимоотношениях Мавропода и Пселла в годы ученичества последнего почти нет.

Любопытным свидетельством этого периода жизни будущего писателя является письмо Пселла (возможно, самое раннее из всех сохранившихся!), обращенное к своему учителю, скорее всего к Иоанну Мавроподу [16 (II), № 13]. Пселл присутствует на какой-то пышной свадьбе. Однако брачные песни не радуют юношу, и он молит Господа скорее прекратить празднество. Как только свадьба кончается, он спешит к своим обычным занятиям и жаждет наслаждаться преподаванием учителя — адресата письма. Однако бес, который, как известно, во все эпохи с особым удовольствием искушал школяров, на этот раз попутал Пселла, и он, «отказавшись от наслаждения милой и сладостной риторикой», отправился к храму Святых Отцов, где в то время происходило празднество. Ехать надо было морем, стояла непогода,⁸ и в результате неудачного путешествия Пселл заболел. Считая себя на пороге смерти, он просит учителя прийти навестить его. Тому же адресату (т. е. скорее всего Иоанну Мавроподу) Пселл направляет и два других письма [16 (II), № 14, 15]. В одном из них он упрекает учителя в том, что тот не пришел к нему, в другом (написанном уже после визита) выражает надежду «вновь насладиться речью, льющейся из его медовых уст». Оба послания пестрят заклинаниями в дружбе и упреками в пренебрежении ею. За строками писем (каждое из них, особенно первое, несмотря на риторические излишества, интереснейший человеческий документ) встает образ молодого Пселла, искренне преданного учению, в то же время не чужающегося светских удовольствий, хотя и стесняющегося своих слабостей. Пройдет полтора десятка лет, и Пселл, сам став учителем, будет сурово поучать своих нерадивых учеников.

Между Пселлом и его учителем — у нас нет прямых указаний, и мы не решаемся безоговорочно назвать его Мавроподом — существуют дружеские и, видимо, весьма свободные отношения. Примерно

⁸ Дело происходит в декабре. День Святых Отцов отмечался в последнее воскресенье перед Рождеством.

в 1037–1038 гг. Пселл покидает школу Мавропода. Учитель и ученик на некоторое время должны расстаться: Мавропод в конце 30-х годов удаляется в монастырь, Пселл начинает свою служебную карьеру и, видимо, уезжает из Константинополя.

В начале царствования Константина Мономаха Пселл вновь в столице. После 1043 г. Мавропод по ходатайству Пселла, несмотря на желание остаться в тени, приближается ко двору [20 (II), с. 66]. Он не занимает никаких официальных должностей, но пользуется значительным влиянием [46, № 118, 119]. Между 1044 и 1047 гг. Мавропод оказывается в роли одного из организаторов так называемого Константинопольского университета. В конце 40-х годов, видимо в связи с начавшимися гонениями на партию придворных интеллектуалов во главе с Лихудом, положение Мавропода при дворе пошатнулось: письма Иоанна этой поры изобилуют жалобами [46, № 142, 147, 149 и др.]. В конце концов Мавропод вынужден принять назначение на митрополичью кафедру в далекую Евхаиту.⁹ Новый пост страшит «любителя тихой и независимой жизни», вызывает поток риторической ламентации [46, № 147, 148]. И по прибытии в Евхаиту не может Мавропод примириться с новой должностью, жалобы в письмах усиливаются и постепенно доходят до своего эмоционального предела [46, № 153, 155, 160, 163, 166 и др.]. Сколько времени Иоанн оставался на своем посту, определить трудно, хотя в 1075 г. (*terminus post quem* для зкония Пселла Мавроподу) он еще был евхаитским митрополитом.*

Все эти годы были временем близкого общения, более того, сотрудничества Мавропода и Пселла в науке, литературе, политике. К сожалению, у нас мало данных о взаимоотношениях этих людей в период, когда оба они жили в Константинополе. Единственный

* <Предложенная мною реконструкция биографии Мавропода была принята несколькими исследователями, в том числе автором монографии о Мавропode А. Карпозилосом (А. Karpozilos, 1982). Позже А. П. Каждан значительно «радикализировал» мои утверждения и предложил ряд новых достаточно смелых датировок. Так, по утверждению ученого, Мавропода назначил на митрополичью кафедру Евхаит не Константин IX Мономах, а Константин X Дука в 60-х годах XI века. Эта гипотеза заставила А. П. Каждана пересмотреть хронологию эпистолярного наследия Мавропода и Пселла (А. Kazhdan, 1993). Новые датировки А. П. Каждана не вызвали сочувствия у А. Карпозилоса (А. Karpozilos, 1994).>

⁹ Пользуемся нашей реконструкцией биографии Иоанна [92].

сохранившийся документ этого времени — письмо Мавропода [46, № 122], касающееся одного из центральных событий культурной жизни Византии XI в. — открытия Константинопольского университета. Мавропод сообщает о том, что его окружил «святой хор божественной философии», — под этим выражением надо, видимо, понимать студентов вновь открытой в Константинополе философской школы. Иоанн вступил с ними в беседу и остался чрезвычайно доволен их ревностным отношением к наукам и особенно единодушным желанием видеть во главе своей школы Константина (т. е. Пселла). Мавропод обещал студентам поддержку перед самодержцем, а также «в том, что связано с согласием других молодых людей, которые интересуются ныне наукой и знанием». Мавропод желает Пселлу всяческого успеха, а также «отдает себя целиком и полностью» в распоряжение Пселла.

Некоторый комментарий это послание Мавропода получает в энциклопедии Пселла Иоанну Ксифилину [1 (IV), с. 433], где говорится о борьбе, которая развернулась между будущими студентами — «юристами» и «философами» (см. выше, с. 218). Возможно, именно эти раздоры имел в виду Мавропод, обещая свою поддержку в том, что «связано с согласием других молодых людей». Император решил удовлетворить тех и других и приказал организовать две разные школы.

У нас нет оснований вслед за большинством исследователей утверждать, что Мавропод вместе с Пселлом преподавал в университете; ясно, однако, что отношения между бывшими учителем и учеником в ту пору были наилучшими.

Этими скудными данными собственно и ограничиваются свидетельства об отношениях Пселла и Мавропода в период их совместного пребывания в столице. Напротив, от того времени, когда между ними пролегли сотни миль труднопреодолимого пути (Мавропод жалуется, что в Евханте нелегко найти человека, который бы доставил письмо в Константинополь [46, № 163]), мы имеем довольно много свидетельств, рисующих характер отношений учителя со своим бывшим учеником: оказавшись вдали друг от друга, Мавропод и Пселл ведут оживленную переписку. Сохранившиеся от этого периода письма требуют к себе чрезвычайно осторожного отношения. Не все послания Пселла в рукописях имеют имя адресата, большинство отнесено к Мавроподу издателями. Что касается евхантского митрополита, то все его письма адресуются гипотетично.

Можно с достаточными основаниями предполагать, что уже первое дошедшее до нас письмо Иоанна, отправленное из Евхайты [46, № 150], обращено к Пселлу. Его адресат (Константин) — ближайший друг отправителя, человек, «достигший вершин мудрости». Мавропод просит его о помощи, а, как будет видно из дальнейшего, именно Пселл принял на себя роль заступника своего учителя перед императором.¹⁰ Первая часть послания выдержана в чрезвычайно раздраженных тонах. Мавропод предан, продан, а затем и забыт своим другом. Не заботы о карьере Иоанна, не стремление обеспечить ему благоденствие и славу руководствовали им, а желание избавиться от Мавропода. Сам же Мавропод никогда не допускал никакой несправедливости по отношению к друзьям. Тем не менее, продолжает Мавропод, он и поныне сохраняет верность дружбе и, находясь в изгнании, вызывает в памяти образ друга, надеясь этим письмом растопить лед их нынешних отношений.

Таким образом (если, конечно, адресат этого письма действительно Пселл), ученик Мавропода был как-то причастен к изгнанию своего учителя или, быть может, уговаривал Иоанна принять это назначение. Сравним следующее письмо [46, № 151], в котором Мавропод проклинает тех, кто по невежеству превозносит его в связи с его назначением. «Острова блаженных оказались призрачным счастьем...», — сетует митрополит.

Видимо, Пселл действительно благожелательно относится к новому роду деятельности Мавропода. Об этом свидетельствует его письмо, отправленное, как явствует из содержания, вскоре после отбытия Мавропода из столицы [16 (II), № 45]. Это наиболее теплое и искреннее послание из всех тех, что отправил своему «страждущему» учителю преуспевающий ученик. До Пселла, скорее всего, еще не дошли жалобы Мавропода (вспомним: путь до Евхайты занимал два месяца, найти письмоносца было нелегко). Пселл спрашивает о самочувствии и настроении Иоанна, советует ему не огорчаться, если не все, что он нашел на месте, соответствует его желаниям, беспокоен, не тяготят ли Мавропода новые обязанности, убеждает учителя в том, что, хотя тот и предпочитает тихую жизнь

¹⁰ По мнению Нейманна [256, с. 598], это письмо адресовано другому Константину — Лихуду. Однако, как уже говорилось, Мавропод, видимо, получил назначение в Евхайту вслед за отставкой Лихуда, который, конечно, уже не смог бы оказать какой-либо помощи евхайтскому митрополиту.

частного человека, истинное его призвание — «управлять и предводительствовать телами и душами». К началу пребывания Мавропода в Евхаите можно отнести и другое письмо Пселла [16 (II), № 34].¹¹ Писатель уже получил полные отчаяния письма митрополита и, отвечая на них, продолжает убеждать своего корреспондента в преимуществах его положения: «Ты обладаешь счастьем, — пишет Пселл, — здесь же нет ничего постоянного, ничего твердого, но все

¹¹ Пселл пишет о том, что Мавропод еще недавно «наслаждался этим Эдемом» (т. е. жил при дворе). Некоторые основания для датировки дает также следующее сообщение Пселла. Пселл информирует друга о положении в столице: «Мы же теперь и вовсе находимся под луной и солнцами и порядок очень изменился. Наша луна заняла теперь не седьмой, а первый пояс, а под ней находится блистательная и сиятельная чета... τῆλαυτῆς οὐβυρία» (с. 55.7 и сл.). Не вызывает сомнений, что под «солнцами», а также под «блистательной четой» Пселл имеет в виду императора и императрицу (сравнения императора с солнцем обычны для византийских энкомиастов). Можно предположить, что «луной», красоту и молодость которой он дальше описывает, Пселл называет прекрасную аланку, любовницу Константина Мономаха, ставшую влиятельнейшей фавориткой императора в конце 40-х годов [20 (II), с. 45–46]. Эти отождествления помогают уточнить не только сроки отправления письма, но и время назначения Мавропода митрополитом. Письмо было написано не позже 1050 г. (года смерти императрицы Зои), но и не намного раньше этого срока (Пселл сообщает о возвышении аланки, происшедшем в конце 40-х годов).

<Упомянутое письмо Пселла по-разному датировалось и комментировалось исследователями. П. Маас и Е. Фолнери полагали, что под «луной» Пселл имел в виду Склирину, и соответственно датировали письмо началом 40-х годов. С моим толкованием («луна» — аланка) солидаризировался А. Карпозилос (A. Karpozilos, 1982, p. 39–40), но не согласилась М. Спадаро (A. Spadaro, 1975, p. 361, n. 28). Р. Анастасия, а вслед за ним и А. Каждан, полагали, что имеется в виду императрица Евдокия и относили письмо к 1068 г. (R. Anastasi, 1988; A. Kazhdan, 1993). В самое недавнее время с несколько парадоксальными идеями относительно этого письма выступила Ева де Вриес-ван дер Велден, которая предполагает, что «луна» — молодая жена Пселла и датирует письмо временем женитьбы писателя — 1043/44 гг. (Eva de Vries-van der Velden, 1996-2). Как видно, загадочно-риторическая манера выражаться, свойственная Пселлу и другим византийцам, дает ныне возможность предлагать совершенно различные толкования словам и фразам, ясным и однозначным для современников писателя.>

движется и меняется... а если где и вырастет животворное дерево, доступ к нему нам преграждают мечи...» [с. 54].

Константинопольскую придворную жизнь Пселл иронически называет Эдемом и в раздражении восклицает: «Если хочешь, давай поменяемся местами, бери себе дворец, а я возьму Евхаиту. Но что за насмешки? Что это ты заулыбался во весь рот? Оставь себе подир и клубук, я их у тебя не отнимаю, поменяемся только местами, а не священными одеждами» [с. 54. 21 и сл.]. В период написания письма Пселл явно подвергается гонениям со стороны противников, взявших верх при дворе.

Тот же мотив звучит и в другом письме Пселла Мавроподу [1 (V), № 173]. В письмах этой поры, направленных другим лицам, также содержится немало жалоб [см. 16 (II), № 37, 191 — Иоанну Ксифилину; 16 (II), № 198 — неизвестному лицу и др.].

Упреки и раздраженный тон характерны и для многих других писем Пселла к Мавроподу, распределить их во времени, к сожалению, не представляется возможным. Мавропод возложил на Пселла роль ходатая и заступника при императорском дворе,¹² которую тот старается по мере сил добросовестно выполнять. В ряде писем Пселл живописует Иоанну свои усилия: «Ни в дружеских беседах, ни в разговорах с императором, ни при других обстоятельствах не забываю я твоей дружбы и твоей добродетели, но зайдет ли разговор о науке, дружбе, о прелести речи, утонченности нрава или высоте добродетели, я привожу в пример тебя одного...» [1 (V), с. 465]. «Когда я хочу говорить о тебе с другими, я веду речь свободно... и даже уши императора не избавляю от похвал тебе» [1 (IV), с. 464].

В другом письме Пселл рассказывает, как ему удалось заставить замолчать евхаитцев, явившихся к императору с жалобами на Иоанна. Пселл, по его словам, сумел изменить мнение Мономаха об Иоанне, и тот вместо того, чтобы слушать обвинителей и самому обвинять, принялся превозносить Мавропода. Ипат философов в присутствии императора прочел письмо митрополита, сравнил

¹² Скорее всего, именно Пселлу было адресовано письмо [46, № 168], в котором Мавропод благодарит за содействие и память о себе и сообщает о том, что направил новое послание императору в надежде на помощь друга [ср. 256, с. 528]. К. Нейман справедливо связывает это послание с письмами Пселла Мавроподу [1 (V), № 80, 183].

его с сочинениями древних и признал превосходство слога своего друга [1 (V), № 80].¹³

Однако ходатайства Пселла не всегда достигали цели. В одном из посланий он сообщает, что, несмотря на свое влияние, ничего не может сделать, ибо «даже острым топором срубишь не всякое дерево». Придет время, обещает придворный философ, и он склонит на свою сторону самодержца, для этого нужно только приступить к делу вовремя, и тогда император может стать мягким и податливым.

Переписка Пселла и Мавропода не только характеризует взаимоотношения этих людей, она в какой-то степени воссоздает духовную атмосферу константинопольского двора и облик двух различных представителей византийской интеллигенции того времени. Наиболее интересным в этом отношении является другое обширное послание Пселла [16 (II), № 229]. Во второй его части говорится о том, что император постоянно восхищается Мавроподом и даже издевается над своими философами и софистами, поскольку те намного уступают опальному митрополиту. Того же, «кто стремится вывести тебя из бурного моря в спокойную гавань и для твоего и своего блага вернуть в город, где он живет сам, часто с любовью и удовольствием призывают во дворец (так Пселл пишет о себе. — Я. Л.), и он надеется встретиться с тобой, еще более великим, чем ты был ранее...»

Однако самое интересное дальше: речь идет о каком-то предполагаемом приезде Мавропода в Константинополь с целью испросить милость у императора. В связи с этим Пселл дает советы своему бывшему учителю. Войдя к императору, Иоани не должен «хмурить брови» и словом упоминать о наветах, о своих страданиях, о желании бежать из Евхаиты. Мавроподу надо сменить «муз на харит», т. е. проявить приятность нрава. Ловкий царедворец, как режиссер, подготавливает будущую сцену (используем выражение самого Пселла). Он опасается, как бы Мавропод не явился «без маски» и не испортил бы все «лицедейство». Впрочем, и это не страшно: Пселл у самого порога «примет» Иоанна и тут же «приспособит к драме». Изворотливый придворный, проникший во все тайны науки обхождения с жуиrom на троне — Мономахом, искренне

¹³ Вполне вероятно, что об этих волнениях евхаитцев идет речь и в эвкомии Пселла Мавроподу [1 (V), с. 167. 26 и сл.].

готов помочь почитаемому им Мавроподу. Не случайно, однако, бывший ученик предлагает ему себя на роль наставника в лицемерии: поклонник уединенных занятий, нечестолюбивый и прямой Мавропод явно неприспособлен для готовящегося лицедейства.

Однако усилия Пселла, как и его сообщения из Константинополя, не удовлетворяют и вызывают раздражение у митрополита по неволе. Свидетельство тому — обширное письмо Мавропода (№ 159), которое с очень большой вероятностью может быть адресовано Михаилу Пселлу.¹⁴ «Недосуг мне много разглагольствовать, в том числе и с вами, мудрецы и любители наук, нет у меня времени на длинные речи, другие дела торопят меня... А те беседы, речи и блаженная жизнь, которых мы сегодня лишены, прощайте! Это были, видно, сны и ничто более. Ныне другая жизнь, тяжкая... И что печальнее всего, нет мне проку от друзей в тяжких обстоятельствах и даже от самого дорогого и горячо любимого! Он пребывает в бездействии. Ну и пусть! Он один, как говорится в мудрой трагедии, один в выгоде, но разделить с другим тяготы и протянуть руки помощи страждущему не решается» [46, с. 85. 31 и сл.].

Попреки Мавропода, в свою очередь, раздражают Пселла, обвиняющего своего корреспондента в том, что его нрав изменился от обстоятельств. Ведь он, Пселл, остался прежним, он и раньше притворялся в письмах, побуждая тем самым друзей к еще большему расположению к себе. Мавропод, зная стиль друга, должен был бы правильно понять его послания, ибо ни у одного человека не встречал Пселл права столь «серьезного» и в то же время сократического», как у своего учителя. Почему же теперь стал так суров и сумрачен тот, кто раньше нередко бывал весел, умел обаятельно вести беседу и применяться к обстоятельствам?¹⁵

В настоящее время нет возможности восстановить все перипетии взаимоотношений Пселла и Мавропода. Ссоры в письмах, видимо, чередовались с примирениями, раздраженные отповеди с дружескими посланиями, риторические излияния с чисто деловыми сообщениями. В одном из писем Пселл рекомендует Мавроподу какого-то судью [16 (II), № 54] и в дальнейшем спрашивает о нем

¹⁴ Пселлу адресует это письмо уже К. Нейманн [266, с. 598].

¹⁵ Мы приводим первую часть уже цитированного нами выше письма [16 (II), № 229]. Аналогичные мотивы содержатся в двух других письмах Пселла Мавроподу [1 (V), № 182, 183].

своего корреспондента [1 (V), № 80]. Сообщает Пселл также о некоем старике, мечтающем о свидании с Иоанном [1 (V), № 40]. Далеко не все намеки в письмах поддаются расшифровке. Неясно, например, о какой «встрече светил», т. е. свадьбе по византийской риторической символике, идет речь в послании Пселла и в ответе на него Мавропода [1 (V), № 202, 203] и др.

Только одно письмо Пселла резко отличается по своему тону от остальных [16 (II), № 105]. Возможно, оно было направлено уже не митрополиту Евхаитскому (хотя и адресовано в рукописи «митрополиту Евхаиты»), а монаху Иоанну. Основанием для такого предположения является следующее: в этом письме Пселл чрезвычайно настойчиво подчеркивает «неземную или сверхземную природу» своего адресата. «Что же тебе нужно еще на земле, тебе, чья обитель — небо, уже переступившему телесную оболочку. Я поражен, как может тебя заботить горсть пшеницы, и как можешь ты придавать значение пузырьку масла, ты, который уже насыщаясь из высших источников, предан одному Богу и совершенно презрел природу. То, за что я прежде порицал тебя, теперь для меня достаточный повод для энкомия» [с. 135. 12 и сл.]. Последняя фраза приведенной цитаты — скорее всего намек на то, что в свое время Пселл отговаривал Мавропода от ухода в монастырь, ныне же хвалит его за это.¹⁶

МИХАИЛ ПСЕЛЛ И ИОАНН КСИФИЛИН

Отношения Пселла и Мавропода не были замкнутой двусторонней дружеской связью. Уже в разобранных нами свидетельствах неоднократно всплывала фигура другого Иоанна, знаменитого Ксифилина, будущего патриарха, образованнейшего человека своего времени, сыгравшего немалую роль в жизни как Пселла, так и Мавропода.

Данные об отношениях Пселла и его круга с Иоанном Ксифилином содержатся главным образом в следующих источниках:

1. Надгробное слово Ксифилину [1 (IV), с. 421–462]. Произнесено после августа 1075 г. (подр. см. ниже, с. 508 и сл.).

¹⁶ См. энкомий Мавроподу [1 (V), с. 164]. Аналогичным образом реагировал на постриг самого Пселла Константин Мономах: сначала решительно отговаривал, затем хвалил [см. 20 (II), с. 67–68].

2. Письма Пселла Ксифилину [16 (II), № 191, 265; 1 (V), № 36; 16 (II), № 37, 44, 273]. Третье из указанных писем в *Sad. Laur.* отнесено судье Опсикия. Мы, исходя из содержания, вслед за К. Сафой считаем его адресатом Ксифилина, полагая, что лемма «судье Опсикия» — результат ошибки переписчика (в письме упоминается Келлийский монастырь, о котором говорится в ряде других писем к судье Опсикия). Письмо № 265 [16 (II)] (сохранилось без леммы), несомненно, атрибутируется Ксифилину.

Все письма, кроме № 265 [16 (II)], написаны около 1054 г.:

Ксифилин находится в монастыре, Пселл все еще пребывает в Константинополе.¹⁷

Из двух неопубликованных писем одно [156, с. 52, № 2]* также приходится на время около 1054 г., второе [156, с. 52, № 3]** должно датироваться 1057–1058 гг. (Изложение содержания этих писем, известных нам по микрофильму Ватиканской рукописи, смотри в статье Г. Вейса [312, с. 31 и сл.].)

Особое место занимает послание Пселла Ксифилину о Платоне [1 (V), № 175. Критическое издание см. 18]. Письмо представляет собой возражение на послание Ксифилина, которое в свою очередь было ответом на другое письмо Пселла, вызвавшее неудовольствие Иоанна.

По традиции письмо относится ко времени патриаршества Ксифилина [см. 146, с. 134]. Между тем П. Безобразов указывал на ошибочность этого тезиса [65, с. 161], правильно отмечая, что письмо могло быть написано только в период, когда Пселл уже принял монашество, а Ксифилин еще не стал патриархом (т. е. между 1055 и 1064 г.). Эту мысль (не зная книги П. Безобразова!) в статье, специально посвященной датировке письма, защищает У. Крискуоло [160]. Из послания можно понять, что письмо было написано после возвращения Пселла с Олимпа [см. 1 (V), с. 449. 29 и сл.].

3. Сочинение Пселла «Защита номофилака от Офриды» [1 (V), с. 181–196] см. ниже, с. 499.

¹⁷ Датировка перечисленных писем в основном совпала с недавно и, вероятно, независимо от нас предложенной У. Крискуоло [161, с. 2, прим. 8]. Исключение составляет лишь письмо № 37 (1 (V)), которое итальянский ученый относит к осени 1057 г.

* <Письмо ныне издано в: P. Gautier, 1986, p. 158–161.>

** <Письмо ныне издано в: P. Gautier, 1986, p. 182–184 и в более полном виде E. Maltese, 1988, p. 218–219.>

4. Письма Мавропода Иоанну Ксифилину [46, № 127, 128, 130]. Ни одно письмо не имеет точной адресации, их получателем мы считаем Ксифилина предположительно. Основания: в письме № 127, явно написанном близкому другу, Мавропод употребляет латинское слово *филіи*, «поскольку, — как объясняет автор, — речь обращена к италийцу и почитателю римлян». Эта характеристика сама по себе наводит на мысль о Ксифилине, так как «министр юстиции», знаток и толкователь римского права, естественно, знал латынь, что не так часто встречалось в Византии того времени. Это предположение находит определенное подтверждение в следующем письме (в рукописях Мавропода, как и других византийских авторов, письма одному и тому же адресату нередко помещались рядом), обращенном к человеку по имени Иоанн и содержащем напоминание о «старом обычае при наших ученых беседах». Что касается письма № 130, то, даже делая скидку на риторическую гиперболизацию, можно догадаться, что оно было направлено главе византийской юриспруденции.

Поскольку письма Мавропода в рукописи расположены в хронологическом порядке, можно примерно определить время отправления посланий 1047–1050 гг.

* * *

Знакомство Пселла и Ксифилина произошло, вероятно, в школе Мавропода в начале 30-х годов. Рассказ об их взаимоотношениях этого периода, сохранившийся в эпитафии [1 (IV), с. 427.8], выдержан в идиллических тонах и пересыпан терминами, обычно сопровождающими изображение идеальной дружбы — *φιλία*. Единственные реальные сведения сводятся к тому, что сам Пселл занимался главным образом риторикой и философией, Ксифилин отдавал предпочтение юриспруденции, и друзья взаимно обучали друг друга. Вскоре после прихода к власти Константина Мономаха Ксифилин по рекомендации Пселла был представлен двору,¹⁸ получает высокие должности судьи ипподрома и эксактора, а затем назначен

¹⁸ Утвердившаяся в некоторых исследованиях дата этого события — июнь 1043 г. — ни на чем не основана [см. 146, с. 29, со ссылкой на 1 (IV), с. XL].

номофилаком, т. е. ректором вновь открытой юридической школы.¹⁹ При организации юридической и философской школ не обошлось без трений, хотя разногласия среди учащихся, видимо, и не привели к серьезному конфликту между наставниками.

Нападки на придворных интеллектуалов около 1050 г. коснулись Ксифилина в первую очередь. «Удары и копыя, — пишет Пселл, — сыпались на него не только сзади, но и спереди, как говорят, прямо в грудь» [I (IV), с. 436. 21 и сл.]. Одним из «ударов в спину» и был донос, подписанный Офридой, на который Пселл отвечал в публично произнесенной перед учениками речи.

Для характеристики отношения Пселла к Ксифилину это произведение имеет значение непосредственного отклика.^{19а} Если написанная в старости эпитафия изображает события ретроспективно, то «апология» создана молодым Пселлом по горячим следам событий. Пафос произведения — противопоставление двух людей, «обвиняемого» и «обвинителя», Ксифилина и Офриды. «Апология» так и начинается: «От человека дурного и недостойного я защищаю мужа, во всем ему противоположного, украшенного добродетелями и прелестями, которых тот лишен» [I (V), с. 181. 27 и сл.]. Противопоставление проводится главным образом в сфере интеллектуальной. Ксифилин изучил всю грамматику, достиг вершин «искусства поэтического лицедейства», никому не уступает в орфографии, не имеет себе равных в риторике и т. д. Напротив, красноречие Офриды оставляет желать лучшего: когда он говорит, то «разезает свою пасть медленнее морского чудовища... языком двигает как мельничным жерновом» [с. 185. 13 и сл.]. Если Ксифилин в совершенстве знает законы и овладел искусством юриста, то потуги Офриды в этом отношении просто смехотворны.

Молодость, по Пселлу, вопреки мнению Офриды, вовсе не является препятствием к тому, чтобы стать мудрым и красноречивым. Апоея противопоставление Ксифилина и Офриды достигает тогда, когда Пселл, сопоставляя человеческую душу с воском, на котором

¹⁹ П. Безобразов [65, с. 19 и сл.] на основании неверно переданной мысли Фишера [176, с. 14] считает, что Ксифилин занимал должность *ὁ ἐπί τῶν δρισεων*. Поэтому он ошибочно атрибутирует ему письма Пселла, адресованные носителю этого чина [I (V), № 157 и др.].

^{19а} О конфликте с Офридой и полемическом сочинении Пселла см. [318а, с. 238 и сл.].

отпечатываются знания, говорит, что «воск» Ксифилина мягкий и податливый, «воск» Офриды тугой и застывший [1 (V), с. 187.29 и сл.]. «Офрида, — еще более подчеркивает свою мысль Пселл, — сколько ни смотрит на солнце, может с большим трудом увидеть лишь крохотный лучик, а Ксифилин своим могучим взором сразу видит все солнце» (т. е. «свет знания»).

В этом сочинении видно то упоение силой ума и знания, которое, видимо, свойственно было кружку молодых интеллектуалов, группировавшихся при дворе Константина Мономаха. Всякая попытка опорочить членов этого кружка, предпринятая к тому же с обскурантистских позиций, немедленно встречает отповедь. Знаменательно, что обвинитель Ксифилина принадлежит к монашеским кругам, а апология Пселла определенно имеет светский колорит и почти целиком построена на античных примерах и ассоциациях.

Можно думать, что между Пселлом и Ксифилином в этот период существовали те же отношения «ученой дружбы единомышленников», которые связывали с Пселлом и Мавропода. В том же ключе выдержаны и письма Мавропода, которые были, видимо, направлены Ксифилину. Мавропод считает своего адресата ученым, справедливейшим человеком, украшенным всеми мыслимыми достоинствами [46, № 128, с. 72.17]. Он лучший из судей, благодаря которому законы воцарились по всей земле [46, № 130, с. 73.21]. Корреспондентов связывает дружба, украшенная всеми возможными «приятностями» [46, № 127, с. 71.33 и сл.]. Как явствует из слов Мавропода, Ксифилин его тоже прославлял в письмах (с. 71.35 и сл.).

Придворная борьба кончилась поражением интеллектуалов. Во исполнение ранее заключенного с Пселлом и Мавроподом соглашения Ксифилин удаляется в монастырь.²⁰ Пселл медлит. Это время интенсивной переписки. Стремясь убедить Пселла исполнить условия их соглашения, Ксифилин требует от него переселения в монастырь и засыпает письмами, содержащими «блестящие посулы, обещания выздоровления, увещевания, плачи, стенания, слова, написанные не чернилами, а слезами, угрозы» [1 (IV), с. 440.27 и сл.], напоминает Пселлу о «дружбе, благодеяниях, преподавании, общении, об ученом сотрудничестве, о самой философии

²⁰ Фишер [176, с. 19], а вслед за ним и Бонис [146, с. 71] считают, что это произошло в 1054 г. Дата эта, однако, ни на чем не основана.

и т. д.». Данные эконома вместе со свидетельствами ответных писем Пселла на эти несохранившиеся послания Ксифилина позволяют в общих чертах восстановить картину взаимоотношений друзей этого периода.

Опалу и необходимость оставить столицу они воспринимают очень по-разному. Если Пселл (как и Мавропод) чрезвычайно удручен и обескуражен случившимся, то Ксифилин, напротив, относится к событиям без всякого трагизма. «У него, — пишет Пселл, — был такой избыток блага, и жизнь была столь устремленной к Богу, что преобразование (т. е. принятие монашества. — Я. Л.) для него прошло безболезненно» [1 (IV), с. 440.9 и сл.]. Вынужденная поначалу аскеза, видимо, не вызвала у Ксифилина никакого внутреннего сопротивления. В двух посланиях Пселла этой поры [1 (V), № 44; 16 (II), № 191] высказывается осторожный упрек Ксифилину за молчание: последний не пишет ему из монастыря. В этих этикетных упреках есть нечто необычное: нежелание Ксифилина писать объясняется не тривиальным «пренебрежением», а требованиями аскетической морали, которым подчиняется корреспондент. «Я хвалю тебя за молчание, ибо знаю, плодом какой добродетели оно является» [1 (V), с. 276.20 и сл.]. Видимо, ограничение или запрещение переписки и устного общения предусматривалось уставом или обычаями монастыря, где находился Ксифилин: «Божественным мужам, окружающим тебя, — пишет Пселл в другом послании, — нравится первый вид философии, и они не разговаривают друг с другом» [16 (II), № 191, с. 215.11 и сл.]. У Пселла этот обычай не вызывает никакого энтузиазма; его оскорбляет, что Ксифилин считает беседу с ним «неуместным занятием», в обоих письмах своих Пселл ссылается на пример Отцов церкви Василия и Григория, святость которых не была препятствием для дружеского общения, в том числе и эпистолярного [1 (V), с. 277.9 и сл.; 16 (II), с. 215.17 и сл.]. Ксифилину, для которого принятие монашества отнюдь не было формальным актом, кажется непонятной задержка Пселла в Константинополе, и последний делится с другом своими душевными сомнениями. Вдруг его стремление в монастырь на самом деле не «божественный порыв», и за действием последует раскаяние [16 (II), с. 218.2 и сл.].²¹

²¹ Вейс [312, с. 32], с нашей точки зрения, неправомерно датирует это письмо примерно 1057 г.

В конце концов Пселл вынужден был отправиться в монастырь к Ксифилину. Личные встречи, видимо, не ликвидировали, а, наоборот, обострили расхождения между бывшими друзьями. Во всяком случае, письма, которыми они обмениваются после скорого возвращения Пселла в Константинополь, преисполнены взаимного раздражения. Как явствует, например, из послания писателя к Ксифилину [156, с. 52, № 3],* относящегося к концу 1057 г., его друг был недоволен тем, что Пселл получил от царя чин проэдра. Будущий патриарх солидаризировался, видимо, с теми, кого раздражала политическая активность писателя-монаха.²² Однако наиболее обнажено обоюдное недовольство друг другом проявилось в известном послании [1 (V), № 175. Критическое издание с итальянским переводом см. 18].

Письмо это, неоднократно привлекавшее внимание исследователей как историко-философский памятник, для нас — интересный документ отношений Пселла и Ксифилина. То взаимное недовольство, которое, как это видно из предыдущих посланий, накапливалось постепенно, здесь выступает обнажено. Пселл отвечает на два пункта обвинения, выставленного Ксифилином:

- 1) излишнее увлечение Платоном, Хрисиппом и рационалистическими методами в философии;
- 2) увлечение суетой городской жизни, пренебрежение «спасением» в Олимпийской обители.

Пселл действительно признает себя восторженным поклонником эллинских философов (полемическое «Мой Платон!» трижды повторяется в письме). Однако склонность к древней науке, по Пселлу, отнюдь не означает отказа от христианских догм: «Смыв с себя соль, он волюбил лишь прозрачную воду источника» [1 (V), с. 445.2], т. е., как и полагается ортодоксальному философу, заимствовал из эллинской науки лишь согласующееся с христианскими догмами.

Что касается второго обвинения, то «жизнь на горе» (т. е. на Вифинском Олимпе) сама по себе не залог добродетели. Постижение

* <См. примечание к стр. 249.>

²² К этому же или близкому времени относится, возможно, и письмо № 265 [16 (II)], в котором, как и в письме № 3 [156, с. 52], писатель сообщает об успехах племянника Ксифилина, находившегося у него в обучении.

высшего знания, «озарение» невозможно без предварительного овладения земной наукой. Ксифилин должен сначала погрузиться в изучение книг «наших и не наших» (т. е. христианских и языческих), упражнять свой ум силлогизмами, а уже потом подняться до знания, «недоступного силлогизмам» [1 (V), с. 446–447]. Логическое мышление не противно христианской догме, оно — орудие и средство достижения знания (с. 447).

Это письмо Х.-Г. Бек назвал истинным манифестом христианского гуманизма [138, с. 547]. Можно было бы добавить, что это — воинствующий манифест, проникнутый полемическим пафосом. Нападки Ксифилина философ называет «дерзостью», рождающей у него возмущение и гнев.

Пафос Пселла вызван не одной личной обидой: позиция философа — это позиция защиты науки от невежества, знания от obscurantism. Ксифилина Пселл показывает не только «ненавистником Платона», но и «ненавистником слова», если не сказать «ненавистником философии» [1 (V), с. 445.16–18]. Он все презирающий (с. 446.5) и т. д. Всякая добродетель, намекает Пселл на позицию Ксифилина, соединенная с чванством и самомнением, оборачивается худшим злом и есть результат невежества (с. 447.1–2). Своего корреспондента он укоряет в незнакомстве с географией, в незнании халдейской премудрости (с. 448) и т. д.

Письмо, утверждает Пселл в заключительных фразах, он написал не из личной ненависти, а с целью защитить Платона и всю светскую науку [1 (V), с. 451].

Десять-пятнадцать лет отделяют это письмо от речи, направленной против Офриды. Мироззрение, доводы и даже пафос Пселла остались прежними, изменилась лишь позиция Ксифилина. Если раньше Пселл защищал будущего патриарха от Офриды, то теперь он защищает уже самого себя от Ксифилина. В обоих случаях он защищает просвещенность от obscurantistских тенденций.

Когда в 1063 г. умер Константин Лихуд, Пселл — во всяком случае, он сам так утверждает — предложил на патриарший престол кандидатуру Ксифилина [1 (IV), с. 447]. Прибывший в столицу новый патриарх отметил Пселла в толпе встречающих придворных, подошел к нему и имел краткую беседу, прерванную самим императором (с. 448.4 и сл.).

Единственный источник для позднего периода (времени патриаршества Ксифилина) — энкомий Пселла. Он резко разделяется на

две части (см. ниже, с. 508), из которых первая — панегирическая речь, скрывающая истинное отношение к герою частоколом стандартных формул. Зато вторая — порицание — дает волю авторским чувствам.

Содержание порицания несколько неожиданно.

Покойному уже патриарху философ предъявляет в основном две претензии, уличая его в занятиях «халдейскими» науками [I (IV) с. 459–160] и в исповедании физических и онтологических теорий Аристотеля (с. 460–462). Хорошо известно, что то и другое было предметом усиленных занятий самого Пселла. Это обстоятельство, однако, не мешает писателю использовать самые сильные выражения для осуждения своего бывшего друга. Пселл «смеется» над всем, чем гордится патриарх, его наука для него — «театральное действо» (с. 460.2–3).

Еще более неожиданными оказываются в порицании исходные позиции самого Пселла: писатель не может принять исповедуемые Ксифилином теории как «нечестие» и «несоответствующие нашему учению» (с. 460.18 и сл.). Сторонник светской образованности, проповедующий терпимость, Пселл вдруг становится в позу «охранителя устоев». В чем причина столь резкой перемены?

Теоретически это можно себе представить как результат эволюции мировоззрения писателя. Но предположить такую возможность трудно, так как, во-первых, в других произведениях этой поры мы не находим ничего подобного, во-вторых, как уже отмечалось, в энциклопедии Мавроподу, написанном после 1075 г., Пселл высказывает воззрения, прямо противоположные его позиции во второй части эпитафии Ксифилину. Вероятней другое. Пселл остался тем же, однако в специфических условиях Византии (так же как и в случае с Михаилом Кируларием, см. ниже, с. 298) идейная борьба превращается в уличение противника в отступлении от общеобязательных догм.

Итак, в отношениях между прежними соратниками в последние годы возникает новая (уже третья!) ситуация: бывший защитник Ксифилина, позже вынужденный обороняться от его нападков, на этот раз сам оказывается, правда, уже после смерти патриарха, в роли обвинителя.

МИХАИЛ ПСЕЛЛ И КОНСТАНТИН ЛИХУД

Многие события биографии и карьеры Пселла, Мавропода и Ксифилина были так или иначе связаны с деятельностью видного политика, а позже патриарха Константина Лихуда.²³

Лихуд родился, видимо, в конце X в.,²⁴ в юные годы он делает придворную карьеру и уже при Михаиле IV (1034–1041) входит в состав синклита [1 (IV), с. 393.18].

Именно на эти годы приходится ораторские диспуты Лихуда с Ксифилином и Мавроподом, о которых в конце жизни вспоминает присутствовавший на них Пселл [1 (IV), с. 392.28].²⁵ Михаил V (1041–1042) отличает Лихуда, однако «не успевает» вручить ему бразды правления [1 (IV), с. 398.16]. Это делает уже Константин Мономах [1 (IV), с. 399]. Лихуд, обладающий титулами проэдра и протовестиария [см. 55, с. 106; 59, с. 670], становится «первым министром» императорского двора [50, с. 66; 45, с. 446]. Возвышение

²³ Помимо «Хронографии» и «Энкомия Лихуду» Пселла [1 (IV), с. 38–421; см. ниже, с. 507, <энкомий переведен на итальянский язык и откомментирован У. Крискуоло, Psello Michele, 1983>] источником в данном разделе могут служить письма Пселла Константину Лихуду. С леммой «Лихуду» сохранилось три письма [1 (V), № 28, 68; 16 (II), № 245]. По содержанию все письма весьма традиционны. Первое (лемма: «протовестиарию Лихуду») можно отнести к периоду царствования Константина Мономаха, второе и третье (лемма: «патриарху Лихуду») — ко времени патриаршества Лихуда (1059–1063). Впрочем, и эта весьма неопределенная датировка может оказаться ошибочной, поскольку указания лемм нередко не соответствуют действительности. Лихуду, видимо, было направлено и сохранившееся без леммы письмо [1 (V), № 177], адресованное «протовестиарию». В пользу такой атрибуции говорит следующее: а) к адресату автор обращается *σὸ βῆτι μὲν*, такие же обращения к Лихуду содержатся и в других письмах [1 (V), с. 262.25; 1 (V), с. 309.2]; б) Пселл называет адресата весьма торжественно «великим благом ромеев» (с. 456.10). Такого обозначения мог удостоиться только весьма влиятельный человек. Лихуда, вероятно, имеет в виду Пселл под «проэдром и протовестиарием» в письме, адресованном судье Харсиана [1 (V), № 73, с. 309.2 и сл.].

²⁴ Лихуд был старше Ксифилина и Мавропода [1 (IV), с. 393.19]. По свидетельству Скилицы [45, с. 570], сын Лихуда в 40-х годах был уже стратигом Веспуракана.

²⁵ Утверждение некоторых исследователей, что Лихуд — соученик Пселла не соответствует действительности.

Лихуда повлекло за собой приближение ко двору Пселла, Ксифилина и Мавропода, а его отставка около 1050 г. привела к отстранению всех троих от активной деятельности. В царствование Феодоры (1055–1056) Лихуд «скромно жил в тихой гавани» [1 (IV), с. 406.9–10]. Оставался в тени он и при Михаиле VI Стратиотике (1056–1057). Летом 1058 г. Лихуд вместе с Пселлом принимал участие в посольстве к мятежному Исааку Комнину [1 (IV), с. 407; 20 (II), с. 93; 59, с. 661]. Новый император Исаак, несмотря на сомнения окружающих, вновь поручает ему заботы о государственных делах, а после смерти Кирулария (1058 г.) делает его патриархом [1 (IV), с. 409; 55, с. 106].

К периоду патриаршества относится единственное из писем Пселла Лихуду, которое позволяет судить о взаимоотношениях этих людей [16 (II), № 245]. Философ жалуется на охлаждение к нему патриарха, пишет о наветах на него и о некоем «драконе», не подпускающем его к Лихуду. Речь, без сомнения, идет о каких-то расхождениях между друзьями, хотя, может быть (принимая во внимание свойственный византийской эпистолографии гиперболизм), и не столь серьезных.²⁶ Большинство исследователей полагает, что Лихуд был тем человеком («самым дорогим из людей»), по совету которого Пселл приступил к написанию «Хронографии» (см. ниже, с. 500 и сл.). На пятом году патриаршества в 1063 г. Лихуд умер.

О Лихуде и своем к нему отношении Пселл подробно пишет дважды: в «Хронографии» и «Энкомии». «Ум Лихуда не уступал речи, а речь — уму» [20 (II), с. 93.18]. Благородство и ум политика он сочетал с жизнью священника, делами вершил не как ритор, а как философ, не разглагольствовал, не лицедействовал, но оставался самим собой при том и другом образе жизни и всегда оказывался на высоте положения. При всем этом ему свойственны были доступность, приветливость и качество, очень метко определяемое Пселлом как «улыбчивая серьезность» [20 (II), с. 124.19]. Столь идеализированная характеристика в «Хронографии» могла бы быть, конечно, объяснена обыкновенной лестью, поскольку историческое сочинение, во всяком случае частично, пишется в период патриаршества Лихуда.

²⁶ П. Иоанну без всяких оснований полагает, что Лихуд в это время возбудил против Пселла процесс, в результате которого последний должен был вновь удалиться в монастырь. См. выше, с. 224, прим. 34.

Вторично к образу Лихуда Пселл обращается не раньше чем через полтора десятилетия в энкомии умершему патриарху. Иное время, иное настроение у Пселла... Из трех друзей молодости двоих (Ксифилина и Лихуда) нет в живых, третий (Мавропод) находится в далекой и нелюбезной ему Евхаите. Для удалившегося от дел и уже очень немолодого Пселла наступил срок подведения итогов и «отдачи долгов» (выражение самого писателя [1 (V), с. 167, б]). Одним из таких «долгов» и являлась речь Лихуду, написанная через много лет после смерти последнего.

Характеристика Лихуда в «Энкомии» не менее идеализирована, чем в «Хронографии». Лихуд — средоточие всех добродетелей [1 (IV), с. 388.4–5], он необыкновенно красноречив, неборим в споре (с. 393), великолепно изучил законы и овладел политическим искусством (с. 394 и сл.); придя к власти, вовсе не изменил своей природе и оказался идеальным правителем государства, сохранив при этом простоту и приятность нрава. Как патриарх Лихуд проявил не меньше достоинств, чем в качестве первого министра (с. 411). Он заботился о бедных (первейшая обязанность священника!) и не забывал (и это специально оговаривается) о своих родственниках и друзьях (с. 412–413).

Главное качество Лихуда — «сострадательность». Здесь Пселл признавал полное превосходство над собой патриарха.

Лихуд, при всей условности образа, определяемой риторическим жанром, — идеальный герой Пселла. Он воплощает те добродетели, объединить которые стремился в себе сам писатель: достоинства государственного деятеля, ученого, философа, благомысленного христианина и сострадательного человека.

* * *

Собранный материал позволяет в той или иной мере проследить взаимоотношения Пселла, Мавропода, Ксифилина и Лихуда на протяжении без малого трех десятилетий. На заре своей карьеры они составляли тесный кружок молодых интеллектуалов, чья деятельность немало способствовала византийскому просвещению XI в. Внутри этого кружка существовала особая интеллектуальная и нравственная атмосфера «ученой дружбы», отгораживавшая и приподнимавшая этих людей над окружающими.

Общие ученые интересы и любовь к «слову» связывали их столь тесно потому, что в середине XI в. люди этого типа еще ощущали себя островками в «море невежества» (используем выражение самого Пселла). «Таков мой истинный философ и учитель, — пишет Пселл в энкомии Мавроподу, — не похожий на многих, занимающихся теперь наукой, и на тех других, которые ее презирают и считают излишней мудростью; усвоив “наше учение” (т. е. христианское. — Я. Л.), они не испытывают нужды ни в каком прочем. Иные же не знают и не изучали даже нашего учения. Слово мое обращено к некоторым из тех, кто так считает» (с. 151, 28 сл.). «Те, кто не изучил египетскую, халдейскую и иудейскую мудрость, — продолжает Пселл, — те, кто не познал эллинские науки и не использовал всего, что есть в них полезного, должны стыдиться своего невежества». Новым укором по адресу тех, кто «презирает образование и делает наше учение предлогом небрежения и легкомыслия», заканчивает Пселл свои рассуждения.

Энкомий, из которого цитированы эти строки, был написан Пселлом уже в конце жизни, но в нем великолепно передано ощущение избранности и интеллектуального превосходства людей, к которым Пселл причислял себя, Мавропода и друзей их юности — Лихуда и Ксифилина.

Весьма интересна также эволюция, которую претерпели отношения этих людей.

Пселл, Мавропод, Лихуд при всей разнице характеров, темпераментов в течение нескольких десятилетий оставались единомышленниками. Напротив, отход Ксифилина от взглядов и представлений юности сделал этих людей к концу жизни почти врагами.

МИХАИЛ ПСЕЛЛ И ДРУГИЕ «ИНТЕЛЛЕКТУАЛЫ»

Пселл, Мавропод, Ксифилин, Лихуд были не единственным «островком образованности» среди окружающего их «моря невежества». Объединения, а быть может, кружки интеллектуалов, существовали и помимо них; такое заключение можно вывести, например, из некоторых замечаний Иоанна Мавропода. В письме, возможно, направленном Ксифилину (обращение — Иоани), Мавропод [46, № 160] выражает дружеские чувства «прекрасной и священной троице, из

которых один, я полагаю, еще учитель, а второй и третий — не знаю, как и назвать этих мужей, ибо опасаясь, что Гераклитова река увлекла их к иному званию и положению» (ср. также письмо Мавропода двум учителям [46, № 161]).

Однако наибольший материал в этом отношении дает опять-таки корреспонденция Михаила Пселла. В одном из уже упомянутых писем [1 (V), № 176]²⁷ Пселл объединяет четырех лиц. Трем из них письмо направлено, четвертый только упоминается. Всех четверых (это протасикрит, ливелисий, «министр» по делам прошений и человек по имени Хирсофакт) объединяют тесные связи. Свидетельство этому — как упомянутое послание, так и тот факт, что в одной из рукописей [Cod. Laurent., 57, 40, fol. 71^v–72^v] друг за другом следуют четыре письма [16 (II), № 146, 147, 148, 149], трактующие об одном и том же предмете (просьба помочь некоему ὁ Γορδιᾶσοῦ)²⁸ и адресованные (кроме одного) этим, уже знакомым нам лицам. Ливелисия, известного из письма [1 (V), № 176], среди получателей писем нет, зато добавляется некий носитель титула хранителя императорской чернильницы (ὁ ἐπί κινικλείου). Протасикрит назван в этом случае именем Аристин. Датировать эти письма трудно. Несомненно только, что их получатели — друзья: послания одним и тем же или связанным друг с другом лицам в рукописи нередко помещаются рядом. Последний аргумент дает основание и для другого заключения. В Парижской рукописи следуют друг за другом два близких по содержанию послания, обращенные одно — вестарху и хранителю императорской чернильницы Василию [1 (V), № 88], другое — «министру» по делам прошений Льву Патрскому [1 (V), № 89]. Вновь носители этих двух титулов оказываются адресатами смежных писем.²⁹ В этом случае они уже названы по именам. Речь, вероятно, идет об уже знакомых нам лицах.

²⁷ Письмо датируется скорее всего весной 1060 г. Написано оно из Кесарии, откуда Пселл собирается возвращаться назад (в Константинополь), в то время как адресаты продолжают «военной дорогой» двигаться вперед. О путешествии в Кесарию и обратно писатель сообщает также в письме к Константину Кируларню [312, с. 30] <ныне опубликовано К. Snirez, 1981>. Речь идет о втором походе Романа Диогена против сельджуков. Император останавливался тогда в Кесарии и его сопровождал Пселл [20 (II), с. 161.13].

²⁸ Видимо, епископу Горднаса (город в Каппадокии) [см. 171].

²⁹ В обоих случаях, подписывая письма, Пселл называет себя вестом. Означает ли это, что послания следует датировать временем Константина

Перечислив и выяснив имена членов кружка, можно попытаться ближе охарактеризовать этих людей.

Хирсфакт

Не совсем ясно, о каком Хирсфакте должна идти речь. У Пселла упоминаются еще три человека с этим именем: магистр и прото-нотарий дрома Евстратий [1 (V), № 124, Cod. Paris., 1277, fol. 270–271=156, с. 60, № 33]* и Михаил Хирсфакт с сыном [16 (II), № 243]. Не исключено, что имеется в виду и какое-то четвертое лицо.³⁰ Хирсфакт — ритор [1 (V), с. 455.16], видимо, учен (его имя писатель вспоминает, беседуя с мудрыми людьми [16 (II), с. 173.11]), хотя и не считает свой слог достаточно изысканным для эпистолярного общения с Пселлом.

Ливелисий

Об этом персонаже известно очень мало. В «коллективном» письме Пселл считает основным его достоинством «приятность» [1 (V), с. 453.20]. Возможно, он идентичен ливелисию по имени Иоанн, которому Пселл посвятил неопубликованное сочинение о значении 24 букв алфавита.**

Мономаха, в конце царствования которого писатель обладал уже следующим чином вестарха?

* <Письмо опубликовано ныне в: P. Gautier, 1986, p. 177–178. П. Готье составил также краткий очерк гипотетичной биографии Хирсфакта (там же, с. 117–119).>

³⁰ Вейс [312, с. 30, прим. 72] идентифицирует этого Хирсфакта с павшим при Манцикерте протасикритом Хирсфактом, упомянутым Аталлатом. Можно пойти дальше и отождествить с ним судью Кнверриотов, бывшего прото-нотария дрома, адресата письма [1 (V), № 171]. Характер обрисовки этого лица и стиль его отношений с Пселлом дают, казалось бы, все основания для такого отождествления. Однако из-за отсутствия формальных критериев — единственно решающих в данном случае — воздержимся от подобных утверждений.

** <Ныне опубликовано в: Psellus Michael, 1992, p. 120–141.>

*Хранитель императорской чернильницы Василий*³¹

Василия связывает с Пселлом «старинная дружба». Одно из писем послано Василию в период, когда тот отправился с какой-то военной экспедицией (Романа Диогена?) [I (V), № 88], другое письмо написано в связи с принятием монашества или уходом Василия в монастырь [16 (II), № 103]. Наиболее интересное для характеристики этого человека — письмо [16 (II), № 146], в котором говорится, что Василий сладостен своей речью, остер умом, верен в дружбе. Пселл клянется, что не забыл «тех застольных речей и сладостных бесед и игр, которые они вели друг с другом» (с. 172.7–10).

«Министр» по делам прошений Лев Патрский

Из писем № 89 и № 176 [I (V)] можно понять, что и Лев принадлежал к числу интеллектуалов и, по всей видимости, был учеником Пселла. У нас нет достаточно строгих оснований, однако вполне вероятно, что Льву было направлено и весьма интересное письмо [I (V), № 12], адресованное «министру» по делам прошений и к тому же ученику Пселла. Пселл ранее, видимо, подшутил над адресатом, намекнув на какие-то изъяны в его внешности, тот, обидевшись, ответил писателю ругательным письмом, порицая характер Пселла. Последний, однако, решил не обострять конфликта и убеждает своего ученика в допустимости безобидных шуток. Любопытно, что в «коллективном письме» прекрасный психолог Пселл считает начальника ведомства прошений человеком замкнутым, и это вполне согласуется с неумением адресата [I (V), № 12] понимать шутки.

³¹ Н. Дюэ совершенно произвольно ассоциирует этого Василия с другим корреспондентом Пселла, Василием Малеси [173; ср. наши возражения — 219, с. 219 и сл.]. Василий — корреспондент Пселла, вероятно, идентичен хранителю императорской чернильницы Василию, упомянутому Скиляцей [45, с. 47.1]. Эту должность он занял между 1052 и 1065 гг. [313, с. 199, прим. 271].

Протасикрит Аристин

Наибольшее число писем сохранилось к Аристину, переписка с которым длилась долгие годы [16 (II), № 67, 94, 111, 148, 224 и неопубликованное письмо из Cod. Paris., 1277, fol. 268–269 [156, с. 60, № 13; 312, с. 31]].*³² Аристин — ученик Пселла. У Пселла же впоследствии обучался и его сын [16 (I), № 224]. Аристин носил титул вестарха, был по какой-то причине удален из Константинополя и из изгнания обращался к писателю с просьбами о заступничестве перед императором [16 (II), № 67]. Между Пселлом и Аристином все время поддерживаются отношения изысканной дружбы, друзья оказывают взаимные услуги и обмениваются письмами, исполненными рафинированной учености и красноречия.

Лица, о которых шла речь, очень различны по своему характеру. Их несхожесть отмечает сам Пселл в письме, адресованном трем из пяти членов этого дружественного союза:

«У каждого из вас свой собственный характер, несходный с другими» [1 (V), с. 452.11–12]. Тем не менее, продолжает писатель, эти люди «объединены одним духом» (с. 452.6) и их различие — это различие в тождестве (с. 452.17–18). Но их объединяет одно: «согласие и единоподушие во всем прекрасном и рвение ко всяческой мудрости и разуму» (с. 452.18–19). Этот кружок, равно как и его членов, с Пселлом связывает та же «ученая дружба», которая ранее объединяла содружество Пселла, Мавропода, Лихуда и Ксифилина.

Кружок этот, хотя в него входят весьма высокопоставленные чиновники, существовал на несколько более «низком» уровне, нежели первый. Участники его — уже «второе поколение» интеллектуалов. Двое из них — наверняка ученики Пселла. Писатель для них — теперь нечто вроде мэтра, наставляющего и иногда журащего более молодых коллег.

Фрагментарность и нарочитая затемненность содержания сохранившихся писем не позволяет с определенностью говорить о других

* <Это письмо уже опубликовано в: P. Gautier, 1986, p. 173–175. В предисловии к работе П. Готье помещен также краткий очерк о письмах, направленных Пселлом Аристину (op. cit., p. 116–117).>

³² Письма с леммой протасикриту без указания имени мы не имеем основания однозначно относить Аристину, поскольку у Пселла упоминается и другой протасикрит — Епифаний Филарет.

кружках, но стиль отношений, названных нами «интеллектуальной» или «ученой» дружбой, поддерживается Пселлом с рядом корреспондентов. Среди них (называем лишь некоторых) куропалат Иасит — один из немногих, «уши которых открыты для звука слова» [1 (V), с. 437.10],³³ великий эконом, воспитанный в науках [1 (V), с. 266.11], остиарий и протонотарий дрома Иоанн, которого с детских лет связывает с Пселлом «согласие и единодушие» [1 (V), № 125], поэт Малеси, соученик Пселла — Николай Склир, ученик Пофос³⁴ и другие.

Стиль отношений, названный нами «интеллектуальной дружбой», едва ли не чаще всего проявляет себя в корреспонденции Пселла.

МИХАИЛ ПСЕЛЛ И ПЛЕМЯННИКИ МИХАИЛА КИРУЛАРИЯ

Среди лиц, которых связывает с Пселлом дружба в ее интеллектуальном варианте, немало учеников писателя, составляющих как бы второй пласт его друзей. Особое место среди них занимают Константин и Никифор Кируларии — племянники знаменитого патриарха Михаила. Время рождения братьев — около середины 30-х годов XI в., по словам Пселла, они едва помнили отца (1 (IV), с. 351). Оба брата были отданы патриархом в обучение Пселлу [1 (IV), с. 352], затем занимали ряд высших государственных должностей, в 1058 г. подверглись опале вместе с патриархом, а после смерти Кирулария восстановлены Исааком Комниным в прежних должностях. В леммах ряда писем Пселла указаны следующие должности и титулы адресатов.

Великий друнгарий, друнгарий, «министр юстиции», севаст, проэдр, протопроэдр, магистр, сакеларий,³⁵ логофет геникона.³⁶ Все

³³ Сохранились два письма к Иаситу [1 (V), № 171; 16 (II), № 6]. Кроме того, Иасит упоминается в двух других письмах: к Константину Кируларию [312, с. 30] и Евстратию Хирсофакту [312, с. 30, прим. 72; 156, с. 60]. <Оба эти письма уже опубликованы, см. прим. к стр. 267 и прим. к стр. 262.> Если последний идентичен упомянутому нами выше Хирсофакту, то Иасит находился в сфере кружка Аристина и его товарищей.

³⁴ О Пофосе см. в книге Леви [242, с. 29 и сл.].

³⁵ В анафеме латинских послов Михаилу Кируларию лета 1045 г. упоминается также сакеларий патриарха Константин [58, с. 154]. Возможно, он идентичен племяннику Кирулария.

³⁶ Ссылки на письма см. в нашей статье [95, с. 91 и сл.].

эти титулы и должности, за исключением последней, четко отнесены в леммах писем к Константину. На долю Никифора остается, может быть, только должность логофета геникона. Многообразие должностей и титулов Константина, по всей вероятности, отражает его продвижение по иерархической лестнице.³⁷ Помимо упомянутых, братьям Кирулариям были, вероятно, направлены и другие письма, в леммах которых не сохранилось имени адресата:

I) Письмо № 186 [1 (V)]. В письме Пселл сетует: «Я лишен тебя и брата твоего — прекрасной пары, которых я не променяю ни на какое блаженство» (с. 472. 13–14). Ниже Пселл говорит о том, что в его душе найдется место и для другого «племянника» (с. 472.31) («племянник» — обычное обращение Пселла к Константину Кируларию). Датировать письмо можно только очень условно второй половиной 50-х годов: Пселл упоминает о принятии им монашества (с. 472.21–22).

II) Письмо № 85 [16 (II)], направленное «министру юстиции» (должность эту занимал Константин). Помимо воспоминаний о старинной дружбе, в письме содержатся сетования на то, что Пселл не может заступиться за адресата и вызволить его из ссылки (ситуация напоминает послание [16 (II), № 31]).

В хронологическом отношении письма следует распределить примерно следующим образом: а) № 208 [1 (V)]. Братья являются еще учениками Пселла. Время написания: конец 40-х — начало 50-х годов; б) № 214 [16 (II)]. В письме упоминается «госпожа-императрица» (Феодора). Время написания — 1055–1056 гг.;* в) письма № 1, 83, 84 [1 (V)]. В них речь идет о свадьбе Константина, посетить

³⁷ Подробней о карьере Константина см. [260, с. 119 и сл.; 184, с. 212]. Икономидис и Гилян [192, с. 21] приписывали должность логофета геникона также Константину. Друнгарий и протопродр Константин известны среди чиновников Михаила VII [см. 169, № 1004]. Роднус полагал, что Константин (адресат Пселла) — это будущий император Константин Дука, женатый на племяннице Кирулария Евдокии [278, с. 14]. Ошибку Роднуса повторяют некоторые современные исследователи. Возможно, что племянника патриарха Михаила нужно видеть также в друнгарии и протопродре Константине, владельце проастия Кале близ Константинополя [16 (I), с. 357–359].

* <Eva de Vries-van der Velde полагает, что речь идет об императрице Евдокии и относит письмо к периоду между 1074 и 1080 годами (Eva de Vries-van der Velden, 1996, p. 145).>

которую Пселл не может из-за своего монашеского звания. *Terminus post quem* для писем — лето 1054 г.³⁸ (время принятия монашества Пселлом); г) письма № 85, 86 [1 (V)] связаны по содержанию и не могли быть написаны ранее середины — конца 60-х годов: у Константина уже достаточно взрослый сын, для которого Пселл может писать «ученые» письма [1 (V), с. 328–330]; д) письмо № 184 [1 (V)] написано после 1059 г., ибо Пселл назван там уже протопроэдром (с. 469.7). При Исааке Комнине Пселл был возведен только в чин проэдра; е) неопубликованное письмо, известное по четырем рукописям [см. 312, с. 30; 166, с. 178 и сл.],* где Пселл сообщает Константину, что находится на пути в Кесарию, откуда собирается вернуться в столицу. Г. Вейс справедливо датирует послание весной

³⁸ Вопрос о более точной датировке этих писем не прост. Константин Кируларий был женат дважды. Во второй брак он вступил после смерти первой жены в 70-х годах XI в. Его супругой стала дама из свиты Марфы Грузинской (Мария Алаанской грузинских источников) [44, V, 586 и сл.]. О каком браке Константина идет речь в письмах Пселла? П. Готье [164, ф. 212 и сл.] полагает, что о втором. Французский ученый приводит два аргумента. В лемме письма № 83 [1 (V)] Константин назван «великим друнгарием», а эта должность (в отличие от просто «друнгария») была введена при Михаиле VII между 1072 и 1074 гг. [108, с. 348]. Следует, однако, отметить, что в самом тексте писем Константин нигде великим друнгарием не назван, а в лемме другого письма [1 (V), № 1] именуется просто друнгарием. Не является ли «великий друнгарий» в лемме позднейшим добавлением, появившимся тогда, когда Константин действительно занял эту должность? Предположение это тем более вероятно, что подобный казус наверняка произошел и с другим письмом Пселла к Константину [16 (II), № 214]. Последнее послание сохранилось в двух рукописях: в *Barber. gr.*, 240, fol. 163 (обращение в лемме: «министру юстиции и севасту»), и в *Vatic. gr.*, 712, fol. 69^r (обращение в лемме: «великому друнгарию»). Разные леммы сами по себе свидетельствуют о позднем своем происхождении! Но любопытно другое. Само письмо — это явствует из его содержания — было написано не позднее 1056 г. А в это время Константин не мог быть ни великим друнгарием, ни севастом. Последний титул впервые зафиксирован только в конце 70-х годов [см. 108, с. 151]. Малосостоятелен и второй аргумент в пользу поздней датировки. В одном из писем [1 (V), с. 321, 18] упомянут некий θ Σίδης, которого П. Готье ассоциирует с фаворитом Михаила VII Иоанном Сидским.

* <Это письмо уже опубликовано, переведено на английский язык и прокомментировано К. Снайпсом (K. Snipes, 1981).>

1069 г., когда писатель принимал участие в походе Романа Диогена против сельджуков, но вернулся назад из Кесарии. Видимо, этим же временем следует датировать и письмо № 186 [1 (V)], с большой долей вероятности отнесенное нами к Константину. Писатель сообщает там о всевозможных воинских делах, которыми занят его ум. Своими «успехами» в стратегии во время этого похода Пселл хвастает и в «Хронографии» [20 (II), с. 160]; ж) в письме № 31 [16 (II)] упомянуты «император, императрица, кесарь и патриарх», на милость которых может рассчитывать адресат. «Кесарь» у Пселла — обычно Иоанн Дука. Таким образом, письмо могло быть написано при Константине Дуке или в первые годы царствования Михаила Дуки, т. е. в период активной придворной деятельности кесаря Иоанна; з) неопубликованное письмо Cod. Barber. 240, fol. 164 [см. 156, с. 54, № 1; 312, с. 29].* Константин назван в тексте великим друнгарием. Должность эта введена Михаилом VII между 1072 и 1074 гг. Во время написания письма Константин и Никифор живут в Константинополе, а Пселл находится вне столицы. Это единственное свидетельство, подтверждающее слова Анны Комниной о том, что Пселл при Михаиле VII покинул столицу [30, с. 173]. Отъезд Пселла из Константинополя и, следовательно, написание письма можно датировать только последним периодом царствования Михаила. Вейс ошибочно относит послание к ноябрю—декабрю 1059 г.

Остальные письма не поддаются даже приблизительной датировке.

Переписка с племянниками Кирулария продолжалась долгое время — не менее двух десятилетий. Первое письмо написано в конце 40-х, последнее — не ранее середины 70-х годов. Связь Пселла с братьями имела ровный характер. Через всю их переписку лейтмотивом проходит мысль об особой духовной близости корреспондентов. Уже в первом послании, озаглавленном «О дружбе»,³⁹ Пселл

* <Это письмо (уже дважды!) опубликовано к настоящему времени. См.: А. Зайцев, Я. Любарский, 1978, р. 24–28; E. Maltese, 1988, р. 116 ff. Кроме упомянутых, ныне изданы еще два письма Пселла, направленных племянникам Михаила Кирулария, см.: P. Gautier, 1986, р. 167–170; А. Зайцев, Я. Любарский, 1978.>

³⁹ Произведение это, опубликованное Сафой среди писем, на самом деле является трактатом, который, как и обычно в Средневековье, был

выражает радость по поводу того, что братья всем другим сочинениям предпочитают его (Пселла) писания, и считает это проявлением «родства душ» [1 (V), с. 514].

«Если есть род душ... если есть какое-то родство душ и иным из них присущи определенные свойства, — повторяет Пселл уже около 1054 г., — то наши души познали друг друга» (V, с. 323). Та же мысль звучит и в одном из последних писем Пселла, датированных серединой 60-х годов [16 (II), № 31, с. 46–47], и в дружеских излияниях послания № 186 [1 (V)].

Как и во многих других случаях, мотив дружбы и духовного родства оказывается у Пселла тесно связанным с темой учености и науки. Уже в первом своем послании Пселл выражает желание постоянно жить с братьями, преподнося им всевозможные науки.

«Науки, — проповедует писатель, — смывают грязь с душ и делают их природу чистой и воздушной. Если кто начинает одинаково мыслить о вещах значительных, то скоро и в малом уничтожается различие их мнений. Вместе избрав науку, сделайте ее нерушимым залогом единомыслия». Мысль автора выступает здесь обнаженно; согласие людей того типа, к которому причисляет себя и племянников патриарха Пселл, зиждется на «идейных» основах — они единомышленники в своей преданности науке (этим словом мы очень неточно передаем античное и византийское понятие *lóyos*, под которым следует понимать всю систему культуры и образованности того времени). Мысль эту Пселл высказал в письме к своим ученикам — юношам. Через много лет Пселл направляет им, уже зрелым мужам, послание, в котором увещевает стойко переносить обрушившиеся на них беды, находя утешение в словах и мыслях: «Мужественно переносите несчастья, и пусть ничто не заставит вас забыть надлежащие слова и мысли» (Barber. gr. 240, fol. 164^v). Бывший учитель напоминает им о своей дружбе и о беседах, как философских, так и веселых, которые они вели в лучшие време-

адресован определенным лицам, в данном случае — братьям Кирулариям. Свидетельство этому — как леммы («О дружбе» — в Paris. gr., 1182, «Слово, назидательное о дружбе» — Vatic. gr., 672), так и местоположение произведений в обоих кодексах среди речей, трактатов и т. д. Кроме того, сам Пселл называет свое сочинение *lóyos* (с. 514.20, 23), а не *éπιστολή*. Характерно, что трактат о дружбе Пселл направляет именно братьям Кирулариям.

на.⁴⁰ Еще через одно десятилетие отец семейства, высокопоставленный чиновник Константин Кируларий просит своего бывшего учителя направлять ученые по содержанию и прекрасные по форме послания для наставления его подросткового сына [1 (V), с. 329–330].

Как можно судить по содержанию и тону писем, «наука», о которой писал Пселл, отнюдь не ограничивалась комментаторским педантизмом, свойственным византийской учености. В только что упомянутом письме Пселл, неожиданно оборвав изложение ученых сюжетов, заявляет: «Кажется мне, что ты не очень-то увлечен предметами благородными, а, скорее, теми, которым свойственна красота, природная или искусственная. Клянусь твоей святой душой, и я той же чеканки, что и ты. И меня очаровывает внешняя краса и прелесть, заключенная как в травах, так и в словах; и меня не так побеждают эзаниец Демосфен и лаодикиец Аристид нагнетением мыслей и периодов и сменой фигур, как лемносец Филострат — особенно своими описаниями статуй, — который в состоянии смягчить камень, расплавить металл и исторгнуть слезы даже из железных глаз» [1 (V), с. 329.20 и сл.].

Эстетизм (на языке византийских авторов «почитание харит», в отличие от «почитания муз», символизирующих более серьезные предметы) свойствен не только литературным вкусам, но и вообще жизнеотношению Пселла в том виде, в котором оно нашло выражение в письмах к племянникам патриарха. Характерно, что одно из очень немногих описаний природы, встречающихся у Пселла, содержится в его письме именно к Константину [16 (II), с. 256].

Эстетизм и эпикуреизм корреспондентов подчас принимал и более низменные формы. Весьма любопытны в этом отношении два письма Пселла братьям Кирулариям [1 (V), № 184 и Barber. gr., 240, fol. 164]. «Ты воспринял смысл письма не как игру, — удивляется Пселл в начале послания к Константину, — а ведь я разве что только не плясал, когда создавал его, и полагал, что и ты заплывешь вместе со мной и приобщись к театру» [1 (V), с. 467. 12 и сл.]. Стиль «игры», «театра», подчеркивает писатель, присутствует не только в письмах, но и в личных их отношениях.

⁴⁰ Любопытно в этом отношении и письмо № 186 [1 (V)], которое, как мы считаем, тоже было направлено братьям. Пселл заверяет их, что никогда не забудет «философию и дружбу» (с. 471.14). Оба понятия как бы подняты на один уровень.

«Разве и при встречах не так беседуем мы друг с другом, не так играем в наши юные игры и не настолько не стыдимся наших бесчинств, что выставляем их друг перед другом!» [1 (V), с. 467. 26 и сл.]. Оправдывая эту взаимную шутливую игру, Пселл взывает к авторитету Сократа, который без обиняков именовал Тезтета «потешным». И наконец, последний аргумент писателя: «Если бы ты увидел, как кто-нибудь из тех, что в театрах, изображает Перикла или Мильтиада, хлеботорговца Мифайка или кулинера Феориона, разве не посмеялся бы ты над этими героями? Конечно, ты бы восхитился лицедейством и хохотал бы вволю над ними. А вот когда я, философ, ради тебя превратился в лицедея и, позабыв о серьезности, громко смеюсь на оркестре, ты этого права не признаешь» [1 (V), с. 468. 19 и сл.].

Итак, стиль «игры», «театра» — один из стилей переписки и личных отношений друзей. Не случайно театральная образность буквально пестрит в строчках этого послания («игра», «театр», «маска», «лицедей», «лицедейство», «оркестра» и т. д.).

Византия, как известно, была страной без театра, однако театральные реминисценции и театральная образность весьма часты в сочинениях византийских авторов, в том числе и Пселла (не только на страницах цитированного письма). Эти театральные реминисценции поддерживались не одними античными воспоминаниями, а также, видимо, и живой фольклорной традицией.⁴¹ В данном случае мы встречаемся со своеобразным «театром на дому», с игровым действием, пронизывающим личные и эпистолярные отношения ученых и интеллектуальных византийцев. Предметом игры и лицедейства становятся не только травестированные античные персонажи (Перикл, Мильтиад) или фарсовые маски (Мифайк, Патайк, Феорион),⁴² но и сами партнеры по игре и их современники. Иллюстрацией к этому и прекрасным дополнением к разобранному выше письму является послание Пселла к обоим братьям Кирулариям (Barber. gr., 240, fol. 164). Утешая братьев, писатель вспоминает

⁴¹ О том, что речь в данном случае должна идти не только об античных литературных реминисценциях, но и о действительной театрализованной игре, свидетельствует письмо Пселла о монахе Илье — талантливом лицедее, изображавшем всевозможные сценки в домах византийских вельмож (см. ниже, с. 281 сл.).

⁴² Об этих персонажах см. работу Штернбаха [293, с. 3].

о «веселых забавах», которые они устраивали во время своих застольных встреч. Стараясь развлечь Константина и Никифора, Пселл предлагает изобразить какого-то их согражданина (имя в рукописи непонятно) сидящим на ипподроме или представить некоего Кринита (хорошо известная в Византии фамилия!), склонившего голову и «нарушившего гармонию тела». Не что иное, как театральность, пение и пляски свадебного обряда привлекают Пселла на бракосочетание Константина, посетить которое писателю «и хочется, и не можется». Страсть к комическому лицедейству ученых и интеллектуальных византийцев — своеобразная компенсация безматериальной духовности и аскетизма, следование которым было требованием официальной доктрины.

К этим трем мотивам, характерным для переписки Пселла с Константином и Никифором (культ дружбы, уважение образованности, эстетизм), логично добавляется и непрменный интимный тон посланий. В трех письмах философа к Константину речь идет о бракосочетании последнего [1 (V), № 1, 83, 84]. Недавно принявший монашество, Пселл очень хочет посетить свадьбу, однако монашеское обличие не позволяет ему сделать этого. Всяческими способами пытается Пселл найти удобную лазейку, чтобы успокоить возможное недовольство окружающих и собственное чувство долга — впрочем, не очень сильное. В конце концов философ даже предлагает Константину «насилно» задержать его, когда он «ненадолго» взглянет на торжество [1 (V), с. 321]. Последнее письмо из этого цикла заканчивается весьма знаменательным признанием: «Душа у меня веселая и падкая до удовольствий. Если я встречаюсь с харитами, то бываю тотчас покорен ими, моя мысль расслабляется и я как бы подставляю лицо веянию зефира...» (1 (V), с. 324.2 и сл.).

Образ писателя, раскрывающийся в этих посланиях, весьма далек от догматического ригоризма. Как Пселл, так и Константин — люди, ценящие жизненные радости не меньше ученых занятий. Связь между ними — отношения ученых-единомышленников, не лишенных, однако, черт дружбы эпикурейско-горацианского типа.

«Разве ты не понял шуточный смысл письма, — увещевает писатель Константина в другом послании, — разве ты не знаешь, я же пишу к любящему — что размолвка возбуждает влюбленных больше, чем поцелуй, потому-то природа и создала розу с шипами, чтобы люди одновременно вдыхали аромат и приходили в волнение...» [1 (V), с. 467]. Диапазон чувств, выраженных в письмах

Пселла племянникам Кирулария, достаточно обширен и явно выходит за рамки обычного эпистолярного этикета. Можно указать, например, на элегическое послание [16 (II), № 214], традиционная риторика которого не может скрыть искренности чувства, или на поздравительное послание в связи с рождением сына, полное умиления перед ребенком [1 (V), № 157].

Интимный тон и эпикурейские мотивы в какой-то степени присутствовали и в отношениях Пселла с другими «интеллектуалами». ⁴³ В переписке с братьями Кирулариями они ощущаются наиболее отчетливо и ясно.

МИХАИЛ ПСЕЛЛ И КЕСАРЬ ИОАНН ДУКА

В том, что элемент эпикуреизма в отношениях братьев Кирулариев и Пселла — не игра, или, вернее, не только игра (поскольку элемент игры присутствует в любых эпистолярных связях той эпохи), убеждает нас история взаимоотношений Пселла с известным вельможей, братом императора Константина X Дуки, кесарем Иоанном Дукой.

На протяжении двух десятилетий (от начала царствования Константина до воцарения Алексея Комнина) Иоанн играет самую активную роль в политических событиях и дворцовых интригах, его имя постоянно мелькает в источниках по истории того времени. Внимание, которое уделяли этому деятелю новые исследователи [221; 235; 270], избавляет нас от необходимости восстанавливать весь жизненный путь Иоанна. Напомним только основные его этапы.

Иоанн получил достоинство кесаря после воцарения брата. О его деятельности при Константине почти ничего не известно. Роман Диоген отнесся к Иоанну с подозрением и выслал его из Константинополя. Вызванный в столицу после поражения 1071 г. при Манцикерте кесарь Иоанн развивает бурную политическую деятельность, стремясь возвести на престол племянника Михаила.

⁴³ В уже упомянутом письме к «министру» по делам прошений, например уговаривая адресата не обижаться на его шутки, Пселл восклицает с сожалением: «Ты презираешь шутки, которые одни только, приращенные к нашей жизни, делают наше существование веселым» [1 (V), с. 245, 24 и сл.].

После воцарения Михаила Иоанн, однако, был вытеснен новым фаворитом — Никифорицей и потому вновь оставил Константинополь. В 1073 г. он вместе с сыном Андроником участвует в походе против Руселя, попадает в плен, и Русель провозглашает его императором. Выкупленный из плена Михаилом, Иоанн принимает постриг. В 1081 г. кесарь Иоанн примыкает к восстанию Алексея Комнина. После этого времени его имя исчезает со страниц исторических источников. По своим политическим симпатиям кесарь был близок к Пселлу и неоднократно оказывался с ним в одном лагере (они оба стремились возвести на престол Михаила VII, оба находились в оппозиции к Роману Диогену и т. д.).

Фигура кесаря Иоанна Дуки неоднократно появляется на страницах «Хронографии», а в конце этого сочинения содержится его развернутая характеристика [20 (II), с. 180–182]. Как и всегда, имея дело с византийскими панегириками, следует обратить внимание на акценты и осторожно отделить энкомиастическое клише от деталей, отражающих действительные черты описываемого лица или индивидуальное отношение к нему автора. В полном соответствии с риторическим стандартом Пселл изображает кесаря украшенным разумом и величием духа, искусным в делах, обладающим прекрасным нравом и всеми возможными добродетелями; острый ум сочетается в нем с кротостью и незлобивостью; в военном искусстве он превзошел прославленных древних кесарей, серьезные занятия сочетал с развлечениями и во всем умел соблюдать меру. Последнее, впрочем, не относится к охоте, которой Иоанн увлекался без удержу. На досуге помимо охоты кесарь занимался чтением книг. «Во всем он превосходил всех», — заканчивает свою характеристику Пселл.

Интересно, что Пселл ни словом не упоминает о благочестии Иоанна, — обычно неременном свойстве хвалимых лиц. Argumentum ex silentio имеет значение для писателя, пользующегося энкомиастическим клише и, как «из наборной кассы», примеривающего к своему герою стандартные свойства. Вместо этого подчеркивается другое и не совсем обычное: соединение серьезных занятий с развлечениями и любовью к чтению.

В целом Пселл рисует образ энергичного, умного политика и военного, человека образованного и, несомненно, светского по образу жизни и мысли. Таким, видимо, и был кесарь Иоанн Дука, судя по характеристикам других источников.

Самое число (более 30) сохранившихся писем Пселла к Иоанну — свидетельство интенсивности отношений этих людей.* Датировке послания Пселла почти не поддаются, однако в ряде писем упоминается царственный брат кесаря (Константин) [1 (V), № 151, 152; 22, с. 170 и сл., с. 184 и сл.], что позволяет отнести их к периоду между 1059 и 1067 гг. Одно письмо скорее всего написано в правление Романа Диогена (1 (V), № 156).⁴⁴ Михаила VII — племянника Иоанна Пселла не упоминает вовсе, и можно предположить, что в период правления Михаила эпистолярной связи между писателем и вельможей не было. Это вполне понятно, поскольку кесарь в это время находился под подозрением и даже оказался одно время в роли узурпатора. В письмах к Иоанну Дуке не только не содержится хронологических указаний, но и нет почти никаких фактических сведений. Тем не менее они — интереснейшая часть эпистолографического наследия писателя.

За редким исключением, письма к Иоанну писались без определенного повода и несли минимальную информационную нагрузку. Дука, согласно Пселлу, ненасытно жаждет все новых и новых посланий от писателя, который не без кокетства «изнемогает» от просьб корреспондента, но тем не менее готов до бесконечности улаживать его слух [22, с. 180–181]. В свою очередь похвалы кесаря вдохновляют и приводят в восторг тщеславного риторика [22, с. 175 и сл.]. Во всем этом немало от эпистолярного этикета, однако даже этикетные формулы небезразличны к содержанию и могут применяться только в соответствующих случаях.

Кесарь не просто испытывает самолюбивую гордость, будучи партнером в эпистолярно-риторической игре со знаменитым писателем,

* <Письма к Иоанну Дуке, опубликованные в прошлом веке по одной рукописи Вуассонадом и Рюзлем (№ 22, 282 основного списка литературы) были критически переизданы П. Готье (P. Gautier, 1986, p. 127–143; 147–149). В этом же издании находятся также два вновь опубликованных письма Пселла Иоанну Дуке (ibid., p. 144–147). Вновь изданные письма вполне вписываются в картину отношений между корреспондентами, обрисованную нами.>

⁴⁴ Это письмо написано в период отставки кесаря, живущего, видимо, в своем имении [1 (V), с. 409]. Утешая Иоанна, Пселл говорит главным образом об императрице, которая сочувственно выслушивает добрые слова о кесаре. Император тоже упоминается в этой связи, но на втором месте и без обычного — если речь идет о Константине — прибавления «твой брат».

но и осознает литературную ценность посланий прославленного корреспондента. Во всяком случае — весьма значительный факт — он коллекционирует и составляет книги из писем Пселла [22, с. 176; 16 (II), с. 303].

Каждый из корреспондентов придерживается весьма высокого мнения об учености своего партнера, хотя в этом отношении их положение неравноправно, поскольку Пселл играет роль мэтра, не устающего побуждать к научным занятиям Иоанна, который в увлечении охотой иногда забывает о книгах [1 (V), № 71, 156; 16 (II), № 186].

Письма Пселла к кесарю значительно отличаются от посланий к другим ученым друзьям (Мавроподу, Ксифилину и др.). Прежде всего корреспондентов в данном случае интересует не столько сама ученость, эллинская или христианская, сколько ее эстетическая сторона и риторическое оформление. Твоя страсть к слову, пишет Пселл Иоанну, признак благородной души. «Достойна одобрения всякая душа, любящая прекрасное, я имею в виду возлюбившую не только духовную красоту, но и яркие краски, совершенное искусство, жемчуга, сапфиры и гиацинты» [16 (II), с. 276.22 и сл.]. «Природа твоей души исполнена ума и харит», — вторит писатель в другом случае [16 (II), с. 282].⁴⁵ Иоанна интересует в посланиях писателя прежде всего их красота и стилистические достоинства (см., например, [22, с. 176–177]), письма во многих случаях превращаются в эстетическую самоцель и уже почти полностью теряют всякие информационные функции.

Бездушные риторические безделушки, однако, парадоксальным образом соседствуют с посланиями совершенно иного, необычного для византийской эпистолографии типа. В письмах к Дуке, как и в посланиях к братьям Кирулариям, неоднократно появляется интимная интонация. В одном случае Пселл описывает тяжелые роды своей дочери: как он, любящий отец, ходил вокруг комнаты, где лежала роженица, прислушиваясь к ее крикам. Лишь появление ребенка принесло ему облегчение [1 (V), с. 307–308]. Рассказано все это тоже по интимному поводу: Пселлу сообщили, что Дука рыдал во время родов его невестки. Иногда такие интонации прорываются

⁴⁵ В другом письме Пселл хвалит Иоанна за «любь к слову, страсть к знаниям, желание воспринимать мудрые речи и умение восхищаться красотой сочинений и прелестью писем» [22, с. 184–185].

и во вполне традиционных письмах. В благодарственном послании в связи с присылкой кесарем трюфелей Пселл замечает: «Дочь моя лежит при смерти, лишь сейчас после твоих даров она воспряла к жизни» [16 (II), с. 282]. Или в другом случае Пселл, теперь уже сам посылая Дуке плоды, пишет: «Если не хочешь есть, отдай их двум младенцам (внукам кесаря), — они будут играть яблоками и грушами, а ты смотреть на них и смеяться» [16 (II), с. 306–307]. Иоанн представляется здесь своему корреспонденту не храбрым военачальником, не мудрым книгочеем и даже не страстным охотником, а умиленным дедом.

Этот доверительно-дружеский тон в ряде случаев оказывается в состоянии растопить риторический лед византийской эпистографии. Стиль отношений между корреспондентами еще с большими основаниями, чем в случае с племянниками Кирулария, можно было бы назвать дружбой эпикурейско-горацианского типа. И тот и другой уже не молоды и умудрены жизнью, писатель рекомендует вельможе не принимать близко к сердцу жизненные тревожения. «Если ветер тревожит твою душу, не удивляйся. Жизнь наша состоит из взлетов и падений», — утешает писатель [22, с. 173]. Впрочем, писатель понимает, что Иоанну невозможно отказаться от своего любимого удовольствия. Да и сам он, преданный книгам философ, если бы кто-нибудь оторвал его от «любезной ему академии», с удовольствием присоединился бы к кесарю. «Ты ведешь ныне милый тебе образ жизни, который издавна привлекал тебя. Помнится, ты клятвенно заверял, что с радостью променял бы всю власть и высокое положение на жизнь без печали и забот. И вот у тебя есть то, к чему ты стремился. Живи же так до конца! Сколько нам еще осталось прожить? Мы с тобой сверстники, и у тебя и у меня проглядывает седина, хотя и не совсем еще белая. Не попадет нас коса смерти, а раз завтра предстоит умереть, мирно насладимся нынешним днем» [1 (V), с. 409.1 и сл.].

В полном согласии с эпикурейской этикой пишет Пселл и о губительности больших жизненных удач, которые топят тех, кто их имеет [16 (II), с. 187–188]. Этот «эпикурейско-горацианский» тон подчас далеко уводит Пселла как от эпистографического стандарта, так и от этических и эстетических норм византийской жизни. «Теперь же давай и пошутим, — заканчивает Пселл одно из писем, — забудем о приличии и монашеской жизни. И я нечто подобное испытал в молодости, и меня пленяли косые глазки и отнюдь не белоснежная

кожа. Их обладательницу я полюбил больше, чем иных прекрасных и розовоперстых. Узнаешь страсть? Видишь свой лик в моем зеркале? Ведь ты, как и я, сотворен из праха» [22, с. 175.7 и сл.]. В этом последнем полушутливом, полулирическом отступлении (возможно, Пселл вспоминает какое-то увлечение молодости) проглядывает то мироощущение, которое много позже будет свойственно поэтам европейского Ренессанса. Разрушаются представления о красоте как соответствии определенным канонам, и на первый план выдвигается индивидуальное чувство и индивидуальное представление о прекрасном.⁴⁶ Характерно, что этот пассаж содержится в письме к Дуке.

Вообще человеческая слабость в представлении Пселла, автора посланий к Дуке, как правило, не подлежащее непременно осуждению отступление от торжествующей нормы, а скорее милый недостаток, вызывающий снисходительную улыбку. Отсюда в этих письмах легкая ирония и самоирония, вообще свойственная тому стилю отношений, который мы условно назвали «эпикурейско-горацианской» дружбой.

В только что цитированном послании, сообщая, что и он некогда пленялся «косыми глазками», Пселл пишет, что стал теперь важным, хмурит брови и раздулся от спеси. Если же его кто-нибудь спросит, отчего он так ведет себя, то он ответит, что его похвалил сам кесарь [22, с. 173]. В другом случае Пселл благодарит Иоанна за подаренного коня. Конь этот лучше Пегаса и Буцефала, но беда в том, что Пселл боится коней больше львов и слонов. Тем не менее именно этого коня он храбро оседлает [16 (II), с. 281]. Получив как-то от кесаря и его супруги сыр и отправив им за это благодарственное письмо, Пселл шутит: «Я имею сыр, а вы пустые слова» [22, с. 180].

Заканчивая обычное в византийской практике рекомендательное письмо, философ пишет: «Выполнив мою просьбу, ты сделаешь сразу два добрых дела, избавишь этого человека от несчастий, а меня освободишь от него. Он явился ко мне незванным, и я не знаю, как от него отвязаться» [1 (V), с. 400.19]. Примеры эти можно продолжить.

Для духовной атмосферы отношений между Пселлом и Дукой чрезвычайно характерна образность писем философа. Образная

⁴⁶ Вспомним знаменитый 130-й сонет Шекспира: «Ее глаза на звезды не похожи...».

система для средневекового писателя, как правило, — не только средство художественной выразительности и эмоционального воздействия. Византийский художник постоянно соотносит временное с вечным, настоящее с прошлым. Его образы и служат теми эталонами, с которыми соразмеряется изображение (потому они и заимствуются чаще всего из Библии). В письмах к Дуке абсолютное большинство образов имеет античное происхождение. Саму свою связь с Дукой Пселл сопоставляет с отношениями Аристотеля—Александра Македонского, Платона—Дионисия [16 (II), с. 277]. Вспомним в этом контексте, что образец для своих взаимоотношений с монахом и будущим патриархом Иоанном Ксифилином Пселл видит в братской дружбе Василия Великого и Григория Богослова [1 (V), с. 277].

Примечательно, что античные ассоциации в большинстве своем возникают у Пселла не для апелляции к источнику мудрости и не для подтверждения каких-то незыблемых нравственных правил; они появляются в контексте иронической риторики и дружеских излияний. «Мне некуда деваться от твоих даров, — пишет Пселл, — афиняне спаслись от Дария в море, а куда бежать мне?»⁴⁷ [22, с. 180.24 и сл.]. Некоторые письма Пселла вообще с начала до конца построены на античных образах [22, с. 176 и сл.]. В посланиях Дуке неоднократно цитируются Гомер, Эзоп, Еврипид, упоминаются Дедал, Протей, Нарцисс, Гера, Иксион, называются Дарий, Фемистокл, Перикл, Аристотель, Платон. Мир античных ассоциаций и образов, одинаково близкий Пселлу и Дуке, был условным языком их переписки.

В письмах к кесарю меньше стандарта и во всяком случае обширней гамма чувств, чем в большинстве прочих посланий. В них — особый духовный и эмоциональный настрой. Эстетизм, умение ценить жизненные блага, ирония и самоирония — такие же неотъемлемые свойства «отливающей разными красками» природы Пселла (К. Прехтер), как и его сервиллизм или искренняя преданность наукам, проявившаяся в письмах к другим адресатам.

⁴⁷ Только одно письмо к Дуке строится на библейской образности [22, с. 170]. Античная образность является преобладающей в письмах Пселла не только к Дуке, но и ко всем его «интеллектуальным» друзьям.

МИХАИЛ ПСЕЛЛ И МОНАХ ИЛЬЯ

Следующий персонаж пселловской «человеческой комедии», о котором пойдет речь, — не корреспондент, а герой нескольких писем писателя. Бедный незаметный монах Илья (так звали этого человека), конечно, сам не мог рассчитывать получить послание от высокопоставленного вельможи. Однако образ монаха, каким он рисуется в письмах, отношение к нему Пселла добавляют весьма интересные штрихи для характеристики облика писателя.

Имя Ильи встречается в девяти письмах [1 (V), № 153, 154; 16 (II), № 8, 93, 97, 98, 212,⁴⁶ 270; 28, с. 51–52]. Илью, по-видимому, имеет в виду Пселл и тогда, когда рассказывает о «славном своей добродетелью монахе», который, пожелав обойти всю ойкумену, заимел намерение посетить и фему Фракисий [16 (II), № 270]. Описание монаха совпадает здесь с изображением Ильи в других письмах: отмечается его красноречие, приятность нрава, а также (постоянно подчеркиваемое) умение рассмешить и доставить удовольствие собеседнику.

Об Илье говорится и в одном из неопубликованных писем Пселла.⁴⁹ Адресатами этих писем являются: 1) судья Опсикия [16 (II), № 97, 98]; 2) племянник Михаила Кирулария [16 (II), № 212]; 3) севастофор Никифор [16 (II), № 8]; 4) судья Фракисия Сергей⁵⁰ [16 (II), № 270; 28, с. 51–52] 5) судья Катотиков, т. е. Эллады и Пелопоннеса⁵¹ [16 (II), № 93]; 6) неизвестное лицо [1 (V), № 153, 154].

⁴⁶ Письмо № 212 [16 (II)] (адресовано кесарю Иоанну Дуке) не содержит имени Ильи. Однако то же письмо находится в составе другой рукописи — Cod. Barber., 240, fol. 185, где оно адресовано племяннику патриарха (т. е., видимо, Константину — племяннику Михаила Кирулария). В лемме сообщается, что речь идет об Илье Кристале (Крустуле?). Таким образом, мы получаем прозвище или фамилию героя.

⁴⁹ Vindob. phil. gr., 321, fol. 51; 156, с. 60, № 28. Канар считает по непонятным причинам, что это письмо адресовано Пселлу каким-то корреспондентом, ср. у Вейса [312, с. 26, прим. 55]. <Опубликовано ныне П. Готье (P. Gautier, 1986, p. 179–181).>

⁵⁰ Имя судьи указано лишь в письме [316, с. 51.1].

⁵¹ С адресацией этого письма не все ясно. В тексте издания Курца—Дрексля указано: «судье Катотиков». В то же время из подстрочного примечания явствует, что в рукописи письмо имеет лемму «ему же», а преды-

Можно предположить, что севастофор Никифор — не кто иной, как временщик Михаила VII, лучше известный в истории под именем Никифорицы. В годы царствования Романа Диогена (1068–1071) Никифорица исполнял функции судьи Эллады и Пелопоннеса (ср. (193 (I), с. 204)), и Пселл состоял с ним в этот период в переписке (письмо № 103 [1 (V)]). Как явствует из письма, севастофор Никифор находится в Элладе.

«Неизвестное лицо», которому было направлено послание № 154 [1 (V)] и предшествующее ему — № 153 [1 (V)], может быть, стратиг или патриарх Антиохии: Илья является к нему с целью «посмотреть» Келесирию [1 (V), с. 403.21].

Из всех упомянутых писем приблизительной датировке поддается только № 8 [16(II)], которое относится к царствованию Романа Диогена (времени пребывания Никифорицы на посту судьи Эллады и Пелопоннеса).⁵²

Кто же такой монах Илья, которому Пселл уделяет столь не по рангу большое внимание? Некогда Илья был женат («Он знал, что такое ходить в упряжке» [16 (II), с. 121]). В период знакомства с Пселлом на плечах Ильи мать и родня («Он живет не только для себя... но и для матери, которая возлагает на него надежды, и для родни» [1 (V), с. 402.22 и сл.]). Последнее обстоятельство вынуждает Илью пускаться в длительные путешествия в разные концы света и с помощью Пселла искать покровительства то у судей Опсикии, Эллады и Пелопоннеса, Фракисия, то у племянника Кирулария, то у какого-то влиятельного лица в Антиохии...

Своего протезе Пселл рекомендует со знанием дела; сам он определенно пользовался его услугами: «И я не раз восхищался этим мужем, клянусь твоей святой душой, и — что тут скажешь — очень его полюбил, потому что он оказывал мне необходимые услуги и своей рукой писал для меня быстро и красиво, то, перестроившись, обращался к мелодическому пению, а затем (как тут не перехвалить его!) сбрасывал плащ и хитон и начинал изображать всевозможные сценки». Своему корреспонденту Пселл сообщает,

дущее письмо адресовалось судье Вукелариев. Если письмо действительно было направлено судье Эллады и Пелопоннеса, его вероятный адресат — Никифорица.

⁵² К этому же времени должно относиться и письмо № 93 [16 (II)], если только его адресат действительно Никифорица.

что монах для него «не только с готовностью напишет что надо, но и помоеет, постелит постель, приладит седло и сделает все, что будет угодно господину» [1 (V), с. 251. 1 и сл.]. Видимо, в доме Пселла Илья выполняет роль полуслуга, полуслуги, человека, используемого для всевозможных мелких поручений и услуг.

Основное свойство Ильи — его приземленность: «Есть у меня некий Илья — человек, всему возвышенному противоположный, воспарить над землей не способный... Ему недосуг закрывать и открывать небесный свод, зато он исследует земные глубины» [16 (II), с. 121].

Тот же мотив назойливо повторяется и в другом письме [28, с. 51]: Илья «не вздымает к небу и не рискует сесть на огненную колесницу», но обходит вселенную в надежде найти отдохновение для души. Илья — волокита [16 (II), с. 121.13 и сл.] и обжора («Кормится он не хлебной лепешкой, испеченной из горсти муки, а обильной пищей... масло льет не из бутылки, а щедро, прямо из бочки» [16 (II), с. 121.16–19]).

Илья весьма корыстолюбив. Во Фракисий он прибыл не только затем, чтобы насладиться общением с судьей фемы, но и для дел более практического свойства, — ведь он, как пишет Пселл, любитель не харит, а золота [28, с. 51.25]. Низменность права Ильи оттеняется его монашеским обликом: «Одно для Бога, другое для мамоны, для Бога — чистая душа, для мамоны — природа, обремененная страстями. Третьего до сих пор дано не было. Но этот монах Илья и тут ввел новшество, он не предан ни Богу, ни мамоне, но обоим им воздает свое: Богу — монашеское обличие, нашу святую пристань, а мамоне — свойства души и члены тела. Поэтому, вознося славу Богу, он блудодействует умом; бесчинствуя целыми днями, к делу приступает с осматрительностью. На его глазах быстро появляются слезы, а раскаяние следует сразу за страстями. Он быстро изменяется и знает для себя только два прибежища: публичный дом и монастырь» [16 (II), с. 126.18 и сл.].

Та же мысль весьма образно выражена в письме к фракисийскому судье [28, с. 51.37 и сл.]: «Он готов на любое дело — хорошее и плохое. Он — не весь белый и не весь черный, а как бы и тот и другой с двумя обликами...».

В неустойчивом равновесии души и тела последнее у Ильи постоянно берет верх, и все попытки монаха отрешиться от своей земной природы кончаются неудачей. «Желал этот монах отказаться

от всех земных благ», «воспарить к Богу и причалить к заповедной гавани», но его удерживали «телесная оболочка и большой вес, брэнное тело и тяжкий груз» [1 (V), № 153].

Характеристика Ильи великолепно дополняется письмом — описанием морского путешествия, которое Пселл совершал вместе со своим протеже [16 (II), № 97, с. 125]: «Выйдя из Триглей, мы плыли вдоль гористого берега, с нами на борту находился великий аскет Илья. Поэтому море спокойно несло корабль, и кругом царяла тишина. Водяные валы ради него улеглись, но сам он носился по волнам, сердце его билось учащенно и волновало душу страстями. Вспоминал он не гору Кармел или какое-нибудь другое уединение, а публичные дома и лавки в городе, а также то, какие из публичных женщин хорошо владеют своим ремеслом, а какие для дела не годятся. Он знал, не распутничает ли какая-нибудь торговка, не сводничает ли девка и не творит ли блуд сводник. Он перечислял, кто сражается в открытую, а кто прячется в засаде и таится...». Далее повествуется о том огромном впечатлении, какое рассказ монаха произвел на команду и пассажиров судна. Сам Пселл поражается, как такого богохульника не пожрало морское чудовище; впрочем, Илья заверил его, что распутничает он только на словах...

Любовью к грубым удовольствиям отнюдь не исчерпывается натура Ильи. Можно даже думать (монах блудодействует только на словах!), что Илья лишь сознательно играет роль полушута и балагура, роль, в условия которой низменность пристрастий входит как обязательный компонент. На самом деле монах чувствует себя в доме ученого и утонченного Пселла не менее свободно, чем в веселых заведениях Константинополя. Для его характеристики философ находит слова, которые менее всего подходят для низкопробного балагура. «Одни люди, — рассуждает Пселл в начале письма племяннику патриарха, — уподобляются музам (олицетворяющим в глазах византийца серьезные ученые и философские занятия. — Я. Л.), другие — харитам (представляющим изящные искусства. — Я. Л.), тот же, кто сочетает в себе свойства тех и других, — человек совершенный и высший по добродетели. Таков у нас и этот удивительный монах» [16 (II), № 212]. В приведенных словах содержится очень высокая в устах Пселла похвала: умение сочетать муз с харитами (т. е. ученость с изяществом) философ обычно считает одним из главных достоинств образованного человека.

«Идущее от муз» в Илье интересует Пселла значительно менее, чем «идущее от харит»: «Если ты считаешь харит, любишь шутить, весело смеяться и забавляться, — продолжает Пселл, — то тебе очень понравится этот человек, который изображает театральные сцены и, подобно временам года, меняет свой вид, представляя то Аякса Теламонида, то Мифайка, то Патайка, то торговца Сарава» (ср. выше, с. 271).

Судье Фракисия Сергию Пселл рекомендует пользоваться услугами этого «многоликого» Ильи вместо того, чтобы идти к флейтистам и кифаристам, поскольку «веселые забавы» необходимы для человека [28, с. 52.10–11].

Илья представляет немалый интерес для Пселла, увлекает и развлекает его благодаря своей одаренности, житейской опытности, живому нраву, склонности к лицедейству и т. п. Несомненно, Илья — незаурядная личность. Ко всем перечисленным его природным качествам, видимо, следует добавить и такое знаменательное свойство, как любознательность: можно думать, что свои многочисленные путешествия Илья предпринимает не только из материальной необходимости, но и из желания повидать новые земли. Так, в письме к властителю Антиохии (?) говорится: «Он пришел, чтобы посмотреть Келесирию... Знаешь, что сделаю? Пока поддержи его у себя, а потом отправь в Ливию и Азию» [1 (V), с. 403.21 и сл.]. В письме (16 (II), № 270) сообщается, что монах пожелал обойти весь мир. Любопытно, что, говоря о странствованиях Ильи, Пселл называет жизнь монаха философской [1 (V), с. 403.4], а самого Илью сопоставляет с Платоном, предпринимавшим поездки в Сицилию! Сравнение с Платоном — высшая похвала, которой можно было удостоиться от Пселла.

В фигуре Ильи находит выражение то взаимопроникновение возвышенного и низменного, «верха» и «низа», которое было столь характерно для средневековой, и в частности византийской, культуры [см. 64, с. 157 и сл.; 78, с. 162 и сл.].⁵³

Было бы неосторожным принимать Илью, каким он представляется в переписке Пселла, за реального византийского монаха. На самом деле он в значительной степени персонаж, построенный по законам художественного отражения. Во всех восьми письмах,

⁵³ О странствующих монахах в Византии говорится у Зонары (см. об этом ст. А. Каждана [79, с. 51, прим. 17]).

посвященных Илье, рисуется единый образ. Три письма представляют собой типичную экфразу, сам жанр которой предполагает «олитературивание» героя [16 (II), № 93, 97, 98]. Но не только в них, а во всех посланиях об Илье Пселл пользуется своими излюбленными средствами для построения образа. Прежде всего, как мы имели возможность убедиться, образ Ильи обладает ведущей чертой — нарочитой приземленностью. Во-вторых, образ Ильи строится на сочетании несочетаемого или, говоря словами самого Пселла, «соседстве противоположностей». В-третьих, для обрисовки Ильи Пселл пользуется и другим своим излюбленным стереотипом: подчеркиванием изменчивости, «протеизма» героя (см. ниже, с. 440 и сл.).*

Невозможно отделить Илью — героя писем Пселла, от его реального прототипа. Но и без такого отделения ясно, что как прообраз, так и его литературное отражение — весьма интересные детали для восстановления картины духовной жизни Византии XI в. Сам Илья — монах раблезинского типа, встреча с которым на территории Восточноримской империи в столь раннее время, как XI в., кажется несколько неожиданной и не соответствующей обычным представлениям о византийцах того времени. Не менее неожиданным на первый взгляд может показаться и то, что человек типа Ильи оказывается в сфере притяжения утонченного интеллектуала и первого философа империи. Натура Пселла оказывается шире и многообразней, чем это можно заключить даже из его собственных деклараций. Почти болезненное увлечение лицедейством, интерес к изнанке человеческой природы и всему низменному оказываются такими же чертами Пселла, как его интеллектуализм или эпикурейские наклонности.

* <Е. Мальтезе, опубликовавший одно из писем Пселла об Илье (E. Maltese, 1988), в комментарии сопоставляет фигуру этого монаха с другим пселловским героем — *πάπας*, которому писатель посвятил одну из своих «малых речей» (Psellus Michael, 1985, op. 16). Аналогия достаточно близкая, хотя между двумя персонажами столько же сходства, сколько и разницы: *Πάπας* — шут и забуддыга — предмет насмешки и поношений, в то время как Илья вызывает не только иронию, но и глубокую симпатию Пселла. Об Илье в корреспонденции Пселла см. также: G. Dennis, 1988, p. 162 ff.>

МИХАИЛ ПСЕЛЛ И МИХАИЛ КИРУЛАРИЙ

Постоянная апелляция Пселла к «дружбе» в его письмах к самым разным людям может создать впечатление идиллических отношений писателя с окружающими. На самом деле это не так. Как явствует из ряда свидетельств, у многих своих современников Пселл вызывал скорее ненависть, чем любовь. Связи Пселла с окружающими — не только притяжение, но и отталкивание. История взаимоотношений писателя с людьми ему враждебными, не менее, чем с друзьями, может дать богатый материал для характеристики его личности.

Наиболее интересны в этом плане взаимоотношения Пселла и Михаила Кирулария.⁶⁴

История связей этих людей давно волновала воображение историков. Виной тому главным образом два обстоятельства: во-первых, оба византийца — крупные исторические и культурные деятели, во-вторых, отношения их характеризовались кипением политических страстей, внутренним накалом и драматизмом. Нас в данном случае интересует не столько внешняя канва, сколько мотивировка событий и действий, основной механизм драмы, разыгравшейся в середине XI в.

Отношения Пселла и Кирулария можно восстановить главным образом по следующим источникам:

- 1) речь против Кирулария, см. ниже, с. 502–503;
- 2) энкомий Пселла Михаилу Кируларию, см. ниже, с. 504;
- 3) письмо Пселла Кируларию [1 (V), № 159]. В нем упоминаются «солнце» и «луна», т. е. император и императрица, под которыми могут иметься в виду Константин IX Мономах и Зоя или Исаак Комнин и Екатерина. Первое более вероятно, поскольку в письме содержатся жалобы на неблагоприятные перемены в судьбе автора —

⁶⁴ Михаилу Кируларию — «виновнику» разделения Восточной и Западной церквей — посвящена огромная литература. Это избавляет нас от необходимости пересказывать биографию патриарха. Из работ на русском языке назовем статью М. Сюзюмова «Разделение Церквей в 1054 г.» [112]. Там же содержится сравнительно полная библиография вопроса. Литература указана в «Истории Византии» [77 (2), с. 449, прим. 43 к гл. 10]. Отношениям Пселла и Кирулария посвящена специальная статья [120], к сожалению оставшаяся нам недоступной. <Из более новых работ укажем на статью Ф. Тиннефельда (F. Tinnefeld, 1989).>

видимо, намек на преследования партии Лихуда—Пселла в конце 40-х годов со стороны логофета Иоанна. Возможно, его и имеет в виду Пселл, когда пишет о «преследующем... который уже настигает мне на пятки» (с. 412,22). Следовательно, наиболее вероятное время составления письма — до 1050 г. (год смерти императрицы Зои);

4) три письма Пселла Кируларию [1 (V), № 56, 57, 58].⁵⁵ В них содержатся намеки на монашество отправителя. Это дает основание датировать их 1055—1058 гг. — временем между принятием Пселлом монашества и опалой патриарха;

5) письмо Пселла Кируларию [1 (V), № 160], в котором выражается благодарность и осторожный упрек, почему патриарх прислал рыбу не сам, а через своего племянника. Письмо можно сопоставить с посланием Пселла к племяннику патриарха (16 (II), № 214), где писатель благодарит адресата за присылку рыбы от дяди-патриарха. Поскольку письмо к племяннику датируется временем Феодоры, к тому же периоду следует, возможно, отнести и это послание патриарху;⁵⁶

6) письмо Пселла Кируларию, опубликованное в 1972 г. Г. Вейсом [312, с. 46—49]. Поскольку в письме говорится о царствовании императрицы (Феодоры) и об отсутствии Пселла в столице, можно предполагать, что оно написано сразу после пребывания писателя на Вифинском Олимпе в 1055 — начале 1056 г. Письмо содержит ретроспективный экскурс об отношениях Пселла и Кирулария и потому представляет первостепенный интерес для наших целей;

7) письмо патриарху господину Михаилу Кируларию [1 (V), № 207, 19], см. ниже, с. 502.

Два письма Пселла Кируларию [1 (V), № 59, 164] не могут быть датированы. Два других письма адресованы патриарху без указания имени. Первое из них [1 (V), № 162] написано от имени учителя школы Диаконисы, и авторство Пселла вообще сомнительно [см. 107, с. 730 и сл.].

В качестве адресата второго [1 (V), № 139] Кируларий может быть назван лишь предположительно;

⁵⁵ Письмо, напечатанное у Сафы под № 56, по другой рукописи (Cod. Bagoss., 131), издано у Курца—Дрекля [16 (II), № 208].

⁵⁶ П. Безобразов [65, с. 22 и сл.] и Г. Вейс [312, с. 28, прим. 63] относят это письмо ко времени Константина Мономаха.

8) сочинение, озаглавленное «Как делать золото», обращенное к патриарху Михаилу (Vatic. gr., 672, fol. 73) и представляющее собой, по всей видимости, трактат по алхимии.*

Как видно, в хронологическом отношении источники об отношениях Пселла и Кирулария распределяются весьма неравномерно. Только два письма относятся ко времени Константина Мономаха, остальные датируются более поздним временем.

Когда Пселл впервые познакомился с Кируларием, неизвестно. Можно предполагать, что это произошло еще в юношеские годы писателя. Пселл вспоминает о своей привязанности к будущему патриарху [312, с. 46.15 и сл.], рассказывает о знакомстве со старшим братом Кирулария [1 (V), с. 522], умершим до 1041 г. [1 (IV), с. 320.]. В те времена совсем еще молодой Пселл занимал мелкие государственные должности, а приближающийся к сорокалетнему рубежу Кируларий успел попасть в опалу за участие в заговоре против императора Михаила IV [1 (IV), с. 313]. Когда в 1043 г. Кируларий вззошел на патриарший престол, а Пселл вскоре после этого стал ипатом философов, императорским фаворитом и воспитателем племянников патриарха, контакты между ними стали уже неизбежны. В эвкомии Пселл, естественно, склонен идеализировать свои отношения с Кируларием (автор был «ближайшим человеком» к патриарху [1 (IV), с. 332], имел возможность непосредственно наблюдать за жизнью Кирулария (с. 339, 368). Кируларий восхищался красноречием писателя (с. 355) и т. д.). Исходя из априорных соображений, можно думать, что отношения этих людей не могли быть безмятежными: пытаясь сохранить расположение Кирулария, фаворит Константина Мономаха попадал в нелегкое положение — отношения между патриархом и императором ухудшались стремительно,⁵⁷ лавировать между светским и духовным владыками Пселлу, конечно, было непросто.

Свидетельствующий об этом пассаж эвкомии нуждается в комментарии не только из-за обычной для византийского писателя нарочитой неопределенности выражений, но и потому, что в данном случае истина специально затемняется Пселлом («Пусть мой рассказ пренебрежет туманной истиной, даже если и мелькнет незаметно

* <В одних рукописях трактат обращен к Иоанну Ксифилину, в других Михаилу Кируларию. См. U. Albini, 1987.>

⁵⁷ См. в эвкомии самого Пселла [1 (IV), с. 326, 334, 341, 357].

ее след...», — замечает автор [1 (IV), с. 356.14–15]). Пселл пишет: «Он (Кируларий. — Я. Л.) ревновал мою природу из-за того, что я погряз в вещах недостойных и бывал во дворце. Я же со своей стороны пожелал действовать в противовес ему (а этого не следовало делать) и склонился в другую сторону. Если позже мы оба и проявили душевную низость, то он нашел в ней для себя предлог, в отношении которого я оправдаюсь позже и в другом сочинении, ведь сейчас я пишу не исследование, а энкомий. Единственное, о чем я скажу здесь, это то, что он ко мне, если можно так выразиться, отнесся не столь философски, как я к нему... Если он черпал из моих источников (имеется в виду красноречие. — Я. Л.), то я не припадал к потокам его достоинств, не отведал и не воспользовался ничем полезным.

Но его беспредельно доброе отношение ко мне и моя необычайная любовь к нему пришли к концу, и завистливый язык еще больше усилил наше расхождение... Волна смысла тогда многих и меня чуть не потопила...» [1 (IV), с. 355.26 и сл.].

Пассаж этот находился в контексте рассказа о времени Константина Мономаха, но представляет собой род отступления — «забегания вперед» (в конце Пселл пишет: «Но пусть моя речь вернется назад, ибо она слишком зашла вперед» — с. 356. 22 и сл.). Трудно сказать, что конкретно имеет в виду Пселл под изменением в их отношениях с Кируларием и волной, чуть не потопившей его самого. Интересно, однако, что причину охлаждения Пселл считает давней и видит ее в «ревности» Кирулария: патриарх недоволен тесными отношениями Пселла с императорским двором.

О том, что расхождения между духовным владыкой и философом начались при Мономахе, свидетельствует также самое раннее из опубликованных писем Пселла Кируларию [1 (V), № 159]. Послание принадлежит к числу традиционных в византийской эпистографии — это жалоба на пренебрежение. Тем не менее сквозь эпистографический этикет проглядывает реальное содержание. Кто-то преследует автора («преследующий меня... уже наступает мне на пятки»), счастье изменило ему («судьба переменялась ко мне, и то, что я сколачивал понемногу, рухнуло сразу и вопреки всем ожиданиям» [с. 412.24 и сл.]), патриарх от него отвернулся, а поступки его истолковываются превратно: «Если я вижу больше других, меня считают не в меру усердным, человек простодушный, я приобрел славу ловкача, красноречие мое кажется алокозненным,

философские писания вызывают подозрение, то, что я люблю беседовать с тобой, представляется суетностью, если я достойно переношу несчастья, значит я самоуверен, а если малодушно сетую, то — дерзок» и т. д. [с. 413].⁵⁸ Можно, однако, думать, что Пселл не был только «несправедливо обиженным». Его собственное отношение к патриарху уже в то время далеко от идиллического восхищения. Это ясно из письма, направленного Пселлом своим ученикам — племянникам патриарха [1 (V), № 208]. «Пусть образцом для вашего родственного содружества будет божественный союз, я имею в виду вашего отца и дядю», — поучает братьев писатель. Коротко характеризуя членов этого «божественного союза», Пселл отдает явное преимущество умершему отцу перед здравствующим и занимающим патриарший престол дядей и к тому же кокетливо просит братьев не «предавать» его патриарху (с. 522). Письмо заканчивается призывом следовать отцовским добродетелям. Надо хорошо представлять себе эзопов язык византийской риторической прозы, чтобы оценить значение высказываний подобного рода.

Итак, намеки энкомия получают подтверждение в данных двух писем, более или менее определенно датированных временем Константина Мономаха: расхождения и взаимное недовольство философа и патриарха имеют место уже в 40-х — начале 50-х годов.

Было бы весьма интересно узнать о позиции Пселла в событиях схизмы 1054 г. К сожалению, никаких определенных сведений об этом не сохранилось,⁵⁹ помимо одного упоминания имени писателя, содержащегося в постановлении Константинопольского синода от 20 июля 1054 г.

⁵⁸ Тот же мотив (выраженный к тому же в аналогичной синтаксической конструкции!) звучит и в позднем письме Пселла, где он уже ретроспективно касается своих отношений с Кируларием этого периода: «Я выражал дружбу, а меня ненавидели, я любил, а меня отвергали, я говорил прекрасно, но слушали меня дурно...» [312, с. 46, 32 и сл.]. Там же рассказывается и о некоем клеветнике, оболгавшем Пселла перед патриархом.

⁵⁹ Выяснить эту позицию в специальной большой статье, цитированной нами, пытается Михель [250]. Однако большинство построений ученого — не более как вероятные гипотезы, чисто логическим путем выведенные одна из другой. Михель стремится представить, как должен был бы действовать Пселл в определенных исторических ситуациях. Однако, как известно, человеческое поведение отнюдь не всегда подчиняется предписаниям тривиальной логики.

Это было жаркое время в Константинополе. Патриарх неистовствовал против легатов римского папы, предавших его анафеме как еретика. Император лавировал, пытаясь умилостивить западных послов, и в то же время окончательно не поссориться с Кируларием. Около 20 июля он отправил патриарху письмо с сообщением, что им (императором) наказаны некоторые (отнюдь не главные) его (патриарха) «обидчики». Послание Мономаха передавал «ипат философов и вестарх Константин» (без сомнения, Пселл) [58, с. 166; 169, № 916]. Возможно, это случайность: на месте Пселла мог быть любой иной чиновник. Вероятней, однако, другое: согласившийся на компромисс император отправляет в числе передающих примирительное послание человека, который может рассчитывать на милостивый прием сурового Кирулария. Как известно, основной смысл сообщения у византийцев часто содержался не в письме, а устно передавался через письмоносца; таким образом, личность последнего приобрела большое значение! Не играл ли Пселл роль буфера в отношениях светского и духовного владык? Предположение это тем правдоподобней, что в дальнейшем и новому императору — Михаилу Стратиготику Пселл советует примириться с патриархом [16 (II), с. 88]. Уже испытывающий неприязнь к личности Кирулария, Пселл тем не менее не хочет разрыва с патриархом.

Нпротив, в конце царствования Мономаха в отношениях между ними наступает период «краткого потепления», который, однако, быстро кончился с восшествием на престол Феодоры. Вновь жалуются философ на некоего «сикофанта», оболгавшего его перед патриархом, в то время как сам Пселл находился вдали от столицы.

Возможно, это новое охлаждение нашло отражение и в письме, датированном временем Феодоры [1 (V), № 160]. Пселл жалуется на пренебрежение со стороны Кирулария, мечтает увидеть его, соглашается на роль пса, которому, мол, перепадают куски с патриаршего стола (с. 415). Остальные письма этого периода [1 (V), № 56–58] представляют собой изысканно-риторические благодарности за присланную патриархом рыбу, надежды на благосклонность адресата. Пытаться извлечь из этих этикетных посланий реальное содержание — занятие почти безнадежное.

Только одно произведение Пселла этого периода, обращенное к Кируларию, явно и открыто противоречит этикету и потому

заслуживает особого внимания [1 (V), № 207].⁶⁰ Отсутствие оснований для точной датировки и незнание реальных обстоятельств, вызвавших появление сего послания, не позволяет расшифровать многие содержащиеся в нем намеки, тем не менее, смысл его ясен: Пселл высказывает свое истинное отношение к патриарху, — неприязнь, раньше выражавшаяся лишь в туманных намеках, неожиданно выходит наружу. По форме речь является ироническим «синкрисисом», объектами которого становятся сам Пселл и Кируларий. Внешне автор преисполнен почтения к патриарху и презрения к самому себе, на деле же он всячески унижает Кирулария и превозносит собственную персону. Ироническая оболочка нередко вообще прорывается и уступает место прямому обличению. Противопоставление предваряется общей презумпцией. «Ты — небесный ангел... я же таков, как есть, разумная природа, соединенная с телом... я признаю, что я человек, существо изменчивое и непостоянное... ты же один из всех, неколебимый и неизменный» [1 (V), с. 506]. Между этими людьми «горы, моря и материка». Все противоположно в них (с. 507.16). Род Кирулария славен, Пселла — безвестен. Знания и мудрость Кирулария приобретены без всяких усилий с его стороны. Пселл, напротив, «много времени провел над книгами, познал философию и риторику» (с. 507). Кируларий считает науки «пустой болтовней», Пселл их превозносит. Кируларий внушает людям ужас, ненавидит их, несет не мир, но меч; Пселл сострадает ближним и не может даже видеть чужих страданий (с. 510). Кируларий, «демократический муж», ненавидит монархию, в то время как Пселл — принципиальный сторонник единовластия (с. 512).

В приведенном противопоставлении создается четкий нравственный и интеллектуальный образ константинопольского патриарха — человека невежественного, злого, нетерпимого и властного.⁶¹

⁶⁰ Подробно на содержании «письма» останавливается во введении к его критическому изданию У. Крискуоло (см. ниже, с. 502).

⁶¹ Именно этот нарисованный Пселлом (совпадающий в ряде деталей с оценками западных средневековых источников) образ Кирулария был подхвачен западной историографией XVIII–XIX и частично XX вв. Не последнюю роль в этом играли причины конфессионального свойства. Очень активно (из вполне понятных соображений) против этого выступали некоторые православные историки Церкви. См., например, анонимную брошюру «Михаил Кируларий, патриарх Константинопольский».

Эти черты образа Кирулария в той или иной степени появляются и в ряде других сочинений Пселла, и даже в его похвальном слове патриарху. Как и положено в сочинениях этого жанра, писатель превозносит Кирулария, тем не менее на «втором плане» этой речи возникает и иной, уже знакомый нам образ «мрачного и сурового» патриарха. Особенно отчетливо эти свойства проявляются в сравнениях-синкрисисах Михаила со второстепенными персонажами сочинения.⁶² Конфронтация героев во всех случаях проводится по одному четкому принципу: противопоставляется «духовный» и «светский» тип человека. Принцип этот проводится Пселлом назойливо и постоянно. Не выходя за пределы круга отношений с семьей Кирулария, можно сослаться на уже упомянутое сравнение Кирулария с его старшим братом в письме к племянникам патриарха [1 (V), № 208], а также на сопоставление самих племянников, содержащееся в энкомии.

Старший из племянников — божественный муж, который не допускает к устам своим худую речь, не открывает уши свои для мерзких речей, всегда одинаков, не меняется в зависимости от обстоятельств, человек, ценящий прямоту и не знакомый с ложью, не вызывающий подозрений ни в ком другом и не подозревающий других, прост душой, не заботится о внешнем и ненавидит суету. Младший, напротив, «приятного нрава и обаятелен в беседе, обладает умением проникать в души и по внешним признакам заключать о внутреннем содержании. Это человек доступный не для всех, а только для тех, кого выбрал сам, заключающий дружбу не сразу и не со всяким, но лишь с теми, кого хорошо знает и испытал... Он умен, как никто другой...» [1 (IV), с. 352.15 и сл.].

Во всех этих «синкрисисах» при всей индивидуальности их героев происходит сравнение не отдельных разрозненных свойств, а двух типов людей, каждый из которых — сочетание определенных взаимосвязанных и взаимообусловленных свойств личности.

Для духовного типа характерны: неизменность, суровость, непримиримость, пренебрежение внешним и земным, устремленность к выс-

изданную в Киеве в 1854 г. Даже у такого трезвого ученого, как Н. Скабала-нович, «невежественный, злой и нетерпимый» Кируларий становится «твердым, неколебимым и хладнокровным» [109, с. 737].

⁶² Подробней об этом см. ниже, в разделе, посвященном энкомиям Пселла (с. 395).

шему, самоуглубленность, отсутствие интереса к людям и дружбе. Для «светского» типа характерны: изменчивость, умение приспособливаться к обстоятельствам, занятия земными делами, приветливость и ласковое отношение к людям, любовь к прекрасному, увлечение науками и риторикой. Такой принцип разделения людей для Пселла — своеобразный стереотип в оценке современников. Своего сочувствия к «светскому» типу Пселл почти никогда не скрывает, хотя резкость противопоставления в каждом случае различна. В речи, с которой мы начали свои рассуждения, противоречия между Кируларием и Пселлом превращаются в непреодолимую пропасть.

Заключительный этап отношений Пселла и Кирулария приходится на 1058 г. и носит драматический характер. Трагизм событий, связанных с изгнанием и смертью патриарха, постоянно привлекают к ним внимание историков, и потому эпизод этот непременно освещается даже в общих работах по византийской истории. Уже это делает излишним подробное его изложение. К концу 1057 г. отношения между Исааком Комниным и Кируларием стали напряженными до предела. Исаак действует решительно. Воспользовавшись удобным случаем, он велит схватить патриарха и отправить его на остров Приконис. Поскольку непримиримый Кируларий отказывается добровольно оставить престол, император назначает суд, который должен собраться в небольшом местечке фракийского Херсонеса. Однако до суда дело не дошло, поскольку патриарх скоростигжно скончался. Роль Пселла в этих событиях была первостепенной. Об этом прежде всего свидетельствует тот факт, что составить обвинительное заключение против патриарха было поручено именно ему.

Советами философа император Исаак явно пользовался и раньше. Намек на это содержится у Атталиата. По сообщению этого историка, Исаак отправил к заточенному на острове Кируларию «наиболее ученых митрополитов» с заданием убедить узника добровольно отказаться от престола, причем такой совет подали императору некие «высокопоставленные лица, которым хорошо были известны доблести патриарха, но которые применялись (забавы льстецов!) к обстоятельствам» [50, с. 64–65]. Зная нелюбовь Атталиата к Пселлу, можно предположить, что под «высокопоставленными лицами» имелся в виду и первый философ империи.

Эпизод с обвинением Кирулария в бесчестии и других тяжких грехах — обычно самый сильный аргумент тех биографов Пселла, которые акцентируют внимание на «моральной» неполноценности великого средневекового писателя. Действительно, роль прокурора на процессе, исход которого предreshен заранее, еще никогда не делал чести ни одному историческому деятелю. Первым разоблачителем Пселла оказался... сам Пселл. В энкомии он пишет: «Император созвал всех мудрых и всех самых ученых людей и воспользовался их помощью для борьбы с патриархом. Ни один здравомыслящий человек не бросит им упрека, во-первых, потому, что любой поступок может быть истолкован двояко, как хороший и как дурной... во-вторых, потому, что хотя большинство из соучастников и были самого лучшего мнения о предприятиях патриарха перед лицом суровых испытаний, тем не менее воля императора, чтобы они судили так, а не иначе, заставила их согласиться с его мнением» [1 (IV), с. 370.3 и сл.]. Эти самооправдания скорее напоминают саморазоблачения. Любопытно сравнить слова Пселла с только что цитированным высказыванием Атталиата [50, с. 64–65]. Две совершенно различных оценки «классического» византийского сервиллизма! Содержание обвинительного заключения подтверждает самые нелестные отзывы о Пселле современных исследователей. Этот обширный документ, несмотря на все риторические издержки, составлен со строгостью юридического акта. Уже в преамбуле против Кирулария выдвигается пять основных пунктов обвинения, разворачивающихся затем в обширное произведение, занимающее около ста страниц нового издания. Каждый, во всяком случае, из первых четырех пунктов, достаточен для того, чтобы лишить патриарха не только престола, но и жизни. В вину патриарху ставится: 1) покровительство двум хиосским монахам, а вместе с ними и женщине ло имени Досифея, устраивавшим запретные оргии и прорицавшим будущее. Статья обвинения: нечестие (ἀσέβεια); 2) злоумышление сразу против двух императоров — Михаила Стратиотика и Исаака Комнина с целью захвата царской власти. Статья обвинения: узурпация (τυραννίς); 3) подстрекательство к убийствам, имевшим место в дни перехода власти от Михаила Стратиотика к Исааку Комнину. Подстрекательство приравнивается к убийству; 4) разрушение храма. Статья обвинения: святотатство (ιεροσυλία); 5) издевательство над Священным Писанием, недостойное поведение в церкви, злопамятство, мстительность.

недоброжелательство к людям, занятия алхимией. Эти разнородные обвинения объединяются под статьей *adiaforia*.⁶³

Уже первые ученые, исследовавшие текст обвинительного заключения, обнаружили белые нитки, которыми шит этот документ, почти целиком состоящий из натяжек или прямой лжи. Кируларий, например, не противодействовал захвату власти Исааком, а, напротив, споспешествовал ему — об этом говорят все историки, в том числе и сам Пселл. Разрушение церкви (речь идет о церкви Св. Андрея в Константинополе) на самом деле было ее перестройкой. В вину патриарху Пселл вменяет те «грехи», в которых был в первую очередь повинен сам: занятия алхимией, неоплатонической философией и т. д.

Нет нужды еще раз произносить филиппики против Пселла или, наоборот, подыскивать ему оправдания. Гораздо интереснее постараться понять атмосферу, в которой должно было происходить судилище, и в связи с этим проникнуть в логику и метод обвинений, выставленных философом, взявшим на себя роль прокурора. И для того и для другого речь дает достаточно материала.

Прежде всего не надо думать, что предполагавшийся суд был бы простой расправой над уже поверженным противником. Не случайно император при аресте патриарха боится возмущения горожан, не случайно он старается не довести дело до суда, а когда это не удается, назначает заседание синода вне Константинополя, не случайно, наконец, обвинение поручается самому ученому философу и самому искусному оратору — Михаилу Пселлу. Твердая позиция Кирулария после ареста была не только плодом упрямства или фанатической убежденности; она основывалась, видимо, на трезвом расчете: патриарх собирался на заседании синода дать императору бой, исход которого еще не был окончательно предрешен. Кируларий мог, видимо, рассчитывать на демарши своих сторонников во время суда; во всяком случае, Пселл, готовя проект речи, учитывал возможность их появления. В тексте «Обвинения» содержится несколько обращений к возможным защитникам патриарха (с. 265, 275, 299, 307, 309). Слова Пселла можно было бы принять за простой риторический прием, но в одном месте предполагаемый прокурор прямо говорит о разногласиях в синоде:

⁶³ Слово трудно поддается переводу. Возможно, употреблено в зафиксированном у Отцов церкви значении «Culpable indifference about conduct» [см. 233, а. v.].

«К тому же, среди части нас существуют противоречия — некоторые с нами, некоторые с противной стороной. Одни из осторожности не голосуют беспристрастно, другие дерзко и неразумно возражают, при этом не выдвигают доводов (а что могли бы они сказать!), а только понапрасну шумят и будоражат собрание. Эти немислимые глупости они выражают в речах сбивчивых и бесформенных, и нечестивцам при этом кажется, будто они поступают благочестиво, бесчеловечным — будто действуют человеколюбиво, а совершающим величайшее бесстыдство — будто соблюдают благоразумие» (с. 311).

Чтобы парализовать возможных защитников Кирулария, Пселл пишет: «Присутствуют здесь и такие, кто собирается встать на его (патриарха. — *Я. Л.*) защиту. Мне стыдно за них. Более того, я боюсь, как бы, рассчитывая безболезненно извлечь копьё из чужого тела, они еще больше не разбередили бы зазубринами его раны и, неумело вытаскивая копьё, не вонзили бы его в самих себя — в этом случае они сами уже не будут иметь защитников: их пример всех облагоразумит. Не воображайте, будто вы жалеете патриарха, а мы дерзкие и наглые. Мы не менее вас любим этого мужа, а более всех — император...» (с. 265.19–28).

В приведенном отрывке интересна не столько прямая угроза по адресу противников (у них-то самих уже не найдется защитников, расправа над ними, по мнению автора, дело решенное!), сколько его заключительные фразы: оказывается, по-настоящему любит патриарха не тот, кто его обороняет, а тот... кто на него нападает.

Мысль эта находит дальнейшее развитие: пусть лучше духовный владыка на земле потеряет престол, чем лишится вечного блаженства на небе (с. 327). Кирулария разоблачают и преследуют как бы ради его собственной пользы. Так возникает своеобразная «логика наизнанку», подмена понятий, характерная для всего обвинения. Апогея этот «метод» достигает в конце — в заключительном аккорде речи, цель которого — устрашение инакомыслящих. «Если вы выберете первое (оправдание патриарха. — *Я. Л.*), то выражайте свою волю письменно, чтобы император имел оправдание, когда будет он судим и строго допрошен перед лицом Господа. Пусть тогда Церковь снова распахнет двери для языческих сборищ, прорицаний, треножников, дабы восторжествовал дух, противный божественному. Но если вы не сделаете этого, то смело, каждый в отдельности и все сообща, голосуйте за низложение патриарха» (с. 326–327).

Не говорим о том, что несогласным предлагается дать письменное свидетельство своего несогласия; в тех условиях — это безусловно опасная акция. Гораздо интересней то, как Пселл пытается облегчить внутреннюю борьбу тем, кто еще колеблется и боится. Философ внушает таким членам синода две мысли. Первое: голосуя против Кирулария, они подают свой голос не столько против конкретного патриарха, сколько против утверждения в святых церквях языческих оргий и таким образом против «бесчестия» вообще. Благодаря лукавой логике малодушие превращается в «борьбу за идею». Второе: сторонники патриарха, голосующие против, проявляют не трусость, а мужество. В речи так и сказано: «держайте голосовать». Оба эти утверждения должны были успокоительно действовать на совесть и даже приподнимать в собственных глазах тех, кто в душе уже решился на предательство.

Нами уже отмечалось, что это так и не произнесенное «Обвинение» очень подорвало репутацию Пселла среди новых исследователей его творчества. Не имея намерения подыскивать моральные оправдания Пселлу, укажем лишь на необходимость рассматривать «Обвинительную речь» в контексте всей истории отношений обвинителя и обвиняемого. Пселл — отнюдь не простое орудие в руках мстительного императора. Расхождения между философом и патриархом имели глубокие корни, и в этом смысле «Речь» была лишь последним, заключительным этапом давней вражды. Если же характер выдвинутых обвинений не вяжется с образом самого обвинителя, то причина этого не в особом «коварстве» Пселла и тем более не в резкой перемене его мировоззрения, а в специфической идейной атмосфере Византии, где в условиях безраздельного господства официальной доктрины идейная борьба почти неминуемо для обеих сторон превращалась в уличение противника в «отступлении» от общеобязательных догм. Впрочем, своих прежних претензий к Кируларию Пселл не забыл, а как бы, отстраняя на второй план, концентрирует их в последнем, пятом параграфе речи. Кируларий, утверждает философ, недоброжелателен к людям, злобен, злопамятен, подозрителен, груб, он не любит красноречия и презирает философию, душа его недоступна прекрасному. Перед нами вновь (в том же наборе качеств) возникает фигура того Кирулария, которому Пселл противопоставлял себя в первой своей речи, заготовленной для произнесения против патриарха.

Однако в «Обвинении» все акценты смещены. Первая речь (независимо от повода, по которому она появилась) была идейной борьбой, вторая — доносом, где здравый смысл заменен «логикой наизынку», а юридическая четкость — ее внешней имитацией. Вполне возможно, что Пселл стремился повергнуть не только строптивного врага императора, но и религиозного фанатика, стоявшего на пути светской византийской культуры, однако средства, которые он собирался при этом применить, явно компрометировали цель.

Через несколько лет после смерти патриарха, уже при императоре Константине X Дуке, женатом на племяннице Кирулария, Пселл произносит большой торжественный панегирик в честь своего бывшего противника. Как и следовало ожидать, патриарх в нем оказывается и самым красивым, и самым ученым, и даже самым милостивым. Таковы были не только законы жанра, но и требования ситуации! Мертвых врагов часто бывает выгодней считать друзьями!

МИХАИЛ ПСЕЛЛ И ЛЕВ ПАРАСПОНДИЛ

Итак, ссора Пселла и Кирулария — не только эффектная историческая драма и игра страстей, но и проявление глубинного конфликта двух противоположных типов мироощущений. Другая конфликтная ситуация, хотя и несравненно меньшего накала, возникла у Пселла и в его отношениях с Львом Параспондилем.

О могущественном временщике императрицы Феодоры Льве Параспондиле (Стравоспондиле)⁶⁴ сообщают почти все основные источники по истории Византии середины XI в. [20 (II), с. 74 и сл.; 79, 102; 52, с. 50 и сл.; 45, с. 486].⁶⁵ «Подыскивая подходящего человека, — пишет Пселл, — Феодора ошиблась в выборе и поставила управлять государственными делами не того, кого в течение долгого времени отличали ученость и красноречие (не намекает ли Пселл на самого себя? — Я. Л.), а человека, умеющего лишь молчать и потуплять взор, не способного ни к дипломатическим переговорам

⁶⁴ Имя Параспондил зафиксировано Зонарой и в письмах Михаила Пселла. Стравоспондилем называет Льва Скилица. Нет сомнений в том, что речь идет об одном и том же лице [см. 278, с. 19 и сл.].

⁶⁵ Возможно, Параспондилу принадлежит печать синкела Льва (издана Лораном [234, № 217]).

и ни к чему другому, что характеризует политического мужа» [20 (II), с. 74].⁶⁶

Атталнат расходится в оценках с Пселлом и говорит, что Лев принадлежал к числу людей «избранных», был духовного звания и человеком разумным и опытным, который ввел в государственные дела законность и строгий порядок [50, с. 52 и сл.].

По сообщению Скилицы, синкел (далее он назван протосинкелом) Лев прежде служил императору Михаилу IV⁶⁷ и был возвышен Феодорой благодаря своей «многоопытности» [45, с. 479]. Уже после смерти императрицы недовольные воеводы во главе с Исааком Комниным обращаются к Льву с просьбой быть их ходатаем перед новым императором Михаилом Стратиготиком. Однако все-таки человек мрачный и непрístupный, не только отказался благожелательно рассмотреть их просьбу, но и выгнал их с оскорблениями» [45, с. 486]. Этот эпизод, послуживший непосредственным поводом к восстанию, объясняет ту ненависть, которую питает к временщику мятежный Исаак Комнин. В качестве основного условия договора с императором Михаилом, согласно Пселлу, Исаак Комнин выставляет требование устранить Параспондилу (последнего Исаак презрительно именуется «ниакорослым»).

Жизненный путь первого министра двора, естественно, не мог не пересечься с карьерой первого философа Византии и важного чиновника Михаила Пселла. Свидетельство этому помимо «Хронографии» — некоторые «малые» сочинения писателя.

Четыре письма Пселла непосредственно адресованы Параспондилу [1 (V), № 118; 16 (II), № 72, 87, 185].⁶⁸ Три письма, а также два небольших произведения других жанров направлены человеку, носящему титул протосинкела [1 (V), № 7, 8, 9].⁶⁹ Указание в лемме

⁶⁶ В «Хронографии» Пселл ни разу не называет по имени Параспондила, однако сравнение сообщений Пселла со свидетельствами других источников не оставляет сомнений в том, что имеется в виду Лев.

⁶⁷ По свидетельству Пселла, при Константине Мономахе Параспондил влиянием не пользовался [20 (II), с. 79].

⁶⁸ Некоторые сомнения может вызвать адресация письма [16 (II), № 87]. По своему содержанию и характеру оно очень напоминает серию писем, направленных Пселлом патриарху Михаилу Кируларню [1 (V), № 56, 59, 164, ср. № 359, 160].

⁶⁹ Протосинкелу адресовано также «Слово, рассказывающее о добродетели протосинкела» [16 (I), с. 56–59] и «К протосинкелу, допросишаему

«протосинкелу» само по себе, конечно, не означает, что произведения были обращены к Параспондилу.⁷⁰ Тем не менее такая адресация представляется нам весьма вероятной по ряду внутренних признаков.⁷¹

Кроме того, вполне вероятно, что именно Льва имеет в виду Пселл в небольшом энокмии Феодоре [16 (I), с. 5.13 и сл.], где он хвалит некоего блюстителя законов, возвышенного императрицей.⁷²

Каким же образом складывались отношения между философом и министром константинопольского двора? Вскоре после смерти Константина Мономаха (январь 1055 г.), т. е. именно тогда, когда Параспондил был неожиданно возвышен Феодорой, принявший монашество Михаил Пселл удалился в монастырь на горе Олимп в Малой Азии. После смерти Феодоры (август 1056 г.) в короткое царствование Михаила Стратиготика Пселл возвращается в столицу и вновь выполняет важные государственные обязанности. Параспондил, помогавший Михаилу прийти к власти, в это время остается

рассказать о чудесах чудотворца Григория» [16 (I), с. 142–144]. Последнее сочинение дошло до нас не полностью. Сохранившийся текст представляет собой только вступление к самому повествованию о чудесах — обращение к протосинкелу. <Опубликованы также в Paellus Michael, 1994, p. 134–142.>

⁷⁰ Н. Скабаланивич справедливо указывает, что протосинкелов одновременно было несколько. Ученый называет четырех известных ему протосинкелов второй половины XI в. [108, с. 158]. У самого Пселла есть монопдия, посвященная другому протосинкелу — эфесскому митрополиту Никифору [16 (I), с. 206–210]. Протосинкелом был и другой адресат многих сочинений Пселла — Иоани Мавропод. О синкелах и протосинкелах в Византии см. 127.

⁷¹ Укажем на некоторые основания. В «Слове, рассказывающем...» Пселл говорит о маленьком росте адресата произведения [16 (I), с. 59.9]. Вспомним, что Исаак Комнин называет Льва «низкорослым». В письме [1 (V), № 8, с. 237] говорится о высоком положении, дружбе императора и многочисленных телохранителях, которые раньше были у протосинкела. Это последнее письмо в рукописи находится рядом с двумя другими [1 (V), № 7, 9], также адресованными протосинкелу; естественно, они все были направлены одному лицу. Немаловажным обстоятельством является также следующее: во всех этих произведениях характер адресата рисуется примерно одними красками.

⁷² Ср. 65, с. 56, Дрексль полагает, что речь идет о Гариде [16 (I), ad. loc.].

первым министром двора. Однако с воцарением Исаака Комнина их роли переменялись: Пселл сразу начинает пользоваться доверием нового императора, Параспондил, видимо, попадает в опалу.

Обрисованная ситуация помогает приблизительно распределить во времени некоторые из «малых» сочинений Пселла. Одно из писем [1 (V), № 118] — крик отчаяния гибнущего человека. «Смерч бедствий», «фракийская зима несчастий», «губительный град» совершенно измучили и лишили души Пселла, превратили его в камень (с. 365). Знакомый с византийской риторикой читатель, конечно, не даст себя обмануть красивыми гиперболами. Экзальтированные дружеские излияния и выпренные жалобы, без сомнения, имеют практическую цель: Пселл ищет заступничества Параспондила.

К этому, или приблизительно к этому, периоду следует отнести и «Слово, рассказывающее...». Как явствует из его содержания, Параспондил во время написания сочинения находился на вершине власти.

В этом сочинении, правда, содержится намек на какие-то реальные обстоятельства, расшифровать которые до конца нам не представляется возможным. Пселл пишет о Льве: «Жизнь его блаженна, живет он в соответствии со своим характером, но иногда и вопреки ему. Обособляя себя от государственных дел, он был захвачен сменой властителей» (ἀφαρλάζων γὰρ ἑαυτὸν τοῦ κοινοῦ λερύρακτος ταῖς διαβολαῖς τῶν ἡγεμόνων καθέστηκε [16 (I), с. 58]). Не подразумевается ли здесь отставка Параспондила? Возможно, что именно это свое сочинение имеет в виду Пселл в одном из писем к протосинкелу [1 (V), № 7], где говорится: «Когда ты растолковываешь и объясняешь свою природу, то мы, рисуя тебя другими красками, кажемся болтунами» (с. 232). Из дальнейшего становится ясным, что Параспондил выразил недовольство тем, как его изобразил Пселл.

Два письма к Параспондилу можно с уверенностью отнести ко времени, когда Пселл вернул себе бывшее могущество, а в опале, напротив, находится протосинкел: «Письмо, которое ты послал святейшему патриарху, — пишет Пселл, — и которое ты попросил собственноручно передать ему, вручено, принято и уже ответ для тебя получен. До зачтения я держал долгую речь о твоей святости, и патриарх выслушал и обдумал мое свидетельство. Если его мнение зависит от меня, все у тебя будет хорошо и по душе» [16 (II), № 72, с. 105.2 и сл.].

Ситуация, на этот раз четко выступающая из приведенного послания, получает интересный комментарий в другом письме, помещенном в рукописи перед уже приведенным. То, что письма в рукописи находятся рядом (Cod. Laurent., fol. 37^v—38^r), — дополнительное и немаловажное свидетельство их взаимосвязи.

Пселл пишет, обращаясь к патриарху: «Ныне узнал я моего дражайшего господина, великого архиерея и слугу божьего. Теперь узнал я характер твоей истинно божественной души. От строгой справедливости ты поднялся к вершинам человеколюбия. Пришел ко мне бывший властитель (ὁ λότῆ ἡγεμόνευος), вечный раб твоей милости, пришел, проливая слезы радости, пришел со словами благодарности, восхваляя и прославляя твою добродетель. Он жестоко порицал себя, а тебя превозносил и представлял совершенно безвинным... Благодарю тебя и я за то, что ты не оставил без последствий моей просьбы...» [16 (II), № 71, с. 104]. Скорее всего, «бывший властитель» — Лев Параспондил, по просьбе которого Пселл с успехом выполняет миссию посредничества между ним и патриархом.

Пикантность этой ситуации придает то обстоятельство, что Пселл ходатайствует за Льва перед Михаилом Кируларием — бывшим главным врагом временщика Феодоры.⁷⁸

Из другого послания [1 (V), № 8] можно понять, что его адресат ушел в монастырь («изобилие денег и богатств ты сменил на философию, пристрастие к низшему — на любовь к Богу, многочисленную стражу — на жизнь среди ангелов, привязанность и дружбу земного императора — на близость к Богу», с. 237). Перемену в своей судьбе Параспондил, видимо, воспринимает трагически. Во всяком случае Пселл считает нужным утешить его: обычного человека огорчают перемены судьбы и лишение благ, но «философский муж», каким является адресат, должен переносить их спокойно (с. 234). Увещевания заканчиваются вполне практическим обещанием: «Ныне я утешаю тебя на словах, но я найду удобное

⁷⁸ Нельзя исключить и возможность того, что письма эти были написаны много позднее, и патриарх здесь — Константин Лихуд или даже Иоанн Ксифилин. По сообщению Аггалиата [50, с. 71], придя к власти, Константин Дука восстановил в правах многих приближенных Михаила Стратиготьяка, подпавших в опалу при Исааке Комнине. Момент этот был удобен для ходатайств за Льва.

время для того, чтобы как можно более искусно рассказать о тебе могущественному нашему императору, дабы ты получил соответствующую похвалу, а он доставил тебе столько радости, сколько я — похвалы» (с. 238).

Пселл заступает за Параспондила не только перед патриархом, но и перед императором (Исааком Комниным?).

Итак, судя по письмам, в отношениях Пселла и Параспондила можно четко выделить два этапа — до и после воцарения Исаака Комнина. На первом — Параспондил оказывает покровительство Пселлу, на втором — их роли меняются, и уже Пселл протезирует Параспондилу.⁷⁴

Интерес представляют не столько фактические детали, сколько нравственная сторона взаимоотношений Михаила Пселла и Льва Параспондила. О том, как относился министр к писателю, можно только догадываться по намекам самого Пселла. «Были некогда и милетцы храбрецами, когда ты внимал моим словам как божественным прорицаниям и восхищался моей речью как простой, так и возвышенной», — замечает писатель [1 (V), с. 240]. Напротив, свидетельств об отношении Пселла к Параспондилу более чем достаточно. Частично приводилась оценка Льва из «Хронографии». Продолжая ее, Пселл сообщает, что искусством красноречия тот владел только в самой малой степени, что мысли свои выражал больше жестом, чем словом, что речь его была грубой и неотчетливой, что окружающим он казался человеком суровым и жестким, и никто без крайней необходимости не обращался к нему [20 (II), с. 74–75]. Пселл недвусмысленно выражает свое отрицательное отношение к характерам такого типа. «Если человек в состоянии сбросить с себя телесную оболочку и дойти до вершин жизни духовной, то что общего может быть у него с делами?.. Пусть он поднимется лучше на высокую гору, отвернется от людей и пребудет там с ангелами, чтобы озарил его высший свет» [20 (II), с. 75].

⁷⁴ Среди неопубликованных писем Пселла есть одно, адресованное «монаху протоснякелу» (Vatic. gr., 1912, fol. 172–173). По предположению Дарузеса, оно было адресовано хартофилаку Никите [см. 156, с. 52 № 1]. В связи с установленным нами фактом ухода Льва в монастырь уместно выдвинуть предположение, не направлено ли было и это письмо Параспондилу. <Письмо ныне опубликовано (P. Gautier, 1986, p. 185–187) и уверенно отнесено издателем Льву Параспондилу.>

Несомненно, в первую очередь Параспондила имеет в виду Пселл, когда с раздражением пишет в «Энкомии Кируларию» о людях, «всего домогающихся и хвастающих, что они правильнее самих канонов» [1 (IV), с. 358, 2 и сл.]; эти люди сумели привлечь к себе Феодору.

Развернутая характеристика Льва содержится и в «Слове, рассказывающем...». Параспондил представляется там Пселлу человеком «необщительным». Он — из числа «твердых душой» политических деятелей. Делами он управляет хорошо, но к изменчивым обстоятельствам не приспосабливается. Отметим особо интересную деталь: Лев «не забавляется мерзкими мифами» (видимо, речь идет о древней поэзии) и не терпит славословий в свой адрес. Напротив, Лев богат внутренним разумом, хотя и не скоро обнаруживает его перед окружающими. Под «внутренним разумом» надо понимать мудрость, приобретенную не в результате чтения и занятий, а озарения свыше.⁷⁵

Отношения Льва с Богом имеют мистический характер. Он общается с Всевышним, не исполняя священные гимны, а возносясь к Богу душой. В душе ощущает Параспондил божественную волю [16 (I), с. 57].

Такая же характеристика, с вариациями в деталях, содержится и в иных сочинениях Пселла, которые мы с большой степенью вероятности адресовали Параспондилу. Так, в послании, озаглавленном «Протосинкелу, попросившему рассказать о чудесах чудотворца Григория», Пселл обращается ко Льву: «Ты, постигший божественную мудрость, презираешь земную мудрость как низшую и недостойную и считаешь мои похвалы грубыми, поскольку можешь наслаждаться высшим славословием» [16 (I), с. 143.10 и сл.].

Здесь, как и почти во всех письмах, Пселл нарочито занимает позицию человека земного и низменного, который обращается к существу высшему и божественному. «Я человек настолько земной и плотский, — подчеркивает Пселл в одном из посланий, — что моя болезнь кажется мне болезнью, удар — ударом, рана — раной и все остальное — тем, что оно есть по своему названию и свойствам, поскольку я отверг знаменитое выражение Пиррона, что человек — мера всех вещей» [1 (V), с. 232.25 и сл.]. Напротив,

⁷⁵ Ср., например, противопоставление этих двух видов мудрости в письме Пселла Михаилу Кируларию [1 (V), с. 506–507].

Параспондил для Пселла — образец того уже почти исчезнувшего типа людей, которые преодолели телесную оболочку и живут в мире чистой духовности: «Знай же, дорогой брат, что уже давно иссяк этот род философии и я ни разу не встречал среди своих современников человека, который бы жил по природе ума, не подверженной ничему земному, так, что кажется, будто у него нет тела, ныне же, впервые встретив тебя, я восхищаюсь твоей природой...» [1 (V), с. 233.22 и сл.].

Было бы, однако, излишней поспешностью всерьез принимать все эти возвышенные похвалы. Нередко за ними скрывается плохо замаскированное раздражение и неприятие. Это особенно отчетливо видно из другого письма Пселла [1 (V), № 9]. Внешне оно имеет вполне традиционный характер — это обычное послание с упреками в пренебрежении, жалобами на отсутствие писем и т. д. Но за этой эпистолярной этикетностью — сдержанное раздражение. Видимо, Лев считает, пишет Пселл, что он находится рядом с Богом, и в то время как большинство людей занято делами, он «воспарил высь и общается с родом высших». Поэтому, продолжает писатель, Лев и отказывается от общения с ним.

«Слова мои не проникают в твою душу, — заканчивает Пселл письмо, — не стану стучаться в ее двери, обратись к Богу и беседуй с ним...» [1 (V), № 240.19 и сл.].

Образ Льва Параспондила воспроизведен Пселлом в сочинениях трех различных жанров. Как можно было убедиться, он везде обладает примерно одними и теми же чертами. Различие проступает в акцентах и оценках: внешне восторженных в «Слове, рассказывающем...», двойственных в письмах и откровенно отрицательных в «Хронографии». Отношения с Параспондилем — эпизод в жизни Пселла, но и в нем проявились особенности мироощущения византийского писателя. Восхищение Пселла «святошью» Льва — скорее всего дань общеобязательным идеалам, нежели искреннее чувство. На самом деле временщик Феодоры не вызывает симпатий Пселла. Стремление к преодолению всего телесного и земного, несовместимое с государственной деятельностью, заставляет Параспондила пренебрегать светской образованностью и древней литературой, оставаться человеком необщительным и суровым с окружающими. В этом отношении Параспондил в обрисовке Пселла чрезвычайно напоминает Михаила Кирулария, о котором шла речь выше. Люди такого типа вызывают постоянное и неприменное осуждение Пселла. Михаил Пселл, — с одной стороны, Лев Параспондил и Михаил

Кируларий — с другой, — люди, находившиеся на разных полюсах интеллектуально-нравственной жизни Византии середины XI в.⁷⁶

Нельзя обойти молчанием и другое наблюдение, касающееся уже чисто человеческих свойств Пселла. «Истинный византиец», «придворный интриган», Пселл в истории с Параспондилом явно не оправдывает всех тех презрительных эпитетов, которыми его щедро и не всегда незаслуженно награждали ученые XIX–XX вв. Пселл заступает за Параспондила перед враждебными к нему императором и патриархом даже тогда, когда Лев перестал пользоваться всяким влиянием и попал в опалу.

МИХАИЛ ПСЕЛЛ И МОНАШЕСТВО

В отношении к Параспондилу явно нашла выражение нелюбовь писателя к типу людей, наиболее полно представлявших аскетическую тенденцию византийской культуры. В связи с этим заключением интересно рассмотреть отношение Пселла к тому сословию византийского общества, которое по своему положению должно было являться воплощением этих тенденций: монашеству.

Монашеская стихия со всех сторон окружала каждого византийца. Пселл не был в этом отношении исключением. Его отец и мать кончают свои дни в монастыре, друзья юности еще в молодые годы принимают монашество, двое из них становятся константинопольскими патриархами, третий — митрополитом. Наконец, уже в возрасте 37 лет сам Пселл становится монахом. На протяжении всей жизни Пселл находится в переписке с высшими духовными сановниками империи. Наибольшее число писем Пселла обращено антиохийскому патриарху [16 (II), № 88, 134, 135, 138, 139; 1 (V), № 42, 61, 181; а также три неопубликованных письма: 156, с. 53, № 7, 8; с. 60, № 17; 312, с. 33].* Имя патриарха (Эмилиан, занимал престол в 70-е годы) указано только в леммах писем, сохранившихся в Эскуриальской рукописи. Все ли письма адресованы

⁷⁶ То же отношение ко Льву — ирония, замаскированная панегирическими фразами, — нашло отражение и в короткой эпиграмме, адресатом которой считал Параспондила еще К. Сафа [1 (IV), с. LXXIV; ср. 127, с. 26–27].

* <П. Готье издал не три, а пять не публиковавшихся ранее писем Эмилиану (P. Gautier, 1986, p. 150–158, 170–173).>

этому патриарху, не ясно. Противоположения такой атрибуции содержатся только в письме № 42 [1 (V)], относящемся скорее всего ко времени Константина Мономаха [ср. 312, с. 33, прим. 90]. Эмилиана, по нашим предположениям, имеет в виду Пселл и в письме к Пофосу [1 (V), с. 498.7; см. ниже, с. 315].

Как явствует из письма № 88 [16 (II)], послание составлялось писателем уже в немолодом возрасте. Пселла связывали с патриархом дружеские взаимоотношения, он ходатайствует за своих подопечных и, в свою очередь, предупреждает его о грозящей беде. Имеется в виду, видимо, решение Михаила VII доставить мятежного патриарха Эмилиана в Константинополь. С этим заданием был послан в Антиохию в 1074 г. Исаак Комнин.

В письмах Пселла все время мелькают имена простых монахов, которым писатель просит своих влиятельных корреспондентов оказать покровительство [1 (V), № 31, 140, 158; 16 (II), № 95, 166, 204, 205 и др.]. Целые монастыри (большой частью принадлежащие ему на правах харистикия) пользуются покровительством Пселла.

В принципе писатель согласен признать превосходство аскетического образа жизни и монашеской простоты над изысканной интеллектуальной атмосферой, которой он старался окружить себя. «Я не так люблю искусных и мудрых мужей, как бесхитростных стариков вроде тебя: язык у них всегда в согласии с сердцем, речь одобрена солью, а стиль письма простой, но одухотворенный», — отвечает Пселл некоему олимпийскому монаху. «Нелицемерный монашеский нрав» радует писателя, и он надеется успеть пожить среди удалившихся от суеты людей [1 (V), с. 262.13 и сл.]. «Молись за меня, чтобы я отрешился от мирской суеты и стал бы жить с вами», — пишет он некоему Пендактену, незадолго до этого принявшему монашество [16 (II), с. 142.8 и сл.]. Тот же мотив встречается в письме к архимандриту Олимпа [16 (II), № 112]. (Все эти письма, скорее всего, были написаны около 1054 г., в период, когда Пселл принял монашество и готовился к переселению в монастырь.)

Декларации подобного рода — общее место византийской литературы. Как и всегда в этих случаях, внимание следует обращать не столько на прямой смысл трафаретных высказываний, сколько на тон, которым они делаются. Одно из подобного рода писем направлено двум хиосским монахам Никите и Иоанну [16 (II), № 36]. Оба персонажа хорошо известны: это те самые монахи, устраивавшие совместно с некоей Досифеей запретные оргии и прорицавшие

будущее, за покровительство которым Пселл сурово порицал патриарха Михаила Кирулария (см. выше, с. 295). Обвинительная речь против Кирулария, где повествуется об этом эпизоде, была написана в 1058 г., в письме Пселл еще относится к Никите и Иоанну со всем почтением, следовательно, оно должно было быть написано до этого времени. В послании писатель представляет себя в виде кающегося грешника: он преисполнен гордыни своим знанием (с. 58. 20), до глубины души сожалеет о собственной испорченности и вполне признает, что земное знание, которым он так гордится, не может помочь постижению божественного. Раскаяние это, однако, скорее идет от ума и абстрактного сознания долга, нежели от сердца, во всяком случае сам писатель признает, что он не страдает от своих «пороков» и не радуется «добродетелям». «Нередко, наедине с собой, — пишет он, — мысленно кладу я на чаши весов свое достояние. На одну — прегрешения против Бога, на другую — то, что приобрел из книг своим рвением. Сравнив то и другое, я понимаю, что худого у меня больше, нежели хорошего, но этим малым я горжусь сильнее, чем огорчаюсь многим» (с. 60. 2-9 и сл.). Таким образом, «книжное», земное знание, в преданности которому он как будто раскаялся, искупает для него даже прегрешения против Господа. Такое «раскаяние» похуже любого упорства в «грехе»!

Естественно, что, когда писатель сам столкнулся с необходимостью отречения от мира и ухода в монастырь, это решение превращается для него в большую нравственную проблему. Его колебания находят выражение не только в переписке с Ксифилином, где сомнения писателя ярко проступают на фоне твердости будущего патриарха. В письме, адресованном какому-то монаху [16 (II), № 170], выражая, как и положено, желание уйти от мира, Пселл тут же признает, что его отвлекают «светские» мысли (с. 194. 7 и сл.), и он находит утешение в эпистолярном общении с адресатом. Неприятие аскетических идеалов Пселл вовсе не считает нужным скрывать и во второй части похвального слова матери, созданном около 1054 г. Восхвалив вначале, как и должно, подвижничество матери, Пселл в конце недвусмысленно заявляет о своей неспособности следовать ее примеру: «Я могу восхищаться и испытывать восторг перед тобой, — обращается он к матери, — но подражать не в состоянии...» [1 (V), с. 52.15 и сл.]. Заявление это Пселл делает как раз в тот момент, когда сам он должен был

вступить на путь спасения души... Против чрезмерного усердия в исполнении монашеских обетов Пселл считает долгом предупредить и других. Когда некий Симеон Кенхри — в прошлом человек в высшей степени мирской [1 (V), с. 286.30], стал монахом, Пселл, выражая восторги по поводу этого события, тем не менее предупреждает его от излишнего усердия (с. 286.18): «Не избирай безраздельного пути добродетели, а то оступишься». Писатель предлагает Симеону «средний, поистине царский путь», на который он вступил сам (с. 286, 26 и сл.), и который несет с собой многие прелести.⁷⁷

Понятно, что близкие контакты писателя с монахами на Вифинском Олимпе, где он монашествовал в 1056 г., не приносят ничего, кроме взаимного разочарования и недовольства. Любопытное свидетельство тому — обмен ругательными посланиями между Пселлом (видимо, сразу после его возвращения в Константинополь) и монахом монастыря Синкела Иаковом. Играя на названии горы, где находился монастырь, — Олимп, и, по естественной ассоциации олицетворяя Пселла с Зевсом, автор эпиграммы Иаков утверждает, что Пселл — Зевс покинул Олимп, поскольку там не было его богинь (1 (V), с. 177). Намек на женолюбие Пселла, засвидетельствованное в других случаях им самим, достаточно прозрачен.⁷⁸ В ответ Пселл раздражается длиннейшим посланием [1 (V), с. 177 и сл.], пародирующим церковный канон и в разных видах бесконечно варьирующим тему пьянства Иакова. Обвинение монахов в грехе пьянства обычно для Средневековья. Знаменательная форма инвективы — пародия на канон. Монотонность и бесконечное повторение, которое в состоянии выдержать только византийское ухо, сочетается в этом «каноне» с гиперболами и образами раблезианского типа.

Сочинение в стихах аналогичного рода, исполненное отборных ругательств, направил Пселл и некоему монаху Савваиту [16 (I), с. 220 и сл.; об этом же Савваите см. 1 (V), № 35]. Временные

⁷⁷ Можно ли делать из этих слов вывод, что Пселл писал это письмо будучи монахом, но находясь на царской службе, т. е. после 1056 г.?

⁷⁸ Эпиграмма эта переведена М. Л. Гаспаровым в «Памятниках византийской литературы IX–XIV веков» [31, с. 288]. Вряд ли нужно предполагать, как это делает автор комментария [31, с. 448], что под богинями имеется в виду императрица Феодора и ее свита.

рамки для стихов против Савваита можно установить только очень приблизительно. В период написания сочинения правил император (мужского пола), который «отдал ключи от неба познавшему Христа». Из метафоры ясно, что в царствование этого императора был рукоположен патриарх. Таким образом, стихи могли быть написаны в периоды правления: 1) Константина IX Мономаха (рукоположен Михаил Кируларий), 2) Исаака I Комнина (рукоположен Константин Лихуд), 3) Константина X Дуки (рукоположен Иоанн Ксифилин). Первая возможность представляется нам маловероятной, хотя именно на ней настаивает Л. Штернбах [293]. По мнению ученого, разделившего точку зрения В. Родюса, письмо [1 (V), № 35], в котором также упоминается распря с Савваитом, относится к 1053–1054 гг., так как там речь якобы идет об Элпидии, неудавшемся зяте Пселла, которого тот называет сыном и которого он аттестует адресату в качестве судьи Армениака. Однако *υίός* (сын) никак нельзя безоговорочно отнести к Элпидию, во-первых, потому что слово это не обязательно должно в эпистолографии обозначать родство или свойство, во-вторых (если уже стать на точку зрения Родюса—Штернбаха), таким образом мог быть назван и новый зять Пселла. Характерно, что наиболее резкие сатирические произведения адресуются Пселлом представителям монашеского сословия!*

Иаков и Савваит — не единственные представители монашеского сословия, которые вступили в конфликт с Пселлом в связи со светскими пристрастиями последнего. Длинное ответное послание направил Пселл некоему монаху по имени Феревий [1 (V), № 167], недовольному тем, что писатель проводит время во дворце и общается с царями [1 (V), с. 427.10 и сл.]; на Феревия обрушивается поток обвинений в пристрастии к играм, флейтистам, обжорству и пр.

Отношение Пселла к монахам и монашеству достаточно однозначно. Пселл не испытывает никакой принципиальной неприязни к монахам как к сословию (ее, во всяком случае в четко выраженной форме, трудно представить себе в монашеской Византии XI в.), но совершенно очевидно отстраняется от всякого утрирования аскетических тенденций. В этом смысле линия его поведения оказывается

* <Стихи против Иакова и Савванта опубликованы в Psellus, 1992-2, № 21, 22. Их издатель Л. Вестерник доказывает, что они написаны в 1059 г., в начале патриаршества Константина Лихуда.>

удивительно последовательной на протяжении всей жизни. Вспомним, что Пселл, уже старик, горячо отговаривал друга своей юности Мавропода от ухода в монастырь.*

МИХАИЛ ПСЕЛЛ И ФЕМНЫЕ СУДЬИ

Рассматривая отношения Пселла с современниками, мы до сих пор выделяли только связи, длившиеся долгие годы и зафиксированные в сравнительно большом количестве документов. Вне поля зрения остались не объединенные в большие циклы деловые, полуделовые или вовсе этикетные письма, которые чуть ли не ежедневно византийский вельможа и государственный муж рассылал во все концы империи. Они направлены большей частью лицам, стоящим на высоких ступенях иерархической лестницы, и хотя их адресаты во многих случаях неизвестны даже по именам, а содержание относительно бедно, письма эти достойны внимания благодаря своей массовости и обыденности.

Среди адресатов этой части корреспонденции — ряд высших столичных чиновников и судьи шестнадцать византийских фем.⁷⁹ Надо иметь в виду, что во многих случаях Пселл состоял в переписке не с одним, а с несколькими правителями, сменявшими друг друга в феме. Таким образом, круг знакомств философа среди провинциальных судей весьма обширен.

Письма к провинциальным правителям в большинстве случаев не систематизированы, не датированы, а нередко и не атрибутированы. Без этой предварительной работы их использование весьма затруднено. Попробуем распределить эти послания по адресатам.

* <Богатый материал об отношении Пселла к монахам дает его «Эпистофия Николаю, настоятелю монастыря Красивого источника» (№ 10 основного списка литературы). Ср. рассуждения по этому поводу Г. Вейса (G. Weiss, 1977. S. 291 ff.)>

⁷⁹ В XI в. судья (κριτής, δικαστής, κρίτωρ) — фактический правитель византийской фемы, глава аппарата провинциального управления [см. 185, с. 69 и сл.; 84, с. 295, 303 и сл.].

Письма судьям Опсикия

Эти письма имеют следующие леммы:

- 1) судье Опсикия, Зоме [1 (V), № 29, 190];
- 2) судье Опсикия, сыну друнгария [16 (II), № 35];
- 3) судье Опсикия [16 (II), № 1, 97–100, 107–108, 116–129, 140, 142–144, 187, 200, 273, 293].

Как явствует из леммы, один из судей Опсикия носил имя Зоме, другой был сыном друнгария. Оба послания Зоме четко датируются второй половиной 1054 г.: автор живет еще в Константинополе, но уже принял монашество и намерен отправиться в монастырь на Вифинском Олимпе [1 (V), № 29, 190]. В первом послании Пселл представляется адресату в качестве нового властителя Мидикийского монастыря. Второе письмо — ответ на просьбу Зомы ходатайствовать перед императором о его отставке. Многие детали второго послания хорошо понятны в свете той жизненной ситуации, в которой находился в ту пору сам Пселл. Писатель советует Зоме не переставая обращаться к императору с просьбами об отставке и рекомендует в качестве аргументов ссылаться на телесные немощи, стремление к Богу и суровый приговор врачей [1 (V), с. 484.21 и сл.]. Именно эти доводы выдвигал в этот период Пселл перед Константином Мономахом, обосновывая необходимость своего ухода в монастырь [20 (II), с. 67.17].

Глубоко личной является также подошлека тех предостережений, которые делает только что принявший монашество Пселл собирающемуся в монахи Зоме: «Не воображай, будто мы сразу становимся монахами и наша природа меняется... — пишет Пселл, — может быть, это и удастся кому-нибудь, но я таких людей не знаю. Что же касается меня, то хотя я вел и веду монашескую жизнь, однако природа моя бунтует, природа моя восходит к божественному лишь постепенно. Не сразу удастся нам разорвать родственные и дружеские связи и постичь великую добродетель, ведь родственные чувства и узы дружбы связывают и опутывают нас» [1 (V), с. 484.27–485.6].

Кроме упомянутых, именно Зоме должны были быть направлены два других письма [1 (V), № 77; 16 (II), № 200]. В первом из них, сохранившемся без леммы, сообщается, что помимо монастырей Кафарского и Мидикийского Пселл приобрел также Келлийскую обитель, на благосклонность адресата к которой он рассчитывает.

Во втором (лемма: «Судье Опсикия») Пселл жалуется на болезни (этот мотив характерен для середины 50-х годов) и, как в других письмах к Зоме, утешает его, желающего добиться от императора разрешения вернуться в столицу, а также ходатайствует за монастыри.

Другой судья Опсикия назван сыном друнгария [16 (II), № 35]. Это обозначение вводит по принципу «цепочки» в круг интересующих нас посланий группу писем той же рукописи (Cod. Laurent., 57, 40) с адресацией «сыну друнгария» [16 (II), № 38, 39, 41, 42], а также [16 (II), № 220] — лемма «Магистру Пофосу, судье Македонии, сыну друнгария» и [16 (II), № 250, 251] — лемма «Магистру и судье Фракии и Македонии Пофосу, сыну друнгария».⁸⁰

В пользу идентичности адресатов всей этой группы говорят следующие соображения:

1) В письме [16 (II), № 39] содержится просьба рассмотреть спор двух селений Ацикоми и Фирид, входящих в епархию адресата (с. 63). Как явствует из другого письма Пселла [16 (II), № 99, с. 127.18], деревня Ацикоми входила в состав фемы Опсикий и была объектом покровительства писателя. Таким образом, «сын друнгария» — адресат письма — наверняка был судьей Опсикия.

2) Все письма, адресованные сыну друнгария, за исключением послания № 35 [16 (II)], содержат обращение ἀνεψιέ [16 (II), с. 62.24; с. 63.27; с. 69.5; с. 261.10; с. 299.3]. Не свидетельствуя о каких бы то ни было родственных связях между отправителем и получателем, постоянное обращение ἀνεψιέ — определенный аргумент в пользу идентичности адресатов.⁸¹

3) По крайней мере в двух письмах из числа упомянутых содержится указание, что их адресат — бывший ученик Пселла [16 (II), № 42, с. 69.23–25; № 250, с. 299.14]. Вероятно, к этому числу надо прибавить и [16 (II), № 38]. «Вы звали меня тучегонителем...», — обращается Пселл к сыну друнгария. Скорее всего, имеются в виду университетские ученики Пселла.

⁸⁰ Мы не причисляем сюда письма с леммами «Судье Фракии и Македонии» и «судье Македонии», поскольку среди адресатов Пселла был и другой судья Македонии — вестарх Хасан [1 (V), № 38, 172].

⁸¹ Обращения Пселла в письмах отличаются постоянством. ἀνεψιέ, например, — обычное обращение к Константину, племяннику Михаила Кирулария.

Итак, мы получаем имя второго судьи Опсикия, с которым состоял в переписке Пселл, — Пофос. Последний помимо выполнения функций судьи Опсикия в какое-то время был судьей Фракии и Македонии; подобные перемещения были обычным явлением в византийской практике.

Два послания Пселла адресованы вестарху Пофосу [1 (V), № 204; 15, 242]. Идентичен ли последний одноименному судье и магистру, определить невозможно.⁸² Приблизительной датировке поддаются только письма № 204 [1 (V)], № 41 [16 (II)]. В первом из них Пселл сообщает Пофосу о дурном поведении некоего митрополита Тарса, который с момента возведения в сан «принялся бесчинствовать и ополчился на мужа, рукоположившего его, того, кого столица вознесла как светило, а Антиохия лишила лучей» [1 (V), с. 498.11 и сл.]. Речь идет, видимо, об антиохийском патриархе Эмилиане, высланном из Антиохии в Константинополь в конце царствования Михаила VII Парапинака [51, с. 96.8 и сл.]. Этим временем скорее всего и датируется послание.⁸³

Адресат второго письма [16 (II), № 41] просил Пселла заступиться за него перед императором. Писатель сообщает, что в выполнении просьбы ему содействовал «достойный восхищения дядя». На роль этого «достойного восхищения дяди» скорее всего может претендовать кесарь Иоанн Дука — дядя Михаила VII. Таким образом, послание, видимо, следует датировать началом царствования Парапинака (временем, когда кесарь Иоанн не успел еще попасть в опалу).

Большая группа писем направлена, согласно лемме, «судье Опсикия» без указания имени судьи.⁸⁴ По логике вещей они могли

⁸² Пофоса издатели без достаточных оснований считают также получателем писем № 218 и 257 [16 (II)]. О Пофосе см. в диссертации П. Леви [242, с. 29 и сл.].

⁸³ То, что Пселл пишет, будто патриарха «лишила лучей» (τὸν ἀκτίων ἀπὸ λυγῆς) сама Антиохия, — возможно, результат субъективного восприятия событий. Как сообщает Вриенний, внутри Антиохии была партия, противоборствовавшая Эмилиану [51, с. 96. 17 и сл.]. Идентификация (без аргументации) была сделана еще Н. Скабалановичем [108, с. 421].

⁸⁴ Письма № 36 и № 273 [1 (V); 16 (II)] адресованы в рукописи судье Опсикия по ошибке. Появилась она, скорее всего, в результате неверной догадки переписчика, обратившего внимание на упоминание Келлийского монастыря, неоднократно фигурирующего в письмах этому судье. Письмо, как уже отмечал Сафа, было адресовано Иоанну Ксифиллину.

адресоваться или Зоме, или Пофосу, или, наконец, третьему, четвертому и т. д., нам неизвестному судье, управлявшему фемой при жизни писателя. Пытаясь атрибутировать послания, будем действовать методом исключения, объясняя каждый раз, по какой причине определенное письмо не могло быть адресовано Зоме, Пофосу или тому и другому.⁸⁵

1. Группа писем № 97–100 [16 (II)] не может относиться к Зоме, поскольку адресат — ученик Пселла (№ 100, с. 129.1–2), и не может, по всей видимости, быть атрибутирована Пофосу, поскольку в трех письмах нет вовсе обращения, а в одном (№ 99, с. 127.18) — обращение ἀδελφέ (в четырех из пяти случаев, когда Пселл обращается к Пофосу, он называет его ἀνεψιέ).

2. Группа писем [16 (II), № 116–120] не атрибутируется ни Зоме, ни Пофосу по тем же причинам: адресат — ученик Пселла [16 (II), № 116, с. 143.22–24], Пселл обращается к нему «ученейший судья» (с. 143.11), «дражайший брат и ученейший» (с. 144.4), «милейшая душа» (с. 144.24), но ни разу «племянник».

Можно высказать предположение об идентичности адресатов обеих групп: и тот и другой — ученики Пселла, в обоих случаях встречается обращение «ученейший брат».

3. Письма № 140, 187 [16 (II)]. В Cod. Laur. 57.40 послания следуют одно за другим (fol. 68^r–69^r). Адресат молод (с. 167.11) и, следовательно, не может быть ассоциирован с Зомой.

4. Письма № 200, 243 [16 (II)].

Послания вряд ли относятся к Пофосу, поскольку содержат обращения «брат» и «господин». Письмо № 200 не относится к Зоме, так как речь там идет о прежних судьях Опсикии, не покушавшихся на монастыри, находившиеся во владении Пселла (с. 229.8–9). Пселл же получил монастыри в этой феме при Зоме.

5. Для объединенной общим сюжетом группы писем [16 (II), № 142, 143, 144] и для писем № 81, 107, 108 [16 (II)] не удалось обнаружить никаких внутренних признаков, позволяющих идентификацию адресатов.

⁸⁵ Мы, естественно, предполагаем, что несколько посланий, следующих в рукописи одно за другим с леммами «ему же», относятся к одному лицу. Атрибуция одного из писем группы механически распространяется на всю группу.

Письма судьям Фракисия

Два письма направлены судье Фракисия Ксиру [1 (V), № 47, 51], одно [28, с. 51 и сл.]* — Сергию, остальные — судье Фракисия без указания имени [16 (II), № 61, 66, 130, 131, 150–153, 254, 270]. Адресату письма № 254 [16 (II)] Пселл ставит в пример его старшего брата — последний, по просьбе философа, принял к себе некоего нотария, которого приглашал с собой и тогда, когда переселился в новую фему (с. 302.7); нотариий, однако, оказался «патриотом» и пожелал остаться на старом месте. Нотариий этот носил имя Фракисий (он одноименен феме адресата: «он получил имя своей епархии», с. 302.3).

В связь с этим письмом можно поставить два других послания Пселла. В письме № 248 [16 (II)] рекомендуется «бедный Фракисий». Последний, уже попав в фему, во главе которой стоит адресат письма, пожелал и на будущее остаться под его покровительством. Послание это, весьма вероятно, и есть та «просьба» за Фракисия, которую удовлетворил старший брат адресата письма № 254 [16 (II)].

Из содержания другого письма — № 47 [1 (V), лемма — «Судье Фракисия Ксиру»] явствует, что Ксир переманил к себе в фему из города некоего нотария. Уход нотария вызвал стенания его домашних, и Пселл просит возвратить нотария назад. Возможно, что этот нотариий и есть тот самый Фракисий, который не захотел переселиться с судьей в новую фему.

Если наши рассуждения верны, то из двух братьев, судей Фракисия, старшим был Ксир, и именно ему следует атрибуировать помимо писем, содержащих в лемме его имя, послание № 248 [16 (II)].

Письмо Сергию [28, с. 51 и сл.] и связанное с ним по содержанию письмо № 270 [16 (II)] (видимо, тоже Сергию) — ходатайства за монаха Илью (см. выше, с. 280 сл.). Письма скорее всего датируются шестидесятыми годами, когда имя монаха появляется в переписке писателя.

Три письма, следующие в рукописи одно за другим [16 (II), № 150, 151, 152], являются ходатайствами за какого-то обиженного родственника Пселла, за которого вступился сам император

* <Письмо переиздано в: P. Gautier 1986, p. 179–181.>

[16 (II), № 152]. Последнее обстоятельство позволяет прибавить к этому циклу [16 (II), № 66], где речь идет о некоем протееже Пселла, дело которого разрешил самодержец.*

Письма эгейскому судье

Указания на эгейского судью содержатся в леммах следующих писем: № 60, 123, 128 [16 (II)], № 65 [1 (V)]. Тому же судье издатели беспспорно атрибуируют и письмо № 137 [16 (II)] (лемма «Митрополиту Амасии»), а также № 95 [1 (V)] (без указания адресата). Эгейскому судье должно было относиться и письмо № 135 [1 (V)], где упоминается Нарсийский монастырь, о котором постоянно идет речь в письмах к этому судье.⁸⁶

Четыре письма философа были направлены человеку по имени Николай Склир [16 (II), № 37, 44, 56, 63], который, согласно тому же Пселлу, был судьей Эгея [16 (II), № 63, с. 396; № 56, с. 98]. Все четыре письма связаны общностью ситуации. В письмах № 37, 44 [16 (II)] речь идет о неудачных попытках Пселла ходатайствовать за Склира перед императором. Из писем № 56 и 63 [16 (II)] становится очевидным, что самодержец в конце концов пошел навстречу настояниям Пселла, освободил Склира от должности эгейского судьи, хотя и не возвратил ему какого-то поместья.

Являются ли анонимный эгейский судья и Николай Склир одним и тем же лицом? В пользу этого предположения свидетельствуют следующие доводы: а) в письме № 123 [16 (II)] говорится о намерениях Пселла осаждать «императорскую крепость», взять которую прямым приступом не удалось. Метафора означает неудачные попытки Пселла ходатайствовать перед императором за адресата. Это напоминает ситуацию двух только что упомянутых посланий Пселла Склиру [16 (II), № 37, 44]. Весьма знаменательно использование в обоих случаях одной и той же образности: император — крепость,

* <Судье Фракисия направлено также письмо, опубликованное А. Карпозилом: А. Карпозилом, р. 299–310.>

⁸⁶ Атрибуция Сафой письма судье Эллады ошибочна и связана, видимо, с упоминанием в нем Пирея. Последний, однако, в данном контексте — синоним гавани.

которую предстоит взять [16 (II) № 44, с. 74–75]; б) тон письма анонимному эгейскому судье и Склиру аналогичен: адресатов связывает особая дружба, далеко выходящая за рамки этикетной эпистолярной фιλία (см., например, [16 (II), № 63, с. 96]; ср. [16 (II), № 124, с. 148]).

Можно пытаться гипотетично датировать следующие письма:

1. 16 (II), № 37. В нем упоминается кесарь, который назван там «удивительным мужем». Речь идет о кесаре Иоанне Дуке, в пору активной деятельности которого (60-е годы), видимо, и было составлено послание. В письме содержатся детали, дающие некоторые основания для более точной датировки. Неблагоприятные обстоятельства («варвары, подготовка к войне, заботы о войске, необходимость выступить в дальние земли» — с. 61.7 и сл.) не дают Пселлу возможности ходатайствовать за адресата перед императором. Описание ситуации более всего напоминает положение, сложившееся в Византийской империи в 1064 г., когда переход кочевников через Дунай весьма озаботил императора [50, с. 83]. Если это так, то к данному периоду следует отнести всю группу писем, где идет речь о ходатайствах за эгейского судью перед императором [16 (II), № 123, 37, 44], а остальные письма соответственно датировать более ранним временем.

2. Письмо № 125 [16 (II)] содержит изысканную экфразу Мидийского монастыря. Описание, скорее всего, могло быть сделано в 1056 г., когда Пселл посетил гору Олимп, вблизи которой был расположен монастырь.

3. В письме № 127 [16 (II)] упоминается о смерти Лизика — племянника судьи. Видимо, о том же Лизике речь идет и в послании № 10 [1 (V)], датированном 1056 г. Таким образом, 1056 г. — *terminus post quem* для письма.

Письма судьям Эллады и Пелопоннеса

Письма, адресованные в леммах судьям Эллады и Пелопоннеса [1 (V), № 32, 103] и судье Катотиков [16 (II), № 55, 69, 70, 74, 76, 86, 154], были, без сомнения, направлены лицам, занимавшим один и тот же пост.⁸⁷ Этот же судья по внутренним признакам считается

⁸⁷ Фема Эллады и Пелопоннеса и фема Катотиков для византийских авторов — синонимы [см. 145, с. 159–160]. Одно и то же письмо Пселла

издателями адресатом и ряда других писем. Такое отнесение бесспорно для посланий № 33, 34, 134, 141 [1 (V)].

Что касается письма № 146 [16 (II)], то его адресация судье Эллады и Пелопоннеса Дрекслем подкрепляется нашим наблюдением, согласно которому следующее за ним в рукописи послание № 147 [16 (II)] тоже было направлено этому судье (см. ниже). Одно из писем [1 (V), № 103] адресовано Никифорице, исполнявшему должность судьи в царствование Романа Диогена (1068–1071) [193, с. 186]. Ему же, без сомнения, было послано и другое письмо, сохранившееся в рукописи с леммой «Севастофору Никифору» [16 (II), № 8].⁸⁸ Из письма очевидно, что адресат находится в Элладe; севастофор — титул Никифорицы. Нам непонятны причины, по которым издатели безапелляционно отнесли письмо [16 (II), № 93] судье Катотиков. Если это, однако, так, то адресатом письма, видимо, был Никифорица; речь в нем идет о монахе Илье, которого Пселл уже однажды рекомендовал Никифорице [16 (II), № 8].

В тексте одного из посланий судье Эллады и Пелопоннеса [16 (II), № 76] указано имя другого судьи, занимавшего этот пост, — Малеси. Человеку, носящему это имя, направлено и письмо № 132 [16 (II)]. Тождество адресатов не вызывает сомнений, поскольку Малеси, упомянутый в этом письме, — судья. Можно сделать и другое уточнение. Как явствует из послания № 132, Малеси — лирический поэт (с. 154.25 и сл.). Лирический поэт также и судья Катотиков — адресат письма № 86 [16 (II), с. 115.7 и сл.]. Без сомнения, речь идет о том же Малеси.^{89*}

[16 (II), № 74–1 (V), № 32] адресуется в разных рукописях судье Эллады и Пелопоннеса и судье Катотиков.

⁸⁸ В виде предложения эту мысль высказал еще Гийан [191, с. 204].

* <Полной ревизии весь материал, относящийся к Василию Малеси, подвергается в работе Евы де Вриес-ван дер Велден (Eva de Vries-van der Velden, 1996). Со свойственной ей решительностью исследовательница путем ряда достаточно рискованных идентификаций признает Василия Малеси зятем Пселла (мужем его приемной дочери) и даже пытается рисовать довольно подробную картину отношений писателя с семьей дочери.>

⁸⁹ Этого Малеси без всяких оснований Н. Дюз [173] ассоциирует с упомянутым у Атталиата логофетом вод Василием Малеси. Единственным аргументом в пользу позиции французской исследовательницы (кстати, ею самой незамеченным) может служить следующее. Из письма Пселла

К кругу интересующих нас в данном случае посланий следует, видимо, отнести и письмо № 146 [1 (V)]. Его адресат — судья и к тому же магистр, а один из судей Эллады и Пелопоннеса носил именно этот титул [16 (II), № 70, с. 103.23]. (Судьи в середине XI в., видимо, нередко носили титул магистра; магистром, например, был Пофос.) Такой аргумент не был бы достаточно доказательным, если бы в обоих письмах не упоминалась супруга судьи — магистриса [16 (II), с. 103.121; 1 (V), с. 395.3]. Следующее в рукописи письмо (1 (V), № 147), судя по содержанию, также было направлено тому же судье. (В письме содержится ходатайство за жителя фемы Катотиков. Как известно, письма одному и тому же лицу в рукописях нередко следуют одно за другим.) Судье Эллады и Пелопоннеса, скорее всего, было направлено также письмо № 26 [1 (V)], по содержанию оно очень напоминает послание № 33 [1 (V)].

Итак, Пселл состоял в переписке по крайней мере с двумя известными нам по имени судьями Эллады и Пелопоннеса (Никифорицей и Малеси). Остальные письма с леммами без указания личных имен, возможно, должны быть распределены между этими двумя, но скорее всего хотя бы частично были направлены какому-то третьему (а может быть, четвертому, пятому и т. д.) судье.

Гипотетической датировке помимо писем Никифорице, написанных при Романе IV Диогене, поддается только послание № 134 [1 (V)]. Упомянутый там иперсеваст, логофет, вероятно, известный свнух Иоанн — временщик императора Константина Мономаха начала 50-х годов. К этому периоду и должно относиться послание.

Судье Эллады и Пелопоннеса по имени Анастасий посвящена эпитафия Пселла [313, с. 277 и сл.]. Утверждение Вейса, что этому Анастасию были направлены все письма, адресованные судье фемы Катотиков [312, с. 22], ни на чем не основаны.

№ 96 [16 (II)] явствует, что в период жизни писателя во главе фемы Армениак стояли два судьи по имени Василий. Патроним одного из них — Спливарий. Патроним другого — неизвестен. Но можно ли безоговорочно утверждать, что это был Малеси? Во все никаких оснований не обнаруживается для отождествления Малеси с хранителем императорской чернильницы Василием, которому были адресованы три письма писателя (см. выше, с. 263). Подробней см. 219.

Письма судьбе Вукелариев

Как уже отмечалось, Пселл сам исполнял функции судьбы Вукелариев. На этом посту его сменил Морохарзан [16 (II), с. 99.7 и сл.]. Сохранившиеся письма № 65, 83, 84, 92 [16 (II)] были направлены третьему неизвестному нам по имени судьбе. Можно предполагать, что послание № 65 было написано не позже начала 50-х годов: о событиях времени судейства Пселла в феме рассказывается как о сравнительно недавних.

Письма Пселла судьям дают основание для суждений о личности и положении этих чиновников в Византии XI в.

Прежде всего это люди весьма различного возраста; сам Пселл был назначен в фему, когда ему не исполнилось и двадцати, правитель Опсикия Зома, — видимо, человек пожилой [1 (V), с. 483.16–17]. Большинство судей имеют хорошее образование. К судьбе Анатолика, например, Пселл считает возможным обращаться «как философ к философу» [1 (V), с. 274.27] и называет его «умнейшим из людей» (с. 273.24 и сл.). Точно такого же обращения удостоивается и судья Другувита. Эгейский судья Николай Склир — соученик Пселла («Я получил одно с тобой образование» [16 (II), № 63, с. 96.9]), и по крайней мере четверо — его ученики (судья Опсикия — Пофос [16 (II), № 120], судья Македонии — Хасаи [1 (V), с. 439.25], судья Армениака [1 (V), с. 269.17 и сл.], Фракисия — Сергей [28, с. 51]). К этому можно добавить, что судья Македонии, по Пселлу, — человек с душой, от природы склонной к прекрасному [1 (V), с. 281.12–13], а уже знакомый нам Малеси — лирический поэт.

Как можно судить по ряду писем, назначение в фему часто считалось обременительным и даже воспринималось как несчастье. Обращаясь к философу, судьи нередко жалуются на свое тяжелое положение [1 (V), № 110; 16 (II), № 96, 109] и, как правило, просят его только об одном: ходатайствовать перед императором о смещении их с занимаемого поста.

Долго и упорно по всем правилам придворной стратегии хлопочет Пселл за Зому (1 (V), № 190) и Николая Склира [16 (II), № 73]; тактике обращения с императором обучает он судью Опсикия, тяготящегося своей должностью [16 (II), № 200], и т. д. Любопытная деталь: уже добившийся оставки судья Македонии не может снять с себя обязанностей, поскольку его преемник медлит и колеблется занять новый пост [1 (V), № 129].

Подыскать достойного кандидата на должность фемного судьи, разумеется, было не очень просто; не случайно императоры так упорно сопротивляются ходатайствам судей об отставке. Впрочем, многое зависело от «качества» (т. е., главным образом, доходности) той или иной фемы. В одном случае Пселл спрашивает у своего адресата, хочет ли тот вернуться в столицу или желает перебраться в лучшую фему. Правда, поясняет философ, все хорошие фемы уже имеют судей [16 (II), № 255]. Подавляющее большинство писем к судьям представляет собой просьбы, ходатайства или рекомендации, которые высокопоставленный столичный чиновник и влиятельный при дворе человек направляет провинциальным правителям. Наиболее частый объект просьб и рекомендаций — протонотарий или нотариус из штата судьи [1 (V), № 34, 39, 127, 136, 142; 16 (II), № 86, 109, 110, 118, 128, 142, 144, 155, 173, 174], реже — сборщик налогов, отправляющийся в фему, подведомственную адресату [1 (V), № 32, 33; 16 (II), № 252]. Пселл вмешивается в отношения светских властей с духовенством, ходатайствует за епископов [1 (V), № 103, 50; 16 (II), № 82 и др.] и очень часто просит предоставить льготы монастырям, владения которых расположены на территориях, подведомственных судьям. В одном случае Пселл выступает в качестве заступника целого селения и просит судью решить спор жителей села Ацикоми с соседним селением Фириды [16 (II), № 39].

В одном из писем судье Фракисия Пселл не без юмора замечает: «Меня, как тебе известно, очень многие люди одолевают просьбами, не знаю уж, потому ли, что я люблю многих, или потому, что меня любят многие» [16 (II), № 130, с. 153.8 и сл.]. В другом случае он просит адресата не удивляться многочисленным просьбам, которыми он докучает ему, ведь самого Пселла дожимают со всех сторон непрерывно [1 (V), № 133, с. 377. 17–18. Ср. 16 (II), с. 202.16 и сл.].

Любопытны мотивы, которые выдвигает Пселл, когда он ходатайствует за того или иного человека. В письмах философа крайне редко можно обнаружить указания на какие-либо достоинства, моральные или духовные, рекомендуемого лица. Автор писем вызывает прежде всего не к разуму, а к чувствам адресата, стараясь возбудить в нем жалость к своему протезе. Предмет заступничества Пселла, как правило, «нищ» или, во всяком случае, «беден» (см. 1 (V), письма № 99, 119, 130, 138, 195, 201; 16 (II), № 100, 107, 137, 162, 257).

Не станем обсуждать вопроса о том, что скрывается под понятием «бедность»; вполне вероятно, что бедняки, о которых идет речь в письмах, — состоятельные люди; существенно, однако, что именно бедность постоянно выдвигается Пселлом в качестве основания для просьб за своих подопечных. Только один раз Пселл просит за богатого человека, видимо ростовщика, Никаевса [1 (V), № 102; 16 (II), № 120].

Среди протезе Пселла — сирота [16 (II), № 182], вдова его друга [16 (II), № 172], просто человек, испытавший в жизни много несчастий [1 (V), с. 287.8 и сл.] и т. д. Помощи, утверждает философ, особенно заслуживает тот, кто некогда благоденствовал, а затем впал в нищету и ничтожество [1 (V), № 99]. Можно думать, что стремление оказать помощь человеку носит у Пселла не показной и не декларативный характер. Так, ходатайствуя о каком-то своем родственнике, Пселл просит корреспондента оказать тому «честь» и «обогащить»; однако главное — второе, добавляет Пселл, поскольку его протезе содержит жену и детей [1 (V), № 193]. В другом случае в письме к македонскому судье Хасану Пселл просит за некоего нотариуса, у которого заболела жена. Пусть Хасан, пишет Пселл, отмерит дни на дорогу, даст три-четыре дня на пребывание дома и отпустит нотариуса к жене; если жена умерла, нотариус ее оплачет, если жива — обрадует [1 (V), № 39].

Основная христианская добродетель, милосердие и сострадание к ближнему, которую Пселл неоднократно декларировал, переводится здесь в практический план, становясь мотивом конкретных поступков и действий [1 (V), № 39].

МИХАИЛ ПСЕЛЛ И ИМПЕРАТОРЫ ДОМА ДУК

Анализируя отношения Пселла с современниками, мы обошли молчанием одну категорию лиц, с которыми писателя на всем протяжении жизни связывали самые тесные узы, — византийских самодержцев. Сами по себе отношения Пселла с императорами — интереснейшая страница византийской истории. Пселл в функции любимца и доверенного человека жуира на троне — Константина Мономаха; сомнительная, если не трагическая, роль Пселла в свержении и ослеплении Романа Диогена; интриги придворного ритора у постели умирающего Исаака Комнина и т. д. — все это, без

сомнения, достойно специального внимания. Однако в данном случае эти отношения не рассматриваются, потому что, во-первых, характер изображения Пселлом императоров в «Хронографии» подробно анализируется во второй части книги, во-вторых, рассмотрение линии Пселл—императоры неминуемо привело бы нас к другой специальной проблеме: государственной и политической деятельности Пселла, а этот вопрос остается за пределами настоящего исследования. И только для двух императоров следует сделать исключение — Константина X Дуки и его сына Михаила VII, поскольку в отношениях с ними наиболее ярко проявляются свойства натуры Пселла, его социальные идеалы.

С домом Дук Пселла объединяли давние связи. Еще при Константине IX Мономахе Пселл находился в дружбе с будущим императором Константином X, восхищавшимся красноречием писателя. Ипат философ расхваливал Константина Дуку перед императором Константином IX и выпрашивал для него милости [20 (II), с. 141 и сл.].⁹⁰

Пселл способствует приходу к власти Константина Дуки⁹¹ и, естественно, пользуется при нем, равно как и при его сыне Михаиле, несмотря на временные периоды охлаждения, непререкаемыми милостями. Наиболее подробно об этом Пселл рассказывает на страницах «Хронографии». К сожалению, доверие к объективности изображения в данном случае невелико, поскольку Пселл, описывая современного ему императора и его отца, по сути дела пишет эвкомий, а не историю.⁹² Тем не менее характер обрисовки этих образов представляет несомненный интерес.

Образы Константина и Михаила в «Хронографии» представляют собой разновидности одного типа. Прежде всего, и тот и другой вреданы наукам. Константин, будучи не слишком большим знатоком философии и риторики, был страстным любителем наук и мало чем отличался от философов и риториков [20 (II), с. 139]. Михаил же не только читал книги по всем наукам и познакомился со всеми

⁹⁰ Эти факты подвергает сомнению П. Иоанну. Однако его ссылка на Скилицу и Атталиата [214, с. 286] не имеет отношения к делу.

⁹¹ Именно Пселлу было поручено составление первой тронной речи императора (ἐπιθῆναι τῷ θρόνῳ). Речь опубликована в 1972 г. Вейсом [312, с. 49].

⁹² Следует отметить, что Пселл все-таки отваживается на критику Константина X [см. об этом 308, с. 128]. Образ же Михаила эвкомиастический.

видами «мудрости», но и пробовал свои силы в литературном творчестве [20 (II), с. 174–175]. Оба императора благочестивы и скромны. Благочестием Константин превосходил всех прочих императоров [20 (II), с. 140], еще до восшествия на престол он предпочитал замкнутую жизнь и презрительно относился к блестящим должностям [20 (II), с. 135], стремился к божественному знанию [20 (II), с. 150]. Михаил краснел от всякого нескромного слова [20 (II), с. 174] и даже внешне был похож на пожилого наставника или педагога [20 (II), с. 175]. И отец, и сын в избытке обладали традиционной царской *φιλανθρωπία*, они были чрезвычайно милостивы и благорасположены к подданным [20 (II), с. 140, 175], беспредельно любили своих родственников и близких [16 (II), с. 147–148, 177]. Их правление — образец умеренности и справедливости.

Этот портрет Константина и Михаила нельзя рассматривать только как проявление рядового византийского сервиллизма. В характеристиках императоров обнаруживается тот идеал василевса, который вынашивал Пселл и, видимо, какая-то часть константинопольской интеллигенции того времени. Император излишне активный (особенно в области внешней политики) вызывает осторожное недоверие, а то и прямую враждебность писателя. Исаак Комнин — отношение Пселла к нему очень почтительное, хотя и с долей иронии — испортил все свои благие начинания чрезмерной поспешностью и нетерпением. Роман Диоген совершил свои походы на турок в результате «спеси», и его наглость с каждым разом увеличивалась все более (см. ниже, с. 461 и сл.). Напротив, император — покровитель наук, знающий чувство меры, скромный, добрый и милостивый к подданным, — мы отвлекаемся от вопроса, насколько соответствовали эти характеристики реальным качествам прототипов, — восхищает Пселла.

Можно утверждать и большее: Пселл не только восторгался этими — реальными или мнимыми — свойствами Константина и Михаила, но и старался активно участвовать в их формировании.

Некоторые сочинения Пселла обращены к императорам Дукам или написаны от их имени. Бедные фактическими деталями, они представляют минимальную ценность в качестве исторического источника, но тон и общая направленность части из них характерны для идейной позиции автора. Особенно относится это к сочинениям, обращенным к Михаилу. Наставник молодого Дуки Пселл лепит его образ в соответствии со своими представлениями об идеальном императоре.

Сочинения Пселла адресованы в рукописях «императору Дук». Встает вопрос, какому из двух Дук — Константину или Михаилу — были они направлены. Из числа этих спорных произведений Константину, по нашему мнению, следует отнести:

а) письмо № 29 [16 (II)]. Основанием служат слова Пселла, обращенные к адресату: «Ты противостояшь арабам, воюешь с персидским воинством, обуздываешь дерзость варваров, затем обращаешься на Запад, или, скорее, в одно и то же время переплываешь Евфрат и непоколебимо плывешь по Истру» (с. 42).

Если отвлечься от риторических гипербол, речь идет, видимо, о ситуации 1064–1065 гг., когда империя подверглась почти одновременному натиску сельджуков и перешедших Дунай узов. Наступление последних было остановлено неожиданно разразившейся эпидемией [50, с. 83; 55, с. 114];

б) речь [16 (I), с. 38–41], см. ниже, с. 503 и сл.

Михаилу, видимо, следует отнести:

а) письмо № 104 [1 (V)]. Посылая в дар императору рыб, Пселл пишет: «Пусть ест их лев, вместе с ним львенок и к тому же львица». Обращаясь к многодетному Константину, Михаил Пселл должен был бы писать о «львятах». П. Иоанну без объяснений атрибутирует это письмо Константину [214, с. 288, прим. 3];

б) одну из речей, не имеющую в рукописи никакого заглавия [16 (I), с. 33 и сл.].

Ряд произведений интуитивно относится издателями и исследователями то Константину, то Михаилу. Мы не считаем возможным опираться на них.

Несколько крупных ученых сочинений, адресованных Михаилу, представляют собой настоящие «императорские университеты» — это свод знаний, необходимых правителю в области теологии, натурфилософии, истории, географии, духовного и светского законодательства и т. д. Обращает на себя внимание прежде всего объем и энциклопедичность сведений, которые обрушивает философ на голову молодого императора.⁹³ Пселл преподносит Михаилу тот синтез христианской и античной образованности, к которому сам

⁹³ Эти сочинения в большинстве своем опубликованы в PG, t. 122, некоторые остаются пока в рукописи. Список произведений, связанных с именем Михаила, см. 270, с. 44 и сл. Полемис упустил только *Oblatio nomanonis* [PG, t. 122, col. 919–924].

стремился всю жизнь. Нельзя, однако, не видеть, что Пселл формирует из Михаила государя по преимуществу христианского. Страстный защитник и толкователь Платона, Аристотеля и других древних мыслителей, он составляет для ученика толкования на псалмы [16 (I), с. 372 и сл., 411 и сл.]. Знаменательно при этом, что философ, оставаясь верным себе, указывает своему царственному ученику не только на духовные, но и на эстетические ценности псалмов, как бы уравнивая в этом отношении христианскую и античную литературу. В том же толковании на псалмы Пселл делает любопытный выпад против тех, кто «превозносит эллинскую мудрость» и пренебрегает христианской [16 (I), с. 373]. Пафос прежнего, молодого Пселла был направлен в противоположную сторону — он защищал светскую (в его представлении — античную) образованность от христианского обскурантизма. Причину такой «перемены фронта», вероятно, нужно видеть в «воспитательных» соображениях философа. Возможно также, этот выпад имеет и вполне конкретного адресата. На эти годы приходится уже расцвет деятельности Итала, позже осужденного за следование «эллинским учениям». По сообщению Анны Комниной, Пселл выступал с ним в диспутах перед императорскими особами. Появление радикального оппонента, как это обычно бывает, должно было по «принципу отталкивания» привести Пселла на более консервативные позиции.

Характерны и те этические принципы, в которых Пселл старается утвердить Михаила. В речах, обращенных к молодому императору, как, впрочем, и в «Хронографии», Пселл подчеркивает, об этом уже шла речь выше, христианские добродетели своего воспитанника: человеколюбие, кротость, скромность, справедливость и т. п. (особенно характерна в этом отношении речь Пселла [16 (I), с. 42 и сл.]⁹⁴). Все эти свойства, без сомнения, входят в традиционный набор «императорских добродетелей», однако в других случаях у Пселла они — равноправные детали в мозаике из добродетелей,

⁹⁴ В сочинении выражается радость по поводу того, что император, поверивший было клеветникам, вновь милостиво относится к Пселлу. В речи содержится также интересный намек на какой-то мятеж, который подняли против императора «отпрыски негодяев». Михаил одолевает врагов, заверяет автор, поскольку за него «закованные в железо и вооруженные катафракты». На что намекает писатель, неясно.

составляющих облик превозносимого василевса (ср., например, изображение Константина Мономаха в посвященных ему энкомиях [1 (V), с. 106, 117 и сл.; 16 (I), с. 6 и сл., 12 и сл.]). В изображении Михаила они — главные и доминирующие качества. В речи, составленной от имени молодого Дуки на начало Поста и явно отражающей представления самого Пселла о принципах идеального правления, говорится об «отеческом благоволении» Михаила к подданным. Другие императоры, чтобы сохранить свое достоинство, обращаются к подданным «свысока», а юный Михаил, напротив, готов считать своих старших по возрасту слушателей отцами. Он не собирается управлять единодержавно и рассчитывает на помощь и совет своих приближенных, обещает им безграничные милости и т. д. [16 (I), с. 351–355].

Наиболее концентрированным выражением взглядов Пселла на принципы царствования Михаила является та сохранившаяся без заглавия речь, которую мы (с весьма большой долей вероятности) отнесли к молодому Дуке.

В заслугу императору прежде всего ставится его отношение к наукам и ученым. Раньше они находились в пренебрежении, и ворота дворца были широко открыты лишь для податей, ныне же сама мудрость, воплотившаяся в императоре, призывает к себе своих питомцев, и отовсюду стекаются хороводы мудрецов. Далее Пселл восхваляет Дуку за «ангельскую» жизнь, остроумие ума, милостивое отношение к подданным и — главное — за «кротость». С особым сочувствием он подчеркивает отвращение императора к войне: «Я уже не говорю о том безумии, которое называют „делами Арея“, ибо ты не скор на убийство и не находишь удовольствия в потоках крови...».

Знаменательно другое письмо — № 188 [16 (II)], которое также можно отнести как Константину, так и Михаилу Дуке. Император просил философа растолковать ему смысл изображения и надписи на «камне». Пселл объясняет изображение как сцену Одиссея у Кирки, расшифровывает надпись и со свойственной византийцам склонностью к аллегориям выводит из них неожиданную мораль: «Ты же будь более склонным к миру, чем к войне» [16 (II), с. 209]. В последнем случае — прямое побуждение, «подталкивание» императора к мирной политике.

В отношениях Пселла с отцом и сыном Дуками как будто встречается та редкая в истории ситуация, когда извечная проблема

«поэта и царя» находит положительное решение: писатель не только принят и признан при дворе, но его идеальные представления, по-видимому, получают воплощение в политике и самом внутреннем облике «ученых» и «милостивых» императоров.*

Однако на деле альянс «писатель—василевсы» был далек от той идиллии, которая царствует в сочинениях Пселла. Атмосфера 60-х и особенно 70-х годов — атмосфера кануна краха империи. Варварское кольцо все туже стягивается вокруг Византии, уже не способной оказать сопротивление.

В этой ситуации пселловский идеал монарха имел мало шансов стать популярным. Скорее, наоборот. Источники по истории того времени недоброжелательны к методам управления Константина и решительно осуждают Михаила. Суть обвинений сводится к слабости, бездеятельности императоров, пристрастию их к судебным разбирательствам и софистическим упражнениям, скупости и пренебрежению военным делом.⁹⁵ Атталиат, как и последующие историки XII в., прямо противореча Пселлу, противопоставляет Константину и Михаилу «сильных» василевсов — Исаака Комнина, Романа Диогена, позже — Вотаниата, способных вывести из тупика государство.⁹⁶ Говоря о Константине, Атталиат нападает не

* <Совершенно иную трактовку отношений Пселла с Дуками предлагает У. Крискуоло. По мнению итальянского ученого, за восторженными характеристиками дома Дук в «Хронографии» проглядывает плохо скрытая авторская ирония (U. Criscuolo, 1982, p. 203). Аргументы У. Крискуоло трудно признать убедительными: византийские похвалы — даже самые «серьезные» — нередко могут восприниматься современным читателем как настоящая пародия. Впрочем, Пселл, безусловно, был весьма ироничен и являлся одним из очень немногих византийцев, способных на скрытую насмешку.>

⁹⁵ Особенно категоричен, главным образом в отношении Михаила, Атталиат [50, с. 76–77, 182, 167, 208, 211, 212]. Продолжатель Скилицы, пересказывающий Атталиата, а вслед за ним и Зонара, в большинстве случаев воспроизводят эти обвинения. К этой же традиции примыкают Манасси и Скутариот [39, с. 620 и сл.; 36, с. 169 и сл.].

⁹⁶ В научной литературе обычно говорится о двух группировках, ожесточенно борющихся в то время за власть, противоположные интересы которых выразили, с одной стороны, Пселл, с другой — Атталиат. Н. Скабаланович [108, с. 94] называет их «патриотами» и «антипатриотами». Г. Острогорский говорит о столичной чиновной знати и военной аристократии [263, с. 271 и сл.], нередко отождествляемой с провинциальной знатью [77 (II), с. 282]. Это справедливо только отчасти. На деле ситуация,

столько на самого царя, сколько на его дурных советников. Можно даже предположить, что в одном случае речь прямо идет о Пселле или близких к нему людях. Константина, пишет историк, хвалили за благочестие, благотворительность, незлобивость и т. п., но порицали за то, что он оказывал благодеяния «тому, кто и так жмел их, и тем немногим, кто льнул к нему или находился у него в милости». И немного далее: «В дурных делах винили не природу императора, а испорченность некоторых людей и суетливые увещевания» [50, с. 76 и сл.].

1. Если Атталиат не называет Пселла по имени, то другой историк того времени, Продолжатель Скилицы, делает это не задумываясь. «Михаил, — пишет анонимный автор, — занимался игрушками и детскими забавами, поскольку ипат философов Константин Пселл сделал его негодным и неспособным ни к какому делу» [55, с. 156.6 и сл.]. В другом случае тот же автор пишет: в то время как на императорском троне нужен был человек распорядительный и мужественный, Михаил предавался «пустым и бесполезным литературным забавам, непрерывно сочинял ямбы и анапесты, хотя ни капли не владел искусством, и, обманутый и завлеченный ипатом философов, погубил порядок» [55, с. 171.6 и сл.].

В обоих отрывках речь идет об одном и том же — об ученых занятиях Пселла со своим воспитанником. То, что составляло предмет наибольшей гордости писателя, резко осуждается его современником. Обе цитаты находятся в тех частях сочинения Продолжателя Скилицы, которые представляют собой близкий к тексту пересказ Атталиата и буквально «втиснуты» между фразами последнего. Они явно принадлежат самому анонимному историку, который и в других местах снабжает заимствованные сообщения собственным комментарием [55, с. 84 и сл.]. Видимо, неизвестный нам историк (если это только не сам Скилица) принадлежал к числу ярых врагов Пселла.

видимо, была сложней. Достаточно сказать, что сами Дуки были выходцами из провинциальной знати, а Константин даже участвовал в восстании Исаака Комнина. Что касается «антипатриота» Пселла, то сам он себя несколько раз называет «ромейским патриотом», считает необходимым, чтобы императоры, наряду с синклитиками и народом, заботились о воинском сословии [20 (II), с. 83], и даже Константин упрекнул в пренебрежении к военному делу [20 (II), с. 146].

Эта антипселловская линия продолжается и в историографии XII в. Умный и трезвый Зонара, безжалостно сокращая в своем повествовании Продолжателя Скилицы, тем не менее считает нужным оставить оба выпада против Пселла [59, с. 708, 714]. Более того, первая инвектива значительно расширяется им. Много подробней Продолжателя Скилицы повествует Зонара о предметах заятий Пселла со своим учеником, упоминая литературу, риторику, грамматику, философию, историю (практически он перечисляет почти весь круг интересов императорского наставника), и прибавляет, что Михаил ко всему этому способностей не имел, а на остальное и вовсе не обращал внимания.

В глазах по крайней мере двух писателей той эпохи отношения Пселла с царственными Дуками, и главным образом с Михаилом, приобретали трагически-фарсовый оттенок. В какой-то степени они и были такими: ученый «пир» Пселла с императорами явно приходился на время «чумы».

ВМЕСТО ЗАКЛЮЧЕНИЯ

ВИЗАНТИЙСКАЯ «ДРУЖБА» И ЛИЧНОСТЬ ПИСАТЕЛЯ

Мы проследили отношения Пселла с разными его современниками, как бы «раздробив» образ писателя в надежде на новый синтез. Настало время подвести итоги.

Нетрудно заметить, что переписка Пселла пронизана духом и терминологией *φιλία*, понятия, которое только с большой натяжкой можно передать на русский язык словом «дружба».⁹⁷ Слово и понятие *φιλία*, равно как и синонимическое *ἀγάπη*, настолько примелькались в посланиях византийцев разных эпох, что обычно даже не фиксируются в сознании читателей. В современных письмах это происходит, например, с обращениями «дорогой», «уважаемый» и т. д.

⁹⁷ Несовпадение объема понятий *φίλος* и *φιλία* со значениями, которые в новых языках имеют слова «друг» и «дружба», отмечено филологами уже для эллинистического периода (см. 273 (II), в. в. *φίλος*, *φιλία*). «Слова *φίλος*, *φιλία* употребляются не для обозначения тесной связи, но для характеристики хороших отношений со всевозможными нюансами» [223, с. 16]. Под категорию *φίλος* нередко попадали даже деловые партнеры.

1. Между тем «дружба» — отнюдь не простая принадлежность средневекового эпистолярного этикета, а, напротив, имеет определенные функции и существует на разных уровнях и в ряде градаций. Ее высший уровень — утонченная интеллектуальная дружба, связывающая Пселла с Иоанном Мавроподом, молодым Иоанном Ксифилином, Константином Лихудом и некоторыми другими современниками. Мотив дружбы, неоднократно всплывающий в переписке писателя с этой категорией корреспондентов, постоянно переплетается с другой темой — страсти к науке и литературе. Именно общность литературных и научных интересов связывала, например, столь непохожих людей, как независимого и гордого «кабинетного» ученого Мавропода и лукавого царедворца — «протеза» Пселла. Об этом недвусмысленно говорит сам Пселл в «Хронографии»: «Смыслом нашего союза стал смысл наших занятий» [20 (II), с. 65].

Атмосферу этой ученой «дружбы» передает пролог Иоанна Евхаитского к сборнику его стихотворений: «Выбрав эти мои сочинения из многих других, стихотворных и не стихотворных, я только их преподношу любителям слова. Получив эти краткие строки, друзья, вы сами предпочтете, чтобы ваш друг угодил вам своими делами, а не длинными речами» [46, № 1]. Мавропод адресует свой сборник друзьям, а его друзья и являются одновременно «друзьями слова». Тесно взаимосвязанными понятия «дружбы» и «слова» оказываются и в письме Пселла Иоанну Мавроподу. Упрекнув друга за нерегулярность его посланий, писатель продолжает: «Мы не изменяемся в зависимости от перемен судьбы и обстоятельств и, в отличие от большинства, не выбираем слова в соответствии с ними и не соразмеряем по ним дружеские чувства. Пусть же они (“перемены судьбы” и “обстоятельства”. — Я. Л.) извне теснят нас, а слово утвердится, как мы и условились друг с другом. Несчастья же следует переносить».

Понятия «слова» и «дружба» употребляются здесь как бы на одном уровне. И то и другое одинаково не зависит от внешних обстоятельств, и то и другое составляет внутреннюю духовную связь друзей, беречь которую они договорились.

В некоторых случаях этот тип «дружбы» приобретает у Пселла свойства эпикурейско-горацианской дружбы, когда помимо ученых занятий партнеров связывает общность жизнеотношения, которое с известной натяжкой можно назвать гедонистическим. Иногда (в отношениях с Иоанном Дукой, например) эпикурензм даже оттесняет на второй план интеллектуальные связи.

Другой уровень *φιλία* — это широко трактуемые личностные связи людей, принадлежащих к господствующему классу. В этом случае *φιλία* — скорее «дружелюбие», нежели «дружба». Ее ни в коем случае нельзя ассоциировать с обезличенной христианской любовью к ближним.

В отличие от последней, *φιλία* имеет ярко выраженный личностный характер, она тем крепче, чем теснее связи между людьми. Сам факт близости (безразлично, родственной, дружеской, даже соседской) накладывает на партнеров определенные обязательства. В многочисленных рекомендательных письмах почти нет ссылок на какие-либо особые достоинства протеже, зато множество упоминаний того, что они — родственники [16 (II), № 175], а то и просто земляки его друга [16 (II), № 52]. 194], друзья [1 (V), № 147; 16 (II), № 51, 154, 2471, отцовские друзья (*πατρικός*) (1 (V), № 19), «мои» (*ἐμός*) «подручники» (*ὀλοχεῖρος*) (1 (V), № 34, 102; 16 (II), № 88, 119), соседи [16 (II), № 175], а то и просто земляки его друга [16 (II), № 52]. В близость к автору, иногда весьма относительная, как правило, приводится в качестве достаточного и не требующего никаких дальнейших комментариев основания для ходатайств.

Возможен и другой вариант: Пселл вовсе не знает того, за кого просит, но человека этого ему рекомендовал его «друг». Любопытно в этом смысле письмо, адресованное великому эконому [16 (II), № 122]. Писатель ходатайствует за некоего Меландра. Что он за человек, Пселл не имеет понятия, но за него просил некто *φίλιτος*. Вопрос о достоинствах протеже автор предпочитает обойти с помощью шутки: если Меландр оправдает доверие — хорошо, если нет, то от общения с адресатом он наверняка станет Левкандром (непереводимая игра слов: Левкандр в переводе на русский — «белый муж», Меландр — «черный муж»).

И наконец, последняя градация «дружбы» — просто доброжелательное отношение к людям, даже едва знакомым. «Что ты удивляешься, — обращается Пселл к одному из судей, — что я почитаю тебя и сохраняю к тебе подобающее расположение?.. Ведь я сохраняю искреннюю дружбу даже к случайно встреченным людям, с которыми беседовал лишь раз». Насколько тонкой и малозначительной бывает связь при такого рода «дружбе», показывает письмо Пселла [16 (II), № 216]. «Не допусти, чтобы задержка с присылкой «арабской трости» (мы не уверены в правильном понимании этого

слова. — Я. Л.) испортила нашу дружбу», — пишет Пселл корреспонденту. Это уже самый низкий уровень «дружбы», за которым следует только равнодушие и открытая неприязнь к людям.

Для своего бесперебойного функционирования «дружба» нуждается в постоянном поддержании и обновлении, и лучшим средством для этого является обмен письмами, часто сопровождаемыми подарками. Нарушение нормального функционирования этой системы вызывает раздражение и разочарование корреспондентов. Отсюда — обычные в византийской эпистолографии горькие упрёки в молчании.

Византийцы великолепно умели пользоваться системой «дружбы» для достижения своих целей и прекрасно знали, по какому адресу им следует каждый раз обращаться. Пселл служит передаточной инстанцией для просьб и часто делает это явно не бескорыстно, ожидая, видимо, подобных услуг и для самого себя. В одном случае он для подкрепления своего ходатайства указывает, что его протеже — человек, близкий к императору [1 (V), № 133]. В письме к патриарху Антиохии [1 (V), № 61] (лемма не бесспорна) Пселл отмечает, что монах, за которого он просит, обратился именно к нему, поскольку только его ходатайство может иметь успех у адресата.

«Дружба» обладает определенным кодексом, к требованиям которого постоянно апеллирует Пселл. Основные его положения сводятся к следующему: «дружба» — всемогуща, особенно, если она связывает людей разумных и деятельных [1 (V), № 75, с. 309. 24–25]; у друзей все общее [16 (II), № 184, с. 203. 8]; истинный друг немедленно исполняет просьбы [1 (V), № 21, с. 258.18–20; 16 (II), № 181]. Ходатайства за друга, а также исполнение его просьб — удовольствие, удовлетворение ходатайств — лучшая форма проявления дружеских чувств как к протеже, так и к самому ходатаю [1 (V), № 94, 116; 16 (II), № 179]; друг любит друзей своего друга [16 (II), № 165, 169]; другу достаточно сказать о третьем лице «это мой друг», чтобы тот сделал для него все возможное [1 (V), № 147, 158] и т. д.

Знание этого кодекса «другом» предполагается как нечто само собой разумеющееся, и потому нет никакой необходимости напоминать ему о его долге, и он сам сделает все, что нужно сделать для друга, обратившегося с просьбой [16 (II), № 133].

«Дружба» поднимается Пселлом на уровень универсальной добродетели, в ряде случаев способной заменить многие другие.

Строгое выполнение требований кодекса «дружбы» тем не менее не может не привести к определенному конфликту с обязанностями, накладываемыми на человека иными моральными и государственными установлениями. В частности, *philia* как расположению, персонально направленному, явно противостоит *dikaiosune* — справедливость, теоретически в равной степени распространяющаяся на всех полноправных граждан и предполагающая беспреимущественное равенство перед законом. Не случайно поэтому в корреспонденции Пселла содержатся попытки примирить разноречивые требования этих добродетелей.

Писатель рассматривает дружеское расположение и справедливость как равноценные мотивы, которыми должен руководствоваться чиновник в своих действиях. Рекомендуя какого-то судью, Пселл отмечает в первую очередь, что тот умеет «почитать добродетель и ценить дружбу» [16 (II), с. 90.15–16]. Писатель характеризует своего протеже как человека твердого ума, мягкосердечного, знающего законы, хотя и ставящего человеколюбие выше права, почитающего друзей и т. д. [16 (II), с. 90.10–15]. Уважение дружбы ставится здесь на один уровень со знанием юриспруденции, выше которого оказывается человеколюбие.

Вступаясь за какого-то обиженного своими соседями человека и прося восстановить справедливость, Пселл пишет неизвестному судье: «К этому делу (т. е. праведному суду. — Я. Л.) тебя должны подвигнуть две вещи: стремление к справедливости и расположение ко мне» [16 (II), № 171, с. 195.10 и сл.]. Более того, писатель теоретически сознает примат долга для судьи. Личным чувствам он, на первый взгляд, отводит роль лишь дополнительного мотива, способствующего осуществлению правосудия. Я пишу тебе не для того, чтобы ты поступил как праведный судья, это ты сделаешь и сам, пишет Пселл неизвестному лицу, но для того, мол, чтобы напомнить тебе о дружеских чувствах. «Велика и могущественна сила дружбы, она придает больший вес чаше правосудия. Сама по себе она не может склонить весы в свою сторону, но в соединении со справедливостью сразу же перетянет и во сто крат больший вес» [16 (II), № 166, с. 192.7 и сл.]. Письмо заканчивается призывом сделать для его протеже все, чему только не препятствует закон. Это в теории. На практике же антиномию «закон—дружба» Пселл склонен решать в пользу личных чувств, дружбы. Эта позиция приводит Пселла к весьма свободным воззрениям на долг

и ответственность византийского чиновника. Вступаясь за некоего неудачливого сборщика налогов, к злоупотреблениям которого сурово отнесся судья, Пселл с достаточной степенью цинизма советует последнему: «Ты не допускай злоупотреблений, глядя на них, а просто не замечай их, ты должен смотреть, но не видеть, слушать, но не слышать...» [16 (II), № 252, с. 301.1 и сл.].

Итак, личные связи и обусловленные ими услуги для Пселла значат больше, нежели строгое исполнение служебного долга.

Как нетрудно убедиться из писем Пселла к судьям, «дружба» для философа — не просто набор удобных формул для использования в письмах «дружественного» типа, это также и определенная, существующая на разных уровнях система личностных связей, предполагающая не только выражение взаимных дружелюбных чувств, но и активные действия в пользу «друга». Можно предполагать и большее: как универсальная личностная связь «дружба» служит своеобразным субститутотом официальных связей и играет немалую роль в общественной жизни и функционировании государственной машины Византии XI в.

Можно утверждать и другое. Понятие «дружба» в XI в. имеет и некоторую социальную окраску. Культ «дружбы» разделяется отнюдь не всеми прослойками правящего класса. Монашеско-аскетические круги, выразителем идеологии которых в начале XI в. был Симеон Новый Богослов, презирали «дружбу», полагая, что она наряду с ученостью отвлекает человека от аскезы.⁹⁸ Это явление наблюдалось и при жизни Пселла. Пренебрегал «дружбой» и нравственный, интеллектуальный антипод писателя — Михаил Кируларий, а также и принявший монашество Ксифилин. Интересно, что Михаила Кирулария связывала с Симеоном не только идейная преемственность: сподвижник Кирулария Никита Стифат был ближним учеником Симеона. Против пренебрежения «дружбой» Кируларием и Ксифилином Пселл выступал резко и неоднократно. Таким образом, культ «дружбы» характерен прежде всего для интеллектуальной элиты византийского общества с определенными светскими тенденциями.

Каким же является Пселл в своих многочисленных и многообразных связях с современниками? Сам писатель неоднократно пространно

⁹⁸ См. замечания А. Каждана [81, с. 20]. Пренебрежение дружбой А. Каждан отмечает также и для современника Пселла — Кекавмена. О понятии «дружба» в переписке Пселла см. также статью Тиннефельда [307].

рассуждал о сложности и противоречивости человеческой природы. Вряд ли следует пытаться подвести под однозначные определения и его самого. Речь может идти только об основных ведущих тенденциях личности, существование которых также им охотно допускалось.

Прежде всего Пселл обладал интеллектом особого склада. Дело, конечно, не в феноменальной образованности писателя (эрудицией в Византии и в прошлые века удивлять было некого), а в отношении писателя к знанию и интеллекту — тому и другому Пселл придавал значение едва ли не большее, чем христианской вере. Ощущение Пселлом своего интеллектуального «избранничества» явно противостоит традиционной приниженности и христианскому смирению его предшественников. При всей упоенности собственным интеллектом Пселл был необыкновенно терпим и не по-средневековому «всеяден» по отношению к другим взглядам и другим позициям, делая исключение лишь для тех, кто был враждебен самому человеческому интеллекту. Эта «упоенность» нередко выливалась в тщеславие и неприкрытое хвастовство, вызывавшее сильное раздражение у исследователей Нового времени.

Помимо традиционного для образованного византийца уважения к знанию мироощущение Пселла, равно как и некоторых его корреспондентов, включает в себя определенный эстетизм и то отношение к жизни, которое мы условно охарактеризовали как эпикурейско-горацианское. Нет нужды объяснять, что и то и другое резко противоречит монашеско-аскетической идеологии. Этот приобретенный еще в юности «идейный субстрат» оказался в натуре Пселла весьма устойчивым. К воздействию монашеской идеологии писатель оказался несравненно более стойким, чем, например, друг его юности Иоанн Ксифилин. Противоречие между этой стороной натуры писателя и «официальной» нравственной доктриной, которую он обязан был использовать, привело к метаниям и непоследовательности поступков Пселла, равно как и к противоречиям в отношениях с людьми.

С «эпикурейством», возможно, связана и другая черта личности Пселла, которую, казалось бы, трудно совместить с представлениями об утонченном философе и человеке элиты — его влечение к той стороне жизни, которую с риторических позиций строгой Византии нельзя было не оценить как «низменную». Юноша Пселл, не в силах пропустить празднество, не является на занятия к учителю;

уже принявший монашество, в возрасте за сорок, он ищет возможностей посетить веселую свадьбу своего ученика, и, наконец, уже очень немолодой писатель отличает шута и балагура Илью, находя особое удовольствие в его фиглярстве и непристойных рассказах. Стихия «низа», как это случалось в Средневековье, как бы компенсирует метафизическую абстрактность занятий и вольный или невольный аскетизм жизни писателя.

Пселл и его ближайшее окружение жили в определенном нравственном климате со своими этическими нормами и категориями. Сострадание, душевная мягкость, прощение человеческих слабостей, нравственная гибкость — таков ряд этических категорий, исповедуемых писателем. Антиаскетичность и «свобода» морали, исповедуемой писателем, противостоят нравственному ригоризму монашеских кругов. Пселл оказывается необыкновенно терпим в сфере не только интеллектуальной, но и этической.

Безусловно, грани между «нравственной гибкостью» и моральной беспринципностью, а то и прямым предательством, часто бывают едва различимы, и Пселл, как никто другой, умел их переступить. Достаточно вспомнить поведение Пселла в истории с низложением и ослеплением Романа Диогена и в определенной мере с Михаилом Кируларием, чтобы проиллюстрировать это утверждение, хотя мотивы его действий, особенно в последнем случае, много сложнее, чем думают некоторые исследователи. Но даже отвлекаясь от этих исторических трагедий, активным действующим лицом которых не случайно оказался писатель, в своем рядовом, ежедневном поведении, в «бытовой» морали Пселл проявляет себя человеком, постоянно готовым к компромиссам и маневрированию, проявлениям сервилизма. Эти его свойства — обратная сторона «нравственной гибкости» — особенно бросаются в глаза при сравнении его с прямым и твердым в своих принципах Мавроподом.

Сделав попытку рассмотреть личность Пселла, мы не обнаружили в ней почти ни одной черты, поддающейся однозначному определению или оценке. Грани его образа нечетки и размыты, одни свойства переходят в другие, и почти ни одно из них нельзя занести только в нравственный «актив» или «пассив» писателя. В этом отношении Пселл мог бы занять первое место в галерее лучших образов, созданных им в «Хронографии».

Эта усложненность и антиномичность внутреннего мира Пселла — само по себе явление знаменательное. Нельзя, конечно,

доверчиво воспринимать всех византийцев до Пселла в той прямолинейной и упрощенной схеме, по которой они подчас изображались в литературных памятниках и документах своего времени. Тем не менее жизнь средневековых людей, их отношения к Богу, императору и их наместникам, взаимоотношения между собой были настолько проникнуты церемониалом и этикетом (в широком смысле слова), что их мироощущение и поведение гораздо в большей степени, чем в Новое время, подчинялось строгим стереотипам. Что же касается Пселла, то его мироощущение, чувства и действия, как бы они ни были «клишированы» в отдельных своих проявлениях, целом противостоят любому стереотипу. Эта принципиальная свобода от стереотипа была осознана и самим писателем. Пселл не только настаивает на необходимости без предвзятости и «по собственной мере» судить о людях вообще (см. ниже, с. 443), но и категорически требует признания своей особой самобытности. «Мне не нужно, чтобы меня меряли чужие руки, я сам для себя и мерило, и норма», — пишет он Константину Кируларию [XV], с. 220.1 и сл.]. Признание весьма необычное и примечательное для средневекового писателя!

Если бы Михаил Пселл вообще ничего не написал, сама его личность представляла бы собой огромный историко-культурный интерес как свидетельство глубоких и важных процессов в развитии византийской идеологии. Однако Пселл, ничего не написавший, был бы уже не Пселлом. Анализ творчества писателя мы посвящаем следующие разделы работы.





ЧАСТЬ II

Творчество

«Византийскую литературу в течение ряда научных эпох изучали скорее как совокупность “исторических свидетельств”, свидетельствующих обо всем на свете, кроме самих себя, нежели как литературу в собственном смысле этого слова» [71, с. 22]. Приведенные слова полностью приложимы и к творчеству Пселла, чей литературный талант сравнивали с дарованиями Шекспира и Достоевского. Только специфика языка и в меньшей мере стиля писателя стала предметом больших специальных исследований [277, 144]. Некоторым оправданием такому положению может, конечно, служить низкий уровень изданий и текстологического изучения наследия Пселла. Со времени первой публикации «Хронографии» прошло лишь немногим более 120 лет (этот внушительный срок не идет ни в какое сравнение с многовековой традицией изучения античных авторов), большинство писем и речей, впервые изданных по одной рукописи Сафой в 70-х годах прошлого столетия, больше не публиковались, многие эпистолографические и риторические памятники были изданы около сорока лет назад, а о Пселле-агиографе ученый мир узнал только недавно после публикации П. Иоанну «Жития Авксентия». Немало произведений вообще пока остаются в рукописях.*

И тем не менее есть и иная причина столь слабой изученности литературного наследия Пселла. Лишь совсем недавно за византийской

* Как уже отмечалось (см. выше, с. 191), за время, прошедшее после первой публикации этой книги, появилось много вполне квалифицированных изданий и переизданий произведений Пселла.

литературой стали признавать самостоятельную художественную ценность, а рассматривать творчество среднегреческих авторов как единое художественное целое, по сути дела, и не начинали.*

В традициях основоположника византийского литературоведения К. Крумбахера было и остается изучение отдельных произведений в качестве образца определенного жанра, а не исследование творческого наследия писателей или целой литературной эпохи в своей совокупности.¹ Вот почему можно вспомнить несколько работ, посвященных тому или иному сочинению или жанру в творчестве Пселла, но нет еще ни одного исследования о Пселле-писателе.²

Рассматривая «вертикальную» историю жанров, ученые, естественно, обращали внимание на неизменные родовые признаки и, не сопрягая их с особенностями остального творчества писателей, как правило, приходили к неутешительным выводам о многовековой стабильности литературных канонов, обрекавшей на творческое бесплодие византийских литераторов. Так случилось с эпистолографией Пселла, которого еще И. Сикутрис назвал «самым великим эпистолографом, которого только произвел греческий народ» [300, с. 35]. Письма Пселла в литературном отношении не оценены вовсе и в общих руководствах приводятся главным образом в качестве иллюстрации неизменности жанровых законов эпистолографии.

* <Последние годы принесли некоторый сдвиг в отношении к византийской литературе. Сейчас уже перестали быть редкостью работы, авторы которых склонны признавать определенные художественные достоинства за отдельными из произведений византийских авторов. А. П. Каждан предпринял попытку написать историю византийской литературы, строящуюся не по традиционному «жанровому принципу», а рассматривающую византийских писателей как творцов и создателей belles-lettres. К сожалению, из задуманного шеститомного труда ученому удалось закончить только два, охватывающих историю литературы VIII–X веков. Подробно о круге проблем, связанных с «художественностью» византийской литературы, см. в моей дискуссионной статье J. Ljubarskij, 1998.>

¹ В этих традициях написаны и две книги Х.-Г. Бека [137; 138], призванные на новом этапе заменить уже устаревающий труд К. Крумбахера [227]. Лишь в последнее время стали раздаваться голоса, ратующие за иной принцип построения истории византийской литературы [см. 82, с. 284, 71, с. 21].

² Следует отметить, что еще П. Безобразов намеревался посвятить второй том своего исследования творчеству Пселла [65, с. IV]. Однако обещание русского ученого так и не было выполнено.

Так случилось и с риторическими произведениями писателя. Пселловской риторике посвящен лишь один раздел большой статьи итальянского ученого Л. Превиале «Теория и практика византийского панегирика», который ограничивается перечислением и краткой характеристикой наиболее значительных панегирических речей писателя. Энкомии Пселла ученый без обиняков называет «посредственными, пустыми, лживыми и явно недостойными пера автора "Хронографии"» [274, с. 97]. Через 20 лет два панегирика Пселла привлекли внимание соотечественника Превиале Р. Анастаси. Его статья об эпитафии Ксифилину касается главным образом рукописной традиции [125]. Во введении к итальянскому переводу энкомия Мавроподу разбираются проблемы датировки и зависимость Пселла от «образцов» [17]. Что касается общей оценки речей, то Анастаси полностью солидаризируется с уже цитированными словами Превиале.^{3*}

Больше «повезло» пселловской «Хронографии». Интерес к ней как к историческому источнику закономерно вызвал попытки решить ряд «загадок», которые задает исследователю форма этого произведения.

В рецензии на издание «Хронографии» Сикутрис в начале 20-х годов сформулировал несколько, по его мнению, подлежащих обсуждению проблем: «Более точное определение времени издания всего сочинения и его частей, литературный жанр, в котором это произведение мыслится автором... техника литературного портрета... причина отсутствия вступления, форма последней части труда... последующее воздействие "Хронографии", политическая позиция автора» [299, с. 99 и сл.].⁴ Прошло более 60 лет, а ответы на поставленные

³ Риторические произведения Пселла разделили судьбу всей византийской риторики, на неизученность которой еще в 1940 г. жаловался Ф. Дальгер [ВЗ, 40, 1940, S. 356, Anm. I]. Речи Пселла очень плохо используются даже как исторические источники. В то же время некоторые энкомии (особенно эпитафия Михаилу Кируларию) содержат факты, отсутствующие в других исторических сочинениях.

* <В последние годы риторические произведения Пселла и других византийских авторов все больше занимают внимание византинистов и как исторические источники, и как литературные памятники. Новая литература, касающаяся этих проблем, приводится нами в комментариях к пятой главе этой книги.>

⁴ Форме и времени написания «Хронографии» сам Сикутрис посвятил содержательную статью [см. 301].

вопросы за это время не только не были однозначно сформулированы, но, по существу, почти вовсе не предлагались; молодой немецкий ученый Г. Вейс в рецензии на книгу о «Хронографии» А. Гадолин, изданную в 1970 г., пишет о нерешенных проблемах, оставленных без внимания шведской исследовательницей. Вопросы, в пренебрежении к которым Вейс справедливо упрекает автора книги, в большинстве своем совпадают с проблемами, выделенными Сикутрисом [311].

Но не только важность исторического источника была стимулом для изучения «Хронографии». Выдающиеся художественные достоинства произведения, великолепное умение автора рисовать образы были достаточно рано замечены и оценены исследователями.

Впервые специальный раздел системе образов Пселла посвятил Э. Рено в уже упомянутом труде о языке и стиле византийского писателя [277, с. 505 и сл.]. Строгая систематизация, отличающая книгу в целом, однако, сменяется эмоционально-импрессионистическим изложением, когда Э. Рено говорит о «творческой силе» писателя, о его даре «оживлять предметы и лица», о «зоркости взгляда» и «уверенной руке» в изображении персонажей. Рено приводит много цитат, надежно подкрепляющих его оценки, но никак не раскрывающих сущности пселловского искусства. Единственное наблюдение, приводимое в этой связи, — обыкновение Пселла сначала давать своему герою характеристику «в общих чертах», а затем расширять и дополнять ее рядом деталей.

Появившаяся спустя 20 лет статья К. Свободы касается больше собственных взглядов Пселла на человеческую личность, чем его литературного мастерства. Свобода отмечает, что, согласно воззрению автора «Хронографии», человек — существо сложное и изменчивое, в котором сосуществуют дурные и добрые качества [297].⁵

В то время как специалисты-византинисты только ищут подходы к анализу психологического и художественного мастерства,⁶ Пселл — художник и психолог, стал предметом особого внимания авторов двух обобщающих трудов, посвященных грандиозной проблеме изображения человека в литературе [220, 252]. В книгах П. Кирина и Г. Миша нет скрупулезности специального исследования, зато сохранена перспектива, возможная только при широком привлечении

⁵ Этих же проблем частично касается и Дж. Хассей [204].

⁶ Отдельные наблюдения над художественным методом Пселла содержатся в разделе о литературе «Истории Византии» [77 (II), с. 379 и сл.].

материала. По сути дела, П. Кири, неоднократно упоминающий Пселла и посвятивший ему специальный очерк в конце книги, почти не делает новых наблюдений. Однако художественные принципы византийского автора прямо или косвенно сопоставляются с позицией античных и средневековых писателей, и его творчество как бы включается в круг европейской литературы.

Г. Миш (его фундаментальное исследование специально посвящено истории автобиографии, тем не менее ученого интересуют и общие принципы раскрытия характера) источники представлений Пселла об изменчивости человеческой природы ищет у Плу-тарха и Полибия и даже в диалектике Гераклита, а их появление объясняет «бесхарактерностью», «непостоянством» и иными моральными дефектами самого писателя. К оценке психологического и художественного искусства Пселла Миш подходит с точки зрения современного исследователя, не только знакомого с новейшими теориями, но читавшего Л. Толстого, Ф. Достоевского, Ф. Кафку и т. д. «Пселл, — пишет ученый, — видит связь внешне противоречивых черт героя, но далек от того, чтобы за этой внешней связью увидеть «единую силу, заложенную в персонаже»» [252, с. 804 и сл.]. Дальше Миш более определенно называет эту силу «духовно-нравственным ядром личности» (с. 819). Как ни талантлив Пселл, он, по Мишу, разделяет ограниченность других средневековых писателей; феноменальная индивидуализация образов сочетается у него со схематическим изображением их сущности.

Среди наблюдений и замечаний Миша немало верного и интересного, вряд ли, однако, методологически правильно оценивать средневекового писателя с точки зрения того, в чем он «дотянул», а в чем «не дотянул» до современного уровня.

В более поздние годы литература о «Хронографии» обогатилась сразу двумя специальными исследованиями. Первое из них, книга Анастаси, — по сути дела, подготовительная работа (автор сообщает в аннотации, что готовит большое издание, посвященное Пселлу) [124].⁷ Последняя (третья) ее глава имеет дело с историческими концепциями Пселла — «Хронография» в данном случае постав-ляет лишь необходимый исследователю материал. Вторая глава («Михаил VII») большей частью касается установления биографических фактов, и только в первой («Константин IX Мономах»)

⁷ См. нашу рецензию [96].

непосредственно исследуется сама «Хронография». Выполняя фактически первый из «заветов» Сикутриса, Анастази стремится уточнить время написания отдельных частей произведения. Ученый выступает здесь в роли последовательного аналитика. Пселл, по его мнению, не историк, а мемуарист, к тому же самый пристрастный, его интересуют не факты, а собственная личность, и освещение им событий прошлого полностью зависит от позиции в настоящем. Из этой презумпции следует вполне конкретный методологический вывод, который в упрощенном виде можно сформулировать так: произведения Пселла или их части можно датировать с максимальной точностью, выяснив, когда писателю было «выгодно» их написать. Если же в том или ином сочинении содержатся противоречия, то они — или результат порчи рукописной традиции, случайного соединения разных произведений, или следствие авторской контаминации одновременно написанных частей. Этот метод аналитика Анастази применяет к «Хронографии», в частности к биографии Константина Мономаха.

Уже упомянутая книга А. Гадолин [181] еще более, чем труд Анастази, использует «Хронографию» скорее как материал, нежели объект исследования. Цель автора: вычленив из «Хронографии» воззрения писателя на те или иные факты и явления истории общественной и политической жизни и сопоставить их с античными воззрениями. Полностью изолируя «Хронографию» от остального творчества, сравнивая между собой по чисто внешним признакам взгляды Пселла и древних писателей, шведская исследовательница заключает о полной зависимости византийского литератора от своих «образцов». Книга эта в некоторых своих разделах, может быть, и способна служить сводкой данных «Хронографии» о различных областях общественной жизни, но вряд ли что-либо прибавляет к нашим представлениям о самой «Хронографии».⁸

Как видно из этого краткого обзора, и поныне не существует специального комплексного исследования всего творчества Пселла. Не может полностью выполнить эту роль и предлагаемая работа. Во-первых, из огромного литературного наследия писателя выбирают лишь наиболее художественно значительные произведения: «Хронография» и эпидейктические речи. За пределами исследования

⁸ Подробней см. нашу рецензию [97]. Книга эта вызвала единодушную критику и других рецензентов [см. 311; 306].

практически остаются стихотворные произведения, житие Авксентия и эпистолография писателя (последняя служила нам основным материалом в первой части книги). Во-вторых, среди круга многочисленных проблем творчества Пселла главное и почти исключительное внимание обращается на анализ композиции и искусство построения образов произведений.

Исследователь не может приступить к рассмотрению художественной специфики сочинений Пселла, не высказав своего взгляда на решение ряда специальных вопросов (датировки, жанровой принадлежности сочинений и т. д.). Делается это и в настоящей работе. Попытавшись при этом условии охватить все творчество писателя, мы превзошли бы разумные размеры исследования, отказавшись от постановки «специальных» проблем, не сумели бы аргументировать выводов.





Глава четвертая

ЭСТЕТИЧЕСКИЕ ВЗГЛЯДЫ И ЛИТЕРАТУРНАЯ ПОЗИЦИЯ

Рассмотрение творчества Пселла мы начинаем с анализа его литературно-эстетических взглядов. Такое начало имеет дополнительное оправдание в рационализме византийского писателя, его повышенном внимании к проблемам искусства — ремесла, τέχνη.¹

¹ Византия была, как известно, самой «читающей» страной средневековой Европы. В то же время представления византийцев о литературе пока не привлекали внимания ученых. Можно назвать только несколько специальных работ, посвященных литературным взглядам автора «Библиотеки» Фотия [см. 261, 196, 231]. «Моя попытка определить литературно-эстетическую позицию Михаила Пселла и особенно противопоставить ее взглядам и мнениям его современников вызвала решительные возражения С. С. Аверинцева (С. Аверинцев, 1986, с. 19 сл.; перепечатано в: С. Аверинцев, 1996, с. 255 сл.). С. С. Аверинцев, правда, не столько оспаривал мои аргументы, сколько защищал свою общую (впрочем, не им одним исповедуемую) концепцию, согласно которой во взглядах и теориях византийцев не присутствовало никакого индивидуального начала или тем более каких бы то ни было четко выраженных индивидуальных воззрений. Естественно, в таком случае в Византии не могло возникнуть и «ситуации спора» как следствия развития идей, художественных методов и т. п. Поскольку мои расхождения со взглядами С. С. Аверинцева на византийскую словесность, как оказалось, носили общий и принципиальный характер, я счел возможным вступить в полемику с ним (Я. Любарский, 1988).»

Как известно, в Византии в ходу было очень много риторик, и фактически не было ни одной поэтики. Однако поэтики «в чистом виде» не существовало уже и в поздней античности, что не мешает исследованию наряду с риторикой теоретико-литературных концепций Древнего мира. Тем более это должно относиться к Византии, где пределы риторики стали еще шире и где риторика, потеснив другие жанры, восприняла и вобрала в себя их наследство. Именно поэтому мы не станем проводить резкой грани между риторикой и поэтикой, памятуя, что этой грани не существовало и в сознании образованного византийца.²

Михаил Пселл знаменует собой второй после Фотия³ этап развития византийской литературно-эстетической мысли. Несколько его сочинений специально посвящены риторическим и литературным проблемам. Характеристика этих произведений дается нами в приложении (см. с. 514 и сл.).

При всем своем жанровом разнообразии большинство из них имеет общее происхождение в системе риторического обучения византийской школы. Это или трактаты, сокращающие сочинения столпов античной риторики Дионисия Галикарнасского и Гермогена, или литературные «синкрисисы» — традиционные упражнения будущих раторов, или «монографические исследования» творчества писателя в стиле Дионисия. Почти все они написаны в виде подлинного или фиктивного послания — в излюбленной форме для выражения литературных взглядов античных писателей.

Не менее традиционен также круг основных идей и критериев, с которыми Пселл подходит к анализу литературных произведений. В этом легко убедиться, составив небольшой реестр основных элементов литературного произведения, наличие которых отмечает и качество которых оценивает Пселл. Приведенные ниже примеры — лишь малая доля встречающихся у писателя.

² Риторика и поэтика существовали как отдельные предметы школьного преподавания, но под поэтикой (*ποιησις*) подразумевались уроки метрики и версификаторства [см. 236, с. 252]. Все, касающееся оценки и исследования литературного произведения, еще с периода поздней античности — область риторики.

³ Литературных проблем в некоторых своих сочинениях касается и Арефа. В двух случаях писатель характеризует сочинения своих современников [37 (I), № 32, 51], в одном защищает от обвинений в неясности (*ἀσάφεια*) его собственного произведения (№ 17).

Мысль, смысл (νοῦς, ἔννοια, διάνοια). «Идеальный» христианский ритор Григорий Назианзин стоит выше всех по уму и красоте, «управляет риторической речью вожжами разума, поражает читателя неожиданными мыслями» [15, с. 57.346]. Смысл значит для Пселла много больше, чем звук [1 (V), с. 150.1 и сл.]. Недостатком Ахилла Татия является как раз то, что он «язык предпочитает смыслу» [13, с. СХІІІ.13].

Слово (λόγος, ὄνομα, λέξις, ὀνομασία). О «сладостных словах» заботился Иоанн Мавропод, речь которого цвела розами и зимой [1 (V), с. 149.21]. Гелиодор украшал свою речь «красивыми и изящными словами», Григорий Назианзин поражал слушателя «цветом слов» [15, с. 57.347]. Умение «выбрать слова» — ценное качество Лихуда [1 (IV), с. 394.16].

Сочетание слов (συνθήκη τῶν λόγων) играет, по Пселлу, едва ли не большую роль, нежели выбор необходимых слов. Этой проблеме, как уже отмечалось, был посвящен специальный трактат писателя. Мавропод заботится не только о «сладостных словах», но и об их правильном сочетании (1 (V), с. 149.20), Лихуд умеет не только выбрать слова, но и «искусно приладить их друг к другу» [1 (IV), с. 394.16]. В сочетании слов никто не был в состоянии превзойти Симеона Метафраста [16 (I), с. 104. 19], даже суровый Михаил Кирларий восхищался сочетанием слов и заключенной в них прелестью, как «чистейшим видом идеальной красоты» [1 (IV), с. 354–355].

Фигуры (σχήματα). Пселл ценит, например, разнообразие фигур в речи Лихуда [1 (IV), с. 394.14]. Наличием «эффектных фигур» у христианских писателей интересуется неизвестный корреспондент писателя [22, с. 124] и т. д.

Ритм (ρυθμός). Присутствие и качество ритмической организации фразы неоднократно отмечается Пселлом в отношении стиля Константина Лихуда (1 (IV), с. 394.16), Симеона Метафраста [16 (I), с. 103.3], Григория Назианзина [15, с. 56.315 и сл.] и др.

Роли каждого из перечисленных здесь элементов в античной риторической критике можно было бы посвятить специальный очерк. В этом, однако, нет нужды, поскольку все они вместе «одним списком» встречаются уже в предисловии к известному сочинению Гермогена из Тарса «Об идеях», сочинении, дважды пересказанном Пселлом. В речах всех видов, по Гермогену, следует различать следующие элементы: ἔννοια, μέθοδος, λέξις, σχήμα, κόλον, συνθήκη, ἀνάστωις, ρυθμός [43, с. 220.6 и сл.]. В дальнейшем, последовательно рассматривая

«идеи» (иначе свойства речи), Гермоген методично перечисляет, какими должны в каждом случае быть ее элементы. Перелая Гермогена, Пселл в сочинении «О риторике» полностью сохраняет его структуру изложения, причем элементы идеи носят у него название «частей» (*μέρη τῆς ιδέας*) [см. 57 (III), с. 698.4 и сл.]. Список, составленный нами (без оглядки на Гермогена или на его переложение Пселлом), почти полностью повторяет реестр классика древней риторики.⁴ Причина такого совпадения, нам представляется, очевидна: профессор риторики при оценке литературных произведений находится во власти школьного шаблона, основу которого и составляла гермогеновская система.⁵ Вряд ли, однако, современный исследователь вправе ограничиться очередной констатацией неоригинальности византийского писателя.

Пользуясь современной терминологией, можно сказать, что Пселл в определенной степени был историком, теоретиком и критиком литературы. Эти три аспекта и послужат предметом анализа.

История литературы (в антикварно-филологическом смысле слова), расцвет которой приходится на эпоху деятельности александрийских грамматиков, имела продолжение в Византии. Фотий, как правило, интересуется авторами прочитанных им книг, указывает время их жизни, перечисляет биографические факты. Эту традицию на рубеже X—XI вв. продолжает автор словаря «Суды». Пселлу интерес подобного рода свойствен значительно меньше. Авторы разбираемых произведений его почти не интересуют,⁶ сами же произведения — прежде всего объект подражания или отталкивания, эстетического наслаждения или аллегорического толкования. Место

⁴ В составленном нами списке отсутствуют три из перечисленных Гермогеном элементов: *μέθοδος*, *χῶλον*, *ἀνάπαισις*. Они тоже встречаются у Пселла, хотя и несравненно реже. *Μέθοδος* [15, с. 56.309; 13, с. СХIII. 16]; *ἀνάπαισις* [15, с. 54.221; 16 (I), с. 104.19]; *κῶλον* [57 (III), pp. 698.8; 699.24].

⁵ Книги Гермогена играли исключительно большую роль в византийском риторическом образовании. Нетрудно было бы показать, что и пселловские определения стиля писателей и риториков восходят к гермогеновским *ιδέαι*. В отношении Фотия это сделано, например, Ортом [261, с. 46 и сл.].

⁶ Любопытный в этом отношении пример: Пселл, в отличие от Фотия, ни разу даже не называет по имени Ахилла Татия и Гелиодора, романы которых он разбирает.

их определяется не реальной позицией в истории, а значением в настоящем. В этом смысле история литературы для Пселла, как и любого человека Средневековья, почти вовсе лишена развития и существует как бы в двухмерном пространстве.⁷ Можно говорить об утилитарно-риторическом подходе Пселла к литературе. И тем не менее некоторые историко-литературные замечания Пселла представляют безусловный интерес. Пселл говорит о принципах обработки старых житий Симеона Метафраста: последний бережно, как к первоисточнику, относился к древнейшим сюжетам и не отходил от них, чтобы не создалось впечатления, будто он что-то делает вопреки образцу; он преобразовывал форму произведения, оставляя нетронутым его содержание, исправлял огрехи стиля, не изменяя мысли [см. 16 (I), с. 103.29–104.5].

Сопоставляя творчество Еврипида и Георгия Писиды (само по себе такое сопоставление — великолепный пример «антиисторизма»), Пселл считает нужным отметить то, какое изменение претерпел за протекшие столетия античный стих, в частности ямб [4, с. 18.14]. Сравнивая романы Гелиодора и Ахилла Татия, Пселл ставит вопрос о генетической связи между произведениями, утверждая («Я полагаю», — οἶμαι, — пишет он, подчеркивая субъективность своего мнения [13, с. СХI.29]), что Татий писал в подражание Гелиодору.* Любопытно, что эта точка зрения до недавних папирусных находок была доминирующей среди новых исследователей [281, с. 501, 514].

Приведенными примерами почти исчерпываются случаи «историко-литературного» подхода Пселла к произведениям. <К приведенным примерам можно добавить еще один: согласно А. Дейку, замечания Пселла о Прометее Прикованном (в трактате о Еврипиде и Писиде. — Я. Л.) превосходят некоторые из наблюдений над этой трагедией, сделанные современным исследователем Марком Гриффитом (А. Dyck, 1983, p. 18–19). Несомненно, подобная

⁷ В применении к древнерусской литературе Д. С. Лихачев пишет: «В письменности было “одновременно”, а вернее вневременно все, что написано сейчас или в прошлом. Не было ясного сознания движения истории, движения литературы, не было понятия прогресса и современности, следовательно, не было представлений и об устарелости того или иного литературного приема, жанра» [87, с. 15].

* Оба трактата ныне переизданы А. Дейком: А. Dyck, 1986, p. 40–51.>

«модернизация» Пселла таит в себе немалые опасности и, строго говоря, не вполне научна, но византийский писатель постоянно «провоцирует» на подобные замечания. > Они остаются исключениями, подтверждающими правило. Пселл — прежде всего ритор с типичным «утилитарным» отношением к литературе прошлого.

Много сложнее проблема теории литературы и литературной критики. Как теоретик риторики, видели мы, Пселл тривиален, степень его самостоятельности ограничивается введением христианских авторов вместо античных в качестве иллюстраций к положениям, целиком заимствованным у древних раторов.

Примечательно, однако, что сам Пселл вовсе не считает себя эпигоном. Напротив, он даже гордится своей «оригинальностью» в теории риторики: «Мне приходилось читать многих серьезных древних раторов, но не в пример иным я не позволил им водить себя за нос, а прибавил нечто свое к некоторым положениям Лонгина, во многом исправил науку (τέχνη) Адриана, а у Сопатра осудил почти все. Что же касается Гермогена, то — вы и сами знаете — я прекращаю обвинение за отсутствием улики, хотя все, о чем он говорил, заимствовано у древних раторов, а то, что он добавил от себя, — это не существо дела, это нечто второстепенное» [16 (I), с. 370.5]. Кроме выбора авторов — впрочем, весьма случайного, — на которых ссылается Пселл, любопытна здесь также оценка Гермогена: Пселл прекрасно осознает компилятивный характер его сочинений, тем не менее не находит для него слов осуждения. Знаменательно, что вопрос об оригинальности вообще возникает у средневекового теоретика!

Специальных трактатов по поэтике Пселл не оставил. Взгляды его приходится экстрагировать из конкретных оценок творчества тех или иных писателей (чаще их стиля). Подразделить поэтику у Пселла теорию и литературную критику практически невозможно.

В литературных суждениях Пселла нетрудно выделить несколько положений, на которых особенно настаивает автор и которые, по его мнению, служат признаком «идеального стиля». Первое из них по важности — мысль о «слиянии», «сочетании» в стиле писателя различных свойств, достоинств, «идей» стиля предшественников. Именно таким образом, как уже отмечалось, оценивает Пселл стиль Григория Богослова [15, с. 48.18]. Стиль Иоанна Мавропода являет собой «смесь, составленную из лучшего подражания лучшим образцам» [1 (V), с. 150.26 и сл.]. Лихуд отличается умением

«смешивать идеи» [1 (IV), с. 394.13 и сл.]. Наконец, сам Пселл ставит в заслугу себе в первую очередь сочетание стилей предшествующих писателей [22, с. 52.4 и сл.].

Выраженные в такой форме, суждения эти также вполне тривиальны: мысль о том, что «сочетание» или «слияние» лучших свойств стиля предшественников — главный признак идеального оратора (а таковой для поздней античности — Демосфен), предельно четко выражена и Дионисием Галикарнасским и Гермогеном [41, с. 143.11; 43, с. 215.8], которые и в данном случае служат источником Пселла. На деле, однако, представления Пселла не столь просты и прямолинейны, как это кажется с первого взгляда. Под аккумуляцией отдельных свойств, «идей» стиля Пселл понимает не механическое их соединение, а некий сплав, обладающий новым качеством. Почти каждое рассуждение о механическом по видимости «смещении идей» завершается диалектическим по сути своей выводом о рождении нового качества. «Он (Григорий Назианзин. — Я. Л.) не состоит как бы из многих риториков и не отдает дань каждому из них в разных частях своих речей, но подобно тому, как смешение красок дает новый цвет, на них не похожий, и бывает, что новый цвет оказывается краше тех, из которых он произошел, так и цвет речи Григория блещет тысячью цветов. Но по сравнению с ними там есть нечто другое, и он намного их лучше; я не считаю его речь собранием чего-то разнородного и чуждого одно другому, однако полагаю, что по своей природе она единообразна» [22, с. 127.20 и сл.]. Тот же Григорий, пишет Пселл в другом случае, хотя и сочетает в себе лучшие достоинства стиля предшествующих ораторов, пишет «не соревнуя с древними», писатель дважды настаивает на этой мысли: «речи его изливаются из собственного источника» [15, с. 49.40].

То же самое утверждается и в отношении собственного творчества. Перечислив писателей, у которых Пселл заимствует те или иные особенности стиля, он пишет: «Если же говорить обо мне, то нет у меня достоинств и силы этих писателей, однако речь моя всегда многообразна. Свойства каждого (из упомянутых писателей. — Я. Л.) смешиваются у меня в единое целое. И вот, состоя из многих, я — един» [+О стиле некоторых сочинений], 22, с. 52.4]. Таким образом, писатели, подражая предшественникам, становятся творцами нового стиля. Это диалектическое заключение не только логически следует из приведенных выше рассуждений писателя, но и непосредственно выражается самим Пселлом.

О Григории Назианзине (суждения об этом «идеальном» писателе наиболее показательны для его теоретико-литературных взглядов) Пселл пишет: «Испив до конца поток искусства и оросив его влагой свою мысль, он (Григорий. — Я. Л.) и сам из души своей испускал живительный и прозрачный источник. Он создавал речи, не оглядываясь на примеры, но сам был для себя первообразцом» [15, с. 54.228 и сл.]. В другом месте того же сочинения Григорий объявляется создателем самого трудного вида красноречия — панегирического [с. 57.342].⁸ Еще дальше, по словам Пселла, продвинулся в этом отношении Василий Великий, который «как бы сам хотел быть искусством слова» [22, с. 129.1 и сл.].

У Пселла не только Отцы церкви (это было бы еще понятно) претендуют на роль «основоположников». Современник и друг Пселла Константин Лихуд, чье красноречие сопоставляется с искусством Перикла, превосходил последнего тем, что, усвоив искусство красноречия, в большинстве случаев не подчинялся канонам, а «вводил каноны, лучшие, чем оно» (искусство красноречия) [1 (IV), с. 393.3 и сл.].

Вообще правила, каноны красноречия отнюдь не играют для Пселла такой большой роли, как это можно было бы предположить, исходя как из общих представлений, так и из ряда собственных высказываний писателя. При чрезмерном использовании «искусства» — «техне» произведение лишается искренности, что вовсе противопоказано дружеским посланиям; речь, исполненная пафоса, по необходимости отказывается от «правил» и т. д. [16 (I), с. 146, с. 172.25]. При том, что позднеантичная риторика, канонам которой следуют византийцы, почти полностью изгнала все, не поддающееся строгой систематизации и регулированию, в обиходе Пселла время от времени появляется понятие вдохновения, под воздействием которого творит оратор или писатель. Если, выступая в многолюдном собрании, Пселл заботился о красоте слов и об их удачном сочетании, фигурах и других обязательных для каждого ритора вещах, то, имея перед собой единственным слушателем своего ученика и друга Константина Кирулария, он «становится вдохновенным», «взлетает окрыленной душой» и т. д. [1 (V),

⁸ Ср. в уже цитированном месте этого сочинения: Григорий, писавший не в подражание древним, был «сам по себе первою статуей словесной прелести» [15, с. 48.22 и сл.].

с. 325.8 и сл.]. Такого же типа рассуждения содержатся и в послании, направленном Пселлом, видимо, Льву Параспондилу [16 (I), с. 142], который заставляет писателя исполниться вдохновения [16 (I), с. 142.16 и сл.]. О своем письме он говорит даже как о «пророчестве».

В этих рассуждениях, несомненно, наличествует большая доля этикетности: адресат письма или речи своими выдающимися достоинствами заставляет автора даже забыть обязательные правила искусства. Тем не менее само упоминание (и нередкое) вдохновения как источника творчества знаменательно. Пселл прекрасно осознает, что отнюдь не все высоты в литературном творчестве достижимы с помощью искусства — ремесла. «Платон божествен, — пишет Пселл, — но ему подражать невозможно. Кажется, что к его ясности легко приблизиться, на самом же деле это крутая вершина, на которую трудно взойти» [22, с. 51.18 и сл.] (перевод Т. А. Миллер). В принципе это утверждение ограничивает всемогущество риторической «технэ» и предполагает существование неподвластных ей областей, того, что, видимо, следует назвать «чудом искусства».⁹

Итак, рассмотрение первого из теоретико-литературных положений Пселла приводит нас к выводам, противоречащим предпосылкам. Пселл вслед за позднеантичной риторикой считает главным достоинством стиля смешение «идей», но, думает он, это смешение влечет за собой возникновение нового качества. Пселл признает необходимым строгое следование предписаниям искусства красноречия, однако, по его представлению, ритор вправе сам устанавливать каноны для себя и своих последователей. «Со свойственными ему диалектизмом и тонкостью он утверждает, что преступая каноны искусства (τοὺς τέχνης κανόνες), он оказывается более искусным (τέχνηώτερος). На это весьма знаменательное замечание Пселла ссылается Ч. Чемберлен, проанализировавший четыре эпитафии Пселла Константину Мономаху и сопоставлявший литературную технику Пселла с собственными теоретическими высказываниями писателя. По наблюдению Ч. Чемберлена, Пселл весьма свободен в использовании предписаний риторической теории. См. Ch. Chamberlain, 1986.» Владение техникой для Пселла — основное

⁹ Проблема «вдохновение—правила» отнюдь не впервые возникает в сочинениях Пселла. Она была хорошо известна античной эстетике. См. статью Ф. А. Петровского [101].

качество писателя и оратора, но «техника» может в иных случаях, по мнению писателя, уступать место свободному вдохновению.

Во всех трех случаях налицо противоречие традиционности, подчинения общему, нормативному, и идеи индивидуальности, самостоятельности художника. С одной стороны, Пселл еще усугубляет нормативность позднеантичной риторической теории, с другой — высказывается за свободу индивидуального проявления творческой личности. Причина первого явления понятна без дополнительных объяснений, истоки второго гораздо более сложны. Интересно в этой связи вспомнить, что аналогичная тенденция была свойственна и предшественнику Пселла, первому «теоретику» в византийской литературе — Фотию.¹⁰ Возможно, что интерес к индивидуальному в творчестве (естественно, на фоне общего догматизма мышления) принесла с собой именно византийская эпоха.¹¹ В воззрениях Пселла на литературу он проявился особенно ярко.

Двойственность теоретической позиции Пселла, должно быть, сказалась и на разнохарактерности конкретных критических оценок. Наряду с многочисленными стандартизированными разборами по «элементам» и «идеям», поисками «нормы», вобравшей в себя все достоинства стилей предыдущих ораторов, у Пселла встречаются весьма тонкие суждения, поражающие именно отсутствием догматической скованности. Лучший тому пример — замечания Пселла по стилю его ученика Иоанна Итала. «Пусть простится Италу, если он прекрасен не во всем: он мастер своего дела, но красота не дается ему. Он небрежет о слушателе, его откровенная речь неприятна, ведь она приготовлена и составлена из предисловий, тогда как речь, тщательно отточенная, не бывает нестройной и сбивчивой. И речь его не льет усладу в душу, но заставляет размышлять и держать в уме сказанное, она убеждает не болтовней, не наслаждением (не удовлетворяет она харитами), не пленяет красотой, но как

¹⁰ Подробно см. об этом у Кустаса [231, с. 139]. Ученый оперирует главным образом примерами оценок Фотием творчества христианских писателей, но аналогичные характеристики содержатся и в разделах, посвященных античным авторам. Эсхил, например, заслуживает похвалы за то, что речь его, самобытная и оригинальная (αὐτοφυῆς καὶ αὐτοσχεδῆος), поражает скорее своей «природой», чем «искусством» [PG, p. 103, col. 117].

¹¹ Кустас усматривает в позиции Фотия, который «видит в каждом авторе, более того, в каждом произведении самодовлеющий психологический феномен», черты христианского мировоззрения.

бы насильно покоряет рассуждениями» [16 (I), с. 53.3 и сл.] (перевод Т. Миллер). У Итала, следовательно, нет того, что является обязательным для стиля прославленных ораторов. Это обстоятельство нарочито и, может быть, полемично подчеркивается Пселлом. Отсутствие этих достоинств, однако, с лихвой восполняется одним качеством — непобедимой логикой. Нестандартность мысли Пселла сказывается в данном случае в нестандартном метафорическом способе ее выражения: Итал «насильно покоряет рассуждениями». Интересно, что рассуждения об Итале заканчиваются защитой права оратора — и Итала в том числе — на особую индивидуальную характеристику его стиля.

Второй тезис, из которого почти непременно исходит Пселл при характеристике стиля восхваляемых им писателей и раторов, — «изменчивость» и «пестрота» слога, его способность приспособляться к лицам, обстоятельствам и условиям исполнения произведения. Источник этого положения Пселла не может вызывать сомнений: это известное требование античной риторической теории «уместности» стиля (*τὸ πρέπον*), которое нашло свое наиболее яркое отражение в сочинениях того же Дионисия Галикарнасского; мысли последнего, как мы видели, неоднократно заимствует византийский писатель. По словам Дионисия, идеальный ритор напоминает собой Протея, меняющего в зависимости от необходимости свой облик.¹²

У Пселла требование «уместности» приобретает поистине универсальный характер. Лучшие ораторы древности (Лисий, Демосфен, Лонгин, Приск, Никагор), по его словам, умели не только сочетать слова, но и изменять речь в соответствии с обстоятельствами и лицами [16 (II), с. 36].¹³ Такого же рода похвалы расточает Пселл и своим современникам: слог Иоанна Мавропода то искусный, то простой, иногда бушует, как ливень, иногда накрапывает, как дождик. Писатель пользуется тем и другим в зависимости от обстоятельств (*κατὰ κίρρον* [1 (V), с. 150.4 и сл.]). Иоанн Ксифилин в одних случаях пользовался высоким стилем, в других — разговорным

¹² Характеристику, данную Дионисием Демосфену, см. [41 (I), с. 144.1]. Образ Протея в таком же контексте неоднократно встречается и у Пселла.

¹³ Ср. слова Пселла об императрице Зое: «Как наиболее искусные риторы, преобразовалась она в зависимости от лиц и обстоятельств» [20 (I), с. 62.19 и сл.].

языком, и во всех отношениях приспособлял форму речи к содержанию и обстоятельствам [1 (IV), с. 456.18 и сл.]. Известный риторический принцип распространяется Пселлом не только на произведения ораторского искусства. «В зависимости от разных обстоятельств и разных героев поэты (имеются в виду древние трагики. — *Я. Л.*) употребляют разные слова, размеры и ритмы», — утверждает Пселл в сочинении о Еврипиде и Писиде. Этот писательский «протеизм» становится ведущим критерием оценки в одном из наиболее интересных историко-литературных произведений Пселла — «Энкомии Симеону Метафрасту». «У Симеона, — утверждает Пселл, — нет достоинств многих других писателей, но никто не умел придать своим произведениям наиболее подходящую форму». В данном случае, однако, Пселл не ограничивается констатацией «изменчивости» стиля. Оказывается, что «изменчивость» стиля Метафраста может сочетаться с определенным его единством: «Цвет его речи и качество слога повсюду одни и те же, а изменения стиля разнообразны и, можно сказать, искусны... Симеон, — продолжает Пселл, — не предметы меняет ради искусства слова, но использует соответствующий стиль в зависимости от предметов и лиц, о которых ведет речь» [16 (I), с. 103.24].

Та же диалектическая двойственность (многообразие и единство) встречается и в оценке стиля Григория Назианзина, который, будучи в своих сочинениях «многообразен», «похож на самого себя на протяжении речи и вновь непохож» (15, с. 60.442).^{14*}

Оба названных теоретических постулата Пселла в первую очередь относятся к области стиля. В то же время эти два требования (наименее нормативные и догматические по существу) явно переходят границы формальных стилистических предписаний и (во всяком случае по новым представлениям) вторгаются в круг понятий, скорее относящихся к сфере поэтики, нежели риторики.

Помимо стилистических критериев, о которых главным образом шла речь до сих пор, позднеантичная риторическая теория, как

¹⁴ В другом случае Пселл с осуждением отзывается о риториках, речи которых разностильны и непохожи на самих себя [1 (I), с. 149.29 и сл.].

* <Представления Пселла, согласно которым стиль и язык произведения должен определяться конкретными обстоятельствами, подробно разбираются У. Крискуоло (U. Criscuolo, 1982). Итальянский исследователь показывает, как этот принцип осуществляется самим Пселлом. Замечания У. Крискуоло в целом совпадают с моими наблюдениями.>

известно, знала так называемые материальные критерии, т. е. имеющие отношение к отбору и расположению самого материала произведения. Наиболее четкое противопоставление двух принципов оценки (*κραυματικὸς τόλος*, *λεκτικὸς τόλος*) встречается у Дионисия Галикарнасского [41, с. 240.20 и сл.; 225, с. 2 и сл.]. Теория «отбора» (по античной терминологии «нахождения» — *inventio* — *εὕρεσις*) компилятивно во всех подробностях излагается Гермогеном в книге *Περὶ εὕρεσεως* [43, с. 93 и сл.].

Этому разделу риторической «технэ» Пселл не посвящает специального трактата, но самой проблемы, интересующей его прежде всего в прикладном своем ракурсе, касается часто, больше же всего в «Хронографии». В первую очередь писателя заботят жанровые различия между историей и энкомием, принципы отбора и организации материала в произведениях этих видов: именно жанровыми различиями пытается он объяснить совершенно несхожие изображения одних и тех же предметов в «Хронографии» и речах.

Пселл неоднократно настаивает на строгом различии жанров истории и энкомия. «В мои намерения входит сейчас не писать энкомий, а создавать истинную историю»; «Поскольку я пишу не энкомий, а истинную историю...»; «Если бы я решил создавать энкомий, а не истинную историю...» [20 (I), с. 119; 20 (II), с. 146, 149] — подобными замечаниями пестрит текст «Хронографии».

Однако наиболее подробное противопоставление обоих жанров содержится в биографии Константина Мономаха. «Как же я преступлю законы истории и буду следовать законам энкомия, — пишет Пселл, — и, как бы забывая о собственном замысле или пренебрегая искусством, не буду проводить грани между сюжетами и стану сводить к единой цели то, чье назначение различно» [20 (I), с. 129.17 и сл.]. Объясняя далее, почему он писал раньше энкомии в честь Константина, и оправдывая льстивость своих прежних панегириков, Пселл раскрывает специфические особенности метода энкомиаста. Константину свойственны как хорошие, так и дурные качества. Однако, создавая энкомии, Пселл «отбрасывает дурное, выбирает только хорошие свойства, соединяет их в своем порядке (*κατὰ τὴν οἰκείαν τάξιν*), склеивает их и тклет славословия из одних добродетелей». И дальше: «Пишущий похвалу обычно опускает все дурное в своем герое и плетет похвалу только из его достоинств, а если плохое преобладает, то оратору довольно и одного случая, когда этот человек вел себя похвально. Порой же он пишет с таким

софистическим искусством, что и дурное превращает в источник славословий. Напротив, пишущий историю — судья нелюбимый и беспристрастный, он не склоняется ни в ту, ни в другую сторону и все меряет равной мерой, не изощряется в описаниях дурного или хорошего, но повествует о событиях просто и без затей» [20 (II), с. 50.19 и сл.].

Приведенные рассуждения имеют определенный интерес для характеристики представлений о литературных жанрах и нуждаются в комментариях.

Главное различие между обоими жанрами Пселл видит в различии «целей» истории и энкомия. Как известно, значительная часть литературных произведений в Византии имела прикладное значение, и естественно поэтому, что разграничение жанров определялось внелитературными критериями. Главными оказывались не художественные признаки, а назначение сочинения: восхваление — для энкомия, объективное изложение событий — для истории.¹⁵ Однако различием целей определяется и различие применяемых литературных средств. Смещение жанров, по Пселлу, означает не только отход от собственных замыслов, но и пренебрежение искусством. В отличие от историка, энкомиаст пишет «софистически», он выбирает лишь добродетели, которые соединяет «в своем порядке». Последнее замечание особенно интересно. Переводчики «Хронографии» понимали выражение *katà tήν oikeíav táçiv* в значении «в надлежащем порядке» (*Dans l'ordre convenable* — Рено; *putting it in proper order* — Сьютер). * Наш перевод «свой», «собственный» (т. е. привнесенный автором) передает основное значение прилагательного *οικείος* и выражает смысл высказывания писателя. Иными словами, «панегирист из положительных качеств своего героя создает

¹⁵ Ср. наблюдения Д. С. Лихачева над системой литературных жанров Древней Руси: «Литературные жанры Древней Руси имеют очень существенные отличия от жанров Нового времени: их существование в гораздо большей степени, чем в Новое время, обусловлено их применением к практической жизни. Они возникают не только как разновидности литературного творчества, но и как определенные явления древнерусского жизненного уклада, обихода, быта в самом широком смысле слова». И дальше: «...жанры различаются по тому, для чего они предназначены» [86, с. 48 и сл.].

* <Также и в итальянском переводе: *in appropriato ordine* (Psello Michele, 1984, I, p. 273.)>

некий «каталог добродетелей», изложенных в порядке, определяемом не свойствами образа, а авторской волей.

На основании приведенных рассуждений можно было бы предположить, что Пселл категорически отрицает всякое взаимопроникновение жанров. Но на деле происходит обратное. «Я поставил себе цель характеризовать этого мужа, а не прославлять его, — пишет Пселл в одном из сочинений, — но не следует удивляться, если в этой характеристике будут и приметы похвалы, ведь эти сочинения близки друг другу и часто переплетаются между собой» [16 (I), с. 55.3 и сл.]. В «Похвальном слове Константину Мономаху» Пселл просит императора простить его, если в сочинении не окажется ничего возвышенного: «Принявшись за историю, я придам ей соответствующий характер, но в конце для похвалы прибавлю и нечто прекрасное и привлекательное по виду». Таким образом, Пселл прямо говорит о возможности соединения признаков разных жанров в пределах одного произведения. Эта возможность, допущение которой на первый взгляд противоречит воззрениям писателя,¹⁶ на самом деле вполне соответствует его общим теоретико-литературным представлениям, в особенности касающимся проблем стиля. Как можно было убедиться, только смешение различных «идей» создает, по Пселлу, «идеальный стиль» ритора.

Другой раздел *τόπος τραυτικός* — теория расположения материала в ораторской речи, ставшая в свое время предметом холодного систематизаторства риторов Менандра (III в.) и Афтония (IV–V вв.).¹⁷

Античность, как и Средние века, строго говоря, не знала современного термина «композиция». Употреблявшиеся обычно *τάξις* и *οἰκονομία* означают простое чередование частей, а не тот сложный и большой комплекс понятий, который связывается ныне с этим словом. Современные исследователи не раз высказывали удивление по поводу отсутствия у греков уже послеклассической поры ощущения

¹⁶ Такое же противоречие наблюдается и в античных литературных теориях: строгое разграничение и в то же время допущение смешения жанров [291, с. 4 и сл.].

¹⁷ Пселл ни разу не упоминает Афтония, равно как и Менандра, по имени, может быть, он не знаком с их сочинениями, хотя, конечно, прекрасно знает излагаемые ими положения.

пропорции, соразмерности и цельности в построении произведения [283, с. 1 и сл.]. Тем не менее знаменитое требование Аристотеля о соблюдении обоозримого объема и соответствии частей произведения целому (*ἔν καὶ ὅλον*) не было окончательно забыто византийцами. Уже Григорий Назианзин, которому Пселл во многих отношениях следовал, заботится о соблюдении «соразмерности слова» (PG. t. 35, col. 812.15). За полтора столетия до Пселла Арефа порицает речь одного из своих современников за отсутствие в ней *τάξις* и *μέτρον*, уподобляя речь груде драгоценных камней, собранных без всякого порядка [37 (I), с. 268.25]. За соблюдение «меры» высказывается и современник Пселла Иоанн Мавропод. В стихотворении, обращенном к неудачливым стихотворцам [46, № 34, с. 19], он порицает их не только за несоблюдение стихотворного ритма, но и за пренебрежение «мерой» в более общем значении. «Мера» для него — *λὴν τὸ σιμμέτρος ἔχον*. В другом случае [46, с. 114.11 и сл.] Мавропод выражает опасение, как бы он, затягивая речь, не нарушил (точнее, «не осквернил») ее «меру».

Пселлу, напротив, представления подобного рода кажутся чужды вовсе. Оценивая построение речей «образцового» христианского оратора Григория Назианзина, Пселл пишет: «Иногда, если есть необходимость чем-то предварить речь, он вставляет в нее несколько предисловий, иногда удовлетворяется одним, иногда сразу начинается с главных выводов, но затем останавливается и возвращается к началу. Связав все темы в один узел, он обрабатывает их по своему желанию, формируя и преобразуя наподобие податливого воска, которому можно пальцами придать любую форму. Изобретенным им самим искусством он расчленяет речь, составляет и распускает ее...» [15, с. 57.352 и сл.]. В данном случае энтузиазм писателя вызывает софистическое умение «перекручивать» речь, придавать ей по желанию любой вид и форму. Та же мысль, уже в приложении к самому себе, высказана в одном из неопубликованных произведений, где Пселл защищает право философа увеличивать или сокращать свое сочинение, не сообразуясь ни с какими внешними ограничениями [312, с. 15].

Любопытно, что в других отношениях Пселл (во всяком случае на словах) разделяет античный идеал прекрасного как гармонии, соразмерности и пропорциональности частей. На этих принципах строится у Пселла «идеальный» внешний портрет героя (см. ниже, с. 477). Те же идеалы выражает Пселл при оценке архитектурных

сооружений.¹⁸ Однако в сфере литературы идеалы писателя приближаются к средневековым эстетическим нормам с их тяготением к диспропорциональному и неуравновешенному. Именно это, возможно, и привело на практике к появлению у Пселла речей-гигантов, речей, в которых одни части непропорционально растянуты, а другие до предела сокращены или вовсе опущены, речей, в которых объединяются совершенно несовместимые по стилю и содержанию разделы (см. ниже, с. 386 и сл.).

Сказанное, однако, не означает, что Пселлу вовсе чужда эстетика композиции. В одном случае писатель с большим и не традиционным мастерством и пониманием оценивает композицию романа Гелиодора. «Произведение это, — пишет Пселл, — построено по законам искусства Исократа и Демосфена. Его цель, возвышаясь, видна издали, и все, ей противоречащее, обращается к ней. Тому, кто впервые приступил к чтению, многое кажется лишним, но, читая дальше, он начинает восхищаться строем этого произведения. Само начало произведения напоминает свернувшихся змей, которые спрятали в кольцо голову и вытянули остальное тело. И в этой книге вступление к рассказу находится внутри, а середина становится как бы началом» [13, с. СХ.1 и сл.]. Внешняя беспорядочность композиции противопоставляется здесь ее внутренней целесообразности, а необычность построения романа передается сравнением со змеей.¹⁹ Разговор об *οίκονομία* Пселл продолжает и в разделе об Ахилле Татии, отмечая, что его роман не имеет отступлений и действие произведения развивается в хронологической последовательности (с. СХIII.12).

Приведенное суждение — редкое и тем более ценное исключение в системе византийских литературно-эстетических оценок: достоинства композиции определяются не внешними признаками, а по внутренней целесообразности.

Последняя из крупных проблем, поставить которую можно на материале литературно-теоретических сочинений Пселла, проблема воздействия литературных (риторических) сочинений на слушателя или читателя.

¹⁸ В энкомии Лихуду Пселл пишет, например, что храм, воздвигнутый последним, можно было бы хвалить за «соразмерность и гармоничность, за совершенную уравновешенность колонн» [1 (IV), с. 415.24–26].

¹⁹ В предисловии А. Егунова в кв. «Гелиодор. Эфиопика» [74, с. 27] эта оценка романа приписана Фотию.

Как и следовало бы ожидать, классическое требование античной риторической теории — «убедительность» речи — присутствует и у Пселла. Незвестный корреспондент, просивший писателя оценить ораторское искусство Отцов церкви, упоминает в числе критериев и «убедительность» [22, с. 124.20]. Тот же термин встречается и в энокмии Симеону Метафрасту, который, оказываясь, объединив в себе философа и ритора, философствовал «с убедительностью» [16 (I), с. 96.17].²⁰ Хотя эти примеры весьма многочисленны, тем не менее нельзя не заметить, что «убедительность» уступает у Пселла место эстетическому воздействию на читателя. Уже в самом начале речи о Григории Назианзине Пселл пишет: «Я часто беру в руки и читаю его (т. е. сочинения Григория. — Я. Л.), во-первых, ради философии, во-вторых, ради духовного наставления, и тогда несказанная красота и прелесть переполняют меня. И я нередко оставляю то, о чем заботился, и, отказавшись от смысла богословия, вкушаю наслаждение от цветника слов и отдаюсь ощущениям» [15, с. 49.46 и сл.]. В том же сочинении «невыразимые красоты и прелести» перечисляются среди достоинств Григория на втором месте после его «удивительных мыслей» (с. 57.346). Понятие *χάρις* (прелесть) и производные от него почти непременно встречаются для характеристики стиля авторов, удостоиваемых похвалы писателя. Искусство Константина Мономаха приятно, красноречиво и изящно украшено, слова его речей радостные и приятные [1 (V), с. 107.3 и сл.]. Никто не может превзойти в «прелести» стиль Симеона Метафраста [16 (I), с. 104.18]. Красота слога Гелиодора соединяется с прелестью, а прекрасное со «сладостью» [13, с. СХI.26 и сл.] и т. д. Иногда вместо *χάρις* появляются аналогичные эпитеты, *ὑλκός* и производные от него.

Эстетическое воздействие на слушателя, приятность и «сладость» стиля — одно из основных требований античной риторики, перешедшее к ее византийской наследнице, как об этом свидетельствует хотя бы «Библиотека Фотия».²¹ У Дионисия Галикарнасского,

²⁰ «Знаменитое античное «смешение приятного с полезным» тоже встречается однажды у Пселла в речи к ученикам: «Иной миф, — считает писатель, — несет с приятным и полезное» (Psellus Michael, 1985, p. 92. 140–141)».

²¹ *χάρις*, *ἡδός*, *κόλλος* — наиболее часто встречающиеся понятия и определения в стилистической критике Фотия [см. 261, с. 96].

первоисточника многих воззрений Пселла, имеется любопытный пассаж (почти без изменений заимствованный Пселлом) (Дионисий — 41 (II), с. 36.10—37.17; Пселл — 57 (V), с. 599 и сл.), где античный ритор пытается классифицировать эстетические свойства стиля. Оратор и поэт (обращаем внимание на это сочетание; речь идет об эстетическом воздействии на слушателя или читателя) должны добиться двух целей: сладостности (ἡδονή) и прекрасного (καλόν). Оба понятия отнюдь не тождественны. Произведение, его стиль или элементы стиля могут быть ἡδύς, но не καλός, и наоборот. При этом под ἡδονή Дионисий и Пселл предлагают ἔρα, χάρις, εὐστομία, γλυκύτης, λίβανον, под καλόν: μεγαλοπρέπεια, βάρος, ὄγκος, σεμνολογία, μέγεθος ἀξίωμα. Хотя в реальном словоупотреблении Пселл, как, впрочем, и Дионисий, нередко путает оба понятия, различие между тем и другим пропускает достаточно отчетливо: ἡδονή — «красота», «сладость», дарующая непосредственное наслаждение; καλόν включающее в себя такие категории, как «величие», «торжественность», «достоинство», — прекрасное в более возвышенном смысле слова. Противопоставление двух видов красоты встречается у Пселла в ряде других случаев и наиболее явно — в трактате «О стиле некоторых сочинений», где наставник юности поучает своих учеников. Тех, кто читает античные романы, «исполненные сладости и харит», равно как и сочинения Филострата и Лукиана, Пселл сравнивает с людьми, начинающими украшать здание прежде, чем его построить. «Видимыми прелестями» и прекрасным цветником слов можно удовлетворить слушателя «попроще». Сочинения более «солидных» авторов, к числу которых относятся, например, Демосфен, Исократ, Аристид, Фукидид, должны обладать многими свойствами, а отнюдь не только внешней прелестью. Сам Пселл, дабы слог его усвоил «прелесть», обратился к произведениям, «исполненным харит», только после того, как прочел более серьезные сочинения [22, с. 48 и сл.]. Так рассуждает Пселл — ипат философов, наставляющий молодежь. Тот же Пселл, отправляющий письмо своему бывшему ученику и многолетнему другу, Константину Кируларикю, думает иначе. Не «суровые» Демосфен и Аристид, а «сладостный» Филострат пленяет его слух [1 (V), с. 329.20 и сл.] (см. выше, с. 270). Противоречие, столь обычное для взглядов Пселла, объясняется в данном случае разными позициями высказывающего суждения автора: предпочитать внешние прелести может позволить себе частный корреспондент, но не ипат философов.

Как бы то ни было, Пселл не только признает эстетическое воздействие, но в определенном контексте склонен даже считать его главным свойством литературного произведения.

Эстетическое наслаждение, о котором говорит Пселл, понимается им вполне в русле позднеантичной эстетической теории: это наслаждение не от произведения в целом, а от отдельных его элементов, от словесного оформления, выбора, сочетания и употребления слов, равно как фигур, ритма и периодов речи: ²² τρυφᾶν ἐν λόγῳ («наслаждение словами») — выражение самого Пселла [16 (II), с. 212.24] — было эстетическим девизом кружка константинопольских интеллектуалов, группировавшихся вокруг Пселла. «Слово», расцениваемое как нечто самостоятельное, самоценное, получает почти символическое значение в переписке этих людей, каждый из которых умоляет своих корреспондентов посылать ему все новые и новые «слова» для «услаждения слуха». Иными словами, дробность эстетического восприятия, характерная уже для поздней античности, достигает у Пселла своего апогея.

Почти каждый тезис, устанавливаемый в отношении мировоззрения столь противоречивой натуры, как Пселл, тут же нуждается в ограничении и корректировке. Так происходит и в данном случае. Литературная эстетика Пселла — не только «эстетика звука и ритма». В литературно-критических сочинениях византийского писателя можно найти оценки, относящиеся не к словесным элементам, а к самому содержанию и образности произведений. В эякомии Симеону Метафрасту Пселл пишет: «Метафраст радуется слух, когда его повествование поднимается в горы, спускается в пещеры, усаживает подвижника под сосной или под каким иным деревом, дает ему лицу от растений и воду из источников. Метафраст украшает рассказы словами, цветущими красотой, расцветивает их фигурами, и читатель как бы глазами видит все, что происходит» [16 (I), с. 105.1 и сл.]. Эта способность заставлять читателя или слушателя наглядно представлять себе события, о которой говорил еще Аристотель в «Риторике», приписывается Пселлом (явно не без оснований) помимо Метафраста также и Еврипиду:

²² Ср. у Болдуина: «Из-за своего рода интеллектуальной близорукости они (греки позднеантичного периода. — Я. Л.) ограничивают поле своего зрения параграфом, периодом, даже словом. Их эстетическое чувство, так сказать, фрагментарно» [132, с. 20].

последний нередко вызывал слезы у зрителей, которым казалось, что то, о чем говорится в трагедии, как бы происходит на самом деле [4, с. 19.37 и сл.]. В некоторых случаях Пселл обращается к содержанию анализируемых произведений.²³ Тем не менее все они остаются исключениями, словно подтверждающими правило. Однако и исключения весьма знаменательны, они свидетельствуют о неутерянной способности Пселла к живому, «не формальному» восприятию литературы.

* * *

Каждая мировоззренческая система, как известно, может быть рассмотрена в двух аспектах: с точки зрения чистой истории идей и с точки зрения ее функционального значения в определенную эпоху. Этот последний аспект пока почти не затрагивался нами. Как соотносились литературно-эстетические взгляды Пселла с воззрениями других ученых людей его времени? Одно из писем писателя содержит сообщение о реальном конфликте, который произошел между ним и каким-то (неизвестным нам) учителем риторики. Пселл сообщает Аристину [16 (II), № 224]²⁴ о его сыне, что тот «подвергался некоей новой напасти. Ведь большое число учеников, считая, что не могут постичь мою науку, ушли к кормящим молоком (*γαλακτοτροφούτες*). У них они пребывают постоянно и занимаются детскими забавами. С ними по каким-то причинам оказался и он (сын Аристина. — Я. Л.). Я преподаю старую риторику, которую, как мне известно, не отвергал и Платон, политическую и благородную, менее заботящуюся о внешней красоте. Они же возлюбили новую, а меня, который ее не признает, поносят, и не хотят слушать, если я что-нибудь говорю вопреки науке Гермогена. Ведь они хотят оттащить меня за нос от того, что тот создал, и заставить следовать за ними.²⁵ Но я не отступлюсь от своего дела

²³ Особенно много замечаний, касающихся содержания произведений, находим в сочинении об Ахилле Татии и Гелиодоре. Ср. также в энокмии Симеону Метафрасту [16 (I), с. 104.10 и сл.].

²⁴ Об этом Аристине см. выше, с. 264 сл.

²⁵ Нельзя не заметить противоречия между двумя последними фразами писателя. Ученики не хотят слушать, если Пселл говорит что-либо

и не стану соперничать с Платоном и Аристотелем, с этими двумя источниками, но с радостью выпью то, что от них перетекло к нам...» [16 (II), с. 267.9 и сл.]. Может быть, в настоящем письме речь идет о рядовом соперничестве риторических школ, сопровождавшемся переманиванием учеников, широко известном из истории византийского школьного дела [149, письма № 30, 36, 47, 51, 55, 59]. Вероятней, однако, что дело касается проблем более серьезных. К сожалению, письмо рождает больше вопросов, чем существует ответов, которые на них можно было бы дать. Порвавшие с Пселлом ученики уходят к неким «кормящим молоком», сторонникам «новой риторики». Исходя из этимологии γαλακτοτροφόντες (кормящие молоком,²⁶ т. е. детской пищей) и следующего затем замечания о том, что ученики у новых учителей занимаются «детскими забавами», можно предположить: эти новые наставники не признают серьезных занятий риторическим искусством, отказываются изучать гермогеновскую «технэ». Эту часть письма Пселла можно сопоставить с его речью, обращенной к нерадивым ученикам, осмеливающимся порицать учителя. На многих примерах и сравнениях писатель обосновывает там необходимость постигать основы искусства (Vatic. gr., 672, fol. 182^v–183*). Трудно

вопреки Гермогеновой науке (οὐκ ἀποδέχονται, εἰ τι παρὰ <τὴν> τοῦ Ἐρμογένους τέχνην φθέγγονται), таким образом Пселл — враг Гермогена. В то же время ученики хотят «оттащить его за нос от того, что соиздал Гермоген» (βοῦλοντι γάρ με ἔλκεσθαι τῆς ρινὸς ἀφ' ὧν οὗτος ἐποίησεν), и получается, что Пселл — почитатель Гермогена. В данном случае можно предположить порчу текста, причем скорее всего в первой из приведенных фраз, где уже издатели текста ощущали необходимость восстановления артикля τὴν. Выпад против Гермогена явно противоречил бы воззрениям писателя. <Иначе толкует последнюю фразу Пселла А. Дейк, предлагающий вместо ἀφ' ὧν читать ὅφ' ὧν. Таким образом, предложение должно означать: «ученики желают, чтобы учение Гермогена водило меня за нос» (А. Дуск, 1986, р. 32).>

Не заметил противоречия в тексте и неточно передал слова Пселла Ф. Фукс [180, с. 32 и сл.]. О. Шиссель, ссылаясь на Фукса, прямо говорит о враждебности Пселла Гермогену [285, с. 273]. Это уже противоречит истине.

²⁶ Ср. пассаж из опубликованной в 1973 г. эпитафии Афанасию. Последний, «помня о молоке», не пренебрегал более почтенной пищей (речь идет об обучении Афанасия). И далее: риторика, заявляет Пселл, породила, вспеленала и вскормила его молоком (γαλακτοτροφήσασα) [313, с. 278.59 и сл.].

* <Речь ныне издана: Psellus Michael, 1985, р. 88–93>.

сказать, что имеет в виду Пселл под «новой риторикой», сторонниками которой оказываются его неверные ученики. Ясно только, что эта «новая риторика» противопоставляется античной, причем под последней помимо правил Гермогена понимаются принципы Платона, Аристотеля и, прибавим от себя, Демосфена. Это риторика, противоположная «политическому» и «благородному», «чуждающемуся внешней красоты» классическому красноречию, сторонником которого объявляет себя писатель.²⁷ Выраженная здесь точка зрения также находит аналогии в других сочинениях Пселла, который неоднократно и с полемическим задором проповедует триединый, воплощенный в одном лице, идеал ратора, философа и государственного деятеля.²⁸

Итак, в цитированном письме Пселл представляет себя в виде поборника классических принципов античной риторики, защищающего их от нападков.

Трудно представить себе что-либо более несовместимое между собой, нежели фигура византийского придворного витии и философа и образ оратора, гражданина демократического полиса.

Претензии Пселла, который, естественно, сам представляется себе в виде такого идеального ратора, в данном случае не более как маскарад в античных костюмах, хотя «выбор костюма» имеет немалое значение. Уже с первых веков существования христианской Византии античность играла огромную роль в ее культуре, однако почти каждой новой эпохе приходилось вновь и вновь оправдывать и защищать свое право обращения к языческой древности. Отцы церкви, идеальные, с точки зрения Пселла, христианские писатели, сами выученики языческих риторических школ, составляя речи, отвечающие строжайшим правилам классической риторики, в теории весьма двойственно и непоследовательно относились к возможности античных заимствований для христианского писателя [см. 249, с. 242 и сл.; 268]. Пселл в этом отношении идет много дальше своих учителей. Он не только практически пользуется правилами языческой риторики, но и сам рядится в тогу античного

²⁷ По мнению Фукса [180, с. 32 и сл.], Пселл выступает против тенденций, которые в дальнейшем привели к возникновению напыщенной риторики комниновского времени.

²⁸ Защите этого идеала посвящено два больших полемических сочинения Пселла [16 (I), с. 361 и сл.; 7].

философа-ритора. Более того, Пселл, как уже отмечалось, использует самих Отцов церкви в качестве иллюстрации к правилам Гермодена, включая их, явно «помимо их воли», в систему античной риторики.

Дело, однако, не только в «античном костюме» Пселла, писатель и на практике в какой-то мере возрождает античный сенсуализм, расценивая литературное, как и вообще всякое словесное произведение в первую очередь в качестве объекта эстетического наслаждения. При этом Пселл распространяет эстетические оценки и на памятники христианской литературы. Так, писатель обращает внимание своего ученика Михаила Дуки на «гармонию и прелесть» псалмов [16 (I), с. 372.8 и сл.]. Такая «эстетизация» литературы, в том числе и христианской, должна была привести писателя к конфликту с господствующей в Византии христианской эстетической системой, проповедующей искусство, устремленное к высшей идее, в конечном счете, к Богу, воспринимающей все внешнее как отблеск этой идеи. Эта спиритуалистическая система не только хорошо известна Пселлу, писатель (и в этом уже ставший обычным парадокс) и сам, в принципе, как добрый христианин, ее исповедует. Учителя Никиту Пселл хвалит, например, за то, что тот в отличие от многих «не убажрал свой слух размером (гомеровских поэм. — Я. Л.) и не отдавал предпочтение внешнему, но искал внутреннюю красоту, разумом и мысленным взором проникал за внешнюю оболочку и доходил до самого сокровенного» [1 (V), с. 92.21 и сл.]. Более того, Пселл в лучших средневековых традициях занимается аллегорическим истолкованием гомеровских поэм и мифологии, причем каждый античный образ становится у него символом какой-либо идеи, чаще всего — нравственного порядка [22, с. 52 и сл.; 5, с. 424 и сл.].

И тем не менее, признавая — во всяком случае на словах — доминирующую эстетическую систему, Пселл остается в осторожной оппозиции к ней. Иллюстрацией этого тезиса могло бы послужить сопоставление воззрений Пселла и Иоанна Мавропода. Друзья и единомышленники в главном, они, особенно в последний период их отношений, во многом расходятся. Так же, как и Пселл, Мавропод приветствует, более того, теоретически и богословски обосновывает введение античного красноречия в систему христианских ценностей. Когда для людей, пишет евхейтский митрополит в речи о трех иерархах, стало мало евангельской простоты и они

забыли Бога, Господь послал им трех иерархов (Василия Велико-го, Григория Богослова и Иоанна Хрисостома), которые спасли людей, одних — красотой своего учения, других — блеском своих речей. Однако в той же речи Мавропод пишет, обращаясь к своему оппоненту: «...О мудрец во плоти, кичащийся словесным искусством и науками с их надмением и высокомерием, хвастающий поэтической велеречивостью с ее мерзкими богами и рассказами, недостойными целомудренных ушей, разве что только не распростершийся ниц перед силой красноречия, преклоняющийся перед его чрезмерной изощренностью и ложью, цель которых обман, очаровывающий слух... видишь моих философов и риториков, а если хочешь, то и поэтов, но без лжи и выдумок...».

Далее Мавропод увещевает также тех, «кто восхищается мифами» [46, с. 116.6 и сл.]. Мы не знаем времени произнесения речи, и у нас нет оснований для какой бы то ни было идентификации оппонента Мавропода (возможно, обращение к нему вообще риторический прием), тем не менее нельзя отделаться от ощущения, что на место этого неназванного оппонента легко можно было бы подставить имя Пселла. Именно такой должна была представляться Мавроподу позиция писателя. Отметим, что и выпад против «восхищающихся мифами» вполне можно отнести к Пселлу, поскольку именно он настоятельно рекомендовал ученикам использовать в речах мифологические примеры (Vatic. gr., 672, fol. 183).*

Конечно, подстановка имени Пселла в данном случае произвольна; она была бы и вовсе недопустима, если бы до наших дней не дошло письмо Пселла к Мавроподу с изложением позиции писателя:²⁹ «Ты один, — пишет Пселл, — из всех или в числе немногих презрел природу. Однако ты запятнан лишь в той степени, в какой восхищаешься гармонией слов и их удачным сочетанием. Ты делаешь это, чтобы перейти к отвлеченной идее и мыслимой гармонии. Материальная красота только имитирует истину, на самом же деле она является не тем, за что ее принимает тот, кто на нее смотрит, а чем-то противоположным. Глаз, способный воспринимать только видимость, нечувствителен к внутреннему уродству. Для ума же нет

* <Psellus Michael, 1985, с. 92.137 сл.>

²⁹ Письмо это написано в период, когда Мавропод удалился от дел в монастырь и, видимо, на старости лет все более склонялся к аскетической жизни.

ничего потаенного. Поэтому только умственный человек возлюбил бестелесную красоту и повис на ее золотой цепи. Поскольку для тебя важна сущность, мне было бы странно, если бы ты пленился моими речами, в которых мало красоты (имеется в виду «внутренняя красота». — Я. Л.). Но так как твой ум страдает из-за вмешательства тела, оставь ее («внутреннюю красоту». — Я. Л.) и как бы вкуси отдохновения на лугу моих писем, потому что, как ты говоришь, мой соловей лепечет песню³⁰ и оглашает рощу, песня же дойдет до тебя в той мере, в какой ты откроешь ей свои уши». В этом письме — квинтэссенция как всегда двойственных и неоднозначных взглядов Пселла. Полное признание спиритуалистической средневековой христианской эстетики и в то же время внутреннее отстранение от нее. Во всем послании легкий иронический подтекст, писатель предоставляет Мавроподу возможность стремиться к высшей «сокровенной» красоте, в то время как его задача — «услаждение слуха».

Нельзя не провести параллели между такой позицией Пселла и его этическими взглядами. Пселл, говорили мы, нередко выражает свое восхищение аскетическими идеалами, но в то же время для себя резервирует область вполне земной жизни.

Справедливости ради надо также отметить, что среди современников Пселла были, видимо, интеллектуалы, занимавшие еще более радикальную позицию, чем наш философ. С ними Пселл полемизирует в энокмии Симеону Метафрасту. Они — «прибегающие в речи к софистическим ухищрениям», «ревнители наук» — не одобряют сочинения Метафраста за недостаток в них стилистических достоинств и философских мыслей. Эти сверхмудрецы желают, чтобы все писалось напоказ, а не для пользы и исправления нравов [16 (I), с. 102.1 и сл.]. Пселл, таким образом, оказывается посередине между гонителями светской литературы и «сверхмудрецами», для которых Метафраст оказался чрезмерно нравоучительным. Любопытно, однако, что Пселл не подвергает сомнению правомерность самих претензий хулителей автора житий, а, напротив, утверждает, что писатель удовлетворяет этим претензиям, хотя стилистические красоты у него встречаются не постоянно, а лишь в той мере, в какой это соответствует характеру его произведений.

³⁰ Непереводаемая игра слов: ὑποψελλίζει τὸ μέλος — Пселл намекает на свое фамильное имя.

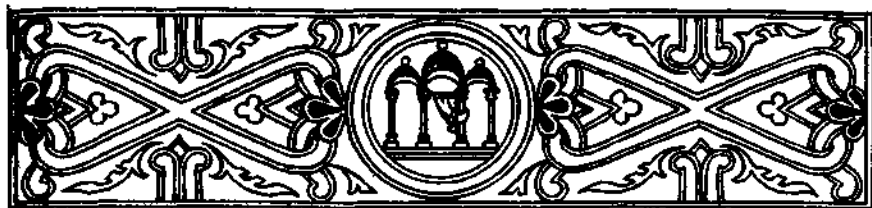
Как бы ни были эклектичны и противоречивы литературно-теоретические и эстетические взгляды Пселла, в них можно обнаружить определенную, хотя и явно «неуравновешенную» систему. В целом это христианизированная позднеантичная эстетика с определенными чертами, специфичными для средневекового сознания. Эту систему никоим образом нельзя считать доминирующей для византийского художественного мышления. В определенном смысле это — боковая ветвь византийской эстетики.

Одна тенденция в литературно-эстетических воззрениях Пселла представляется нам неординарной и заслуживает особого внимания, хотя и существует больше в декларациях, нежели в практическом воплощении: видеть в стиле оцениваемого произведения и в нем самом явление самобытное, оценивать то и другое не только по традиционным критериям, но и «по собственной их мере».

Как эта тенденция соотносится с литературным творчеством самого Пселла, должны показать последующие главы книги.³¹



³¹ В опубликованной в 1975 г. статье Т. Миллер подробно разбирается «мотив оригинальности писателя» в применении к сочинению Пселла — «Слово для вестарха Пофоса». «Из каких побуждений Пселл прославляет самобытность Григория (Назианзина. — Я. Л.) и ради чего делает это?» — задается вопросом автор работы [99, с. 153]. Нам представляется, что решение этой проблемы нельзя найти, оставаясь в круге литературно-эстетических и риторических идей писателя. Его нужно искать во всей специфике как личности, так и творчества Пселла.



Глава пятая

«ТОМИТЕЛЬНАЯ» РИТОРИКА

Анализ литературного наследия Михаила Пселла мы начинаем с его риторических сочинений, ведь именно риторика была основной областью профессиональных занятий писателя. Если лучшее свое сочинение, «Хронографию», Пселл создал «случайно», по совету, то риторические произведения составлялись им по собственному побуждению на протяжении всей жизни. Тем не менее речи Пселла и поныне не систематизированы, как правило, не датированы, а некоторые даже не изданы.¹ По-настоящему серьезное изучение пселловской риторики возможно, конечно, только после издания всего дошедшего до нас материала, его текстологического, филологического и исторического обследования. Мы, однако, решаемся подвергнуть речи писателя литературоведческому анализу, учитывая специфику риторического жанра — жанра массовой продукции и «больших тиражей», в котором однородные произведения появлялись десятками, и каждое из них было репрезентативно для целой группы однотипных сочинений.²

Вряд ли какой-нибудь другой жанр в истории литературы вызывал столько сарказма и иронии по своему адресу, сколько византийское красноречие. Самое слово «риторика» давно и, по-видимому, надолго

¹ Краткая характеристика и предположительная датировка учтенных нами риторических сочинений дается в приложении, см. с. 498 и сл.

* <За истекшие 20 лет ситуация с риторическими сочинениями Пселла в определенной мере изменилась. Многие произведения, остававшиеся в рукописи, ныне уже опубликованы. Переизданы с учетом чтения нескольких рукописей ряд речей, изданных прежде только по одному списку. В большинстве случаев новые публикации отмечены нами в моих добавлениях к списку риторических сочинений.>

приобрело второе «техническое» и уже зафиксированное словарями значение бессодержательной, пустой болтовни. Система эстетических ценностей современной литературы прямо противоположна категориям византийской риторики, и ныне очень трудно представить себе человека, испытывающего положительные эмоции от чтения памятников среднегреческой ораторской прозы.

Вместе с тем в последнее десятилетие, возможно, как реакция на долгое «неприятие», наметился и иной подход в оценке византийского красноречия. «Как могло случиться, — задается вопросом Хунгер, — что такой интеллектуальный народ, как средневековые греки, обладавшие ярко выраженными эстетическими критериями, в течение целого тысячелетия давали себя водить за нос мастерам пустозвонства и профессиональным риторам?» [198, с. 7]. Х.-Г. Бек, «отводя вину» от византийцев, справедливо отмечает, что все основные свойства риторики, столь раздражающие современного читателя, не были изобретением средневековых греков, а заимствовались ими у деятелей второй софистики. Объясняя и оправдывая более чем тысячелетнее развитие торжественного красноречия в Византии, немецкий ученый указывает на синтетический характер этого жанра, вобравшего в себя основные качества других, исчезнувших к тому времени родов литературы. Риторика, по Беку, как бы восполняла отсутствие иных жанров, давала византийцу ощутить недостающие эстетические эмоции [135, с. 97 и сл.; 139, с. 18 и сл.]. Еще более глубокое объяснение жизненности средневековой риторики пытается предложить Г. Ку-стас [231, с. 132–169], видящий в риторике средство удовлетворения потребностей византийской цивилизации и ассоциирующий ее даже со стилем жизни (way of life) образованных византийцев. В том же русле развивается и мысль Хунгера, который насчитывает пять аспектов (литературно-эстетический, исторический, этический, политический, социологический), обеспечивающих столь долгую жизнь этому жанру. Свою статью австрийский ученый заканчивает вопросом, однозначный ответ на который вряд ли в состоянии дать современная византистика: не являлась ли риторическая стилизация отражением социальной структуры общества? [198, с. 26].*

Как бы ни были приведенные здесь суждения далеки от аргументированной определенности, дальнейшее изучение византийской

* <Возродившийся интерес к риторике, наблюдавшийся уже в период написания книги, еще усилился за истекшее время как в русской, так

риторики должно, видимо, развиваться по намеченному ими направлению. Невозможно представить себе широчайшее распространение и многовековую историю этого жанра в виде праздных упражнений «мастеров пустозвонства», никак не обусловленных потребностями общественного и литературного развития. Одним из первых заслуживает такого подхода творчество Михаила Пселла.

Когда в XI в. Пселл обратился к эпидейктическому красноречию, история этого жанра насчитывала полторы тысячи лет. Успело пройти семь веков с тех пор, как воспринятая у язычества риторика получила права гражданства в христианской культуре. Христианские риторы IV в. не только заимствовали у своих античных учителей формальные правила построения речей, но и сохранили в какой-то мере их светское содержание и привнесли в риторику свойственные раннехристианской литературе теплоту чувств и искренность тона. Начавшийся в VII в. упадок византийской культуры² вместе с отступлением других светских или близких к ним жанров привел к почти полному исчезновению нецерковной риторики. Красноречие в те годы низведено было на роль «второй служанки» богословия, в то время как эпидейктические речи (энкомии, эпитафии и прочие сочинения «по случаю») хотя и произносились, но не издавались и, таким образом, не становились явлениями литературного ряда. Обычный предмет чтения византийцев той эпохи — не опирающиеся на античную традицию и изощренные эпидейктические речи, а благочестивые агиографические сочинения.

«Фотиевский ренессанс» немедленно оживляет светское красноречие. Уже кесарийский архиепископ Арефа, одно время официальный оратор императорского двора, произносит и издаёт несколько

и в зарубежной науке. Следует отметить, прежде всего, серию статей С. С. Аверинцева (опубликованы в: С. Аверинцев, 1996). Появилась даже — впрочем весьма поверхностная — книга о византийской риторике (G. Kennedy, 1980). Ряд работ, посвященных непосредственно риторике Михаила Пселла, принадлежит перу итальянских ученых — Р. Анастаси, Дж. Вергари и других.>

² Мы не станем здесь обсуждать аргументы сторонников и противников тезиса об упадке византийской культуры в VII–IX вв. Исчерпывающий материал по этому поводу собран в книге П. Лемерля [236]. Собранные Лемерлем факты неопровержимо свидетельствуют об упадке, они убеждают тем более, что сам французский ученый — противник этого тезиса.

целиком построенных на античных реминисценциях речей, стиль которых отличается типично византийской цветистостью, а форма выдержана в лучших школьных традициях [см., например, 37 (II), № 61, 62; 210, с. 12 и сл.]. Примерно в те же годы появляется большой и тоже изощренный по форме панегирик — эпитафия Василию I, написанная его сыном Львом VI [56], несколько позже — монодия малолетней Берте, сочиненная неизвестным ритором от имени ее супруга Романа [47], и анонимная речь по поводу мира с болгарами [34]. Засохшее было древо красноречия не только само начинает давать новые побеги; со свойственной ей агрессивностью риторика вновь проникает в издавна смежные с ней жанры эпистолографии и историографии и «разъедает» их изнутри,³ она оказывает большое влияние даже на прежде далекую от нее агиографию [см. 102, с. 265 и сл.]. Начавшиеся подъем и секуляризация византийской литературы X в. находят свое выражение прежде всего в возрождении и широкой экспансии эпидейктического красноречия. На гребне этой волны и появляются уже в середине XI в. многочисленные ораторские сочинения Михаила Пселла. Пселл не стоял у истоков этого литературного подъема, но его риторическое наследие, по количеству произведений и страниц намного превышающее все созданное до него в X-первой половине XI в., — само по себе эпоха в истории византийского красноречия.

* * *

Все 79 учтенных нами риторических сочинений Пселла относятся к хорошо известным и издавна культивировавшимся жанрам античной и византийской ораторской прозы. В этом смысле Пселл ничем не выделяется из длинного ряда своих предшественников и последователей, с унылым педантизмом еще и еще раз разрабатывающих устоявшиеся в литературной практике и зафиксированные

³ Письма этого периода постепенно теряют свои информативные функции, все более превращаясь в замысловатую риторическую игру, цель которой продемонстрировать образованность и изощренность автора [см. 218, с. 14 и сл.; 104, с. 205 и сл.]. Ряд исторических произведений по языку и даже композиции (*Vita Basilii*) приобретает откровенно риторический характер [см. 121].

в школьном *usus*'е формы. В то же время жанровый «ассортимент» Пселла-ритора великолепно отражает все аспекты его многообразной деятельности.

Результатом учительской карьеры писателя явились экфразы № 78, 79 (мы указываем номера по списку риторических сочинений Пселла, данному в приложении), энкомии заведомо ничтожным предметам (№ 68–71)⁴ и несколько речей, обращенных к ученикам. В целом сочинения, вышедшие из круга школьного преподавания, составляют 17% всех риторических произведений.

Деятельный и беспокойный Пселл постоянно оказывался в центре пересечения интересов различных общественных группировок, защищал себя и друзей от нападок, обвинял сам. Свидетельство деятельности такого рода — десять сохранившихся до наших дней апологий, защитительных и обвинительных речей (№ 2, 3, 6, 8–10, 21–23, 67) — 13% всей его риторической продукции.

Приближенный философ и доверенный секретарь императоров, Пселл составил от их имени четыре известных нам селентия (№ 16, 24, 38, 39). Можно предположить, что на самом деле их было много больше.

Остальные речи в подавляющем большинстве относятся к эпидейктическому красноречию, единственному из трех видов древней риторики, которому была уготована большая судьба в византийской словесности [см. 155, с. 192 и сл.] и который ближе других подходит к современному понятию художественной литературы. Среди относящихся к эпидейктическому жанру речей Пселла девять эпитафий, девять монодий, двадцать энкомиев и *προσφωνήσεις λόγου*, две так называемые прощальные речи (*συντακτῆριοι λόγοι*).⁵ Всего к эпидейктическому жанру (вместе с экфразами и «учебными» энкомиями) относится 65% речей писателя.

На этом фоне число образцов духовного красноречия, гомилий, кажется совсем ничтожно: их всего четыре (№ 74–77), чуть более 5%. Любопытно сравнить: к области церковной риторики у современника Пселла Мавропода относится 75%, у относительно недалекого

⁴ Оба типа этих риторических упражнений хорошо известны со времени второй софистики. Образцом для похвал насекомых Пселлу могла послужить знаменитая лукриановская «Похвала мухе».

⁵ В классификации риторических жанров следуем трактату теоретика III в. Менаандра [53 (III), с. 368 и сл.].

предшественника — Арефы — 65% риторических произведений. Светский характер красноречия Пселла получает, так сказать, «цифровое выражение».⁶

Почти все рассуждения о произведениях средневековых ораторов обычно начинаются с анализа их композиции. Ученые сопоставляют последовательность частей в речи того или иного писателя с хорошо зафиксированной еще в античности схемой и с удовлетворением констатируют их совпадение (значит, автор хорошо образован и строго следует традиции) или с сожалением отмечают отклонения. Такой метод прост, нагляден, дает конкретные результаты и, вместе с тем, вряд ли отличается от стиля мышления средневековых учителей риторики, старательно подгонявших словесные упражнения своих учеников под стародавние каноны и схемы.

Сам учитель риторики, Пселл отлично владеет всеми схемами, и в его небольших торжественных речах они ощущаются уже при простом чтении. Соблюдаются они и в главных, больших сочинениях писателя, хотя структура их иногда бывает затемнена громоздкими отступлениями и экскурсами. Для того чтобы традиционность композиции основных речей Пселла не вызвала сомнений, представим ее в виде таблицы. В крайней левой колонке дается последовательность частей ораторской речи по Афонию — наиболее скрупулезному из позднеантичных систематизаторов.⁷

⁶ Некоторые произведения Пселла находятся на грани светского и духовного красноречия (например, энкомия игумену Николаю, № 18). Таких сочинений, однако, немного, и они не меняют общей картины.

⁷ Схема «идеального» энкомия вычленена из трактата Афония (IV в.) в уже упомянутой книге Барджеса [155, с. 289]. Номера страниц и строчек даются по соответствующему изданию. Римские и арабские цифры обозначают условный номер раздела и подраздела по Афонию. *Ἀντιροπὴ* («воспитание») и *καὶδῆσι* («образование») не подразделяются. Обычный в эпитафиях *προοφώνησις* включен в эпилог: Афонию этот раздел (прямое обращение к покойному) специально не выделен. Снякрисис, предусмотренный схемой ратора, обычно встречается у Пселла в рудиментарном виде или включается в другие разделы.

Схема Афтония	Энкомий Лихуду	Эпитафия Ксифиллну	Энкомий Кяруларю	Энкомий Мавроподу	Энкомий матери
I προοίμιον	I с. 380- 390.12	I с. 421- 426.6	I с. 303- 305.5	I с. 142- 143.1	I с. 3-5.8
II, 2 γένος πατρίς	II, 2 с. 390.13- 15	II, 2 с. 424.7- 425.12	II, 2 с. 305.12- 18	II, 2 с. 143.21	
II, 3 γένος πρόγονος	II, 3 с. 390.16- 19		II, 3 с. 305.18- 22		
II, 4 γένος πατέρες	II, 4 с. 390.20- 23	II, 4 с. 425.13- 426.5	II, 4 с. 305.30- 307.28	II, 4 с. 143.22- 144.7	II, 4 с. 5.9- 6.4
III, 1 ἀνατροφή ἐπιτηδεύ- ματα	III, 1 с. 390.24- 391.11		III, 1 с. 308.11- 310.2	III с. 143.3- 153.12	III с. 6.5-8
III, 2 ἀνατροφή τέχνη	III, 2 с. 391.12- 394.18		III, 2 с. 340.3- 312.27		
III, 3 ἀνατροφή νόμος	III, 3 с. 394.19- 398.6	III, 3 с. 427.26- 429.22			
IV πράξεις	IV с. 398.7- 419.4	IV с. 429.23- 459.17	IV с. 312.28- 377.13	IV с. 153.13- 164.9	IV с. 9- 52.15
V ἐπίλογος	V с. 419.6- 421.12	V	V с. 387.13- 24	V с. 167.3- 20	V с. 61.6- 25

По традиционной схеме строятся и монодии Пселла, которые помимо общих с энкомиями и эпитафиями частей обладают также «плачем» (ἄρσις) или «утешительным словом» (παράκλητικὸς λόγος), иногда тем и другим. Вряд ли следует более подробно доказывать соблюдение Пселлом обычной структуры. Сам писатель неоднократно признает необходимость следования схеме, хотя однажды (весьма любопытный факт!) и объясняет ее уступкой вкусам публики [16 (I), с. 14.2 и сл.].

Иногда структурные элементы в речах переставляются или опускаются вовсе (это видно и из приведенной таблицы). Впрочем, данное обстоятельство не должно давать пищи для каких-либо обобщений: почти любая система для своего упрочения охотно допускает небольшие отступления от собственных канонов, и уже теоретики античной риторики не только мирились с отступлениями от правил, но и заранее их предполагали [155, с. 121 и сл.]. Наличие более или менее жесткой композиционной (и не только композиционной) схемы следует воспринимать как некую данность, хотя и не нейтральную, однако и не определяющую целиком художественной структуры эпидейктических речей.

Речи Пселла по объему различны. Самая маленькая, например, не занимает и двух страниц, а самая большая располагается на 83 страницах современного издания. Подобные речи-гиганты ни при устном произнесении, ни при чтении не могли восприниматься как единое художественное целое. На такое восприятие они, собственно, не были рассчитаны. Как уже говорилось, Пселл, который основное достоинство архитектурного ансамбля или человеческого тела видит в гармонии и соразмерности частей, решительно отказывается применять эти же критерии к литературному произведению. Еще более усугубляя позицию позднеантичных писателей и риториков, Пселл, кажется, делает все, чтобы нарушить аристотелевские «единство и цельность» своих произведений. Прежде всего в речах Пселла, в полном согласии с требованием риторической «целостности» (τοιότης), царит стилистический разнобой: спокойные историко-повествовательные рассказы сменяются экспрессивно-напряженными прославлениями или плачем.⁸

⁸ Примером такого стилистического разнобоя может служить эпитафия Кируларию. Выдержанная в целом в обычном приподнятом стиле, она включает в себя большие разделы с почти деловым историческим

В величине отдельных частей нет и подобия изометрии. Отдельные структурные элементы занимают от одной строчки до десятков страниц, ткань произведения разрывают огромные отступления и экскурсы. Если применить предложенное Платоном сравнение литературного произведения с человеческим телом, то некоторые речи Пселла можно было бы уподобить уродцам с огромными головами на тоненьких шейках и длинными телами на коротеньких ножках.

Однако наиболее разительным примером «несообразности» пселловских речей являются их жанрово-смысловые противоречия: два весьма выпяченных энкомия (№ 1 и 34) писатель считает возможным завершить просьбами о подачках, обращенными к императорам.⁹ Похвальное слово Мавроподу Пселл заканчивает длинным увещанием (*paraivēsis*, так оно и именуется в тексте) не покидать митрополичьей кафедры и не уходить в монастырь [I (V), с. 164.11 и сл.], увещанием, не имеющим, конечно, никакого отношения ни к содержанию, ни к жанру произведения. К «Похвальному слову матери» буквально приставлена речь, смыслом которой является неприятие писателем аскетических идеалов — идеалов, только что прославленных им в основной части произведения [I (IV), с. 52.15 и сл.]. И наконец, за восторженной эпитафией Иоанну Ксифилину следует страстное обличение его философии [I (IV), с. 459.18 и сл.].

Итак, речи Пселла, даже при соблюдении необходимого формального *τάξις* не могут быть названы внутренне организованными и композиционно цельными произведениями.

Присмотримся пристальней к некоторым из наиболее известных, больших и значительных ораторских сочинений Пселла. Начнем с энкомия Лихуду. Как видно из таблицы, эта речь — самый «стандартный» из всех панегириков, структура которого почти идеально соответствует схеме Афтония. После «введения» (I), рода (II) и «воспитания» (III) Пселл, как и положено, переходит к изложению центрального раздела — «деяний» (IV). Повествуя о деяниях героя, писатель фактически пользуется простейшим методом

повествованием, которые легко можно себе представить в составе пселловской «Хронографии» [см., например, I (IV), с. 313 и сл.].

⁹ М. Бахман и Ф. Дэльгер ошибочно считают автором такого «нововведения» Григория Антиоха (XII в.) [см. 180].

историко-биографического описания, перебиваемого прямыми характеристиками. Последние регулярно появляются, как только герой достигает некоей стабильной жизненной ситуации (в данном случае становится временщиком Мономаха, а затем патриархом). Чтобы подтвердить этот тезис, приведем краткую схему центральной части энкомия.

I. Воздариение Михаила V, царствование Константина IX Мономаха, возведение Лихуда в сан «первого министра» (с. 398.8–399.30).

II. Характеристика Лихуда — «первого министра» (с. 399. 31–404.17).

III. Отставка Лихуда, смерть Константина Мономаха, царствование Михаила VI Стратиготика, царствование Исаака Комнина, избрание Лихуда патриархом (с. 404.18–411.5).

IV. Характеристика Лихуда-патриарха (с. 411.6–414.8).

V. Болезнь, строительство монастыря, смерть, похороны (с. 414.9–419.5).

VI. Заключительная характеристика Лихуда (с. 419.6–419.28).

Пользуясь традиционным разделением энкомия на «хронологическую» и «эйдологическую» части, можно сосчитать, что первая занимает примерно 35%, последняя 65% текста.¹⁰

В этот расчет, однако, не входит еще один элемент энкомия, придающий произведению особый колорит, — автобиографические и мемуарного характера вставки. Вообще, авторская личность ощутимо присутствует в этом сочинении, то скрываясь за частоколом стандартных пышных восхвалений, то выступая в качестве наблюдателя, участника или комментатора событий. Уже на первых страницах энкомия, на месте, зарезервированном для описания красноречия героя, Пселл повествует о победоносных словесных схватках Лихуда с «двумя Иоаннами» (Ксифилином и Мавроподом), которые он, тогда еще очень молодой человек, сам наблюдал (с. 393.11 и сл.). С появлением образа автора немедленно начинают звучать

¹⁰ Исследователи античных биографий уделяли большое внимание хронологическому и «эйдологическому» принципу изложения материала (в последнем случае материал располагается «по добродетелям» героя). После известной книги Ф. Лео [237] считалось, что следование тому или иному принципу определяло тип античной биографии. Ср. у С. Аверинцева [60, с. 119].

и лирические нотки: оба Иоанна были друзьями писателя, и он с грустью вспоминает, что еще не выполнил свой долг по отношению к одному из них (Мавроподу) и не почтил его похвальным словом (с. 394.1 и сл.). В середине энкомия Пселл считает нужным извиниться за частое обращение к собственной персоне (с. 406.36 и сл.). Такие извинения, в массе встречающиеся как в речах, так и в «Хронографии», для Пселла своего рода литературный прием: писатель ощущает некоторое неудобство, тем не менее не видит ни нужды, ни возможности устранять из повествования собственную личность. Роль, отведенная Пселлом в энкомии самому себе, явно непропорционально велика, и если в некоторых случаях писатель действительно не может умолчать о своем участии в событиях, то в большинстве эпизодов его присутствие в повествовании отнюдь не обязательно (с. 414.23 и сл., 416.14 и сл., 418.2 и сл.). Не объективная необходимость, а утрированное авторское самосознание заставляет Пселла постоянно перебивать повествование исторического типа мемуарными вкраплениями.*

Итак, три стихии: историко-биографическое повествование, эйдологическая характеристика и мемуарные элементы, постоянно соревнуясь между собой и никак не отменяя традиционной схемы, составляют художественную ткань этого произведения.

Энкомий Лихуду — наиболее «уравновешенный» и внутренне организованный из больших риторических сочинений Пселла, в нем не только соблюдены элементы традиционной риторической схемы, но и находятся в определенном равновесии историческая биография, эйдология и личный момент. Однако в ряде случаев такое равновесие нарушается, и речи в зависимости от преобладания того или иного типа повествования приобретают ярко индивидуальный облик.

Основную часть «деяний» эпитафии Иоанну Ксифилину можно схематически представить в следующем виде:

I. воцарение Мономаха, назначение Ксифилина судьей [1 (IV), с. 429.23–431.21];

II. характеристика Ксифилина-судьи (с. 431.22–432.28);

III. открытие «университета», опала Ксифилина и Пселла, постриг и переселение Ксифилина на Олимп (с. 433.3–439.1);

* <О росте авторского самосознания византийских писателей XI–XII вв. см.: A. Kazhdan and A. Epstein, 1985; J. Ljubarskij, 1991.>

IV. характеристика Ксифилина-монаха (с. 439.2–440.8);

V. приезд Пселла к Ксифилину, смерть Мономаха, смерть Лихуда, избрание Ксифилина патриархом (с. 440.9–449.2);

VI. характеристика Ксифилина-патриарха (с. 449.3–453.10);

VII. светская и христианская образованность Ксифилина (с. 453.11–459.17);

VIII. «обвинение» Ксифилина (с. 459.18–462.6).

До седьмого раздела композиционная схема ничем не отличается от структуры похвалы Лихуду: историко-биографическое повествование закономерно прерывается эйдологической характеристикой, как только герой достигает стабильной жизненной ситуации (судьи, монаха, патриарха).¹¹

Однако произведение в честь Ксифилина отличается от уже рассмотренного энкомия Лихуду одной особенностью: характером введения «личного элемента». Если во втором случае только присутствовали более или менее значительные и не всегда оправданные вкрапления мемуарного типа, то в похвальном слове Ксифилину субъективная стихия буквально затопляет все произведение. В сущности, в этом энкомии два почти равноправных героя: Ксифилин и сам Пселл. Первый из них ведущий, второй — постоянно ему сопутствующий. Даже если территориально они не находятся рядом, любая акция Ксифилина подается в оценке и восприятии (естественно, стилизованном) «тогдашнего» Пселла.

Субъективная стихия настолько доминирует в речи, что автор не считает нужным считаться даже с элементарной логической связью. «Оценив» Ксифилина-патриарха, Пселл, свободно следуя движению своей мысли, неожиданно переходит к новой характеристике героя, на этот раз уже не связывая ее с каким-либо положением в жизни персонажа (пункт VII приведенной схемы). Сочленение

¹¹ Интересно в этой связи замечание Пселла, свидетельствующее о принятии им композиции такого типа. Рассказав о вступлении Ксифилина на патриарший престол, писатель замечает, что в своем повествовании он уже рассмотрел этого мужа как государственного деятеля и как монаха, ныне же следует взглянуть на него как на архиерея [1 (IV), с. 449.3 и сл.]. В другом случае, в традиционном извинении по поводу введения в повествование собственной персоны, Пселл заявляет, что будет это делать «и восхваляя и повествуя» (с. 427.1). Писатель как бы сам расчленяет свое повествование на «восхваляющие» и повествовательные (историко-биографические) части и добавляет к ним мемуарные разделы.

этой части с остальным энкомием весьма свободно и необязательно: видя, как эпитафия выливается в большое сочинение, писатель «спохватывается», что «не успел» воздать герою хвалы за его «внешнюю» (т. е. светскую, античную) и «нашу» (т. е. христианскую) мудрость и хочет, «как бы положив новое начало», наверстать упущенное [1 (V), с. 453.10 и сл.]. Последний раздел непосредственно переходит в вызвавшее столько недоумения «обвинение» (пункт VIII). Вряд ли следует искать вслед за Р. Анастаси объяснение этому разделу в простой контаминации текстов (см. ниже, с. 509). Пселл допускает «вольность» и считает ее для себя вполне позволенной; (подобные «броски» возможны в «Хронографии», но там Пселл не связан жесткими схемами!).

Не менее знаменателен в этом отношении и энкомий Иоанну Евхаитскому. Мавропод — самый интимный друг Пселла, и естественно, что в обращенном к нему похвальном слове также доминирует субъективное начало. Вольные ассоциативные переходы, многочисленные отступления иногда даже затемняют здесь традиционную схему. Так, например, раздел «Воспитание», где говорится об образовании героя, Пселл заканчивает предложением рассказать и о других (помимо учености) добродетелях героя [1 (V), с. 153.15–16].

Рассказ же об этих «других» добродетелях как бы «тянет» за собой повествование о новых доблестях, а их изложение позволяет в свою очередь автору вновь попасть в хронологическую канву: заметив достоинства Иоанна, Мономах назначает его на Евхаитскую кафедру (с. 154.29). Эйдологически изложенные добродетели в данном случае как бы заменяют временное развитие действия (прием, знакомый Плутарху и постоянно эксплуатируемый самим Пселлом в «Хронографии»). Назначение же на пост митрополита позволяет писателю опять обратиться к перечислению «добродетелей» своего учителя уже в функции духовного пастыря. Ассоциативность и «смазанность» переходов от одной структурной части к другой создает в некоторых частях речи определенную непринужденность повествования.

Как и эпитафия Ксифилину, энкомий заканчивается жанрово чуждым ему разделом — «увещанием». Сам писатель хорошо ощущает разнородность этих двух частей произведения:

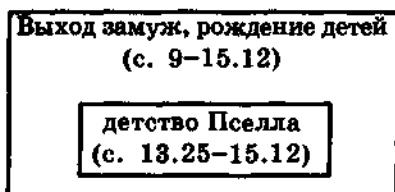
«Вот, любимейший из людей, ты и получил от меня и слово, и увещание» (καὶ τὸν λόγον καὶ τὴν παραίνεσιν) [1 (V), с. 167. 2–3].

Субъективный характер всего сочинения и здесь позволяет Пселлу допустить композиционную «вольность».

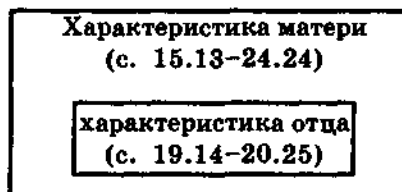
Еще более «произвольным» (опять-таки при соблюдении обязательной схемы) оказывается построение энкомия матери. Как и в других упомянутых нами сочинениях, историко-биографические разделы закономерно завершаются здесь эйдологическими характеристиками. Однако судьба Феодоты настолько тесно связывается с жизнью всей семьи и самого Пселла, что писатель «не удерживается» и в любую (как «историческую», так и «эйдологическую») часть по ассоциативной связи вставляет экскурсы, по размеру иногда превосходящие те структурные элементы, к которым они прилеплены.

Попробуем изобразить основную часть (πράξις) энкомия в виде схемы:

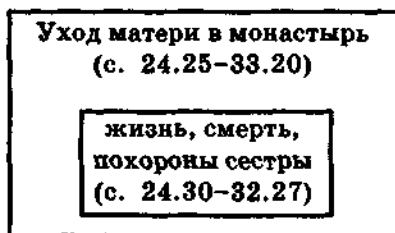
1.



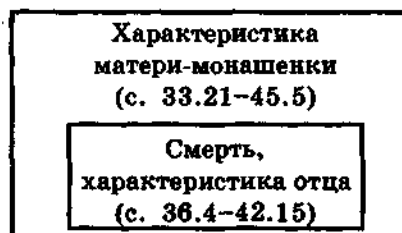
2.



3.



4.



Первый и третий разделы — биографические, второй и четвертый — «эйдологические». Внутри каждого из разделов — экскурсы, занимающие от 15 до 80% текста. Наша схема весьма упрощена. На самом деле многие части энкомия построены по принципу «матрешки»: внутри отступлений располагаются новые экскурсы.

Так, например, в пределах экскурса о сестре Пселл умудрился вставить подробнейший рассказ о собственной персоне [1 (V), с. 28.19 и сл.].

(Писатель не раз, как и положено, извиняется по поводу необходимости отвлекаться от основной темы, но в целом, благодаря этим отвлечениям, энкомий матери оказывается уже на грани семейной хроники мемуарного характера.)

Структура этой речи весьма неоднородна. Начало выдержано в рамках трафаретной риторической теории, в ряде разделов ощущается влияние житийного стандарта. (Если композиция классического энкомия представляет собой «цепочку» или «бусы» из как на нитку нанизанных добродетелей, то композиция классического жития — тоже «бусы», но уже из отдельных деяний героя. Разница понятна: если персонаж энкомия обладает массой разнородных «добродетелей», то у героя жития лишь одна-единственная добродетель — святость, которая последовательно и обнаруживает себя в «цепочке» из его подвигов и чудес.) Причина этого явления легко объяснима: образ матери (равно как и сестры писателя в том же произведении) стилизован под святую агиографию и поэтому «притягивает» к себе трафареты житийного жанра.¹²

И наконец, уже знакомая неожиданность в финале. Речь заканчивается рассуждениями об аскетической жизни, прямо противоположными предыдущему содержанию энкомия! Вновь Пселл, следуя причудливому ходу своей мысли, считает возможным пренебречь не только стилистическим и композиционным единством, но и смысловой согласованностью разделов речи.

Начав разбор композиции речей с относительно «уравновешенного» энкомия Лихуду, мы перешли к произведениям с ярко выраженным авторским, личностным началом. Еще дальше от «центра» находятся речи, в которых историко-биографический элемент и, в значительной мере, эйдологические характеристики если не подавлены вовсе, то очень приглушены лирически-мемуарной стихией.

Образец речей такого рода — эпитафия Никите, учителю школы св. Петра (№ 49). Писатель и здесь сохраняет большинство

¹² По принципу «житийной цепочки» построены эпизоды пребывания Феодоты в монастыре [1 (V), с. 44 и сл.], а также повествование о сестре писателя (с. 26 и сл.). Сближает энкомий с житийной литературой также большое число видений.

разделов традиционной схемы, но почти каждый из них превращает в лирические воспоминания о герое. Сведений о происхождении, предках и родителях Никиты почти нет, зато раздел *ἀντροφὴ* — «воспитание» (в данном случае лучше *παιδεία* — «образование») развит весьма подробно по той, конечно, причине, что автор обучался с героем в одной школе и может детально, по личным воспоминаниям, рассказать о нем и заодно о себе [1 (V), с. 88.25 и сл.]. Раздел «деяния» посвящен главным образом учительской деятельности Никиты, но, поскольку последний и в данном случае был коллегой Пселла, энкомий вновь превращается в серию лирических воспоминаний (с. 90.10 и сл.).

Если в эпитафии Никите номинально сохранен хронологический принцип изложения, то в энкомии внуку (№ 32) историко-биографической канвы нет вовсе, да и быть не может (внук умер в четырехмесячном возрасте!), и вся речь выливается в лирический монолог, уже не сохраняющий основных жанровых признаков энкомия или монодии.¹³

От энкомия Лихуду можно было бы «двигаться» и в противоположную сторону, приводя примеры совершенно иного характера. Как уже говорилось, в эпитафии Кируларию десятки страниц заняты изложением событий исторического типа, мало чем отличающегося от стиля повествования исторических хроник. Своеобразный парадокс: в то время как пселловская «Хронография» испытывала влияние риторики, некоторые части его речей по стилю приближались к историографии.

Сохранившиеся эпидейктические речи Пселла в структурном отношении представляют собой весьма пестрое зрелище. В специфике их композиции соединились, казалось бы, несоединимые принципы: давно затвердевшая схема и субъективная, доходящая до произвола авторская воля. Подобное сосуществование двух взаимоисключающих принципов отмечали мы и в теоретических воззрениях писателя (см. выше, с. 356).

¹³ Это обстоятельство прекрасно подметил Х.-Г. Бек, писавший об энкомии внуку следующее: «Сочинение это могло бы с тем же успехом быть написано в форме лирического стихотворения, его одухотворяют удивительная нежность и искренность, любовь и отчаяние, гордость и печаль, а к тому же и немалая доля пселловской иронии» [135, с. 97]. К тому же типу относится и менее совершенная эпитафия дочери Стиллиане (№ 14).

* * *

Структура, или «устройство», «порядок» (*τάξις, οἰκονομία*), эпидейктической речи, зафиксированная позднеантичными теоретиками, не просто предусматривала порядок расположения материала, а даже предписывала, о чем и что именно ритор должен сказать в произведении. В этом отношении она была не столько композиционной схемой, сколько настоящей программой любой речи. На долю образованного оратора оставалось лишь заполнить материалом уже подготовленные пустые ячейки. Композиция энкомиастической речи и образ ее главного героя между собой тесно связаны: элементы того и другого по сути оказывались тождественными понятиями.

В таких условиях любая энкомиастическая речь фактически оказывалась своего рода «каталогом» или «кругом» добродетелей героя (оба выражения заимствуем у самого Пселла [16 (I), с. 155.4; 1 (V), с. 106.4]). Например, Константин Мономах из посвященного ему энкомия (№ 11) (пример произволен, почти каждое произведение этого типа репрезентативно для десятков ему подобных) обладает быстрым, как молния, умом, величию природы, сверкающей красотой, он превзошел философию, юриспруденцию, красноречие, это — великий полководец, как никто другой преданный Богу, а на поданных изливший дождь благоденствий. В серьезных делах он проявляет серьезность, а в общении с друзьями — прелесть. Каждая черта (скорее доблесть — *ἀρετή*) героя существует отдельно и никак не сопряжена с соседней. По образному выражению Д. С. Лихачева, персонаж одет как бы в кольчугу из добродетелей [89, с. 32]. Сквозь эту кольчугу почти невозможно добраться до живого тела, она лишь очень приблизительно подогнана к фигуре персонажа.

Такой образ не представляет собой организованной замкнутой структуры, он остается «открытым», поскольку к нему произвольно можно добавлять бесконечное число «добродетелей», никак не изменяя этот образ и очень слабо влияя на него в целом.

Отдельно взятая какая-либо «добродетель» не несет в себе ничего специфического и индивидуального, она «безлична» и почти всегда легко подходит к другому аналогичному герою аналогичного произведения. Автор озабочен не индивидуализацией, а максимальной гиперболизацией черт прославляемого лица. Любая из этих доблестей имеет эталон, до которого она дотягивается и который часто должна превзойти. Отсюда масса разнородных и несовместимых сравнений

(у каждой добродетели свой образец!), «разрывающих» и «растягивающих» образ в разные стороны. В упомянутом уже небольшом энкомии Мономаху царь сравнивается с солнцем, с олимпийским победителем, с Евклидом, с целым сонмом античных ораторов и поэтов, с библейским Самуилом, с пророком Ильей и т. д.

Само собой разумеется, что этот конгломерат черт, который с большим трудом можно назвать образом в современном смысле данного слова, абсолютно статичен и неизменен. Как дети на картинах средневековых мастеров изображались маленькими взрослыми, так и герои энкомия, только родившись, уже сияют всеми добродетелями, которые украшают их и в расцвете сил.

Разумеется, что связи такого героя со своим прототипом весьма призрачны. Для этого достаточно сравнить изображение Константина Мономаха в «Хронографии» с персонажем уже упоминавшегося энкомия. Реальность фактически не входит в произведения такого типа, отдельные же, вырванные из действительности факты «втискиваются» в заданную схему и существуют как бы на периферии (в цитированном энкомии — это сообщения, подкрепленные другими источниками, что царь отличал людей не по роду, а по способностям, или упоминания о диковинных зверях, доставленных из Египта). Именно поэтому энкомии обычно невысоко ценятся как исторические источники.

Такой характер обрисовки исторического героя, берущий свое начало в античной энкомиастической литературе, — наиболее яркий образец средневекового типа восприятия и изображения человека.¹⁴

Однако нарисованная здесь картина, как всякое усредненное изображение, отражает не всю правду.

Неверно, конечно, думать, что герои византийских панегириков вовсе ничем друг от друга не отличались и представляли собой некую маску, равно подходящую для любого лица. Различия между ними, видимое уже при простом чтении, определяют прежде всего причины внелитературного ряда.

Уже в поздней Римской империи, на заре развития жанра, придворные ораторы, которым доверялось произнесение торжественных

¹⁴ «Герой средневековых рассказов, — пишет А. Я. Гуревич, — не целостная личность, но некоторая совокупность разрозненных качеств и сил, действующих самостоятельно» [73, с. 269 и сл.].

речей в честь царственных лиц, пытались «делать политику» и воздействовать на императоров, идеализируя и оттеняя отдельные действительные или вымышленные их черты [см. 294, с. 251 и сл.]. Метод обрисовки персонажа в этих случаях оставался тем же, нежолко иначе подбирались только звенья «кольчуги», в которую автор облачал своего героя. Такое же «идеологическое» использование образа императора можно наблюдать и в некоторых «царских словах» Пселла. Наиболее явный тому пример — речи к Михаилу VII Дуке.

Нам известно, с каким презрением современники отзывались о деятельности Пселла при дворе юного Михаила VII. Империя, казалось, шла к неминуемой гибели, а стареющий философ занимался со своим царственным воспитанником учеными забавами. Сторонники «военной» партии были возмущены бездействием Михаила, которое они приписывали влиянию глашатая «гражданской» партии Пселлу (ср. выше, с. 331). Эти претензии политических противников писателя находят недвусмысленное подтверждение в речах Пселла, обращенных к Михаилу. Из всей массы императорских «добродетелей», которые были в распоряжении ритора и которыми он так ловко манипулировал в семи своих речах Мономаху, в применении к Дуке Пселл использует только две: любомудрие и кротость. Если раньше двери дворца были открыты лишь для советников, то теперь, разглагольствует оратор, сама мудрость как бы воплотилась в этом царе и привлекает к себе своих питомцев [16 (I), с. 15 и сл.]. Кротость же императора — выше всякой меры, и в «безумных делах Арея» царь, по словам панегириста, не скор на убийство и не радуется потокам крови [16 (I), с. 36 и сл.].

Кротость, равно как и любомудрие, конечно, традиционные черты хвалимого императора, но прославление их как единственных его добродетелей в период, когда страну раздирали на части внешние и внутренние недруги, обусловливалось, должно быть, политическими соображениями: в присутствии воинственно настроенных сановников Пселл хвалит императора за отвращение к войне!

Не менее «актуально» должна была звучать и другая небольшая речь к Михаилу, датируемая 1077 г. (№ 41). Человеколюбие, справедливость — вот свойства, за которые придворный панегирист хвалит царя накануне неминуемого, казалось, краха империи. Эпикорический для Пселла продолжает оставаться если не средством политической агитации, то во всяком случае рычагом воздействия на

императора и двор. В соответствии с этими задачами и формируется образ монарха.

Похвальное слово, обращенное к царствующему самодержцу, допускало, конечно, наименьшую свободу в обрисовке образа героя. Произносившееся в торжественной обстановке придворной церемонии, оно само было частью ритуала и отличалось свойственной ему нормативностью и традиционностью.

В изображении людей не столь высокого ранга, особенно друзей, учеников и родственников, Пселл дозволял себе придавать герою значительно больше индивидуальных черт. Любой образ в риторическом произведении представлял собой описанную выше конструкцию сборно-разборного типа, однако используемые для характеристики клише могли в применении к герою модифицироваться.

Из персонажей уже упоминавшихся «больших» энкомиев Пселла наиболее стандартной фигурой является Лихуд. На этом герое нетрудно продемонстрировать нехитрую анатомию риторического образа. Уже младенцем Лихуд обладает всеми мыслимыми добродетелями и умудряется намного превзойти своих наставников: его отличают ум, приятность нрава, природа, он — знаток красноречия, законов, философии, он — такой же идеальный «первый министр» у Константина Мономаха, как в дальнейшем благочестивый и милостивый патриарх. Каждая новая добродетель попросту прибавляется к предыдущим.

Причина такой стандартности героя (а мы видели, и композиции) этого энкомия заключается, возможно, в особенностях самого прототипа. Лихуд — один из наиболее просвещенных людей своего времени — многосторонне проявил себя как деятель государственной и церковной истории, в нем соединялись определенная широта взглядов и христианское благочестие, и к тому же он был покровителем и другом Пселла. «Идеальный» в представлении писателя образ лучше всего укладывался в идеальную схему энкомия.

Все отмеченные элементы образа Лихуда в той или иной степени характерны и для персонажей других речей. Однако сопоставление похвального слова Лихуду с аналогичными сочинениями этого же жанра обнаруживает не только сходство, но и различие.

Кируларий (герой самой большой по объему эпитафии) — патриарх, как и Лихуд. Однако если похвалы Лихуду отражают истинное отношение автора, то славословия Кируларию — не более как дань жанровым канонам: эпитафия ему была написана по

заказу царственного свойственника покойного. Как и Лихуд, Кируларий — человек недостижимых для других добродетелей. «Один только этот муж оказался достоин людей прошлого, стал чудом нашего времени, образцом и одухотворенным примером для будущих ревнителей добродетели» [1 (IV), с. 305.2 и сл.]. Как и Лихуд, уже ребенком поражал он всех своей красотой, речами и умом (с. 309.22 и сл.). Как и Лихуд, он аккумулирует в себе все мыслимые добродетели, каждая из которых доводится до своего предела серией гиперболических сравнений и ассоциаций.

И тем не менее внимательный читатель не может не обнаружить, что на «втором плане» энкомия присутствует иной образ патриарха, резко контрастирующий со стандартизированной фигурой «первого плана». Образ «второго плана» чаще проявляет себя не в риторических описаниях, а в деталях и нюансах. Вот некоторые примеры. Говоря о риторических занятиях патриарха, Пселл отмечает его пристрастие не к «внешней красоте» и не к «убедительности» речи, а к истине и твердости, свойственным философии [1 (IV), с. 310.5 и сл.]; стремление Кирулария к неприкрашенной истине оттеняет суровость его нрава. Константин Мономах, который ко всем прочим людям является приветливым и обаятельным, в отношениях с патриархом нередко оказывается «мрачным и ошетинившимся».¹⁵ Император в данном случае так, видимо, реагирует на поведение Михаила. Далее Пселл уже без обиняков пишет о мрачности, суровости и гневливости самого Кирулария, объясняя, впрочем, эти свойства стремлением патриарха воспитывать людей в добродетели (с. 342.14 и сл.).

Противоречие образов «первого и второго планов» особенно наглядно в той части энкомия, где содержится сравнение (синкрисис) Кирулария с его старшим братом, явно пользующимся предпочтением писателя. Вот вкратце пункты этого противопоставления: Кируларий превосходит брата в устремлении к высшему; Кируларий сосредоточен и малодоступен для собеседника; брат обладает приятной внешностью, в его лице отражена душа, лик его исполнен харит. У Кирулария ум строгий, у брата — острый; у Кирулария речь искусная, у брата — бойкая; у Кирулария одежда и образ

¹⁵ οὐννοῦς καὶ κερφικὸς [1 (IV), с. 325.10]. Вместо κερφικὸς, возможно, следует читать κερφοντικὸς. Сочетание этих двух причастий встречается у Пселла [20 (I), с. 2.9–10] и Атталанта [50, с. 66.14].

жизни простые, у брата — пышные; Кируларий старался жить «выше природы», брат его был женат и имел детей. Природа старшего брата более земная, и он предпочел светское образование. Кируларий же все свои занятия, в том числе и политические, оставил ради дел духовных [1 (IV), с. 310 и сл.]. «Второй образ» Кирулария явно отражает давнюю нелюбовь писателя к покойному патриарху и скорее напоминает его образ в речи полемического содержания, с которой в свое время обратился к нему Пселл (№ 22), нежели персонаж «первого плана» той же эпитафии.

Реальный прототип как бы вступает в противоречие с накладываемой на него идеальной схемой. Противоречия эти порой обнажаются очень резко. Мрачный и неприступный Кируларий в той же эпитафии вдруг оказывается «исполненным харит, со сладостной и приятной речью и радушным, радостным взглядом», к тому же он еще и противопоставлен суровым, бегущим человеческого общения людям! (с. 332.15 и сл.). Пселл не может отказаться от клише и в то же время не в состоянии полностью «подогнать» под него своего героя, противоречащие черты того и другого остаются сосуществовать в пределах одного произведения, швы меж ними видны невооруженным глазом.

Свойства прототипа (особенно людей, которых писатель знал близко) иногда значительно модифицируют клише, придавая образу индивидуальность. Так случилось, например, с фигурой Мавропода в похвальном ему слове. Уже в начале эвкомия Пселл обращается к своему герою с просьбой благосклонно выслушать его сочинение: «А ты мужественно вынеси славословия, не откажись выслушать мою речь и не закрой ушей, как это ты обычно делаешь, едва услышав хоть малейшую похвалу по своему адресу» [1 (V), с. 142.26 и сл.]. Конечно, скромность — обязательная черта героя христианского эвкомия. Однако в данном случае это свойство играет особую роль, поднимаясь до уровня лейтмотива образа. В том же введении утверждается, что Иоанн настолько мало гордился всем «внешним», что разве только не забыл, откуда он родом (с. 143.21). «Нрав души» заставляет Мавропода упорно отказываться от предложенного ему поста евхаитского митрополита (с. 155.8 и сл.). Пселл порицает своего друга за «неумеренную скромность».

Биографы Мавропода обладают в данном случае достаточным материалом для утверждения того, что «скромность» Иоанна в

анкомии — не дань традиции, а реальная черта прототипа. О «скромности» Мавропода неоднократно идет речь в его переписке с Пселлом, она становится даже одной из причин размолвки между друзьями; сам Мавропод неоднократно декларировал свою «скромность».

Приведенный пример показывает, сколь опасной может быть тенденция во всех случаях объяснять особенности византийской риторики следованием расхожим схемам. В то же время, говоря о лейтмотиве образа, нельзя вкладывать в это понятие и современный смысл. Под лейтмотивом мы понимаем здесь не доминанту, вокруг которой группируются и которой определяются остальные черты образа, а наиболее часто подчеркиваемое автором свойство в ряду других равноправных качеств героя.

Какими возможностями для индивидуализации своих героев обладал византийский ритор даже в пределах обязательного канона, могло бы показать и сравнение двух наиболее значительных женских образов, созданных в речах Пселлом: его матери и кесарисы Ирины (№ 30). Хотя последняя, как и положено женщине, изображается весьма набожной и благочестивой, по сравнению с «непревзойденной в аскезе» Феодотой, она может представиться читателю настоящей светской дамой.

* * *

Исследования памятников византийской литературы подчас и поныне завершаются установлением образца, которому следовал греческий автор. То, что должно было бы быть исходным моментом изучения, в этом случае оказывается его результатом.

Вряд ли нужно искать образцы для всех риторических произведений Пселла, нередко писатель творит в русле безликой школьной традиции. Однако в ряде случаев определить «образцы» для речей Пселла нетрудно. Как уже говорилось, Пселл с несвойственной ему последовательностью отдает пальму первенства в риторическом искусстве Отцам церкви IV в., и в первую очередь Григорию Назианзину. Ему он и в действительности следует в некоторых своих речах.

Интерес, однако, представляет не столько сам факт подражания, весьма обычный для византийской литературы [см. 200], сколько его характер и источники. Р. Анастази, который перевел на итальян-

янский язык и прокомментировал энкомий Пселла Мавроподу, скрупулезно исследовал зависимость писателя от своего «образца» и насчитал в этой речи пятнадцать случаев заимствования, главным образом из эпитафии Василию Кесарийскому [17, с. 35]. Часть из приведенных ученым примеров спорна, но большинство из них сомнений не вызывает, хотя лексические совпадения, как правило, ограничиваются двумя-тремя словами, и речь скорее должна идти о мыслях, навеянных Григорием, чем о копировании образца. То же самое можно отметить и в отношении недавно опубликованной эпитафии игумену Николаю (№ 18), издатель которой, П. Готье, насчитал тридцать шесть скрытых цитат из сочинения Григория.

В то же время поклонник пселловского таланта будет не мало удручен, найдя у Григория прообраз тех мыслей, которые он вправе был бы считать за искренние выражения чувств самого автора. Так, в эпилоге похвального слова Мавроподу престарелый писатель с горечью вопрошает: найдется ли такой человек, который составит ему самому похвальное слово? [1 (V), с. 167.9 и сл.]. Такого же рода сетованиями завершается и эпитафия Василию Григория Назианзина [38, LXXXII]. (Пселл дважды говорит об этом и в произведениях, посвященных другим своим друзьям: патрикию Иоанну и вестарху Георгию.) Предположить совпадение невозможно: мысль эта не затеряна в середине, а находится в эпилогах обоих произведений.

Знаменательное совпадение не одной, а нескольких последовательных мыслей находится в не менее «заметной» части другой речи — в прологе энкомия матери. Образцом в данном случае служит вступление к эпитафии сестре Горгонии того же Григория Назианзина. Уже энергичные зачины произведений одинаковы по тону: «Энкомий матери» [1 (V), с. 3.5], — заявляет Пселл, «Хвала сестру...» [PG, 35, col. 789], — начинает сочинение Назианзин. В обоих случаях сразу же называются хвалимые лица — ближайшие родственники авторов. Более существенные совпадения следуют дальше. Мы создаем эпитафии чужим людям, так справедливо ли лишать их своих родственников? [1 (V), с. 4.1; PG, 35, col. 792.5 и сл.]. Если мы почитаем своих родственников при жизни, то тем более следует воздавать им хвалу после смерти [1 (V), с. 4.6; PG, 35, col. 792.15 и сл.]. Речь произносится в присутствии людей, сумевших проверить истинность слов автора [1 (V), с. 4.18; PG, 35, col. 789.7 и сл.]. Страх вызывает не то, что автора могут заподозрить

во лжи, но то, что его искусство не в силах будет воздать должное героине [1 (V), с. 4.22 и сл.; PG, 35, col. 792.1 и сл.].

Сходство ситуаций (энкомии создаются в честь умерших ближайших родственников) определяет и выбор Пселлом «образца». Писатель примерно сохраняет последовательность мыслей оригинала, но избегает прямых лексических заимствований.

Только нейтральное *οὐ τοῦτον ἐγὼ φοβοῦμαι τὸν φόβον* является у Пселла почти дословным воспроизведением оригинала. Подражание — *μίμνησις* Пселла характеризует вполне уместное использование выраженных в оригинале чувств и мыслей.

Но не в переработке отдельных пассажей суть «подражания» Пселла.

Оценивая литературные достоинства произведений Григория, Ф. Фаррар пишет, что «речи его слишком расплывчаты и избыточны отступлениями, слишком преувеличены в своих выражениях и отличаются недостатком систематичности в расположении предметов» [115, с. 560]. Не обладающее в данном случае большой глубиной суждение английского богослова ценно своей безыскусственной передачей впечатления от чтения произведений Назианзина. То, что Фаррар склонен считать недостатком, на самом деле — художественная специфика энкомиев Отца церкви. «Расплывчатость», «обилие отступлений», «недостаток систематичности» — это та субъективная стихия, которая входит в христианский панегирик и которая была также отмечена нами в применении к Пселлу.

Эти свойства речей Григория доводятся писателем XI в. до своей крайности. Если Назианзин только иногда вводит себя в качестве действующего лица, то Пселл делает это постоянно, надолго и часто без нужды отвлекаясь от темы повествования. Григорий действительно допускает отступления от рассказа, но они не идут в сравнение с многочисленными и очень длинными экскурсами Пселла.

Из-за отсутствия четких «опорных пунктов» нелегко доказать зависимость структуры такого рода от композиции речей Григория, но по крайней мере в одном случае такая связь кажется нам очевидной. В эпитафии отцу в двух симметрично расположенных (в начале и перед концом) пассажах Григорий делает большие отступления о матери [PG, 35, col. 992.44 и сл.; col. 1021.29 и сл.]. В эпитафии матери Пселл примерно в аналогичных местах вставляет длинные рассказы об отце (см. выше схему, с. 388). Сходство темы (эпитафии родителям) предопределяет и некоторый параллелизм в композиции.

Еще труднее доказать зависимость некоторых образов Пселла от героев Григория, интуитивно ощущаемую при чтении произведений. Сама эта трудность, однако, весьма показательна: при формальной компиляции решающим доводом было бы установление простого лексического соответствия. Однако в данном случае речь должна идти не о компиляции, а о сознательной или бессознательной ассоциации, уподоблении автором некоторых своих героев персонажам «образцового предшественника». Укажем на некоторые случаи.

В энкомии матери (упоминавшемся выше) не только композиция, но и сам образ Феодоты вызывает определенные ассоциации с фигурой матери Григория — Нонны из похвального слова отцу Григория Назианзина. Доводами в пользу такого утверждения не могли бы служить ни изображение обеих героинь образцами благочестия, смирения и аскетизма, ни утверждения, что их брак с мужьями — «союз душ посредством плоти» (оба мотива достаточно трафаретны), но вот стремление писателей представить своих матерей в виде руководительниц и наставниц благочестия для мужей — деталь более индивидуальная и доказательная, особенно если учесть и некоторое лексическое совпадение в рассуждениях по этому поводу.

Григорий Назианзин пишет о Нонне: τῆ δὲ οὐ σὺνερῶς μόνον ἢ παρὰ Θεοῦ δοθεῖσα [PG, 35, col. 993].

Пселл сообщает о матери: τῆ γὰρ ἐμφ' πατρὶ οὐ σὺνερῶς μόνον καὶ βουδὸς ἐτύχαιεν ὅσα [I (V), с. 19.14].*

Как уже отмечалось, Р. Анастаси установил ряд лексических соответствий между похвальными словами Пселла Мавроподу и Григория Назианзина Василию Кесарийскому. Почти все они содержатся в характеристиках главных героев. Пселл пишет образ Иоанна Евхаитского «с оглядкой» на фигуру Василия, и лексические соответствия — только внешнее выражение более глубокой

* <Сходные мысли развивает в специальной работе, посвященной энкомии Пселла, и Милованович (С. Milovanović, 1984). Напротив, Дж. Вергари полагает, что моделью для Феодоты послужила Макрина из речи Григория Нисского, игравшая, по мнению итальянского ученого, роль парадигмы для женских персонажей в византийской литературе. В то же время Вергари склонен признать определенную самостоятельность Пселла в обрисовке образа матери. См.: G. Vergari, 1987. Ср.: G. Vergari, 1987-2; G. Vergari, 1990.>

общности. И Мавропод, и Василий — скромные благочестивые христианские пастыри, весьма ценящие в то же время и (очень существенная деталь!) «внешнюю», т. е. светскую, античную образованность, в которой сами немало преуспели. Не случайно в обоих произведениях содержатся значительные по объему, аналогичные по содержанию отступления с явной полемической направленностью, где защищается право христианина заниматься светскими науками [см. 1 (V), с. 152. 18 и сл. и 38, XI]. Сам стиль отношений между Пселлом и Мавроподом весьма напоминает характер дружбы Григория Назианзина и Василия Великого: в обоих случаях это преданная идеальная *φιλία*, основой которой прежде всего являются общие ученые интересы.

Все сказанное полностью относится и к фигуре Ксифилина — герою посвященной ему эпитафии Пселла. Сама внешняя канва отношений этих двух пар (Пселл—Ксифилин, Григорий—Василий) в значительной мере совпадает. Григорий и Василий встречаются в Афинах, Пселл и Ксифилин — в Константинополе, там предаются они общим научным занятиям. Григорий посещает Василия в Понте, Пселл Ксифилина — на горе Олимп и т. д. То, что такой ассоциации не был чужд и сам Пселл, доказывают два его письма к Ксифилину [1 (V), № 44; 16 (II), № 191], где писатель прямо ссылается на отношения Григория и Василия как на образец для их собственного поведения.¹⁶

Итак, в лучших своих произведениях Пселл «вступает в соревнование» (конечно, в античном и средневековом смысле выражения) с Григорием Назианзином. До появления специальных исследований нельзя безапелляционно утверждать, однако можно предположить, что в ряде аспектов Пселл по своему мироощущению вообще близок к Григорию Назианзину, особенно его этике, более широкой и человечной, нежели представления фанатичных современников Пселла — Симеона Нового Богослова, Никиты Стифата, Михаила Кирулария и других (см. выше, с. 337). Видимо, поэтому следование раннехристианским риторам объясняется более глубокими причинами, нежели только обязательное благочестие и литературный *usus*. Не византийская ученая компиляция, которой Пселл отдал щедрую дань в своих научных трактатах, а попытка воспроизведения

¹⁶ К сходным выводам пришел немецкий исследователь Ф. Тиннефельд [307, с. 166].

духа оригинала характеризует в данном случае зависимость писателя от своих образцов.*

Как бы ни оценивать с позиций современного литературного вкуса ораторские сочинения Пселла, само возрождение в XI в. линии раннехристианской риторики с ее субъективным началом и теплотой чувств весьма знаменательно для эпохи подъема интеллектуальной жизни и сдвигов в художественном сознании византийцев.

Риторика и тесно связанные с ней литературные виды, вытесняя господствовавшую до тех пор агиографию и перенимая у нее «беллетристическую» функцию, вновь начинают играть для византийцев универсальную роль и вбирают в себя свойства, характерные для иных жанров. Не случайно ряд риторических сочинений Пселла оказывается на грани других литературных видов: лирики, биографического повествования мемуарного типа, историографии.

На этом пути Пселла могли ожидать отдельные удачи, но не художественные открытия: слишком «выработанной» была к его времени «жила» риторики, чтобы можно было рассчитывать на крупные находки. Однако блестяще отработанная техника и некоторые принципы и традиции красноречия оплодотворили творчество Пселла уже в другом жанре, достижения в котором принесли писателю истинную славу — историографии.¹⁷ Анализу пселловской «Хронографии» и посвящены следующие разделы работы.



* <К сходным выводам об отношении Михаила Пселла к Григорию Назианзину пришел Е. Малтезе: см.: E. Maltese, 1992; E. Maltese, 1993.>

¹⁷ Чем меньше была способна риторика служить почвой для оригинального творчества внутри себя, тем больше играла она роль моста между античной и раннехристианской культурой, с одной стороны, и культурой «высокого» Средневековья — с другой. Риторика не только «иссушала», как это обычно считается, творчество средневековых писателей, но и оплодотворяла его развитым своим искусством и традициями, которые несла с собой. Об особой роли риторики вплоть до Нового времени см.: 159, с. 151 и сл.



Глава шестая

ВЕРШИНА ТВОРЧЕСТВА «ХРОНОГРАФИЯ»

1. ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ (НОВЫЕ НАХОДКИ, ВРЕМЯ НАПИСАНИЯ. СОСТАВ ПРОИЗВЕДЕНИЯ)

До недавней поры «Хронография» была известна только по одной рукописи (Paris. gr. 1712), что, естественно, весьма затрудняло исследование ее текста и решение ряда специальных вопросов, касающихся времени издания, формы отдельных частей и т. д. Семидесятые годы принесли неожиданные открытия. Американский исследователь Х.-К. Снайпс обнаружил новую рукопись «Хронографии»,¹ а осенью 1975 г. в нашем распоряжении оказались фотокопии другой рукописи, содержащей дотоле неизвестную «Краткую историю» Пселла, текст которой частично совпадает с «Хронографией». Публикация и изучение новых текстов (а это займет немало времени) должны привести к решению ряда спорных проблем. Поэтому мы

¹ Письмо Х.-К. Снайпса к автору от 16.1.1975 г. Снайпс сообщает о своем намерении издать «Хронографию» с учетом новой рукописи. <Покойный Х.-К. Снайпс так и не успел исполнить свое намерение. Чтения Синайской рукописи учтены в уже упоминавшемся итальянском издании «Хронографии».>

ограничимся здесь лишь отдельными замечаниями и наблюдениями, касающимися формы, рукописной традиции и состава «Хронографии». Но прежде сообщим некоторые сведения о «Краткой истории», с рукописью которой имели возможность познакомиться.

«Краткая история» содержится в рукописи XIV в. Синайского монастыря Св. Екатерины (№ 1117). Еще в 1911 г. она была описана профессором Петербургского университета В. Н. Бенешевичем [68, с. 266 и сл.] и по странной случайности долгие годы не привлекала внимания ни одного из византинистов.² <Ныне «Краткая история» опубликована (W. Aerts, 1980/81). Издатель текста В. Артс полагает, что произведение было приписано Пселлу ошибочно. Точку зрения В. Артса поддержал Д. Райнш (D. Reinsch, 1990). Мне эти сомнения показались лишёнными каких бы то ни было оснований (см. J. Ljubarski, 1993; Я. Любарский, 1994, перепечатано в: Я. Любарский, 1999, с. 174–181). Был уверен в принадлежности «Краткой истории» Пселлу и Х.-К. Снайпс (K. Snipes, 1991, p. 12).>

Лемма «Краткой истории»

Краткая история царей старшего Рима и младшего, начинающаяся с Ромула, с опущением царей, которые не совершили ничего примечательного. Составитель же истории ипертим Пселл.

Состав «Краткой истории»

Краткая история не имеет предисловия, она начинается с Ромула и непрерывно продолжается до царствования Василия II включительно. История республиканского Рима описана весьма сумбурно и бегло <W. Aerts, 1980/81, p. 6–10>. Остальное повествование разбивается на главы, в которых описываются царствования отдельных императоров. Каждая из них выделена в тексте и снабжена заголовком. Некоторые императоры, как и обещано в лемме, из рассказа опущены. Удивление вызывает отсутствие истории правления

² Наше внимание на «Краткую историю» обратил П. Шрайнер, который и прислал фотокопии рукописи.

императора Иоанна Цимиския, которого Пселл ценил весьма высоко. Изложение истории царствования Василия II прерывается на середине фразы, и оставшаяся часть страницы пустует (fol. 276^v 33 строки). Следующая страница начинается (опять-таки с середины фразы) рассказом о царствовании Романа IV Диогена. Этот текст совпадает с повествованием «Хронографии». Таким образом, конец «Краткой истории» и конец «Хронографии» идентичны [fol. 277^v–279^v = 20 (II), с. 167. 18–182.10]. В «Краткой истории» отсутствует только «Письмо царя к Фоке», присоединенное к «Хронографии» [20 (II), с. 182.15 и сл.].

Проблема соотношения «Краткой истории» и «Хронографии»

После конца «Краткой истории» в рукописи пропуск (40 строк на с. 279 и вся страница 280), позднее заполненный посторонним текстом. Заманчиво было бы считать «Краткую историю» утерянной первой частью известной «Хронографии». В пользу этого можно было бы привести веские доводы. «Хронография» не имеет предисловия, повествование начинается как бы с середины, и его первая строчка: «Вот так расстался с жизнью император Иоанн Цимисхий...» — предполагает наличие какого-то исчезнувшего или сознательно опущенного начала. В самом тексте «Хронография» определяется как *ὀβυτιοῦς ἱστορία*, что соответствует содержащемуся в лемме новонайденного произведения названию «Краткая история». Тем не менее к этой гипотезе приходится подходить с крайней осторожностью, ибо история Василия II в «Краткой истории» и в «Хронографии» изложена по-разному. Возможно, что «Краткая история» в том виде, в каком она до нас дошла, — результат соединения двух произведений: некоей краткой хроники о Риме и раннем периоде Византии и известной «Хронографии». Середина этой контаминации была утеряна, и переписчик (вся «Краткая история» написана одним почерком), надеясь в будущем восполнить пробел, оставил в середине рукописи незаполненные листы.

Время и обстоятельства возникновения «Краткой истории»

Нам удалось обнаружить лишь одно место из «Краткой истории», которое может дать основание для предположений о времени

и обстоятельствах написания произведения. Переходя к изложению истории императорского Рима, Пселл пишет: «Я примусь за другую историю, начав с цезаря Юлия, чтобы в одних вещах ты подражал императорам, а в других их высмеял» <W. Aerts, 1980/81, p. 10.61–63>. Следовательно, адресат этого произведения — император. Можно предположить, что это Михаил VII, которому Пселл посвятил множество «ученых» сочинений на самые разнообразные темы (см. выше, с. 326 и сл.). В таком случае «Краткая история» писалась при Константине Дуке или же при Михаиле VII.

Есть основания думать, что именно «Краткую историю» (а не «Хронографию»!) имеет в виду Скилица, давший в своем сочинении следующую оценку Пселлу-историку: «Сицилиец — учитель, а в наше время ипат философов и ипертим Пселл, кроме них и другие, занявшись вещами второстепенными, отказались от тщательности. Большую часть самого существенного они опустили и потому стали бесполезными для потомков. Они только перечислили царей и сообщили, кто после кого овладел скипетром, а более ничего. Да и это они описали неудачно и нанесли своим читателям скорее вред, нежели пользу» [45, с. 3]. Исследователей давно поражала столь странная оценка «Хронографии» Пселла. В приложении же к «Краткой истории» она гораздо более оправдана.*

Соотношение идентичных текстов «Краткой истории» и «Хронографии»

Как уже отмечалось, в последних частях «Краткая история» и «Хронография» совпадают. В каком соотношении находятся тексты обоих произведений? В отдельных случаях «Хронография» дает лучшие чтения, но чаще более исправным оказывается текст «Краткой истории». Иногда пропуски в новом тексте (от одного слова до целой строки) заполнены в старом, чаще же наоборот. Приведем для примера два случая (выделенная нами часть фразы содержится только в «Краткой истории»):

1) Характеристика кесаря Иоанна Дуки (а вместе с ней и все произведение) заканчивается словами: «Что я перечисляю все

* <С этим моим предположением согласился Х.-К. Свайпе (K. Snipes, 1977; K. Snipes, 1982), но решительно отверг их В. Аертс (W. Aerts, 1980/81).>

в отдельности! Во всем он превосходил всех, *кроме брата и племянника — двух царей и непобедимых*» [20 (II), с. 182]. «Хронография» явно не завершена композиционно: биография Михаила VII, а вместе с ней и все произведение в целом, заканчивается панегириком кесарю Иоанну. Последние слова из «Краткой истории» как бы возвращают читателя к образам императоров Дук, которым Пселл посвятил вторую часть своего исторического сочинения, и придают некоторую логическую завершенность повествованию.

2) В начале характеристики Михаила VII Пселл пишет:

«Но может быть кто-нибудь скажет, что было у ребенка царственного, а у царя ребячливого». Игра слов, содержащаяся в «Краткой истории», придает изящество и вообще смысл всей фразе.

Таким образом, между обоими текстами нет прямой связи. Возможность же возведения их к одному архетипу не исключена, поскольку тексты содержат общие ошибки (например, *ἀτίτλον*, вместо — *ἀγγέλον* в характеристике юного Константина, сына императора Михаила VII) [20 (II), с. 178.27].*

Проблема источников «Краткой истории»

Вопрос об источниках и традиции византийской хронографической литературы принадлежит к числу наиболее сложных. Трудность его решения определяется, во-первых, утерей ряда произведений, во-вторых, отсутствием критического издания большинства хроник. Ни одного автора, произведение которого послужило бы Пселлу источником, он по имени не называет. Из ряда мест «Краткой истории» можно заключить, что писатель пользовался не одним, а несколькими источниками. Так, Пселл, приводя разные версии о смерти римского императора Деция, начинает излагать их словами: «Другие же утверждают...» <W. Aerts, 1980/81, p. 28.92>; повествуя о Валериане, ссылается на «одного из историков» <W. Aerts, 1980/81, p. 30.25–26>, у которого он черпает свои сведения; рассказывая о Никифоре Фоке, упоминает о «многих тех, кто в то время или немного позднее издали о нем подробные сочинения» <W. Aerts, 1980/81, p. 98.82–83>.**

* <Подробное сопоставление обоих текстов см.: W. Aerts 1980/81. Критически оценил выводы Артса Ван Дитен (J. L. van Dieten, 1985).>

** <Все обнаруженные текстовые соответствия отмечены в комментарии

Детальное определение источников «Краткой истории» — дело будущего. Отметим здесь лишь многочисленные совпадения найденного сочинения со всемирной хроникой, доведенной до 948 г., разные версии которой в разных рукописях приписываются то Симеону Магистру и Логофету (возможно, идентичен Симеону Метафрасту), то Феодосию Мелитинскому, то Льву Грамматику [см. 253, с. 515 и сл.; издание текста см. 49].

В дальнейшем мы будем называть это сочинение «Хроникой» Симеона. Соответствия между двумя произведениями начинаются в рассказе о первых римских императорах и обнаруживаются вплоть до повествования об императоре Феофиле. Иногда совпадения бывают явными, лексическими, и занимают десятки строчек, иногда ограничиваются несколькими словами. В рассказах о некоторых императорах параллелизм выражается не лексически, а в отборе и порядке изложения фактов. Предложить прямое использование Пселлом «Хроники» Симеона трудно, ибо у писателя (при том, что «Краткая история» много короче «Хроники» Симеона!) содержатся факты, о которых «Хроника» умалчивает. Скорее всего, Пселл и автор «Хроники» пользовались одним источником.

Свой источник Пселл контаминировал с данными, почерпнутыми из других произведений, точнее определить которые пока не удается. Совершенно очевидно, что писатель не считает себя обязанным точно пересказывать свидетельства предшественников и весьма вольно передает их содержание. Любопытно, что в рассказах об императорах часто опущены реальные факты, сообщенные в «Хронике» Симеона, но вместо них появляется характеристика царей, логически вытекающая из этих «опущенных» фактов. Это вполне соответствует методу Пселла-историка, всегда предпочитающему описанию событий обрисовку образов.

В тексте нередки следы субъективного отношения автора к упоминаемым событиям и лицам. Смотри, например, замечания вроде: «как я считаю» (в рассказе о Константине и Ирине — <W. Aerts, 1980/81, p. 82.72>) или «Прокл, которого я считаю следующим после Платона» <W. Aerts, 1980/81, p. 52.37> и др.*

к изданию «Краткой истории». Проблеме источников этого произведения посвящен специальный раздел предисловия (р. XXIII-XXV).>

* <О субъективном характере «Краткой истории» и многочисленных случаях «авторского вторжения» в ее текст подробно см. в моих статьях:

«Вольность» Пселла в обращении со своими источниками великолепно иллюстрирует его ошибка в рассказе о замужестве будущей царицы Феодоры <W. Aerts, 1980/81, p. 86.43 сл.>. Рассказ этот (выборы невесты императором Теофилом, который предпочитает Феодору поэтессе Кассии) содержится в нескольких византийских источниках, в конечном счете восходящих к «Хронике» Симеона.³ Однако в «Краткой истории» Пселла появляется новая деталь: Феодора названа внучкой «справедливого Филарета». Это — фантазия. Согласно «Житию царицы Феодоры», Феодора — дочь Марина [26, с. 2]. Тем не менее догадаться, откуда у Пселла появилось имя Филарет, не так уж трудно. Писатель «спутал» этот рассказ с очень похожим эпизодом в известном «Житии Филарета Милостивого» (VIII в.), где говорится о выборе невесты для императора Константина. Последний выбирает внучку Филарета — Марию. Филарет и Мария, равно как и царица Феодора, были родом из Пафлагонии. Это обстоятельство, вероятно, и стало поводом для смешения. Пселл по памяти (на этот раз неудачно) дополняет рассказ своего источника.

Мы кратко остановились на характеристике «Краткой истории» Михаила Пселла, ибо нам придется неоднократно ссылаться на нее в ходе дальнейшего исследования.

Уже первыми исследователями было замечено, что «Хронография» составлена как бы из двух частей: первая кончается историей царствования Исаака Комнина, вторая начинается правлением Константина Дуки [108, с. III; 319, с. 133]. Свидетельство тому — сама лемма, перечисляющая имена всех императоров, история которых должна быть изложена в хронике. Этот реестр завершается Исааком Комниным, причем специально оговаривается, что изложение доводится до Константина Дуки [20 (I), с. I]. Единственное разумное объяснение этому факту может заключаться в том, что лемма относилась первоначально только к первой части, а затем была использована переписчиками для всего произведения в целом.⁴ О двучастном делении труда Пселла свидетельствует также

Ljubarskij, 1993; Я. Любарский, 1994, перепечатано в: Я. Любарский, 1999, с. 174–181.>

³ Все известные версии этого эпизода приведены в книге И. Рохов о Кассии [280, с. 5 и сл.].

⁴ И. Сикутрис полагает, что и эта лемма, и прибавленные к тексту названия отдельных разделов «Хронографии» Пселлу не принадлежат

и разная композиция частей: первая — подразделяется на семь «томов», во второй — подобное деление отсутствует. К сказанному можно также добавить, что Пселл уже в самом тексте сообщает о своем намерении закончить историю правлением Исаака Комнина [20 (II), с. 115.18 и сл.].

Однако никакого словесно выраженного завершения первая часть не имеет. Напротив, после изложения событий царствования Комнина писатель как бы хочет перейти ко времени Константина Дуки, история которого должна быть непосредственным продолжением его рассказа [20 (II), с. 138.12 и сл.]. Повествование о Константине Дуке также начинается как простое развитие предыдущего. Пселл, вероятно, мыслил вторую часть как продолжение первой и сам их «состыковал». Об этом же говорит и ссылка на предыдущее изложение в биографии Константина X [20 (II), с. 142.22–23]. В то же время писатель не позаботился устранить ряд возникших противоречий между частями вроде упомянутого уже заявления о том, что он хочет завершить историю событиями царствования Исаака Комнина.

«Хронография» не имеет предисловия — факт очень редкий в византийской историографии, вызывающий удивление многих ученых. Напомним в этой связи, что и «Краткая история» лишена предисловия. Не проявляется ли тут сознательная авторская установка?*

Труд историка Пселл взял на себя не добровольно, а по настоянию какого-то «самого дорогого из всех людей» [20 (I), с. 152.18]. Под этим анонимным другом чаще всего, начиная еще с К. Сафы, подразумевали Константина Лихуда. Высказывались также предположения об Иоанне Ксифилине, Иоанне Мавропode и даже императоре Константине Дуке. Последняя кандидатура сомнительна, что касается первых трех, то их «шансы» примерно одинаковы. Время издания первой части определяется обычно 1059–1063 гг. (нижний предел — отречение Исаака Комнина, верхний — смерть Константина Лихуда, упоминаемого как живого). Попытка И. Сикутриса ограничить время 1062–1063 гг. [301, с. 62 и сл.], с нашей точки зрения, малоосновательна. Напротив, как явствует из письма Пселла к друнгарию виглы некоему Махитарю [1 (V), № 108], писатель начал составлять «Хронографию» уже осенью 1057 г.

и являются добавлением редактора или переписчика [301, с. 62, прим. 5].

* <Попытку объяснить отсутствие проэпия в «Хронографии» сделал Х.-К. Снайпс (K. Snipes, 1991, с. 318–337).>

Адресат письма, видимо, обрушился на Пселла с нападками по поводу получения последним от Исаака Комнина титула проэдра (осень 1057 г.; см. выше, с. 223). В отместку писатель грозит расчитаться с ним в «Хронографии», которую он «составляет». Писалась первая часть, видимо, сразу (*in einem Zuge*, по выражению Сикутриса), а не по частям, как думает Р. Анастаси,⁵ и представляет собой единое произведение: писатель часто ссылается на самого себя, обещает что-то рассказать в будущем и, как правило, выполняет обещанное.

Вторую часть «Хронографии» Пселл начал писать уже после прихода к власти Михаила VII (в биографии Константина X писатель сообщает, что Михаил в будущем наследует его царство) [20 (II), с. 141.14 и сл.]. Более точно время можно определить по упоминанию младенца Константина Порфирородного — будущего жениха Анны Комниной, родившегося в 1075 г. [20 (II), с. 178]. В то же время продолжить «Хронографию» Пселл обещал уже Константи-ну Дуке [20 (II), с. 140.15 и сл.].*

Большие недоумения ученых вызывает обычно помещенное в конце рукописи «Хронографии» «Письмо царя к Фоке», содержащее призыв императора к мятежному «Фоке» воздержаться от бунта [20 (II), с. 182 и сл.]. Вопрос этот заслуживает специального рассмотрения.

⁵ Как уже отмечалось, Р. Анастаси пытается датировать отдельные части «Хронографии», исходя из послышки, когда Пселлу «выгодно» или «невыгодно» было их опубликовать. По мнению ученого, к Мономаху в «Хронографии» Пселл относится резко отрицательно, лукавому царедворцу имело прантический смысл развенчать своего прежнего покровителя в период прихода к власти так называемой «военной партии» (время Михаила VI Стратиготика, начало царствования Исаака Комнина), когда ниспровержением былых кумиров нетрудно было доказать преданность новым порядкам. Эта датировка подкрепляется двумя аргументами аналогичного свойства. Один из них касается отношения Пселла к монахам, другой — к представителям «военной партии», Георгию Маниаку, в частности. По мнению автора, оценка обоих сословий в этой части «Хронографии» соответствует позиции Пселла раннего периода царствования Исаака. Таким образом, «Хронография», по Анастаси, писалась не сразу, а частями, и в местах их соединений видны плохо заделанные швы.

* <Времени и обстоятельствам написания второй части «Хронографии» посвящена статья М. Agati, 1991. Ср. также: W. Aerts, 1980/81; R. Anastasi, 1975.>

Многие исследователи и комментаторы «Хронографии» отмечали искусственность присоединения письма к тексту произведения Пселла. Строя различные догадки о том, каким образом могло это письмо быть включено в «Хронографию», они, однако, не сомневались, что само послание представляет собой призыв императора Михаила VII к мятежному Никифору Вотаниату и должно датироваться концом 1077 г., временем, когда Никифор поднял восстание и провозгласил себя царем. В пользу такой атрибуции, казалось бы, непреложно свидетельствуют два обстоятельства. Во-первых, панегирист Никифора Вотаниата Михаил Атталиат возводит (явно легендарно!) род Вотаниатов к Фокам [50, с. 217 и сл.; 55, с. 172. II], и, таким образом, под «Фокой» вполне резонно можно понимать Никифора. Во-вторых, послание помещено в конце «Хронографии», обрывающейся на событиях царствования Михаила VII, и, следовательно, между «Письмом царя» и остальным текстом «Хронографии» имеется непосредственная хронологическая преемственность.

Существуют аргументы, заставляющие усомниться в традиционной атрибуции:

1) в «Краткой истории» Михаила Пселла «Письма» нет вовсе. Связь между «Письмом» и остальным текстом «Хронографии», следовательно, не столь уж бесспорна;

2) автор «Письма» именуется «Фоку» магистром. Однако к 1077 г. Никифор уже давно миновал эту иерархическую ступень. По официальному документу 1062 г., Никифор — проэдр [168, № 57.32]. Согласно моливдовулу, Никифор — судья Эллады и Пелопоннеса и протопроэдр [140, с. 3]. В 1073 г. Никифор — уже куропалат [50, с. 185.15; 55, с. 172.4]. Невозможно предположить, чтобы в «Письме», цель которого примириться с восставшим Никифоров, последний вместо куропалата был назван магистром;

3) в «Письме» говорится о «тяжком изгнании», «отчаянной бедности», «грязном плаще и рваных одеждах», от которых избавил «Фоку» царь, вернувший его из ссылки. О какой-либо ссылке Никифора нам вообще ничего не известно, хотя его жизненный путь прослеживается по источникам достаточно подробно. Правда, во время третьего похода Романа IV Диогена против сельджуков, незадолго до сражения при Манцикерте летом 1071 г. царь «отослал от себя Никифора Вотаниата и других таких же, как людей подозрительных» [55, с. 143.17 и сл.], но с «тяжким изгнанием» это не имеет ничего общего;

4) в «Письме» говорится о великих милостях, которыми царь осыпал вернувшегося из изгнания «Фоку». Можно понять, что «Фока» стал доверенным человеком при дворе, «ушами и оком» царя. Однако по другим источникам Никифор Вотаниат был при Михаиле VII назначен стратигом фемы Анатолика [50, с. 213.6 и сл.; 51, с. 117.14 и сл.]⁶ и таким образом должен был находиться вдали от столицы и никак не мог выполнять тех функций, которые ему приписываются в «Письме»;

5) в «Письме» упоминаются отец и брат «Фоки», которым царь оказывал благодеяния. Ни о каком брате Никифора в других источниках не говорится вовсе, хотя Михаил Атталиат, посвятивший восхвалению рода Вотаниатов несколько страниц своей «Истории», видимо, не преминул бы о нем рассказать. Что же касается отца Никифора, то он (Михаил Вотаниат) еще в 1014 г. сражался с болгарами [45, с. 350], а в 1079–1080 гг., когда писалась «История» Атталиата, был уже мертв, ибо историк рассказывает о нем в прошедшем времени [50, с. 230.22 и сл.]. Теоретически можно себе представить, что глубокий старец Михаил еще жил в 1077 г., но это маловероятно, ибо сам Никифор к тому времени был уже человеком, «подавленным старостью и годами» [51, с. 5.12].

Какой же из многочисленных узурпаторов, известных в византийской истории, мог быть адресатом этого письма? Первое и самое естественное предположение, что Фока — мятежный феодал Варда Фока, поднявший в 987 г. восстание против императора Василия II Болгаробойцы. Предположение это кажется тем более правдоподобным, что о мятеже Варды Фоки рассказывается в «Хронографии» Пселла, к которой «Письмо» приложено. Рассмотрим, насколько данные самого «Письма» соответствуют этой гипотезе.

1. Варда Фока, поднявший мятеж и объявивший себя императором 15 августа 987 г., обладал в то время титулом магистра (45, с. 324).

2. В 971 г., после первого своего мятежа против Иоанна I Цимисхия, Варда Фока был схвачен, пострижен в монахи и отправлен в ссылку на о-в Хиос [45, с. 294; 48, с. 126]. Из ссылки его вернул в 978 г. император Василий II, когда войска восставшего Варды Склира приближались к столице и фаворит императора паракимомен

⁶ По словам Вриенния, Вотаниат «давно был назначен царем стратигом Анатолика».

Василий нашел в Фоке достойного противника в борьбе против мятежника [45, с. 324].

3. Возвращенному из изгнания Варде Фоке Василий «в избытке предоставил богатств, почтил титулом магистра и назначил его домашним схол» [45, с. 324 и сл.; ср. у Пселла — 20 (I), с. 5.17 и сл.].

4. Отец Варды Фоки, Лев Фока, ставший куропалатом при Никифоре II, поднял в 969 г. мятеж против Иоанна I Цимисхия, был сослан на Лесбос, приговорен к смерти, но помилован. Позже он поднял новый мятеж, однако его схватили и отправили на остров Проти и там ослепили. Судьбу Льва Фоки разделил и его сын, брат Варды — Никифор [45, с. 303; 36, с. 149]. О дальнейшей судьбе Льва и Никифора Фок в источниках ничего не говорится, но, естественно, что после приближения ко двору Варды они тоже должны были возвратиться из изгнания.

Таким образом, все данные «Письма», противоречащие его традиционной атрибуции, получают вполне удовлетворительное объяснение, если мы сочтем «Письмо» за послание Василия II Варде Фоке.

Хорошо согласуются с этой новой атрибуцией и другие детали «Письма».

«Тебе одному открывал я то, что тайл от брата и матери», — пишет царь [20 (II), с. 183.1]. Брат Василия Константин был формальным соправителем царя, и потому доверие, большее, чем брату-соправителю, должно было означать огромную милость. Мать Василия и Константина — Феофано находилась в Константинополе, ибо ее вернули из ссылки сразу после прихода к власти сыновей.

«С твоей помощью мечтал я унять разгулявшуюся бурю», — пишет царь [20 (II), с. 183.17]. «Разгулявшаяся буря» — мятеж Варды Склира, для подавления которого и был возвращен из ссылки Варда Фока.

«Мы только себе делаем хуже, полагая, что пожар можно гасить маслом», — жалуется царь [20 (II), с. 183.22 и сл.]. «Гасить маслом пожар» означает в данном контексте посылать против одного мятежника (Варды Склира) другого (Варду Фоку). Нейтральная, казалось бы, фраза приобретает вполне конкретный смысл.

«Утверждают, что ты взялся за оружие, чтобы наказать меня, будто претерпев от меня величайшую обиду и зло...» [20 (II), с. 184.1 и сл.]. Комментарием к этому заявлению могут служить слова Скилицы, объясняющего причины мятежа Варды Фоки:

«Ромейские вельможи, Варда Фока и те, кто был с ним, разгневались на царя за то, что он, отправляясь на войну с болгарами, пренебрег ими» [45, с. 332]. О пренебрежении, с которым начал относиться к Фоке Василий II, пишет и сам Пселл в «Хронографии» [20 (I), с. 7.12 и сл.].

Как могло «приклеиться» к «Хронографии» это «Письмо»? Быть может, Пселл, собирая материал для исторического труда, законспектировал послание, и позднее оно было включено переписчиком в текст. Возможны и другие предположения. Это уже, однако, область гипотез. Без сомнения только, что существует гораздо больше оснований считать это послание письмом Василия II Варде Фоке, а не Михаила VII Никифору Вотаниату и относить его, таким образом, не к 1077, а к 987 г.

Если наши рассуждения справедливы, вопрос о «Письме царя к Фоке» к проблеме «Хронографии» отношения не имеет.*

2. ЖАНРОВЫЕ ОСОБЕННОСТИ. КОМПОЗИЦИЯ

Средневековые писатели, как известно, обычно определяли жанр своего сочинения уже в заголовке (лемме) рукописи [см. 88, с. 42 и сл.]. Само заглавие сочинения Пселла — «Хронография», содержащееся в лемме, представляет собой жанровую характеристику. Начиная с К. Крумбахера ученые различают в византийской историографии две жанровые линии, так называемые «хронографии» и «истории». Принято считать, что «хронографии», начинавшие изложение событий чаще всего от сотворения мира или «от Адама», писались полуобразованными монахами, адресовались непритязательным монашеским кругам и распределяли материал в хронологическом порядке. Напротив, «истории» создавались образованными вельможами и чиновниками и были посвящены современным автору событиям [подробно см. 182]. Условность строгого деления между двумя поджанрами историографии показал уже Х.-Г. Бек [136]. Лучшим опровержением традиционной точки зрения могут служить и исторические сочинения самого Пселла: непритязательная «Краткая история», начинающаяся если не «от Адама», то от Ромула,

* «Насколько мне известно, моя атрибуция «Письма царя к Фоке» не вызвала серьезных возражений специалистов.»

по авторскому определению — история, а обширная и ученая «Хронография», посвященная главным образом современному писателю событиям, — хронография.* Оба произведения принадлежат одному писателю. Чужда Пселлу терминологическая строгость и в самой «Хронографии», которую он в тексте своего сочинения называет то «хронографией» [20 (I), с. 101], то «историей» [20 (I), с. 32.10, с. 130.12, 140.12; 20 (II), с. 70, 76.20, 160.5].**

В одном случае писатель несколько подробней останавливается на жанровой специфике своего произведения. Заявив о том, что он не собирается писать подробной истории и вдаваться в детали, Пселл продолжает: «...поэтому-то я и опустил в истории многое, достойное упоминания, не расчленил ее по олимпиадам и не разделил, подобно историку (Фукидиду. — Я. Л.), по временам года, но просто повествую о наиболее важном и о том, что у меня всплывает в памяти, когда я пишу. Как я уже сказал, я избегаю сейчас подробного рассказа о всех событиях и предпочел средний путь между теми, кто писал о владычестве и деяниях Древнего Рима, и теми, кто в наши дни создает хронографии; я не подражаю ни пространному изложению первых, ни сжатости последних, чтобы мое сочинение не вызвало скуки, но и не опустило ничего существенного» [20 (I), с. 152.19 и сл.]. В приведенном отрывке высказаны три сознательные авторские установки. Прежде всего, Пселл отказывается от анналистической традиции в расположении материала. Во-вторых, Пселл открыто провозглашает мемуарный характер своего сочинения. Фраза: «...просто повествую о наиболее важном и о том, что у меня всплывает в памяти, когда я пишу» — стереотип мемуарной литературы любой эпохи. И наконец, в-третьих, Пселл говорит о своей промежуточной позиции между древними историками и современными ему авторами хронографических сочинений.⁷

* <Проблему «историк—хронисты» я пытался подробнее осветить в своей статье: Я. Любарский, 1988.>

** <Сомнение в том, что название (оно же — жанровое определение) «Хронография» принадлежит самому Пселлу, выразил Г. Хунгер (H. Hunger, 1978. S. 377). Вполне основательно Г. Хунгеру возразил Р. Анастаси (R. Anastasi 1978).>

⁷ По мнению Э. Рено [20 (I), с. 152, прим. 3], Пселл имеет здесь в виду, с одной стороны, Дионисия Галикарнасского, с другой — Скилицу. И то, и другое отождествление представляется нам недоказанным. Под греческими историками, писавшими о Древнем Риме, вполне могли

Мемуарный характер «Хронографии» бросается в глаза уже при первом чтении: Пселл не только постоянно вводит себя в рассказ в качестве наблюдателя или участника событий, но и пропускает весь исторический материал сквозь призму авторского восприятия. В этом отношении у Пселла нет равных в предыдущей византийской историографии. Как видно из цитированного нами отрывка, Пселл не связывает себя ни с каким традиционным историографическим жанром, хотя и ощущает некоторую зависимость от них и резервирует себе свободу в расположении и выборе материала. Действительно, у Пселла нет образца, которому бы он сознательно подражал, хотя такая практика и была в обычае византийской историографии. Напомним, что относительно недалекий предшественник Пселла Лев Диакон часто настолько рабски следовал за своим образцом, историографом VI в. Агафием, что подчас трудно определить, что в его описаниях от реальности, а что от литературного прототипа [113]. В этом смысле «Хронография» Пселла совершенно оригинальна.

Тем не менее жанровые корни у «Хронографии» есть. Х.-Г. Бек, писавший об условности разделения историографии на жанровые подвиды, все-таки признавал наличие у «истории» и «хронографии» определенной специфики в выборе, организации и расположении материала. Отнеся в лемме свое сочинение к хронографическому поджанру, Пселл, нам кажется, старается выдержать его принципы. «Хронография», как говорилось, не имеет предисловия и начата так, будто ее изложение примыкает к какому-то предыдущему рассказу (не исключено, что к рассказу «Краткой истории» самого Пселла). По крайней мере две первые биографии (Василия II и Константина VIII) изложены не по личным воспоминаниям, а по литературным источникам. Об этом сообщает и Пселл: «Как я слышал от историков, которые его (Василия II. — Я. Л.) описывали» [20 (I), с. 4.4]; «Таким изображает этого мужа (Константина VIII. — Я. Л.) сочинение, в котором он описывается» [20 (I), с. 25.11].

подразумеваться Полибий или Дион Кассий, хорошо известные в Византии того времени. Что же касается Скилицы, то вряд ли он способен служить примером хронографической краткости. Трудно также предположить, что Пселлу в период написания первой части «Хронографии» уже было известно сочинение Скилицы.

О предполагаемом здесь источнике можно только догадываться. Единственный параллельный Пселлу памятник, повествующий о событиях того времени, — сочинение Иоанна Скилицы. Скилица пользовался для своего труда письменными источниками. Трудно себе представить, чтобы Пселл, самый образованный человек своей эпохи, не знал сочинений, использованных Скилицей. Обычных признаков наличия общего источника — лексических совпадений и точного соответствия порядка изложения — между Пселлом и Скилицей обнаружить не удастся. Тем не менее, по нашему мнению, имеются следы знакомства обоих авторов с одним и тем же письменным памятником. Все немногочисленные факты и практические детали, приведенные Пселлом в этой биографии, встречаются и у Скилицы: расправы Константина с заговорщиками; приближение ко двору незнатных евнухов; назначение наследником Романа Аргира. Подобных совпадений нет больше ни в одном из разделов сочинений этих авторов. Их зависимость от одного источника, нам кажется, особенно ясно видна в двух последних упомянутых уже эпизодах. Фраза Скилицы: «От дочери патрикия Алипия, на которой он женился еще при жизни Василия, у Константина было три дочери, старшая из них, Евдокия, приняла постриг» [45, с. 374.11 и сл.] — развернута у Пселла в целый эпизод, в котором, однако, нет никаких практических сведений, кроме данных Скилицей. Заполняют же эпизод главным образом характеристика жены и старшей дочери Константина (у Скилицы таких характеристик не бывает вовсе). Обращает на себя внимание совпадение у обоих авторов необязательных деталей: Константин женился еще при жизни Василия, его жена — дочь Алипия и т. д. Во многих частностях совпадают и рассказы о поисках и назначении престолонаследника Константина (первоначальное обращение к Константину Далассину, сопротивление жены Романа, ее постриг и т. д.).

Авторы французского и английского переводов Э. Рено и Сюэтер полагают, видимо, что речь здесь идет об устной традиции. «Сочинение, в котором он описывается (ὁλογράφον ὁ λόγος)», они переводят как *les récits et tradition*.*

Рассказы о царствованиях отдельных императоров, наконец, выделены у Пселла (не только в «Хронографии», но и в «Краткой

* <В итальянском переводе С. Ронкей — *racconti*. Комментатор итальянского издания «Хронографии» (У. Крискуоло) объясняет это как «ссылку на источники письменные и устные».>

истории») в отдельные, снабженные заголовком главки. Все это черты не «истории», а «хронографии», в традиционном крумбахеровском смысле слова, и, точнее, того подвида «хронографии», который в научной литературе получил наименование «императорских хроник» (Kaiserchronik), представленных Иоанном Малалой, Симеоном Логофетом, Георгием Монахом, Иоанном Скилицей и др.

Такое парадоксальное сближение не может не вызвать протеста исследователей и читателей. Действительно, что может быть общего между непритязательной «монашеской» хроникой и одним из самых совершенных созданий византийской литературы, произведением учнейшего Пселла! Однако дальнейшее рассмотрение структуры «Хронографии» только убеждает в справедливости такого вывода. Начнем с жизнеописания Константина VIII. Этот выбор определяется соображениями удобства: биография Константина невелика, легко обозрима, в ней нет столь характерных для Пселла обширных отступлений, затемняющих основную структуру рассказа. Наша задача: выделить композиционную схему биографии и выяснить, насколько она приложима к другим жизнеописаниям. Вот краткий план биографии Константина: 1) восшествие на престол (гл. I, 1–6); 2) нрав (гл. 1.7–11); 3) щедрость (гл. III); 4) женитьба Константина, его дочери (гл. IV–V); 5) передача управления ученым людям, любовь к представительству (гл. VI); 6) любовь к зрелищам и прочим развлечениям (гл. VIII–IX); 7) поиски наследника, смерть (гл. X).⁸

Первый и последний пункты приведенного плана (восшествие на престол, смерть, иногда постриг) представляют композиционную и логическую рамку биографии и являются обязательным компонентом всех жизнеописаний. Объем этих разделов (мы называем эти пункты ввиду их обязательности первым и последним разделами той «идеальной» схемы пселловских биографий, которую намерены установить) может быть различным: от сухого сообщения до подробного повествования об обстоятельствах принятия власти или смерти. Что же касается остальной, средней части биографии, то и она четко делится на два раздела, которые мы условно назовем «предварительной характеристикой» (гл. II–III) и «детальной характеристикой» или «деяниями» (гл. VI–IX).⁹ Формальной границей

⁸ Мы ссылаемся здесь и дальше на главки, на которые текст «Хронографии» разбит в издании Э. Рено.

⁹ Необходимость введения двух терминов будет очевидна из дальнейшего.

между обоими разделами служит фраза: «Пусть же мой рассказ характеризует самодержца, ничего не прибавляя и ничего не отнимая от действительности» [20 (I), с. 28.1–2].

Разделы отличаются друг от друга своей структурой. Первый из них представляет собой характеристику императора, построенную по чисто эйдологическому принципу: без стремления установить какую-либо хронологическую последовательность Пселл перечисляет свойства Константина и сообщает некоторые сведения, кажушиеся ему наиболее существенными. Третий раздел построен иначе: первая же его фраза возвращает читателя к моменту принятия Константином единодержавной власти [20 (I), с. 28.22], а заканчивается он сообщением о смерти. В отличие от второго раздела здесь видна тенденция построить рассказ во временной последовательности.

К биографии Константина VIII в композиционном отношении ближе всего жизнеописание Михаила IV [20 (I), с. 53–85].

И здесь повествование, заключенное между рассказами о восшествии на престол и постригом, смертью императора, четко делится на два раздела — «предварительную характеристику» и «деяния», или «детальную характеристику». Так же, как в биографии Константина VIII, после предварительной характеристики императора рассказ возвращается к началу царствования Михаила. И опять, в третьем разделе, в отличие от второго, ощутимо хронологическое движение материала.

Такая же четырехчленная схема — «восшествие на престол», «характеристика», «деяния», «смерть или постриг» — прослеживается и в большинстве других разделов «Хронографии». Не так уж трудно обнаружить и ее истоки: по четырехчленной схеме строятся и почти все разделы «Хроники» Иоанна Малалы, и «Хроники» Симеона Логофета. Появление последнего произведения в этом контексте особенно знаменательно. Вспомним, у «Хроники» Симеона общий источник с «Краткой историей» Пселла... Обнаруживается тот путь, по которому схема построения «императорских хроник» могла попасть и в пселловскую «Хронографию».

И все-таки между «Хронографией» и хрониками Малалы или Симеона лишь то сходство, которое может существовать между шедевром и примитивом. На фоне этого сходства только явственнее проступают различия. Для того чтобы это продемонстрировать, мы прибегнем к методу сравнения, но объектом своим выберем не «Хронику» Симеона, а «Историю» Иоанна Скилицы. Такой выбор

имеет несколько оснований. Во-первых, сочинение Скилицы — тоже «императорская хроника», и, таким образом, мы остаемся в пределах одной жанровой разновидности, во-вторых, Скилица — современник Пселла, в-третьих, по историческому материалу произведения Пселла и Скилицы частично совпадают, и различие в предметах изображения не помешает делать выводы.

Об Иоанне Скилице, написавшем в самом конце XI в. обширное хронографическое сочинение, частично описывающее современные автору события, нам почти ничего не известно. Уже это обстоятельство дает материал для сопоставлений. Жизнь Пселла — по одной только «Хронографии»! — мы можем проследить по годам, а в эпизоде с посольством к мятежному Исааку Комнину — даже по часам. Если Скилица сознательно самоустраняется из рассказа — и в этом он продолжает традицию нарочито «анонимных» византийских хроник, то «Хронография» Пселла — почти мемуары. Иначе организован у Скилицы и исторический материал. Следует при этом оговориться, что структура разных «биографий» в сочинении хрониста не совсем однородна, и зависит, видимо, от источников, которыми он пользовался.

Вот как, например, построен рассказ Скилицы о царствовании Михаила IV (1034–1041). Хронист начинает «биографию» повествованием о событиях во дворце, об интригах «первого министра» — Иоанна Орфанотрофа, о заговорах против императора и его родственников, но вскоре эта «дворцовая» история перебивается самыми разнообразными эпизодами, не имеющими между собой никакой внутренней связи. «На одном уровне» повествует Скилица о мероприятиях Иоанна Орфанотрофа, о граде, побившем посевы, «падении» звезды, о болезни императора, о варяге, пытавшемся изнасиловать некую женщину во Фракисии и убитом ею, о тучах саранчи, напавших на поля, о вещем сне, виденном неким священнослужителем, о возмущении жителей Антиохии, о землетрясении в Иерусалиме, о наступлении арабов, о нападении печенегов и т. д. Мы перечислили события в том порядке, в каком приводит их Скилица в начале рассказа о времени Михаила IV. Не станем продолжать перечня: принцип организации исторического материала ясен и из уже сказанного. Сочленение эпизодов чисто хронологическое. «В том же году...», «В это же время...» — такими замечаниями пестрит текст хроники, и они, по сути дела, — единственные связующие звенья между эпизодами. Естественно, что события,

продолжительные по времени, расчленяются и попадают в различные части произведения. При строгой хронологической закреплённости эпизоды лишены не только причинных, но и территориальных связей. Действие рассказа с лёгкостью переносится из Константинополя в отдалённую малоазийскую фему, а оттуда в Сицилию, Болгарию или на Русь. Местом действия хроники практически оказывается вся византийская ойкумена. В такой композиции нетрудно увидеть трансформацию принципов анналистической историографии.

Весьма характерно особое внимание автора к всевозможным природным явлениям и «чудесам». Пожары, засухи, «падения» звезд, землетрясения и прочее — все старательно фиксируется Скилицей (одних землетрясений в рассказе о времени правления Михаила IV насчитывается более десяти!). В ряде случаев Скилица даже комментирует эти явления. Град, побивший посевы, — знак Божий, ибо Господь недоволен незаконным способом, которым новый царь пришел к власти, налет саранчи — наказание ромеям за нарушение божественных заповедей, землетрясение — кара царю Михаилу и т. д. Но и без авторского толкования византийский читатель воспринимал эти экстраординарные явления как знамения высшей воли и потому несколько не удивлялся соседству сообщений о них с рассказами о войнах, заговорах и других политических событиях. Рассказы о чудесах, необычных явлениях и стихийных бедствиях как бы коррелировали реальные исторические события с бдящим божественным Промыслом.

У Пселла в биографии Михаила IV, как, впрочем, и в других разделах «Хронографии», ни о каких «чудесах» и природных явлениях речь не идет вовсе, все повествование концентрируется вокруг человеческих поступков и реальных исторических событий. Если у Скилицы повествование свободно переносится в любую точку византийской ойкумены, то у Пселла оно сосредоточено вокруг императорского дворца, а точнее, вокруг личности самого императора. Лишь один раз переносит Пселл действие из Константинополя в Болгарию и то лишь потому, что туда отправился сам царь.

Весь рассказ о Михаиле IV строится на иных структурных принципах, чем у Скилицы. Начав биографию, как и положено, с сообщения о воцарении Михаила (гл. I—V), историк тут же переходит к характеристике царя (гл. VI—VIII). Закончив ее, Пселл заявляет о необходимости «вернуть к началу свой рассказ», и далее естественно было

бы ожидать повествования о «деяниях императора» (пункт третий той идеальной четырехчленной схемы, которую мы выше пытались установить). Такое повествование действительно следует, но построено оно весьма оригинально. Вторично похвалив Михаила за его добрые свойства, Пселл указывает на единственный недостаток царя — низменные качества его братьев (гл. X). Это замечание дает ему основание подробно описать и братьев (гл. XII–XV). Затем Пселл возвращается к Михаилу, говорит об изменившемся его отношении к царице Зое (гл. XVI и сл.) и видит главную причину этой перемены в болезни императора. Отныне мотив царского недуга становится ведущим и сквозным в биографии. Пселл повествует о страданиях царя (гл. XVIII), а потом предлагает читателю посмотреть, что делал царь между приступами болезни. В следующей короткой главе «о времени между приступами болезни» (гл. XIX) Пселл умудряется уместить рассказ о всей внешнеполитической и внутривластной деятельности Михаила! «Постигшая болезнь уже грозила его жизни, а Михаил как ни в чем не бывало занимался делами», — такими словами заканчивает Пселл этот раздел. И как бы вновь подхватив мотив царского недуга, Пселл продолжает его развивать. Болезнь и приближающийся конец императора активизируют интриги Иоанна Орфанотрофа, обеспокоенного судьбой царского наследия и желающего закрепить власть за своим родом. Его усилия приводят в конце концов к усыновлению Зоей царского племянника Михаила — будущего императора Михаила V. После характеристики Михаила (Пселл никогда не упускает случая набросать портрет упомянутого персонажа!) историк вновь возвращается к мотиву болезни: умирающий царь строительством храма и другими богоугодными делами хочет обеспечить себе спасение в загробной жизни (гл. XXXI–XXXVII). Пселл собирается уже завершить рассказ, но, вновь с похвалой упомянув царя, считает необходимым в подтверждение своего мнения, «выбрав один эпизод из многих», поведать о подавлении Михаилом болгарского восстания Петра Деляна. Впервые на протяжении всей биографии (как иллюстрация положительной оценки героя!) идет более или менее подробное повествование о внешнеполитических событиях и действиях императора (гл. XXXIX–L). Из болгарского похода Михаил возвращается еле живым, и это делает естественным переход к рассказу о его постриге и смерти (гл. LI и сл.). Фактически раздел «деяния» оказывается здесь новой, только уже «детальной» характеристикой императора.

Подобно Скилице, Пселл повествует о Михаиле IV с момента его восшествия на престол и до самой смерти, но как различается структура их рассказов (мы отвлекаемся сейчас от разницы в оценке императора!): у Скилицы элементарная от года к году повременная смена разрозненных событий, у Пселла, вообще не называющего ни одной даты, — сложное движение и взаимосвязь эпизодов. Группируются они вокруг личности царя, сочленены словесно-ассоциативной связью и в большинстве случаев «зацеплены» за сквозной мотив царского недуга, к которому рассказ неизменно возвращается. Вместо временного развития здесь ассоциативное движение авторской мысли, лишь имитирующее движение хронологическое.

В некоторых случаях ассоциативные связи, используемые Пселлом и создающие иллюзию хронологического развития, носят даже характер словесно-риторического трюка. Прекрасный в этом отношении пример содержится в уже упомянутой выше биографии Константина VIII. Охарактеризовав своего героя, автор, как и положено, должен закончить рассказ сообщением о его смерти, и тут Пселл говорит об увлечении Константина игрой в кости, после чего следует фраза, которую лучше всего передать на русский язык образом, заимствованным из области игры не в кости, а в карты: «И вот его, ставящего на карту державу, таким образом постигла смерть» [20 (I), с. 30.15].

Разницу между Скилицей и Пселлом нетрудно, очевидно, объяснить несопоставимым интеллектуальным уровнем авторов. Первый — «один из самых сухих и, по-видимому, совершенно тупых византийских хронистов» (мы приводим крайнюю и не совсем справедливую характеристику К. Крумбахаера), второй — самый блестящий ученый и ритор эпохи. Безусловно, риторическая техника, которой великолепно владел Пселл и которая уже в X в. все больше проникает в историографию [209], оказала на структуру «Хронографии» огромное влияние. Можно определенно утверждать, что именно из риторики заимствовал Пселл изощренное умение пользоваться ассоциативными связями и словесными сцеплениями, что, подобно Плутарху, он решает «исторические задачи риторическими средствами» [314, с. 59].

Повременем, однако, делать выводы. Продолжим рассмотрение композиции «Хронографии».

Установленное деление на четыре раздела, восходящее, как мы видели, к византийским хронографическим сочинениям, характерно

почти для всех жизнеописаний. Основным из этих разделов, естественно, оказывается «детальная характеристика». Композиционное различие между биографиями более всего сказывается в разнице методов построения этого основного раздела. Принцип словесно-ассоциативной связи соблюдается почти везде, однако во многих жизнеописаниях появляется и нечто новое, о чем речь пойдет ниже. Начнем с биографии наиболее показательной — жизнеописания Исаака Комнина.

Раздел третий этой биографии начинается с общих рассуждений о том, почему Исааку не удалось достичь своих целей [20 (II), с. 114.15 и сл.].¹⁰ Вскоре, однако, Пселл «спохватывается» и заявляет, что во избежание сумбура повествования он последовательно расскажет, во-первых, о том, как чрезмерно расплодилось тело государства, во-вторых, как Исаак принялся отсекать его большие члены, и, в-третьих, как у императора ничего из этого не вышло. (В рассказе об Исааке Пселл пользуется распространенной метафорой: тело государства болезненно вздулось, и император лечит его прижиганиями и хирургическими операциями.)* Таким образом, сам Пселл предупреждает о трехчастном делении основного раздела биографии и строго его придерживается, расчлняя свой рассказ на три «периода» (καίροί) жизни государства и императора.

«Первый период» — время прогрессирующей болезни государства.¹¹ «Второй период» — время, когда император, принявшись

¹⁰ Пселл заканчивает второй раздел этой биографии словами: «Этого достаточно ему для энкомия». Характерно, что термином «энкомий» писатель обозначает здесь «эйдологический» раздел своего сочинения, по принципам построения действительно напоминающий энкомий.

* <Л. Кресчи усматривает в этом пассаже заимствование из Гиппократа: L. Cresci, 1987.>

¹¹ Пселл заканчивает рассказ об этом периоде: «Таков первый период (ὁ μὲν οὖν πρῶτος καιρός οὗτος), который вместо людей породил многочисленных животных, столь разжиревших, что потребовалось немало очистительных лекарств...» [20 (II), с. 118.3 и сл.]. Слово καιρός Сьютер переводит в данном случае crisis, Reno — circonstance. Между тем καιρός в этой биографии всегда имеет специфическое значение: «период». Так, говоря о некоторых скоропалительных мероприятиях императора, Пселл пишет, что Исаак υπεράλλεται καὶ τούτου τὸν καιρὸν (с. 120.9), т. е. «перемахнул через этот период», как бы проводил нужные мероприятия, но не в свое время. Рено считает эту фразу неясной. Ср. дальше [20 (II), с. 121.10 и сл.]:

за лечение государства, некстати применил быстродействующие средства.¹² И наконец, «третий период» — время, когда характер императора резко изменяется.¹³ Исаак Комнин становится подозрительным и суровым, отходит от дел, проводит весь свой досуг на охоте. Последнее дает возможность Пселлу путем ассоциативной связи перейти к рассказу о болезни императора (он простудился на охоте), а уж от болезни, логически, — к отречению, поискам наследника и т. д.

Как можно заключить из слов писателя, «первый период» включает в себя годы, предшествующие правлению Исаака, начиная со времени царствования Василия II (именно тогда «тело государства» начало раздуваться), а также начальный этап царствования самого Исаака. Наиболее подробно повествует Пселл о «втором периоде», когда император пытался «лечить тело государства». Фактически писатель рассказывает здесь о мероприятиях Исаака во внутренней и внешней политике. Примечательно, что прагматическая история и в этом случае мало интересует Пселла: в композиционном отношении изложение исторических фактов подчинено тезису о скоропалительности решений императора и заключается выводом о резком изменении характера Исаака под влиянием событий. Сообщение об этом изменении и составляет композиционную грань между второй и третьей частями («периодами») третьего раздела.

Таким образом, основной раздел биографии Исаака в гораздо большей степени, чем в рассмотренных выше жизнеописаниях, выдержан хронологически. Однако ведущим принципом оказывается здесь не временная последовательность, а «хронология характера» героя. То, что этот принцип не является случайным, должен показать анализ других жизнеописаний.

«Если бы император предназначил для своих дел нужные периоды, то он бы вместо беспорядка установил бы порядок...» <Правильно в итальянском переводе С. Ронкей — fase.>

¹² «Я не ставлю этому мужу в упрек начинания, но я осуждаю его за период (τὸν καθόν), который он выбрал для своих ошибочных действий». «Повременем говорить о третьем периоде, подробнее расскажем о втором» [20 (II), с. 118.28 и сл.].

¹³ «Таким образом, нрав императора изменился, кончился второй период, и с этого момента начался третий» [20 (II), с. 128.13 и сл.].

«Хронография» начинается рассказом о Василии II. Пселл основывается в нем уже не на личных воспоминаниях (как при написании биографии Исаака Комнина), а на каком-то неизвестном источнике. Интересно, что именно из него Пселл, по-видимому, почерпнул сведения об изменении характера Василия — факт, положенный в основу жизнеописания. «Как я слышал от историков, которые описывали Василия II, — замечает Пселл, — император вовсе не был таким; напротив, от распущенного и изнеженного он перешел к строгому образу жизни, обстоятельства как бы укрепили его нрав, сделал крепким то, что в нем было расслабленным, твердым то, что было размягченным, и целиком преобразили его жизнь» [20 (I), с. 4.4 и сл.].

Упомянув в самом начале третьего раздела¹⁴ о трансформации нрава Василия II, Пселл сразу же приступает к изложению тех событий, которые к этой трансформации привели: восстаний Варды Склира и Варды Фоки. Как и в других биографиях, прагматическая история оказывается своеобразным комментарием к характеристике нрава императора, расширенным изложением обстоятельств, приведших к изменению характера правителя. Лишний раз это подчеркивается в конце рассказа: «С этого момента (имеется в виду гибель Варды Фоки. — Я. Л.) император стал совершенно другим. Стал подозрительно относиться ко всему...» [20 (I), с. 11.26].

1. Таким образом, изменение характера опять оказывается композиционным рубежом в биографии. Остальная часть третьего раздела посвящена «деяниям» «изменившегося» императора, проявляющего дурные свойства нрава. Пселл описывает расправу с паракимомеом Василием, постепенное отстранение от власти брата Константина, приближение незнатных людей, накопление сокровищ и т. д. Следует при этом учесть, что изменение нрава Василия Пселл датирует концом 80-х годов, а события его последующего почти сорокалетнего царствования излагаются без распределения во времени (вместо хронологической связи и здесь — ассоциативное сцепление эпизодов). Как и в биографии Исаака, Пселла больше интересует хронология характера, чем хронология событий. Скорее всего, именно это обстоятельство и приводит Пселла в некоторых случаях

¹⁴ Второй раздел этой биографии — традиционное сличение характеров (снукрисис) братьев: Василия и Константина [20 (I), с. 2 и сл.].

к нарушению реальной хронологии. Так, согласно Пселлу, изгнание паракимомена Василия произошло после гибели Варды Фоки, т. е. после 989 г. На самом деле паракимомен был отстранен от дел четырьмя годами раньше. Поскольку борьба с Фокой, по Пселлу, — одна из причин изменения характера Василия, а изгнание паракимомена — результат этого изменения, реальное хронологическое соотношение фактов искажено. Иными словами, хронологическая ошибка — следствие своеобразного авторского способа расположения материала.

Наблюдения, сделанные при анализе биографий Исаака Комнина и Василия Болгаробойцы, можно подтвердить и примером жизнеописания Романа III Аргири [20 (I), с. 32 и сл.].

После ярко выраженного здесь второго раздела («Так вернемся же к рассказу о происхождении его власти», — заканчивает Пселл «предварительную характеристику» императора [20 (I), с. 34.10]), Пселл обращается к началу царствования Романа. Рассказывая о его правлении, он дважды отмечает изменение характера этого императора. Более других самодержцев склонный прежде к раздачам и благодеяниям, Роман, «будто с ним случилось какое-то неожиданное и непредвиденное изменение... стал вдруг совсем непохож на себя» [20 (I), с. 35.9 и сл.]. Это первое изменение характера приводит к резкому ухудшению отношений Романа с женой — Зоей.

Однако композиционное значение имеет тут главным образом новый сдвиг в характере императора после неудачной кампании против «сарацин» (1030 г.): «Терзаясь душой от пережитых огорчений, он резко переменился и обратился к образу жизни, ему не привычному» [20 (I), с. 40.6]. Надеясь вернуть растраченные на войне богатства, Роман стал теперь похож скорее на сборщика налогов, чем на императора. Это заявление дает писателю возможность перейти к описанию мероприятий, предпринятых императором, которые служат как бы иллюстрацией к высказанной мысли.

В определенной степени к этому же типу биографии примыкает и жизнеописание императора Романа Диогена, хотя роль композиционного стержня здесь выполняет не факт резкого изменения нрава, а нечто другое. Во втором разделе («предварительная характеристика») Пселл сообщает об основных, с его точки зрения, свойствах Романа: император был человеком лукавым и бахвалом (так лишь приблизительно можно передать значение эпитетов *εἰρωνικός* и *ἀλαζών*), он стремился к самовластию в управлении всеми делами [20 (II),

с. 158]. Именно эти качества, по Пселлу, и заставили Романа отправиться в первый поход против сельджуков в 1068 г. Успех кампании становится для императора «предлогом для бахвальства» [20 (II), с. 159.12]: Роман третирует императрицу, благодаря которой получил престол, и т. д.

Но еще больше наглое бахвальство императора возрастает в результате успешного окончания похода в 1069 г. [20 (II), с. 160.22]. С императрицей он уже обращается, как с пленницей, а кесаря Иоанна Дуку даже собираются предать смерти. И наконец, высшим выражением «бахвальства» императора становится третий, закончившийся трагедией при Манцикерте поход 1071 г. Неудача служит естественным поводом для Пселла перейти к рассказу о драматических перипетиях судьбы Романа последних месяцев его жизни (плен, ослепление, смерть [20 (II), с. 163 и сл.]).

Нетрудно заметить, что эпизоды биографии располагаются в хронологической последовательности: временную канву создают три похода императора против сельджуков. Однако хронология событий оказывается тесно связанной с «хронологией характера»: каждый поход Романа является некоей новой ступенью в проявлении его «бахвальства».

Итак, структура группы рассмотренных выше биографий определяется главным образом стремлением автора показать эволюцию нрава героя под влиянием событий. Это стремление вытекает из собственных этических теорий Пселла: характер человека, особенно если этот человек император, принципиально не является постоянным, а подвержен непрерывным изменениям (см. ниже, с. 440 и сл.).

Проделанный анализ, как мы надеемся, показал, сколь далеко ушел Пселл от традиционной византийской хронографии, к которой в жанровом отношении примыкает его историческое сочинение.

Отличия невозможно объяснить одной лишь риторической выучкой автора, хотя она, без всякого сомнения, и способствовала искусному построению произведения. Эти отличия следует искать в самих мировоззренческих основах.

Сформулированная раннехристианскими философами и богословами христианская концепция истории, согласно которой история стала мыслиться как детерминированное божественным промыслом поступательное движение, имеющее определенное начало и конечную цель, Константинополь представлялся «новым Иерусалимом»,

Византийская империя — Царством Божиим на земле, а император — наместником Божиим,¹⁵ не получила адекватного отражения в византийской историографии. Лишь Евсевий на заре развития византийской историографии более или менее последовательно излагал ход мировых событий как историю «благодатных для человека действий промысла Божия» и видел содержание всемирной истории в «борьбе неба с адом». Хотя линия Евсевия практически не получила развития и сам жанр «церковной истории» вскоре иссяк, тем не менее если не всегда прямо, то косвенно это «христианское ощущение истории» нашло свое отражение во «всемирных хрониках» — специфическом создании послеевангельского времени. В Средневековье «всемирные хроники» (и не только в Византии) всегда находились в связи с той или иной религиозно-идеологической системой [105, с. 17]. Начиная рассказ от сотворения мира или человека, всякий раз заново излагая (а в некоторых случаях — непосредственно продолжая) труд предшественника, включая в повествование всю византийскую ойкумену, авторы хроник как бы стремились охватить мироздание в целом, постичь лежащую в основе бытия идею [78, с. 187 и сл.]. Хронисты не пытались логически или словесно «сочленить» разрозненные события и эпизоды, ибо, по их представлениям, все в мире и так соединено высшей связью и является результатом действия божественного Промысла. Нельзя, естественно, во всех византийских хронистах предполагать столь развитого религиозного сознания, вероятно, многие из них строили таким образом свои произведения просто по традиции, тем не менее именно эти идеи в конечном счете лежали в основе этого удивительно живучего жанра историографии.

Авторы «императорских хроник» (Иоанн Малала, Симеон Логофет, Георгий Монах, Иоанн Скилица и др.), т. е. той жанровой разновидности, к которой так или иначе примыкает и «Хронография», дробили свои хроники на отдельные «царствования», однако императоры играли у них роль своеобразных эпонимов, почти не влиявших на структуру и характер повествования, остававшегося каталогом или описанием сменявшихся одно другое во времени разнородных событий и эпизодов.

Вышедшая из той же традиции, «Хронография» — на деле отрицание мировоззренческих основ, на которых жанр хронографии

¹⁵ Ссылки на литературу вопроса см. в статье Тернера [310].

возник и мог развиваться на протяжении всех веков византийской истории. Пселл не начинает рассказа с сотворения мира или человека. Если даже полагать, что «Краткая история» — первая часть «Хронографии», все равно открывается она не Адамом, а Ромулом — факт уникальный в византийском летописании. Это вообще не «всемирная хроника», а история «римских» царей (русское слово «римский» не может передать содержание греческого *ῥωμαῖος*, означающего как «римский», так и «византийский»). Но главное — другое. В сознании интеллектуала XI в., поклонника античной культуры Пселла, уже не существовало той универсальной связи, которая бы объединяла разнообразные события мировой истории и тем самым делала бы лишним «литературное» сцепление эпизодов. Эта утерянная «всеобщая связь» компенсировалась у Пселла словесно-ассоциативными приемами, заимствованными из риторической практики, повествование же об исторических событиях уже не формально, а по существу тесно связывалось с личностью императоров. Утеря «религиозно-идеологических основ» привела к выдвиганию на первый план личности исторического героя — прежде всего императора.

В этом отношении процесс развития византийской историографии в самом общем виде повторил путь историографии античной. Системообразующая, «концептуальная» историография, обладающая определенными принципами освещения истории (Фукидид, Полибий), существует только в периоды государственного подъема, образования или расцвета новой общественной системы: греческого полиса, римской государственности. В периоды нисходящего развития историография (какого бы высокого художественного уровня она ни достигала!) концентрирует свое внимание на личности «хорошего» или «плохого» императора. «Горизонт историков, прежде пытавшихся включить в поле зрения весь мир или хотя бы весь римский народ (речь идет о римской историографии. — Я. Л.), сузился до пределов императорского двора. История стала тесно переплетаться с императорскими биографиями. Их составляли Плутарх, Светоний, позже авторы, известные как «писатели истории августов», и многие другие, сочинения которых до нас не дошли. Историография теряла свою прежнюю общеполитическую и общесоциальную значимость» [118, с. 96 и сл.]. Как античная биография «возникла и развивалась в отталкивании от монументальной историографии как порождение центробежных, антимонументальных

тенденций эллинистической культуры» [60, с. 176 и сл.], так и византийские исторические сочинения, концентрирующие свое внимание на личности государей, «возникли и развивались в отталкивании» от монументальных «всемирных хроник». Процесс этот имел глубокие исторические корни, и не Пселл стоял у его истоков.

Боле ста лет до Пселла историки из круга «просвещенного монарха» Константина VII — Иосиф Генесий и так называемые «писатели после Феофана» начали, возрождая эллинистическую традицию, создавать произведения, охватывающие не всемирную историю, а царствования одного или нескольких императоров, произведения, содержанием которых были «деяния» и характеристики царей. Характерно уже название труда Генесия — «Царствования» — Βασιλείαι. Некоторые «истории» превращались в настоящие жизнеописания царей, традиционное наименование одной из таких «историй», принадлежащей перу самого Константина VII — *Vita Basilii*, т. е. «Жизнеописание Василия» (имеется в виду Василий I Македонянин), весьма точно отражает ее содержание. Эта, идущая от эллинистических истоков, линия¹⁶ продолжалась и дальше. Фактически описанием «царских деяний» была и «история» Льва Диакона (вторая половина X в.) и современника Пселла — Михаила Атталната.

Таким образом, жанровые корни «Хронографии» надо искать не только во «всемирных хрониках», но и в возрожденной древней традиции «царской истории». ¹⁷ Однако между «Хронографией» Пселла и современной ему историографией огромная дистанция. Чтобы это показать, вновь прибегнем к методу сравнения и его объектом возьмем на сей раз «Историю» Михаила Атталната.* Время жизни обоих авторов примерно совпадает, оба обладали высокими титулами, занимали важные государственные посты и пользовались милостями царствующих императоров, оба писали не

¹⁶ Об эллинистических корнях византийской историографии X в. см. 121, 209.

¹⁷ Делая такое утверждение, трудно не вспомнить приведенные выше (см. с. 416) замечания Пселла о жанровой природе его «Хронографии». Ведь как раз о среднем пути между этими двумя линиями в историографии и говорит историк!

* <Подробное сопоставление исторических сочинений Пселла и Атталната см. в моей статье: Я. Любарский, 1992, перепечатано в Я. Любарский, 1999, с. 212–221.>

понаслышке, а были свидетелями и участниками многих важных политических и исторических событий. Атталиат, подобно Пселлу, принадлежал к интеллектуальной верхушке общества и (в этом важное отличие от Скилицы!) не только не умаляет своей роли в событиях и при царском дворе, но и всячески ее подчеркивает и даже преувеличивает.

Как и Пселл, Атталиат дробит повествование на рассказы об отдельных «царствованиях», каждый из которых представляет собой логическое и даже композиционное целое. Такое разделение отнюдь не формально, и имя царя — вовсе не эпоним действия: рассказ действительно концентрируется вокруг фигуры императора, более того, удачи и неудачи империи часто прямо выводятся из достоинств или недостатков царя.

Как и при сравнении Пселла со Скилицей, мы остановились на сходстве, чтобы еще ярче были видны отличия. Покажем их, сопоставляя разделы обеих «историй», касающихся Константина IX Мономаха. Рассказ Атталиата о Константине IX Мономахе — история деяний царя, который в этой биографии чаще оказывается лицом, страдающим от всевозможных обрушивающихся на него бед, нежели фигурой активной. Не успел Константин прийти к власти, как начинается мятеж Георгия Маниака [50, с. 18]. Едва избавился царь от этой напасти, как к стенам Константинополя приближается русская флотилия (с. 21). Победоносно закончив войну, император принимается за устройство гражданских дел, и его стараниями были открыты юридическая и философская школы (с. 21). Против Константина поднимается мятеж Льва Торника, но царь успешно подавляет восстание (с. 29). Тем временем печенеги переправляются через Дунай и поселяются во владениях империи. Царь борется с печенегами, однако, не имея сил противостоять захватчикам, начинает задабривать их дарами (с. 30). На Ивирию нападают сельджуки, царские войска противопоставят нашествию, эта борьба длится до самой смерти императора (с. 47).

Кончина Константина позволяет автору дать развернутую характеристику царя. В рамках характеристики для иллюстрации «черт» Константина сообщается и о некоторых его деяниях (например, о строительстве храма).

«Заключительная характеристика» — это обычный элемент, завершающий жизнеописание царя в античной историографии — так называемый *elogium*.

Биография Константина Мономаха в «Хронографии» занимает около трети произведения и представляет собой самую сложно построенную и, пожалуй, наиболее интересную ее часть.

После весьма обширного первого раздела, включающего историю возвышения Константина, начинается второй раздел, который весьма оригинален. Пселл начинает издали: он не хотел писать истории и принялся за этот труд только под влиянием уговоров друзей. В особенно трудном положении он находится при составлении жизнеописания Мономаха. Как совместить в одном произведении похвалу энкомия (Пселл не хочет оказаться неблагодарным) с объективным изложением фактов? И вот для обоснования своей позиции он излагает взгляды на человеческий характер вообще. «Некоторые, — пишет Пселл, — поскольку деяния царственных особ неодинаковы и добрые поступки переплетаются у них с дурными, не умеют ни безоговорочно хвалить, ни целиком порицать, их приводит в замешательство соседство противоположностей» [20 (I), с. 129.25 и сл.].¹⁸ «Ничего удивительного, если ни один из императоров не вел безупречной жизни. Только моему и никакому другому императору пожелал бы я такую долю, но не по нашей воле развиваются события...», — заканчивает свои рассуждения Пселл. Эти мысли предшествуют детальной характеристике императора, занимают место второго раздела («предварительной характеристики») и, по сути дела, таковой и являются: Пселл называет тут основное свойство характера — «соседство противоположностей», раскрытию которых и служит остальная биография.

Как и полагается, третий раздел открывается характеристикой начала правления императора. И здесь хронологическая последовательность постоянно подменяется ассоциативной связью, а реальные исторические события служат иллюстрацией свойств и состояний героя.¹⁹ Пользуясь этими традиционными для себя приемами,

¹⁸ Не вызывает сомнений, что в данном случае под «некоторыми» (οἱ μὲν) Пселл подразумевает других авторов жизнеописаний императоров. В английском переводе Сьютера — other writers (Рено переводит — les autres hommes). В этом нас убеждают непосредственно следующие далее слова, где писатель противопоставляет собственную персону «большинству тех, кто посвящает себя жизнеописанию императоров».

¹⁹ Для биографии Константина Мономаха характерна усложненная рамочная композиция. Эпизоды заключены друг в друга «по принципу матрешки».

писатель, казалось бы, доводит повествование до логического конца (Пселл приступает к рассказу о болезни, предшествовавшей смерти, описывает внешность императора), однако в этот момент, когда по канонам пселловских биографий следовало бы ожидать заключительного раздела, повествование неожиданно возвращается назад. «Поскольку, — заявляет Пселл, — как и обычно в данном сочинении, я многое опустил в этом рассказе, я вновь вернусь к Константину, прежде, однако, расскажу о Зое, а затем опять примусь за другой рассказ». Таким образом, все, о чем повествовал Пселл до сих пор, оказывается первым рассказом (ἡλόθεσις), за которым должно последовать новое повествование о Константине — «другой рассказ» (ἕτερον ἡλόθεσις). Писатель выполняет обещание: после характеристики Зои он действительно начинает новый рассказ об императоре, продолжающийся уже до начала четвертого раздела — сообщения о смерти Константина.

Интересно, что «другой рассказ» композиционно параллелен «первому» и соответствует уже установленному нами типу построения биографий: он начинается с «предварительной характеристики», за которой следует характеристика «детальная», иллюстрируемая рядом исторических экскурсов. Таким образом, в этой биографии происходит своеобразное дублирование композиционной схемы.²⁰

Чтобы наглядней представить сложную композицию этой большой биографии, приведем схему ее построения:²¹

Раздел I

Восшествие на престол (гл. XV—XXI)

ἡλόθεσις I («Первый рассказ»)

²⁰ Последнее событие, о котором Пселл повествует в «первом рассказе», относится к 1049 г., первое датированное событие во «втором рассказе» произошло в 1043 г. Таким образом, Пселл не только повторяет композицию, но и возвращается назад в чисто хронологическом отношении. И «первый», и «второй рассказ» начинаются с рассуждений о границах истории и энкомия. Это уже не только композиционная, но и смысловая параллель.

²¹ Нами выделены курсивом эпизоды, представляющие собой отступления от основного рассказа, столь частые в «Хронографии».

На плане можно легко видеть, как исторические эпизоды (они обозначены арабскими цифрами) служат у Пселла иллюстрацией черт характера или свойств императора (под буквенным обозначением).

Раздел II

Предварительная характеристика (гл. XXII—XXXVIII)

Раздел III

А. Начало царствования, раздача чинов (гл. XXIX—XXX)

Б. Доброта и приятный нрав (гл. XXXI—XXXIV)

Рассказ о самом себе (гл. XXXV—XLVI)В. Легкомыслие императора, связь со Склириной
(гл. XLVII—LXXI)

Г. Нежелание императора заниматься делами.

1. Восстание Георгия Маннака (гл. LXXIV—LXXXIX)

2. Нападение русских на Византию (гл. XC—XCV)

3. Мятеж Льва Торника (гл. XCVIII—CXXIII)

Д. Внешность императора (гл. CXXIV—CXXVI)

Е. Болезнь императора, беспечное отношение к болезни
(гл. CXXVII—CXXXIII)

Ж. Беспечное отношение к охране своей персоны

1. Первое покушение на Константина (гл. CXXXIV—CXXXVII)

2. Второе покушение на Константина (гл. CXXXVII I—CLX)

Характеристика императрицы Зои (гл. CLVII—CLX)*ἰπόδοις II* («Другой рассказ»)**Раздел II***

Предварительная характеристика (гл. CLXI—CLXIV)

Раздел III*

А. Милосердие Константина (гл. CLXV—CLXXII)

Б. Любовь к удовольствиям и развлечениям
(гл. CLXXIII—CLXXIV)

В. Неуравновешенность характера

1. Приближение евнуха Иоанна (гл. CLXXVII)

2. Возвышение и падение Константина Лихуда
(гл. CLXXVIII—CLXXXII)

3. Горе в связи со смертью Зои (гл. CLXXXIII—CLXXXIV)

4. Сооружение роскошного храма (гл. CLXXXV—CLXXXIX)

Г. Стремление Константина к упрочению власти
(гл. CLXXXIX—CXC)*Постриг Пселла* (гл. CXCI—CC)

Раздел IV

Болезнь и смерть Константина (гл. СС—ССIII)

Никакое схематическое изложение не в состоянии передать действительной сложности композиции биографии Константина Мономаха, построенной как непринужденный рассказ со свободным движением мысли, необязательными переносами, едва уловимыми ассоциативными переходами, но непременно концентрирующийся вокруг личности главного героя. «Рассказ об этом императоре как будто противоречит сам себе, он изменяется и преобразуется вместе с Константином. Он построен по законам правды, а не риторики, уподобляется и как бы сопереживает герою». Эту характеристику мы заимствовали не из оценок современных критиков. Она принадлежит самому Пселлу [20 (II), с. 71.20].

Если рассказ Атталиата — хронологическая смена эпизодов, связанных с личностью императора, характеристика которого вынесена в конец в виде самостоятельного небольшого раздела, то биография у Пселла — это, по сути, сама по себе усложненная характеристика героя, в которой растворяется исторический материал, характеристика, «замаскированная» (термин не совсем точный, потому что речь идет не о сознательном акте) под историю. На место средневековой скованности византийских хронистов, их зависимости от христианских концепций и невозможности подяться над материалом, который диктует им последовательность изложения, приходит «художественная свобода» Пселла.

Пселл ощущает себя не столько историком, излагающим материал действительности, сколько своеобразным режиссером драмы на историческую тему. Эта художественная и совсем «не средневековая» раскованность Пселла может быть иллюстрирована примером из разобранный выше биографии Константина Мономаха. Начав рассказ о Зое — законной жене легкомысленного императора, писатель замечает: «Расскажу о ней подробней, пока царь блаженствует со своей севастой» [20 (I), с. 148.27 и сл.] (имеется в виду любовница Константина — Склирина, об открытой и шокирующей окружающих связи с которой писатель только что рассказывал). Следующий затем рассказ о Зое заканчивается словами: «Доведя до этого места повествование о царице, снова вернемся к севасте и самодержцу и, если угодно, разбудим их, разъединим и Константина прибережем для дальнейшего рассказа, а жизнь Склирины завершим уже здесь»

[20 (I), с. 150.12 и сл.]. В данном случае уничтожается дистанция между героями и авторами, между прошлым и настоящим (Пселл пишет через десятилетия после смерти любовников), и все течение рассказа подчиняется произволу художника.

Как бы ни был «свободен» Пселл в построении «Хронографии», ее композиция, говорили мы, подчинена одной задаче — характеристике героев.* К рассмотрению искусства обрисовки образов мы и перейдем в следующем разделе этой главы.

3. ОБРАЗЫ

Исторические факты служат Пселлу материалом для характеристики образов его героев. (Это вовсе не означает, что «Хронография» не имеет большого значения как исторический источник. Скорее наоборот. Стремясь полнее обрисовать своих героев, Пселл сообщает о таких деталях, рисует такие сцены византийской действительности, которых нет и, более того, принципиально не может быть в сочинениях других историков. В этом смысле «Хронография» уникальна и как исторический источник. Речь идет о другом — о способе художественной организации исторического материала.) Проблема образов, по сути дела, главная при анализе «Хронографии».

Искусство построения образов и психологического проникновения, поражавшее новейших ценителей творчества Пселла, было вполне осознано самим писателем и, более того, составляло предмет его гордости. «Я проник в твою душу и понимаю тебя лучше, чем ты самого себя; хочешь, я коротко представлю, каков ты душой», — пишет он митрополиту Амасии [16 (II), с. 162.20 и сл.]. «Как никто другой, — похваляется Пселл, — способен я распознавать людей и посредством ощущений, как сквозь двери, проникать в душу и постигать ее, отраженную в бровях и глазах» [16 (I), с. 77.21 и сл.; ср. 16 (II), с. 12.4 и сл.].

Каковы же общие представления Пселла о человеке и его характере?²²

* <А. Калделлис полагает, что структура «Хронографии» определяется политической идеей, лежащей в ее основе, а также сложным переплетением философских и риторических представлений автора (А. Kaldellis, 1999). Ср. выше с. 205>.

²² Нас в данном случае интересуют не столько в большинстве своем компилятивные рассуждения о «метафизике души», сколько мимоходом брошенные замечания, больше отражающие собственные воззрения Пселла. Теории Пселла о душе излагаются и анализируются в книгах Зерваса

Для обозначения понятия «характер» и близких к нему понятий Пселл пользуется несколькими терминами: ἦθος, τρόπος, ὑπόμιξις, διόθεσις. Это же значение имеет в ряде случаев и χαρακτήρ, перешедшее затем в большинство европейских языков. Было бы чрезвычайно интересно проследить эволюцию этих понятий у византийских авторов. Однако и без специального исследования можно отметить различие в их значениях у Пселла и античных писателей; у последних слова эти чаще всего употребляются для обозначения характера «общего типа», «типического», «нормированного» [ср. словарь Liddel—Scott s. v. χαρακτήρ, 4. Type of character (regarded as shared with others) of things or persons, rarely of individual nature].²³ Напротив, словоупотребление Пселла приближается к современному бытовому: «Характер — совокупность основных наиболее устойчивых свойств человека, которые проявляются в его действиях и поступках» (БСЭ, т. 46, с. 66).

Оставляя в стороне другие термины, укажем, что слово χαρακτήρ в этом значении используется у Пселла [например: 16 (I), с. 207; 16 (II), с. 85; 20 (I), с. 130.17].

Явно не без воздействия аристотелевской этики Пселл высказывает суждение, согласно которому в человеке врожденные свойства, составляющие его природу (φύσις), сочетаются с благоприобретенными в результате воспитания и жизненной практики (последние образуют его ἦθος или τρόπος). Так, умерший брат некоего актуария характеризуется Пселлом отдельно «по природе» и «по нраву», причем специально отмечается, что «первая от родителей, другой — от воспитания» [1 (V), с. 97].

Наряду с делением человеческих свойств на врожденные и благоприобретенные Пселл различает в душе человека два начала: разумное

[319, с. 148 и сл.] и Иоанну [212, с. 87 и сл.]. Ср. также статью Бенакиса [141, с; 213 и сл.]. В большинстве случаев Пселл опирается на античные теории от Аристотеля до неоплатоников, а также на сочинения Отцов церкви. Насколько приводимые мнения соответствуют собственным представлениям Пселла, часто остается неясным. К задачам настоящей работы пселловская метафизика души почти не имеет отношения уже хотя бы потому, что вне тела, «сама по себе» (ἀσώμακτον), душа, по Пселлу, вообще лишена каких бы то ни было индивидуальных черт, которые она приобретает, только соединившись с телом.

²³ Об античных представлениях о характере смотри работы Кёрте [222] и Тиме [304].

(ἡ λογικὴ φύσις τῆς ψυχῆς) и неразумное (τὸ ἄλογον) [1 (IV), с. 331 и сл.]. Более подробно эта мысль развивается в письме к Иаситу: «Так вот природа наша составлена. Мы представляем собой смешение разумного и неразумного, причем разумного в нас меньше, чем неразумного. В первом из них — мысль (διάνοια, имеется в виду практический ум. — Я. Л.), по которой мы существуем, во втором — чувственное восприятие, представление, воображение и большинство мнений. Из этих свойств, разумных и неразумных, мы состоим, и никто из нас не является только разумным или только неразумным. Разуму, как господину и царю, необходимо владычество над тем, что ниже его и чем он управляет, как конем и колесницей. Поэтому служат ему органы чувств, восприятие, впечатление и постигающее их смысл мнение, желание внешних благ, благородный и воинственный дух, вождение и прочие проявления наших свойств» [1 (V), с. 435 и сл.]. Из приведенных слов ясно: помимо разума Пселл признает в человеке не контролируемую рассудком сферу, в которой наряду с первыми ступенями познания (чувственное восприятие, представление, мнение) объединяется то, что, пользуясь современными определениями, можно было бы назвать областью подсознательного и инстинктивного.²⁴

Уже говорилось о настойчивом повторении Пселлом тезиса, согласно которому человеческий характер не является статичным и цельным, а, напротив, он подвижен, изменчив и противоречив. В наиболее законченном виде эта мысль выражена в «Хронографии» в связи с рассказом о Константине IX Мономахе [20 (I), с. 129.25 и сл.]. Главное свойство характера императора, по Пселлу, — это «соседство противоположностей». Ни один из императоров не остается неизменным до конца своих дней: одни из них становятся лучше, другие — хуже. Противоречивость и изменчивость природы, однако, не составляют привилегии одних императоров (последним она свойственна лишь в большей степени, чем обычным людям). Сдвиги в характере происходят под воздействием внешних причин («изменчивое существо человек, особенно если серьезные поводы для изменений находятся вне его» [20 (II), с. 154.24]). Впрочем, имманентные причины упоминаются Пселлом как нечто само собой разумеющееся. «Находясь вне тела, душа недоступна изменению и преобразованию,

²⁴ Сам Пселл говорит об античном происхождении представлений о «разумной и неразумной части души» [1 (IV), с. 354.9 и сл.]. Эти взгляды, видимо, восходят к стоической этике.

но, пребывая в теле, обладающем пестрым многообразием, она изменяется и преобразуется не только под воздействием свойственных ей страстей, но из-за внешних обстоятельств» [16 (II), с. 62 и сл.]. Представление о человеке как существе противоречивом и изменчивом Пселл с готовностью распространяет и на самого себя.

Можно сказать и больше: подчеркивание в объекте противоположных сторон становится для Пселла чем-то вроде привычной нормы и даже своего рода риторического штампа. Очень многие герои энкомиев, монодий и иных ораторских сочинений представляются писателем как смешение самых разных несовместимых добродетелей и свойств.

Приведем некоторые примеры. Михаил Дука, по Пселлу, — «смешение противоположностей» (μίξις τῶν ἐναντίων), он соединил в себе «высоту и глубину, царское величие и умеренность» и т. д. [16 (II), с. 42.8 и сл.]. Кесарь Иоанн Дука соединил несовместимые свойства (ἄμικτα κράυματα): «острый ум и скромность, несравненный разум и неподражаемый нрав» [16 (II), с. 66. 24 и сл.]. Обладала «смешением противоположностей» и мать Пселла [1 (V), с. 15.25; ср. характеристики Романа Диогена — 1 (V), с. 228, Михаила Кирулария — 1 (IV), с. 378, Константина Мономаха — 1 (IV), с. 430 и др.]. «Совмещение несовместимого» в большинстве случаев не только отмечается, но оказывается лейтмотивом всей характеристики (все примеры заимствованы из ораторских сочинений).

В большинстве этих случаев за обилием антитез нет попытки проникнуть в истинную противоречивость персонажа и сам «диалектизм» низведен до уровня формального приема. Но как раз эта «формализация» и характерна, она показывает, насколько укоренился в сознании Пселла тот подход к изображению человека, который с известной мерой допущения можно назвать диалектическим.

Как уже говорилось, Г. Миш видит истоки подобных воззрений в античной диалектике, которая пришлась по вкусу бесхарактерному и «испорченному» Пселлу. Думается, однако, что дело не только в античных реминисценциях и в моральной неполноценности самого писателя. Коренятся они, скорее всего, в принципиальной антитетичности византийского сознания и православной теологии, для которых сосуществование тезы и антитезы было не только допустимым, но подчас и обязательным [69, с. 165].*

* <Об антитезе — не только риторической фигуре, но и стиле мышления византийцев см.: Н. Hunger, 1984.>

Мышление Пселла, образованнейшего человека своего времени, было, без сомнения, приучено к всевозможным диалектическим ходам, столь свойственным как неоплатонической философии, так и православной теологии, к объединению которых стремился писатель.

Оставляя в стороне другие общеизвестные философские противоречия, которые неоплатоники и христианские теологи пытались решить с помощью диалектических допущений, напомним, что с богословской точки зрения человек и был как раз классическим примером «совмещения несовместимого». Человек «смертен и бессмертен», «велик и ничтожен», он «необычайное смешение противоположностей», пишет в «Слове о душе» современник Пселла Никита Стифат [54, с. 78, 80].²⁵ Что касается взгляда на человека как на существо непостоянное и изменчивое, то он, возможно, вообще не был особенностью мировоззрения Пселла, а входил в систему этических представлений византийцев той поры. Во всяком случае другой современник Пселла, не отличавшийся, видимо, глубокой образованностью, Кекавмен замечает: «Природа людей изменчива и непостоянна, иногда она изменяется от хорошего к дурному, а иногда склоняется от дурного к хорошему» [33, с. 230.5 и сл.].

Приведенные здесь суждения Пселла не плод теоретизирования и доктринерства, а выражение общих этических концепций писателя. Изменчивость и противоречивость, по Пселлу, — норма человеческого характера, в то время как постоянство и монолитная цельность — исключение.

Как уже отмечалось, Пселл отказывается от догматического ригоризма и воспринимает христианскую этику в ее наиболее человеческом аспекте. Идеалу непреклонно-сурового, монолитно-цельного, непоколебимого христианина Пселл противопоставляет представление о человеке, которому не чуждо ничто человеческого, который доступен всем впечатлениям бытия, в характере которого могут уживаться свойства противоречивые, к тому же не постоянные и раз и навсегда данные, а изменяющиеся под влиянием среды и обстоятельств.

В связи со сказанным немалый интерес представляют и отдельные оброненные Пселлом замечания, касающиеся уже не характера человека, а принципов его оценки и изображения. В сочинении

²⁵ Во введении к трактату Никита Стифат ставит вопрос исследования: как человек может быть одновременно и порождением праха, и подобием Божиим?

«К своему грамматик» писатель защищает адресата от нападок каких-то анонимных недоброжелателей. «Обвинители, — пишет Пселл, — по нраву своему люди политические, но не философы по образу мыслей, поэтому они и судят о вещах по своей жизни, а не по канону истины» [16 (I), с. 60.14 и сл.]. Нельзя судить о характере по внешним признакам, одежде, причёске и т. д., иначе полсвета придется счесть сумасшедшими, говорит писатель в том же произведении, ведь одни предпочитают одно, другие — другое. Мы отличны друг от друга, и потому нужен иной критерий и лучший судья [16 (I), с. 63]. В другом случае Пселл полемизирует с риториками, создающими энкомий в честь Константина Лихуда «не по его (Лихуда. — Я. Л.) мере», а в зависимости от «силы слова» [(1 (IV), с. 390.7 и сл.).*]

В этих замечаниях, сделанных по разному поводу и в разном контексте, по сути дела, отразилась одна и та же мысль: не ограниченный жизненный опыт и не риторический шаблон, а сам объект («его мера») должен быть основным критерием оценки или изображения. Этой позиции писателя свойственны та же широта и гибкость, что и его представления о человеческом характере.

* * *

Рассуждая типологически, метод изображения человека, принятый в «Хронографии» Михаила Пселла, можно назвать дедуктивным;²⁰ как правило, писатель предваряет рассказ о герое некоей

* <Ту же мысль мы встречаем во вновь изданной речи Пселла, обращенной к Константину Мономаху, где писатель мимоходом замечает: «Я составляю похвалу тебе не из внешних красот (ἀπό τῶν ἔξωθεν κόσμων), как это делают искусные риторы, но глядя на тебя, плету хвалу в соответствии с самим тобою (ἐφ' ἑαυτοῦ)» (Psellus Michael, 1994, p. 52.12–15). Мысль Пселла ясна: не канонические обязательные добродетели, а истинные достоинства императора должны прославляться энкомиастом. Конечно, Пселл вовсе не следует собственным советам, но само появление подобной идеи говорит о многом.>

²⁰ Дедуктивный и противоположный ему индуктивный методы (при последнем читатель сам «выводит» характеристику персонажа, исходя из его поступков, речей и т. п.) — два параллельно существующих и взаимодействующих приема изображения героя. В научной литературе

характеристикой, раскрывающейся в процессе дальнейшего изложения. Этот метод, наиболее отвечающий принципам нормативно-художественного мышления Средневековья и потому доминирующий в византийской литературе (яркий тому пример — энкомий), изначально предполагает обобщение и абстрактизацию, подведение индивидуальных свойств под родовые определения [см. об этом у А. Каждана — 78, с. 158 и сл.]. Византийские писатели в большинстве случаев не стремятся постигнуть своеобразие личности, им достаточно, к примеру, назвать своего героя благочестивым (т. е. подвести под родовое понятие), а затем рядом примеров или риторических фигур раскрыть тезис. Схематизм и затемнение частного, индивидуального, свойственные этому методу и сделавшие его столь чуждым новейшим художникам, позволяют применять к образам средневековой литературы приемы заслуженно непопулярного ныне анализа «по чертам».

Сопоставляя основных героев «Хронографии», можно довольно четко выделить те их качества и свойства, которые с большей или меньшей регулярностью отмечаются писателем. Вот их короткий перечень: 1) род, происхождение; 2) образ жизни; 3) ученость, отношение к ученым; 4) красноречие; 5) благочестие; 6) личная храбрость, выносливость; 7) качества государственного деятеля (отношение к императорским обязанностям, характер управления государством, отношение к подданным, щедрость); 8) ум; 9) нравственные качества.

Приведенный перечень фактически охватывает все стороны человеческой личности и уже в силу своей универсальности не может дать представления об индивидуальности писателя. Последняя проявляется в разном интересе к тем или иным свойствам личности (ср. *Urteilstkategorien* К. Бергена).

Хотя, следуя непреложной традиции биографического жанра, Пселл обычно упоминает род описываемых лиц, происхождение,

в этом контексте обычно говорится о «прямом» и «косвенном» способе характеристики [152, с. 5 и сл.]. Против такого членения возражал К. Берген [143, с. 7 и сл.], полагавший, что принципом классификации должны быть *Urteilstkategorien*, т. е. те качества личности, на которые писатель обращает преимущественное внимание. Учитывая условность и вспомогательный характер всякой подобной классификации, следует признать, что оба критерия имеют право на существование.

как правило, не играет сколько-нибудь существенной роли в поступках и судьбе героя.

В оценке образа жизни императоров Пселл, в сущности, пользуется двумя категориями: «строгость» или «легкомыслие». Избыток того и другого вызывает осуждение философа — приверженца античной *aurea mediocritas* (см. характеристики Василия II и Константина VIII [20 (I), с. 4], Константина IX Мономаха [20 (I), с. 140, (II), с. 37]).

Описанию такого частного (во всяком случае для царской персоны Византии XI в.) свойства, как отношение к ученым и ученость, Пселл отводит непропорционально большое место и, как правило, специально оговаривает знание или незнание своим героем светских наук (см. характеристики Василия II [20 (I), с. 18.12], Константина VIII [20 (I), с. 28.29 и сл.], Романа III Аргира [20 (I), с. 32.21 и сл.], Константина IX Мономаха [20 (I), с. 134.22 и сл.], Михаила IV [20 (I), с. 56.14 и сл.]).

Не меньшую роль, чем образованность в науках, играет для Пселла красноречие (см. характеристики Константина VIII [20 (I), с. 29.1 и сл.], Романа III Аргира [20 (I), с. 33.1 и сл.], Исаака I Комнина [20 (II), с. 113.3 и сл.], Константина X Дуки [20 (II), с. 141]). Эти качества имеют для Пселла исключительное значение. Знаменателен в этом отношении тот факт, что в очень небольших характеристиках императоров в «Краткой истории» Пселл использует всякую, даже минимальную, возможность, чтобы отметить наличие (или, наоборот, отсутствие) образования и дара красноречия у своих героев. Оба эти свойства (ученость и красноречие) в «Хронографии» явно потеснили такие традиционные добродетели христианских государей, как благочестие и личная храбрость.

О благочестии Пселл говорит лишь в панегирических характеристиках Константина X и Михаила VII [20 (II), с. 140, 173], в жизнеописаниях Зои и Феодоры [20 (II), с. 48, 79] (благочестие всегда привилегия женщины) и, наконец, в описании Романа III Аргира, где оно оказывается... лицемерной маской.

Что касается личной храбрости, то и она в «Хронографии» занимает скромное место. Следует учесть, что среди героев писателя — такие воинственные императоры, как Василий II, Исаак Комнин, Роман Диоген и др.

Главный критерий оценки писателем своих героев-императоров — их качества государственных деятелей. Одни из них ревностно

занимаются делами управления (Василий II, Исаак Комнин), другие ими пренебрегают (Константин VIII, Константин IX Мономах); одни сведущи в науке правосудия (Константин X), другие не знают ни законов, ни канонов и судят по своему разумению (Михаил IV) и т. д.

Щедрость — традиционная добродетель византийских императоров — почти непременно отмечается Пселлом, причем ее избыток, расточительность встречают постоянное осуждение (Константин VIII [20 (I), с. 26]; Роман III Аргир [20 (I), с. 35]; Константин IX Мономах [20 (I), с. 132]; Константин X [20 (II), с. 145]).

С особой подробностью говорится, как правило, об отношении императора к подданным. Если одни монархи обращаются с ними милостиво и не позволяют гневу увлечь себя (Константин IX Мономах), то другие устрашают окружающих своей суровостью и не прощают даже незначительных провинностей (Роман III Аргир, Михаил V, Василий II). «Милостивые» императоры пользуются наибольшим уважением писателя, традиционная императорская *φλαυρόκρια* одно из наиболее ценимых свойств.

Нередко привлекает внимание Пселла такая черта героя, как стремление к самовластию или, напротив, его желание иметь советников (в роли последнего нередко фигурирует сам автор).

Набор эпитетов и характеристик, относящихся к уму и нравственной природе персонажей, в «Хронографии» велик и разнообразен.

Чисто оценочные характеристики, рожденные льстивой преданностью или благочестивой ненавистью, столь частые у предшественников Пселла и в его собственных эвкомиях, в «Хронографии» редки (большая часть восторженных описаний приходится на эвкомнистические жизнеописания Константина X и Михаила VII). В подавляющем большинстве случаев Пселл стремится указать на какие-то конкретные качества (наглость, лукавство, лицемерие и т. д.). Обращает на себя внимание следующее: среди многообразных определений одна черта почти непременно встречается в характеристиках писателя — герой-император по своему нраву бывает «ласковый» или «суровый», «мягкий» или «грубый», «сострадательный» или «гневливый», «улыбчивый» или «озабоченный» и т. д.

Если бы нам ничего не было известно о самом Пселле, то уже из акцентов его характеристик императорских особ можно было бы

достаточно отчетливо представить себе облик писателя. Человек, ценящий дарование гораздо больше, чем благородное происхождение; скорее ученый и ритор, чем воин; человек, при всем своем христианском благочестии, свободомыслящий; влиятельнейший государственный деятель, привыкший поучать самодержцев, и в то же время придворный льстец без достоинства, льстец, судьба которого зависит от улыбки или нахмуренных бровей повелителя, — таким является нам Пселл, автор императорских жизнеописаний, таким мы знаем его и по многочисленным письмам и откровенным признаниям в других сочинениях. Это косвенное «самораскрытие» автора византийской хроники само по себе весьма знаменательно: субъективное мироощущение, а не обязательный набор качеств было исходной позицией, той мерой, с которой писатель приступал к изображению героев.

* * *

Специфика пселловского метода проявляется уже в первоэлементах характеристик — обрисовке отдельных свойств. Начнем с примеров из короткой и компактной биографии Константина VIII. «Сильный телом, он был труслив душой» [20 (I), с. 25.14]; «Легко поддающийся гневу, он не был чужд и сострадания... в отличие от брата Василия гневался он недолго и быстро отходил» [20 (I), с. 26.15 и сл.]; «Он оказывал благодеяний больше всех других императоров, однако в своих щедротах не соблюдал равной справедливости» [20 (I), с. 26.28 и сл.]; «Он был не слишком образован, лишь слегка, по-ученически знаком с эллинской наукой, но тем не менее человек от природы способный и привлекательный, с изящной и бойкой речью, он с блеском выражал мысли, рождавшиеся в его душе» [20 (I), с. 28.29].

Приведенные цитаты составляют значительную часть скупого (для Пселла) описания Константина VIII. Во всех характеристиках одна особенность: они двучленны по своему построению — тезис сопровождается в них антитезисом, частично или полностью отрицающим, корректирующим, ограничивающим основное утверждение (синтаксически это выражается при помощи предложений с причастными оборотами или сочинительной связи с *μέν ... δέ* либо *ἀλλά* и т. д.). Аналогичные примеры обильно встречаются и в других

жизнеописаниях. «Большей частью он оставался тверд в своих решениях, но случалось, что и менял их» (Василий II [20 (I), с. 22]); «К эллинской образованности был он непричастен, тем не менее воспитал свой нрав лучше иных философов, постигших ее» (Михаил IV [20 (I), с. 56.14]); «Я поражаюсь ее (императрицы Феодоры. — Я. Л.) благочестию, однако любовь к самодержавной власти побуждала ее преступать законы» [20 (II), с. 79]; «Ни один из прежних императоров не мог бы с ним (Исааком Комниным. — Я. Л.) сравниться, однако необузданность, нежелание подчиняться велениям разума разрушали благородство его духа» [20 (II), с. 121.28]. Характер Романа Диогена — «иногда прямой, но большей частью лукавый и наглый» [20 (II), с. 157.12]. Подобные «двучленные» определения иногда вкраплены в жизнеописания, иногда на них строится вся характеристика.

Большинство свойств героев Пселла не абсолютны, сфера их проявления ограничена временем, ситуацией или какой-либо чертой характера, и, что самое важное, они существуют не изолированно, а как бы «зацеплены» друг за друга.

* * *

Специфика методов характеристики может быть обнаружена не в отдельных «чертах», а в образе в целом. Для удобства анализа мы позволили себе разделить императоров — героев Пселла на несколько «типов».

Деятельный и суровый император Василий II

Биография Василия II начинается восходящим к античной традиции синкрисисом — сравнением двух царственных братьев Василия и Константина.²⁷ Сопоставление, по сути дела, производится по одному признаку: младший из них «распущенный и легкомысленный», старший, Василий, — «деятельный» (дословно «бодрствующий»), «сосредоточенный» и «озабоченный». Дальнейшие описания

²⁷ Синкрисис играет в этой биографии роль «предварительной характеристики»; см. выше, стр. 427.

уточняют и дополняют начальную характеристику, не меняя ее основного смысла. Окружающим Василий казался мрачным, он был человеком грубого нрава, гневным и неотходчивым, умеренным в образе жизни, чуждым всякой изнеженности [20 (I), с. 4], ко всем относился подозрительно, был мрачен, скрытен, никому не прощал вины (с. 11). Все эти качества не были свойственны Василию от природы, а появились в результате влияния неблагоприятных обстоятельств (главным образом восстаний Варды Склира и Варды Фоки). Император отказался от добродушия, пренебрег украшениями, превратился в «озабоченного и сосредоточенного» (с. 13.28 и сл.) (обращаем внимание на вторичное появление тех же эпитетов), стал управлять с помощью страха, а не милости. При своей подозрительности Василий перестал испытывать нужду в советниках и потому прогнал прежде возвышенного им же паракимомена Василия (с. 12), правил, не соблюдая законов, презрел науку и ученость (с. 18).

Последний раздел биографии посвящен поведению Василия II в пору войны и мира. Во время войны Василий коварен, во время мира — «царствен» (свойства героя определяются ситуацией). Солдат и полководец, Василий неприхотлив и вынослив, великолепно знает военное дело [20 (I), с. 20], нетерпим к промахам своих воинов, однако наказывает их не сразу, а лишь по возвращении из похода (с. 21–22). Василия можно было лишь с трудом подвигнуть на какое-нибудь предприятие, но раз принятое решение он уже не менял. Гнев и милость императора были непоколебимы, а волю свою он почитал за «божественный суд» (с. 22).

Трудно сказать, насколько Василий, нарисованный Пселлом, соответствует реальному прообразу (строго говоря, нам вообще неизвестно, каким был тот или иной деятель XI в., мы можем судить лишь о том, каким он изображен у Пселла, Скилицы, Атталиата и т. д.); очевидно, однако, что отдельные «черты» характеристики Василия в «Хронографии» не представляют самодовлеющих качеств, а, дополняя друг друга, вместе составляют образ немилостивого и грубого, энергичного и упрямого, подозрительного и беспощадного императора.

Исаак I Комнин

Второй вариант «деятельного и сурового» императора — Исаак I Комнин. Его (в отличие от Василия II) Пселл описывает по личным впечатлениям, и потому этот образ — более детальный и более полный. Впервые на страницах «Хронографии» Исаак появляется еще не императором, а «тираном», возглавившим мятеж против Михаила Стратиотика. Несколько предварительных штрихов создают впечатление о герое. У Исаака властный вид, благородный образ мыслей, душевная твердость, он «благородный» полководец [20 (II), с. 85]. Повстанец Исаак деятелен и целеустремлен, он проводит ночи в беспокойных мыслях, дни отдает делам (с. 87). Действия его отличаются разумностью — Пселл дважды отмечает, что Исаак поступает «скорее разумно, чем дерзко». В облике героя подчеркивается сдержанная суровость: Комнин никогда не обнажал меча на провинившегося, но его нахмуренные брови действовали сильнее любого удара (с. 87). В некоторых эпизодах фигура императора окружена героическим ореолом. Таков он в батальной сцене, когда четыре «скифа», приставив с разных сторон копьа к Исааку, удержали его в седле (с. 90–91). Такова по-царски величественная картина приема Исааком императорского посольства во главе с Лихудом и Пселлом (с. 96) и т. д.

Императору-воину присуща государственная мудрость: он с необычайным вниманием прислушивается к советам (черта, как уже отмечалось, весьма ценяемая Пселлом, тем более что в качестве советчика выступает он сам) и философски относится к собственным успехам, полагая, что чрезмерная удача редко приводит к хорошему исходу [20 (II), с. 108–109].

Энкомиастические нотки первых описаний готовят торжественно-панегирический стиль эпизода восшествия на престол и рассказа о первых шагах нового императора. Исаак, «муж во всех отношениях деятельный», «не стряхнув с себя пыль битв, не переменяв платья», принялся за государственные дела и приступил к управлению, «едва только успел из открытого моря и бури спастись в гавань, не стерев соль с губ и не переведя дух» [20 (II), с. 110.25 и сл.].

Традиционной условности стиля соответствует и устойчиво энкомиастический тип изображения героя: император уподобляется восходящему солнцу, лучи которого разгоняют облака [20 (II),

с. 111]. Его образ рисуется с помощью ряда графически четких сцен, запечатленных как бы наблюдателем «извне». Император на троне, занятый государственными заботами, суров, непреклонен, и, казалось, нрав его не может смягчиться. Но тот же император, находясь в домашней обстановке или раздавая должности, неожиданно превращается в «мягкого и доступного». Одна и та же струна, пишет Пселл, издает то резкие, то гармоничные звуки, император — «двойной», в нем совмещены несовместимые свойства (с. 111–112).

Другой эпизод рисует «грозного» Исаака [20 (II), с. 112.17 и сл.]. Император поднимается на трон, кругом располагаются синклитики; сначала он не произносит ни слова, но, как бы отдавшись размышлениям, сохраняет на лице «точное» «Ксенократово выражение». ²⁸ Собравшихся охватывает страх. Одни застывают на месте, как от удара молнии, из их «сжавшихся и ссохшихся» тел как бы отлетает душа, другие бесшумно двигаются, третьи еще крепче охватывают руками грудь и, собрав всю силу воли, стараются стоять неподвижно. Сцена замечательна своей статичной монументальностью. Вместе с тем, как это ни парадоксально, в ней присутствует и доля легкой иронии. Император здесь не только на самом деле величествен, но еще и изображает величие. Его действия заранее рассчитаны на определенный внешний эффект; Исаак «как бы» (οἷον) предается размышлениям, «копирует» (μιμνήσκων) «точное» (ἀκριβές) «Ксенократово выражение» лица.

Еще заметный иронический подтекст сохраняется и в дальнейшем изложении.

Император был немногословен, продолжает Пселл, как Лисий, умел обуздывать свою речь, его молчание было красноречивее слов, а кивок и жест могли заменить обильные словозлияния [20 (II), с. 113]. Все это, конечно, совершенно серьезно. Но тут же следует описание Исаака в роли судебного арбитра: не сведущий в законах император не берет на себя вынесение приговоров, а поручает это судьям. Тем не менее он делает вид, будто заранее знает содержание приговора, более того, выдает себя за его автора. Вместе с тем, не желая демонстрировать неправильное произношение юридических терминов, Исаак сам не зачитывает приговор, но всегда что-то

²⁸ Ученик Платона философ Ксенократ отличался чрезвычайно мрачным видом.

добавляет или убавляет в тексте, когда его оглашает кто-то другой. И здесь усилия Исаака направлены на создание внешнего впечатления, сокрытие собственных недостатков.

Общий энциклопедический тон первой части биографии, несмотря на элемент иронии,стораживает: Пселл пишет об Исааке уже после его смерти. И действительно, дальнейший рассказ («детальная характеристика», по нашей классификации) приносит нечто новое. Оказывается, что все положительные свойства императора, декларированные писателем, не дают никаких результатов, их влияние сводится на нет нетерпеливостью и поспешностью Исаака. Последний все стремится делать немедленно [20 (II), с. 121], избыток напористости и приводит его к неудачам. В свою очередь, неудачи изменяют характер и образ жизни Исаака, который стал не в меру суров, начал презрительно относиться к окружающим и почти все время проводит на охоте (с. 128). Заключительные страницы добавляют последний штрих к образу: губительный недуг не согнул императора-воина, он не отказался от своего «благородства», и когда, уже больной, выходил из дому, его не вели за руку; был он подобен «высокому кипарису», раскачивающемуся под порывами ветра (с. 132.10).

Исаак, в отличие от Василия, — «положительный» вариант образа сурового и деятельного государя. Восхищение императором заставляет Пселла прибегать к редким в «Хронографии» энциклопедическим приемам изображения, однако второй частью биографии писатель сводит на нет или во всяком случае значительно ограничивает высокую оценку героя в первой части. «Двучленность», вообще свойственная пселловским характеристикам, проведена здесь в масштабе целого жизнеописания. Интересно, что даже в панегирическом разделе биографии монументально-торжественный стиль смягчен легким ироническим подтекстом: отношение автора к герою в «Хронографии» лишено догматической однозначности.

Легкомысленный и бездеятельный император

К этому типу героя в «Хронографии» можно отнести двух Константинов: Константина VIII и Константина IX Мономаха. О «диалектическом» характере большинства свойств первого из них говорилось

выше. Этот император «нравы чрезвычайно мягкого», с «душой, склонной к любым удовольствиям», с «характером легкомысленным», «почти не занимающийся делами управления», превыше всего ценящий гастрономические радости и любовные утехы, «до безумия влюбленный в зрелища», страстный охотник.

Биография другого императора — Константина IX Мономаха — самая большая по объему и самая интересная по содержанию. Герой повествования выступает в разных ситуациях, обрисовывается с разных сторон, и, только рассмотрев образ во всех аспектах, можно вывести суждение о методах его изображения.

Константин IX Мономах

Государственная деятельность. Свое отношение к Константину Мономаху-монарху Пселл высказывает прямо и недвусмысленно: «Этот государь не постиг природы императорской власти, не понял, что она представляет собой служение на благо подданных, что она требует души, постоянно озабоченной тем, как лучше управлять делами. Напротив, он полагал, что власть означает избавление от трудов, исполнение желаний, ослабление напряжения» [20 (I), с. 140.16 и сл.].

Мысль эта неоднократно в разных вариантах повторяется Пселлом («Овладев ромейским скипетром, самодержец решил дать себе отдых, как бы достигнув царской гавани после плавания в открытом море» [20 (II), с. 58.21]). Мероприятия внутренней и внешней политики Мономаха вызывают ироническое или отрицательное отношение писателя: Константин постоянно пытается переложить на чужие плечи бремя государственных забот; придя к власти, принялся за дела без должной силы и соблюдения осторожности, напротив, он прекраснодушно мечтает о «некоем новом счастье»; воплощая свои фантазии в жизнь, направо и налево раздает богатства и истощает государственную казну [20 (I), с. 132]. Даже серьезные опасности (например, восстание Маниака) не заставляют Мономаха отрешиться от легкомыслия. В результате — новые бедствия, обрушивающиеся на империю (20 (II), с. 8; ср. 20 (I), с. 141]. У Пселла нет сомнений: причина такого поведения — особенности «нравы» императора. «Он от природы, — утверждает писатель, — имел такой нрав и к тому же еще более развил его... поскольку

власть предоставляла для этого большие возможности» [20 (I), с. 140.28 и сл.].

Характер Мономаха. Страницы, посвященные описанию характера, принадлежат к числу наиболее впечатляющих в этой биографии. О нраве своего героя Пселл заговаривает уже на первых страницах жизнеописания. Мономах никогда не проявлял заносчивости, не бывал насупленным и надменным, напротив, с готовностью улыбался, сохранял на лице веселое выражение и обладал удивительным умением завоевывать сердца подданных [20 (I), с. 133 и сл.].²⁹ Все это, естественно, вызывает полное одобрение Пселла, но (мы уже убедились, какое огромное значение в характеристиках писателя имеет это «но») постепенно, в процессе дальнейшего повествования, едва уловимо для читателя, похвальные качества Мономаха переходят в свою противоположность. Веселость, замечает писатель, не покидала императора не только во время развлечений, но и в серьезных занятиях. Более того, с ним нельзя было заговорить о чем-нибудь серьезном, не предварив разговора какой-либо шуткой [20, с. 134 и сл.].²⁹ Пселл отмечает, что небрежение государственными делами было результатом «души легкомысленной и беспечной», и в конце концов, полемизируя с какими-то неизвестными нам оппонентами, категорически заявляет, что страсть императора к развлечениям чрезвычайно мешала исполнению государственных обязанностей [20 (II), с. 56].

Однако значительно интересней собственных оценок Пселла те эпизоды, в которых легкомыслие и беспечность императора проявляются на деле. Такова, например, история стремительной придворной карьеры Романа Воилы. Судя по «Хронографии», развлечения Константина не отличались изысканностью или утонченностью. Ни музыка, ни танцы, ничто другое не доставляли Мономаху такого удовольствия, как что-то неправильное произношение слов. Именно за эти «достоинства» и был возвышен «полунемой мерзавец» Роман, попавший в высшие придворные сферы прямо с «уличного перекрестка». Лестью и расчетливым угодничеством он постепенно подчиняет своему влиянию императора. Причем Константин прекрасно понимая притворство Воилы, с удовольствием поддает

²⁹ Интересно, что о том же пишет Пселл в одном из писем к Иоанну Мавроподу [16 (II), с. 229]. Видимо, это действительно было особенностью императора.

обману [20 (II), с. 39]. Распоясавшийся фаворит подстраивает «шутки», безвкусице которых шокирует современного читателя не меньше, чем девять веков назад утонченного Пселла. По этому поводу писатель раздражается сетованиями на жалкую участь придворных, вынужденных вслед за императором смеяться тогда, когда на глаза навертываются слезы (с. 40).

История с Романом Воилой кончается трагически-фарсовой сценой, когда плененный любовницей Константина фаворит готовит покушение на императора, а последний, вынужденный расследовать дело, больше гневается на доносчика, чем на виновного, при первых полуизвинениях прощает Воилу и даже обещает увенчать его диадемой и одеть в пурпурное платье, если тот согласится по-прежнему ласково смотреть на своего государя [20 (II), с. 44]. Невозможно определить, насколько соответствует действительности эта сцена, во всяком случае она великолепно рисует не только дворцовые нравы, но и характер жуира и раба собственных страстей Мономаха.

Импульсивность Мономаха, отсутствие чувства меры,³⁰ последовательно, каждый раз с добавлением новых деталей раскрываются в ряде дальнейших сцен, самая образная из которых — эпизод строительства храма Св. Георгия [20 (II), с. 61.18 и сл.].

Рассказ о сооружении монастырей, приютов, церквей и т. п. принадлежит к числу традиционных в хронографическом жанре. Под пером Пселла он превращается в еще одно средство характеристики героя. Мономах без конца перестраивает храм, велит уничтожить уже сделанное, а на этом месте воздвигает еще более пышные сооружения. «Император парил душой в облаках, и все завершенное и уже заблиставшее красотой теряло для него всякий интерес. Лишь новые планы воспламеняли его и распяляли в нем любовь к неведомому» [20 (II), с. 63.28 и сл.].

Большое место среди «развлечений» императора занимают любовные истории, которые Пселл описывает с неожиданной для средневекового хрониста подробностью (впрочем, автор «Хронографии»

³⁰ Пселл неоднократно отмечает «неумеренность» (ἀμετρία) своего героя: «Мономах ничего не делал умеренно, но во все свои начинания привносил напряжение, резкость... Если он кого-нибудь любил, любовь его не знала меры; если он на кого-нибудь гневался, то очень преувеличивал, а то и выдумывал пороки этого человека» [20 (II), с. 60.18 и сл.].

отнюдь не был, по свидетельству его писем, равнодушен к этой сфере человеческой жизни). Уже само возвышение Мономаха произошло за счет его «мужских» достоинств: приобретая богатство и знатность благодаря женитьбе, он вскоре очаровывает своим цветущим видом императрицу Зою и таким образом становится ромейским самодержцем.

Описание отношений Мономаха с первой его возлюбленной Склириной содержит все аксессуары, которые, начиная с античного романа, сопутствуют в литературе описаниям любовной страсти.³¹ Склирина следует за Константином в изгнание, любовники не могут жить друг без друга, их не пугают превратности судьбы, в бедствиях Склирина служит утешением возлюбленному и т. д. Взойдя на престол благодаря браку с Зоей, Константин смотрит на жену только «телесными очами», в то время как образ Склирины стоит перед «глазами его души» [20 (I), с. 142]. Как всегда, Мономах не соблюдает ни предосторожности, ни меры. Уже в первые дни после венчания убеждает он императрицу приблизить ко двору Склирину. История возвышения последней и открытой «любви втроем» описывается Пселлом как беспрецедентная и шокирующая. Многочисленные детали (императрица не решается войти в покои мужа, если тот принимает любовницу; придворные, видя пылкость Константина, стараются под разными предлогами покинуть помещение и т. д.) не только вводят в обстановку царского интима, но и характеризуют самого Мономаха — человека, не умеющего и не желающего управлять своими страстями.

Смерть любовницы ненадолго оставляет Мономаха в одиночестве. Рассказу о новой страсти Мономаха Пселл предпосылает характеристику темперамента своего героя: «Императрица Зоя уже вышла из того возраста, чтобы иметь общение с мужем, в императоре бушевали страсти; а так как севаста (Склирина. — Я. Л.) скончалась, Константин, мечтая о любви, парил в фантазиях и странных видениях. По природе он был весьма склонен к любовным делам и не умел удовлетворять страсть простым общением, но приходил в волнение при (воспоминании о) прежних наслаждениях ложа и потому полюбил некую девушку...» [20 (II), с. 45.10 и сл.]. Эти

³¹ Любовная тема у Пселла — небезынтесный предмет исследования. Вероятно, что связь с мотивами античного (а может быть, и средневекового) романа не ограничивается чертами случайного внешнего сходства.

слова могли бы дать пищу для фрейдистского истолкования личности Мономаха, однако и без соотнесения с теорией знаменитого австрийца герой Пселла предстает здесь своего рода эстетом любовного наслаждения, с навязчивыми и причудливыми эротическими эмоциями.

Новая любовь (на этот раз к юной аланке) внезапно и всецело овладевает Мономахом. В новой своей страсти Мономах настолько же безудержен, как и в истории со Склириной.

Мы отнесли Мономаха к категории «легкомысленных», «бездельных» монархов. Хотя это свойство действительно лейтмотив образа, сам герой в изображении Пселла слишком сложен и противоречив, для того чтобы его сущность можно было бы выразить одним или несколькими определениями. Даже основной черте — «легкомыслию» своего персонажа Пселл не дает однозначной оценки. В какой-то степени оно хорошо, поскольку является следствием столь ценимого писателем добродушия, но оно и плохо, так как приводит к небрежению государственными делами и скандальному поведению. Как бы пасуя перед сложностью своего героя, Пселл сознательно отказывается от общих однозначных оценок его самого и его деятельности.³² Грани этого образа нечетки и размыты. Но эта размытость — не следствие недостатка искусства, а, напротив, высокая его степень, когда сложность и противоречивость объекта автор стремится воспроизвести адекватными художественными средствами.

Император-лицемер

Лицемерие от века не без основания считалось классической «византийской» чертой. В творчестве Пселла оно достигает своего апогея и как бы «осознает само себя». Сам классический лицемер,

³² «Одни из его деяний были хорошими, другие плохими» [20 (I), с. 124.9]; ср. заключительную характеристику: «Если отнять у него чрезвычайную невосдержанность, то в остальном его можно назвать самым человеколюбивым из всех людей» [20 (II), с. 71.16 и сл.]. Совершенно иначе (как резко отрицательное) характеризует отношение Пселла к Мономаху Р. Анастази [124, с. 175]. Ср. наши возражения в рецензии на эту книгу [95].

Пселл неоднократно с отвращением пишет об этом свойстве. В «Хронографии» мы встречаем двух героев, которых с полным основанием можно отнести к типу лицемеров: Михаила V и Романа III Аргиры.

Михаил V

Пятимесячному правлению Михаила V в «Хронографии» отведено непропорционально большое место, видимо, из-за драматических событий его царствования и той ненависти, которую питает Пселл к этому императору. Некоторые пассажи биографии напоминают традиционные характеристики узурпаторов, свойственные историографии предшествующих веков. Было бы, однако, несправедливо сводить образ Михаила к типу обычного «злодея на троне».

Уже первые описания (Михаил — тогда еще не император, а лишь предполагаемый преемник Михаила IV) содержат не только перечисление «злодейских свойств», но и указание на то основное качество, которое в дальнейшем станет лейтмотивом образа: «Как никто другой, умел этот человек под золотой скрывать пламя (я имею в виду мерзкий характер под маской благомыслия), он лелеял чудовищные замыслы, не испытывал никакой благодарности к своим благодетелям... однако его лицемерие (προσοπίησις) умело все это скрывать» [20 (I), с. 70.13 и сл.].

Еще не вступив на престол, кесарь Михаил с наслаждением предвкушает момент, когда он расправится со своими доброжелателями (извечная страсть деспотов сводить счеты с друзьями не вызывает ни малейшего удивления писателя), и особенно с евнухом Иоанном, которому обязан более всего. Именно по отношению к нему Михаил ведет себя «наиболее лицемерно» [20 (I), с. 70.29]. Отношения этих людей становятся сложными. Иоанн — «более проникательный, чем Михаил лицемерный», — знает об истинных намерениях будущего императора, но до поры до времени не выдает своего знания. В результате Михаил и Иоанн втайне злоумышляют друг против друга, но изображают доброе расположение, и хотя каждый думает, что его намерения неизвестны другому, оба хорошо понимают, чего хочет противник. С восшествием на престол Михаила эта драматическая ситуация получает дальнейшее развитие. В первое время молодой император дружелюбно

и даже с некоторым подобострастием относится к Зое и Иоаниу (как бы передразнивая своего героя, Пселл вводит в повествование прямую речь: от Михаила можно было постоянно слышать «моя госпожа», «императрица», «я буду ей рабом», «мой господин» и т. д.), однако вскоре он обнаруживает свои истинные намерения (с. 88).

Образ Михаила, казалось бы, совершенно ясен, тем не менее Пселл считает нужным еще раз дать ему — на этот раз прямую — характеристику: «В жизни своей этот человек был существом изменчивым, имел душу изворотливую и непостоянную, речь его была в противоречии с сердцем, одно у него было на уме, другое на языке... он мог вечером за одним столом пировать с тем, кого наутро решил подвергнуть жесточайшему наказанию» [20 (I), с. 90.17 и сл.]. Поражает та точность, с которой Пселл схватывает в образе своего героя «родовые» черты лицемерного деспота, с удивительной закономерностью проявляющиеся вне зависимости от места и времени: «Родство и, более того, кровная близость были для него детскими забавами. Михаила ничуть не тронуло бы, если бы всю его родню смыло одной волной. Он ревновал их не только к власти — это было бы еще понятно, — но к огню, к воздуху и вообще ко всему... Встречаясь с трудностями, он в речах и поступках проявлял себя человеком низменным, с душой раба, а если удача, хотя бы ненадолго, улыбалась ему, он немедленно менял декорации, сбрасывал притворную маску, гнев переполнял его и он принимался за свои страшные дела...» (с. 90.25).

Вся история кратковременного царствования Михаила в изображении Пселла — это история «классического деспота». Своевольное управление, введение неоправданных, с точки зрения писателя, новшеств, преследование чиновных и знатных, заискивание перед толпой и, наконец, изгнание императрицы Зои, согласно писателю, — следствие дурного нрава деспота и в то же время причина его гибели.

Заключительная сцена ослепления императора завершает его образ: император не находит в себе сил мужественно встретить испытания. Он рыдает, молит о пощаде, проявляя неблагодарство и низменность своей природы.

Образ Михаила — один из наиболее цельных и законченных в «Хронографии».

Роман III Аргир

В отличие от жизнеописания Михаила V биография другого «лицемера» — Романа Аргира начинается с характеристики, близкой к панегирической: «Этот муж был воспитан на эллинских науках, был приобщен к знаниям, которые доставляются наукой латинской, он обладал приятной речью, внушительным голосом, ростом героя и царственной внешностью» [20 (I), с. 32.21]. Но уже следующая фраза (это обычно для «двуличных» характеристик Пселла) насстораживает: «В то же время, — продолжает писатель, — он воображал, что обладает знаниями большими, чем на самом деле». Это противоречие между претензиями и действительностью отныне становится ключом к образу императора. Роман хочет подражать великим древним государям Марку Аврелию и Августу в занятиях науками и военном деле, но в последнем он был полным невеждой, науки же знал крайне поверхностно. Император, пишет Пселл, занимался философско-теологическими проблемами, однако это было маской и лицемерием (*προσομοίωσις καὶ προσποίησης*), а не выяснением и исследованием истины (с. 33). Да и вообще деятельность императора могла бы принести немалую пользу, если бы не представляла собой «воображение и лицемерие» (с. 34.4).

Итак, «лицемерие» (слово *προσομοίωσις* постоянно встречается в тексте биографии) — определяющая черта Романа. Однако между лицемерием Романа и лицемерием Михаила большая дистанция. Для Михаила V — это сознательно надетая маска, имеющая целью обман и мистификацию окружающих. Роман III притворяется перед самим собой. Его претензии находятся в постоянном противоречии с его возможностями, а жертвой этого противоречия прежде всего становится он сам: «Воображение и напряжение сверх меры души обманули его в важнейших делах» [20 (I), с. 33.10].

Основная часть биографии Романа — история постепенного превращения щедрого и даже расточительного государя в прижимистого «сборщика налогов», однако главная черта героя неизменно проявляется если не в прямых оценках, то в многочисленных образных деталях — косвенных характеристиках персонажа. Вот некоторые примеры.

Описывая вступление императора в Антиохию, Пселл замечает, что его въезд «скорее имел характер театрального зрелища, нежели боевого шествия, и потому не мог поразить воображение противника»

[20 (I), с. 36.21 и сл.]. Театральность императорской процессии, естественно, соотносится в сознании читателя со свойственным герою стремлением к чисто внешней эффектности. Во время того же похода враги предлагают Роману мир, но он, «способный только на то, чтобы строить и готовить к бою отряды... и делать все то, что, как мы слышали, совершали знаменитый Траян и Адриан, а раньше — цезарь Август, а еще до него — Александр, сын Филиппа» (выделено нами. — Я. Л.), ни с чем отсылает обратно послов» (с. 37.2 и сл.). «Великие предки» фигурируют здесь, конечно, не случайно: авторская речь воспроизводит ход мысли героя, подражающего древним императорам. Вообще стремление «делать себя» под легендарных государей — характерная черта Романа.

Как и в биографии Константина Мономаха, традиционный эпизод строительства храма превращается у Пселла в средство характеристики: Роман возводит церковь, соревнуясь со знаменитым царем Соломоном и подражая самодержцу Юстиниану [20 (I), с. 41.9 и сл.]. Не благочестие, а стремление походить на властителей прошлого движет византийским императором. Сравни слова Пселла: «Предметом заботы этого императора было иметь вид благочестивого человека, и он действительно заботился о божественном, но притворства было больше, чем истинной веры, и казаться значило для него больше, чем быть» (с. 40.26 и сл.).

Нетрудно видеть, что Михаила V и Романа III объединяет лишь общность основного «родового» качества — лицемерия. В остальном это образы совершенно различные: у каждого из героев «свой», характерный именно для него тип лицемерия. Внимание писателя направлено не на общее, «родовое», а на частное, индивидуальное.

Император «аладзон»

Роман IV Диоген

Роман Диоген — герой с четко выраженной доминантой характера. Уже в первых строках биографии говорится: «Нрав его иногда прямой, большей же частью лукавый и склонный к бахвальству (*εἰρωνικός καὶ ἀλαζών*)». Два последних определения вызывают ассоциации с классическими типами «аладзона» и «эйрона», хорошо известными со времен древнеаттической комедии и вошедшими

в знаменитый реестр характеров Феофраста. «Ирония», однако, в ходе дальнейшего изложения больше не фигурирует, в то время как «наглое бахвальство» (*ἀλαζονεία*) становится ведущим свойством героя. Именно все возрастающее «бахвальство» заставляет Романа совершить три последовательных похода против сельджуков, которые приводят императора к катастрофе. Поскольку описание этих походов составляет сюжетную канву жизнеописания, то вся биография становится средством выявления ведущего качества персонажа. Весьма характерно для Пселла: «бахвальство» Романа раскрывается не только в прямых характеристиках, но и в постоянном противопоставлении претензий, кажущегося, видимого в императоре с реальными возможностями и результатами его усилий. Внешне серьезный (иногда даже торжественный, с гомеровскими цитатами) тон в ряде эпизодов служит контрастом ничтожности императорских успехов, порождая определенный комический эффект. Пселл рассказывает, например, о приготовлениях Романа к своему первому походу: «Император облачился в боевые доспехи из дворца, взял в левую руку щит, в правую — копьё, “сбитое крепко гвоздями, двадцать два локтя длиною”. Щитом император рассчитывал преградить путь врагу, а копьем поразить его в бок. При виде этого остальные подняли боевой крик и рукоплескали, я же, догадываясь о том, что должно произойти, оставался мрачным» [20 (II), с. 158.23 и сл.]. Окончание же этого эпизода Пселл описывает следующим образом: «Император вернулся с видом победителя, но не привез с собой ни мидийской, ни персидской добычи, гордясь разве только тем, что воевал с врагом» (с. 159.8). Тем не менее этот поход становится для него «предлогом для бахвальства» (*πρόφασις τῆς ἀλαζονείας*). Аналогичным образом описываются и результаты второго похода: «Хотя тысячи наших воинов пали, все-таки мы взяли в плен двух или трех врагов и не были побеждены, и много было у нас разговоров по поводу победы над врагами» (с. 160.20).

Образ Романа Диогена лишен сложности и противоречивости, присущей большинству пселловских образов. Автор относится к своему герою со слишком большой неприязнью, чтобы копаться в психологических тонкостях. Вместе с тем Роман Диоген у Пселла — четко очерченный персонаж, никоим образом не напоминающий «злодея» допселловской хронографии. Особенности его изображения — наличие ярко выраженной «ведущей черты» характера

и использование «непрямых» методов (определенный иронический подтекст) характеристики.

Женщины-императрицы

Императрица Зоя

Зоя, супруга трех государей, сама единодержавная правительница, фигурирует в нескольких книгах «Хронографии». Выйдя замуж в 50-летнем возрасте, она тщетно пытается зачать ребенка, теряет расположение супруга и начинает его ненавидеть, уязвленная в царской гордости и разочарованная в эротических надеждах, которые, совсем не по возрасту, поддерживала в ней изнеженная дворцовая жизнь [20 (I), с. 34]. Завидуя сестре Феодоре, она убеждает супруга постричь ее в монахини (с. 107).

Вновь «по страсти, а не по рассудку» выйдя замуж за Михаила IV, Зоя вторично терпит разочарование, поскольку ее новый царственный супруг не только не выказывал никакого расположения к ней, но, напротив, всячески уязвлял гордость своей благодетельницы. На этот раз Зоя кротко переносит дурное обхождение и готова простить своего гонителя. Внешняя кротость и «непротивление» отныне становятся характерной чертой стареющей императрицы. Получивший власть Михаил V относится к ней не лучше прежних государей, полностью разделяя ту удивительную ненависть, которую питали к Зое возведенные ею на престол императоры. Вскоре пожилая государыня вынуждена постричься в монастырь. Возвращенная в результате народного возмущения во дворец, она уже не рада счастливому повороту судьбы, не пользуется случаем отомстить Михаилу V и даже не находит слов для его осуждения [20 (I), с. 106]. После падения Михаила Зоя вместе с Феодорой берут власть в свои руки. Короткое царствование сестер дает Пселлу возможность произвести — совсем в античных традициях — сравнение, «синкрисис» этих сестер, о котором речь ниже.

Подпав под воздействие чар Константина Мономаха, Зоя вскоре отдает ему руку и самодержавную власть. Мономах, как и его предшественники, третирует жену, однако Зою уже ничто не трогает, и даже скандальная связь Константина со Склириной оставляет ее равнодушной: «Она не питала ревности, изнуренная многими

бедами и войдя в тот возраст, которому не свойственны подобные страсти» [20 (I), с. 143.11 и сл.].

Все сказанное выше о Зое — фактически переложение нескольких пассажей из «Хронографии», в которых нет попытки дать законченную характеристику императрицы. Тем не менее ее образ поступает достаточно отчетливо. Чувственная, завистливая, постоянно уязвляемая в своем женском и царском достоинстве, при всем окружающем блеске одинокая женщина с возрастом перестает остро реагировать на постигающие ее удары судьбы. Зоя уже безразлична ко всему, кроме своего последнего старческого увлечения — приготовления ароматических смесей.

Образ Зои — пример характеристики «мимоходом», образец искусства Пселла обрисовать персонаж не с помощью прямого описания, а рядом удачно подобранных деталей.

Вместе с тем писатель считает нужным охарактеризовать свою героиню и специально. Первый раз он делает это в «синкрисисе», второй — в «заключительной характеристике», объединенной, по образцу античного *eulogium*'а, с сообщением о смерти героини [20 (II), с. 48].

Зоя была не приспособлена к делам, пишет Пселл, и совершенно испорчена «императорским безвкусием» (*ὄλο βασιλικῆς ἀλαροκαλίας* — трудно придумать более смелое и «современное» определение, которым автор выражает всю меру своего презрения к царственной даме). «Если у нее и были какие-то душевные достоинства, то характер ее не сохранил их в чистоте, — продолжает писатель, — а, проявляя чаще, чем нужно, превратил из благородных в безвкусные. Не буду говорить о ее благочестии, не хочу обвинять за его избыток: в этой добродетели она была ни с кем не сравнима... Что же касается остальной жизни, то была она или простой и ослабленной, или тугой и натянутой (Пселл пользуется здесь скрытым сравнением с лирой. — Я. Л.). Оба эти состояния без всякой причины мгновенно сменяли друг друга...» [20 (II), с. 48.14 и сл.]. И наконец, последняя деталь, придающая образу фанатичной богомолки жутковатый оттенок: в молодости Зоя выражала недовольство по поводу того, что ее отец Константин VIII редко карает ослеплением. Только вмешательство самодержца спасало многих ее жертв (с. 49).

Заключительная характеристика, которую Пселл с присущим ему диалектизмом дает Зое в «Хронографии», позволяет сравнить образ императрицы с образом ее последнего супруга — Константина Мономаха.

Императрица Феодора

В сравнении двух царственных сестер Пселл отмечает индивидуальные особенности каждой из них [20 (I), с. 118–119]. Старшая (Зоя) питала в душе все новые замыслы, но была неразговорчива. Младшая (Феодора), напротив, была медлительна в своих планах, зато весьма многоречива. Старшая проявляла решительность в действиях, даже тогда, когда речь шла о жизни и смерти, младшая имела характер ровный и как бы «притупленный». Старшая была беспредельно щедра, младшая, наоборот, — чрезвычайно расчетлива. В «сравнении» обращает на себя внимание стремление писателя не сопоставлять отдельные «черты», а выявить тенденции характеров сестер: импульсивной, склонной к крайностям Зои и спокойной, «себе на уме», Феодоры.

Более подробное описание Феодоры дается в связи с ее вторым царствованием. Императрица «по-мужски», «открыто» берется за государственные дела — Пселл отмечает твердость голоса, которым Феодора выносит свои решения [20 (II), с. 72], непоколебимость ее желаний (с. 78) и т. д. Вместе с тем деятельность Феодоры вызывает явное неудовольствие писателя: она приближала к себе недостойных людей и, несмотря на благочестие, нередко преступала законы из-за любви к самодержавной власти (с. 79). Уже с нескрываемым раздражением пишет Пселл о фанатичных монахах («назиреях»), под сильное влияние которых подпала императрица, совершившая в результате ряд промахов (с. 80–81). Традиционная женская добродетель — благочестие — здесь, как и в образе Зои, превращается в свою противоположность.

В скупо очерченном образе Феодоры мы встречаемся с той же тенденцией к индивидуализации и «диалектизму», которая характерна для большинства персонажей «Хронографии».

Третья женщина «Хронографии» — императрица Евдокия — характерный пример эволюционирующего персонажа. Пселл говорит о скромности героини, которая постепенно «освобождается» от этого достоинства в связи с опасениями за судьбу сына.

Второстепенные персонажи

Иоанн Орфанотроф

Помимо императоров на страницах «Хронографии» выступает целый ряд героев всех званий и положений, от простых воинов до «первых министров». Одни из них только упоминаются, чаще всего в сопровождении краткой и традиционной характеристики, другие описываются подробней или даже обрисовываются с той тщательностью и психологическим проникновением, которые обычно отличают пселловское искусство.

Некоторые второстепенные персонажи по тонкости и мастерству изображения ничем не уступают основным героям «Хронографии». Это в первую очередь относится к описанию всесильного временщика, брата Михаила IV, Иоанна Орфанотрофа. Его характеристику Пселл стремится построить по принципу перечисления хороших и дурных свойств. Однако таланту Пселла органически противопоказано расчленение белого и черного, и образ Иоанна в действительности очень мало похож на «каталог черт».

«Умный, энергичный, трудолюбивый», Орфанотроф даже на празднествах и пирушках не забывал о делах и в самое неподходящее время появлялся в любой части города. И вот, в страхе перед ретивым чиновником, все «сжались, замкнулись в себе, жили каждый сам по себе и прекратили общение». Изменчивый душой, он приспособлялся к характеру собеседника. Если собеседник высказывал какую-нибудь полезную мысль, Иоанн делал вид, будто знает о ней, и даже порицал человека за нерасторопность, неумение применить ее. Тот уходил пристыженный, а Орфанотроф тут же претворял мысль в дело. Иоанн стремился жить с блеском и управлять по-царски, но врожденный нрав не позволял ему этого, «природа» его не могла отказаться от свойственного ей чревоугодия. Напиваясь, он творил всякие бесчинства. Однако и пьяный, он не забывал о государственных заботах и сохранял грозное выражение лица, дабы удержать людей от дурных поступков. Во время пирушек Иоанн внимательно следил за поведением собутыльников и потом привлекал их к ответу за неосторожные речи и дела. Поэтому пьяного его боялись больше, чем трезвого. «Был этот человек средоточием различных качеств; уже давно приняв монашество, он и во сне не помышлял о монашеском благообразии, тем не

менее изображал, будто выполняет все положенное монахам свыше, и яро презирал ведущих распущенную жизнь. В то же время он враждебно относился ко всякому, кто жил благообразно и в добродетели или украшал душу светскими науками, и всеми способами унижал предмет их рвения. Так нелепо вел он себя во всем...» [20 (I), с. 60.27 и сл.].

Неоднократно отмечавшийся нами «диалектизм» пселловского метода в изображении Орфанотрофа достигает своего апогея. За каждым утверждением следует отрицание или ограничение, за каждой тезой — антитеза. Обычная двучленность характеристики превращается здесь уже в «многочленность» (вспомним последнюю, приведенную выше цитату: Иоанн — монах, но не благочестив, тем не менее порицает нечестивцев, а к благочестивым людям враждебен). Мысль автора, как бы следуя и «сопереживая» персонажу (пользуемся выражением самого Пселла), противоречит самой себе и вместе с тем собственной противоречивостью создает сложный образ героя.

Иоанн Орфанотроф в «Хронографии» — пожалуй, лучшее в среднегреческой литературе выражение духа «византинизма» (в графическом значении слова), который надолго пережил саму Византию. Умный, энергичный, со сладкой улыбкой на устах и злобой в сердце, растленный, но изображающий благочиние, третирующий всех, чьи интересы лежат в сколько-нибудь возвышенной сфере, — такой персонаж мог бы занять место среди «вечных» литературных образов, не затерялся он на страницах пселловских мемуаров.

* * *

Приступая к рассмотрению системы образов «Хронографии», мы, исходя из композиции жизнеописаний, определили метод Пселла как дедуктивный — соответствующий средневековому нормативному мышлению. Однако конкретный анализ привел нас к противоположным выводам. Основная тенденция Пселла состоит не в подведении индивидуального и конкретного под общее и абстрактное, а, напротив, в максимально возможной для того этапа литературного развития индивидуализации.

Можно говорить и о большем: о появлении в историографическом жанре принципиально нового способа организации образа.

Исторический или мнимо исторический герой в византийской литературе был предметом более или менее детальной характеристики в трех жанрах: «похвальном слове» (или его антиподе «поношении» — «псогосе»), агнографии и историографии. Их образы, говорили мы, не представляли собой замкнутой и внутренне организованной системы. Они или разбивались на произвольное число «добродетелей» (в энкомиях), или представляли собой одну-единственную добродетель, иллюстрируемую неопределенным и ничем не ограниченным числом эпизодов (в житиях, мы отвлекаемся сейчас от возможных вариантов).³³ Что касается историографических произведений, то стиль характеристики императоров (если она вообще в них давалась) зависел от отношения писателя к изображаемому лицу. Характеристика могла строиться по принципам похвального слова, если автор хотел прославить своего героя (например, изображение Никифора III Вотаниата, Исаака I Комнина, Романа IV Диогена у Михаила Атталиата), могла превращаться в «поношение» — «псогос» (например, изображения императоров-иконоборцев у ряда хронистов), но могла и претендовать на определенную объективность, если отношение историка к герою не было однозначным. Так, император Константин X Дука у Атталиата радуется о пополнении казны и о правосудии, однако мало заботится о военных успехах империи, это милостивый, благочестивый и щедрый царь, тем не менее благодетельствует он лишь немногих избранных, и его политика оказалась причиной упадка государства, хотя вину скорее нужно возлагать не на самого царя, а на его дурных советников [50, с. 76]. Этот портрет Константина X, как и ряда других героев историографических сочинений, далек от энкомиастического стандарта, но это портрет функциональный, в котором отмечаются лишь свойства и качества мужа государственно-го, так или иначе влияющие на политику и вообще на исторические события. Во всех случаях связь между характеристикой героя и историческим повествованием поверхностна. Портрет императора или предшествует рассказу, или его заключает, или, наконец, на манер отступления, вставлен в середину. Его почти всегда можно безболезненно изъять, не нарушив структуры рассказа.

Совершенно иной тип построения у Пселла. Черты его героев — не равноправные детали в мозаике «добродетелей» или «пороков»,

³³ Образец такого построения дает и сам Пселл в Житии Авксентия.

а взаимосвязанные элементы единой картины, группирующиеся в сложных взаимоотношениях вокруг одного или нескольких свойств, составляющих сердцевину образа. Образ в «Хронографии» — структурное единство, и изъятие любого из его элементов (в отличие от агиографии или энкомия) наносит непоправимый ущерб целому. Изъятие самого образа героя в «Хронографии» (в отличие от прочих византийских историографических произведений) — почти такая же невозможная операция, как, скажем, изъятие из «Войны и мира» образов Андрея Болконского, Пьера Безухова или Наташи Ростовой. Именно это и создает ощущение удивительной «современности» «Хронографии».

<Находка нового текста части «Хронографии», известной до того времени только по одной рукописи, позволила поднять текстологические проблемы, связанные с «Хронографией», уже на новой основе, а также возобновить дискуссию о времени написания этого произведения. Чтения Синайской рукописи были учтены в итальянском издании «Хронографии» 1984 г. (Psello Michele, 1984). В свою очередь подготовка и публикация этого издания инициировали появление ряда новых исследований (S. Ronchey, 1985; S. Ronchey, 1988; J.-L. van Dieten, 1985. U. Albini, 1984; U. Albini, 1985; U. Albini, 1988; U. Albini, 1989; K. Snipes, 1989. A. Karpozilos, 1988; A. Dyck, 1994).

Признанием художественных достоинств и исторической значимости «Хронографии» безусловно является публикация переводов этого сочинения на новые языки: за истекшее двадцатилетие «Хронография» издавалась, помимо уже упомянутого итальянского перевода, дважды (в разных переводах!) по-новогречески, она вышла по-польски и по-шведски. Вряд ли на долю какого-нибудь другого византийского сочинения выпал подобный «издательский успех» в Новое время! В то же время исследований, посвященных «Хронографии» как художественному феномену, практически нет. Исследователи чаще всего ограничивались констатацией художественных достоинств и уникального характера сочинения Пселла, но редко затрудняли себя более детальными рассуждениями о природе этого произведения.* Некоторое исключение представляет П. Карелос,

* <Безусловное исключение представляет собой А. Калделлис (A. Kaldellis, 1999), книга которого стала нам доступна после сдачи в печать этой рукописи.>

исследующий способ, каким историограф включал в свое сочинение цитаты и реминисценции из античных авторов, и отмечающий уникальную образованность писателя и его владение языком. Ученый утверждает, что у Пселла — автора «Хронографии», не было предшественников и не нашлось продолжателей в византийской литературе (P. Carelos, 1991). Литературным реминисценциям в «Хронографии» посвящена статья St. Linnér, 1981.

Признает уникальность Пселла в «Хронографии» и Р. Макридис, хотя и заканчивает свои рассуждения достаточно парадоксальным образом: «Да, Пселл изменил тот метод, которым писалась история, однако сделал это, как я полагаю, разрушительным способом» (R. Macrides, 1996, p. 215).

Насколько действительно «неожиданным» было появление пселловской «Хронографии» в византийской литературе? Вопрос этот необычайно интересен, особенно в связи с проблемой преемственности в среднегреческой словесности (если его, конечно, рассматривать не в традиционном аспекте филиации текстов, а в более широком историко-литературном контексте). Занимаясь все эти годы проблемами допселловской историографии, я хотя и не отказался от мысли о совершенно особом месте «Хронографии» в ряду византийских исторических сочинений, тем не менее склонен рассматривать ныне произведение Пселла как итог и логическое завершение многовекового пути, пройденного жанром византийского историописания (J. Ljubarskij, 1992-2, перепечатано в: Я. Любарский, 1999, с. 318–337).>





Глава седьмая

КАК ВЫГЛЯДЕЛИ ГЕРОИ ПСЕЛЛА

Рассуждая об образах Пселла, мы оставили без внимания их внешнюю характеристику. Между тем портреты героев разработаны писателем подчас весьма подробно.

Проблема литературного портрета может показаться частной и необязательной, тем не менее интересует она нас не только сама по себе, но и потому, что в способе изображения внешности литературных персонажей наглядно и зримо (почти в буквальном смысле слова) проявляются общие художественные принципы автора.^{1*}

¹ Поскольку проблема эта представляет собой определенное единство, мы начнем ее рассмотрение без подразделения на жанры историографии и риторики.

* <В относительно недавние годы были опубликованы несколько работ о литературном портрете у византийских историков. Часть из них касается ранневизантийского литературного портрета у Малалы и его последователей, так называемых соматопсихогрaмм (Е. & М. Jeffrey, 1990; Я. Любарский, 1988-2, перепечатано в: Я. Любарский, 1999, с. 21-30; М. Кокозько, 1998), другие посвящены изображению внешности героев у историографов XI-XII вв. (например, Garland, 1994). Обобщающую статью о византийском литературном портрете опубликовал недавно В. Арте. Некоторые из выводов голландского ученого совпадают с тезисами моих работ, которых Арте, естественно, не читал (gossica non leguntur!). По мнению ученого, портреты у Пселла более близки к реальности, нежели у Анны Комниной (W. Arts, 1997).>

В некоторых случаях, приступая к описанию внешности своих героев, Пселл считает нужным оговориться. «Пусть никто не обвиняет меня и не думает, что я позорю философию, если решаюсь восхищаться красотой тела... Если Священное Писание и не ценит телесную красоту, то оно не отвергает природу саму по себе, а лишь для того, чтобы, восхищаясь ею, мы не чуждались высшего. Если смотреть на материальный мир нематериальным взором и испытывать к нему пристрастие, лишенное страсти, то это не только не предосудительно, но и чрезвычайно похвально» [16 (I), с. 149.16 и сл.]. Пселл предупреждает здесь нападки религиозных фанатиков: «философия», позорить которую не хочет писатель, — система религиозно-аскетических взглядов монахов и монашествующих византийцев. Конкретность выпада становится совершенно очевидной из другого пассажа: «Я знаю многих людей из числа строго монашествующих (так описательно мы переводим греч. τῶν εἰς ἄκρον φιλοσοφούντων. — Я. Л.), которые не упоминают о телесной красоте и не считают возможным хвалить за нее людей, прославляя их за достоинства более значительные и высокие: твердость ума... душевное благородство...» [I (IV), с. 308.12 и сл.]. Сам принявший монашество, Пселл испытывает некоторое неудобство, когда сталкивается с необходимостью описать внешность. Впрочем, он быстро справляется со своим смущением и преподносит читателю портреты персонажей. В колебаниях Пселла нет ничего необычного. Вопрос об отношении к человеческому телу, особенно красивому, всегда в Средние века разделял сторонников христианско-аскетического и «гуманистического» мировоззрений. Отражение этих споров мы находим в сочинениях Пселла, который сам явно на стороне «гуманистов».

«Гуманизм» писателя носит ярко выраженную христианскую окраску: телесная красота, заявляет он, по своей ценности не идет ни в какое сравнение с душевными добродетелями, хотя в соревновании одинаково добродетельных людей красивый обладает очевидными преимуществами [1 (IV), с. 308]. Некоторые герои писателя не только не культивируют, но, напротив, уничтожают свою красоту, расцветающую помимо их воли (кесариса Ирина [16 (I), с. 167], мать Пселла [1 (V), с. 7], мать Михаила Кирулария [1 (IV), с. 307]). Внешность человека важна для Пселла не сама по себе, а как выражение его внутреннего содержания. «Я восхищаюсь, — пишет Пселл о физиогномистах, — знатоками этого рода философии, потому

что они уподобляют тело душе, сопоставляют его с душой. Благодаря этому они понимают, что означает ее (речь идет о кесарисе Ирине. — Я. Л.) внешний вид, и по внешности умеют распознавать суть, так что неподвижные глаза свидетельствуют об одном нраве, подвижные и живые — о другом» [16 (I), с. 162].

Связь между «внешним» и «внутренним» устанавливается, как правило, прямая и механическая. Вид героя непосредственно свидетельствует о его сущности (например, у Константина Лихуда [1(IV), с. 391], Константина Дуки [16 (II), с. 178]). Помимо «зеркала души» — глаз, основную роль играют брови: прямые свидетельствуют о мягком и даже женственном нраве, высокие, изогнутые — о суровости или наглости [1 (V), с. 20; 16 (I), с. 22].

Портрет героя был неременным компонентом для ряда античных и зависящих от них ранневизантийских жанров. В дальнейшем, в связи с христианизацией и спиритуализацией литературы, он почти полностью исчезает из произведений византийской словесности. Напротив, его реставрация в X–XI вв. (в «Дигенисе Акрите», у Льва Диакона) явилась, видимо, следствием общего возрождения античных художественных норм.

Пселл, примыкая к теоретикам второй софистики, считает описание внешности обязательной составной частью энкомия.² Скорее всего, именно из ораторских сочинений вместе с другими элементами риторики проникли эти описания и в «Хронографию». Своим построением стандартный пселловский портрет напоминает структуру образов риторических произведений писателя и представляет своеобразную «сборно-разборную конструкцию». Взор автора как бы скользит — чаще всего сверху вниз — по предмету изображения, фиксируя отдельные детали, каждая из которых без труда может быть исключена или заменена другой. Именно это позволяет составить нечто вроде «инвентарной описи» элементов женского и мужского портретов. Общими для того и другого являются: голова, лицо, волосы, брови, глаза, нос, рот, руки, пальцы, цвет кожи, рост, голос, речь. В женском портрете встречаются, кроме того, щеки, зубы, соски, колени, лодыжки и др.

² Энкомиаст, по Пселлу, описывает «то, что украшает душу, то, что придает красоту телесной природе, и то, что дано герою его происхождением и озарением свыше» [16 (I), с. 180].

Из двенадцати учтенных нами здесь портретов³ описание глаз встречается в десяти случаях, роста — в шести, бровей, волос, цвета кожи — в пяти, головы, лица — в четырех. Остальные элементы упоминаются реже.

Поддаются учету не только детали, но и примерный круг свойств, которые им чаще всего приписываются или отсутствие которых отмечается. Глаза — большие (Стилиана, Зоя, младенец Константин), пронизательные, подвижные (мать, Ирина, внук). Волосы — светлые, золотистые, огненные (Стилиана, Зоя, внук, младенец Константин), курчавые (Стилиана, внук). Брови — прямые или изогнутые (Стилиана, отец, Василий II, младенец Константин), Нос — прямой или с горбинкой (Стилиана, Зоя, младенец Константин). Голова или лицо — круглые (Стилиана, внук, Василий II, младенец Константин). Рост — большой (Зоя, Ирина, Феодора, отец). Цвет кожи — белый, блестящий (Стилиана, Зоя, мать, аланка, Константин Мономах).

Не станем продолжать этого реестра. Уже из приведенной его части видно: ни сами элементы портрета, ни их характеристика не являются изобретением Пселла или какого-нибудь иного византийского писателя: то и другое *Gemeingut* античного литературного портрета, возникновение которого следует отнести еще к Гомеру, функционирование — ко всему периоду классической древности.⁴ Можно утверждать и большее: основные элементы внешности пселловского героя совпадают с деталями портрета средневековых западных писателей. В этом нет ничего удивительного — классические греческие нормы через посредство латинской литературы утвердились на Западе [см. 288]. Античное происхождение портрета подтверждает и система сравнений и метафор, используемых

³ Нами учтены здесь следующие портреты: императрицы Зои [20(I), с. 120; (II), с. 49], Феодоры [20(I), с. 120], аланки — любовницы Константина Мономаха [20(II), с. 45], младенца Константина — сына Михаила VII [20(II), с. 178], Василия II [20(I), с. 22], Константина IX Мономаха [20(I), с. 125; (II), с. 30], Стилианы [1(V), с. 68], кесарисы Ирины [16(I), с. 167], младенца — внука [16(I), с. 78], матери [1(V), с. 6], отца [1(V), с. 19], патрикия Иоанна [16(I), с. 150].

⁴ Это утверждение настолько очевидно, что не нуждается в специальных доказательствах. Сошлемся на книгу К. Якса [208], где подобраны и систематизированы традиционные детали идеального женского портрета в античной поэзии.

Пселлом при описании внешности: белоснежная кожа, глаза — звезды, фигура, подобная кипарису, лицо — только что распустившийся бутон, щеки — розовый луг, — все это хорошо известный арсенал древних изобразительных средств, которые ныне нельзя воспринять иначе, как поэтические трюизмы. Сюда же можно отнести изображение красоты через действие, которое она производит на смотрящего, и т. д.

«Универсальность» и длительная традиция элементов внешней характеристики персонажей, казалось бы, исключают возможность более или менее точно возвести пселловские описания к какому-либо образцу. Такого образца не существует и в действительности, однако структура пселловского (а возможно, и вообще византийского) портрета более всего напоминает риторическую экфразу, нашедшую отражение в позднеантичном романе. Именно роман, вошедший в себя большинство традиционных элементов, впервые дает описание внешности как законченного целого [286, с. 395 и сл.]. Возможность прямого влияния романа на Пселла никак нельзя исключить, прежде всего потому, что Пселл хорошо знал и высоко ценил этот популярный в Византии античный жанр. С некоторой осторожностью можно даже говорить о прямом заимствовании византийским писателем деталей. О дочери Стилиане Пселл пишет: τοὺς μέντοι μαστούς εἶχεν ... μικρὸν ἢ οὐδὲν κροκόττειν δυνάμενους. У Ахилла Татия мы встречаем при изображении Европы: μαῖοι τῶν στέρνων ἤρεμα κροκόττοντες (Ach. Tat., I, 1). О том, что эта деталь не осталась незамеченной византийцами, свидетельствует ее появление в «Дигенисе Акрите» [40, VI. 783]. Не станем приводить других соответствий: в большинстве своем они составляют часть общего стандарта и потому не могут служить доказательствами.⁵

Структурное сходство не скрывает, а, напротив, оттеняет отличие пселловского (в значительной мере и вообще византийского) портрета от античных риторических описаний. Прежде всего внешность у византийского писателя изображена, как правило, много

⁵ Пселла можно заподозрить в заимствовании описания такой редкой детали, как ноздри: Μικτήρες ... τοῦ ἄερος σπῶντες ἐλευθέρας [1 (V), с. 69.29 и сл.]; ἡ δὲ ρίς ἐλευθέρη τοῖς μικτήραις [20 (II), с. 178.23]. Ср. οἱ μικτήρες ἐλευθέρας τὸν ἄερα εἰσπνέοντες (Heliod., II, 35). Тот же образ есть и у Анны Комниной. Редким эпитетом для волос является ἡλιώσα [20 (II), с. 26; с. 31.11]. Такой же эпитет встречается и у Гелиодора (Heliod., III, 4).

подробней, чем в любой античной экфразе. «Портрет-гигант» дочери Пселла Стилианы состоит из 21 элемента и занимает 175 стром современного издания. Портреты Василия II в «Хронографии» соответственно — 9 и 40, Константина (сына Михаила VII) — 6 и 14, и т. д. Количество элементов и объем других описаний меньше, однако в большинстве случаев Пселл, как и обычно средневековые художники, в принципе стремится к исчерпывающему изображению, не оставляющему места для воображения читателя. Достигается это не только умножением элементов, но и максимальной детализированностью каждого из них. Так, например, описание лишь бровей Стилианы занимает более 800 печатных знаков! [1 (V), с. 68–69].

Подобные скрупулезные описания вызывали раздражение современных критиков, не без основания считавших ряд пселловских портретов тяжелыми, многословными и скорее напоминающими анатомический трактат, нежели литературное изображение.

Действительно, современный читатель должен сделать определенное эмоциональное усилие, чтобы эстетически воспринять внешнюю характеристику большинства героев Пселла. Следует, однако, иметь в виду, что эти описания — проявление и развитие одной из тенденций среднегреческой литературы. Византийский литературный портрет, как и вообще любая экфраза в Средневековье, становятся все подробнее и «тяжелее». В этом легко убедиться, сравнивая хотя бы внешние характеристики персонажей Евмафия Макремволита и Ахилла Татия, связанные между собой генетически (например, *Eust. Macremb.* [III. 6=Ach. Tat., 1.4; ср. у Поляковой [103, с. 128]).

Процесс восприятия и в то же время расширения и «усугубления» хорошо известных в античности элементов внешнего портрета легко прослеживается на изображении Пселлом цвета. Историки эстетики неоднократно отмечали «слепоту» древних в отношении цвета. Весьма ограниченная палитра красок и у византийцев, в частности у Пселла. Глаза героев писателя светлые (редко голубые), брови — черные, кожа — белая, с румянцем, волосы — русые, золотистые, огненные и т. д. Как правило, Пселл не выходит за пределы этого набора, хотя подчас (в стиле своих описаний) старается детализировать колорит. Вот как характеризует он, например, цвет волос дочери Стилианы: волосы, ниспадающие на спину, были «плотного русого цвета с небольшим золотистым оттенком», волосы же,

опускающиеся на лоб, — «не совсем русые, но и не слишком темные, имели светлый оттенок и скорее были похожи на золотистые...» [1 (V), с. 71]. Пселл стремится как можно точнее передать оттенки и в то же время колеблется лишь между двумя традиционными определениями: χρῶς и ζαφῶς. Здесь метод писателя можно сравнить с приемами византийской книжной миниатюры, авторам которых удавалось подчас воспроизвести тончайшие оттенки одного и того же цвета.

Детали «сборно-разборной конструкции» пселловского портрета, как и ἀρεταὶ энкомиастических образов, свободно нанизываются на нить повествования и редко имеют какую-либо четко выраженную связь с соседними элементами. Связь эта чаще всего сводится к цветовому контрасту (белое и черное, белое и красное). Черные брови оттеняют белизну кожи, румянец или красные губы подчеркивают белый цвет лица и т. д. Этот заимствованный из античности и уже успевший формализоваться прием в некоторых случаях создает эффектный цветовой образ в портрете. Например, Константина Мономаха в «Хронографии»: «Каждый из его членов природа окрасила в нужный цвет... голову — в огненно-рыжий, а грудь, живот до ног и спину, соблюдая меру, наполнила чистой белизной. Тот, кому приходилось видеть его вблизи, когда был он еще во цвете сил и члены его еще не ослабли, сравнивал его голову, сверкающую лучами волос, с солнцем, а остальное тело — с чистейшим и прозрачным льдом» [20 (II), с. 31.6].

Однако помимо цветового контраста, между элементами портрета почти всегда существует и другая, более универсальная связь — соотношение симметрии и гармонии (συμμετρία, ἀρμονία). Оба эти слова и их производные, особенно первое, чаще всего встречаются во внешних характеристиках персонажей. В многократно уже упомянутом портрете Стилианы эти понятия применяются в отношении к бровям, ноздрям, рту, рукам, коленям — мы не включаем сюда случаи, когда Пселл пользуется близкими определениями, например, «соответствие» (ἀναλογία, ὁμολογία и др.). То же самое и в других портретах:

Константина Мономаха природа сотворила, «строго соблюдая пропорции» [20 (II), с. 30.7], руки и особенно пальцы его отличались симметрией. Красота матери Пселла заключена «в симметрии членов» [1 (V), с. 6] и т. п. Напротив, лицо Феодоры «несоразмерно с фигурой» [20 (I), с. 120.18]. Весьма характерно в этом отношении

описание внешности патрикия Иоанна [16 (I), с. 150]. Почти целиком оно состоит из восторгов по поводу «гармонии» и «соразмерности» членов.

Хорошо известно, что эстетические категории «симметрии» и «гармонии» составляют наиболее существенную часть общего понятия «красоты» в античной эстетике [см. 117, с. 19 и сл.]. Интересно, однако, что в античных литературных описаниях внешности «симметрия» и «гармония» почти никогда не фигурируют. Это вовсе не означает, что данные категории неизвестны древним писателям, скорее они молчаливо предположены портретам, как заметил это в применении к роману О. Шиссель [286, с. 395]. Напротив, у Пселла, как, впрочем, и у некоторых других византийских авторов, понятия «гармония» и «симметрия» повторяются с необыкновенной назойливостью и приобретают почти универсальное значение.

Симметрия и гармония тесно связаны с другой категорией античной эстетики, также нашедшей широкое применение у византийцев, и в частности у Пселла, — «мерой» (τὸ μέτρον) и близкими ей — «ритмом», «уравновешенностью» (ῥυθμός, εὐρυθμία) [см. 90, с. 13 и сл.]. Если первые два понятия касаются скорее соотношения между элементами портрета, то последние выражают внутреннее качество той или иной детали или облика в целом. И тут примеры могут быть весьма многочисленны. Описание безобразной внешности ненавистного ему священника [16 (I), с. 67] Пселл начинает риторическим вопросом: «Может быть, внешность его была достойной (μέτριος) и благообразной (εὐρέκης)?» Следующая затем эффраза должна полностью опровергнуть это предположение. «Мера» здесь синоним «достойной красоты».

«Уравновешенность», внутренний «ритм» — компонент внешности многих идеальных персонажей Пселла.⁶ Несколько упрощая

⁶ Примеры приводятся нами в греческом оригинале, поскольку перевод не может передать лексическое оформление мысли: ἐκείνον (Константина Мономаха. — Я. Л.) ἢ φύσις ... οὕτω μὲν ἐπιεικῶς συναρμόσια οὕτω δὲ εὐρυθμῶς ἀπολοισαία [20 (II), С. 30.6 и сл.].

Тельце младенца-внука было εὐρυθμισμένον τοῖς μέλεσι [16 (I), с. 80.21]. О кесарисе Ирине: ἡ σύνταξις ταύτης φύσις πρὸς κανόνα καὶ ῥυθμὸν ἀπκριβωτὸ [16 (I), с. 16.7 и сл.]. Понятия ритма и канона в последнем примере однозначны.

смысл многозначного термина, можно сказать, что «мера» в эстетических теориях древних — середина между крайностями. Любая крайность плоха, в то время как середина между ними — «мера» прекрасна. Представление это выражается Пселлом не только прямо, но и косвенно в самой структуре портрета и даже способе построения фраз. «Брови у нее (Стилианы. — Я. Л. [1 (V), с. 69]) были не слишком изогнутыми, но и не совершенно прямыми: и то и другое нарушает меру». Это — один из штампов пселловских описаний. Писатель называет не свойство объекта, а те крайности, между которыми оно находится и которых оно избегает.⁷ Повторение подобных конструкций создает впечатление уравновешенности, «внутренней меры», свойственных предмету изображения. В этом отношении особенности литературного портрета — проявление общих принципов византийской эстетики с ее «математическим» подходом к прекрасному, предполагающему «не только точную симметрию частей, но и эвритмию и уравновешенность движения» [247, с. 23 и сл.].

Итак, все отличия пселловского портрета от античного, о которых мы говорили до сих пор, при ближайшем рассмотрении оказываются не столько отличиями, сколько развитием и доведением до предела античных приемов. Некогда живые методы изображения и характеристики внешности «застывают» и «окаменевают», как окаменевают и застывают в византийской эстетике и многие другие античные формы. Вместе с «окаменением» приемов становится неподвижным и как бы застывает и сам портрет. Это, однако, не результат падения мастерства, а сознательная тенденция, отвечающая закономерностям византийского мироощущения и художественного вкуса: все преходящее непременно должно соотноситься с вечным, подвижное — с неизменным.

Большинство приемов византийского писателя служит этой единой цели. Вот характерный пример: сравнение героя со «статуей» (*αἰῶνα*). Впервые образ этот встречается у Сафо, затем появляется в романе (Chariton, I, 1; Heliod., X, 9; Ach. Tat., III, 7; ср. Anthol. Palat., X, 9), у Пселла он становится компонентом многих портретов. Рост патрикия Иоанна, пишет Пселл, был таким, какой придавал статуям своих героев Дедал [16 (I), с. 150.10]. Константин Мономах, по Пселлу, — «статуя красоты» [20 (II), с. 30.6].

⁷ См., например, описание бровей, глаз, груди Василия II [20 (I), с. 22].

Дважды сравнивается со статуей и Константин Лихуд [1 (IV), с. 391.10, 397.19]. То же сравнение употреблено в описаниях Склирины [16 (I), с. 191.1], Стилианы [1 (V), с. 72.12] и Василия II [20 (I), с. 23.5]. Можно предположить, что в ряде из этих случаев слово *ἄνδρα* употреблено не в значении «статуя», а в более общем — «образ», зафиксированном уже у Платона [1 (V), с. 521.22]. В обоих случаях, однако, живое и движущееся соотносится с неподвижным, застывшим и нормативным. Интересно в этой связи, что иногда Пселл в описаниях портрета прибегает к лексике, заимствованной из области вааяния, как бы поддерживая этим ассоциации со статуей. Так, о Константине Мономахе он пишет: «Природа изваяла и отполировала его, можно сказать искусно вырезала для него черты, украсив его со всем свойственным ей искусством» [20 (II), с. 30.28 и сл.]. В похожих выражениях говорится и о Михаиле Кируларии [1 (IV), с. 309.11 и сл.].

Своеобразный парадокс: античные и византийские эпиграмматисты (в том числе и современник Пселла — Христофор Митиленский) постоянно сравнивают восхищающие их скульптурные изваяния с живыми людьми, а писатель, рисующий человека, сопоставляет своего идеального героя со статуей. Помимо ощущения неподвижности прямое или скрытое сравнение со статуей естественно должно натолкнуть на мысль о нормативности, идеальном характере свойств персонажа. Нормативность, вообще свойственная византийской эстетике, находит не только косвенное, но и прямое выражение в пселловских портретах. «Природа, — пишет Пселл о кесарисе Ирине (мы уже цитировали это место), — создала ее в точном соответствии с канонem и ритмом» [16 (I), с. 167.6 и сл.]. «Их рост, — замечает писатель об ивирийских воинах, — как бы соответствовал канону» [20 (I), с. 10.15]. Канон здесь — некая идеальная мера, приближение к которой определяет эстетическую ценность человеческого тела.

Вряд ли можно говорить о существовании в Византии каких-то точно установленных стандартов идеальной красоты, хотя в практике византийского двора и были, видимо, определенные нормы, удовлетворять которым должна была, например, невеста императора.⁸ Тем не менее византийский автор претендует на знание

⁸ На это указывает Г. Хунгер, основывающийся на сцене из «Бельфандра и Хрисанцы» и свидетельствах некоторых других авторов. Этот обычай Хунгер остроумно сопоставляет с упоминанием «канона красоты» у Анны Комниной и Никифора Григоры [199].

того, каким должно быть человеческое тело, откуда несколько раз встречающиеся у Пселла в портретах выражения типа: «как нужно...», «где подобает...».

Итак, статичность, уравновешенность, внутренняя мера и нормативность, как и вообще в эстетике византийцев, оказываются главными чертами портретов героев Пселла. Характерно, что динамика и отсутствие «меры» свойственно только портретам отрицательных персонажей, весьма немногочисленным у писателя. Портрет ненавистного автору священника рисуется Пселлом в следующих выражениях: «Он без всякой нужды выворачивает губы то вправо, то вдруг влево, часто строит одну и ту же гримасу. Он вращает глазами, презрительно и нагло хмыкает носом, мотает головой, подергивает плечами, двигает руками и то хватается за шею, то обеими руками скребет себя по животу, то гладит себя по бедрам или делает нечто еще более несуразное...» [16 (I), с. 67.23 и сл.].

Место спокойного величия идеальных героев⁹ занимает здесь непрерывное суетливое движение отвратительного автору персонажа. «В глазах византийца, — пишет В. Н. Лазарев, — человек был неподвижен тогда, когда он был преисполнен сверхчеловеческим, божественным содержанием, когда он так или иначе включался в покой божественной жизни. Наоборот, человек в состоянии безблагодатном или доблагодатном, человек еще не «успокоившийся» в Боге или просто не достигший цели своего жизненного пути, изображался обыкновенно крайне подвижным, полным нервного напряжения» [83, с. 33].

Принципы создания внешнего портрета у Пселла можно сопоставить с методами анонимного автора «Христа страстотерпца», который, используя стихи античной трагедии, написал христианскую и по содержанию и по форме необыкновенно статичную драму [см. 61, с. 99]. Однако эта аналогия неполная. Было бы неверно уподоблять Пселла средневековым зодчим, использующим для строительства христианских храмов камни языческих капищ. Византийскому писателю духовно близок древний идеал калокагатии,

⁹ Свидетельство того, насколько адинамиа является идеалом Пселла, — портрет младенца-внука, которому приписывается размеренность движений и «солидность», как известно, очень мало свойственная этому возрасту. Даже грудь кормилицы ребенок брал спокойно и достойно [16 (I), с. 78.27].

а в некоторых случаях и языческий сенсуализм. Вопреки византийским канонам Пселл рисует обнаженное тело, описывая такие его части, которые имеют наименьшее отношение к духовной природе человека. Так, писатель не забывает отметить, что «все тело Зои сверкало белизной» [20 (I), с. 120.10], что чистой белизной отличались «грудь, живот до ног и спина» Константина Мономаха [20 (II), с. 31.7 и сл.] и т. д.

Однако наиболее показательным в этом отношении изображение дочери Стилианы. Соски, бедра, голени, лодыжки Стилианы описываются с не меньшей подробностью и восхищением, чем брови, глаза или волосы («и лодыжки ее не были лишены прелести, белоснежные, сверкающие, как молния, они заставляли смотрящего цепенеть и в изумлении застыть на месте» и т. д. [1 (V), с. 72.16 и сл.]. В античной поэзии только анакреонтические поэты и некоторые поздние эпиграмматисты осмеливались касаться таких деталей. Для создания нужного впечатления Пселл мобилизует весь арсенал средств античной эротической поэзии, как всегда утрируя и детализируя описания. Знаменательно, что описание бедер дочери Пселл завершает сравнением ее со статуей Афродиты Книдской, с которой «...как рассказывается в мифе, хотел сочетаться любовью некий человек, плененный красотой статуи». Сравнение с богиней — античный топос. Характерно, однако, что в древнем романе в трех случаях девушка сопоставляется с Артемидой и только в одном — с Афродитой. Пселл выбирает последнее сравнение и к тому же усиливает его эротизм упоминанием о сексуальных эмоциях в связи со статуей. Однако античная образность кажется византийскому писателю недостаточной, и в поисках изобразительных средств он обращается к библейской «Песне песней». Дважды Пселл непосредственно ссылается на песню царя Соломона — говоря об алых устах Стилианы и сравнивая ее голову с башней Давида [1 (V), с. 70.6; 71.4; ср. «Песня песней», IV, 3]. Важнее, однако, что «Песня песней» как бы находится «в подтексте» в некоторых частях портрета. Писатель приводит библейское сравнение с гранатовым плодом: ... δίκην ροιῖς λέλθρων [1 (V), с. 69.19]; ср. ὡς λέλυρον («Песня песней», IV, 3). Для характеристики *παῖσι* Пселл пользуется эпитетами *ἄωρος* («несозревший») и *ὄψακίης* («кислый», «неспелый»). Второй из них обычно относится к винограду. Не навряд ли он строчками из «Песни песней» (VII, 8): «И соски твои будут как виноградные ягоды»?

В еще более глубокий подтекст запрятаны ассоциации с «Песней», касающиеся уже не словесных соответствий, а совпадения тона обоих произведений. Главное здесь — сопоставление женского тела с буйной природной растительностью: «Волосы ее, — пишет Пселл, — ниспадали с головы до ног и были как налитые колосья, вращенные на тучной, изобилующей источниками ниве» [I (V), с. 71.8 и сл.]. Пальцы дочери сравниваются с молодыми побегами (там же) и т. д. Разумеется, между рационалистическим в своей основе, непомерно раздутым описанием Стилианы и высокой поэзией «Песни песней» — огромная дистанция. Тем не менее портрет Стилианы было бы неверно считать только плодом византийского риторического педантизма.

Чувственность, обычно глубоко скрытая под покровом официального византийского аскетизма, парадоксальным образом проявляется в описании умершей дочери.¹⁰ Эротизм в сочетании с миниатюрной выписанностью деталей и доведенным до предела риторическим «обилием» делают изображение Стилианы в своем роде весьма примечательным литературным портретом.

До сих пор, рассматривая портреты персонажей Пселла, мы не принимали во внимание жанр сочинений, в которых они содержатся. Сама возможность такого недифференцированного анализа — свидетельство тождества общих принципов, на которых строятся внешние характеристики героев «Хронографии», энкомиев и монодий. Если стиль византийского внешнего портрета с его неподвижностью, уравновешенностью и нормативностью вполне аналогичен идеализирующей манере энкомия и монодий, то с художественными методами «Хронографии» он приходит в явное противоречие. Герой «Хронографии», как правило, индивидуален, изменчив, противоречив. Его внешний облик нормативен, статичен и целен. Василий II у Пселла — император немилостивый и грубый, энергичный и упрямый, подозрительный и беспощадный, а его внешний портрет приближается к энкомиастическому стандарту и в некоторых деталях противоречит образу, созданному писателем. Это противоречие оттеняется самим автором, начинающим описание внешности переходной фразой: «Таков его нрав, внешность же (императора. —

¹⁰ А. Каждый пишет о византийской эпистографии: «Подавленная сексуальность словно прорывается в раскованности терминологии, в сальности метафор» [78, с. 64].

Я. Л.) свидетельствовала о благородстве природы» [20 (I), с. 22.15 и сл.]. «Глаза у него были ясные и светлые, — продолжает Пселл, — брови не нависшие, не насупленные, не вытянутые, как у женщин, в прямую линию, но высокие, свидетельствующие о непреклонности мужа. Взор его не был угрюмым — свидетельство коварства и злобы, и не вовсе открытый — знак распушенности, он светился мужественным блеском...». Не станем продолжать описание. В своем стиле это прекрасный портрет, построенный, однако, по иным законам, нежели сам образ. Пожалуй, лишь упоминание о привычке теревить бороду в минуты раздумий или гнева и об отрывистой, «деревенской» речи представляют собой живые и индивидуальные черты.

Константин Мономах — самый сложный и диалектический образ «Хронографии», достоинства и недостатки которого переходят друг в друга, грани их нечетки, размыты. Описание же внешности Константина, великолепное в своей цельности и законченности, по своей структуре ничем не отличается от портрета этого же императора в энкомии [см., например, 1 (V), с. 131]. Однако если в энкомии оно полностью соответствует типу изображения императора — средоточия всех добродетелей, то в «Хронографии», напротив, противоречит стилю изображения героя. Это же противоречие обнаруживается в биографиях Исаака Комнина, Романа III Аргири и др. В целом портрет в «Хронографии» оказывается много «консервативней» художественного метода обрисовки Пселлом героев.

И все-таки художественный сдвиг, столь ощутимый в «Хронографии», не мог не сказаться и на описаниях внешнего облика.

В «Хронографии» Пселла нет фиксированного места для портрета и в этом ее отличие от энкомия, в котором, там, где это допускает предмет изображения, портрет следует непосредственно за рассказом о рождении героя и является, по сути дела, описанием младенца. Больше панегирист к внешности персонажа не возвращается, хотя сам герой, подчиняясь естественному ходу вещей, взрослеет, мужает, стареет. Такая «однократность» портрета вполне понятна в художественной системе энкомия, герой которого статичен и неподвижен — представляет собой сумму внутренних и внешних добродетелей, данных от природы и потому постоянно, от младенчества до самой смерти, ему присущих (см. выше, с. 391).

Эволюции внешности в строгом смысле слова нет и в «Хронографии», хотя характер героев этого сочинения принципиально

изменчив. И тем не менее в нескольких биографиях Пселл считает нужным обрисовать облик героя дважды: первый раз — в момент его расцвета, второй — в старости или перед смертью. Часто и здесь Пселл остается в кругу традиционных образов. Так, Исаак Комнин в период своего подъема — обладатель «царственной внешности» [20 (II), с. 85], перед смертью уподобляется высокому кипарису, раскачиваемому под порывами ветра [20 (II), с. 132]. Сравнение с кипарисом стандартно, хотя в новой ситуации старый образ как бы восстанавливает свою свежесть. Вполне традиционна также и излюбленная в Средневековье картина чудовищного изменения больного человека (Михаил IV [20 (I), с. 56]).

Однако в ряде пассажей «Хронографии» Пселл явно выходит за рамки канона. Вспомним портрет Романа III Аргири. Внешность Романа в период его расцвета описана нормативно и традиционно («фигура героя», «царственность» и т. д. [20 (II), с. 33]). Но вот портрет умирающего императора: «В таком состоянии я часто видел его во время процессий... Он мало чем отличался от мертвеца, все лицо его распухло, а цвет кожи был не лучше, чем у трупа, пролежавшего три дня. Он учащенно дышал и часто останавливался. Волосы у него, как у мертвого, свисали с головы, а небольшая их часть — коротких и редких — в беспорядке падала на лоб и шевелилась, как я полагаю, от его дыхания» [20 (I), с. 50.11 и сл.].

Портрет этот — уже не «сборно-разборная конструкция». В нем образные, эмоциональные детали (например, редкие волосы, шевелящиеся от тяжелого дыхания смертельно больного человека), субъективное видение объекта: не случайно Пселл подчеркивает, что он сам видел императора, и в описание вставляет вводное «как я полагаю».

К изображению Зои, как и Романа III, Пселл обращается дважды: первый раз, сравнивая императрицу, уже не молодую, в традиционном синкрисисе с сестрой Феодорой, вторично — рисуя ее уже перед самой смертью. Первый портрет, хотя и обладает индивидуальными чертами (Зоя полнее Феодоры, невысокого роста), тем не менее построен по хорошо известному шаблону (большие глаза под грозными бровями, нос с легкой горбинкой, русые волосы, белая гладкая девичья кожа, гармония членов) [20 (I), с. 120]. Второе описание — не является портретом в риторическом смысле слова: «Достигнув семидесяти лет, она сохранила лицо без единой морщины и цвела юной красотой, однако она не могла унять дрожь

в руках, и спина ее согнулась» [20 (II), с. 49.13 и сл.]. Это живое описание престарелой императрицы, стержень которого составляет контраст между молодым лицом и старческим телом. Уже такой контраст разрушает цельность, присущую обычному энциклопедическому портрету.¹¹

Знаменательно, что наиболее живые черты Пселл находит для описания героя в старости или даже перед самой смертью, т. е. периода, когда к нему менее всего мог быть применен канон, основанный на принципах античной калокагатии. Примечательно также, что специфическая красота старости остается Пселлу недоступной: и в старческом возрасте прекрасно для Пселла лишь то, что напоминает о молодости.

Какие бы образные детали ни находил Пселл для некоторых портретов «Хронографии», внешность персонажа почти никак не соотносится с его характером. Связь внешнего и внутреннего на этом этапе византийской литературы мыслится лишь как прямая и непосредственная (идеальная наружность соответствует идеальной сущности). Сложный, изменчивый, противоречивый герой Пселла еще не получил адекватной себе внешней характеристики.

* * *

Из огромного творческого наследия Пселла мы выбрали для исследования некоторые его риторические произведения и «Хронографию», а из всей массы связанных с ними проблем обращали внимание в основном на композицию и искусство построения образов. Но и на этом материале можно сделать определенные выводы.

¹¹ Описание внешности императрицы Зои (как и ее супруга Константина Мономаха) вызывает в памяти читателя ассоциации с известными мозаиками в южной галерее константинопольской Св. Софии, изображающими царственную чету. Совершенно очевидно, что в обоих случаях изображения императорских особ условны, хотя и не лишены индивидуальных черт [ср. у В. Лазарева — 83, с. 116]. Чтобы избежать поверхностных аналогий и противопоставлений, автор хотел бы здесь уклониться от более подробного рассмотрения этого вопроса: проблема соотношения художественных принципов византийской литературы и живописи не может быть решена или даже поставлена на материале творчества одного писателя.

В риторике, говорили мы, Пселл следует ораторским канонам, но в ряде речей настолько искусно манипулирует «правилами», что создает сложные и разнообразные произведения и, по существу, подрывает сами каноны. Но истинный «взрыв» литературной традиции происходит в «Хронографии», в которой используется принципиально новый метод изображения реальности. Литература «средневековой системы» была весьма тесно, гораздо теснее и во всяком случае непосредственней, чем в Новое время, связана с исторической реальностью. Однако это была связь особого рода. Жанры словесности удовлетворяли в Средние века вполне конкретные потребности жизненной практики, церковного богослужения, придворного церемониала и т. д. и служили определенным внеположенным литературе целям. Подчас литературные произведения непосредственно включались в жизненную практику, становясь составной частью религиозного ритуала (гимнография) или дворцовых церемоний (похвальное слово). Историография в этом смысле в Византии всегда была более «свободна», хотя и подчинялась диктату внеположенных литературе факторов (например, хронологически последовательное изложение событий в хрониках), не говорим уже о целой системе, связывающей византийского писателя, клише, выработанных внутри самой литературы, но в конечном счете зависящих от тех же внешних факторов.

Именно в этом соотношении «литература—действительность», с нашей точки зрения, и произвела «взрыв» «Хронография». Действительность здесь, пропущенная через творческое сознание писателя, как бы заново воссоздается в произведении, образуя новую и уже «художественную реальность». Композиция «Хронографии» не следует (или следует лишь внешне) действительной последовательности событий, а подчинена художественной задаче писателя. Образы «Хронографии» определяются не риторической схемой, а художественной логикой.

Почему Пселл — автор десятков больших произведений — только в одной «Хронографии» так резко порывает с традицией? Объяснить это в какой-то степени могут два обстоятельства. Во-первых, как уже говорилось, историография всегда была в Византии жанром, наиболее свободным от канонических предписаний. Истина наряду с пользой упорно (в том числе и Пселлом) провозглашается целью и смыслом исторического повествования. Пселл настаивает главным образом на «истине» [91, с. 105]. Во-вторых, как бы ни

было велико значение «Хронографии», для самого Пселла это лишь небольшой эпизод в его литературной деятельности, «побочный» продукт творчества — как известно, новые явления очень часто возникают не на магистральном пути, а в боковых ответвлениях.

Изложенное выше не должно породить представления о тождестве метода Пселла — в «Хронографии» — и писателей Нового времени. Черты литературы «средневековой системы» проявляются у Пселла не только в пышных панегириках императорам, компилятивных ученых сочинениях и житии св. Авксентия, но и в самой «Хронографии», ее стиле, образной системе языка и даже обрисовке некоторых героев. Переплетение традиционного и нового мы стремились показать, рассуждая о внешнем портрете пселловских героев.





ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ

ПСЕЛЛ И ПРОБЛЕМА ВИЗАНТИЙСКОГО ПРЕДГУМАНИЗМА

Произведенный нами анализ не только не снял многочисленных противоречий личности Пселла, его мироощущения и творчества, но и заметно их увеличил. Такое заключение звучит малоутешительно и для автора, и для читателей: выводы книги, как кажется, должны были бы повторить ее презумпции. Это произошло бы и в действительности, если бы мы рассматривали все противоречивые стороны личности и творчества писателя в одном ряду, не проводя различия между тем, что находилось «на среднем уровне» византийской культуры XI в., и всем над ним возвышающимся. Между тем исторический подход требует внимания прежде всего к явлениям экстраординарным и новым в культурном контексте эпохи. При таком подходе в многообразии личности и творчества Пселла нетрудно обнаружить и определенное единство. О вполне осознанной «нестандартности» и самобытности личности и мироощущения Пселла мы говорили в заключительном разделе первой части книги. Тот же тезис вполне применим и к его литературному творчеству. Пселл — «теоретик литературы», хотя и применяет к словесности клише позднеантичной и византийской риторической теории, тем не менее стремится подчеркнуть в принятых им за образец произведениях оригинальность и неповторимость. Эти утверждения представляются совершенно необычными для средневековой теории литературы, но оказываются вполне понятными в контексте всего

сказанного о Пселле — человеке и художнике. Пселл — писатель, говорили мы, в лучших риторических произведениях «изнутри подрывает» каноны красноречия, а в «Хронографии» воспроизводит историческую реальность по законам, выходящим за рамки средневекового типа связи «литература—действительность». Это новаторство тоже в значительной мере осознано самим Пселлом.

Таким образом, как личность Пселла (в ее основных тенденциях), так и его творчество (в лучших образцах) формировались не столько в рамках «средневековой системы», сколько в отталкивании от нее. Такое рассуждение по естественной аналогии с историей западноевропейской культуры наталкивает на мысль о гуманистических или, вернее, предгуманистических тенденциях в творчестве писателя, тем более что явления, выводящие Пселла за рамки «средневековой системы», весьма напоминают признаки западного Предренессанса и Ренессанса. Суммируем их вкратце. Это, во-первых, высокий уровень самосознания Пселла, писателя и ученого. Во-вторых, широта и гибкость его интеллекта. В-третьих, свобода и терпимость в отношении морально-нравственных принципов. В-четвертых, далекое от византийского педантизма отношение к античности, которая была для писателя предметом живого подражания и эстетического наслаждения. В-пятых, исповедуемый Пселлом и осуществляемый им на практике идеал соединения активной политической, ученой и литературной деятельности. Это, наконец, новые методы изображения действительности в литературном творчестве.

Чтобы завершить аналогию с явлениями западноевропейского Ренессанса, напомним, что Пселл, как бы его фигура ни возвышалась над современниками, был не одинок в Византии XI в., его деятельность развивалась в рамках кружка интеллектуальной элиты с его особой духовно-нравственной атмосферой. Вместе с тем вопрос о «византийском гуманизме» не прост. Сама возможность применения понятий «гуманизм» и «возрождение» (равно как и «предгуманизм» и «предвозрождение») к культурным явлениям вне западноевропейского ареала подвергалась и подвергается небезосновательному сомнению. Развитая Н. Конрадом концепция «всемирного Ренессанса» нашла, как известно, не только горячих сторонников, но и пылких противников.¹ Само собой разумеется, что

¹ См. написанную в опровержение этой концепции статью В. И. Рутенбурга «Проблемы Возрождения» [106], там же основная литература вопроса.

Ренессанса как целостной системы, в которой сдвиги в социально-экономической сфере вызывают переворот в политической и религиозной идеологии, во всем мировоззрении и самом образе человека, равно как и в характере эстетических ценностей, Византия не знала. То обстоятельство, что исследователи насчитывают в Византии несколько «ренессансов» и «гуманизмов» — только лишнее подтверждение этому обстоятельству.² Уже это делает не строгим употребление в приложении к Византии терминов «предвозрождение» или «предгуманизм».³

Тем не менее новый облик византийского интеллектуала и новые принципы литературного творчества Пселла — не отдельные, изолированные черты, а стороны одного и того же процесса эмансипации и расковывания человеческой личности, того «открытия человека», которое начиная с Мишле и Буркхардта считается самым существенным признаком возрожденческой культуры. Историкам культуры предстоит еще немало сделать для выяснения деталей и причин этого процесса, но уже и сейчас представляется продуктивной идея объяснять эти явления переходным характером эпохи. XI век (начиная с его 30-х годов) переходный не только потому, что это был период «слабой» власти между господством «сильных» императоров Македонской династии и дома Комниных. В XI веке для части византийской интеллектуальной элиты стали постепенно терять значение сами устои византийской жизни. Докматы христианской религии, конечно, оставались (и будут еще долго оставаться) объектом непререкаемой веры, тем не менее они превращались в некую обязательную данность, неспособную воодушевить византийского интеллектуала ни на самоотверженное служение в жизни, ни на вдохновенное воплощение в литературе. Тем более переживала кризис идея богоизбранничества ромеев. Страна, на престоле которой сменялись бесконечной чередой ничтожные и слабые императоры,

² Хорошую сводку воззрений современных ученых на проблему византийского гуманизма см. во введении к книге И. П. Медведева [98а, с. 3 и сл.].

³ Вполне вероятно, что более точным было бы употребление в применении к Византии XI–XII вв. термина «Высокое средневековье», тем более что таким понятием нередко обозначают западную культуру близкого периода. Ср. статью И. Н. Голенищева-Кутузова «Данте и Предвозрождение» [72, с. 83]. <О сдвигах в византийской культуре XI–XII вв. см.: А. Kazhdan, A. Epstein, 1985.>

не находившая сил обеспечить безопасность собственных границ, очень мало подходила для роли «Нового Рима» или «Нового Иерусалима». Терпели крах и традиционные универсалистские представления. Иначе говоря, стала рушиться система иерархического миропорядка, та *táxiς*, которой, в глазах византийца, подчинялся весь мир и его собственная жизнь.⁴ Византийский интеллеktуал теперь уже как бы выделял себя из этой универсальной *táxiς* и даже полусознательно противопоставлял себя ей. Начинался поиск новых моральных и эстетических ценностей.

Сама политическая ситуация времени правления «слабых» императоров, конечно, немало способствовала этому процессу. Константин Мономах, Дуки и другие покровители придворных интеллектуалов забавлялись всяческой образованностью, нисколько не понимая, к чему в конце концов может привести игра ума, освобождающегося от традиционных табу. Характерно, однако, что уже первый «сильный» император — Алексей Комнин прекрасно это понял и судом над Иоанном Италом открыл серию подобных процессов.⁵

В бегло набросанной нами картине нетрудно увидеть отнюдь не только внешнюю аналогию развития западной культуры периода «высокого средневековья» и «предгуманизма». И там возрождение античной (в латинском варианте) культуры было выражением процесса начавшейся эмансипации человеческой личности, освобождения человеческого духа от средневековых норм.⁶

⁴ О понятии *táxiς* в идеологии византийцев см. специальный раздел в книге Э. Арвейлер [119].

⁵ Р. Браунинг насчитал в XII в. 25 подобных процессов, в то время как в предшествующую эпоху их не было вовсе [151, с. 117 и сл.].

⁶ Ср. характеристику В. М. Жирмунского культуры Возрождения, которую можно с необходимыми оговорками распространить и на «предвозрождение»: «Определяющий момент в развитии новой ренессансной культуры в Западной Европе — не возрождение античной литературы и искусства само по себе, а факты более глубокого и общего порядка: эмансипация личности от сословно-корпоративной связанности средневекового общества, освобождение человеческой мысли от богословского догматизма, гуманистическое мирозерцание, делающее человека мерилем всех вещей, открытие и опытное познание мира — природы и человека, развитие светской гуманистической культуры, науки и искусства» [75, с. 87 и сл.].

Если, однако, на Западе этот процесс привел в конце концов к культуре Возрождения, то в Византии ему не суждено было принести столь прекрасные плоды.

Предмет нашего исследования был ограничен творческим наследием — и то не в полном объеме — одного Михаила Пселла. Проблема византийского предгуманизма нуждается в более широком изучении. Византикист пока не вправе ограничиться ссылками на труды других ученых (византийское литературоведение сейчас делает только первые шаги). Думается, однако, что можно говорить о предгуманистических явлениях и в творчестве других писателей XI в. — в язвительных эпиграммах Христофора Митиленского, искренних стихах Иоанна Мавропода; тем более проявляются эти черты у историографов XII в.: Никиты Хониата, Евстафия Солунского.

Если со всеми сделанными оговорками тенденции византийской культуры XI в., продолженные в XII в., следует называть предгуманистическими, то первым во времени и лучшим их выразителем надо считать Михаила Пселла.

<Годы, истекшие после первой публикации книги, конечно, не решили множества проблем, связанных с личностью и творчеством Пселла. Пселл и сейчас остается для современного читателя, в том числе и автора этих строк, не менее загадочным, чем двадцать лет назад. Однако эта «загадочность» кажется теперь несколько иной, чем раньше. Постепенно отходят на второй план столь волновавшие прежних ученых вопросы типа, насколько «морально ущербен» и «нравственно неполноценен» был писатель, как мог восхвалять и чернить одних и тех же людей и т. п.

После многочисленных работ о самых различных аспектах деятельности Пселла все явственнее проступают нестандартность и масштабы этой необыкновенной личности, особенно на фоне Византии XI в. Естественно, встает вопрос о том, как Пселлу удалось — во всяком случае в лучших из своих созданий — подняться над уровнем мироощущения и сознания своей эпохи и оказаться столь «созвучным» последующим временам. Иными словами, как удалось ему выйти за рамки клише, определенных временем, и — если говорить опять же о лучших из его литературных произведений — преодолеть максимально суровый в Средневековье «диктат жанра» (напомню в этой связи название одной из статей М. Маллет: «Безумие жанра» [M. Mullet, 1992]).

Попробуем развить эту мысль немного подробнее. Не знаю, случайность это или нет, но в последние годы увеличилось число работ, авторы которых показывают Пселла, творящего не столько по законам того или иного жанра, сколько вопреки им, Пселла — талантливого независимо от литературных, общественных и прочих ограничений, которым он должен был следовать. Как уже отмечалось, итальянский исследователь У. Крискуоло подчеркивал оригинальность Пселла в таком устоявшемся и «школьном» жанре, как риторика (U. Criscuolo, 1982). Дж. Вергари усматривал в некоторых эпизодах «Эпитафий матери» истинную «трагедию в прозе» с особой драматической структурой (G. Vergari, 1987-2). А. Дейк счел достаточно оригинальными литературно-эстетические оценки Пселла (A. Dyck, 1983, 318-19, ср.: A. Dyck, 1986 passim). А. Литлвуд стремится показать, сколь творчески Пселл трактует известные античные мотивы. При этом ученый пользуется такими непривычными для византиниста понятиями, как «оригинальность» и даже «художественность» (artistry) (A. Littlewood, 1981). М. Кириакис отмечает «хорошую внутреннюю организацию и литературный стиль, философские рассуждения, тонкие наблюдения и характеристики личности» даже в таком явно «не художественном» сочинении, как обвинительная речь против Эллидия Кенхри (M. Kyriakis, 1976-1977, p. 66 ff.).

Приведенные примеры легко можно продолжить. Некоторые ученые склонны приписывать Пселлу достижения даже в тех областях, в которых ранее он считался заведомо тривиальным, например в теологии и философии (D. Gemitti, 1983). Примечательно, что все упомянутые суждения относятся не к «Хронографии», давно признанной художественным шедевром византийской литературы, а к произведениям других жанров.

Приведенные оценки могут быть справедливы или оказаться преувеличенными, однако в трех случаях, уже отмеченных исследователями, «приоритет» и «необыкновенность» Пселла нам кажутся почти бесспорными.

Так, интереснейшее наблюдение над пселловским «Житием Авксентия» принадлежит А. П. Каждану (A. Kazhdan 1983, перепечатано: A. Kazhdan, 1993-2, p. 546-556). Ученый считает, что в традиционный сюжет жития Пселл вводит элементы, не имеющие ничего общего с событиями жизни святого, но явно отражающие реальность пселловского окружения. Главные персонажи «Жития»,

как доказывает А. П. Каждан, на самом деле — не что иное, как «проекция» образов ближайших друзей Пселла, а его собственные черты в той или иной степени воплощены в образе главного героя — Авксентия.

Трудно себе представить более «революционное» преобразование жанровых условностей житийной литературы, чем то, которое совершил Пселл, изображая себя и своих друзей в рамках традиционного жития. В том, что Пселл (и, пожалуй, никто кроме него в византийской словесности!) был способен на такое «нововведение», убеждает нас и второй пример, о котором речь ниже.

Уже упоминавшаяся «Краткая история», принадлежащая, по нашему глубокому убеждению, перу Пселла, относится к жанру так называемых хроник, не отличающихся, как правило, большой оригинальностью и небезосновательно названных Г. Хунгером *Trivialliteratur*. Однако пселловская «Краткая история» заслуживает такой характеристики меньше всего. Как я старался показать (см.: J. Ljubarskij, 1993; Я. Любарский, 1994), обычно безличная у других авторов хроника приобретает у Пселла яркий отпечаток личности ее автора, некоторые же из «статей» хроники, посвященных царствованию отдельных императоров, превращаются в законченные новеллы, порой даже любовного содержания! На такое «преобразование жанра» был способен, пожалуй, тоже только один Пселл!

Третий пример не менее выразителен. Р. Браунинг и А. Катлер ставят в относительно недавней работе вопрос о том, каким образом воспринимал Пселл иконы (R. Browning, A. Cutler, 1992). Материалом для анализа ученым служат шесть писем Пселла. Четыре из них достаточно традиционны и тривиальны, зато два остальных могут поразить воображение любого читателя. Содержание первого из них (*Michaelis Pselli Scripta minora magnam partem adhuc inedita. Vol. 2. Ed. E. Kurtz, F. Drexler, Milano, 1941. №. 129*) можно назвать скандальным: Пселл сознается в том, что... ворует иконы. Если же его начинают подозревать, всё клятвенно отрицает. Конечно, не исключена мысль, что склонный к театральности Пселл «играет» и здесь, хотя такая «игра» сама по себе весьма знаменательна. Однако, скорее всего, речь идет все-таки о реальности. Я далек от мысли защищать воровство в любом виде и не только в церквях, но сколько нужно было иметь христианскому ученому, писателю, государственному мужу внутренней свободы, если воздержаться от более жестких определений, чтобы хвастаться воровством

в храмах! Тем не менее самое любопытное следует дальше. Оказывается, оправданием этого воровства является его, Пселла, «любовь к этим прекрасным картинам, свидетельствующим об искусстве художника».

Эта же мысль содержится и в другом письме Пселла (там же, № 194), в котором писатель объявляет себя «весьма ревностным созерцателем икон». Одна из них поразила его своей неопишуемой красотой и, подобно молнии, парализовала его чувства. Не может быть сомнений: Пселл воспринимает иконы — во всяком случае, в упомянутых письмах — не как средство постижения божественного, а чисто эстетически, что византийцам, казалось бы, совсем несвойственно. Авторы статьи Р. Браунинг и А. Катлер, по-видимому, сами были удивлены выводами, которые им пришлось сделать. «Не исключено, — пишут они, — что идеи, обнаруженные нами, могут поколебать наши представления о Византии (“It may be that the ideas we have singled out should be moved closer to the center of our thinking about Byzantium”)*, — неуверенно заключают они свою статью. Это без сомнения так. Но наследие какого писателя, кроме Пселла, могло бы столь кардинально изменить наши представления о менталитете византийцев в XI в.?!

Весьма любопытно, что выводы Р. Браунинга и А. Катлера в самое последнее время нашли подтверждение в работах других исследователей. Уже упомянутая Ева де Вриес-ван дер Вельден подчеркивает необыкновенную эстетическую восприимчивость Пселла, который четко разделяет религиозное содержание и художественную ценность восхищавших его икон (Eva van de Vries-van der Velden, 1997-2). Ту же мысль, но уже на материале восприятия Пселлом светского искусства, развивает и Х. Ангелиди в статье, посвященной описанию Пселлом статуи спящего Эроса (Ch. Angelidi, 1998). Совпадение самостоятельно выработанных концепций разных ученых, конечно, не может быть случайным.

Все сказанное не снимает наших прежних утверждений: Пселл умел быть (или казаться?) вполне тривиальным. Но разве потомки не судят писателей прошлого по их высшим достижениям и в творчестве, и в мысли? «Диктат жанра», так хорошо известный любому исследователю средневековой литературы, преодолевался мощью пселловского таланта. Пожалуй, этот вывод, следующий из тех новых исследований, которые появились за последние двадцать лет о Михаиле Пселле, наиболее интересен.>



ПРИЛОЖЕНИЕ

РИТОРИЧЕСКИЕ СОЧИНЕНИЯ МИХАИЛА ПСЕЛЛА

Следующий ниже обзор, вероятно, не представляет собой полной сводки риторической продукции Пселла; некоторые речи наверняка не учтены ни исследователями, ни каталогизаторами, некоторые произведения — жанрово неопределенны и с одинаковым успехом могут быть отнесены к риторике, эпистолографии или другим жанрам. Сочинения расположены нами в хронологическом или предположительно хронологическом порядке, не датированные речи помещены в конце. <Еще раз хочу подчеркнуть, что список приведенных здесь риторических сочинений Пселла далеко не полон. Вышедших в последние годы изданиях содержится несколько речей, в списке не упомянутых. Я сохранил его в прежнем виде и добавил, главным образом, лишь ссылки на новые издания уже учтенных прежде произведений. А. Сидерас (A. Sideras, 1994) перечислил и кратко охарактеризовал все эпитафии и монодии Пселла. Я ограничился лишь указанием на датировку, предложенную этим ученым и часто расходящуюся с принятой мною, но не стал оспаривать его суждений. Отмечу только лишь то обстоятельство, что исследователь полагает, будто большинство эпитафий, посвященных Пселлом его ученикам, написаны в период его «профессорской деятельности» (1045–1054). Таким образом, согласно А. Сидерасу, ученики Пселла (часто при этом уже достигшие достаточно высоких должностей) должны были умирать совсем юными! Это маловероятно, даже принимая во внимание высокую смертность в Средневековье. Пселл в большинстве случаев посвящал эпитафии своим бывшим ученикам!>

1. *К императору Мономаху* [I (V), с. 117–141]. *Terminus post quem* — упоминание смерти Георгия Маниака (весна 1043 г.) (с. 139.14–15). Поскольку Пселл жалуется на тяжкое положение философов и риториков, можно предположить, что речь произносилась до открытия «университета» (между 1044 и 1047 гг.). Однако весьма сильный *argumentum ex silentio* позволяет точнее определить *terminus ante quem*. Подробно перечисляя

успехи и победы Константина Мономаха, Пселл ни словом не упоминает победу над русским флотом летом 1043 г. Таким образом, наиболее вероятное время произнесения речи — весна, начало лета 1043 г. <Опубликовано в: Psellus Michael, 1994, p. 18–50.>

2. *По поводу отказа от должности протасикрита* [16 (I), с. 361–371]. Речь (без конца) опубликована также у Сафы [1 (V), с. 171–176]. Странно, но в произведении ни словом не говорится о должности протасикрита, от которой, судя по заголовку, отказался автор. Речь была произнесена перед учениками философской школы (обращение «О, питомцы философии» — с. 366.24) и была составлена, скорее всего, в начальный период преподавательской деятельности Пселла (1044–1047?). На такую мысль наводят страстные нападки на противников философии и сторонников практической деятельности, а также отзвуки споров между «философами» — приверженцами Пселла и «юристами» — сторонниками Ксифилина, которые велись в период образования «университета» (с. 366.9). <Критически издано в: Psellus Michael, 1985, p. 29–37.>

3. *К завидующим в связи с чином ипертима* [1 (V), с. 168–170]. Пселл получает титул ипертима в самом начале царствования Константина Мономаха (см. выше, с. 219), в то время и должно было быть написано сочинение. <Критически издано в Psellus Michael, 1985, p. 37–40.>

4. *Императору Мономаху* (Barber. gr., 240, fol. 160^v–161^v) [156, с. 56, № 18; 312, с. 34 и сл.]. Речь датируется не ранее 1048 г., поскольку в ней упоминается об освобождении от наказания сторонников мятежа Торника, ослепленного под рождество 1047 г. <Опубликовано в: P. Gautier, 1980. №. 4, p. 735–745; Psellus Michael, 1994, p. 101–106.>

5. *Этому же императору* (Barber. gr., 240, fol. 122^v–125^v) [156, с. 55, № 17; 312, с. 34 и сл.]. Речь датируется между 1047 и 1050 гг., поскольку упоминается мятеж (Льва Торника) против Мономаха, а императрица Зоя еще жива (умерла в 1050 г.). <Опубликовано в: Psellus Michael, 1994, p. 88–101.>

6. *В защиту низложенного митрополита Филиппополя Лазаря* (Paris. gr., 1182, fol. 55^v–59) [312, с. 22 и сл.]. Речь написана от лица самого Лазаря. Г. Вейс приводит соображения, по которым речь должна датироваться 1050 г. <Опубликовано в: Psellus Michael, 1994-2, p. 104–124.>

7. *Императору господину Константину Мономаху* [16 (I), с. 6–11]. Надежный terminus post quem для речи: упоминание разгрома русского флота летом 1043 г. (с. 10.7); менее надежный — слова о тюрках («гунахах»), взывающих дань с Великой Армении и побежденных Византией (с. 10.8 и сл.). Может быть, имеется в виду поражение в 1048 г. тюрков под командованием Хасана Глухого у реки Большой Зав? [Об этом сражении см.: 32, с. 161.] Terminus ante quem — 1050 г., так как упоминается «царственная чета», и, следовательно, Зоя еще жива в период написания речи [16 (I), с. 10.23]. <Опубликовано в: Psellus Michael, 1994, p. 80–87.>

8. *Речь в защиту номофилака от Офриды* [1 (V), с. 181–196]. Была произнесена перед учениками университета. Относится ко времени кампании, поднятой против Пселла и его окружения в конце 40 – начале 50-х годов. <Опубликовано в: Psellus Michael, 1994-2, p. 125–142.>

9. *К полагающим, что философ стремится к занятию государственными делами, и по этой причине завидующим ему* [313, с. 259–261].

Сочинение имеет направленность, аналогичную речи № 3. Вейс, исходя из того, что в период написания речи Пселл еще не занимал больших постов, относит ее к самому началу карьеры писателя, к 1043 г. [313, с. 247]. Вряд ли аргумент немецкого ученого основателен. Судя по концу речи (с. 261.88–89), в момент ее написания Пселл — уже плат философ; таким образом, сочинение не может датироваться ранее 1044 г. <Опубликовано в: Psellus Michael, 1985, p. 19–21.>

10. *Слово против исподтишка его оклеветавшего* (лемма по Ватиканской рукописи). *К подбросившему клеветническое сочинение* (лемма по Барберийской рукописи) [313, с. 262–271]. Речь (?) представляет собой полемическое сочинение с ответом на упреки в том, что Пселл-философ занимается политикой. Истинный автор клеветы занимает высокое положение, но предпочитает оставаться неизвестным (с. 270.308 и сл.). По своей направленности это сочинение совпадает с речами № 3, 9, 21. Никаких твердых оснований для датировки нет, помимо упоминания самодержца, что исключает отнесение произведения ко времени «женского правления» в Византии. Возможно, прав Вейс [313, с. 247], относящий речь к периоду между 1050 и 1055 гг. <Опубликовано в: Psellus Michael, 1985, p. 21–29.>

11. *К императору Мономаху* [1 (V), с. 106–117]. Речь может быть датирована 1054 г., поскольку в ней упоминаются слон и жираф, доставленные египтянами в Константинополь (с. 113.29 и сл.) Имеются в виду животные, которых халиф Мустансир прислал в благодарность за хлеб, отправленный голодающему Египту в 1054 г. [См.: 287, с. 611 и сл.; 169, № 912]. <Опубликовано в: Psellus Michael, 1994, p. 1–18.>

12. *Другая речь тому же императору* [16 (I), с. 12–32]. Речь насыщена многочисленными историческими намеками, часто не поддающимися расшифровке из-за риторической гиперболзации. Написана, как и предыдущая, не ранее 1054 г., поскольку упоминаются те же животные из Египта, о которых говорилось выше, в речи № 11 (с. 17.11 и сл.). <Опубликовано в: Psellus Michael 1994, p. 55–79.>

13. *Ему же* (т. е. императору Константину Мономаху) (Barber. gr., 240, fol. 161^v–162^v) [156, с. 56, № 19; 312, с. 35]. Произведение не поддается точной датировке. <Опубликовано в: P. Gautier, 1980. № 5; Psellus Michael, 1994, p. 51–54.>

14. *К дочери Стилиане, скончавшейся до достижения брачного возраста* [1 (V), с. 62–87]. Стилиана умерла не позже 50-х годов. К этому времени и должна относиться речь. <Эпитафия опубликована в английском переводе М. Кирнакисом, который датирует смерть Стилианы 1053/54 г. (M. Kyriakis, 1976–1977). А. Сидерас относит ее к 1052 г.>

15. *Энкомий матери* [(V), с. 3–61]. Энкомий произносился в присутствии людей, знавших мать ратора (с. 4.18). Леруа-Молинген датирует речь 1054–1055 гг. [239, с. 294, прим. 3]. Можно попытаться предложить и более точную датировку. В период произнесения речи Пселл — уже монах [1 (V), с. 6.8, с. 57.21 и сл.], но находится еще в Константинополе. Таким образом, речь произносилась во второй половине 1054 г. или в самом начале 1055 г. <В переводе на итальянский язык речь опубликована U. Criscuolo, 1980. Датировка А. Сидераса совпадает с нашей (A. Sideras, 1994, p. 130–133).>

16. *Селентий, произнесенный в дни царствования императрицы Феодоры* [16 (I), с. 343–347]. Этот селентий, произносимый по традиции императором в понедельник первой недели Поста [см. 67 (II), с. 250 и сл.], мог быть зачитан 6 марта 1055 г. или 25 февраля 1056 г. Поскольку весной 1055 г. Пселл должен был находиться на Олимпе, вторая дата более вероятна.

17. *Мудрейшего ипертима Пселла [слово] к госпоже* [16 (I), с. 1–5]. Отнесение речи к императрице Феодоре, сделанное уже издателями, не вызывает сомнений, поскольку в тексте отмечается безбрачие царицы. Упоминание несчастий, от которых Господь избавил народ «вдали от столицы» (с. 1.7 и сл.), — видимо, намек на заговор Вриенния. Наиболее вероятное время написания речи — первая половина 1056 г. <Опубликовано в: Psellus Michael, 1994, p. 118–126.>

18. *Энокхий Николаю* — игумену монастыря Красивого Источника на Олимпе [10]. Датируется 1055 г., периодом кратковременного пребывания Пселла в монастыре Красивого Источника на Олимпе. П. Готье произвольно датирует речь февралем 1055 г. <Энокхию посвящено специальное исследование (G. Weiss, 1977).>

19. *Монодия референдария Роману* (Vatic. gr., 672. fol. 245–248) [312, с. 21]. Герой монодии ближе неизвестен. Речь содержит резкий выпад в адрес «немытых людей с неостриженными ногтями», которые имеют политические амбиции и пытаются выступать на государственной арене. Комментируя этот пассаж, Г. Вейс замечает, что ему неизвестно в произведениях Пселла ни одного подобного выпада против вмешательства монашества в политическую жизнь. Однако именно этот отрывок вызывает в памяти слова Пселла из «Хронографии», касающиеся временщика Льва Параспондила: «Если человек в состоянии сбросить с себя телесную оболочку и дойти до вершин жизни духовной, то что общего может быть у него с делами?» [20 (II), с. 75]. Не дает ли эта ассоциация некоторых оснований для датировки речи 1055–1057 гг., т. е. временем могущества Льва Параспондила? <Издано в: P. Gautier, 1976, p. 125–132; A. Sideras датирует временем около 1051 г. (A. Sideras, 1994, p. 118–119).>

20. *Слово о добродетели протосинкела* [16 (I), с. 55–59]. Под протосинкелом имеется в виду получатель многих писем Пселла — Лев Параспондил. Судя по содержанию и тону, речь написана в период могущества временщика (1055–1057) (см. выше, с. 301). <Опубликовано в: Psellus Michael, 1994, p. 135–139.>

21. *Завистникам* [7]. Во время произнесения речи Пселл уже не молод (ларѳѳаха, § 4). Речь, видимо, обращена к бывшим ученикам Пселла («Вы черпали и пили из моих источников», § 4), ставших к тому времени государственными деятелями. Обстоятельства и повод произнесения речи можно ассоциировать с ситуацией начала 1056 г., когда вернувшийся с Олимпа Пселл был приближен Феодорой, что немедленно вызвало зависть у придворных. Для самого писателя занятия политикой — «нисхождение» (κατάβασις), его же противники полагают, что он «поднялся с земли на небо» (§ 7). Вероятно, под «нисхождением» имеется в виду переход от монашеской жизни к политической деятельности. <Опубликовано в: Psellus Michael, 1985, p. 40–43.>

22. *Патриарху господину Михаилу Кируларию* [1 (V), № 207]. Новое критическое издание У. Крискуоло [19]. Сочинение это находится в рукописи среди писем и таковым считается всеми исследователями. В «Истории Византии» [77 (II), с. 280] оно названо «открытым письмом». Такому жанровому определению мешают два соображения: а) в тексте содержится прямое обращение к императору: «Ты, божественный император...» [1 (V), с. 511.27]. Такого рода обращение естественно ожидать не в письме, а в речи, к тому же произнесенной в присутствии императора;¹ б) переходная фраза: «Но возвратим снова нашу речь на свой путь» (с. 511.30 и сл.) — весьма характерна для произведений Пселла, предназначенных для устного прознесения. Скорее всего, это сочинение — не письмо, а конспект или запись речи, произнесенной или подготовленной к прознесению Пселлом.

Ученые расходятся в датировке этого произведения. Одни относят его к 1053–1054 гг. [176, с. 18, прим. 2; 246, с. 14], другие — к 1057–1058 гг. [19, с. 14; 65, с. 84; 278, с. 16]. Никаких доказательств в подкрепление той или иной точки зрения привести невозможно.

23. *Речь против Кирулария*. Написана Пселлом по заказу императора Исаака Комнина и предназначена для произнесения в синоде в конце 1058 г. Речь так и не была произнесена, ибо Кируларий умер, не дождавись суда. До издания греческого текста значительная часть речи была опубликована в русском переводе П. Безобразовым [66, с. 32 и сл.]. Полный греческий текст с французским переводом впервые напечатан Брейе [REG, 16 (1903), 17 (1904)] и с некоторыми исправлениями перепечатан в «Малых сочинениях», изданных Курцем и Дрекслем [16 (I), с. 232–328]. <Опубликовано в: Pwellus Michael, 1994-2, p. 2–103.>

24. *Речь, составленная иертимом, так называемый селентий* [16 (I), с. 335–342]. Для датировки селентия важно замечание Пселла о том, что император «замирял варваров», живущих за Дунаем, и что теперь они с удовольствием обрабатывают ту землю, которую раньше уничтожали (с. 340.23 и сл.). Вероятно, речь идет о замирении и переселении печенегских племен. Слова Пселла можно, конечно, ассоциировать с расселением печенегов на территории Болгарии болгарским наместником Василием Монахом в 1048 г. [см. об этом 76, с. 22]. Нам, однако, представляется более вероятным, что Пселл имеет в виду аналогичную акцию Исаака Комнина, о которой, правда, не очень определенно сообщает в другом случае сам Пселл [1 (V), с. 418.1 и сл.]. Это предположение подтверждается также словами, которые писатель вкладывает в уста царя: последний колебался, прежде чем взять власть (с. 341.3 и сл.). О подобных колебаниях Исаака нам известно из «Хронографии» [20 (II), с. 85]. Если наши соображения верны, речь следует датировать 1059 г. <Опубликовано в: Pwellus Michael, 1985, p. 10–16.>

25. *Ему же (императору Комнину)* (Barber. gr., 240, fol. 184–185) [156, с. 54, № 9; 312, с. 36 и сл.]. П. Канар помещает произведение среди

¹ А. Михель [250, с. 342] считает, что *θεοτάτη βασιλεύ* — ироническое обращение к патриарху. Контекст исключает такое толкование: Пселл призывает императора «затушить пожар», разожженный патриархом.

писем. Г. Вейс датирует последними месяцами правления Исаака Комнина, т. е. концом 1059 г.

26. *Ему же (императору Комнину)* (Barber. gr., 240, fol. 185) [156, с. 55 № 10]. П. Канар и это сочинение помещает среди писем. Г. Вейс датирует тем же временем, что предыдущее (№ 25).

27–28. *По поводу землетрясения, происшедшего 23 сентября* (Paris. gr., 1182, fol. 93–95) [312, с. 19 и сл.]. Редкий случай, когда лемма содержит в себе датировку, или же *terminus post quem* для сочинения — 23 сентября 1063 г. <Опубликовано в: Psellus Michael, 1992, p. 98–106.>

29. *Речь к императору Дуке* [16 (I), с. 38–41]. Из леммы неясно, к какому из Дук (Константину X или Михаилу VII) обращена речь. Ее адресатом скорее всего является Константин. Основание: в речи говорится об избавлении от варварских полчищ на западе, погубленных «невидимыми небесными стрелами». Вероятно, это намек на неожиданную гибель узов от эпидемии в 1064 г. [20 (II), с. 149]. Интересно, что в речи, в том же контексте, что и в «Хронографии», император сравнивается с Моисеем. Кроме того, в этом произведении говорится о детях императора. У Константина было семеро детей, у Михаила же только один сын. Таким образом, речь не могла быть произнесена ранее 1064 г. <Опубликовано в: Psellus Michael, 1994-2, p. 131–134.>

30. *Эпитафия кесарю Ирине* [16 (I), с. 155–189]. Датировать точнее, чем временем правления Константина Дуки, не представляется возможным.

31. *Энкомий Пселла Михаилу Кируларию* [1 (IV), с. 303–387]. Речь была произнесена на одном из ежегодных празднеств, установленных в честь покойного патриарха императором Константином Дукой (с. 380.23). И. Дрезеке [170, с. 232], П. Иоанну [214, с. 328] и вслед за ним А. Михель [250, с. 434] относят эту речь ко времени патриаршества Ксифилина (т. е. после января 1064 г.). Сикутрис [301, с. 63 и сл.] пытается датировать речь 1062–1063 гг. Нам, однако, не представляется возможным датировать произведение более точно, чем временем правления Константина (1059–1067 гг.). <А. Сидерас датирует 1063 г. (A. Sideras, 1994, p. 133–135).>

32. *К своему внуку, еще младенцу* [16 (I), с. 77–81; 239, с. 307 и сл.]. Энкомий рассчитан как произведение для чтения: выросший внук должен будет прочесть сочинение деда [16 (I), с. 77.15 и сл.]. Энкомий был написан, когда внуку не исполнилось и четырех месяцев (с. 79.10), таким образом, проблема его датировки сводится к определению времени рождения мальчика. Об этом событии Пселл сообщает и в письме к кесарю Иоанну Дуке [1 (V), № 72], а также и в другом послании [1 (V), № 157]. Почти все письма к кесарю приходятся на время царствования Константина Дуки. Это послание и соответственно энкомий, однако, целесообразней датировать более поздними годами, поскольку в речи Пселл говорит о своей «старости». В начале же царствования Константина Пселлу шел всего сорок первый год. В пользу такой датировки высказываются также А. Менц и А. Леруа-Мولينген [248, с. 20 и сл.; 239, с. 292 и сл.]. <Опубликовано в: Psellus Michael, 1985, p. 152–155.>

33. *Императору Диогену в связи с воцарением* [1 (V), с. 222–224]. Произведение сохранилось и издано Сафой среди писем. По жанру, однако, представляет собой скорее речь, поскольку сам автор дважды называет

его λόγος (с. 223.27; с. 224.9). Многочисленные обращения к императору и императрице, ликующий тон и прямое указание на празднество (с. 224.8 и сл.) заставляют предполагать, что речь произносилась в присутствии императорских особ и, возможно, на торжествах, связанных с бракосочетанием Романа Диогена и Евдокии. Выражение «схождение светил» (с. 224.7) обычно применяется византийцами к вступающей в брак чете. Речь, видимо, произносилась в самом начале 1068 г. <Опубликовано в: Psellus Michael, 1994, p. 175–179.>

34. *Энкомий ей же (императрице Евдокии)* [313, с. 275–277]. Похвала императрице Евдокии заканчивается просьбами о подачках. Речь написана после выхода Евдокии замуж за Романа Диогена, что и дает возможность датировать ее временем после начала 1068 г. <Опубликовано в: P. Gautier, 1980. № 13 и Psellus Michael, 1994, p. 124–130.>

35. *Императрице Евдокии, обвинившей его в неблагодарности* [313, с. 272–275]. Как можно понять из текста речи [313, с. 274.95 и сл.], писатель просил императрицу о каких-то дарах, а в ответ получил лишь обвинения в неблагодарности. Можно предположить, что под просьбами о дарах имеется в виду уже упомянутый нами энкомий (№ 34).

36. *Обращение константинопольцев к императору Роману Диогену* [1 (V), с. 227–228]. Произведение сохранилось в рукописи среди писем, хотя по жанру представляет собой συντακτικός λόγος, произносимый в связи с отправлением императора в поход на сельджуков. Из текста можно понять, что Роман выступает в поход зимой (с. 227.20 и сл.). Все свои походы против сельджуков Роман начинал ранней весной [50, с. 102.5 и сл., с. 122.13 и сл.]. В данном случае скорее всего речь идет о первом походе Романа — март 1068 г., этим временем и следует датировать сочинение. <Опубликовано в: Psellus Michael, 1994, p. 180–192.>

37. *Как бы от жителей Византии — прощальная речь к царю, оторично отправляющемуся в поход на турок* [1 (V), № 90]. В тексте говорится, что царь «вновь» отправляется в поход на восток. Таким образом, речь могла быть произнесена как перед вторым, так и перед третьим походами Романа — март 1069 или до 12 апреля 1071 г. <Опубликовано в: Psellus Michael, 1994, p. 185–186.>

38. *Селентий от лица императора Диогена* [16 (I), с. 348–350]. На время правления Романа Диогена приходилось четыре Великих Поста, три из которых император провел в походах. Возможно, что и настоящая речь была произнесена не в столице, а в военном лагере перед войсковой верхушкой. На эту мысль наводит постоянное противопоставление «врагов телесных», под которыми подразумеваются варвары, и «духовных противников», т. е. страстей человеческих. В одном же случае от лица Диогена прямо следует заявление: «Я собрал вас и отправил в поход» (с. 350.11–12). Не следует ли предположить, что речь была составлена в год, когда Пселл сопровождал в походе Романа, т. е. весной 1069 г.? <Опубликовано в: Psellus Michael, 1985, p. 4–6.>

39. *Селентий, произнесенный императором, господином Михаилом Духой* [16 (I), с. 351–355]. Акцентация молодости императора (с. 351.10), некоторое заискивание перед синклитиками наводят на мысль, что селентий был составлен в первые годы царствования Михаила VII. Возможно, что многочисленные бедствия, обрушившиеся на империю, о которых

идет речь (с. 354.24 и сл.) — мятеж Руселя де Батоля (1073) и болгарское восстание (1072–1073). <Опубликовано в: Psellus Michael, 1985, p. 7–10.>

40. *Без заглавия* [16 (I), с. 33–37]. Д. Полемис ошибочно атрибуировал речь Константину Дуке [270, с. 33]. Адресатом скорее мог быть Михаил Дука: в тексте несколько раз акцентируется молодость царя [16 (I), с. 35.17–24] и говорится о его жизни в императорских покоях до восшествия на престол (с. 34.25). Если наше предположение справедливо, речь следует датировать концом 1073 или 1074 г. — временем после восстания Руселя (Пселл говорит о некоей «напасти», от которой избавился император — с. 35.26).

41. *Речь о чуде во Влахернах* [2]. Произнесена в июле 1075 г. <Опубликовано в: Psellus Michael, 1994–3, p. 199–229.>

42. *Речь, обращенная к господину Михаилу Дуке* [16 (I), с. 42–44]. Пселл радуется, что избавился от подозрений со стороны императора. Выражается надежда, что царь победит каких-то «отпрысков мерзких людей», которые далее именуются «врагами и могущественными», поскольку за него тяжелооруженное войско. В период царствования Михаила Дуки имели место три больших мятежа: Руселя (1073), Никифора Врениния и Никифора Вотаниата (1077). В данном случае речь скорее всего идет об одном из двух последних. Во-первых, восставшие, по Пселлу, *δυνάτοί* (Русель — предводитель норманнских наемников, а оба Никифора — феодальные магнаты). Во-вторых, под закованными в железо катафрактами, возможно, следует понимать отряд «бессмертных», на который, по данным других источников, возлагал все надежды император [50, с. 243]. Если наши предположения правильны, речь датируется 1077 г. Д. Полемис отнес эту речь к 1075 г., Р. Анастаси — к 1072 г. <Опубликовано в: Psellus Michael, 1994, p. 127–130.>

43. *Монодия протосинкелу и митрополиту Эфеса, господину Никифору* [16 (I), с. 206–210; 1 (V), с. 102–105]. Митрополит Эфеса Никифор зафиксирован в документах 1071 и 1072 гг. Обычно полагают, что ему в 1078 г. непосредственно наследовал свергнутый Михаил VII Параниак. Если это так, то и монодию следует датировать 1078 г. Однако у нас нет полной уверенности в том, что Михаил Параниак был назначен на эфесскую кафедру сразу после смерти Никифора.

44. *Другая монодия господину Андронику Дуке* [11, с. 165–167]. Написана, видимо, после 1081 г. (см. выше, с. 228–229). <А. Сидерас относит речь к 1076 г. (А. Sideras 1994, p. 148–149).>

45. *Обращение граждан в клитории к господину Алексею Комнину* [1 (V), с. 228–230]. Написано, видимо, после прихода к власти Алексея I Комнина, т. е. после 1081 г. (см. выше, с. 228).

46. *Энкомий святейшему господину Константину Лихуду, патриарху Константинополя* [1(IV), с. 388–421]. Традиционная датировка энкомий 1063 г. неверна. Описывая силу красноречия своего героя, Пселл рассказывает, как Лихуд «сражался» с двумя одинаково доблестными мужами. Далее следует характеристика этих мужей, в которой среди прочего говорится: «Это были оба знаменитых Иоанна (так их звали), равные в речах, но разные в том отношении, что один превосходил другого в искусстве слова, зато уступал в философии. Другой же... но о нем я уже говорил. Они были подобны и равны друг другу совершенством своей добродетели.

Один из них, достигнув почтенного возраста и большой учености, покинул этот мир в сиянии добродетели, другим же еще наслаждается земная жизнь. Он не только первый в каталоге мудрецов, но и занимает первое место среди архиереев, и евахитская митрополия получила его в качестве жителя и, пожалуй, властителя города. Ему я задолжал похвальное слово, приличествующее человеку такой жизни, однако я откладываю до сих пор его сочинение, опасаясь, как бы кто не подумал, что просрочил долг и отдаю меньше, чем полагается» (с. 393–394).

«Два знаменитых Иоанна» из кружка Константина Лихуда — это, конечно, Иоанн Ксифилин и Иоанн Мавропод. Один из них (Ксифилин) уже умер (дата смерти — 1075 г.), другой (Мавропод) еще живет. Таким образом, энкомий Лихуду не мог быть написан ранее 1075 г. (Лихуд умер в 1063 г.). <Итальянский перевод речи опубликован в: Psello Michele, 1983. Моя датировка, принятая исследователями, занимавшимися этой проблемой (А. Каждан, А. Карпозилос и др.), осталась неизвестной А. Сидерасу, относящему речь по старой традиции к 1063 г. (A. Sideras, 1994, p. 136–138).>

47. Энкомий Пселла Иоанну Мавроподу [1 (V), с. 142–167; 17]. Приведенный отрывок (см. выше, № 46) из энкомия Лихуду дает *terminus post quem* и для похвального слова Мавроподу — 1075 г. (Пселл только еще обещает составить речь другу). Эта новая датировка (обычно речь относится к периоду Константина Мономаха) подкрепляется следующими данными из самого произведения:

а) о Константине Мономахе в речи постоянно говорится в прошедшем времени [1 (V), с. 154];

б) Пселл пишет: «Извергающие пламя императоры не испешили только ее одну» [1 (V), с. 158.2 и сл.]. Из контекста ясно, что речь идет об евахитской Церкви. На роль «извергающих пламя императоров» при всей риторической гиперболизации речи могут претендовать только Роман Диоген (1068–1071) и, с натяжкой, Исаак Комнин (1057–1059);

в) в конце энкомия Пселл пишет: «Ты получил от меня речь... которую я обещал тебе давно и которую отдаю как долг» (с. 167.3–5). Из этого высказывания ясно, что имеющийся в нашем распоряжении энкомий — то самое сочинение в честь Мавропода, которое Пселл «обещал» в энкомии Ксифилину;

г) лишенный риторических прикрас, очень искренний по тону конец энкомия (с. 167) выдает в авторе старого человека, подводящего жизненные итоги. <Опубликовано в: Psellus Michael, 1994, p. 143–174.>

48. Надгробное слово Ксифилину [1 (IV), с. 421–462]. Сохранилось без конца, обычно датируется августом 1075 г. — временем смерти Ксифилина. Никакого подтверждения этому в тексте эпитафии нет. Вполне вероятно, что речь была произнесена и в одну из годовщины смерти патриарха (как, например, речи Кируларию и Лихуду). Р. Анастаси предположил, что имеющийся в нашем распоряжении текст представляет собой результат контаминации двух произведений: похвального слова Ксифилину (с. 421–459.17) и обличительного сочинения, направленного против него же (с. 459.18–462). Аргументы итальянского ученого следующие: 1) в эпитафии меняется лицо, вместо обычного — третьего появляется второе — прямое обращение к Ксифилину (с. 459.18); 2) в рукописи спутана

нумерация — лист 40 предшествует 39; 3) в конце эпитафии Пселл высказывает ряд положений, противоречащих его собственным утверждениям в начале [125, с. 52].

Первый и второй аргументы не выдерживают критики. Изменение лица с третьего на второе — в похвальных словах — явление обычное. Так происходит, например, в энокмии Лихуду [1 (IV), с. 419], Мавроподу [1 (V), с. 164] и других, генетически оно восходит, видимо, к прямому обращению к покойному, над могилой которого произносится речь.

Ошибка в нумерации листов не может быть доказательством механической контаминации, поскольку логического обрыва в тексте нет и фраза *οὐ δὲ μοι λέγε...* [1 (IV), с. 459.17], с которой начинается «новое» произведение, с помощью частицы *δέ* сопряжена с предыдущим.

Третий аргумент серьезен, поскольку противоречия касаются не только общего тона (резкое порицание приходит на смену гиперболизированным похвалам), но и конкретных деталей. И тем не менее предположить контаминацию невозможно, поскольку Пселл, заканчивая «порицание», пишет: «Я хотел бы иметь свободу порицать тебя, чтобы воспользоваться всем, что имею, но сделать это мне не позволяет эпитафия» (с. 462.7–8). Таким образом, «порицание», несомненно, включено в состав речи самим Пселлом.² <А. Сидерас традиционно датирует речь 1075 г. (A. Sideras, 1994, p. 145–147).>

49. *Эпитафия Никите, учителю школы Св. Петра* [1 (V), с. 87–97, 190]. Весьма гипотетично можно датировать по искреннему и теплому началу эпитафии: «А я то думал отдохнуть от эпитафий друзьям и больше не составлять по ним плачей. Но не так распорядилось Божество, не исполнило оно наших надежд. Оно обрекло на смерть одного за другим моих друзей, а вот теперь после небольшого перерыва уготовило и это главнейшее из несчастий» (с. 87.24 и сл.). Вероятно, эпитафия была написана не ранее 70-х годов, когда переступивший пятидесятилетний рубеж Пселл начинает терять своих друзей юности. <А. Сидерас полагает, что речь была написана около 1075 г. (A. Sideras, 1994, p. 141–145).>

50. *Без заглавия* [16 (I), с. 216–219]. Эпитафия посвящена некоему Николаю, воину, погибшему в бою, отцу ученика Пселла. Предположение издателей, что имеется в виду Николай Врана или Николай Маврокатаколов, ни на чем не основано. По тем же причинам, что и предыдущее, сочинение это можно датировать временем не ранее 70-х годов («Что за судьба у меня составлять эпитафии друзьям, один за другим умирают они» [с. 216.3 и сл.]). <А. Сидерас относит эту речь к началу пятидесятих годов (A. Sideras, 1994, p. 128–130).>

51. *Ипертика Пселла монодия Иоанну патрикию* — ученику [16 (I), с. 145–154]. Написана, видимо, в относительно поздний период (Иоанн уже долгие годы — ученик Пселла), возможно, не ранее 70-х годов. Пселл пишет, что он сам надеялся получить монодию от Иоанна после своей смерти (с. 154.3 и сл.). Тот же мотив («Кто восславит меня после смерти?») звучит в конце энокмии Иоанну Мавроподу, написанного после 1075 г.

² Р. Анастаси не согласился с нашими возражениями, опубликованными в статье [94, с. 126], но не привел в защиту своей позиции никаких новых аргументов [123, с. 127 и сл.].

52. *Эпитафия патрикию*. Сохранилась без леммы, начало испорчено (Vatic. gr., 672, fol. 190–196) [312, с. 22]. Г. Вейс предполагает, что героем эпитафии был тот же патрикий Иоанн, о котором речь шла в предыдущем сочинении (см. № 51), и что эпитафия произносилась на могиле покойного. <А. Сидерас датирует эту и предыдущие речи временем около 1053 г. и отмечает, что это редкий случай, когда Пселл посвящает две эпитафии одному и тому же лицу (A. Sideras, 1994, p. 122–125). Вторая речь опубликована в: P. Gautier, 1978, p. 135–143.>

53. *Монодия вестарху Георгию, родственнику (?) актуария (τὸν τοῦ ἀκτοαρίου)* [16 (I), с. 211–215]. Является ли актуарий, родственника (?) которого здесь оплакивает Пселл, и тот, брата которого писатель восхвалял в другой речи (№ 56), одним и тем же лицом — недоказуемо. Герой произведения — ученик Пселла, умерший в зрелом возрасте (у него жена и ребенок). О том, что монодия написана в относительно поздний период, свидетельствует и дважды отмеченный нами мотив: «Кто составит мне монодию после смерти?» (с. 211.3 и сл.). <А. Сидерас датирует временем до 1051 г. (A. Sideras, 1994, p. 114–116).>

54. *Монодия прозрду Михаилу Радину* (Vatic. gr., 672, fol. 235–245) [312, с. 21]. Герой монодии — бывший ученик Пселла, представитель известной византийской семьи. Судя по тому, что к моменту смерти он успел занять высокий пост в провинции, монодия не могла быть написана ранее 50-х годов. <Опубликована ныне в: P. Gautier, 1978, p. 115–126. А. Сидерас относит ко времени около 1054 г. (A. Sideras, 1994, p. 126–128).>

55. *Эпитафия (Анастасию)* [313, с. 277–283]. Покойный — бывший ученик Пселла, занимавший должность судьи в Афинах после пребывания на ряде постов в провинции и в центральной администрации. Произведение, таким образом, вряд ли может быть датировано временем ранее 50-х годов. Попытки Вейса точнее датировать произведение основаны на случайных идентификациях. <Опубликовано также в: P. Gautier, 1978, p. 107–112. Некоторые соображения по поводу датировки речи высказываются в A. Sideras, 1994, p. 136.>

56. *Монодия брату актуария* [1 (V), с. 96–102]. Герой произведения — врач, монодия произносилась, видимо, сразу после смерти героя. Никаких данных для датировки нет. Упоминается некий ὁ καὶς — сын героя и ученик Пселла. <А. Сидерас датирует временем около 1050 г. (A. Sideras, 1994, p. 116–117).>

57. *Вез заглавия* (Barber. gr., 240, fol. 204–205^v; Paris. gr., 1182, fol. 41) [156, с. 56, № 22; 312, с. 22]. Речь представляет собой монодию мелитинскому митрополиту Иоанну. Мелитинский митрополит под таким именем умер после 1040 г. [234, № 434/435; 188, № 839, 846]. <Издано в: P. Gautier, 1978, p. 98–104. А. Сидерас датирует 1045 г. (A. Sideras, 1994, p. 112–114).>

58. *Энкомий Симеону Метафрасту* [16 (I), с. 94–107]. <Опубликован в: Psellus Michael, 1994–3, p. 267–290.>

59. *Энкомий монаху Иоанну Крустуле* (Vatic. gr., 672, fol. 63–70^v) [312, с. 18 и сл.]. <Критически издано в: Psellus Michael, 1985, p. 138–151.>

60. *Похвала Италу* [16 (I), с. 50–54]. Русский перевод Т. Миллер опубликован в «Памятниках византийской литературы IX–XIV вв.» [31,

с. 145–147]. Отнесение Т. Миллер речи к 1053 г. нам непонятно [31, с. 436]. Речь посвящена ученику писателя, знаменитому философу Иоанну Италу. Конкретный повод речи — какое-то понравившееся Пселлу выступление Итала на диспуте. Пронзносилась в период обучения Итала у Пселла, что могло бы дать основание для датировки. К сожалению, однако, время этого обучения не поддается определению. Согласно рассказу Анны Комниной, Итал прибыл в Константинополь в царствование Константина Мономаха, но у Пселла стал учиться «позднее» [30, с. 171 и сл.]. <Критически издано в: Psellus Michael, 1985, p. 69–72.>

61. *К двум ученикам, обменявшимся речами* [22, с. 131]. Сочинение представляет собой оценку выступлений учеников Пселла и, таким образом, по жанру примыкает к предыдущему (№ 60). <Критически издано в: Psellus Michael, 1985, p. 73–76.>

62–66. *В связи с тем, что ученики медлят с приходом в школу* [22, с. 140–144]. <Критически издано в: Psellus Michael, 1985, p. 79–82.>

К ученикам, которые медлят [22, с. 144–147]. <Критически издано в: Psellus Michael, 1985, p. 82–84.>

Порицает нерадивых учеников [22, с. 147–153]. <Критически издано в: Psellus Michael, 1985, p. 84–87.>

<Из-за дождя ученики не пришли в школу [Psellus Michael, 1985, p. 76–82].>

Без заглавия (Vatic. gr., 672, fol. 180–184) [312, с. 18]. <Ныне издано в: Psellus Michael, 1985, p. 88–93.>

Четыре эти речи представляют собой порицание учеников и произносились, вероятно, перед их аудиторией. Попытаться датировать, и то очень гипотетично, можно только последнюю речь. В произведении говорится о том, что ученики отказываются изучать законы риторики, которым их обучает Пселл. Аналогичная ситуация вырисовывается из письма Пселла Аристину [16 (II), с. 224] (см. выше, с. 368). Поскольку это письмо не может быть датировано ранее конца 60-х годов, к этому же периоду, возможно, следует отнести и упомянутую речь.

67. *Без заглавия* (Barber. gr., 240, fol. 218) [156, с. 55, № 14; 312, с. 28]. Текст очень испорчен, точная реконструкция содержания невозможна. Упоминается о нападках на Иоанна Итала, что дало возможность Г. Вейсу датировать произведение временем перед 1076 г.

68. *Энокмий блохе* [22, с. 73–78]. Включить это сочинение в число риторических заставляет только его лемма, возможно ошибочная: «энокмий».³ На деле произведение представляет собой позорящее письмо или памфлет против некоего Сергия, которого даже блохи не кусают из-за дурного запаха его кожи. <Критически издано в: Psellus Michael, 1985, p. 94–97.>

69–71. *Другой энокмий блохе* [22, с. 78–84]. <Критически издано в: Psellus Michael, 1985, p. 98–101.>

Энокмий вши [22, с. 85–91]. <Критически издано в Psellus Michael, 1985, p. 102–106.>

³ Впрочем, в этой же речи из Vatic. gr., 672, fol. 249, в лемме просто указано: «к ученикам» [66, с. 76].

О клопе [22, с. 91–95]. <Критически издано в: Psellus Michael, 1985, р. 107–110.>

Эти три произведения представляют собой сочинения, произносившиеся перед учениками с чисто учебными целями: демонстрации силы слова («Моя задача не составлять похвалу виши — не настолько я безумен, а показать, какова сила слова», — с. 90, 26). Можно предположить, что все три речи произносились в одно и то же время или с небольшими перерывами: в двух из них содержатся ссылки на предыдущие.

72. *Монодия по поводу обвала храма Св. Софии* [29]. Поскольку в период жизни Пселла в храме Св. Софии не засвидетельствовано никаких обвалов, Бюртле полагает, что писатель вспоминает об обвале 26 октября 986 г. Если это так, речь имеет характер риторического упражнения. <Опубликовано в: Psellus Michael, 1985, р. 131–134; ср.: M. D. Spadaro, 1975.>

73. *Энкомий вину* [6, с. 421–428]. Энкомий написан и, видимо, отправлен человеку, приславшему Пселлу вино. <Напечатано в: Psellus Michael, 1985, р. 111–116.>

74. *К празднику Вознесения Христова* (Vatic. gr., 672, fol. 168) [66, с. 75].

75. *На Распятие Господа нашего Иисуса Христа* [156, с. 48, № 14]. <Опубликовано в: P. Gautier, 1991; Psellus Michael, 1994–3, р. 114–198.>

76. *Слово на Благовещение* [16 (I), с. 82–93]. <Напечатано в: D. Gemitti, 1984; Psellus Michael, 1994–3, р. 95–113.>

77. *Слово на Введение во святая святых Пресвятой Богородицы* [27]. <Опубликовано в: Psellus Michael, 1994–3, р. 257–266.>

78. *О медной статуе коня на ипподроме* (PG, 122, col. 1161, sq).

79. *Описание статуи спящего Эроса* (Barber. gr., 240, fol. 139^v–140^v) [312, с. 14] Текст очень испорчен. <Напечатан в: Psellus Michael, 1985, р. 129–131.>

ТРАКТАТЫ ПСЕЛЛА ПО ТЕОРИИ КРАСНОРЕЧИЯ ⁴

1. О риторике [57 (III), с. 687–703]. Трактат обращен к лицу царского достоинства, ибо в тексте встречаются неоднократные обращения «венценосец». Скорее всего это Михаил VII, которому посвящено большинство ученых произведений писателя. Жанр трактата Пселл определяет как «учебничек» (с. 703.27) и вводит его, таким образом, в круг многочисленных руководств по красноречию, имевших хождение в античности и Византии. По своему содержанию «учебничек» — до предела сжатое изложение системы Гермогена, ссылки на которого несколько раз встречаются в тексте.

Рабски следуя образцу и сохраняя даже ошибки Гермогена в цитации древних авторов, Пселл только в редких случаях позволяет себе небольшое изменение порядка изложения, при этом часто сокращает мысль оригинала до непонятного субстрата.

⁴ Более подробную характеристику этих трактатов см. в нашей статье [93, с. 114 и сл.].

2. *Обзор риторических идей* [57 (V), с. 601–605]. Тратат переведен на русский язык Т. Миллер [63, с. 158 и сл.].

Сочинение находится в рукописях среди писем и таковым является на самом деле. Как и предыдущее произведение, Пселл называет письмо «учебничком», который он составил по заказу адресата. «Учебничек» представляет собой весьма сжатое и деловое изложение «Об идеях» Гермодена.

3. *О сочетании элементов речи* [57 (V), с. 598–601]. Тратат переведен на русский язык Т. Миллер [63, с. 156 и сл.]. Как и предыдущее, сочинение имеет форму письма. Адресат спрашивал у Пселла, что такое «жесткий и суровый» стиль. Полагая, что различие в стилях есть результат различных способов сочетания слов, Пселл сводит ответ к проблеме «сочетания» (*συνθήκη*) и пересказывает известный трактат Дионисия Галикарнасского «О сочетании слов». Метод изложения материала Пселлом производит удручающее впечатление. В повествование вкраплены многочисленные цитаты, заимствованные из разных частей сочинения Дионисия и механически «прилаженные» одна к другой. Писатель не останавливается даже перед тем, чтобы из двух фраз Дионисия «склеить» свою собственную. Анализ этого сочинения посвящена вышедшая в 1975 г. статья [129].

4. *Стиль Григория Богослова, Василия Великого, Златоуста и Григория Нисского* [22, с. 124–131].

По своему жанру это произведение скорее всего письмо (обращение «ученый»), являющееся, как и многие другие «ученые» послания, ответом на вопрос корреспондента. Вопрос этот сформулирован в начале письма: «Ты спрашиваешь, сколько и кто из христианских ораторов создавал свои речи по правилам искусства и могут ли они соперничать с Демосфеном и Лисием по построению, убедительности, выбору и сочетанию слов, внешним украшениям и эффектным фигурам?» (с. 124.15). Таким образом, проблема трактата — соотношение между античной и христианской риторикой. Положительно отвечая на поставленный вопрос, Пселл иллюстрирует свое утверждение примером Григория Назианзина, соединившего лучшие свойства предшествовавших ему ораторов и игравшего для христианства ту же роль образцового ратора, что и Демосфен для античности. Система доказательств заимствована у Дионисия Галикарнасского и Гермодена. Адресат и датировка произведения неизвестны.

5. *О стиле некоторых сочинений* [22, с. 48–52]. Русский перевод Т. Миллер опубликован в «Памятниках византийской литературы» [31, с. 148 и сл.]. Произведение является, видимо, записью лекции на тему: «Какова должна быть последовательность чтения у человека, совершающегося в риторике?» Таким образом, по жанру это своеобразный *Institutio oratoria*. Заголовок же произведения, совсем не отвечающий его содержанию, — скорее всего продукт творчества не очень внимательного редактора или переписчика.

6. *Ипертижа Пселла, слово, составленное для вестарха Пофоса, попросившего написать о богословском стиле* [15, с. 27 и сл.]. Русский перевод Т. Миллер [63, с. 161 и сл.]. Адресату этого послания (вестарху Пофосу) было направлено также письмо [1 (V), № 204]. Пселл находился, кроме того, в переписке с неким Пофосом, исполнявшим в разное время должности судьи Опсикия, а также Фракии и Македонии. Идентичны ли

эти люди, сказать трудно. Письмо (№ 204), следующее в рукописи за интересующим нас посланием, относится к концу царствования Михаила VII. Дает ли это какие-нибудь основания для датировки? По жанру это такое же «ученое послание», как и большинство упомянутых выше. Трактат представляет собой только начало рассуждений на заданную тему (см. с. 60.450), однако никакого продолжения до нас не дошло. Что такое «богословский стиль», Пселл показывает на примере только одного автора — Григория Назианзина, воплотившего все достоинства предшествовавших ораторов. Анализ этого трактата посвящена статья Т. Миллера [99].

7. *Об Ахилле Татии и Гелиодоре*. Еще одно сопоставление двух древних романистов дошло до нас в составе «Библиотеки» Фотия. Однако никаких признаков влияния Фотия на Пселла обнаружить не удается. Трактат написан Пселлом в форме послания к какому-то неизвестному другу. <Опубликован в: А. Duck, 1986, p. 91–99.>

8. *Задавшему вопрос, кто писал лучше стихи, Еврипид или Писидида* [4]. Русский перевод Т. Миллера [63, с. 171 и сл.]. Трактат по жанру относится к числу «ученых посланий» и представляет собой литературный синкрисис. <Опубликован в: А. Duck, 1986, p. 40–51. О текстологических проблемах трактата см.: А. Kambylis, 1994.>

<Помимо перечисленных, Пселлу принадлежит также трактат *Περὶ ῥητορικῆς*, посвященный изложению риторической теории Лонгина (P. Gautier, 1977).>





ПЕРИОДИКА (СОКРАЩЕНИЯ)

BF	— Byzantinische Forschungen
АДСВ	— Античная древность и Средние века
ВВ	— Византийский вестник
ВИ	— Вопросы истории
ЖМНП	— Журнал Министерства народного просвещения
ЗРВИ	— Сборник Радова. Византиноведческий институт
ПС	— Палестинский сборник
ТОДРЛ	— Труды Отдела древнерусской литературы
AB	— Analecta Bollandiana
BMGS	— Byzantine and Modern Greek Studies
BS	— Byzantinoslavica
BZ	— Byzantinische Zeitschrift
Byz.	— Byzantion
DOP	— Dumbarton Oaks Papers
ΕΕΒΕ	— Ἐπετηρίς Ἐταιρείας Βυζαντινῶν Σπουδῶν
GRBS	— Greek, Roman and Byzantine Studies
JB	— Jahrbuch der Österreichischen Byzantinistik
NE	— Νέος Ἑλληνομνημῶν
OChP	— Orientalia Christiana Periodica
PG	— Patrologiae cursus completus. Series graeca, ed. J.-P. Migne
Progr. Plauen	— Beilage zu dem Programm der Gymnasial- und Realschulanstalt zu Plauen
RE	— Pauly-Wissowa. Real-Encyclopädie der klassischen Altertumswissenschaft, hrsg. von Kroll
REB	— Revue des Études byzantines
REG	— Revue des Études grecques
RESE	— Revue des Études sud-est européennes
SFB	— Studi di filologia bizantina
SG	— Siculorum Gymnasium
SIFC	— Studi italiani di filologia classica
TM	— Travaux et Mémoires



БИБЛИОГРАФИЯ

Издания и переводы сочинений Пселла

1. *Bibliotheca graeca medii aevi*. Vol. IV-V. Ed. C. Sathas. Athenai—Paris, 1874—1876.
2. *Bidez J.* Catalogue des manuscrits Alchimiques grecs. T. VI. Brussel, 1928.
3. *The Chronographia of Michael Psellos*. Transl. from Greek by E. R. A. Sewter. London, 1953.
4. *Colonna A.* Michaelis Pselli de Euripide et Georgio Pisida Iudicium// *Atti del VIII congresso internazionale di studi bizantini*. Vol. I. Roma, 1953.
5. *Flach H.* Glossen und Scholien für Hesiodische Theogonie. Leipzig, 1876.
6. *Garzya A.* Un encomio del vino inèdito di Michele Psello//*Byz.* T. 35. 1965.
7. *Garzya A.* Un inèdito opuscolo polemico di Michele Psello//*Le Parole e le Idee*. Naples, 1965.
8. *Garzya A.* On Michele Psellos' Admission of Faith//*ΕΕΒΣ*. T. 35. 1966/1977.
9. *Garzya A.* Versi e un opuscolo inèdito di Michele Psello//*Nota introduttiva, testo critico, traduzione e commentario//Le Parole e le Idee*. Naples, 1966.
10. *Gautier P.* Eloge funèbre de Nicolas de la Belle Source par Michel Psellos moine à l'Olympe//*Byz.* T. VI. 1974.
11. *Gautier P.* Monodie inèdite de Psellos sur le basileus Andronic Doucas//*REB*. XXIV. 1966.
12. *History of Psellos*. Edited with Critical Notes and Indices by C. Sathas. London, 1899.
13. *Jacobs Fr.* Achillis Tatii Alexandrini de Leucippes et Clitophontis amoribus libri octo. Leipzig, 1821.
14. *Joannou P.* Démonologie populaire — démonologie critique au XI^e siècle. La vie inèdite de S. Auxence par M. Psellos. Wiesbaden, 1971.
15. *Mayer A.* Psellos' Rede über den rhetorischen Charakter des Gregorios von Nazianz//*BZ*. Bd. 20. 1911.
16. *Michaelis Pselli scripta minora magnam partem adhuc inedita*. Vol. I-II. Ed. E. Kurtz, F. Drexl. Milano, 1936—1941.
17. *Psello M.* Encomio per Giovanni piissimo metropolitita di Euchaita. Introduzione, traduzione e note di R. Anastasi. Padova, 1968.

18. *Psello M. Epistola a Giovanni Xiphilino. Testo critico, introduzione e commentario a cura di U. Criscuolo. Napoli, 1973.*
19. *Psello M. Epistola a Michele Cerulario. Testo critico, introduzione, tradizione e note a cura di U. Criscuolo. Napoli, 1973.*
20. *Psellos M. Chronographie ou histoire d'un siècle de Byzance (976-1077). Texte établi et traduit par É. Renauld. I-II. Paris, 1926-1928.*
21. *Psellos M. De omnifaria doctrina. Critical Text and Introduction of L. G. Westerink. Utrecht, 1948.*
22. *Psellos M. De operatione daemonum. Ed. F. Boissonade. Nürenberg, 1838.*
23. *Psellos M. Epître sur le chrisopées et extraits sur l'alchemie, publié par J. Bidez. Bruxelles, 1928.*
24. *Psellos M. Περί παραδόξων ἀναγνώσμάτων//Revue de Philologie. 27. 1903.*
25. *Redl G. La Chronologie appliquée de Michel Psellos//Byz. T. 4. 1927/28. T. 5. 1929/30.*
26. *Regel W. Analecta Byzantinorossica. СПб., 1891.*
27. *Tontolo E. Alcune omelie mariane dei saec. X-XIX; Pietro d'Argo, Niceta Paflagone, Michele Psello e Nirfo Ieromonaco//Marianum. 33. 1971.*
28. *Westerink L. G. Some Unpublished Letters of Blemmydes//BS. T. 12. 1951.*
29. *Würtle P. Die Monodie des Psellos auf den Einsturz des Hagia Sophia. Paderborn, 1917.*

Другие источники и их переводы

30. *Анна Комнина. Алексиада. Вступит. ст., пер., комм. Я. Н. Любарского. М., 1965.*
31. *Памятники византийской литературы XI-XIV веков. М., 1969.*
32. *Повесть о Вардапета Аристакаса Ластиверци. Пер. с древнеармянского. Вступит. ст., комм. и прил. К. Н. Юзбашяна. М., 1966.*
33. *Советы и рассказы Кекавмена, сочинение византийского полководца XI века. Подготовка текста, введ., пер. и комм. Г. Г. Литаврина. М., 1972.*
34. *Успенский Ф. И. Неизданное церковное слово о болгаро-византийских отношениях в первой половине X в.//Летопись историко-филологического общества при Новороссийском университете. Т. IV. Вып. 2. Одесса, 1804.*
35. *Anna Comnène. Alexiade (règne de l'empereur Alexis I Comnène 1081-1118), texte établi et traduit par B. Leib. Vol. I-III. Paris, 1937-1945.*
36. *Anonymou Synopsis Chronike//Bibliotheca graeca medii aevi. Vol. VII. 1894.*
37. *Arethae scripta minora. Vol. I-II. Ed. L. G. Westerink. Leipzig, 1968-1972.*
38. *Boulenger P. Grégoire de Nazianz, Discours funèbres en l'honneur de son frère Césaire et de Basile de Césarée. Paris, 1876.*
39. *Constantini Manassis breviarium historiae metricum, rec. I. Bekkerus. Bonnae, 1828.*
40. *Digenes Akrites, ed. with an introduction, translation and commentary by J. Mavrogordato. Oxford, 1956.*

41. Dionysii Halicarnacensi opuscula. Ed. H. Usener, L. Radermacher. Vol. 2. Leipzig, 1904.
42. Eusthatii Macrembolitae Hysmines et Hysminiae amoribus, rec. I. Hieberg. Vindobiae, 1876.
43. Hermogenes, opera. Ed. H. Rabe. Leipzig, 1913.
44. Ioannis Tzetzae historiae, rec. M. Leone. Napoli, 1968.
45. Ioannis Scylitzae Synopsis historiarum, rec. I. Thurn. Berlin; New York, 1973.
46. Iohannis Euchaitorum metropolitae quae in codice vaticano graeco supersunt. P. de Lagarde edidit//Abhandlung. d. hist.-philol. Cl. d. Königl. Gesellsch. d. Wissensch. zu Götting. Bd 28. 1881.
47. *Lambros Sp.* 'Ανέκδοτος μνοῦδία 'Ρωμάνου Β'//Bulletin de Correspondence Hellénique. T. 2. 1878.
48. Leonis Diaconi Caloensis historiae libri decem, rec. C. Hasius. Bonnae, 1828.
49. Leonis Grammatici Chronographia. Bonnae, 1842.
50. Michaelis Attaliothae historia, rec. I. Bekkerus. Bonnae, 1853.
51. Nicephori Bryennii commentarii, rec. A. Meineke. Bonnae, 1836.
52. Novella constitutio saec. XI medii, ed. R. Salač. Praage, 1954.
53. *Spengel R.* Rhetores graeci. Vol. I-III. Leipzig, 1853-1856.
54. Stethatos Nicetas, Opuscules et lettres. Introduction, texte critique, traduction et notes par J. Darrouzès. Paris, 1961.
55. *Τσολάκη Θ.* Η συνέχεια τῆς Χρονογραφίας τοῦ Ἰωάννου Σκυλίτου (Ioannes Scylitzes Continuatus). Θεσσαλονίκη, 1965.
56. *Vogt A., Hausherr I.* Oraison funèbre de Basile I par son fils Leon VI Le Sage//OChP. Vol. 26. 1932.
57. *Walz Ch.* Rhetores graeci. Vol. I-IX. Stuttgart; Tübingen, 1832-1836.
58. *Will C.* Acta et scripta, quae de controversiis ecclesiae graecae et latinae saeculo XI composita extant. Lips. et Marp., 1861.
59. *Zonaras Iohannes.* Epitome historiarum. Vol. III. Ed. Th. Büttner-Wobst, 1897.

Литература

60. *Аверинцев С. С.* Плутарх и античная биография. М., 1973.
61. *Аверинцев С. С.* Попытки обновления формы античной трагедии в византийской литературе. Седьмая всесоюзная конференция византинистов в Тбилиси. Тезисы докладов. Тбилиси, 1965.
62. Античная эпистолография. М., 1965.
63. Античность и Византия. М., 1975.
64. *Бахтин М. М.* Творчество Франсуа Рабле. М., 1965.
65. *Безобразов П. В.* Византийский писатель и государственный деятель Михаил Пселл. М., 1890.
66. *Безобразов П. В.* Материалы для истории Византийской империи//ЖМНП. Ч. 261. Март 1889.
67. *Беллаес Д.* Byzantina. T. I-III. СПб., 1891-1906.
68. *Бенешевич В. Н.* Описание греческих рукописей монастыря Св. Екатерины на Синае. Т. I. СПб., 1911.
69. *Бычков В. В.* Из истории византийской эстетики//ВВ. 37. 1976.

70. Вальденберг В. Философские взгляды Михаила Пселла//Византийский сборник. М; Л., 1945.
71. Византийская литература. М., 1974.
72. Голенищев-Кутузов И. Н. Данте и Предвозрождение//Литература эпохи Возрождения. М., 1967.
73. Гуревич А. Я. Категории средневековой культуры. М., 1972.
74. Егуннов А. Н. «Эфиопика» Гелиодора//Гелиодор. Эфиопика. М., 1964.
75. Жирмунский В. М. Алишер Навои и проблема Ренессанса в восточных литературах//Ученые записки ЛГУ. № 299. Серия филологических наук. Вып. 59. 1961.
76. Златарский В. История на Българската държава през средните векове. Т. II. София, 1972.
77. История Византии. Т. I-III. М., 1967.
78. Каждан А. П. Византийская культура. М., 1968.
79. Каждан А. П. Византийский монастырь XI-XII вв. как социальная группа//ВВ. Т. 31. 1971.
80. Каждан А. П. Иоанн Мавропод, печенег и русские в середине XI в.//ЗРВИ. Кн. 8. 1963.
81. Каждан А. П. Предварительные замечания о мировоззрении византийского мистика X-XI вв. Симеона//BS. Т. 28. № 1. 1967.
82. Каждан А. П. [Рец. на кн.:] Beck H.-G. Geschichte der byzantinischen Literatur//ВВ. Т. 34. 1973.
- 82а. Каждан А. П. Социальные воззрения Михаила Атталаната//ЗРВИ. № XVII. 1976.
83. Лазарев В. Н. История византийской живописи. Т. I. М., 1947.
84. Литаврин Г. Г. Болгария и Византия в XI-XII вв. М., 1960.
85. Литаврин Г. Г. Пселл о причинах последнего похода русских на Константинополь в 1043 г.//ВВ. Т. 27. 1967.
86. Литаврин Г. Г. Три письма Пселла Катакалону Кекавмену//RESE. VII. № 3. 1969.
87. Лихачев Д. С. К истории художественных методов русской литературы XI-XII вв.//ТОДРЛ. Т. XX. 1964.
88. Лихачев Д. С. Поэтика древнерусской литературы. Л., 1967.
89. Лихачев Д. С. Человек в литературе Древней Руси. М., 1970.
90. Лосев А. Ф., Шестаков В. П. История эстетических категорий. М., 1965.
91. Любарский Я. Н. Византийские авторы об искусстве писать историю. Седьмая всесоюзная конференция византистов в Тбилиси. Тезисы докладов. Тбилиси, 1965.
92. Любарский Я. Н. К биографии Иоанна Мавропода//Byzantinobulgarica. Т. IV. 1973.
93. Любарский Я. Н. Литературно-эстетические взгляды Михаила Пселла//Античность и Византия. М., 1975.
94. Любарский Я. Н. Пселл в отношениях с современниками (Иоанн Мавропод, Иоанн Ксифилин, Константин Лихуд)//ПС. Вып. 23 (86). 1971.
95. Любарский Я. Н. Пселл в отношениях с современниками (Пселл и семья Кирулариев)//ВВ. Т. 35. 1973.
96. Любарский Я. Н. [Рец. на кн.:] Anastasi R. Studi sulla «Chronographia» di Michele Psello//BS. Т. 32. № 2. 1971.
97. Любарский Я. Н. [Рец. на кн.:] Gadolin A. A Theory of History and Society//ВВ. Т. 35. 1973.

98. Любарский Я. Н. [Рец. на кн.:] Weiss G. Ostrerömische Beamte im Spiegel der Schriften des Michael Psellos//BS. Т. 36. № 2. 1975.
- 98а. Медаедев И. П. Византийский гуманизм. Л., 1976.
99. Миллер Т. А. Михаил Пселл и Дионисий Галикарнасский//Античность и Византия. М., 1975.
100. [6. а.] Михаил Кируларий, патриарх Константинопольский. Киев, 1854.
101. Петровский Ф. А. Ingenium-ars//Eirene. Т. II. 1964.
102. Полякова С. В. Византийские легенды как литературное явление//Византийские легенды. Л., 1972.
103. Полякова С. В. Из истории византийской любовной прозы//Византийская любовная проза. М. Л., 1965.
104. Попова Т. В. Византийская эпистолагафия//Византийская литература. М., 1974.
105. Рифтин Б. Л. Типология и взаимосвязи средневековых литератур//Типология и взаимосвязи средневековых литератур Востока и Запада. М., 1974.
106. Рутенбург В. И. Проблемы Возрождения//Проблемы социальной структуры и идеологии средневекового общества. Вып. I. Л., 1974.
107. Скабаланович Н. А. Византийская наука и школы в XI в// Христианское чтение. 1884. № 3-4.
108. Скабаланович Н. А. Византийское государство и Церковь в XI в. СПб., 1884.
109. Скабаланович Н. А. Разделение Церквей при патриархе Михаиле Керулларии//Христианское чтение. 1884. № 11-12.
110. Сметанин В. А. Эпистолагафия. Свердловск, 1970.
112. Сюзюмов М. Я. Разделение церквей в 1054 г.//ВИ, 1956, № 8.
113. Сюзюмов М. Я. Об источниках Льва Дьякона и Скилицы//Византийское обозрение. Вып. II. № 1. Юрьев, 1916.
114. Тышкова-Займова В. Съобщения за харистики в нашите земли (из преписката на Михаил Пселл)//Известия на Института за българска история. Кн. 5. 1954.
115. Фаррар Ф. Жизнь и труды святых отцов и учителей Церкви. Перевод с английского. Т. I. СПб., 1902.
116. Черноусов Е. А. Страница из культурной истории Византии XI в.// Записки Императорского Харьковского университета. Кн. I. 1013.
117. Шестаков В. П. Гармония как эстетическая категория. М., 1973.
118. Штаерман Е. М. Кризис античной культуры. М., 1975.
119. Ahrweiler H. L'idéologie politique de l'Empire byzantin. Paris, 1975.
120. d'Ales A. A. Byzance: Psellos et Cérulaire//Études SJ № 168. 1921.
121. Alexander P. Secular Biography at Byzantium//Speculum. Vol. 15. 1940.
122. Anastasi A. «Conzoniere» di Giovanni di Euchaita//SG. NS, a. XXII. N. 2. 1969.
123. Anastasi R. Note di filologia graeca//SG. NS, a. XXVI, n. 1. 1973.
124. Anastasi R. Studi sulla «Chronographia» di Michele Psellos. Catania, 1969.
125. Anastasi R. Sull'epitafio di Psello per Giovanni Xiphilino//SG. NS, a. XIX, n. 1. 1966.
126. Anastasi R. L'Umanesimo di Michele Psello//Teoresi. a. XXI. 1966.

127. *Athenogora*. Ὁ θεομὸς τῶν συγκέλλων ἐν τῷ οἰκουμἐνικῷ πατριαρχεῖῳ// EEBE. T. 4. 1927.
128. *Aubreton R. Michel Psellos et l'Antologie Palatine//L'Antiquité classique. Vol. 38. 1969.*
129. *Aujac G. Michel Psellos et Denys d'Halicarnasse. Le traité sur le composition des éléments du langage//REB. XXXIII. 1975.*
130. *Bachmann M., Dölger F. Die Rede des μέγας δρουγγάριος Gregorius Antiochos auf den Sebastokrator Konstantinos Angelos//BZ. Bd. 40. 1940.*
131. *Baggarty J. D. A. Parallel between Michael Psellos and the Hexaemeron of Anastasius of Sinai//OChP. Vol. 36. 1970.*
132. *Baldwin S. Ancient Rhetoric and Poetic. New York, 1924.*
133. *Baldwin S. Medieval Rhetoric and Poetic (to 1400). New York, 1928.*
134. *Bauer J. Die Trostreden des Gregoras von Nyssa in ihren Verhältnissen zur antiken Rhetorik, diss. Marburg, 1892.*
135. *Beck H.-G. Antike Beredsamkeit und byzantinische Kallilogia//Antike und Abendland. 15. 1969.*
136. *Beck H.-G. Die byzantinische «Mönchschronik»//Beck H.-G. Ideen und Realitäten in Byzanz/«Variorum Reprints». London, 1972.*
137. *Beck H.-G. Geschichte der byzantinischen Volksliteratur. München, 1971.*
138. *Beck H.-G. Kirche und theologische Literatur. München, 1959.*
139. *Beck H.-G. Das literarische Schaffen der Byzantiner//Österreichische Akademie d. Wissensch., Phil.-hist. Kl. Sitzungsberichte 294. Bd 4. Wien, 1974.*
140. *Begleris B.G. Ὁ αὐτοκράτωρ τοῦ Βυζαντίου Νικήφορος ὁ Βοτανιάτης καὶ τοῦ Ἑλλάδος καὶ Πελοποννήσου. Ἀθήναι, 1916.*
141. *Benakis L. Michael Psellos Kritik an Aristoteles und seine eigene Lehre zur «Physis» und «Materie» — Form» Problematik//BZ. Bd. 56. 1963.*
142. *Benakis L. Studien zu den Aristoteles Kommentaren des Michael Psellos//Archiv für Geschichte der Philosophie. Bd 43-44. 1961/62.*
143. *Bergen K. Charakterbilder bei Tacitus und Plutarch. Köln, 1962.*
144. *Böhlig G. Untersuchungen zum rhetorischen Sprachgebrauch mit besonderer Berücksichtigung der Schriften des Michael Psellos. Berlin, 1956.*
145. *Bon A. Le Péloponnèse byzantin jusqu'en 1204. Paris, 1951.*
146. *Bonis K. G. Ἰωάννης ὁ Σειφίλιος, ὁ νομοφύλαξ, ὁ μοναχός, ὁ πατριάρχης καὶ ἡ ἐποχὴ αὐτοῦ. Ἀθήναι, 1938.*
147. *Brehier L. Un discours inédit de Psellos. Accusation de Patriarche Michel Cerulaire devant le Synode (1059)//REG. T. 16. 1903. T. 17. 1904.*
148. *Browning R. Byzantine Scholarship//Past and Present. 1964. № 26.*
149. *Browning R. The Correspondence of a Tenth Century Byzantine Scholar//Byz. T. 24. 1954. № 2.*
150. *Browning R. Byzantinische Schulen und Schulmeister//Das Altertum. Bd. 9. Hf 2. 1963.*
151. *Browning R. Enlightenment and Repression in Byzantium in the Eleventh and Twelfth Centuries//Past and Present. 1975. № 69.*
152. *Bruns J. Die Persönlichkeit in der Geschichtsschreibung der Alten. Berlin, 1898.*
153. *Bühler W. Zu Manuel Straboromanos//BZ. Bd. 62. 1969.*
154. *Bühler W. Zwei erstveröffentlichungen (Psellos und Eustathios)//Byz. T. 37. 1967.*
155. *Burgess Th. Epideictic Literature. Chicago, 1902.*
156. *Canart P. Nouveaux inédits de Michel Psellos//REB. XXV. 1967.*

157. *Caplan P.* Of Eloquence. Ithaca; London, 1970.
158. *Christophilopulo A.* Σιλέντιον//BZ. Bd 44. 1951.
159. *Clark D. L.* Rhetoric in Greco-Roman Education. New York, 1957.
160. *Criscuolo U.* Per la cronologia dell'epistola di Michele Psello a Giovanni Xiphilino//Annali della Facolta di Lettere e Filosofia dell'Universita di Macerata. Vol. VII. 1974.
161. *Criscuolo U.* Sui rapporti tra Michele Psello e Giovanni Xiphilino (ep. 191 Kurtz—Drexl)//Atti dell'Academia Pontaniana. Vol. XXIV. 1975. № 5.
162. *Cvetter J.* The Authorship of the Novel on the Reform of Legal Education//Eos. Vol. 48. 1956. № 2.
163. *Dakouras D.* Die antiken Religionen bei Michael Psellos. Griechische Religion, diss. Köln, 1975.
164. *Darke O.* Wirkungen des Platonismus im griechischen Mittelalter//BZ. Bd. 30. 1929/30
165. *Darouzès J.* Nicolas d'Andida et les azymes//REB. XXXII. 1974.
166. *Darrouzès J.* Notes d'épistolographie et d'histoire des textes. Les lettres inédites de Michel Psellos//REB. XII. 1954.
167. *Van Dieten J. L.* Nicetas Choniates Erläuterungen zu den Reden und Briefen nebst einer Biographie. Berlin; New York, 1971.
168. *Dölger F.* Aus den Schatzkammern des Heiligen Berges. München, 1948.
169. *Dölger F.* Regesten der Kaiserurkunden des oströmischen Reiches. Teil II. Berlin; München, 1925.
170. *Dräseke.* Psellos und seine Anklageschrift gegen den Patriarchen Michael Kerullarios//Zeitschrift für wissenschaftliche Theologie. Bd 48. 1904.
171. *Drexl F.* Γορδιασόν//BZ. Bd 40. 1940.
172. *Drexl F.* Zu Psellos//BZ. Bd 36. 1936.
173. *Duyé N.* Un haut fonctionnaire byzantin du XI^e siècle: Basile Malésès//REB. XXX. 1972.
174. *Ebbesen S.* Ο Ψελλός και οι σοφιστικοί έλεγχοι//Byzantina. T. 5. 1973.
175. *Ευστρατιάδης Σ.* Ιωάννης ο Μαυρόπουλος μητροπολίτης Ευχαιτών//B κη. "Εναίσιμα" ,πιμητικός τόμος επί τη έπιστημονική 35 έτηρίδι του μακ. Αρχιεπισκόπου Αθηνών Χρυσοστόμου. Αθήναι. 1931.
176. *Fischer W.* Studien zur byzantinischen Geschichte des elften Jahrhunderts, Progr, Plauen, 1883.
177. *Focke F.* Synkrisis//Hermes. Bd 58. 1923.
178. *Follieri E.* Giovanni Mauropode//Giovanni Mauropode. Otto canoni paracletici a N. S. Gesù Cristo a cura di E. Follieri. [Roma, 1967].
179. *Fraustadt F.* Encomiarum in litteris Graecis usque ad Romanam aetatem historia. Leipzig, 1909.
180. *Fuchs F.* Die höheren Schulen in Konstantinopel im Mittelalter//Byzantinisches Archiv. Hf. 8. 1926.
181. *Gadolin A.* A Theory of History and Society with Special Reference to the «Chronographia» of Michael Psellos; 11-th Century Byzantium, Stockholm; Göteborg; Uppsala, 1970.
182. *Gerland E.* Die Grundlagen der byzantinischen Geschichtsschreibung//Byz. T. VIII. 1933.
183. *Gautier P.* [Рец. на κη.] Weiss G. Oströmische Beamte im Spiegel der Schriften des Michael Psellos//REB. XXIII. 1975.
184. *Gautier P.* Ascendance de Jean Tzétzes//REB. XXVIII. 1970.
- 184a. *Gautier P.* Chrysobulle de confirmation rédigé par Michel Psellos//REB. T. 34. 1976.

1846. *Gautier P.* Précisions historiques sur le monastère de Ta Narsou//REB. T. 34. 1976.
185. *Glycatzi-Ahrweiler H.* Recherches sur l'administration de l'Empire byzantin aux IX^e-XI^e siècles. Paris, 1960.
186. *Grégoire H.* [Рец. на кн.:] M. Psellos. Chronographie ou histoire d'un siècle de Byzance (976-1077)//Byz. T. 2, 1925; T. 4, 1927/28.
- 186a. *Grosdidier de Matons J.* Psellos et le Monde de l'irrationnel//TM. T. 6, 1976.
187. *Grumel V.* Chronologie. Paris, 1968.
188. *Grumel V.* Les Regestes des Actes du Patriarcat de Constantinople. Vol. III. Paris, 1947.
189. *Grumel V.* Titulature de métropolitains Byzantines//Métropolitains hypertimes//Memorial Louis Petit. Bucharest, 1948.
190. *Guglielmino A. M.* Un maestro di grammatica a Bizanzio nell XI secolo e l'epitafio per Niceta di Michele Psello//SG. a. XXVII. 2. 1974.
191. *Guilland R.* Étude sur l'histoire administrative de l'Empire Byzantin, le Sébastophore//REB. XXI. 1963.
192. *Guilland R.* Les logothètes//REB. XXIX. 1971.
193. *Guilland R.* Recherches sur les institutions byzantines. T. I-II. Berlin; Amsterdam, 1967.
- 193a. *Gouillard J.* La religion des philosophes//Travaux et Mémoires. T. 6. 1976.
194. *Hagedorn D.* Zur Ideenlehre des Hermogenes. Göttingen, 1964.
195. *Halkin F.* [Рец. на кн.:] Michaelis Pselli scripta minora I//AB. T. 55. Fasc. 4. 1937.
196. *Hartman G.* Photios' Literarästhatik. Leipzig, 1929.
197. *Howes R.* Historical Studies of Rhetoric and Rhetoricians. Ithaca, 1961.
198. *Hunger H.* Aspekte der griechischen Rhetorik von Gorgias bis zum Untergang von Byzanz//Österreichische Akad. der Wissenschaft, phil.-hist. Kl. Sitzungsber. Bd. 277. 1972.
199. *Hunger H.* Die Schönheitskonkurrenz im Belthrandros und Chrysantze und die Brautschau am byzantinischen Kaiserhof//Byz. T. 25. 1965.
200. *Hunger H.* On the Imitation of the Antiquity in Byzantine Literature//DOP. Vol. 23/24. 1970.
201. *Hussey J.* The Byzantine Empire in the Eleventh Century//Transaction of the R. Historical Society. Vol. 32. 1950.
202. *Hussey J.* The Canons of John Mauropus//The Journal of Roman Studies. Vol. 37. 1947.
203. *Hussey J.* Church and Learning in the Byzantine Empire 867-1185. London, 1937.
204. *Hussey J.* Michel Psellus, the Byzantine Historian//Speculum. Vol. X. 1935.
205. *Ivanka V.* [Рец. на кн.:] Joannou P. Christliche Metaphysik in Byzanz//BZ. Bd. 51. 1958.
206. *Jahn A.* Michael Psellos über Platons Phaidros//Hermes. Bd. 1899.
207. *Jantin R.* Constantinople byzantine. Paris, 1950.
208. *Jax K.* Die weibliche Schönheit in der griechischen Dichtung. Innsbruck, 1933.
209. *Jenkins R. J. H.* The Classical Background of the Scriptorum post Theophanem//DOP. Vol. 9. 1954.

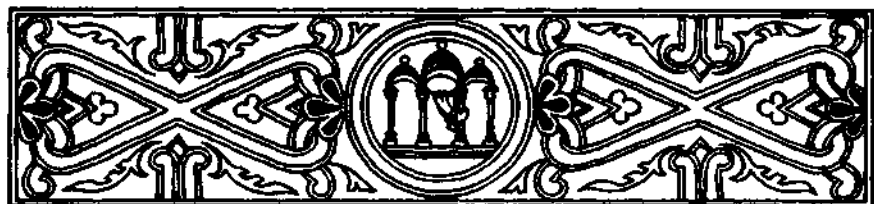
210. *Jenkins R. J. H., Laourdas B., Mango C. A.* Nine Orations from Marc. gr., 524//BZ. Bd. 47. 1954.
211. *Joannou P.* Aus den unedierten Schriften des Psellos. Das Lehrgedicht zum Messopfer und der Traktat gegen die Vorbestimmung der Todesstunde//BZ. Bd. 51. 1958.
212. *Joannou P.* Christliche Metaphysik in Byzanz, I Die Illuminationslehre des Michael Psellos und Johannes Italos. Ettal, 1950.
213. *Joannou P.* Les Croyances démonologique au XI^e siècle à Byzance//Actes du VI^e Congrès International d'Études Byzantines. T. I. Paris, 1950.
214. *Joannou P.* Psellos et le Monastère Tū Nαρσοῦ//BZ. Bd. 44. 1951.
215. *Jorga N.* Médaillons d'histoire littéraire byzantine//Byz. T. 2. 1925.
216. *Jugie M.* Dictionnaire théologique catholique. Vol. 13. Paris, 1936.
217. *Karahalios G.* The Philosophical Trilogy of Michael Psellos. God — Cosmos — Man, diss. Heidelberg, 1970.
218. *Karlsson G.* Idéologie et cérémonial dans l'épistolographie byzantine. Uppsala, 1962.
219. *Kazdan A., Ljubarskij Ja.* Basile Malésés encore une fois//BS. T. 34. № 2. 1973.
220. *Kirn P.* Das Bild des Menschen in der Geschichteschreibung von Polybios bis Ranke, Göttingen, 1955.
221. *Koillas G.* Ο κύριος Ἰωάννης Δούκας ἀντιγραφεὺς τοῦ. Cod. Par. 2009//EEBS. T. 14. 1938.
222. *Körte A.* Χαράκτηρ//Hermes. Bd. 64. 1929.
223. *Koskeniemi H.* Studien zur Idee und Phraseologie des griechischen Briefes bis 400 n. chr. Helsinki, 1956.
224. *Koukoules Ph.* Βυζαντινῶν βίος καὶ πολιτισμὸς. Vol. V. Αθήναι, 1952.
225. *Kremer E.* Über das rhetorische System des Dionys von Halikarnass. Strassburg, 1907.
226. *Kriaras E.* Ὁ Μιχαὴλ Ψελλός//Byzantina. T. 4. 1972.
227. *Krumbacher K.* Geschichte der byzantinischen Literatur. 2. Aufl. München, 1897.
228. *Kurtz E.* Ist Psellos so schwer zu übersetzen?//BB. T. 13. 1906.
229. *Kurtz E.* [Ред. на κн.:] Sathas C. The History of Psellos//BZ. Bd. 9. 1900.
230. *Kustas G.* The Function and Evolution of the Byzantine Rhetoric//Viator. Vol. 1. 1970.
231. *Kustas G.* The Literary Criticism of Photios. A Christian Definition of Style//Ελληνικά. T. 17. 1962.
232. *Kutsogianopoulos D. I.* Ἡ θεολογικὴ σκέψις τοῦ Μιχαὴλ Ψελλοῦ//EEBS. T. 34. 1965.
233. *Lampe G. W. H.* A Patristic Greek Lexicon. Oxford, 1968.
234. *Laurent V.* Le Corpus des sceaux de L'Empire byzantin. T. 5. Paris, 1965.
235. *Leib B.* Jean Doukas, césar et moine//AB. T. 68. 1950.
236. *Lemerle P.* Le premier humanisme byzantine. Paris, 1971.
237. *Leo F.* Die griechisch-römische Biographie nach ihrer literarischen Form. Leipzig, 1901.
238. *Leroy-Molinghen A.* A propos d'un jugement rendu contre Psellos//Byz. T. 40. 1970.
239. *Leroy-Molinghen A.* La descendance adoptive de Psellos//Byz. T. 39. 1969.

240. *Leroy-Molinghen A.* Styliane//Byz. T. 39. 1969.
241. *Leroy-Molinghen A., Karlin-Hayter P.* A Basileopator's Descendant//Byz. T. 38. 1968.
242. *Levy P. Michelis Pselli de Gregorii Theologi caractere iudicium.* Leipzig, 1912.
243. *Liddle H., Scott R.* A Greek-English Lexicon. Oxford, 1968.
244. *Maas P.* [Ρεϋ. ηα κη.:] Michaelis Pselli scripta minora//BZ. Bd. 37, 1987.
245. *Maas P.* Psellos und Theopompos//Byzantinisch-neugriechische Jahrbücher. Bd. 13. 1936/37.
246. *Mädler H.* Theodora, Michael Stratiotikos, Isaak Komnenos. Progr. Plauen, 1884.
247. *Mathew G.* Byzantine Aesthetics. New York, 1963.
248. *Mentz A.* Beiträge zur Osterfestberechnung bei den Byzantinern. Königsberg, 1906.
249. *Méredier L.* Influence de la seconde sophistique sur l'oeuvre de Grégoire de Nysse. Paris, 1906.
250. *Michel A.* Schisma and Kaiserhof im Jahre 1054. Michael Psellos, 1054-1954. «L'église et les églises». Chevetogne, 1954.
251. *Miller E.* [Ρεϋ. ηα κη.:] Bibliotheca graeca medii aevi. Vol. IV, V//Journal des Savants. 1875.
252. *Mitsch G.* Geschichte der Autobiographie. Bd. 3(2). Frankfurt, 1963.
253. *Moravcsik Gy.* Byzantinoturcica. 1, 2. Aufl. Berlin, 1958.
254. *Müller K.* Epistolografie Michaela Psella//Listy Filologicke. 1909. № 36.
255. *Nasturel P. S.* [Ρεϋ. ηα κη.:] Garzya A. On Michael Psellos' Admission of Faith//RESE. T. 6. 1968.
256. *Neumann C.* [Ρεϋ. ηα κη.:] Ioannis Euchaitorum metropolitae, quae in codice vaticano graeco supersunt//Theologische Litteraturzeitung. 1886. № 24, 25.
257. *Neumann C.* Die Weltstellung des byzantinischen Reiches vör den Kreuzzügen. Leipzig, 1894.
258. *Norden E.* Die antike Kunstprosa. Bd. I-II. Leipzig, 1898.
259. *Oikonomidés N.* Un décret synodal inédit de Patriarche Jean VIII Xiphilin//REB. XVIII. 1960.
260. *Oikonomidés N.* Le serment des l'impératrice Eudocia//REB. XXI. 1963.
261. *Orth E.* Photiana. Rhetorische Forschungen. Leipzig, 1928.
262. *Orth E.* Die Stilkritik des Photios. Leipzig, 1929.
263. *Ostrogorsky G.* Geschichte des byzantinischen Staates. 3 Aufl. München, 1963.
264. *Papadopoulos-Kerameus A.* Γρηγόριος ό θεόλογος κρινόμενος υπό Μιχαήλ τοϋ Ψελλοϋ//ЖМНП. Нов. сер. Ч. 25.
265. *Papadopoulos-Kerameus A.* Eiz Kωνσταντινον Ψέλλον//BZ. Bd. 15. 1906.
266. *Papaueangelou P.* Μιχαήλ Ψελλοϋ περι δαιμόνων//Γρηγόριος ό Παλαμιάς. 1958. T. 41.
267. *Parasoglu G. M.* A new ms of Psellos «On the Titles of the Psalms»//Ελληνικά. T. 25. 1972.
268. *Payr Th.* Enkomion//Reallexicon für Antike und Christentum. Bd. V. 1960.
269. *Des Places* [Ed]. Le renouveau platonicien du XI^e siècle: Michel Psellos

- et les oracles chaldaïques//Académie des inscriptions et belles-lettres, Comptes-rendus. 1966, avril—juin.
270. *Polemis D. J.* The Doukai. A Contribution to Byzantine Prosopography. London, 1968.
271. *Polemis D. J.* Notes on the Eleventh-Century Chronology//BZ. Bd. 58. 1965.
272. *Praechter K.* Michael von Ephesos und Psellos//BZ. Bd. 31. 1931.
273. *Preisigke F.* Wörterbuch der griechischen Papyrusurkunden. Bd. I—IV [6. м.]. 1925—1966.
274. *Previale L.* Teoria e prasi del panegirico bizantino//Emerita. T. 17. 1949.
275. *Rambaud A.* Michel Psellos, philosophe et homme d'état byzantine au XI^e siècle//В кн.: Rambaud A. Étude sur l'histoire byzantine. Paris, 1912.
276. *Redl G.* Untersuchungen zur technischen Chronologie des Michael Psellos//BZ. Bd. 29. 1929/30.
277. *Renauld E.* Étude de la langue et du style de Michel Psellos. Paris, 1920.
278. *Rhodus B.* Beiträge zur Lebensgeschichte und zu den Briefen des Psellos, Progr. Plauen, 1892.
279. *Richter L.* Des Psellos vollständiger kurzer Inbegriff der Musik in Mizlers «Bibliothek»//Beiträge zur Musikwissenschaft. 1967. № 9.
280. *Rochow I.* Studien zu der Person, den Werken und dem Nachleben der Dichterin Kassia. Berlin, 1967.
281. *Rohde E.* Der griechische Roman und seine Vorläufer. Berlin, 1960.
282. *Ruelle Ch. E.* Rapport sur une mission littéraire et philologique en Espagne//Archives des missions scientifiques et littéraires. III^e série. T. 2. Paris, 1875.
283. *Scaglione A.* The Classical Theory of Composition. Chapel Hill, 1972.
284. *Schissel O.* Digenis Akrites und Achilleus Tatius//Neophilologus. Jahrg. 27. 1942.
285. *Schissel O.* Die Ethopoïe der Zoe bei Michael Psellos//BZ. Bd. 27. 1927.
286. *Schissel O.* Das weibliche Schönheitsideal im griechischen Romane//Zeitschrift für Ästhetik und allgemeine Kunstwissenschaft. Bd. 2. 1907.
287. *Schlumberger G.* L'Épopée byzantine. Vol. III. Paris, 1905.
288. *Schutz A.* Quid de perfecta corporis pulchritudine Germani XII et XIII saec. senserint. Bratisl., 1866.
289. *Seger H.* [Ред. на кн.:] Rhodus B. Beiträge zur Lebensgeschichte und zu den Briefen des Psellos//BZ. Bd. 2. 1893.
290. *Sonny A.* Das Todesjahr des Psellos und die Abfassungszeit der Dioptra//BZ. Bd. 3. 1894.
291. *Steidle A.* Sueton und die antike Biographie. München, 1951.
292. *Sternbach L.* De Ioanne Pselio//Eos. Vol. 9. 1903.
293. *Sternbach L.* Ein Schmähdgedicht des Michael Psellos//Wiener Studien. Bd. 25. 1903.
294. *Straub J.* Vom Herrscherideal in der Spätantike. Stuttgart, 1939.
295. *Struthers L. B.* The Rhetorical Structure of Encomia of Claudius Claudian//Harv. Stud. of Clas. Philol. Vol. 30. 1919.
296. *Svoboda K.* La démonologie de Michel Psellos. Brno, 1927.
297. *Svoboda K.* Quelques observations sur la méthode historique de Michel Psellos//Сборник в память на проф. Петр Ников. София, 1940.

298. *Svoronos N.* Société et organisation intérieure dans l'Empire Byzantin au XI^e siècle: les principaux problèmes. London, 1973.
299. *Sykutris J.* [Ρεφ. να κη.:] M. Psellos. Chronographie ou histoire d'un siècle de Byzance//BZ. Bd. 27. 1927. Bd. 29. 1929.
300. *Sykutris J.* Προβλήματα της Βυζαντινής έπιστολογραφίας//B κη.: N. Tomadakis. Βυζαντινή έπιστολογραφία.
301. *Sykutris J.* Zum Geschichtswerk des Psellos//BZ. Bd. 30. 1929/30.
302. *Tatakis B.* La philosophie byzantine. Paris, 1949.
303. *Tatakis B.* Ο Ψελλός και έλληνική φιλοσοφία//Χριστιανικό συμπόσιο. T. 5. 1971.
304. *Thimme O.* Φύσις, τρόπος, ήθος. diss. Quakenbrück, 1935.
305. *Thraede K.* Grundzüge griechisch-römischer Brieftopik. München, 1970.
306. *Tinnefeld F.* [Ρεφ. να κη.:] Gadolin A. A Theory of History and Society//BS. T. 34. № 1. 1973.
307. *Tinnefeld F.* «Freundschaft» in den Briefen des Michael Psellos//JÖB 22. 1973.
308. *Tinnefeld F.* Kategorien der Kaiserkritik in der byzantinischen Historiographie von Prokop bis Niketas Choniates. München, 1971.
309. *Tomadakis N. B.* Βυζαντινή έπιστολογραφία. Αθήναι, 1969.
310. *Turner G.* Pages from Late Byzantine Philosophy of History//BZ. Bd. 57. 1964.
311. *Weiss G.* [Ρεφ. να κη.:] Gadolin A. A Theory of History and Society//BZ. Bd. 66. 1972.
312. *Weiss G.* Forschungen zu den noch nicht edierten Schriften des Michael Psellos//Byzantina. T. 4. 1972.
313. *Weiss G.* Oströmische Beamte im Spiegel der Schriften des Michael Psellos. München, 1973.
314. *Weizsäcker A.* Untersuchungen über Plutarchs biographische Technik. Berlin, 1931.
315. *Westerink L. G.* Exzerpte aus Prokops Enneadenkommentar bei Psellos//BZ. Bd. 52. 1959.
316. *Westerink L. G.* Proclus, Procopius, Psellus//Mnemosyne. 1942. № 10.
317. *Winkelmann F.* Geschichtsschreibung in Byzanz//Wissenschaftliche Zeitschrift d. Universität Rostock. Bd. 18. Gesellschafts- und Sprachwissenschaft. Reihe. T. 2. Hf. 4/5.
318. *Wolfson H. A.* The Philosophy of Church Fathers. Vol. I. Cambridge, 1964.
- 318a. *Wolska-Conus W.* Les écoles de Psellos et de Xiphilin//TM. T. 6. 1976.
319. *Zervos Ch.* Un Philosophe néoplatonicien du XI^e siècle Michel Psellos. Paris, 1920.





БИБЛИОГРАФИЯ (дополнительная)

ИЗДАНИЯ И ПЕРЕВОДЫ ИСТОЧНИКОВ

- Зайцев А., Любарский Я.** 1978: Два письма Михаила Пселла // *BS* 39. 1.
Пселл Михаил, 1998: *Богословские сочинения* // Пер. с греческого предисл. и примеч. архим. Амвросия (Погодина). СПб.
- Agati M.**, 1980: Tre epistole di Michele Psello // *SG*. 33.
- Dyck A.** (ed.), 1986: Michael Psellus. *The Essays on Euripides and George of Pisidia and on Heliodorus and Achilles Tatius*. Wien.
- Gautier P.**, 1977: Michel Psellos et la rhétorique de Longin // *Prometheus* 3.
- Gautier P.**, 1978: Monodies inédites de Michel Psellos // *REB* 36.
- Gautier P.**, 1980: *Basilikoi logoi inédits* de Michel Psellos // *Quaderni del SG* VIII. SFB.
- Gautier P.**, 1986: Quelques lettres de Psellos inédites ou déjà éditées // *REB*, 44.
- Gautier P.**, 1991: Un discours inédit de Michel Psellos sur la crucifixion // *REB* 49.
- Gemmiti D.**, 1984: Omelia di Psello sull' Annunziatazione // *Studi e ricerche sull' oriente cristiano* 7, 2. Roma.
- Karpozilos A.** 1980: Δύο ἀνέκδοτες ἐπιστολές τοῦ Μιχαὴλ Ψελλοῦ // *Dodone* 9.
- Maltese E.**, 1987: Epistole inédite di Michele Psello. 1 // *SIFC* III S. 6.
- Maltese E.**, 1988: Epistole inédite di Michele Psello III // *SIFC* III S. 3. Vol. 6, 1.
- Michaelis Pselli** 1990: *Historia syntomos: Editio princeps*, ed. and transl. J. Aerts//CFHB Vol. 30. Berlin.
- Psello Michele**, 1980: Autobiografia. Encomio per la madre. Introduzione e commentario a cura di U. Crisculo. Napoli.
- Psello Michele**, 1983: Orazione in memoria di Constantino Lichudi, a cura di U. Crisculo. Messina.
- Psello Michele**, 1984: *Imperatori di Bisanzio (Cronografia)*. Introduzione di D. Del Corno, testo critico a cura di S. Impellizzeri, commento di U. Crisculo, traduzione di S. Ronchey, I-II.
- Psellus Michael**, 1985: *Oratoria minora*, ed. A. R. Littlewood. Leipzig.
- Psellus Michael**, 1989: *Theologica*. Vol. 1. Ed. P. Gautier. Leipzig.

- Pselius Michael*, 1989-2: *Philosophica minora*. Vol. 2. Ed. D. J. O'Meara. Leipzig.
- Pselius Michael*, 1992: *Philosophica minora*. Vol. 1. Ed. J. M. Duffy. Stuttgart, Leipzig.
- Pselius Michael*, 1992-2: *Poemata*, rec. L. G. Westerink. Stuttgart, Leipzig.
- Pselius Michael*, 1994: *Orationes panegyricae*, ed. G. T. Dennis. Stuttgart, Leipzig.
- Pselius Michael*, 1994-2: *Orationes forenses et acta*. Ed. G. T. Dennis. Stuttgart, Leipzig.
- Pselius Michael*, 1994-3: *Orationes hagiographicae*. Ed. E. A. Fisher. Stuttgart; Leipzig.
- K. Snipes*, 1981. A Letter of Michael Psellos to Constantine the Neviw of Michael Cerullarios // *GRBS*. 22.
- M. Spadaro*, 1975: *Le monodie Eic tñv 'Ayiaç Çoφiaç ouμktociv attributa a Psello* // *SG*. 28.

ЛИТЕРАТУРА

- С. С. Аверинцев*, 1986: Византийская риторика, Школьная норма литературного творчества в составе византийской культуры // Проблемы литературной теории в Византии и латинском средневековье. Отв. ред. М. Л. Гаспаров. М.
- С. С. Аверинцев*, 1996: Риторика и истоки европейской литературной традиции. М.
- Культура Византии. Вторая половина VII—XII в. М., 1989.
- Я. Любарский*, 1988: Проблема эволюции византийской историографии в системе культуры // Литература и искусство. М.
- Я. Любарский*, 1992: Михаил Пселл и Михаил Атталиат // Византия и средневековый Крым // АДСВ. 26.
- Я. Любарский*, 1994: «Краткая история» Михаила Пселла: существует ли проблема авторства? // ВВ. 55 (80).
- Я. Любарский*, 1997: Михаил Пселл в «Bibliotheca Teubneriana» // ВВ. 57 (82).
- Я. Любарский*, 1999: Византийские историки и писатели. СПб.
- W. J. Aerts*, 1980/81: Un témoin inconnu de la Chronographia de Psellos // BS. 41.
- M. L. Agati*, 1991: Michele VII Parapinace e la Cronografia di Psellos // Bolletino della Badia Greca di Grottaferrata. N. s. 45.
- U. Albini*, 1984: Chrósa a Psello // SIFC III. S. 2.
- U. Albini*, 1985: Andronico Duca, maestro nel disegno? // SIFC III. S. 3.
- U. Albini*, 1988: L'impazienza di Constantino IX Monomacho // SIFC III. S. 6.
- U. Albini*, 1989: Artifici del diplomatico Psello // SIFC III. S. 7.
- R. Anastasi*, 1975: Sugli scritti giuridici di Psello // SG 28.
- R. Anastasi*, 1976: Sulla tradizione manoscritta delle opere di Psello // Quaderni del SG II, SFB 2.
- R. Anastasi*, 1978: Sulla Cronografia di Psello // SG 31.2.
- R. Anastasi*, 1978-2: Sui carisitici di Psello // SG 31, 2.
- R. Anastasi*, 1988: Michele Psello al metropolita di Euchaita (Epist. 34. P. 53-56. K.-D.) // SFB 4.

- Ch. Angelidi*, 1998: Μιχαήλ Ψελλός: ἡ ματιά του φιλοτέχνου // Σύμμεικτα, 12.
- M. Angold*, 1984: *The Byzantine Empire 1025-1204. A Political History*. New York.
- R. Browning, A. Cutler*, 1922: *In the Margins of Byzantium? Some Icons in Michael Psellos* // BMGS 16.
- P. Carelos*, 1991: *Die Autoren der zweiten Sophistik und die Chronographia des Michael Psellos* // JÖB 41.
- Ch. Chamberlain*, 1986: *The Theory and Practice of the Imperial Panegyric in Michael Psellus. The Tension between History and Rhetoric* // Byz. 56.
- L. Cresci*, 1987: *Note esegetiche a Michele Psello e Michele Attaliato* // *Civiltà class e crisc.* 8.
- U. Crisculo*, 1981: *Tardoantico e umanesimo Bizantino: Michele Psello* // *Κουβάνια*, 5.
- U. Crisculo*, 1982: *Pselliana* // SIFC n. s. 54, 1-2.
- U. Crisculo*, 1982-2: *Osservazioni sugli scritti retorici di Michele Psello* // JÖB 32/3.
- D. Dakouras*, 1977: *Michael Psellos' Kritik an den alten Griechen und den griechischen Kult* // *Theologia*, 48.
- D. Dakouras*, 1978: *Die Rehabilitation der griechischen Studien im XI Jahrhundert und Michael Psellos* // *Theologia*, 49.
- G. Dennis*, 1988: *The Byzantines as Revealed in their Letters* // *Gonimos. Neoplatonic and Byzantine Studies Presented to Leenert G. Westerink at 75*. Buffalo, New York.
- G. Dennis*, 1994: *A Rhetorical Practices Law: Michael Psellos* // *Law and Society in Byzantium 9-12 Centuries*, Dumbarton Oaks.
- J.-L. van Dieten*, 1985: *Textkritisches zu Psellos: Chronographie II*. 167. 16 ff. Renauld // *Byzantina*, 13.
- A. Dyck*, 1983: *On Michael Psellos' Composition of Euripides and George of Pisidia* // *Ninth Annual Byzantine Studies Conference. Abstracts of Papers*.
- A. Dyck*, 1994: *Psellus tragicus: Observations on Chronographia 5.2 ff.* // *Presence of Byzantium. Studies Presented to Milton V. Anastos in Honor of his Eighty-Fifth Birthday*. Amsterdam.
- O. Jurewicz*, 1984: *Die «Chronographie» des Psellos als Quelle zur byzantinischen Kultur im Ausgang des 10. Jh.* // *Eos*, 72.
- E. Fischer*, 1993: *Michael Psellos on the Rhetoric and the Life of St. Auxentios* // BMGS 17.
- E. Fischer*, 1994: *Ekphrasis in Michael Psellos «Sermon on Crucification»* // BS 55.
- D. Gemitti*, 1983: *Aspetti del pensiero religioso di Michele Psello con presentazione di C. Capizzi* // *Studi e ricerche sull'Oriente cristiano*, VI, 2. Roma.
- H. Hunger*, 1978: *Die hochsprachliche profane Literatur der Byzantiner*, I-II. München.
- H. Hunger*, 1984: *Die Antithese* // ZPBW 23.
- E&M Jeffreys*, 1990: *Language of Malalas, 3: Portraits* // *Studies in John Malalas*. Ed. by E. Jeffreys with B. Croke and R. Scott. Sydney.
- A. Kaldellis*, 1999: *The Argument of Psellus' «Chronographia»*. Leiden—Boston—Köln.
- A. Kambylis*, 1994: *Michael Psellos' Schrift über Euripides und Pisides. Probleme der Textrekonstruktion* // JÖB 44.
- A. Karpozilos*, 1982: *Συμβολή στη μελέτη του βίου και του έργου του Ἰωάννη Μαυρόποδος*. Ioannina.

- A. Karpozilos, 1988: *Varia philologica* // JÖB 38.
- A. Karpozilos, 1994: *The Biography of Ioannes Mauropous again* // Ἑλληνικά, 44.
- A. P. Kazhdan and A. W. Epstein, 1995: *Change in Byzantine Culture in the Eleventh and Tenth Centuries*. Berkeley and Los Angeles.
- A. Kazhdan, 1983: *Hagiographical Notes* // Byz. 53.
- A. Kazhdan, 1993: *Some Problems in the Biography of John Mauropous* // JÖB 43.
- A. Kazhdan, 1993-2: *Authors and Texts in Byzantium*. VR.
- G. Kennedy, 1980: *Classical Rhetoric and its Christian and Secular Tradition from Ancient to Modern Times*. Chapel Hill.
- M. Kokoszko, 1998: *Description of Personal Appearance in John Malalas' Chronicle*. Łódź.
- M. J. Kyriakis, 1976-1977: *Medieval European Society as Seen in Two Eleventh-Century Texts of Michael Psellos* // *Byzantine Studies/Études Byzantines* 3, 2; 4, 1; 4, 2.
- J. Lefort, 1976: *Rhétorique et politique: trois discours de Jean Mauropous en 1047* // TM 6.
- P. Lemerle, 1977: *Le gouvernement des philosophes, l'enseignement, les écoles, la culture* // Idem. *Cinq études sur le XI siècle byzantin*. Paris.
- P. Lemerle, 1977-2: *Byzance au tournant de son destin* // Idem. *Cinq études sur le XI siècle byzantin*. Paris.
- St. Linnér, 1981: *Literary Echoes in Psellos' Chronographia* // Byz. 51.
- A. Littlewood, 1976: *An Icon of the Soul: the Byzantine Letter* // *Visible Language*.
- A. Littlewood, 1981: *The Midwifery of Michael Psellos: an Example of Byzantine Literary Originality* // *Byzantine and the Classical Tradition*.
- J. Ljubarskij, 1991: *Writers' Intrusion in Early Byzantine Literature* // 18th Int. Byz. Congress. Major Papers. M.
- J. Ljubarskij, 1992: *The Fall of an Intellectual. The Intellectual and Moral Atmosphere in Eleventh-Century Byzantium* // *Byzantine Studies. Essays on the Slavic World and the Eleventh Century*. Ed. by Speros Vryonis.
- J. Ljubarskij, 1992-2: *Man in Byzantine Historiography* // DOP 46.
- J. Ljubarskij, 1993: *Some Notes on the Newly Discovered Historical Work by Psellos* // ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ, *Studies in Honor of Speros Vryonis*. V. 1. New Rochelle—New York.
- J. Ljubarskij, 1995: *Miguel Atalíates y Miguel Pselo (Ensayo de una breve comparación)* // *Erytheia*, 16.
- J. Ljubarskij, 1998: *Quellenforschung or/and Literary Criticism. Narrative Structures in Byzantine Historical Writings* // *Symbolae Osloenses*, 73.
- R. Macrides s. d.: *The Historians in the History* // ΦΙΛΕΛΛΗΝ, *Studies in Honour of Robert Browning*. Ed. by C. Constantinides, N. Panagiotakes, E. Jeffreys, A. Angelou. Venice.
- E. Maltese, 1992: *Michele Psello commentatore di Nazianzo: note per una lettura dei Theologica* // *Gregorio Nazianzeno e scrittore*, a cura di C. Morechini, G. Monestina. Bologna.
- E. Maltese, 1993: *I theologica di Psello e la cultura filosofica a Bisanzio fra XI e XII secolo* // *Storia e tradizione culturale a Bisanzio fra XI e XII secolo*. Atti della prima giornata di studi bizantini [ITALOELLINIKA, quaderni 3]. Napoli.
- Ć. Milovanović, 1979: *Mihajlo Psel kao književni teoreticar*, diss. Belgrade.
- Ć. Milovanović, 1984: *Psel i Grigorije, Nona i Teodota* // ЗРВИ 23.

P. Moore, 1985: *The Works of Michael Psellus, their Manuscripts and Bibliography* // Eleventh Annual Byzantine Studies Conference. Abstracts of Papers. Toronto.

M. Mullet, 1992: *The Madness of Genre* // DOP 46.

C. G. Nearchos, 1981: *The 11th-Century Philosophical Revival* // *Byzantium and the Classical Tradition*. Birmingham.

C. G. Nearchos, 1982: *John Patricios: Michael Psellos in Praise of his Student and Friend* // *Byzantina*, 11.

The Oxford Dictionary of Byzantium. 1-3 (1991).

E. Papaioannou, 1998: *Das Briefcorpus des Michael Psellos. Mit einem Anhang: Edition eines unbekanntes Briefes* // JÖB 48.

N. Radosević, 1998: *Писма владарима Јована Мавропода и Михаила Псела. Из византијске епистографије XI века* // ЗРВИ 37.

S. Ronchey, 1985: *Indagini ermeneutiche e critico-testuali sulla «Cronografia» di Psello* // Istituto storico italiano per il medio evo. Studi storici. Fasc. 152. Roma.

S. Ronchey, 1988: *Ancora sulla «Cronografia» di Psello* // *Bullettino dell'Istituto Storico per il medio evo e Archivio Muratoriano*, 94.

J. Schamp, 1997: *Michel Psellos à la fin du XX-e siècle: état des éditions* // *L'Antiquité classique*, 66.

A. Schmink, 2001: *Zum Todesjahr des Michael Psellos* // BZ 94.

A. Sideras, 1981: *Die Zugehörigkeit eines umstrittenen Monodiefragments von Psellos und sein unbekannter Adressat* // BZ 74.

A. Sideras, 1994: *Die byzantinischen Grabreden. Prosopographie, Datierung, Überlieferung. 142 Epitaphien und Monodien aus dem byzantinischen Jahrtausend* // *Wiener byzantinische Studien*, 19.

K. Snipes. *The Chronographia of Michael Psellos: the «Lost» Translation of Combeffis and the Apographon Hase* // *Syndesmos*, 2.

K. Snipes, 1989: *The Chronographia of Michael Psellos and the Textual Tradition and Transmission of the Eleventh and Twelfth Centuries* // ЗРВИ 27/28.

K. Snipes, 1991: *Notes on Parisinus graecus 1712* // JÖB 41.

K. Snipes, 1991-2: *Is the «Historia Syntomos» a Genuine Work of Michael Psellos?* // *Seventeenth Annual Byzantine Conference*. November, 8-10. Brookline (Mass).

M. Spadaro, 1975: *Note su Sclerena* // SG 28, 2.

M. Spadaro, 1977/78: *Un inedito di Psello dal cod. Paris. gr. 1182* // *Ελληνικά*, 30, 1.

F. Tinnefeld, 1989: *Michael I Kerullarios. Patriarch von Konstantinopel* // JÖB 39.

Eva de Vries-van der Velden, 1996: *Psellos et son gendre* // BF 23.

Eva de Vries-van der Velden, 1996-2: *La lune de Psellos* // BS 57.

Eva de Vries-van der Velden, 1997: *Psellos, Romain IV Diogénès et Mantzikert* // BS 68.

Eva de Vries-van der Velden, 1997-2: *«Bezielde Schilderkunst». Michael Psellos (1018-ca. 1080/90) en de religieuzte Kunst van zijntijd* // *Het Christelijk Oosten*, 49.

G. Vergari, 1987: *Michele Psello e la tipologia femminile cristiana* // SG 40.

G. Vergari, 1987-2: *Per una reedizione dell' «Epitafio per la madre» di Michele Psello* // *Orpheus VIII*, 2.

G. Vergari. *Macro- e micro-Ipotesi in un'Orazione di Michele Psello* // BF 15.

G. Weiss, 1977: *Die Leichenrede des Michael Psellos auf den Abt Nikolaos von Kloster der schönen Quelle* // *Byz.* 9.



ТИТУЛЫ И ДОЛЖНОСТИ

Актuariй — высокое должностное лицо (обычно евнух) ведомства императорских покоев, придворный врач.

Асикрит — чиновник императорской канцелярии или одного из приказов (секретов).

Великий друнгарий — великим друнгарием стал именоваться при Михаиле VII (1071–1078) друнгарий виглы (см. *Друнгарий виглы*).

Великий эконо — эконо храма Св. Софии — одна из высших должностей церковной иерархии.

Вест — почетный титул (следующий за вестархом) придворной иерархии XI в.

Вестарх — почетный титул придворной иерархии. Как и титул веста, давался лицам, приближенным к императору.

Доместик схол — в XI веке высший военачальник.

Друнгарий виглы — чиновник, обладавший полицейской властью, ведавший охраной императорского дворца. В XI в. исполнял также судебные функции по делам, касавшимся безопасности императора.

Ипат — высокий титул (греческий эквивалент римского «консул»), потерявший свое значение еще в ранневизантийскую эпоху. В XI в. вновь приобретает значение.

Ипат философ — глава философской школы в Константинополе.

Иперсеваст — один из высших византийских титулов.

Ипертим — высокий титул, чаще всего дававшийся лицам духовного звания.

Кесарь — в Византии до конца XI в. высший светский титул после императорского. Часто жаловался предполагаемым наследникам престола.

Куропалат — один из первых по значению титулов в византийской иерархии, обычно жаловался ближайшим родственникам императора и высокопоставленным иностранцам.

Ливелисий — чиновник, ведавший составлением царских грамот, в его функции входило также рассмотрение апелляций на судебные решения.

Логофет вод — чиновник такого наименования только однажды упоминается в источниках (у Михаила Атталната). Функции неясны.

Логофет геникона — начальник казначейства.

Логофет дрома — начальник приказа внешних сношений и государственной почты.

Магистр — один из высших (следующий за проэдром) титулов в византийской табели о рангах XI в.

«*Министр по делам прошений* — чиновник, в функции которого входил прием и разбор прошений на императорское имя.

«*Министр юстиции* — начальник главного судебного ведомства в Константинополе; должность учреждена в середине XI в.

Номофилак — глава юридической школы в Константинополе, обладал контрольными функциями над деятельностью судебных учреждений.

Нотарий — служащий канцелярии, различных ведомств в столице и провинциях.

Остиарий — титул, обычно предоставлявшийся евнухам; его носители ведали церемониями приема должностных лиц в Большом дворце.

Паракимомен — евнух — верховный спальничий.

Патрикий — титул в византийской табели о рангах.

Протасикрит — начальник императорской канцелярии.

Протовестиярий — придворная должность, обычно занимавшаяся евнухами; в XI в. — главный церемониймейстер двора.

Протонотарий — главный нотариус в различных столичных и провинциальных ведомствах.

Протопродр — почетный титул (следующий за куропалатом) византийской иерархии.

Протосинкел — титул, жаловавшийся духовным лицам, в XI в. постепенно вытесняет титул синкела (см. *Синкел*).

Продр — следующий за протопродром титул в византийской иерархии.

Референдарий — высокий чин церковной иерархии; одной из функций референдария было поддержание контактов между патриархом и императором.

Сакеларий — в XI в. должностное лицо, осуществлявшее контроль над чиновниками финансовых ведомств.

Севаст — первоначально эпитет императоров (греческий эквивалент римского «август»), в конце XI в. — почетный титул, присваивавшийся членам императорской семьи и высшей знати.

Севастофор — почетный титул, чаще всего жаловавшийся евнухам.

Синкел — титул, чаще всего жаловавшийся высшей духовной знати столицы и провинций; его обладатели входили в состав синклита.

Управляющий императорским имуществом — начальник приказа, ведавшего императорскими доменами.

Харистикарий — лицо, получившее в пользование монастырь на срок жизни (или на срок трех поколений).

Хартофилак — крупный чиновник патриаршей канцелярии, ведавший архивами.

Хранитель императорской чернильницы — чиновник, ведавший царской чернильницей со специальными пурпурными чернилами; отвечал за оформление царских грамот.





УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН

- Аверинцев С. С. 348, 377, 384
Август, римск. имп. 460, 461
Авксентий, св. 189, 347, 488, 495
Агафий, визант. историк 417
Адам, библ. 431
Адриан, римский имп. 461
Адриан, ритор 353
Александр Македонский (сын Филиппа) 279, 461
Алексей I Комнин, имп. 228, 229, 230, 492, 507
Алипий, патрикий 418
Алкэн Ф. 214
Алоп, судья 224
Алляция Л. 191
Анастаси Р. 194, 196, 202, 221, 244, 343, 345, 377, 387, 397, 400, 411, 416, 457, 507, 509
Анастасий, судья Элады и Пелопоннеса 321, 369, 511
Ангелиди Х. 496
Анголд М. 205
Андрей Болконский 469
Андроник Дука, сын Константина X Дуки 228, 229, 507
Андроник Дука, сын кесаря Иоанна Дуки 274
Анна Комнина, визант. историк 226, 227, 268, 328, 411, 471, 475, 480, 512
Арвейлер Э. 492
Аргирь, визант. род 222
Арей, мифол. 393
Арефа Кесарийский, визант. автор 349, 363, 377, 380
Аристид 270, 366
Арстин, протасикрит 261, 264, 265, 368, 512
Аристотель 197Ю, 203, 204, 255, 279, 328, 363, 366, 367, 369, 439
Артемид, мифол. 482
Артс В. 404, 406, 407, 471
Атталнат, см. Михаил Атталнат
Афродита, мифол. 482
Афтоний, ритор 362, 380, 381, 383
Ахилл Татий 350, 351, 352, 364, 368, 475, 476, 516
Аякс Теламонид, мифол. 284

- Барджес Т. 380
Бахман М. 383
Везобразов П. В. 191, 192, 193, 196, 199, 200, 206, 213, 217, 225, 249, 251, 287, 342, 503
Век Х.-Г. 227, 255, 342, 376, 390, 415, 417
Венакис Л. 203, 211, 439
Бенешевич В. Н. 404
Верген К. 444
Берта, первая жена Романа II 378
Виде Ж. 200, 203
Волдун С. 367
Вонис К. 252
Браунинг Р. 492, 495, 496
Брефе Л. 503
Буассонад Ф. 188, 233, 275
Вуркхардт Я. 491
Бюффон К. 193
- Валериан, римск. имп. 407
Вальденберг В. Е. 200, 201, 211
Ван Дитен И. 210, 407
Варда Склир 413, 414, 427, 449
Варда Фока 413-415, 427, 428, 449
Василий, паракимомен 428, 449
Василий, хранитель императорской чернильницы 261, 263
Василий I Македонянин, имп. 378, 432
Василий II Болгаробойца, имп. 404, 405, 413, 415, 417, 418, 426-428, 445, 446, 448-450, 452, 474, 476, 480, 483
Василий Великий Кесарийский 253, 279, 355, 372, 398, 400, 401, 515
Василий Малеси 263, 320, 321, 322
Василий Монах 503
Василий Сплинарий, судья Армениака 321
Василий, судья Армениака 321
Вейс Г. 194, 199, 217, 227, 239, 249, 253, 267, 280, 287, 312, 321, 325, 344, 499, 500, 501, 503, 510-512
Вергари Дж. 377, 400, 494
Вестерник Л. 311
Вольтер 188, 191, 192
Вотаниат, см. Никифор III Вотаниат
Вриениий, см. Никифор Вриениий
Вриес-ван дер Вельден, Ева де 225, 226, 231, 244, 266, 320, 406
Вюртле П. 513
- Гадолин А. 199, 344, 346
Гарида 301
Гаспаров М. Л. 310
Гелиодор 350-352, 365, 368, 475, 516
Генесий, см. Иосиф Генесий
Георгий, вестарх 398
Георгий, вестарх, родственник актуария 510
Георгий, соученик Псалла 238
Георгий Маниак, мятежник 411, 433, 436, 453, 398

- Георгий Монах, визант. хронист 419, 430
 Георгий Псида, визант. автор 352, 359, 516
 Гера, мифол. 279
 Гераклит 345
 Гермоген, ритор 349, 350, 351, 353, 354, 360, 368-371, 514, 515
 Гиан Р. 222, 266, 320
 Голенищев-Кутузов И. Н. 491
 Гомер 199, 215, 279, 474
 Горгония, сестра Григория Назианзина 398
 Готье П. 214, 217, 227, 229, 262, 264, 267, 275, 398, 501
 Гранстрем Е. Э. 218
 Грегуар А. 189
 Григорий Актнох, визант. автор 383
 Григорий Назианзин (Богослов) 253, 279, 350, 353-355, 359, 363, 365, 371, 374, 397-402, 515, 516
 Григорий Нисский 400, 515
 Григорий, чудотворец 301, 305
 Гриффит М. 352
 Грюмель В. 220
 Гуревич А. Я. 392
- Давид, библ. 482
 Дакурас Д. 195, 204, 205
 Далассин, адресат писем Пселла 234
 Дарий, персидский царь 279
 Дарузес Ж. 228, 304
 Дедал, мифол. 279, 479
 Дейк А. 352, 369, 494
 Деметрий Фалерский 235
 Демосфен 270, 354, 358, 364, 366, 370, 515
 Деннис Дж. 197, 222, 235
 Деций, римский имп. 407
 Диоген, см. Роман IV Диоген
 Дион Кассий 417
 Дионисий Галикарнасский 349, 354, 358, 360, 365, 366, 416, 514, 515
 Дионисий Сиракузский 279
 Досифей 295, 308
 Достоевский Ф. М. 188, 341, 345
 Дрезеке И. 504
 Дрексль Ф. 221, 233, 238, 239, 287, 301, 320, 503
 Дуки, визант. род 224, 225, 324, 326, 331, 332, 492
 Дэльгер Ф. 220, 342, 383
 Дюз Н. 263, 320
- Евдокия, дочь Константина VIII 418
 Евдокия Макремволитиса, жена Константина X 225, 244, 266, 465, 505
- Евклид 392
 Евмафий Макремволит, визант. автор 476
 Еврипид 279, 352, 359, 367, 516
 Европа, мифол. 475
 Евсевий, церковн. историк 430

- Евстратнадис С. 237
Евстафий Солунский, визант. автор 493
Евстратий Хирсофакт, магистр, протонотарий дрёма 262, 265
Егунов А. 364
Екатерина, жена Исаака I Комнина 286
Епифаний Филарет, протасикрит 208, 217, 264
- Жирмунский В. М. 492
Жюжи М. 202
- Зевс, мифол. 310
Зегер Г. 214
Зервос Ш. 193, 194, 197, 198, 206-208, 213, 438
Златоуст см. Иоанн Златоуст
Зона, судья 221, 313, 314, 316, 322
Зонара, см. Иоанн Зонара
Зоя, императрица 244, 286, 287, 358, 423, 428, 435-437, 445, 456, 457, 463-465, 474, 482, 485, 486, 499
- Иаков, монах 213, 310
Иасит, куропалат 265, 440
Иванка Е. 203
Икономидис Н. 266
Иксион, мифол. 279
Илья, монах 271, 279, 281-285, 317, 339
Илья, пророк 392
Илья Крестала, адресат Пселла 280
Импелицери С. 225
Иоанн, логофет, временщик Константина IX 223, 321, 436, 458
Иоанн, митрополит Мелитинский 511
Иоанн, ливелисий 262
Иоанн, монах 248, 308
Иоанн, остиарий и протонотарий дрёма 265
Иоанн, патрикий 398, 474, 478, 479, 510
Иоанн Веррес Катафлорон 217
Иоанн Дука, кесарь 226, 233, 268, 277, 278-280, 315, 319, 406, 407, 429, 441
Иоанн Евхантакий (Мавропод) 215, 216, 219, 223, 227, 232, 237-248, 250, 252, 259, 301, 312, 333, 339, 343, 350, 353, 358, 363, 371-373, 379, 381, 383-385, 387, 396, 397, 398, 400, 401, 410, 454, 493, 507-510
Иоанн Златоуст (Хрисостом) 372, 515
Иоанн Зонара, визант. историк 223, 284, 299, 330, 332
Иоанн Итал, визант. философ 226, 357, 358, 492, 511, 512
Иоанн Ксифилин, патриарх 198, 206, 218, 219, 223, 227, 233, 239, 242, 245, 248-255, 257-260, 264, 276, 279, 288, 303, 309, 311, 315, 333, 337, 338, 343, 358, 381, 383-387, 401, 410, 498, 504, 507-509
Иоанн Крустула 510
Иоанн Малала, визант. автор 419, 420, 430, 471
Иоанн Орфанотроф, брат Михаила IV 216, 421, 423, 466, 467
Иоанн Сидский, временщик 226, 267
Иоанн Скилица, визант. историк 197, 213, 223, 257, 263, 299, 300, 325, 331, 406, 416-422, 424, 430, 433, 449

- Иоанн I Цимисхий, имп. 405, 413, 414
 Иоанну П. 194, 202-204, 206, 214, 217, 224, 258, 325, 327, 341, 439, 504
 Иосиф Генесий, визант. историк 432
 Ирина, императрица 408
 Ирина, кесариса 397, 472-474, 478, 480, 504
 Исаак I Комнин, имп. 193, 220, 224, 229, 232, 258, 265, 267, 286, 294, 295, 296, 300-304, 308, 311, 324, 326, 330, 331, 384, 409-411, 421, 425-428, 445, 446, 448, 450, 451, 452, 468, 484, 485, 502, 503, 508
 Исократ 364, 366
 Итал, см. Иоанн Итал
 Иорга Н. 193

 Каждан А. П. 230, 241, 244, 284, 337, 342, 444, 483, 494, 495
 Калделлис А. 205, 206, 469
 Канар П. 280, 503
 Карелос П. 469
 Карпозилос А. 238, 241, 244, 318
 Кассия, визант. поэтесса 409
 Катакалон Кекавмен, полководец 234
 Катафлорон 217
 Катлер А. 495, 496
 Кафка Ф. 345
 Кекавмен, визант. автор 211, 337, 442
 Кёрте А. 439
 Кириакис М. 222, 494, 500
 Кирка, мифол. 329
 Кирн П. 344, 345
 Кируларий, см. Михаил Кируларий
 Конрад Н. И. 490
 Константин VI, имп. 408
 Константин VII Багрянородный 432
 Константин VIII, имп. 414, 417-420, 424, 427
 Константин IX Мономах, имп. 206, 209, 210, 218, 219, 220, 222, 223, 236, 241, 244, 248, 250, 252, 257, 300, 301, 311, 313, 321, 324, 328, 346, 356, 360, 362, 365, 384-387, 391-395, 433-437, 440, 441, 443, 445, 446, 452-457, 461, 463, 464, 473, 474, 477-480, 482, 484, 486, 492, 498-500, 508, 512
 Константин X Дука, имп. 224-226, 230, 241, 268, 275, 299, 325-332, 406, 409-411, 445, 446, 468, 503, 504, 506
 Константин Дука, сын Михаила 407, 474, 476
 Константин Дука, брат Михаила VII 229
 Константин Далассин 418
 Константин Кируларий, племянник Михаила 227, 261, 265-270, 272, 273, 276, 277, 280, 314, 340, 355, 366
 Константин Лихуд, патриарх 218, 219, 223, 224, 226, 229, 233, 241, 243, 255, 257-260, 264, 287, 303, 311, 333, 350, 353, 355, 364, 381, 383-386, 389, 390, 394, 395, 410, 436, 443, 473, 480, 507-509
 Константин Манасси, визант. автор 330
 Константин, друнгарий и протопродр 266
 Константин, сакеларий 266
 Кресчи Л. 425

Криарас Е. 194, 195
Кринит 272
Крискуоло У. 205, 229, 249, 257, 292, 330, 359, 494, 502
Крумбахер К. 188, 192, 200, 342, 415, 424
Ксенократ, философ 451
Ксир, судья 317
Ксифилин, см. Иоанн Ксифилин
Курц Е. 233, 238, 286, 503
Кустас Г. 357, 376

Лазарев В. Н. 481, 486
Лазарь, митрополит Филиппополя 496
Лев, синкел 299
Лев VI, имп. 222, 378
Лев Грамматик, визант. хронист 408
Лев Диакон, визант. историк 417
Лев Параспондил (Стравоспондил) 299-307, 356, 473
Лев Патрский, «министр» по делам прощений 261, 263
Лев Торник, мятежник 219, 433, 436, 498, 499
Лев Фока, отец Варды Фоки 414
Леви П. 265
Лейбниц 188, 201
Лемерль П. 219, 220, 231, 377
Лео Ф. 384
Леруа-Молинген А. 500, 504
Лефорт Ж. 220
Лизик 319
Лисий 358, 451, 515
Литаврин Г. Г. 211, 235
Литлвуд 325, 494
Лихачев Д. С. 352, 361, 391
Лихачева В. Д. 231
Лихуд, см. Константин Лихуд
Лонгин, ритор 353, 358, 516
Лоран В. 299
Лукиан 366

Маас П. 214, 244
Мавропод, см. Иоанн Евхантаский
Макнавели 206
Макридис Р. 470
Макрина, сестра Григория Нисского 400
Малеси, см. Василий Малеси
Маллет М. 493
Мальтезе Е. 285, 402
Манасси, см. Константин Манасси
Маниак, см. Георгий Маниак
Марин, отец царицы Феодоры 409
Мария, внучка Филарета Милостивого 409
Марк Аврелий, римский имп. 460
Марфа Грузинская (Мария Аланская) 267
Махитарий, корреспондент Пселла 410

- Медведев И. П. 491
Меландр 334
Менандр, ритор 362, 379
Менц А. 504
Метафраст, см. Симеон Метафраст
Миллер Е. 189
Миллер Т. А. 356, 358, 374, 511, 514-516
Милованович Ц. 400
Мильтнад 271
Мишь Ж. П. 188
Мифайк, комедийный персонаж 271, 284
Михаил IV Пафлагонец, имп. 216, 300, 420-424, 446, 463, 466, 485
Михаил V Калафат, имп. 216, 384, 423, 446, 458-461, 463
Михаил VI Стратиготик, имп. 224, 258, 295, 300, 301, 384, 411, 450
Михаил VII Дука Паралинак, имп. 225-229, 266, 268, 275, 281, 308, 315, 325-332, 391, 393, 406, 407, 411-413, 415, 441, 445, 474, 476, 503, 504
Михаил Атталиат 197, 214, 219, 227, 230, 231, 262, 294, 295, 300, 303, 320, 325, 330, 331, 395, 412, 413, 432, 433, 437, 449, 468
Михаил Вотаниат, отец Никифора Вотаниата 413
Михаил из Никомидии 214, 230
Михаил Кируларий, патриарх 196, 223, 229, 233, 255, 258, 265, 266, 268, 276, 280, 281, 286-300, 303, 305-307, 309, 311, 337, 339, 343, 381, 382, 394-396, 401, 441, 472, 480, 502, 504, 508
Михаил Радий 229, 511
Михаил Хирсфакт 262
Михаил Хоннат, визант. автор 232
Михаил Эфесский, визант. комментатор Аристотеля 200
Михель А. 202, 290, 502

- Никифор Вриенний, визант. историк 315, 413
Никифор Вриенний Старший, заговорщик 501, 506
Никифор Кируларий, племянник Михаила Кирулария 227, 265, 266,
268-270, 272, 273, 276-278
Никифор Фока, брат Варды Фоки 414
Никифор, севастофор, временщик Михаила VII 226, 280, 281, 320,
321
Никифорица см. Никифор
Николай Врана 510
Николай, воин, отец ученика Пселла 234, 510
Николай, игумен 214, 380, 398, 501
Николай Андидский 228
Николай Маврокатакалон 510
Николай Склир, соученик Пселла 238, 265, 318, 319, 322
Николай, воин, адресат монодии Пселла 234
Нонна, мать Григория Назианзина 400
- Одиссей 329
Олимпиодор, философ 198
Орт Е. 351
Орфанотроф, см. Иоанн Орфанотроф
Острогорский Г. 330
Офрида, судья 251, 252, 255
- Параспондил, см. Лев Параспондил
Патайк, комедийный персонаж 271, 284
Петровский Ф. А. 356
Пендактен 308
Перикл 207, 208, 271, 279, 355
Петр Делян, предводитель восстания болгар 423
Пиррон, философ 305
Писида, см. Георгий Писида
Платон 197-199, 206, 249, 254, 255, 279, 328, 356, 368-370, 408, 451,
480
Плутарх 238, 345, 387, 424, 431
Полибий 345, 417, 431
Полемис Д. 228, 229, 507
Полякова С. В. 476
Пофос, судья, ученик Пселла 221, 265, 314-316, 321, 322
Пофос Аргир 222
Пофос, вестарх 308, 374, 515
Приск, ритор 358
Превинале Л. 343
Прехтер К. 200, 201, 279
Прокл, философ 198, 408
Прометей, миф. 352
Протей, мифол. 279, 358
Псиф 225
- Райиш Д. 404
Рамбо А. 191
Рено Э. 189, 193, 194, 213, 216, 225, 344, 361, 416, 418, 419, 425, 434

- Роднус В. 193, 266, 311
 Роман II, имп. 378
 Роман III Аргир, имп. 418, 428, 429, 445, 446, 458, 460, 461, 484, 485
 Роман IV Диоген, имп. 206, 207, 225, 226, 228, 261, 263, 268, 275, 281, 320, 321, 324, 330, 339, 405, 411, 441, 445, 448, 461, 462, 468, 504-506, 508
 Роман, кизичский митрополит 222
 Роман, соученик Пселла 238
 Роман, референдарий 501
 Роман Воила, фаворит Константина IX 454, 455
 Ромул 404, 415, 431
 Ронкей С. 426
 Рохов И. 409
 Русель де Батоль 274, 506
 Рутенбург В. И. 490
 Рюэль III. 275
- Саввант, монах 310, 311
 Салач А. 318
 Самуил, библ. Литлвуд 392
 Сарав, комедийный персонаж 284
 Сафа К. 189, 191, 197, 217, 228, 233, 238, 287, 307, 315, 318, 341, 410, 498
 Сафо 479, 504
 Светоний 431
 Свобода К. 198, 199, 203, 344
 Сергей, адресат памфлета Пселла 513
 Сергей, судья Фракисия 280, 317, 322
 Сидерас А. 229, 497, 500, 501
 Сикутрис И. 189, 225, 342-344, 346, 410, 411, 504
 Симеон Кеихри 310
 Симеон Новый Богослов 197, 198, 337, 401
 Симеон Магистр (логофет), визант. хронист 408, 418, 419, 420, 430
 Симеон Метафраст, визант. автор 350, 352, 359, 365, 367, 368, 373, 408, 511, 516
 Скабаланович Н. 220, 293, 301, 315, 330
 Скилица, см. Иоанн Скилица
 Скилицы Продолжатель, визант. историк 213, 230, 330-332
 Склирина, фаворитка Константина IX 219, 220, 244, 436, 437, 456, 457, 463, 480
 Скутариот, см. Феодор Скутариот
 Сметанин В. А. 234
 Снайпс Х. К. 267, 403, 404, 406
 Сократ 271
 Соломон, библ. 461, 482
 Сопатр 353
 Спадаро М. 219, 244
 Спиноза В. 188, 200
 Сплинарий, см. Василий Сплинарий
 Стилиан, друг Пселла 238
 Стилиан Заутца, времещик Льва VI 222
 Стилиана, дочь Пселла 222, 390, 474-477, 479, 480, 482, 483, 500

Сьютер Е. 361, 418, 425, 434
Сюзюмов М. Я. 286

Татакис Б. 201, 202, 208, 211
Тиме О. 439

Тиннефельд Ф. 199, 280, 337

Тернер К. 430

Тезтет 271

Толстой Л. Н. 345

Торник см. Лев Торник

Траян, римский имп. 461

Тыпкова-Займова В. 222

Фаррар В. 399

Фемистокл 208, 279

Феодор Китонит, племянник Иоанна Мавропода 237

Феодор Скутариот, визант. историк 330

Феодора, императрица 223, 224, 258, 266, 287, 291, 299-301, 303,
305, 306, 310, 445, 448, 463, 465, 474, 477, 485, 501, 502

Феодора, царица, жена имп. Феофила 409

Феодосий Мелитинский, визант. хронист 408

Феодота, мать Пселла 207, 214, 388, 389, 397, 400

Феорион, комедийный персонаж 271

Феофан, визант. историк 432

Феофано, жена Романа II, затем Никифора II 414

Феофил, имп. 408

Феофилакт Болгарский, архиепископ, писатель 214, 215

Феофраст 462

Феревий, монах 311

Филипп Македонский 229

Филарет Милостивый, св. 409

Филипп Монотроп, визант. автор 228

Филострат 270, 366

Фишер В. 251, 252

Фоки, визант. род 412

Фолнери Э. 219, 244

Фотий, патриарх 208, 348, 349, 351, 357, 364, 516

Фракисий 317

Фукидид 366, 416, 431

Фукс Ф. 369, 370

Хасан Глухой, племянник султана Тогрул-бека 499

Хасан, вестарх, судья Македонии 314, 322, 324

Хассей Дж. 198, 344

Хирсфакт, адресат Пселла 262, 265

Хирсфакт, протасикрит 261, 262

Хрисипп, философ 254

Хрисостом, см. Иоанн Златоуст

Христофор Митилеский, визант. эпиграммист 197, 480, 493

Хунгер Г. 376, 416, 480, 495

Цветлер Д. 219

Чемберлен Ч. 356

Черноусов Е. А. 215

Шекспир 188, 278, 341

Шиссель О. 369, 478

Шрайнер П. 404

Штернбах Л. 271, 311

Эзоп 279

Элпидий Кенхри, жених дочери Пселла 222, 224, 494

Эмилиан, патриарх Антиохии 283, 307, 308, 315

Эрот, миф. 495, 514

Эсхил 357

Юлий Цезарь 406

Юревич О. 196

Юстиниан, имп. 461

Якс К. 474

Ямвлих, философ 198



СОДЕРЖАНИЕ

Я. Н. Любарский

О Павле Владимировиче Безобразове
и его книге о Михаиле Пселле 5

П. В. Безобразов

Византийский писатель и государственный деятель
Михаил Пселл 11

Я. Н. Любарский

Михаил Пселл. Личность и творчество 183

